



ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ



ИЗБРАННОЕ

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

**ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ**



ТОМ ВТОРОЙ



**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1968**

P 2
И 20

$\frac{7-3-2}{45-07}$

**РОМАН
ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ**



ПАРТИЗАНЫ



I

Костлявый, худой, похожий на сушеную рыбу, подрядчик Емолин ходил по Онгедайскому базару и каждого встречного спрашивал:

— Кубдю не видали?

— Нету.

Наконец голубоглазый чалдон, навеселе по-видимому, затейливо улыбнулся и указал Емолину:

— Подле церкви Кубдя... гармошку покупат... А тебе на что?

— Надо, — отрывисто ответил Емолин.

Чалдон подряд четыре раза икнул и отошел.

«Деньги есь... Гармошку кикиморе... Заломатся», — подумал Емолин и пожалел потраченные сутки на езду в Онгедай.

Емолина то и дело толкали.

К прилавкам совсем нельзя было подойти. Емолин хотел пробраться между торговыми рядами, образующими улицу, но тут гнали целые табуны лошадей и жалобно блеявших баранов. Пыль грязно-желтыми пятнами стлалась над тесовыми лавками.

— Жарынь! — сказал Емолин, вытирая вспотевшую жилистую шею.

Горло сушила духота, уши оглушал базарный шум, на прилавках резали глаза яркие пятна бязей, шелковых тканей, китайских сарпинок,

— В эку духоту — и нейметя!.. Сшалел народ!..

Подле церкви толкотни было меньше. Здесь торговали горшками, и у возов слышался только тонкий звон посуды да возгласы торгующихся. Кубдя, в синей дабовой рубахе и в таких же коротких, но широких штанах, в рваных опорках на босу ногу, стоял у церковной ограды, рассматривая желтого глиняного петушка.

Высокий чалдон в сером азяме скучными глазами смотрел на покупателя.

— В день много работаешь? — спрашивал Кубдя.

— Как придется.

— Полсотни поди так работаешь?

Чалдон посмотрел на опорки покупателя и нехотя ответил:

— Бывает, и полсотни.

— Видал ты его! — с уважением сказал Кубдя, кладя петушка обратно. — Ты бы, брат, бросил петухов-то делать...

— А что, ворон прикажешь?

— Не ворон, а хоть бы тусса березовые, примером: все выгодней.

— Сами знаем, что делать.

— Эх ты, лепетун!

Кубдя увидел Емолина и, указывая на чалдона, сказал:

— Возьми вот ево, лепетуна, — петухов делат.

— Всякому свое, — строго сказал Емолин. — А мне тебя, Кубдя, по делу надо.

Кубдя взял опять петушка, повертел его в руках и купил, не то чтоб для надобности, а показать Емолину, что он, Кубдя, в деньгах не нуждается.

— Ну, говори.

— Пойдем, по дороге скажу, — сказал Емолин.

Кубдя сунул петушка в карман и отправился за Емолиным.

— Ты каку работу исполняешь?

— Работы по нашему рукомеслу много.

— А все-таки?

Кубдя улыбнулся под обвислые усы:

— Народ нонче бойко умирает. Будто пал¹ по траве идет.

¹ Пал — степной пожар.

— Ну и что ж?

— Гробы приходится...

Емолин смочил языком обсохшие губы и пренебрежительно сказал:

— Ерунда! Гробовая работа — самая поганая... Горбули-то с тобой?

— В селе.

— Беспалых?

— Есть и Беспалых. Соломиных тоже тут.

— Еще ребята поди есть?

— Как не найдутся! А тебе на что, лешай?

Емолин выкроил улыбку на желтом, изможденном лице.

— Что, не терпится?

Кубдя крикнул:

— Люблю артельную работу, Егорыч!

— А говоришь, у те тут есь.

— Живодер ты, никак тебе правды не скажешь... Все надо юлить. А то живьем слопаешь.

Кубдя взглянул на его скривившийся влево рот и подумал: «Сволочь». Емолин остановился и, поблескивая желтоватыми белками глаз, сказал:

— Потому что у вас, окромя как в себя, в никого веры нету, понял?

Кубдя крякнул.

— Крякнула утка, когда ее съели!.. А хочу я, Кубдя, вот что сказать вам. Подрядился я в Улейском монастыре амбары строить. Лес там имеется, инструменты поди при вас?

— Как же... Помесячно али поденно?

— Поденно. Двадцать цалковых на моих харчах.

— Дураков нету.

— Каких дураков?

Кубля отошел от него на шаг и свистнул.

— Хитер ты, Егорыч! Прямо бяда. Кто к тебе пойдет, когда на сенокосе дадут две сороковки в день?

— Окурок ты! Сенокос — месяц, а тут и лето и осень.

— Да что мне, когда на колчаковские сейчас по сороковке в городе водку продают?

— Ладно, — сказал Емолин примиряюще, — пойдем ко мне чай пить.

— Самогонка есть?

— Не самогонка, браток, а «николаевка».

— Вот панихида! — восторженно вскрикнул, хлопнув себя по ляжкам, Кубдя.

Они прошли базар, и Емолин свернул в переулок. Подрядчик выдернул деревянную щеколду, и большие тесовые ворота, визжа на петлях, распахнулись. На цепи, подпрыгивая, хрипло залаял на них пес. Из сутунчатого пригона протяжно спросил женский голос:

— Кто тама-ка?

— Я, Матвеевна, я,— отвечал Емолин, входя на высокое крыльцо из огромных кедровых досок.— Самовар бы нам...

— Сичас.

Молодая женщина, в светлом ситцевом платье и с подойником в руках, вышла из пригона. Емолин, входя в сени, спросил ее:

— Чо поздно доншь-то?

— Так уж приходится,— отвечала она, громыхая самоварной трубой.— Вы где пить будете: в горнице али, может, в затине?

Емолин звякнул посудой в ящике:

— Все равно. Можно в горнице. Там, кажись, мух мене.

— Прямо напасть с этими мухами! Уж мы их травили-травили, ни лешака на них нет... Намедни мужик поворот какой-то на них привозил, вот шибко подействовал.

— Не поворот, а водород. Сусликов травят,— поправил Емолин.

Женщина рассмеялась:

— Кто их знат. Нонче все наоборот. Вои царя-то в Омске не русского посадили и икватёром зовут.

Емолин рассмеялся жиденьким смехом:

— Необразовщина, прямо — тайга!.. Видмеди вы. Колчак-то старого роду, бают, и не царь,— а диктатёр...

— Одна посуда-то,— сказал Кубдя.

— Посуда-то одна, да вино разное. То тебе коньяк, а то самогонка.

— А то тебе ртуть.

— Ртуть не пьют, а киргизы от дурной болезни лечатся...

Емолин сидел на деревянной крашеной скамье со спинкой, Кубдя — на крашеном деревянном стуле. В горнице было прохладно, — сквозь маленькие окна свету пробивалось мало, да и мешали широкие, легко пахнущие герани в глиняных глазурированных горшках. Двери и печка были разрисованы большими синими по желтому полю цветами, а на полу лежали плетенные из лоскутков половики.

Пока хозяйка доставала из шкафа посуду, ставила на стол калачи из сеянки, пироги с калиной и молотой черемухой, Емолин самоуверенно рассуждал:

— Ты возьми, Кубдя, меня. Из кого, ты скажи мне, я поднялся?..

Кубдя ждал с нетерпением, когда Емолин раскупорит бутылку с водкой, и потому с усмешкой отвечал:

— Никуда ты не поднялся.

— Врешь! Был я, скажем, лапотной пермской мужик, а теперь имею дом с железной крышей, и хозяйство честь честью, и почет ото всех.

— Ну и слава богу!

— Известно, слава богу, — подтвердил и Емолин, выбивая пробку и наливая водку в стаканчики, — только ни черта не понимаете вы. Пей!

— Да уж пейте вы... — по обычаю отказался Кубдя.

— Пей.

— Не буду.

Емолин выпил, скривив лицо, грязными, гнилыми зубами откусил кусок пирога.

— Крепка, стерва... Пей.

Кубдя выпил, скривил тоже лицо и сразу всунул в рот целый пирог.

— Да-а... — замычал он, — ничего себе!.. Крепка!..

— Пей!.. — сказал Емолин.

Кубдя уже не отказывался.

Емолин ел плохо, копошась длинными пальцами в хлебе, отламывая и откладывая в сторону корки. Кубдя же ел торопливо, глотая полупрожеванные куски. Глядя на его быстродвигающиеся желваки челюстных мускулов, Емолин с достоинством пил кирпичный чай и с достоинством рассуждал:

— Мало вы в народе кишите... В образованном народе, говорю, а потому доверие к другим плохое возбужда-

ете. А без доверия и курица яйца не снесет, не то что в народе жить...

Кубдя хватил стаканчик, и под ним мрачно закряхтел стул. Емолин продолжал:

— Ко власти стыд потеряли, одинаково с видмедьями... За себя не стоите: черт вас знает, что вам требуется!.. Отдыхай, брат Емолин, — и никаких!

Кубдя рыгнул и отодвинулся от стола:

— Спасибо, хозяин, за хлеб, за соль.

Емолин налил еще:

— Пей, Кубдя. А не за что благодарить-то.

Кубдя взмахнул рукой и удивился про себя, что жест такой легкий.

— Раз я благодарю, ты принимай — и никаких. А что отдыхать тебе, Емолин, то не придется.

— Почему так? Раз мы заслужим, почему не придется?..

— А так.

— А кто мне мешать смеет?

— Найдутся.

Емолин стукнул ребром ладони по столу:

— Нет, ты говори! Я знать желаю.

Кубдя улыбнулся и подмигнул:

— Найдутся, Егорыч, другие отдохнут за тебя... Ей-богу!..

— Сыны, что ли?

— Усе мы сыны, да не одного батьки. Во-от... Ты вот дом строишь, думаешь: «Отдохну, поживу...» Крепко, браток, строишь — с железной крышей, с голландской печкой, скажем. А тут — на тебе, выкуси! Не придется. Получится заминка.

— Какая?

Кубдя широко раскрыл слипающиеся глаза и вдруг тихо и часто-часто рассмеялся:

— Хо-хо-хо-хе-е... Дёрон вы зеленой, дёрон... Хо-хо-хе-е...

Емолин тоже рассмеялся:

— Хо-хо-хо-хе-е... Темень ты стоязычная, темень... Хо-хо-хо-хе...

Из прихожей выглянула хозяйка, посмотрела, махнула рукой:

— Ой, девоньки, уморят!

И залилась клохчущим, мелким смехом.

С похмелья голова у Кубди никогда не болела, только скверно и остро першило в горле — словно обожжено чем. Утром, проснувшись, Кубдя, задевая ногами то о ведро, то о доски, разбросанные по полу, долго искал ковш и, не найдя, охватил толстыми руками кадку с водой, поднял ее и, проливая блестящие капли в белые душистые опилки, напился.

Послушал, как булькает в животе вода, и вспомнил, что вчера нанялся к Емолину.

«Своей работы будто не хватает», — неодобрительно подумал Кубдя, отламывая хрустящую краюшку хлеба.

Бабка Енолиха остро взглянула и крикнула ему:

— Опять пьянствовать, Кубдя? Базар-то кончился!

Кубдя потер пальцами глаза и ответил:

— Знаю.

— Робить надо.

— И то робить хочу.

— Так чего же в ворота-то поперся? Куда уходишь?

Кубдя, просовывая в рот кусок, заглянул в погреб. Там было прохладно и темно, а в избе мешали мухи.

Енолиха взглянула на него пристальнее, взяла отпотевшую по стенкам кринку молока.

— Ешь, Кубдя. Чо всухомятку-то? Молоко-то седнешнее.

— Не люблю молоко, — сказал Кубдя и подумал: «Ребятам надо сказать. Вот ругаться будут, лихоманки!»

Енолиха отставила молоко.

— И то ведь, ты не любишь.

Она спрятала руки под фартук, и широкий нос ее, похожий на яйцо, отвернулся от Кубди.

— Где робить-то?

— К Емолину нанялся.

— Один?

— Артелью думам.

Старуха, припирая тяжелую, растрескавшуюся дверь погреба, тише говорила:

— Смелости у вас, у нынешних, нету, — всё в артель метите. Вот и царь-то потому отказался от вас.

— Прогнали его.

— Ишь ведь... — недоверчиво растянула старуха. — Сказывай!

— Плохой царь был.

— Цари-то — они все плохи. Хороша-то нам и не надо.

— Пошто?

Старуха ловко подхватила пестерь с углями. На ходу она, немного не договаривая слова, бормотала:

— Цари-то должны быть плохи. Строго надо себя держать, ну, кто строг, тот и плох. А без хорошего человека всегда жить можно. Вот царь-то хороший попал, ну, видит, дело плохо: с таким окаянным народом рази проживешь? Взял... да и ушел... Плюнул...

— Темень вы.

Обвислые щеки старухи покраснели. Она закинула пестерь на крыльцо и крикнула Кубде:

— А ты иди, лодырь, иди!..

— Уйду. Вот Колчаком-то поди довольна?

— Что он мне?

— Строгий.

— Все не русски каки-то. Чехи, говорят, поставили. из австрияков. Пленный он, что ли?

— Кто его знат.

— Я маракую, из пленных в германскую войну. Вот в Расее — так там царица.

Кубдя пошел было, но остановился.

— Как царица? Ты что, Христос с тобой, бабушка?

— Ну, а воюют-то пошто. Вот из-за царства и воюют. Тут-то 'Голчак самый, а там Кумыния... Не поделили что-то, а хрестьяне отдувайся... Нашему брату не легче...

Она вынесла из сенок решето с крупой и тонким голо-сом зачастила:

— Цыпи-цыпи-цыпи...

Маленькие желтенькие цыплята, похожие на кусочки масла, выкатились из-под навеса.

По улицам медленно проходили запряженные волами длинные ходки переселенцев. Скрипели ярма. Нехотя поднимали теплую и мягкую пыль копыта волов. Изредка пробегал, дребезжа, коробок кержака-старожила. Кержак лениво, одним глазом оглядывал ходки переселенцев и крупно стегал кнутом маленькую лошадь. Вдоль улицы в жирной, черной тени лежали парнишки и собаки, а во-круг села из-за изб густо и сыро зеленел забор тайги.

Кубдя шел к товарищам неохотно. Вчера, по пьянке, он много наговорил Емолину и о себе и о ребятах. И сей-

час он тревожно думал: «А как, черти, не согласятся! Вот состряпают мне».

Поутру всегда почти Горбулин и Беспалых сидели у Соломиных. А потом все трое шли к Кубде и здесь или работали, или, если не было работы, говорили о девках и о самогонке.

Соломиных имели свою избу. Старую, еще строенную из кедровика; бревенчатый забор; большие ворота, словно вытесанные из камня, и над воротами длинный шест с привязанным к нему клоком сена,— зимой Соломиных нускал ночевать проезжих.

Двор у него тоже был огромный, черный, чистый. Завозни поросли зеленью, но были еще крепкие, и из них можно было построить две избы.

Сам Ганьша Соломиных сидел верхом на колоде посреди ограды и топором рубил табак. Голова его, лохматая, густо поросшая клочковатым волосом, была не покрыта, и пот вздымался чуть заметным паром. И весь он походил на выкорчеванный пенёк — черный, пахнущий землей и какими-то влажными соками.

На земле навзничь лежал Беспалых — веснушчатый, желтоволосый, похожий на гриб рыжик. Упираясь спиной в колоду, сидел Горбулин — ширококорый, скуластый, с тонкими прорезями глаз.

Когда Кубдя вошел во двор, они все трое обернулись в его сторону и выжидающе посмотрели на него.

«Знают, должно», — подумал Кубдя и смутился.

— Дай-ка покурить, — сказал он, протягивая руку к табаку.

Соломиных достал зеленый кисет из кармана и глубоким своим голосом проговорил:

— Ты рубленный-то не трожь. Сырой. Из кисета валяй.

Беспалых мотнул ногами и быстро поднялся.

— Ты что, — пришепывая, заговорил он, — в ладах, что ли, с Емолиным?

Кубдя, не понимая, развел руками.

— Счас я его встретил. «Когда, говорит, на работу пойдете?» — «Вот тебе раз, говорю, некуда нам идти». — «А в монастырь-то нанялись!» — «Еще чище!.. Какой?» — спрашиваю. «Да вот у Кубди, говорит, спросите».

Кубдя, быстро затягиваясь махоркой, стал рассказывать, что наняться он еще не нанялся, а так говорил.

— А там как хотите,— докопчил он и пренебрежительно сплюнул.— По мне, хоть сейчас, так я скажу: не пойдем, мол. Только он тридцать целковых в день даст и харчи его...

Беспалых обошел вокруг колоды, и как только Кубдя замолчал, он мгновенно вскрикнул, словно укололся:

— Айда, паря!

Горбулин почесал спину о колоду, потом меж лопаток руками — и все так, напрасно, без надобности. Хотел подняться, но раздумал: «Успею, нахожусь еще». Ганьша Соломиных продолжал равномерно ляскать топором табак. Колода тихо гудела.

Кубдя ждал и думал: «А коли, лешаки, спросят: зачем с Емолиным николаевку пил? Не по-артельно».

На пригоне промывчала корова.

— Чо в табун не пустишь? -- спросил Кубдя.

Соломиных прогудел:

— Седни... отелилась...

«Будто колода гудит Соломиных-то», — подумал Кубдя и присел на край колоды.

Беспалых схватил щепку и бросил в голубя. Голубь полетел, торопливо трепыхая крылышками.

Кубдя подождал. «Думаю».

Потом спросил не спеша:

— Ну, как вы-то?

Горбулин, с усилием подымая с дна души склизкую мысль, сказал:

— Мне-то что... Я могу... У меня хозяйство батя ведет... Вот рази мобилизация. Угонят. Вот Ганьша у нас домовитый. Ему нельзя.

Беспалых хлопнул Кубдю по спине ладонью.

— Он молодец, ему можно доверять.

Соломиных воткнул легонько топор в колоду, собрал табак в картуз и встал.

— Пойдемте, паре, чай пить.

— Ну, а робить-то пойдешь? — вкрадчиво спросил Кубдя.

Соломиных немного с натугой, как вол в ярме, пошел к крыльцу.

— Я что ж,— сказал он твердо,— я от работы не в душло, могу.

И громко проговорил:

— Баба! Самовар-то поставила?

Рыжеголовый щенок у ловаленных сапей сделал несколько шажков вперед и тьякнул. Кубдя с восхищением схватил Ганьшу за плечи и слегка потряс.

— Друг! Горластый!

Соломиных повел плечами.

— Ладно, не балуй.

Напившись чаю, они попли говорить с Емолиным. Подрядчик запрягал лошадь. Затягивая супонь, он повернул к плотникам покрасневшее от напряжения лицо и одобрительно сказал:

— Явились, артельщики? Ну и добро!

Потом он выправил из хомута гриву, шлепнул лошадь по холке и подал руку плотникам.

— Здорово живете!

Говорили мало. Хотели прийти на работу через три дня, Емолин же настаивал: завтра.

— Дни-то какие — пасквозь душу просвечивает! Что им пропадать? Тут десять верст — за милу душу отмеряете. А?

Он льстиво заглянул им в бороды, и видна была в его глазах какая-то иная дума.

— А то одинок я, паре, чисто петух старый... А еще с этими длинноволосыми...

Плотники согласились. Протянули Емолину прямые, плохо гнущиеся ладони и ушли. Емолин, садясь в коробок, проговорил:

— Метательные ребята. Не сидится дома-то.

После обеда напились квасу и отправились. Соломиных запряг лошадь в широкую ирбитскую телегу, навалил охапки три травы, на траву бросили инструменты в длинных, из верблюжьей шерсти тканых мешках. Лошадью правила жена Соломиных и всю дорогу ворчала на мужа:

— Шляется бог знат куда... Диви работы дома не было б...

Соломиных сидел на грядке, свесив ноги. Испачканные дегтем придорожные травы хлестали по сапогам.

Беспалых излагал надоевшую всем историю, как он жил в германском плену.

— Били-п... — вскрикивал он по-бабьи. — Вот, черти, били-п...

Кубдя съязвил:

— Ум-то и выбили...

— У меня, паря, не выьешь! Душу вынь, а ума не достанешь.

— Далеко?

— Дальше твоей избы...

Кубдя расхохотался. Баба хлестнула вожжей лошадь.

— Ржут, треклятые! Все на дармовщину метят. Нет чтоб землю пахать!

— Мы мастеровые, — сказал Горбулин, — ты небось без кадушки-то сдохнешь.

Баба раздраженно проговорила:

— Много мне мужик-то кадушек наделал? Кому-нибудь, да не мне. Так, околачиваетесь вы... Землю не поделили...

Баба всегда провожала Соломиных так, как будто хоронила; затем, когда он приносил деньги, покупала себе обновы и смолкала. Поэтому он сквозь волос, густо наросший вокруг рта, бормотал изредка:

— Будет! Будто курица яйцо снесла, захватило тебя...

Горбулин поехал ради товарищей, и ему было скучно. Он пытался было пристроиться соснуть, но в колеях попадались толстые корни деревьев, и телегу встряхивало. Позади, в селе, остались мягкие шаньги, блины, пироги с калиной, — он с неприязнью взглянул на Кубдю и закурил.

Кубдя насвистывал, напевал, смеялся над Беспалых, — нос, щеки у него, усы быстро и послушно двигались.

Считали до Улеи десять верст. Леший их мерил, должно быть, или дорога такая, будто по кочкам, — плотники приехали в Улею под вечер.

Над речкой видны были избы, темные, с зацветшими стеклами. Старой работы и стекла и избы.

Через речку шаткий, без перил, деревянный мост упирался в самый подъем горы, заросший матерым лесом. Направо по ущелью — луга. По ним платиновой питкой вшита Улейка.

Монастырь, опоясанный низкой каменной стеной, задыхается в соснах и березах, одна белая выскочила и повисла над обрывом в кустах тальника и черемухи.

— Стой, — сказал Кубдя.

Плотники соскочили на землю. Кубдя сказал:

— Поздно будет бабе-то схать. Много ли тут — пешком дойдем. Пусть едет домой.

Соломиных согласился:

— Пущай.

И сказал бабе сердито:

— Поезжай, дойдем.

Жена заворотила лошадь и, отъезжая, спросила:

— В воскресенье-то придешь, али к тебе приехать?..

— А приезжай лучше,— прогудел Соломиных.

Кубдя задорно крикнул:

— Гостинцев вези!

— Лихоманку тебе в зоб, а не гостинцев!.. Но-о!..

— Ишь, бойкая!.. Кумом не буду...

— Видмедь тебе кум-то!..

III

Мешки и одежда лежали на траве грязной кучей.

Горбулин смотрел на них так, как будто собирался лечь и сейчас уснуть. Всех порядком потрясла корнистая дорога, и все с удовольствием притискивали подошвами густо-зеленую траву.

Кубдя посмотрел на монастырь и довольным голосом проговорил:

— Доехали, лихоманка его дерит! Ишь, на самый подол горы-то забрался, чисто у баб оборка... На зеленое — красным...

Соломиных деловито спросил:

— А квартера там какова? Говорил подрядчик, Кубдя?

— Квартера, говорит, новая. Не живанная.

— Таки-то дела...

Соломиных взял под мышки копошившегося у мешков Беспалых и вывел его на дорогу.

— Пошли, что ли?

Беспалых отскочил в сторону.

— Обожди! Поись надо...

— Растрясло тебя. Не успел приехать — уж исть.

На Кубдю словно нашло озарение. Он весь как-то передернулся, даже дабовые штаны пошли волнами, и ковким молодым голосом воскликнул:

— Эй, ломота!.. Али к черту этому старому, Емолину, сегодня идти?.. А ну его! Ночуем здесь, а завтра пойдем. Хоть там и квартера новая, и изба срубленная, свежая, а нам — наплевать, понял?

Выслушали Кубдю, и Соломиных проговорил:

— Проситесь у кого, что ли, будем?

— Как мы есть теперь шпана,— сказал Кубдя с удовольствием,— то теперь нам в избу лезть стыдно.

— Под голым небом ночевать, что ли?

Кубдя по-солдатски вытянулся, и корявое его лицо с белесыми бровями потекло в несдерживаемой улыбке.

— Так точно! — весело выкрикнул он.

Беспалых сидел на траве и оттуда вставил:

— Замерзнем, паря!

Горбулин не любил ночевать в новорубленных избах и нехотя сказал:

— Не замерзнем.

Два часа назад, в селе, такое предложение показалось бы им не стоящим внимания, но сейчас все сразу согласились.

Кубдя повел их на площадь, к берегу речки. У Соломиных, когда он расстался с домом, бабой и лошадью, словно прибавилось живости,— он шел с легкой дрожью в коленках.

За ними, изредка полаивая, костыляли три деревенские собаки, и видно было по их хвостам и мордам, что лают они не серьезно, а просто от скуки.

Плотники легли на траву, домовито крикнули и закурили. Подходили к ним мужики из деревни.

Уже знали, что пришли они в Улею строить амбары, и все расспрашивали об Емолине, об его хозяйстве, и никто не спросил, как они живут и почему пошли работать.

Беспалых обозлился и, когда один из расспрашивавших, особенно липкий, отошел, крикнул ему вслед:

— А работников и за людей не считаете, корчу вам в пузо!..

Кубдя свистнул и пошел за сеном и ветками для постелей. Соломиных принес валежнику и охапки сухих желтых лап хвой.

— Хвою-то куда, коловорот?

— Заместо свечки.

Плотники зажгли костер и поставили чайник. В это время мимо костра пробежала, тонко кудахтая, крупная белая курица. Горбулин вдруг бросился ее ловить...

Гуще спускалась мгла. В речке плескалась рыба, по мосту кто-то ходил — скрипели доски. В деревне — молчание: спали. Кусты словно шевелились, перешептывались,

собирались бежать. Пахло смолистым дымом, глиной от берега.

Горбулин, похожий в сумерках на куст перекасти-поля, бесшумно догонял курицу. Слышно было его тяжелое дыхание, хлопанье крыльев, испуганное кудахтање.

Вышел из ворот учитель. У костра он остановился и поздоровался. Фамилия у него была Кобелев-Малишевский. У него все было плоское — и лицо, и грудь, и ровные брюки навыпуск, и голос у него был ровный, как-то неуловимый для уха.

— Кто это там? — спросил он, указывая рукой на бегавшего Горбулина.

Кубдя бросил охапку хвои в костер. Пламя затрещало и осветило площадь.

— Егорка. Наш, — нехотя ответил Кубдя. — А тебе что?

— Курицу-то он мою ловит.

Кубдя ударил слегка колом по костру. Золотым столбом взвились искры в небо.

— Твою, говоришь? Плохая курица. Видишь, как долго на насест не садится.

Подожел Горбулин с курицей под мышкой. Оба они тяжело дышали.

— Дай-ка топор, — обратился он к Кубде.

Учитель положил руки в карманы и омрачившимся голосом сказал:

— Курица-то моя.

— Ага? — устало дыша, проговорил Горбулин. — А мы вот ей сейчас, по-колчаковски, бабку долой.

Учитель хотел ругаться, но вспомнил, что в школе сидеть одному, без света и без дела, скучно. В кухне пахнет опарой, в горнице геранью; на кровати крихтит мать, часто вставая пить квас. Ей только сорок лет, а она считает себя старухой.

Кобелев-Малишевский скосил глаза на Соломиных и промолчал.

Соломиных, поймав его взгляд, сказал:

— Садись, гостем будешь. Счас мы ее варить будем.

Беспалых, видя, что хозяин курицы не ругается, схватил ведро и с грохотом побежал по воду. Черпая воду и чувствуя, как вода, словно живая, охватывает его ведро и тащит, он в избытке радости закричал:

— Ребята! Теплынь-то какая, айда купаться.

— Тащи скорей! Не брякай,— зазвучало у костра.

Кобелев-Малишевский снял пальто и постелил его под себя.

— Работать идете? — спросил он.

— Работать,— отвечал Соломиных.

— Слышал я. Емолин сказывал, что нанял вас. Дешево, говорит, нанял. Мерзостный он человечиска, запарит вас.

Соломиных грубо сказал:

— Не запарит. А тебе-то что?

— Мне ничего. Жалко, как всех.

— Жалко, говоришь?

— Такая порода у меня. У меня ведь дедушка из конфедератов был, сосланный сюда. Ноздри рваные и кнутом порот.

— За воровство, что ли? — спросил Кубдя, вороша костер.— Раньше, сказывают, за воровство ноздри рвали.

— Восстание они устраивали, чтобы под русского царя не идти. Поляки.

Учитель подождал чего-то, словно внутри у него не уварилось, и сказал:

— И фамилия моя — Малишевский, польская по деду. А Кобелев — это здесь в насмешку на руднике отцу придепили, чтобы было позорнее. Был знаменитый генерал Кобелев, который Туркестан покорил и турок победил.

— Скобелев, а не Кобелев,— сказал Кубдя.

— Ты подожди. Когда он отличился, тогда ему буква «с» царь и прибавил. Чтобы не так позорно ему было в гостиные входить. Мобилизовали меня на германскую войну, тоже я мечтал отличиться и фамилию свою как-нибудь исправить. Не пришлось. Народу воюет тьма, так, как вода в реке,— разве капля что сделает? Ранили меня там в ногу, в лазарете пролежал, и уволили по чистой.

Соломиных повернулся спиной к огню и проговорил:

— И пришел ты Кобелевым.

— Видно, так и придется умереть.

— Царя вот дождешься — и сделает он тебя Скобелевым.

— Царя я не желаю, как и вы, может быть. Я ж вам сказал, что жалостью ко всем наполнен, и это у меня родовое. Вот ребятам в школу ходить не в чем — жалко, бумаги нет, писать не на чем — жалко, живут люди плохо — тоже жалко...

Малишевский долго говорил о жалости, и ему стало

действительно жалко и себя, и этих волосатых, огрубелых людей с топорами. Он начал говорить, как его воспитывали, и как его никто не жалел, и сколько из-за этого у него много хороших дней пропало, и, может быть, он был бы сейчас иной человек. И Кобелеву-Малишевскому хотелось плакать.

Беспалых взял ложку и попробовал суп.

— Рано еще. Пущай колобродит.

Он развязал мешок и достал ложки. Самую чистую он подал Малишевскому. Беспалых нарезал калачей и, положив их на полотенце, снял с огня котелок. Кубдя подбросил хвои.

Плотники, дую на ложки, стали есть. Учитель отхлебнул немного из котелка и отодвинулся.

— Что ты? — сказал Соломиных. — Ешь.

— Сыт. Я недавно поужинал.

Кобелев-Малишевский смотрел, как сжимаются их поросшие клочковатым волосом челюсти, пожирая хлеб и мясо, и ровным голосом говорил:

— Монастырь построили, чтоб молиться, а вы в него не ходите. Бога только в матерках упоминаете, ни религии у вас нет, ни крепкой веры во власть. И кто знает, чего вы хотите. Повеситься с такой жизни мало. Как волки, никто друг друга не понимает. У нас тут рассказывают... Пашут двое — чалдон да переселенец. Вдруг — молния, гроза. Переселенец молитву шепчет, а чалдон глазами хлопает. Потом спрашивает: «Ты чо это, паря, бормотал?» — «От молнии молитву». — «Научи, может, сгодится». Начал учить: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое...» — «Нет, — машет рукой чалдон, — длинна, не хочу». Все покорооче хотят, а жизнь-то и так с птичьей любовью.

Учителю обидно было, что плотники ели его курицу и не благодарили; обидно, что на него не обращали внимания; обидно, что из города не слали три месяца жалованья.

Он сидел перед огнем и говорил совсем не то, что хотел сказать. Похоже было, что за него кто-то сзади говорит, а он только шевелит губами.

Плотникам же мерещилось, что они голые идут в ледяной воде — и нет ей ни конца, ни края.

Трещала, сгорая, хвоя. Повизгивая, лаяли собаки за

огнем,— им туда, в темноту, бросил Горбулин кости и куски.

Соломиных закрылся тулупом с головой и что-то неразборчиво мычал. Не то он спал, не то говорил. Беспалых и Кубдя лежали на боку, курили. Лица у них были красные.

Малишевскому никто ничего не отвечал. Уголек упал к нему на колено, он пальцем сбросил его и стал говорить о любви.

Горбулин ушел, и скоро по ту сторону костра из тьмы вышла его приземистая фигура и за ним три лохматых пса. Он усадил их в ряд, поднял руку кверху и пронзительно заорал:

— Ну-у!..

Собаки подняли передние лапы и сели на задние. Морды у них были измученные, и видны были их белые клыки. Малишевскому стало страшно.

Горбулин подсел к собакам рядом и, закатывая глаза, завыл по-волчьи:

— У-у-у-о-о-о!..

Сначала одна, потом вторая собака, и наконец все три затагнули:

— У-у-у-о-о-о!..

И Кобелеву-Малишевскому казалось, что сидят это не три собаки и человек, а все четыре плотника и воют, не зная о чем:

— У-у-у-о-о-о!..

Внутри, на душе, что-то непонятное и страшное. Малишевский вспомнил — сибиряки не любят ни разговаривать, ни петь, и ему стало еще тоскливее.

— Ты гипнотизер,— сказал он, подходя к Горбулину. Горбулин потянулся к нему ухом.

— Не слышу.

Кобелев-Малишевский повторил:

— Гипнотизер ты.

Горбулин завыл еще протяжнее:

— У-у-у-о-о-о!..

Собаки с красными, стекленевшими глазами вторили:

— У-у-у-о-о-о!..

Кубдя с размаху вылил ведро воды на костер. Огонь зашипел, пошел белый пар — словно в середину желтого костра опустился туман.

Малишевский пошел прочь от костра.

Амбары рубили позади пригонов, где начинался лес и камень. По бокам — сосны, а сзади — серые, сырые на вид камни.

Дальше шли горы, — если взлезть на сосну, увидишь белые зубы белков. Прямо упирались в глаза пригоны, за ними монастырские колокольни с куполами, похожими на приглаженные ребячьи головки, чистые строения.

Спали плотники в избе, срубленной недавно, рядом с пригонами. По вечерам неослабным говором, мерно и жутко отдававшимся в горах, били в колокол.

Плотники в это время играли в карты, в «двадцать одно».

Емолин у работы был совсем другой, чем в селе. И строже, и как-то у места.

Ходил быстро, длинный, как сосна, в рыжем зипуне и, спешно перебирая тонкими, словно бумага, губами, вкрадчиво и строго поторапливал:

— Вы живее, вопленики!..

Отвечать ему не желали, только Беспалых это нудило.

— Иди ты подале, кила трехъярусная!..

Емолин опалил постройку взглядом и смолкал, а через минуту, словно в недуге, опять говорил:

— Пошевеливайся мясом!..

Рубили углы амбара в лапу: бревна без выпуска концов, как тесовые ящики. Так хоть дерево бережется, но в избе холоднее.

Кубдя настоял, чтоб хоть наставляли стык бревна в зуб: конец на конец, стесав оба накось и запустив один в другой уступом.

— Эх, рубители! — вскрикивал Кубдя.

Гнулись в единых взмахах мокрые спины. Под один гуд тесались бревна.

Звенели дрожью, отсвечивая на солнце, большие, похожие на играющих рыб топоры. Бледно-желтые, смолисто пахнущие щепы летали в воздухе, как птицы.

Емолин ходил вокруг, неизъяснимо улыбался и говорил сказками:

— Столяры да плотники от бога прокляты; за то их проклинали, что много лесу перевели.

Натирая «нитку» мелом, Беспалых отвечал:

— Кабы не клин да не мох, так бы и плотник издох!.. Уйди, человечесий наструг, зашибу!..

Семисаженные мачтовики и трехсаженные кряжи лежали, тесно прижавшись желтой корой друг к другу.

На коре выступала прозрачная смола, и бревна пахли мхом.

Емолин не любил, когда курят.

— Надо скорей катать.

Плотники усаживались на бревна, закуривали и начинали разговаривать. Емолин ходил мимо, одним глазом смотрел на них, а потом, как гусь, заворачивал набок голову и смотрел в небо.

— Солнце высоко, ребята.

Сюда, в Улейскую обитель, забросило их, как перо ветром: везде, говорили, народ бунтуется и хочет свою, крестьянскую власть. Это говорили и приезжие мужики, и бабы, привозившие провизию, и Емолин твердил:

— Сруб кончите, запишемся в дружину «креста» — и айда большевиков крыть!..

Соломиных гудел что-то под нос, гудело под ним бревно, а Кубдя неожиданно спросил:

— У тебя баба брюхата?..

— На кой тебе ее, брюхату, надо?

— К тому, что скоро брюхатых мобилизовать будут. Народу не хватает.

Емолин качнул головой.

— Дурак ты, Кубдя, хоть и большой человек. Брякнешь зря.

— Ей-богу!.. Они такой-то народ боятся брать, бунтуют. А брюхаты как раз, как забунтует, так и скинет.

— Порют вас мало.

— На чей скус...

Плотники оставили топоры и хохотали.

— Уходи лучше, драч, уходи!..

Емолин хвалился:

— Донесу милиции: против правительства идете.

Плотники хохотали:

— Донеси только — нос отрубим.

Однажды пришел из лесу настоятель. Емолин перед тем матерно выругал Беспалых и, увидев настоятеля, согнулся, сделал руки блюдечком и подошел под благословенье.

На плече у настоятеля лежали удилица и в правой руке — котелок с рыбой. Он поставил котелок на землю и благословил Емолина.

— Как работаете?

— Ничего, слава богу, отец игумен.

Беспалых ударил топором в бревно и пропел вполголоса:

— Отец игумен вокруг гумен...

Монах, должно быть, услышал. Он пошевелил удилицами на плече. Был он сегодня недоволен плохим уловом и сказал строго Емолину:

— А плотники-то твои, сынок, развращеннейший народ.

Емолин в душе выругался, но снаружи вертляво обошел вокруг монаха и заискивающе сказал:

— По воспитанию знаете, отец игумен.

У игумена была черная ровная борода, казавшаяся подвешенным к скулам и подбородку куском сукна.

Кубдя посмотрел ему в бороду и подумал: «Вот не-тя: ни на работу, ни на шутку!»

И неожиданно игумен бросил удочки на землю, как-то сразу пожелтел и, взмахнув широкими рукавами рясы, закричал на Емолина:

— Молчать!.. Не разговаривать, сукин сын!.. А-а?..

Емолин испуганно попятился, плотники взглянули на его сразу осевшую фигуру и захохотали. Монах обернулся к ним, подскочил к срубе, плюнул и крикнул:

— Проклянну, подлецы!..

И, не подобрав удочек и ведерка, ушел, издали похожий на колокол.

Емолин смущенно сморщился и нерешительно протянул:

— Вот нрав.— Немного погода добавил: — Стерва, а?..

Плотники оставили топоры и хохотали.

За удочками пришел тонкий и длинный, похожий на камышинку монашек в облезлой бархатной скуфье и ряске из «чертовой кожи».

— Что ты, монах будешь? — крикнул ему Горбулин.

Монашек застенчиво ответил:

— Рясофорный я... не пострижен...

— У те чо, молоко-то бугаи эти высосали,— ишь ведь, как холстина!

— Онп высосут! — подхватил Беспалых.

Монашек покраснел.

Плотники осмеяли его, и он, заплетаясь длинными ногами в больших сапогах, потащил удочки и котелок.

Емолин долго ругал игумена, а потом набросился на плотников. Кубдя послал его к «бабушке», и подрядчик смолк. С городскими рабочими он поступил бы круче, но эти могли бросить работу и уйти.

Говорили, что в Алтае ездят карательные отряды и усмиряют крестьян.

Теперь впереди «карателей» шло темное и страшное, что обрушивалось часто на «большевицкие» деревни и хоронило в огне и крови роптавших.

Но и каратели не появлялись по одному. Из леса стреляли поодиночке и, подстрелив, прибывали гвоздями к плечам погонны, а потом бросали посреди дороги — на страх и поучение.

На Зосиму — Савватия-пчельника Кубдя сказал Беспалых:

- Завтра — крышка!
- Чего? — не понял тот.
- Не работаем.

Беспалых подумал и недоумевающе вздернул плечи.

- Не пойму, парень.
- Зосим — Савватий...
- Ну?
- В Улее престол.

Беспалых даже подпрыгнул.

- Вот черт! А я и забыл. Идем, что ли?

Кубдя посмотрел вверх. Редкие, прозрачные облака, как кисея, застилали небо. Ниже они падали на тайгу.

- Люблю охоту... Айда пополюем.
- Ружья нету.
- Соломиных привез берданку.
- Не даст.

— Даст. Он в гости идет, с утра завтра, с Горбулиным вместе, — на престол, в Улею.

Беспалых поддернул штаны, быстро высморкался и пошел просить берданку.

Наутро день был чистый, чуть ветреный. Кубдя и Беспалых надели на лицо и шею сетки от комаров, зарядили берданку и спустились к речке.

В тальнике ветра не было; тонким, непрерывающим звоном пел комар, пролетал через сетку и яростно кусался. Под ногами, хрустя, ломались гнилые сучья, пахло илом, осокой.

Река казалась иссиня-черной, а мелкий песок — желтым.

— От солнца, — сказал Кубдя.

В речных тихих затонах, в опоясках камыша, было много дичи. Они стреляли. Кубдя всегда влет, а потом Беспалых снимал штаны и лез в воду. Лопушники хватали его за ноги, он фыркал и кричал Кубде:

— Егорка! Утону!

Кубдя, грязный, весь в пуху, сиял на берегу своим корявым лицом, отвечая:

— Ничиво. Монастырь близко: сорокоуст закажем.

Если утка была не добыта, Беспалых перекусывал ей горло и говорил:

— Обдери душеньку свою.

Уже отошли далеко от монастыря. Виднелись белки с синими жилками речушек.

— Пойдем назад, — сказал запыхавшийся Беспалых. — Куда нам их бить, обожраться, что ли...

Кубдя лез через камыш, чавкая сапогами в грязи, и неторопливо покрикивал:

— Еще, Ваньша, немного еще...

Беспалых плюнул и сел на корягу.

— Не пойду, — сказал он.

Кубдя пошел один. Скоро где-то в камышах грохнул выстрел. Беспалых хотел пойти, но удержался. «Ну его к черту, — подумал он, — с ним не выйдешь».

— Егорка-а!..

— Ну-у?..

— Сюда иди-и, ха-ле-ра-а!..

Беспалых не откликнулся. Он хотел закурить, но вспомнил про сетку и выругался. Тогда он стал думать, нужно ему жениться или еще рано. Уже двадцать четыре года, а парень не женат.

«Пора уже», — решил он.

На елани трава была под мышки, и Беспалых не было видно на коряжине, он решил отдохнуть и отправиться один. Беспалых прислонился головой к дереву, под голову положил утку, ружье в ноги и закрыл глаза.

Разбудил его Кубдя. Он стоял перед ним и, дергая его за рукав, улыбался:

— Буде, выспался, пойдем на престол.

Кубдя был доволен и охотой, и разыгравшимся теплым днем, и ломотой в пояснице с устатка. Шагая мимо сырых стволов осин, он посвистывал и, смеясь, оглядывался на вяло тащившегося сзади Беспалых.

Беспалых, как и всегда после сна на солнце днем, распарило, и во рту его неприятно сластило.

— Айда домой, — сказал он, перебрасывая уток с руки на руку.

— Нельзя, надо бога вести как следует: осмеет народ.

Они, как и все сибиряки, редко заглядывали в церковь, но не по пьянствовать во время праздника считали грехом.

С утра густо дымились трубы: жирным черным пятном полз дым в небо. Сразу было видно, что пекут блины и шаньги. На скамейках у ворот сидели мужики и, покуривая, говорили о хозяйстве.

На них были новые, пахнувшие краской ситцевые рубахи, — не измятые еще рубахи топорщились колом, и похоже, что одели мужиков в бересту.

Парни ходили в ряд под гармошку по деревне.

Испорченная гармошка врала. Они же молча изгибались из стороны в сторону, лица у всех были серьезные, и не верилось, что идут пьяные люди, далеко пахнувшие самогонкой.

За парнями, тоже в ряд, как утята за маткой, шли девки в ярких кашемировых платьях и голосисто пели:

Я иду-иду болотинкой,
Машу-машу рукой,—
Чернобровый мой миленочек,
Возьми меня с собой.

Кубдя и Беспалых бросили уток к учителю в сени.

Хотели снять ружья, но Беспалых сказал:

— Возьмем для близиру: хоть штаны рваны, а берданку имеем.

Умылись, повесили ружья за плечи; Беспалых перебул для чего-то сапоги, потом вышли на улицу, поздоровались с парнями и пошли в ряд, под гармошку.

Гармонист шел в середине и, втянув губы в рот, так нес гармошку и с таким видом играл, словно научился и приобрел впервые ее. Солнце отсвечивало на жестянках клавишей, на кругленьких колокольчиках гармошки.

Под ногами гнулась молодая трава, из палисадников пахло черемухой, а на маленькой церковке торопливо, под «камаринского», трезвонили:

— Ту-лю-лю-ли-бо-ом!.. Бом!.. Бэм-м...

Когда так молчаливо и с удовольствием прошли две улицы, гармонист предложил:

— Айдайте к Антошке?

Пискливый голосок из ряда сказал:

— Айдайте.

Парни свернули к Антошке Селезневу.

Антон Селезнев, высокий и строгий мужик лет пятидесяти, встретил их у ворот. На нем был синий пиджак и штаны, вправленные в лаковые сапоги. Окладистой русской бородой, гладко причесанными, в скобу, волосами он тряхнул так самодовольно, что все ласково улыбнулись.

Он считался в селе всех богаче, и его всегда выбирали в церковные старосты,— поэтому-то он сегодня и угощал всех.

Селезнев провел парней к крыльцу, зашел в сени, постучал чем-то деревянным и проговорил:

— Заходи.

Парни один за другим заходили, выпивали по кружке самогонки, брали в руку пирог с калиной,— и кто был этим удовлетворен, тот выходил за ворота.

Кубдя выпил подряд две кружки, вышел на крыльцо, сел, откусил кусок пирога. К нему подошел петух, рыжий, с одним глазом.

Кубдя бросил ему корку, петух посмотрел пренебрежительно и тихонько отодвинулся. Беспалых чуть улыбнулся.

— Не ест,— сказал он.— Нравный.

Селезнев вышел с глиняной кружкой в руке и спросил:

— Еще, паря, не хотите?

Беспалых повел плечом.

— Потом, Антон Семеныч. У те петух-то пошто хлеб не ест?

— Время знат. Он у меня утром да вечером ест только. Два раза напнется — и ничего.

— Терпит?

— Не жалуется.

— Чудна Русь! — воскликнул Беспалых.— А самогонка у те добра. Табаку мешаешь, что ли?

— Ничего не мешаю,— сказал Селезнев, хозяйственно оглядывая двор.— У тебя что, голова болит?

— Не болит, а кружится.

Кубдя сказал:

— С большой ходьбы.

— Полевали? — лениво спросил Селезнев.

— Полевали.

— Бы-ват,— протянул Селезнев и замолчал.

Молчали так, словно вели большой и важный разговор. Селезнев выпил самогонки и выхлестнул остатки на землю.

— Пью, пью ее,— сказал он,— а не берет. Даже злюсь.

Беспалых посоветовал:

— А ты на голодно брюхо пей.

— На сохатого лихоманку напустить хочет. Ха-а!.. — рассмеялся Кубдя не столько над Беспалых, сколько над собой: голова его начала медленно и весело наполняться туманом.

Селезнев сел на крыльцо, свернул папироску.

— Робите? — полунасмешливо спросил он.

— Робим.

— Та-ак... Али дома места нету? Земля высохла?

Беспалых стукнул себя кулаком в грудь:

— Потому мы странники!.. Разжевал, Антон Семенич?

— Валяй в охоту тогда; что к чужому человеку в кабалу лезть? Не вникну я в вас. Чужую грязь гатить?.. Что проку-то?..

Кубдя с остановившимся, пьянящимся взглядом взял под мышку Селезнева.

— А ты, мил друг, не дури. Сам знаешь, с каких доходов на работу идешь. Потому-у: тоска-а!.. Был, я скажу тебе, в германскую войну, в Польше был, в Германии был,— и он, и он — все!..

Кубдя указал на Беспалых и еще на кого-то в ворота,

— Посмотрели: во-от народ... Живут, скажу тебе, робют. Чисто, сухо, кругом машина. Он тебе и человека убивать машину придумал таку — по воде и по воздуху, не говоря обо всем прочем.

— Не ври хоть...

— А ты переври лучше. Поработал он тебе в силу и отдыхает.

— А тебе плохо?

— Плохо?! — Кубдя разозленно заговорил: — Недовольны мы, понял? Желаем жить — чтобы в одно за всеми, а не у свиньи хвост лизать. Вот тебе, дескать, мамкина сиська. И с такого положенья встосковали мы!..

— Не все сразу. Скоро-то, знаешь, насчет кошек говорят...

— Зря говорят! Ленив человек-то, ленив, стерва! Ему бы все в пузе ковырять да брата своего вылаять. Нет, ты прожгись через работу-то да выплачься — вот и поймешь, на какое место заплатку ставить надо.

— А ты научи.

Кубдя соскочил с крыльца и, пошатнувшись, рассмеялся:

— Сам-то во тьме иду.

— Свечку надо?

— Не из твоей ли церкви?

Селезнев провел рукой по бороде от горла к носу и ухмыльнулся глазами:

— Свечки-то все одинаковы, лишь бы светили. Ты думаешь — с такой, а я — с другой, а к месту-то одному придем.

— К одному ли, Антон Семеныч?

Кубдя подхватил Беспалых под руку и пошел.

— Сиди, — сказал Селезнев.

— Пойдем лучше, поветримся. А то парень-то скис, — сказал Кубдя.

Селезнев шумно вздохнул и возвратился в горницу.

Тут сидели и пили самогонку гости из соседней деревни: маслодельный мастер — жирный, лысый, как горшок, мужик; мельник, как и все мельники, большой любитель церковного чтения и большой бабник, со своей дочкой; священник с дьячком.

Жена Селезнева, широколицая, высокая баба, наливала гостям самогонку в рюмки и, колыхаясь перетянутым животом, говорила:

— Кушайте, не стесняйтесь, кушайте...

В избе было жарко. Пахло зерном прелым — от самогонки, хлебом, геранью, табаком.

Мельник пронзительно, словно в избе шла мельница о шести поставах, спорил с попом и дьячком о двоеперстном крещении.

Попу хотелось спать, но уйти было неловко, и он отпихивал от себя рукой мельника.

— Уйди ты от греха, уйди!..

— Я те докажу! — кричал мельник. — От закона божия докажу, от катехизиса, от всяких, всяких!.. Сознаешь?..

Псаломщик потрогал за плечо мельника.

— Что ты одно и то же затвердил? Ты факты приводи, а криком-то и дурак возьмет, да!..

Маслодельный мастер спорил со всеми тремя и, не слушая ни их, ни себя, бубнил:

— Поп! Хоть у те и рыло и брови как у пророка, а я тебя не желаю слушать, так как моя душа самого меня хочет слушать! У всякого человека есть внутри свой соловей... А ты мне там про Священно писанье!..

Мастер поднял вверх руки и басом заорал:

— Благослови, владыко-о!..

Псаломщик отскочил от попа и умильно взглянул на Антона.

— Блистательно народ живет.

Антон чувствовал усталость во всем теле.

Была долгая утренняя и обедня, причем нужно было стоять впереди всех и, ощущая на себе взгляды, кланяться и креститься особенно истово и неторопливо; работник куда-то скрылся, и нужно было самому гнать лошадей к водопою, дать им сена.

И брала злость, а не хотелось ради праздника злиться.

Селезнев взял псаломщика за плечи, усадил рядом с собой и сказал:

— Ну, рассказывай, Никита Петрович.

Псаломщик повел высохшим лицом во все стороны и сказал.

— Домовитый вы, Антон Семеныч.

— Иначе нельзя.

— У нас в России не так.

Антон взглянул на него оживившимся мыслью взглядом.

— Знаю. Бывал.

Псаломщик стиснул зубы и вздохнул так, словно выпустил душу.

— Тоже хочу хозяйством обзавестись.

— Без хозяйства человек — ветер.

— А дальнейшее само собой, а?

— Что?

— Ну жизнь?

Псаломщик хитровато уставился на крупного чернобородого человека и подумал: «Крупен, дядюшка. А и плутень тоже».

Антон устало проговорил:

— Кто как хочет, тот и строит свою жизнь-то.

— А бог?

— Бог для ночи нужен. С ним днeвать не приходится. В это время к Антону подошла баба и сказала:

— Там те, мужик, спрашивают.

— Кто?

— Милиционеры, что ли. С ружьями, на паре приехали. У ворот.

Селезнев взглянул на ее побледневшее лицо и недовольным голосом проговорил:

— А ты уж скисла.

И, поскрипывая сапогами, мелким шагом вышел к милиционерам.

Их было двое. Они сидели в коробке и о чем-то разговаривали между собой. Каурые лошади утомленно отгоняли хвостом жужжащих мух.

Ямщик — молоденький мальчишка — смотрел на что-то у колес.

Селезнев подумал, что милиционеры свернули выпить, и он решил их угостить получше.

— Заворачивайте, — сказал он.

Милиционеры взглянули на него. Один из них был на городской манер — бритый, без усов и бороды, второй, совсем молодой, с начесанным на фуражку курчавым хохлом волоса.

Милиционер постарше сказал:

— Ты Антон Семеныч Селезнев?

И то, что сказал он эти слова так, как их говорят на суде, не понравилось Антону. Он сказал:

— Я самый.

Милиционеры переглянулись и, перегибая коробок, вылезли направо.

К коробу сбирался народ — парни, девки.

Старший милиционер оглянулся и увидел Кубдю и Беспалых с ружьями.

— Разрешенья есть? — спросил он все так же строго.

— Много, — весело отвечал Кубдя.

Милиционер потрогал кобуру у пояса, и говорить такие холодные, протокольные слова ему, должно быть, очень понравилось. Он сказал:

— Потом разберемся. Вы не уходите.

— Ладно,— сказал Беспалых.— Мы ведь здешние.

— А народ пусть разоидется. В свидетели охота? Где тут староста?

Вышел староста, заспанный мужик в сатинетовой рубашке без опояски.

— Я староста,— бабьим голосом проговорил он.

Милиционер с неудовольствием сказал:

— Дождаться тебя приходится. Обыск вот надо произвести. Самогонку, говорят, курите?

— А кто их знат! — равнодушно ответил староста.

Милиционеры были городские, и при виде этих лохматых пьяных людей, узеньких линий глаз — где бог знает какие мысли прячутся — они вначале немного трусили.

Потом, увидав, как мужики торопливо расступились перед шинелями английского образца, пуговицами со львами и голубыми французскими обмотками, милиционеры развеселились и, вспомнив про свою трусость, осерчали.

Младший, не привыкший к ружью и постоянно поправляющий ремень, входя во двор, крикнул:

— Пьянствовать тут!..

Крик его походил на жалобу, и он смолк.

Аппарат для курения самогонки — два толстых глиняных горшка с рядом медных трубочек и жестяной холодильник — стоял под навесом, на телеге, накрытой кошмой.

Тут же стоял и бочонок с невыпитой самогонкой. Милиционер вытащил из кармана бумагу и чернильницу и начал писать протокол.

В толпе переговаривались:

— Ишь, хотят, чтоб цареву водку пили!

— Торговлю отбивашь, дескать!..

— И не говори.

Молоденький милиционер поджал губы и ссупил брови.

— Ишь ты, задело!

— Не пьет!

Составив протокол, милиционер разбил ружьем горшки, прободал штыком холодильник и сломал медные трубки.

Мужики молчали.

Милиционер опрокинул на землю самогонку. Образовалась лужица, блеснула темноватая крыша пригона, и самогонку впитала земля.

Запахло горячим хлебом.

— Вот паскуда! — крикнул кто-то из толпы.

Милиционеру было жалко и самогонку и себя, совершающего такие нехорошие поступки; он рассердился:

— Молчать, чалдонье!

Милиционер помоложе ухватился за ружье.

— Всех переарестуем.

Толпа задышала быстрее и нажала на милиционеров. Им было тесно; старший милиционер начал ругаться по-матерному, второй испуганно глядел в пьяные, быстро мигающие лица.

Мужики пажимали.

В груди и бока милиционерам уперлись чьи-то твердые локти и руки. Пахло самогонкой и еще чем-то нехорошим — кажется, прелым камышом от повети.

Затрещал коробок у ворот.

Старший милиционер попробовал пройти — не пускают. Кругом глаза и теплое человеческое дыхание.

Милиционер помоложе вскрикнул, раздался его голос немного с хрипотцой. Его товарищ вдруг длинно, матерком каторжан, выругался.

Кто-то из толпы — вертлявый и маленький — выскочил и ударил его в зубы.

Милиционер горласто крикнул и выстрелил подряд три раза в толпу из револьвера.

Охнули.

Толпа расступилась.

Милиционеры, согнувшись, побежали к воротам.

Лица их вспотели, дрябло сморщились и иссиня побелели, как известка.

Они вскочили в коробок. Мальчишка-кучер гикнул.

Беспалых замахал руками.

— У-лю-лю-ю!..

И, сорвав с плеча ружье, выстрелил вслед им сразу из обоих стволов.

Один из милиционеров мотнул головой и нырнул в коробок. Ямщик на передке испуганно, по-бараньи, заверещал.

Кубдя снял берданку и выстрелил в воздух.

Коробок скрылся в переулочек.

Мужики вышли из ограды с чувством большой беды.

У Беспалых обомлели ноги, он взглянул на Кубдю, и ему показалось, что Кубдя как будто доволен.

У Беспалых зашумело в ушах, и он быстро пошел в монастырь.

Кубдя догнал его на мосту и под стук каблуков в доски сказал ему прерывающимся голосом:

— Поохотились!..

Вечером Горбулин и Соломиных слушали, как Беспалых, задыхаясь и бегая по избе, рассказывал, как прогнали милиционеров.

Горбулин восторженно плескался руками в воздухе и поддакивал:

— Так их... так...

И было непонятно, почему так разбудилось это ленивое и сонное тело.

Соломиных сидел, поджав ноги калачиком, по-киргизски, и издали при свете сальника походил на божка.

Кубдя спал.

В монастыре протяжно пели.

В горах с шипом шумели кедры, и где-то далеко грохотало, должно быть, «плакали белки», рушились льды ледников. Тьма зеленоватым кошачьим зрачком щурилась в окна.

В конце рассказа в сенях застучали. Кто-то долго шарил дверь. Беспалых смолк. Вошел Емолин и испуганно заговорил:

— Под суд подвели, сволочи! Кубдя, где Кубдя-то?

Беспалых сказал:

— Спит.

Емолин отскочил к дверям. Из темноты по-иному звучал его наполненный чем-то другим, не всегдашним, голос.

— Спит!.. Убил человека и дрыхнет. Вот каторжане, а! Господи, ну и угораздило меня связаться с ним! Теперь и меня-то из монастыря выгонят. А он дрыхнет. Буди, что ли, его, Егорша!..

Соломиных спросил:

— В сам деле убил?

— Наповал. Так в шею, братец ты мой, и всадил всю дробь.

— Дробью убил?

— И черт его угораздил!

Емолин подбежал и толкнул ногой Кубдю.

— Вставай ты, леший драный...

— Теперь вошьют,— сказал Соломиных, и Беспалых показалось, что говорит он, точно радуясь.— Или повесят, или расстреляют.

— Обоих?

— Може, и всех четырех.

— А нас-то с чего?

— Разбираться не будут.

Емолин дергал Кубдю и ругался:

— Вставай, каторжная душа, лихоманка. По-людски бужу, человеку тебя надо.

У Кубди кружилась голова, он присел на голбце, зевнул — в челюстях пискнуло.

— Что те, подрядчик, надо? — сказал он хрипло.

— Человек тебя спрашивает.

— Кто?

Емолин отошел к дверям и крикнул в темноту:

— Иди-ка сюда, Антон Семеныч!

Селезнев перекрестился и поздоровался. Кубдя взял ковш и с шумом напился.

— Ну, парень, и самогонка! — сказал он с удовольствием.— А ты что на ночь-то глядя пришел, дядя Антон?

Емолин сказал:

— Вот, клин тебе в глаз, еще спрашивают! Убил человека — и хоть бы что?

— Всем одна смерть,— сказал Кубдя, садясь на лавку.

— Ну, а я пойду,— торопливо сказал Емолин,— мне тут рук марать не приходится. Разбирайтесь сами, а только как хотите, а повесят вас.

— Повесят,— равнодушно подтвердил Соломиных.

Помолчали, сколько требуется по положению, и Кубдя спросил:

— Самовар, что ли, поставить?

— Не надо,— сказал Селезнев.— Я ведь ненадолго. К тому пришел — собираться вам надо.

Кубдя положил ногу на ногу и посмотрел в потолок.

— Наши сборы не долги. Куда идти-то?

— В чернь.

Беспалых переспросил:

— В тайгу?

Селезнев промолчал и немного спустя добавил:

— Как хошь, мне одно. Только вам уйти надо. Расстреляют колчаки-то. Я седла и тюки приготовлю, поди под завтрашнюю ночь придут.

— Придут, — сказал Соломиных.

— В чернь, одно. Нам с этой властью не венчаться. Наша власть советская, хрестьянская...

Беспалых спросил:

— Думаешь, самогонку даст гнать?

Селезнев опять не ответил ничего и спросил:

— Как вы-то маракуете?

Решили, что да, нужно идти в чернь.

Селезнев пошел к дверям так, словно поить лошадей — не торопясь, и у него была широкая, лошадиная спина с заметным желобком посредине.

Кубдя посмотрел на него с уважением и, когда он ушел, сказал:

— Здоровый, черт, и есть у него своя блоха на уме.

VI

Приземистый и краснощекий капитан Попов, начальник уезда в Ниловске, искренне был недоволен собой. В других уездах как будто ничего, а здесь — не то восстания, не то блажь.

— Балда! Бабища! — выругал он сам себя и велел денщику позвать прапорщика Висневского.

Возвращаясь к столу, он заметил, что нога у него как-то неловко косится. Он поднял ногу на стул.

Каблук скривился. Попов пощупал сапог. В таком положении и застал его прапорщик Висневский. Капитан, не глядя на него, сказал:

— Вот, говорят, деньги большие получаем. А сапогкупить не на что.

Прапорщик считал себя очень вежливым и сейчас нашел нужным звякнуть шпорами и поклониться.

— Слышали? — спросил капитан, указывая пальцем на лежавшую на столе бумажку. — В Улее-то милиционера убили.

Прапорщик пожал крутыми плечами и подумал: «Меньше бы распускали их»,— а вслух сказал:

— Пьяные. Не думаю на большевиков.

— Напрасно,— сухо сказал капитан.— В газетах сводки «На внутренних фронтах» появились. Это тоже, думаете, не большевики? Э-эх!.. Углубления в жизнь у вас недостает.

Прапорщик обиделся.

— Возьмите сорок человек из ваших и успокойте их там, в Улее. Да имейте в виду: не на пьяных поедете.

— Приказ письменный будет? — спросил прапорщик.

— Будет. Напишут.

Капитан сделал плаксивое лицо и шумно вздохнул:

— Эх, господи! Вот времена подошли: не знаешь, от куда и народ рассмотреть. Измаешься... Курите?

Прапорщик закурил и, довольный назначением, подумал: «А он не злой».

В обед на другой день отряд польских уланов под командой прапорщика Висневского выехал усмирять крестьян.

Уланы были взяты из польского легиона, стоявшего в Барнауле.

Все они знали хорошо эту землю, горы и крестьян, которых ехали усмирять. Большая часть из них раньше работала у крестьян, еще при царе,— по году, по два.

Некоторые из уланов, проезжая знакомые деревни, раскланивались с крестьянами.

Крестьяне молча дивовались на их красные штаны и синие, расшитые белыми шнурками куртки.

Но чем дальше они отъезжали от города и углублялись в поля и леса, тем больше и больше менялся их характер. Они с гиканьем проносились по деревне, иногда стреляя в воздух, и им временами казалось, что они в неизвестной завоеванной стране,— такие были испуганные лица у крестьян и так все замирало, когда они приближались.

Отъезжая дальше от города, уланы и с ними прапорщик Висневский чувствовали себя так, как чувствует уставший, потный человек в жаркий день, раздеваясь и залезая в воду. Там, у низеньких домишек уездного городка, осталось то, что почти полжизни накладывал на

них город, — и уважение, и сдержанность, и еще многое другое, заставлявшее душу всегда быть настороже.

Все это сразу стерли в порошок и пустили по ветру бесконечные древние поля, леса, узкие, заросшие травой колеи дороги и возможность повелевать человеческой жизнью.

Все они были люди хорошие, добрые в домашнем кругу, и у всех почти были дети и жены, только прапорщик Висневский жил холостяком.

Прапорщик ехал впереди на серой лошади, заломив маленькую, похожую на пельмень шапочку, глубоко, с радостью дыша и воображая себя старым, древним паном.

Тонкоголовая лошадь с коротким, крепким крупом тоже чувствовала себя хорошо и, поигрывая мокроватыми желваками мускулов, шла легко и спокойно.

Вначале уланы ограничивались стрельбой в воздух, ловлей кур на ужин, но потом им это надоело, и они начали искать большевиков. Призывали старосту в поле и допрашивали:

— Кто большевикам сочувствует?

И спрашивали не в той деревне, где останавливались, а в соседней. Староста указывал, — тогда уланы ехали туда, арестовывали и пороли плетями.

Взятые мужики указывали на других, и так, переезжая из села в село, уланы имели возможность оставлять по себе кровоточащие долгие следы.

Недалеко от Улеи поймали действительного большевика-кузнеца, раньше бывшего в городе красногвардейцем и бежавшего в деревню после переворота.

Кузнец был низенький человек с длинными руками.

Кузнеца отвели к поскотине и тут, у избушки сторожа, пристрелили.

В этом же селе уланы вечером надолго ушли куда-то и, возвратясь, многозначительно друг дружке подмигивали и хохотали. Но, как и везде, никто не жаловался.

Уже поздно вечером в разговоре прапорщик понял, что они насиловали девок, и это ему было неприятно, а вместе с тем и радостно знать.

Неприятно потому, что в городе насилия над женщинами не одобряли и за это мог быть порядочный нагоняй, а радостно потому, что прапорщику давно хотелось обнять здесь, на просторе, простую, пахнущую хлебом, деревенскую девку, а если не поддастся сама, то изнасиловать.

Прапорщику казалось, что все презирающие насиллие лгут и самим себе и другим.

На другой день приехали в Улею, — это было ровно неделя с того дня, как здесь убили милиционера.

Так же стояли темные избы, так же блистали радугой зацветшие стекла окон, улица была узенькая, как обшлаг сибирской рубахи, темная и прохладная.

На горе, как лицо девицы в шубном воротнике, тонул монастырь в лесу. По мосту постукивали копытцами овцы; пахло черемухой и водой от речки.

Мужики были на пашне. Висневский строго приказал старосте собрать их к вечеру, а сам прилег под навес на телегу и уснул.

Уланы зарезали у старосты овцу и стали жарить ее посреди двора.

От костра летели искры, староста боялся пожара, но ласково улыбался и семенял вокруг уланов.

На высокий забор вскочил с усилием, помогая себе крыльями, петух и кукарекнул.

Один из уланов прицелился и выстрелил. Петух, как созревший плод, грузно упал на землю. И тут староста ласково улыбнулся и проговорил:

— Ишь ведь, убил.

Улан взглянул на притворявшегося старикашку, ему захотелось выстрелить в эту ровную, как столешница, грудь. Он отложил ружье.

Под вечер собрались мужики.

Прапорщик отобрал десять из них, самых страшных на вид, и велел посадить в избу, приставив часового.

Остальных мужиков уланы выноролы и отпустили.

Прапорщик спросил старосту:

— А те, которые убили, скрылись?

— Так точно, — ответил поспешно староста.

— И не знаешь где?

— Не могу знать.

Прапорщик выгнал старосту и велел позвать учителя.

— Садитесь! — сказал прапорщик Кобелеву-Малишевскому. — Очень рад познакомиться с культурным человеком!

Прапорщик не любил деревенских учителей, и от мужиков, по его мнению, они отличались только бритой бородой. Так и этот хлипкий и конфузливый человек ему не понравился.

Прапорщик угостил Кобелева-Малишевского маньчжурской сигареткой и спросил:

— Как вы живете в такой берлоге?

— Привычка!

Кобелев-Малишевский чувствовал свою застенчивость, и ему было стыдно. «Вот одичал-то!» — подумал он и затянулся крепче, а затянувшись, поперхнулся, но кашель превозмог.

— Ну, — недоверчиво проговорил прапорщик, — не могу поверить, чтобы к такому месту привыкнуть можно! У вас, наверное, другие причины есть.

Кобелев подумал, что прапорщик, может быть, подозревает его в большевизме, и торопливо сказал:

— Мамаша у меня на руках, братишки. А в городе, знаете, тяжело жить. Теперь в деревню тянутся.

— Да, в городе не легко. Понятно.

Прапорщик подумал, о чем бы еще поговорить, и спросил:

— А крестьяне не теснят вас?

— Да как сказать... Не особенно... Известно — тайга, народ, сами знаете.

— Бродяги все у вас. И жулики.

Прапорщик поднял кверху брови:

— Много здесь еще крови прольется.

— Много, — согласился поспешно учитель.

— А вы как, не присутствовали тут... при безобразии-то?

— Нет, не пришлось.

— А кто убил, знаете?

Учитель подумал, что скрывать ни к чему, и так, наверное, мужики сказали, — он назвал плотников и Селезнева.

Прапорщик расспросил еще кое-что и спросил фамилию.

— Кобелев-Малишевский, — сказал учитель.

— Странная фамилия! — удивился прапорщик.

И тогда учитель начал излагать, каким путем образовалась эта фамилия. В конце рассказа он, как и всегда, разжалобился сам и, как ему показалось, разжалобил и прапорщика. Висневский сочувственно пожал ему руку и протяжно сказал:

— Да, невыносимо культурному человеку здесь жить.

Учитель выругал мужиков, вспомнил плотников — и

тех тоже выругал, и сказал, протягивая руку с растопыренными пальцами к прапорщику:

— Вот пятеро, а против государства идут. Залезли, как сычи, на Смольную гору и думают — уйдут.

— Куда? — оживляясь, спросил прапорщик.

Учитель вдруг понял свою ошибку.

— Простите меня, — сказал он, побледнев.

Прапорщик озабоченно прошелся по горнице и, подойдя к учителю, взял его за талию.

— Ничего, — сказал он, — ну, проговорились — и ничего. Я не выдам вас. Я понимаю. С мужиками иначе как бы вы стали жить? Это хорошо.

Выходя от старосты, учитель испуганно и озадаченно спрашивал себя:

«Вот дурак!.. Вот дурак!.. Ну как ты это, а, как?»

И опасные, темные мысли торопливо заерзали в его мозгу.

— Завтра ты меня поведешь на Смольную гору. Далеко тут? Смотри, у меня карта есть, не ври.

Староста, заминаясь, проговорил:

— Десять... верст...

Замирая сердцем, прапорщик подумал: «Есть... Не уйдут...»

А вслух заносчиво сказал:

— А пока я тебя арестую, понял? Садись тут и не двигайся.

Староста сел, поцарапал у себя за пазухой, зашептал что-то про себя и подумал: «А меня засолил, паренек».

Прапорщик почистил запыхлившийся национальный значок на левом рукаве и приказал денщику:

— Готовь ужин!

В день, когда прапорщик с уланами поехал ловить на Смольную гору бунтующих мужиков, эти пятеро скрывающихся людей — четыре плотника и Антон Селезнев из Улеи — тоже шли на Смольную гору ночевать, но только не со стороны Золотого озера, где ехали уланы, а с востока, по осиновой черни.

При восходе солнца было еще душно.

— К дождю, — сказал Селезнев.

Шли друг за другом, гуськом. Травы были по горло, ноги липли к тучной, влажной почве.

Тонко пахло узколистыми папоротниками и светло-зелеными пучками, дикая крапива свивалась вокруг ног.

Подгнившие от старости темные осины, сломленные ветром, наполовину уткнулись верхушкой в большетравье, и приходилось идти под них, как в ворота.

Кубдя отвык ходить чернью и ругался:

— Тут пчела-то не пролетит, не то что человек. Что б озером-то пойти!

Селезнев обернулся и сказал:

— А мотри, парень, кабы озадков не было!

— А что?

— Всяк человек-то бродит. Вон поляки в Улею-то приехали. Баял я мужикам-то, айда, мол, в горы. Не хотят. Ну, теперь в тюрьме сиди.

— Кабы в тюрьме, — выкрикнул идущий сзади Беспалых, — а то пристрелят!

Селезнев быстро махнул рукой и поймал овода.

— Тоший паут-то, — сказал он, разглядывая овода, — зима теплая будет.

Беспалых воскликнул с сожалением:

— Эх! Пахать бы тебе, паря! За милую душу пахать. А ты воевать хочешь!

Кубдя пренебрежительно сморщился.

— Не мумли, Беспалых, словеса-то.

Селезнев полез через гнилой остов осины, обвитый хмелем. Остов хрустнул, поднялась коричневая пыль. Селезнев снял шапку с сеткой и потряс головой.

— Вот, лешак, весь умазался! Вы, робя, мотри под ноги-то, тут-таки нырбочки попадутся, неуворотному человеку — могла!

— Чтоб тебе стрелило!

Усталые, потные, покрытые пухом с осин и похожие оттого белизной бород на стариков, вышли они на елань, а оттуда ход шел в гору легкий.

Ель, пихта, черные пни прошлогодних палов; где особенно задевал пожар, там росла осина с березой, но тоже молодая, веселая.

С криканьем пролетела над березняком в сторону красная утка-атайка.

— На воду летит, — провожая ее взглядом, сказал Соломинных.

Горбулину, пока шли, все казалось, что идут по следу сохатого, сейчас он потянулся, и узенькие его глаза сонно блеснули.

— Скоро дойдем-то? — спросил он.

Беспалых рассмеялся:

— Посули ему озеро в рот!..

— А ты не гундось, кургузый! — обидевшись, сказал Горбулин. В минуты усталости он часто обижался.

Кубдя строго взглянул и сказал:

— А тут, ребята, не избу рубим, а свою жизнь. Надо лучше друг на друга-то смотреть. Нечего болтать!

Подниматься становилось все тяжелее...

Среди кедра и темно-зеленой пихты попались желтые поляны песчаных, с галькою, россыпей; серел покрытый мхом и лишайником камень.

Дул на россыпях ветер.

Селезнев снял шапку.

— Вспотел, как лошадь на байге, — сказал он и, крепко прижимая рукав к лицу, утерся.

По россыпи один за другим пробежали вихри, крутя хвою.

Селезнев блаженно улыбнулся:

— Опять к дождю, говорю, парни. Урожай поне будет...

Он щелкнул языком, и Кубдя почувствовал смутно, нутром, его тяжелую, мужицкую радость. Кубде это не понравилось, и он усталым голосом спросил:

— Отдохнуть, что ли?

— Можно и отдохнуть. Тама-ка, за кедрой, глядень будет. Айдате!

Он свернул влево. Прошли мимо желтых, словно восковых, стволов сосен. Вышли на небольшую каменную площадку. Кубдя бросил суму и ружье и ухнул:

— У-у-у!..

— У-у-у-о!.. — далеко отбросило эхо.

— Вот местынь, — сказал Кубдя, — аж глазу больно!

И он, слегка наклонившись, будто собираясь прыгнуть, глядел, пока Селезнев ходил куда-то за водой, а Горбулин раздувал костер.

Далеко внизу, зажатое меж гор, уходило Золотое озеро. Оно было синее, с желтоватым отливом, похожее на брошенный в горы длинный блестящий пояс.

Оторачивали озеро лохматые пихты, кедры. За озером в высокое бледное небо белыми клыками упирались белки.

А кругом — лес, вода и камень.

Кубдя лег на брюхо и поглядел вниз. На мгновение он почувствовал себя сросшимся с этим камнем. У него зазнобило на сердце.

Глядень обрывался сразу сажен на полтораста, а там шел пихтач, россыпи и камни. За пихтачом — озеро.

На середине глядя в три человеческих прохода поднималась кверху тропка.

Кубдя обернулся к Селезневу и крикнул:

— Антош, а ведь это она к нам в гору! Тропа-то! Узнал.

— К нам, — отозвался Селезнев, развязывая мешочек с солью. — Вишь, соль отсырела.

Озноб на сердце у Кубди не прекращался.

Селезнев, грузно ступая, подошел к Кубде.

— Иди, чай поспел. Что на него смотреть, — камень и камень. Никакого порядку нету, ему и бог не велел больше расти. Сколько места под пашню пропадат!

Антон зорко взглянул вниз по тропе и слегка тронул Кубдю сапогом.

— Видишь? — сказал он шепотом.

Кубдя не понял:

— Ну?

Селезнев дернул его за руку и тоже быстро лег на живот:

— Да вон, налево-то, мотри.

Голос у Кубди спал:

— Люди!.. На вершине!..

— Поляки, — сказал Селезнев и отполз. — Красные штаны, видишь.

Они на четвереньках проползли несколько шагов, встали и подняли берданки с земли.

— Поляки, — сказал Селезнев плотникам. — Туши...

Беспалых яростно разбросал огонь и начал топтать сапогами угли.

— И чаю не дадут напиться, коловорот им в рот!.. В чернь, что ли, пойдем?

— По-моему, в чернь, — сказал Горбулин и поспешно добавил: — Мужики донесли на нас.

Селезнев заложил патроны и пополз обратно.

— Кубдя!.. — подозвал он плотника. — Айда-ка, попробуем.

Поляки поднимались медленно один за другим по тропинке и весело переговаривались.

Впереди на низенькой брюхатой лошаденке ехал староста.

За ним, на серой лошади, — солдат без винтовки, должно быть, офицер. Ветер нетерпеливо чесал гривы лошадям.

Офицер часто оглядывался по сторонам и даже привставал в седле.

Но мужиков он наверху не замечал.

Антон близко навалился к Кубде, так что борода его терлась о плечо плотника, и, обкусывая бороду, он проговорил:

— Ты тово... третьего... я уж офицера...

— А старик-то?

— Старик — зря он... силком, должно... Ну!..

— Жалко человека-то... Не привык я...

— Ну, и оставался бы... Ничего нет легче человека... убить.

Селезнев положил ему руку на поясницу и ласково сказал:

— Бери, что ли...

Кубдя изнемог, поднял ружье, прицелился.

— Ну, уж бог с ним, — сказал он и выстрелил.

Как бумажки, сдунутые ветром, две лошади и два человека вначале будто подпрыгнули, потом полетели вниз с тропы, кувыркаясь в воздухе.

На тропинке кто-то пронзительно завизжал.

Беспалых выскочил на рамку камня, перегнулся и тоже выстрелил. Поляки медленно пятились, лошади храпели, а мужики, ощерившись, как волки, мокрые, бледные, стреляли и стреляли.

Староста погнал лошадь вперед, но она задрожала, забилась и вместе с седоком опрокинулась вниз...

Вечером действительно пошел дождь.

Мужики разложили большой костер под пихтой и варили щербу из сухой рыбы. Было темно, хвои словно перебирали пальцами, хрустели ветки.

Падал гром, затем желтая молния вонзалась в горы, и камень гудел.

— Гроза на Федора летнего, — лениво сказал Селезнев, — плоха уборка хлеба будет.

— А нам-то что? — спросил Горбулин. — Нам хлеб не убирать.

Селезнев как будто с тоской произнес:

— Не придется нам, это верно...

— Верно... — отозвался Соломиных.

Кубдя посмотрел на две темные глыбы — Соломиных и Селезнева, и ему стало как-то не по себе.

— Жалко землю, что ли? — спросил он резко.

— Землю, парень, зря бросать нельзя. Нужно знать, когда ее бросить... — твердо сказал Селезнев.

— Ну, и любить-то ее больно не за что!

— От бога заказано землю любить.

— Не ври!.. Бог-то в наказание ее людям дал, — прокричал Беспалых, — трудитесь, мол...

Селезнев упрямо повторил:

— Ты, Беспалых, не ерепенся. Может, бог-то и неправильно сказал. А только земля...

— Ну?

Селезнев взял уголек и закурил.

— У меня, Кубдя, в голове муть...

— Поляков жалко?

— Не-е... Человек — что его, его всегда сделать можно. Человек — пыль. А вот не закреплены мы здесь.

— Кем?

— Хрестьянами.

Кубдя озлился; сердито швыркая носом, он поклонился над котелком и помешал ложкой.

— На кой мне шут оно?

— Без этого нельзя.

Кубдя взглянул в его неподвижные глаза и словно подивился:

— Что я, поп, что ли?

— Може, больше...

— А, иди ты!..

— Надо, паря, в сердце жить. Смотреть... Понял?

— А что, я зря ушел? Граблю я? Грабитель?

Говорили они медленно, с усилиями.

Мозги, не привыкшие к сторонней, не связанной с хозяйством мысли, слушались плохо, и каждая мысль вытаскивалась наружу с болью, с мясом изнутри, как вытаскивают крючок из глотки попавшейся рыбы.

Беспалых, в нижнем белье, белый, похожий на спичку с желтенькой головкой, бил в штанах вшей и что-то тихонько насвистывал.

Кубдя указал на него рукой и сказал:

— Вот — живет, и ничья!.. А ты, Антон Семеныч, мучаешься. От дому-то нелегко оторваться тебе.

— Десять домов нажить можно, кабы время было...

— Ну?

— А вот не знаю, что...

Селезнев неловко поднялся, словно карабкаясь из тины, и пошел в темноту.

— Куда ты? — спросил его Кубдя.

— А так... вы спите, я приду сейчас.

Соломиных сожалеюще проговорил:

— Смутно мужику-то.

— Не вникну я в него.

— У тя душа городская. Не зря ты там года пропадал.

Соломиных достал ложки и начал резать хлеб.

— Теперь к нам народ повалит, — довольным голосом сказал он, стучая ножом по хлебной корке.

— Откуда? — спросил Горбулин.

— Таков обычай. Увидят, что за это дело как следует взялись.

Беспалых, натягивая штаны, вставил:

— А по-моему, возьмут берданки, переловят нас — да и в город. А у меня, паря, седни и вшей — у-у!..

— С перепугу.

— Должно, с перепугу.

VII

После избияния поляков отряд стал пополняться.

Ехали в большинстве из соседних с Улеею деревень, боясь мести из города. Такие приезжали вместе со скарбом, с женами и ребятами.

Но были из дальних деревень, почти все солдаты германской войны; они приходили впешую, с котомками и с берданками, у некоторых были даже винтовки.

Становище перенесли глубже в чернь, к Лудяной горе, и здесь разбили палатки. Уже было около полусотни человек.

Встретившись с Кубдей, Селезнев сказал:

— Начальника надо выбирать.

Кубдя словно вытянулся в эти дни, углы рта опустились, а может быть, придавал ему другой вид и прицепленный к поясу револьвер, снятый с убитого поляка. Кубдя согласился, и на паужин назначили собрание.

Кубдя влез на телегу, мужики сели на траву и закурили. Кубдя хотел говорить стоя, но раздумал и только снял картуз.

Среди пяти-шести телег, накрытых для затины кедровыми лапами, бродил белобрюхий щенок, из тайги пахло смолой, и казалось, приехали мужики на сенокос или сбор ореха.

Позади всех стоял на коленках Беспалых и улыбался маленьким, как наперсток, ртом.

Ему было приятно, что теперь они не одни и что с таким уважением слушают все Кубдю.

Кубдя говорил:

— Товарищи!.. Собрались мы сюда известно зачем, вам рассказывать не к чему. Никто никого не гнал, по доброй воле... А только против одного: не надо нам колчаковского старорежимного правления, желаем свою крестьянскую власть. Что мы, волки, всякого охотника бояться? У самих сила есть, а кроме — идет из-за Урала Красная Армия. Нужно продержаться, а там, как уж получится, видно будет. Та-ак... А теперь нужно выбрать начальника, потому овца — и та своего козла имеет, чтобы водить.

Мужики захохотали.

— Думал я, думал, — продолжал Кубдя, — ну, кроме одного человека, никого у нас нет. А так как надо назначить кандидатов, то мой голос за Антона Семеновича Селезнева.

— А мой — за Кубдю, — сказал Беспалых.

Кто-то еще сказал: Соломиных. Соломиных прогудели

— Куда уж мне? Я с бабой-то едва справляюсь.

Долго мужики галдели, как на сходе. Начали поднимать руки. Большинство было за Селезнева, Селезнев густо покраснел. Беспалых сказал:

— Борода загорится.

— Мотри, паря, — добродушно рассмеялся Селезнев, — я теперь начальник.

Но вдруг сжал губы и быстро пошел меж возов к реке.

— Куда он? — недоумевая, спросил Кубдя.

Соломиных посмотрел на идущего по березняку Селезнева и ответил:

— Медвежья душа у человека, никак своей тропы не найдет.

Под вечер в лагерь пришел учитель из Улеи — Кобелев-Малишевский.

Он поздоровался со всеми мужиками за руку и сел рядом с Кубдей.

— А я ведь к вам,— неожиданно для себя сказал он.

Когда он шел, он думал только взглянуть на лагерь и уйти. Кубдя посмотрел на его вытянутую вперед голову, словно его хотели сейчас зарезать, напряженную улыбку и весело сказал:

— Милости просим!

Селезнев увидел учителя и обрадовался:

— Вас-то ведь нам и надо, Николай Осипович.

Учитель улыбнулся еще напряженнее.

— Приказ надо писать. А грамотного человека нету.

— Какой приказ? — спросил Кубдя.

— А вот что отряд действует, и пусть идут, кому надо. А наберется больше — мобилизуем округу.

Все одобрили. Селезнев достал бумаги. Учитель сел, взялся за перо, и робость его исчезла. Он весело взглянул на Кубдю и сказал:

— Что писать-то?

— Пиши,— говорил кратко Селезнев.— «По приказу правительства...»

Учитель запротестовал:

— Надо поставить, какого правительства.

— Лешего ли нас в деревне знают! Им на любое правительство начхать, абы их не трогали. Написал?

— «По приказу правительства...» Написал.

— Пиши дальше! «Объявляется сбор всех желающих... воевать с колчаковскими войсками... пешие и конные... старые и малые... брать с собой обязательно берданку или винтовку... оружия у нас мало...» Нет, это не надо! Сами догадаются. «Являться на сборный пункт...» Во-о!.. Как воинский начальник, чисто! А куда являться — не знаю.

— На небо,— сказал Беспалых.

Кубдя подумал и вставил:

— Говорим так: «Первый партизанский отряд Анто-на Селезнева», — и никаких.

Селезнев запротестовал.

— Нельзя,— сказал Кубдя,— мужик имя любит.

Все согласились, что мужик действительно любит имя...

В деревнях шел слух, что в город приехал из Омска казачий отряд атамана Анненкова. Деревни заволновались. Казаки отличались особенным сладострастьем жестокости при подавлении восстаний. Происходило это потому, что в отряды Анненкова и Красильникова записывались все особенно обиженные Советской властью. Атамановцы на погонах носили изображения черепа и двух скрещивающихся костей.

На базарах загромыхали рыдваны, закрипели телеги — съезжался народ, и после базара, у поскотины, за селами, долго митинговали.

Выступали какие-то ораторы, призывали к восстанию, говорили, что Омск накануне падения, в Славгороде и Павлодаре — Советская власть, и поутру видно было на таежных дорогах мужиков, с котомками и винтовками за плечами направляющихся к Антону Селезеву.

Город тоже жил тревожно.

Говорили, что десятитысячные отряды Антона Селезнева стоят где-то недалеко в тайге и ожидают только удобного случая, чтобы вырезать весь город, за исключением рабочих. На рабочих смотрели с завистью, а начальник уезда, капитан Попов, часто беседовал с начальником контрразведки.

И телеграммы «РТА» сообщали, что красные уже взяли Курган и подступают к Петропавловску, Омск эвакуируется, и, словно подчеркивая эти сообщения жирной красной чертой, ползли по линии железной дороги эшелоны с эвакуированными учреждениями и беженцами.

И по ночам горела тайга, — шли палы, и полнеба освещало алое зарево.

И при свете этого зарева из низенькой кирпичной тюрьмы выводили за город к одинокой белой цистерне «Нобеля» арестованных крестьян. Крестьяне крестились на горевший оранжевой ленточкой восток, и тогда в них стреляли.

И никому не известно было, кто их хоронил и где...

В середине июля поехал в тайгу отряд атамана Анненкова. Была это, вернее, часть отряда, две роты с пулеметами при четырех офицерах. Сам атаман со своими главными силами защищал тогда от восставших крестьян Семипалатинск.

Солдаты отряда были озлоблены и неудачами на фронте и тем, что сильнее разгорается восстание, а их пере-

возят из одного места в другое, и убивают, и заставляют убивать.

Озлобленные, они жгли деревни, скирды, пороли и вешали крестьян, а те отплачивали тем, что пристреливали отстававших или поджигали избы с ночевавшими там атамановцами.

Кубдя хотел ехать в город, дабы сговориться с большевистской ячейкой, работавшей в подполье, но прибежавший из города рабочий с мукомольной мельницы сказал, что ячейка переарестована и члены ее перебиты. Да и в отряд прибывали и прибывали люди.

Имелась уже своя канцелярия, где главенствовал учитель Кобелев-Малишевский, хозяйственная часть, которой управлял Соломиных, и все больше скрипело телег в отряде, и все больше приходило людей к Кубде и Селезневу жаловаться.

Говорили теперь обычные крестьянские нужды: сожгли хлеба, избу, угнали скот, того-то убили; у всех было почти одинаково, и говорили одинаковыми немногословными предложениями, но от каждого мужика и от каждой бабы, отходившей после жалобы прочь, оставалась на сердце все увеличивающаяся тяжесть.

Осанка у всех партизан стала слегка сторбленная, бросили пить, и даже Беспалых, если выпивал, то, ложась спать, стыдливо отворачивался к стене.

Никто этой перемены не замечал, все шло как нужно, люди строжали, отряд становился крупнее, лишь Кубдя временами судорожно хохотал, махая руками, — видимо, старался отойти дальше от обступившего всех чувства связанности с землей, с ее болями и от этих пахнущих таежным дымом людей, каждый день прибывавших на телегах, верхом и впешую на Лудяную гору.

Один Селезнев ходил с головой, откинутой назад, улыбаясь, обнажая верхние резцы зубов.

— Попом тебе, Антон, быть, — говорил Кубдя.

— А тебе — грешником.

Однажды прискакал верхом Емолин. Он радостно потряс всем руки, а Кубдю похлопал по плечу.

— Живешь, парень? Я вас, подлецов, в люди вывел. Молиться на меня должны.

— Достроил амбары-то? — спросил Кубдя.

Емолин закрыл глаза и помотал головой.

— Пока достроишь с вашим братом, нижний ряд сгниет. Ну и времена! И что такое делается, никак я не пойму. Спятил народ, что ли? И смешно и дико смотреть-то...

— А ты поменьше смотри.

— Неужто нельзя?

Емолин плюнул и лукаво хихикнул:

— Я ведь хозяин. Мне любопытно, как люди жисть устраивают, я и смотрю.

— Ты помогай.

— Ну, от нашей помощи вшами изойдешь. Тут инова калибра человек требуется. Я вот метаюсь-метаюсь, езжу-езжу и никак не пойму, какой тут человек надобен. Режут друг друга, жгут и все ждут кого-то, а?

Емолин подтянул подпругу и залез в седло.

— А у вас тут слобода! Кто хошь приезжай. Вот они какие, нонешние-то разбойнички, видал ты их! Чудно живете, паре, чудно!

VIII

Шли разговоры о белых:

— Бегут, бают, колчаковские-то войска!.. Чуть ли не Омск взяли. Вся земля под Советской властью, паре, будет, но-о!..

Маленький веснушчатый Беспалых даже присел на корточки, словно не мог выдержать такой мысли.

Горбулин кормил из черешка белобрюхого щенка молоком. Щенок мотал мордой, белые брызги летели вокруг, сползали по мягкой шерсти. Между возами ходили мужики с тоскливыми и озабоченными лицами, в бору звенели топоры, ржали лошади.

— Где зимовать-то придется? — сказал Горбулин, хлопывая щенка по спине. — Одуреешь без работы-то. Мается-мается народ и сам не знает пошто.

— Знал бы — так не маялся. Анненков-то близко.

— Лихоманка его дерит, сломит и он шею!

— А там как придется. Либо он, либо мы, — кому-нибудь придется.

— Чернь-то большая, уйдем.

— С пулей далеко не уйдешь. Им ведь английского пороха не жалко.

Беспалых удивленными глазами посмотрел в тайгу и со злостью вскричал:

— И как только английский мужик смотрит? Зачем таку пакость позволяет? Не может быть, чтоб неученых не было! Добро бы наша темень была, а то ведь у них, бают, и неученых-то нет.

— Врут! — сказал Горбулин с убеждением. — Не может быть, чтоб неученых не было; дураков везде много. А посылают снаряжение и морочат, что, дескать, охотиться народу надо.

— Из винтовок-то?

— Из винтовок на медведя, а там в прочего зверя.

— Обмундированье-то как, а?

Горбулин озадаченно посмотрел в лицо Беспалых.

— А это уж их дело, не знаю!..

Подошел Кубдя, немного вялый, с тревожным беспокойством на корявом лице.

— Собирай манатки-то, — торопливо сказал он.

Беспалых вскочил.

— Уходим, что ли? Я сказывал, Анненков близко.

Кубдя поправил пояс. Патронташ и револьвер как будто стесняли его.

— Никуда не уходим. Мы тут будем. Бабы с возами уйдут... от греха дальше. А нам, коли придется, так в белки надо...

— По другому следу?

Беспалых крепко уперся в землю и свистнул.

— Вот плакались, работы нету!..

Между возами шла спокойная широкая фигура Селезнева. Он хозяйственным взглядом окидывал телеги и рыдваны, и как поторапливал раньше при молотье, немало побрякивая, так и теперь торопил:

— Собирайся, крещеные, собирайся! Эку уйму лопотины-то набрали.

Какая-то старуха в грязном азяме всплакнула.

— Жалко ведь барахло-то, Антон Семеныч.

— Так... так... — деловито сказал Селезнев.

Горбулин довольным голосом произнес:

— Айда, большак!..

Через час по таежным тропам, подпрыгивая на корнях, тянулись в черни ирбитские телеги, трашпанки, коробки.

Пищали ребятишки, в коробах гоготала птица, мычали привязанные за рога к телегам на веревках коровы,

а мохноногие, пузатые лошаденки все тащили и тащили телеги.

Поспевала земляника, и пахло ею тихо и сладостно. Как всегда, чуть вершинами шебуршили кедры.

А внизу на далекие версты в тропях ехали люди плакали и перекликались на разные голоса, как птицы.

Человек триста партизан пошли за обозами за Золотое озеро, на елани осталось не больше сотни.

Ушедшие были вооружены пистонными дробовиками, а оставшиеся — винтовками. Расставили сторожевые посты, часовых и по тайге секреты. Стали ждать.

— Доволен? — спросил Кубдя у Селезнева. — Али еще скребет?

— Как-нибудь проживем, — отвечал Селезнев, устало ухмыляясь.

— Вот и благословили тебя. Должен доволен быть. В голосе у Кубди слышалось раздражение.

— Не жалуясь. А кабы и пожалиться — какая польза?

— Будто новорожденный ты, ступить не знаешь куды. Селезнев вскинул взгляд поверх головы Кубди и повел рот вбок.

— Слышал ты, — сказал он смягчающе, — Улея-то в персть легла?

Беспалых одурело подскочил на месте.

— Сожгли?..

— Спалили, — просто ответил Селезнев, вынимая кигсет. — Ладно бабу вовремя увез. Повесили бы. Озлены они на меня.

— Придут седни.

Селезнев завернул папироску, прытко повел глазами и слегка прикоснулся рукой до Кубди.

— Седни не будут, помяни мое слово. А Улея-то только присказка, притча-то потом будет.

Он разостлал шинель на землю.

— Ложись, отдохни.

И, положив свое тело на землю, он углубленным, тягостным голосом проговорил:

— Самое главное — не надо ничему удивляться. А там уже и гнести нечему тебя будет, а? Кубдя! Ты как думаешь?

— Я вот думаю, — сказал Кубдя, — что у нас пулеметов нету, а у них три. Покосят они нас.

— Они укоротят,— с убеждением проговорил Горбулин.

Селезнев сорвал травку и начал ее разглядывать.

— Мала, брат, а так можно брюхо лошади набить, беда! — сказал он с усмешкой.— Ноне травы добрые. Оно, конечно, у кого косилка есть, лучше, чем литовкой. А я так маракую, что в кочках-то с машиною не поедешь, Кубдя?

Кубдя тоже ухмыльнулся:

— Не поедешь, Антон Семеныч.

Селезнев утомленно закрыл глаза.

— А и устал я в эти дни. Будто тысячу лет прожил. Ты, Кубдя, жиреть начал.

— Во мне-то и никогда жиру не было.

— Это плохо. Без жиру — как без хлеба. Завсегда запасы надо иметь.

Он прикрыл лицо картузом и крупно зевнул.

— Добро хоть гнусу нет. А то б заели.

И, лишь чуть прикрыв глаза, сонно захрапел.

Через два дня, поутру, партизаны встретились с атамановцами у Поневских ворот.

Поперек речки Буи лежит восемь громадных камней. Среди них с плеском и грохотом скачет вода, вскидываясь белыми блестящими лапами кверху.

У левого берега вода спокойнее, здесь даже можно проскользнуть на лодке.

Вверх дальше по Буе — горы, похожие на киргизские малахан из зеленого бархата, а внизу — речная заливная равнина.

Партизаны спускались по реке, а атамановцы поднимались.

Атамановцы растянулись по елани длинной цепью, окопались, поставили два пулемета и начали стрелять. Мужики стреляли поодиночке, тщательно прицеливаясь, разглядывая, не высунется ли казак. Несколько раз атамановцы вскакивали и с неверными криками «ура» бежали на партизан.

Но тотчас же падало несколько убитыми и ранеными; атамановцы опять окапывались и торопливо щелкали затворами.

Мужики лежали за кедрами и молчали.

На небольшой елани, слева окруженной потоком, справа — чащей, в которой лежала не стрелявшая вторая рота атамановцев, резались пули перестреливавшихся.

Людей кусали комары, и тех из атамановцев, которых ранило, пекло солнце, они просили пить.

Но пить им никто не давал; всем хотелось убить больше тех мужиков, которые спрятались за кедры и неторопливо метко стреляли.

Так они перестреливались около полутора часов.

Наконец офицеры устроили совет и приказали наступать, то есть во что бы то ни стало идти на стрелявших из-за деревьев партизан и перебить их.

И хотя бежать в высокой, опутывающей ноги траве было нельзя и не было надежды, что партизаны побегут и не будут стрелять, все же мысль эта никому не показалась дикой, и атамановцы, вместе с офицерами крича «ура» и стреляя, полезли по траве и по чаще. В раскрытые рты набивалась трава, осыпающая неприятную сухую пыльцу.

Рядом как-то немного смешно падали раненые и убитые, атамановцы же продолжали кричать «ура», стрелять и идти вперед.

Из-за кедров все так же помаленьку, лениво стреляли мужики, и казалось, что дерутся они не серьезно, а сейчас бросят ружья и выйдут просить мировую.

До кедров осталось не более ста шагов, как вдруг атамановцы выстрелили разом и закричали:

— Ура-а!

От этого слабого крика ли или от чего другого, но атамановцы почувствовали, что им плохо и что им нужно бежать. Атамановцы остановились и закричали уже совсем не своим голосом:

— У-а-а-а...

И, повернув обратно, побежали.

Из-за таежных стволов, на окоемок, выскочили мужики в азиямах, в ситцевых рубахах и пестройно заорали:

— Бросай винтовки-и!..

«Конец», — думали атамановцы и бежали, сами не зная куда.

Позади себя им мерещилось мужицкое дыхание, ослепленные, лохматые лица, и медно-красные пятна заплясали в глазах у атамановцев.

Некоторые из них бросились в воду и поплыли на другую сторону.

Туда же прыгнули двое офицеров, но плыть они не умели и, непонятно суетясь руками в воде, схватились за сучья повисшей над водой талины.

В это время на берег выбежали Кубдя и Беспалых и, увидев офицеров, словно напоказ, подождали, пока они крепко уцепились за сучья, тогда, вскинув ружья, выстрелили.

Напрягая волну, река потащила тела.

Насилу добрав до конца елани, атамановцы увидели здесь свои нулеметы.

Тогда они вновь почему-то почувствовали силу и начали отстреливаться.

— Назад! — оглушенно заорал Селезнев.

И, как цыплята под наседку, пригибаясь, мужики побежали в тайгу.

На берегу Беспалых почувствовал боль в голени и, пощупав мокрую штанину, сообразил: «Ранен».

Он улыбнулся вдруг ставшим белым, как старая кость, лицом и сказал громко Кубде:

— Ранили меня...

— Эх, олово! — сказал Кубдя и, взяв его под мышки, повел.

Позади на елани опять шли вперед атамановцы.

Мужики, отстреливаясь, медленно повернули вправо и пошли в горы.

А их снова ровной цепью, стреляя и прячась за стволы, догоняли атамановцы.

— Ура-а! — время от времени кричали атамановцы.

Ноги у Беспалых ныли, голова тяжелела, и все тело словно было лишнее.

Его вели, подхватив под руки, Кубдя и Горбулин, а позади шел растрепанный и потный Селезнев и после каждого выстрела торопил:

— Иди, иди, не отставай!..

Вошли в березовую чернь.

В бледноватой зелени берез, как темные пуговицы на светлом платье, пихты.

Опять мешали идти огромные травы, не было уже папоротника, но резал руки сладко пахнувший осот.

Беспалых, словно охмелел от боли, начал заплетаться языком и при каждом шаге отчаянно кричал:

— Пустите, ребята, пустите!

И, ощущая цепенеющую усталость в руках, Селезнев пятился, стреляя, и печальным голосом повторял: — Не ной, Беспалых... не ной, парень... Поторапливайся, поторапливайся... Не отставай...

Мужики уже всей оравой ушли вперед.

Подниматься в гору становилось все круче. Остановились перевязать рану Беспалых, но, услышав близко перекликающиеся голоса атамановцев, опять пошли.

Под ногами скользили гальки, далеко по окоемку приходилось обходить каменные «лысины», а позади не переставая щелкали впустую выстрелы атамановцев.

Селезнев повеселел и повесил за плечи винтовку.

— Уйдем, — сказал он. — Уведем их к лешему!

Голова у Беспалых покачивалась, как созревшая маковка под ветром.

Солдатские штаны смочились густой кровью, этой же кровью были запачканы руки и Горбулина и Кубди.

У Кубди на локтях сатиновой синей рубахи была широкая прореха, виднелось розоватое, искусанное комарам тело.

Селезневу стало муторно смотреть, и он отстал.

Чем они выше подымались крутыми подъемами между плитами камней, величиной с избу, серых, с ровными, словно отпиленными краями, тем сильнее они чувствовали какую-то ждущую их неизвестную опасность.

Они начинали прибавлять шаг, несмотря на усталость, не огибая россыпей.

Кончились березки, осины.

Лохматились одни кедр, и хотя так же грело солнце, но с белков дул суровый, крепкий и холодный ветер.

Они затянули крепче пояса и, как будто желая разорвать опутывающие сети тишины, нарушаемой одним ветром, заговорили громче.

Под ногами захрустел мох.

Они остановились, вытерли замазанные глиной в черни ноги об седую, хрумкающую, как снег, траву, затянули крепче рану у Беспалых, переглянулись и молча торопливо пошли выше.

Ветер развевал волосы, горбом вздувал рубахи.

Мысли, с устатку ли, с другого чего, разжижались. и нельзя было заставить их исполнять свою обычную работу.

Селезнев теперь указывал дорогу.

Он был мокр,— даже толстый драповый пиджак вымок, будто был под дождем. Белки глаз его подернулись красными жилками, а зрачок все расползлся и расползался, как масляное пятно на скатерти.

Он кинул фуражку и шел простоволосый, с расчесанной ветром черной бородой.

Кубдя чувствовал себя разопретым, утомленным.

Рядом на руке висел маленький, кричавший все время рыжеволосый человек. У этого человека был постоянно разинутый рот с болтавшимся там обрубком языка, рот, издававший такие звуки, как будто резали ножницами листы железа, и временами Кубдя никак не мог вспомнить, где они видели эти мокрые усы и веснушчатую, морщинистую переносицу.

Вдруг россыпь расширилась, и они увидели перед собой голое холмистое поле.

По полю ровной цепью стояли люди с винтовками, и навстречу бежало шесть человек с револьверами.

Люди были одеты в английские шинели, и мужики, взглянув на них, почувствовали холодный ветер и заметили недалекие, похожие на синеватые сахарные головы белки снегов.

Селезнев сорвал оружие и крикнул и прервал крик выстрелом:

— Беги...

«Бу-о-ах!..»

Затем он замахал руками на Кубдю, лицо его неожиданно помолодело, и он торопливо сказал:

— Бросай... беги...

Он наклонился, сунул Беспалых револьвер и, пригибаясь, побежал.

За ними побежали остальные.

Беспалых стало страшно и, желая отвязаться от мыслей о себе, приставил револьвер к виску, но раздумал и выстрелил в бок.

— Все!..

Обрывками на бегу думал Селезнев:

«Путем... ошибся... Надо было... мокрой... балкой...»

И ему пришло в голову, что он хотел еще увидеть идущих из России красных.

«Посмотрим...» — мелькнуло у него в голове,

Он остановился и ровным голосом сказал:

— Стой, паря! Не убежишь!

Услышав его голос, Кубдя подумал: «Мертвец»,— и быстро остановился.

Позади них лег Горбулин, потерявший винтовку в бегу.

— Посмотрим...— сказал Антон, всовывая обойму.

IX

Через неделю сводка «На внутренних фронтах» сообщила, что в районе Улеи бандитские пайки Антона Селезнева рассеяны, а сам он погиб в перестрелке.

А через два месяца партизаны и регулярные части Красной Армии взяли Ниловск, и крестьяне привезли с белков трупы Селезнева, Кубди и еще четырех неизвестных.

Вырыли глубокую могилу, пришли рабочие с красными знаменами, оркестр играл «Интернационал», ораторы в серых шинелях с жестяными звездочками на белых заячьих шапках долго говорили и указывали рукой на восток.

В стороне же, позади процессии, стоял подрядчик Емолин в желтом овчинном полушубке и смотрел на красные знамена, ярко сверкавшие трубы музыкантов. На душе у него было умиление и жалость. Он вытирал на носу слезы и говорил соседу:

— Заметь: хо-орошие парни были.



ПАРТИЗАНЫ У РЕЛЬС

I

Цифры блестели перед глазами: 85, 64 и еще 0000... как снежные четки.. На дверях купе, на рамах окна, на ремне, на кобуре револьвера. Везде. Точно огромная мясистая цифра 8, на койке, упавая коротко стриженной головой в огромные, как степные дороги, плечи — прапорщик Обаб, помощник капитана Незеласова.

Даже на сигаретах, которые одну за другой испепелял капитан и пепел которых мягко таял в животе расколотого чугунного китайского божка, тоже цифры и английские поджарые, словно галеты, буквы.

— Что ж?.. Стекаем, как гной из раны... на окраины... Мы!.. Все — и беженцы, и утонувшие в снегу правительства... Но-о! Я ж говорю вам, прапорщик. Потом куда?.. В море?

Обаб наискось оглядел искривившиеся лицевые мускулы капитана. Узловато ответил:

— Вам лечиться. Надо. Да!

Был прапорщик Обаб из выслужившихся добровольцев колчаковской армии. О всех кадровых офицерах говорил: «Сплошь болезнь».

Капитана Незеласова уважал, потому повторил:

— Без леченья плохо. Вам,

Незеласов торопливо выдернул сигаретку:

— Заклепаны вы наглухо, Обаб... ничего до вас не дойдет!..

И, быстро отряхивая пепел, визгливо заговорил:

— Как нам стронуться хоть немного... Ведь тоска, Обаб, тоска! Родина нас... вышвырнула! Думали всё — нужны, очень нужны, до зарезу нужны, а вдруг ра-а-счет получайте... И не расчет даже, а в шею... в шею!.. в шею!!

И капитан, кашляя, брызгая слюной и дымом, возвышал голос:

— О, рабы нерадивые и глупые!

Обаб протянул длинную руку навстречу сгибающемуся капитану. Точно поддерживая валяющееся дерево, сказал с усилием:

— Сволочь бунтует. А ее стрелять надо. А которая глупее — пороть.

— Нельзя так, Обаб, нельзя...

— Болезнь. У нас. Вот атаман Семенов. Не мозгует. Бьет.

— Внутри высохло... водка не катится, не идет... От табаку — слякоть, вонь... В голове, как наседка, да у ней триста яиц... Высыживает. Э-эх!.. Теплонь, пар!.. Копышится теплое, склизкое, того гляди... вылезет. Преодолеть что-то надо, а что — не знаю и не могу...

— Женщину вам надо. Давно женщину имели?

Обаб туло посмотрел на капитана.

— Непременно женщину. В такой работе — каждый месяц. Я здоровый, — каждые две недели. Лучше хины.

— Может быть, может быть... попробую. Почему мне не попробовать...

— Можно быстро, здесь беженков много... Цветки!

Незеласов поднял окно.

Запахло каменным углем и горячей землей. Как банка с червями, потела плотно набитая людьми станция. Мокро блестели ее стены и близ дверей маленький колокол.

На людях клеймо бегства.

Шел похожий на новое стальное перо чистенький учитель, и на плече у него трепалась грязная тряпица. Барышни нечесаные, и одна щека измятая, розовато-серая: должно быть, жестки подушки, а может быть, и нет подушек — мешок под головой.

«Портятся люди»,— подумал Обаб. Ему захотелось жениться. «В семью бы хорошо...»

Он сплюнул в платок и сказал:

— Ерунда!

Незеласов теребил серую рыхлую бумагу телеграммы. Как везде, на телеграмме — цифры. Как всегда, мутнеют зрачки Обаба. Слюняв хлопающий голос:

— Опять?

— Что опять?.. В чем дело?

Обаб и Незеласов взглянули в окно.

Беженцы смущенно рассматривали стальную броню вагонов. На платформах орудия, казалось, рассматривают его, голого. Голый Незеласов костляв, похож на смятую жестянку из-под консервов: углы и серая гладкая кожа.

Он едко сказал в плечо Обабу:

— За спасителей нас считают... Ерусланы! В телеграмме пишут: у рельс вершининский отряд показался... в городе...

Обаб грузно отодвинулся от окна:

— Жиды, капитан. И в городе жиды, и у Вершинина жиды. Дайте сигарету.

— Придут японцы... Прикажите воду набирать... непременно... сейчас.

— В появлении? Опять! Нейметса.

Обаб ударил себя по ляжкам длинными и ровными, как веревка, руками.

— Люблю.

Заметив на себе рыхлый зрачок Незеласова, прапорщик сказал:

— Не насчет смерти. А чтоб двигалось. Спокойно когда,— мясо ржавеет...

Обаб степенно вздохнул. Вздохнули плотные острые скулы, похожие на обломки ржаного сухаря, вздохом медленным, крестьянским.

— У нас сейчас, в Барнаульском... уезде, уборка. Рука по вожже зудится...

Незеласов, вскакивая, торопливо спросил:

— Прапорщик... Кто наше начальство?.. Кто непосредственное начальство?

— Генерал Смирнов.

— Ага? А где он?..

— Партизаны повесили.

— Ага?.. Так. Значит, следующий. Кто?

- Следующий?
- Вас спрашивают...
- Генерал-лейтенант Сахаров.
- Ага?.. Он где, где?..
- Не могу знать.
- А... где командующий армией?
- Не могу знать.

Капитан затянул ремень и хотел резко прокричать: «Ну, и не рассуждать — исполняйте приказание», — а вместо этого отвернулся и, скучно царапая пальцем краску рамы, спросил тихонько:

— Кого нам, прапорщик, слушаться?.. Ага? Кого мы с вами по телеграмме... Пойдите.

Обаб шлепнул по животу чугунного кумирчика, попытался поймать в мозгу какую-то мысль, но соскользнул.

— Не знаю... Воду так воду... Стрелять, будем стрелять — очень просто.

И, как гусь неотрошпими крыльями, колыхая галифе, Обаба шел по коридору вагона и бормотал:

— Не моя обязанность... думать... я что... лента, обойма... Очень нужно... Где?

II

Торопливо отдал честь тщедушный солдатик в голубых французских обмотках и больших бутсах.

Незеласову не хотелось толкаться по перрону, и, обогнув обшитые стальными щитами вагоны бронепоезда, он брел среди теплушек с эвакуируемыми беженцами.

«Ненужная Россия, — подумал он со стыдом и покраснел, вспомнив: — и ты в этой России».

Нарумяненная женщина с толстым задом всколыхнула в теле предложение Обаба. Капитан сказал громко: — Дурак!

Женщина оглянулась: печальные, потускневшие глаза и маленький лоб в глубоких морщинах.

Незеласов отвернулся.

Теплушки обиты побуревшим тесом. В пазах торчат выцветший мох. Хлопали двери с ремнями, заменявшими ручки. На гвоздях у дверей в плетеных мешках — мясо, битая птица, рыба. Над некоторыми дверьми — пихтовые ветки, и в таких вагонах слышался молодой женский голос. А в одном вагоне играли на рояле.

Пахло из теплушек потом, пеленками, и подле рельс пахла аммиаком растоптанные испражнения. Еще у одной теплушки на корточках дрожал солдат и сквозь желтые зубы выл:

— О-о-о-е-е-е.

«Дизентерия,— подумал, закуривая, капитан.— Значит, капут».

Ощущение стыда и далекой, где-то в ногах таящейся злости не остывало.

Плоскоспинный старик, утомленно подымая тяжелый колуи, рубил полусгнившую шпалу.

— Издалека? — спросил Незеласов.

Старик ответил:

— А из Сызрани.

— Куда едешь?

Он опустил колуи и, шаркая босой ногою с серыми потрескавшимися ногтями, уныло ответил:

— Куда повезут.

Кадык у него, покрытый дряблыми морщинами, большой, с детский кулак, и при разговоре расправлялись и видны были чистые, белые полоски кожи.

«Редко, видно... говорить-то приходится»,— подумал Незеласов.

— У меня в Сызрани-то земля,— любовно проговорил старик,— отличнейший чернозем. Прямо золото, а не земля,— чекань монету... А вот, поди ж ты, бросил.

— Жалко?

— Известно, жалко. А бросил. Придется обратно.

— Обратно идти далеко... очень...

Старик, не опуская колуи, чуть-чуть покачал головой. Как-то плечами остро и со свистом вздохнул:

— Далеко... Говорят, на путях-то, вашблага, Вершинин явился.

— Неправда. Никого нет.

— Ну? Значит, врут! — Старик оживленно взмахнул колуином.— А говорят, идет и режет. Беспощадно, даже скот. Одна, говорят, надежда на бронипоезду. Только. Ишь ты... Значит, нету?

— Никого нет...

— Совсем, вашблага, прекрасно. Может, и до Владивостоку доберешься... Проживем. Куда я обрать попрусь, скажи-ка ты мне?

— Не выдержишь... Ты не беспокойся... Да.

- И то говорю — умрешь еще дорогой.
— Не нравится здесь?
— Народ не наш. У нас народ все ласковый, а здесь и говорить не умеют. Китаец — так тот совсем языка русского не понимает. И как живет, бог его знает! Фальшиво живет. Зачервивешь тут. А коли лучше обратно пойти? Бросить все и пойти? Чать, и большевики люди, а?
— Не знаю, — ответил капитан.

III

Вечером на станцию нанесло дым.

Горел лес.

Дым был легкий, теплый, и кругом запахло смолой.

Кирпичные домики станции, похожая на глиняную кружку водокачка, китайские фанзы и желтые поля гаоляна закурились голубоватой пеной, и люди сразу побледнели.

Прапорщик Обаб хохотал:

— Чревовещатели-и!.. Не трусуй!..

И, точно ловя смех, жадно прыгали в воздухе его длинные руки.

Чахоточная беженка с землистым лицом, в каштановом манто, подпоясанном бечевкой, которой перевязывают сахарные головы, мелкими шажками бегала по станции и шепотом говорила:

— Партизаны... партизаны... тайгу подожгли... и расстреливают... Вершинин подходит...

Ее видели сразу во всех двенадцати эшелонах. Бархатное манто покрылось пеплом, вдавленные виски вспотели. Все чувствовали тоскливое томление, похожее на голод.

Командант станции — солдаты звали его «четырёхэтажным» — большоголовый, с седыми, прозрачными, как ледяные сосульки, усами, успокаивал:

— А вы целомудрие наблюдайте душевное. Не волнуйтесь.

— Чита взята!.. Во Владивостоке большевики!

— Ничего подобного. Уши у вас чрезмернейшие. Сообщение с Читой имеем. Сейчас по телеграфу няньку генерала Нокса разыскивали.

И, втыкая в глотку непочтительный смешок, четко говорил:

— Няньку английский генерал Нокс потерял. Ищет. Награду обещали. Дипломатическая нянька, черт подери, и вдруг какой-нибудь партизан изнасилует.

Белокурый курчавый парень, похожий на цветущую черемуху, расклеил по теплушкам плакаты и оперативные сводки штабверха. И хотя никто не знал, где этот штабверх и кто бьется с большевиками, но все ободрились.

Теплые струи воды торопливо потекли на землю. Ударил гром. Зашумела тайга.

Дым ушел. Но когда ливень кончился и поднялась радуга, снова нахлынули клубы голубоватого дыма, и снова стало жарко и тяжело дышать. Липкая грязь приклеивала ноги к земле.

Пахло сырыми пашнями, и за фанзами с тихим звоном шумели мокрые гаоляны.

Вдруг на платформу двое казаков принесли из-за водокачки труп фельдфебеля. Лоб был разбит, и на носу и на рыжеватых усах со свернувшимися темно-красными сгустками крови тряслось, похожее на густой студень, серое вещество мозга.

— Партизаны его... — зашептала беженка в манто, подпоясанная бечевкой. — Вершинин... Они...

В коричневых теплушках эшелонов зашевелились и зашептали:

— Партизаны... Партизаны...

Капитан Незеласов прошел по своему поезду.

У площадки одного вагона стояла беженка в каштановом манто и поспешно спрашивала у солдат:

— Ваш поезд нас не бросит?

— Не мешайте, — сказал ей Незеласов, вдруг возненавидев эту тонконосую женщину. — Нельзя разговаривать!

— Они нас вырежут, капитан!.. Вы же знаете!..

Капитан Незеласов, хлопнув дверью, закричал:

— Убирайтесь вы к черту!

Опять принесли телеграмму. Кто-то неразборчиво, и непременно припутывая цифры, приказывал разогнать банды Вершинина, собирающиеся по линии железной дороги. И в конце говорилось о каких-то японцах, итальянцах...

— Телеграмма № 12541, видите!.. Приказ, прапорщик, приказ, говорю... А кто там, кто смеет приказывать? Кто есть?

Добродушный толстый паровоз, облегченно вздыхая, подтащил к перрону шесть вагонов японских солдат. За ним другой. Маленькие чистенькие люди, похожие на желтоголовых птичек, порхали по перрону.

Капитана Незеласова нашел японский офицер в паровозе бронепоезда. Поглаживая кобуру револьвера и чуть шевеля локтями, японец мягко говорит по-русски, стараясь ясно выговаривать букву р:

— Я... есть пол-рр-лючик Танако Муццо... Тя. Я есть коман-н-тил-л-рр-лован вместе.

И, внезапно повышая голос, выкрикнул, очевидно, твердо заученное:

— Уничтожит!.. Уничтожит!..

Рядом с ним стоял американский корреспондент — во френче с блестящими зелеными пуговицами и в полосатых чулках. Он быстро, тоже заученно, оглядывал станцию и, торопливо чиркая карандашом, спрашивал:

— А этта?.. А этта?.. Ш-ш-то?..

Обаб и еще какой-то офицер, потев и кашляя, объясняли.

— Хорошо, — сказал Незеласов. — Прикажете, Обаб, прицепить вагоны... с японцами.

Он захлопнул тяжелую стальную дверь.

— Пошел, пошел!.. — визгливо кричал, матерной руганью обвертывая приказания. И где-то внутри росло желание увидеть, ощупать руками тоску, переходящую с эшелонов беженцев на бронепоезд № 14-69.

Капитан Незеласов бежал внутри поезда, грозил револьвером, и ему хотелось закричать громче, чтобы крик прорвал обитые кошмой и сталью стенки вагонов... Дальше он не понимал, для чего понадобился бы ему тогда его крик.

Грязные солдаты вытягивались, морозили в лед четырехугольные лица. Ненужные тряпки одежд стесняли движения. Около стальных орудий хотелось их видеть голыми и не хотелось чувствовать тлеющих в страхе душ.

Прапорщик Обаб быстро и молчаливо шагал вслед за капитаном.

Лязгнули буфера. Коротко свистнул кондуктор, загрохотало с лавки железное ведро, и, пригибая рельсы к земле, разбрасывая позади себя станции, избушки стре-

лочников, прикрытый дымом лес и граниты сопок, обли-
тые теплым и влажным ветром, падали и не могли упасть,
летели в тьму тяжелые стальные коробки вагонов, несущих
в себе сотни человеческих тел, наполненных тоской
и злобой.

IV

А в это время китаец Син Бин-у лежал в траве в тени
пробкового дерева и, закрыв раскосые глаза, пел о том,
как красный Дракон напал на девушку Чен Хуа.

Лицо у девушки было цвета корня женьшеня, и пища
ее была у-вей-цзы, петушии гребешки, ма-жу, грибы ве-
личиною со зрачок, чжен-цзай-цай. Весьма было много
всего этого, и весьма все это было вкусно.

Но красный Дракон взял у девушки Чен Хуа ворота
жизни, и тогда родился бунтующий русский.

Партизаны сидели поодаль, и Пентефлий Знобов, ра-
достно прорывая чрез подпрыгивающие зубы налитые не-
зыблемою верою слова, кричал:

— Бегут, братцы мои, бегут. В недуг души ударило,
оземь бьются, трепыхаются. А наше дело — не уснуть, а
город-то, он у-ух!.. силен. Все возьмет!

Пахло камнем, морем.

ЧЕЛОВЕК ЧУЖИХ ЗЕМЕЛЬ

V

«Объединенным русско-японским отрядом, при поддержке
бронепоезда № 14-69, партизанские шайки Вершинина рассеяны.

С нашей стороны убитых 42, раненых 115. Боевая выдержка
союзников выше всяких похвал. Преследование противника в со-
пках продолжается.

Начбронепоезда № 14-69 капитан Незеласов. № 8701-7-19».

VI

И вот:

Шестой день тело ощущало жаркий камень, изны-
вающие в духоте деревья, хрустящие спелые травы и вя-
лый ветер.

И тело у них было как граниты сопок, как деревья,

как травы; катилось горячее, сухое, по узко выкопанным горным тропам.

От ружей, давивших плечи, туго болели поясницы.

Ноги ныли, словно опущенные в студеную воду, а в голове, как в мертвом тростнике, — пустота, бессочье.

Шестой день партизаны уходили в сопки.

Казачьи разъезды изредка нападали на дозоры. Слышались тогда выстрелы, похожие на треск лопающихся бобовых стручьев.

А позади — по линии железной дороги — и глубже: в полях и лесах — атамановцы, чехи, японцы и еще люди неизвестных земель жгли мужицкие деревни и топтали пашни.

Шестой день с короткими отдыхами, похожими на молитву, две сотни партизан, прикрывая уходящие вперед обозы с семействами и утварью, устало шли черными тропами. Им надоел путь, и они, часто сворачивая с троп, среди камня, ломая кустарник, шли напрямик к сопкам, напоминаям огромные муравьиные гнезда.

VII

Китаец Син Бин-у, прижимаясь к скале, пропускал мимо себя отряд и каждому мужику со злостью говорил:

— Японса била надо... у-у-ух, как била!

И, широко разводя руками, показывал, как надо бить японца.

Вершинин остановился и сказал Ваське Окороку:

— Японец для нас хуже барсу¹. Барс-от, допрежь чем манзу² жрать, лопатину³ с него сдерет. Дескать, пусть проветрится, а японец-то разбираться не будет — вместе с усями⁴ слопают.

Китаец обрадовался разговору о себе и пошел с ними рядом.

Никита Вершинин, председатель партизанского революционного штаба, шел с казначеем Васькой Окороком позади отряда. Широкие — с мучной куль — синие пли-

¹ Тигр.

² Китаец (обл.).

³ Одежда.

⁴ Род китайской обуви.

совые шаровары плотно обтягивали большие, как конское копыто, колени, а лицо его, в пятнах морского обветрия, хмурилось.

Васька Окорок, устало и мечтательно глядя Вершинину в бороду, протянул, словно говоря об отдыхе:

— В Расей-то, Никита Егорыч, беспрерывно вавилонскую башню строить будут. И разгонят нас, как ястреб цыплят, беспрерывно! Чтоб друг друга не узнавали. Я тебе это скажу: Никита Егорыч, самогонки хошь? А ты, талабала, по-японски мне выкусишь! А Син Вин-у-то, разъязви его в нос, на русском языке запоет. А?

Работал раньше Васька на приисках и говорит всегда так, будто самородок нашел и не верит ни себе, ни другим. Голова у него рыжая, кудрявая, лениво мотает он ею. Она словно плавится в теплом усталом ветре, дующем с моря, в жарких, наполненных тоской запахах земли и деревьев.

Вершинин перебрросил винтовку на правое плечо и ответил:

— Охота тебе, Васька. И так мало рази страдали?

Окорок вдруг торопливо, пересиливая усталость, захотал:

— Не нравится!

— Свое добро рушишь. Пашню там, хлеба, дома. А это дарма не пройдет. За это непременно пострадать придется.

— Японца, Никита Егорыч, тронуть здорово надо. Набил им брюхо землей — и в море.

— Японец — народ маленький, а с маленького спрос какой? Дешевый народ. Так, вроде папироски — будто и курево, и дым идет, а так — баловство. Трубка, скажем, дело другое.

В леса и сопки, клокоча, с тихими усталыми храпами вливались в русла троп ручьи людей, скота, телег и железа. Наверху, в скалах, сумрачно темнели кедры. Сердца, как надломленные сучья, сушила жара, а ноги не могли найти места, словно на пожаре.

Опять позади раздались выстрелы.

Несколько партизан отстали от отряда и приготовились отстреливаться.

Окорок разливчато улыбнулся:

— Нонче в обоз ездил. Потеха-а!..

— Ну?

— Петух орет. Птицу, лешаки, в сопки везут. Я им баю — жрите, мол, а то все равно бросите.

— Нельзя. Без животины человеку никак нельзя. Всю тяжесть он потеряет без животины. С души-то, тяжесть...

Син Бин-у сказал громко:

— Казаки цхау-жа! Нипонса куна, мадама бери мала-мала. Нехао! Казаки нехао! ¹ Кырасна руска...

Он, скосив губы, швыркнул слюной сквозь зубы, и лицо его, цвета песка золотых россыпей, с узенькими, как семечки дыни, разрезами глаз, радостно заулыбалось...

— Шанго!.. ²

Син Бин-у в знак одобрения поднял кверху большой палец руки.

Но не слыша, как всегда, хохота партизан, китаец уныло сказал:

— Пылыоха-о ³.

И тоскливо оглянулся.

Партизаны, как стадо кабанов от лесного пожара, кинув логовище, в смятенье и злобе рвались в горы.

А родная земля сладостно прижимала своих сынов — идти было тяжело. В обозах лошади оглядывались назад и тонко, с плачем, ржали. Молчаливо бежали собаки, отучившиеся лаять. От колес телег отлетала последняя пыль и последний деготь родных мест.

Направо в падах темнел дуб, белел ясень.

Налево — от него никак не могли уйти — спокойное, темно-зеленое, пахнущее песками и водорослями море.

Лес был как море, и море — как лес, только лес чуть темнее, почти синий.

Партизаны упорно глядели на запад, а на западе отсвечивали золотом розоватые граниты сопки, и мужики через просветы деревьев плыли глазами туда, а потом вздыхали, и от этих вздохов лошади обозов поводили ушами и передергивались телом, точно чуя волка.

А китайцу Син Бин-у казалось, что мужики за розовыми гранитами на западе желают увидеть иное, ожидаемое.

Китайцу хотелось петь.

Никита Вершинин был рыбак больших поколений.

¹ Казаки плохи! Японец — подлец, женщин берет... Нехорошо! Казаки плохи!

² Хорошо!

³ Плохо.

Тосковал он без моря, и жизнь для него была вода, а пять пальцев — мелкие ячейки сети: все что-нибудь да и попадет.

Баба попалась жирная и мягкая, как налим. Детей она принесла пятерых — из года в год, пять осеней, когда шла сельдь, и не потому ли ребятишки росли светло-волосые среброчешуйники.

В рыбалках ему везло, на весь округ шел послух про его «вершининское» счастье, и, когда волость решила идти на японцев и атамановцев, председателем ревштаба выбрали Никиту Егорыча.

От волости уцелели телеги, увозящие в сопки ребятишек и баб. Жизнь нужно было тесать, как избы, — неизвестно, удастся ли, — заново, как тесали прадеды, приехавшие сюда из пермских земель на дикую землю.

Многое было непонятно — и жена, как в молодости, желала иметь ребенка.

Думать было тяжело, хотелось повернуть назад и стрелять в японцев, атамановцев, в это сытое море, присылающее со своих островов людей, умеющих только убивать.

У пришиби¹ яра бомы² прервали дорогу, и к утесу был приделан висячий, балконом, плетеный мост. Матера³ рвалась на бом, а ниже в камнях билась, как в падучей, белая пена стрежи⁴ потока.

Перейдя подвесный мост, Вершинин спросил:

— Привал, что ли?

Мужики остановились, закурили.

Привала решили не делать. Пройти Давью деревню, а там — в сопки, и ночью можно отдыхать в сопках.

У поскотины⁵ Давьей деревни босоногий мужик с головой, перевязанной тряпицей, подогнал игренюю лошадь и сказал:

— Битва у нас тут была, Никита Егорыч.

— С кем битва-то?

— В поселке. Японец с нашими дрался. Дивно народу положено. Японец-то ушел — отбили, а чаем, придет завтра. Ну вот, мы барахлишко-то свое складываем да в сопки с вами думаем.

¹ Подножие яра — крутой скалистый берег.

² Камни, преграждающие течение потока.

³ Главная сила струи потока.

⁴ Сильнейшие струи матеры.

⁵ Ограда вокруг деревни, где пасется скот.

— Кто наши-то?

— Не знаю, парень. Не вашей волости, должно. Христьяне тоже. Пулеметы у них, хорошие пулеметы. Так и строчат. Из сопок тоже.

— Увидимся!

На широкой поселковой улице валялись телеги, трупы людей и скота.

Японец, проткнутый штыком в горло, лежал на русском. У русского вытек на щеку длинный синий глаз. На гимнастерке, залитой кровью, ползали мухи.

Четыре японца лежали у заплота ниц лицом, точно стыдясь. Затылки у них были раздроблены. Куски кожи с жесткими черными волосами прилипли на спины опрятных мундирчиков, и желтые гетры были тщательно начищены, точно японцы собирались гулять по владивостокским улицам.

— Зарыть бы их,— сказал Окорок,— срамота.

Жители складывали пожитки в телеги. Мальчишки выгоняли скот. Лица у всех были такие же, как и всегда,— спокойно-деловитые.

Только от двора ко двору среди трупов кольцами кружилась сошедшая с ума беленькая собачонка.

Подошел к партизанам старик с лицом, похожим на вытершуюся серую овчину. Где выпали клоки шерсти, там краснела кожа щек и лба.

— Воюете? — спросил он плаксивым голосом у Вершинина.

— Приходится, дедушка.

— И то смотрю — тошнота с народом. Николды такой никудышной войны не было. Се царь скликал, а теперь — на, чемер тебя дери, сами промеж себя дерутся.

— Все равно что ехали-ехали, дедушка, а телега-то — трах! Оказывается, сгнила давно, нову приходится делать.

— А?

Старик наклонил голову к земле и, словно прислушиваясь к шуму под ногами, повторил:

— Не пойму я... А?

— Телега, мол, изломалась!

Старик, будто стряхивая с рук воду, отошел, бормоча:

— Ну, ну... какие нонче телеги. Антихрист родился, хороших телег не жди.

Вершинин потер ноющую поясницу и оглянулся.

Собачонка не переставала визжать.

Один партизан снял карабин и выстрелил. Собачонка свернулась клубком, потом вытянулась всем телом, точно просыпаясь и потягиваясь. Издохла.

Старик беспокойно поцарапался:

— Ишь, и собака с тоски сдохла, Никита Егорыч. А человек терпит.

— Терпит, Егорыч. Брандепояс-то в сопки пойдет, бают. Изничтожит все и опять-таки пожжет.

— Народу не говори зря. Надо в горы рельсы.

Старик злобно сплюнул:

— Без рельсы пойдет. Раз они с японцами связались. Японец да американка все может. Погибель наша явилась, Егорыч. Прямо погибель. Народ-то, как урожай под дождем, гниет... А капитан-то этот с брандепояса из царских родов будет?..

— Будет тебе зря-то...

— Зол уж, и росту, бают, выше сажени, а борода...

VIII

Мужик с перевязанной головой бешено выгнал обратно из переулка свою игренюю лошадь.

Тело его влипало в плоскую лошадиную спину, лицо танцевало, тряслись кулаки, и радостно орала глотка:

— Мериканца пымали, братцы-ы!..

Окорок закричал:

— Ого-го-го!..

Трое мужиков с винтовками показались в переулке.

Посреди них шел, слегка прихрамывая, одетый в летнюю фланелевую форму американский солдат.

Лицо у него было бритое, молодое. Испуганно дрожали его открытые зубы, и на правой щеке, у скулы, прыгал мускул.

Длинноногий седой мужик, сопровождавший американца, спросил:

— Кто у вас старшой?

— По какому делу? — отозвался Вершинин.

— Он старшой-то, он! — закричал Окорок. — Никита Егорыч Вершинин! А ты рассказывай, как пымали-то?

Мужик сплюнул и, похлопывая американского солдата по плечу так, точно тот сам явился, со старицкой охотливостью стал рассказывать:

— Привел его к тебе, Никита Егорыч. Вознесенской мы волости. Отряд-от наш за японцем пошел далеко-о!

— А деревень-то каких?

— Селом мы воюем. Пенино-село слышал, может?

— Пожгли его, бают?

— Сволочь народ! Как есть все село, паря-батюшка, попалили, вот и ушли мы в сопки!

Партизаны собрались вокруг, заговорили:

— Одну муку принимаем! Понятно!

Седой мужик продолжал:

— Ехали они двое, мериканцев-то! На трашпанке в жестянках молоко везли! Дурной народ: воевать приехали, а молоко жрут с щиколодом. Одного-то мы сняли, а этот руки задрал. Ну и повели. Хотели старосте отдать, а тут ишь — целая компания!

Американец стоял, выпрямившись по-солдатски, и, как с судьи, не спускал глаз с Вершинина.

Мужики сгрудились.

На американца запахло табаком и крепким мужицким хлебом.

От плотно сбившихся тел шла мутившая голову теплота и поднималась с ног до головы сухая, знобящая злость.

Мужики загалдели:

— Чего-то!

— Пристрелить его, стерву!

— Крой его!

— Кончать!..

— И никаких!

Американский солдат слегка сгорбился и боязливо втянул голову в плечи, и от этого движения еще сильнее захлестнула тело злоба.

— Жгут, сволочи!

— Распоряжаются!

— Будто у себя!

— Ишь, забрались!

— Просили их!

Кто-то пронзительно завизжал:

— Бе-ей!..

В это время Пентефлий Знобов, работавший раньше на владивостокских доках, залез на телегу и, точно указывая на потерянное, закричал:

— Обо-ждь!..

И добавил:

— Товарищи!

Партизаны посмотрели на его лохматые, как лисий хвост, усы, на расстегнувшуюся прореху штанов, через которую виднелось темное тело, и замолчали.

— Убить завсегда можно! Очень просто. Дешевое дело — убить. Вон их сколь на улице-то наваляли. А по-моему, товарищи, распропагандировать его и пустить. Пущай большевицкую правду понюхат. Во-о как я полагаю!..

Вдруг мужики густо, как пшено из мешка, высыпали хохот:

— Хо-хо-хо!..

— Хе-кче!..

— Хо-о!..

— Прореху-то застегни, черт!

— Валяй, Пентя, запузыривай!..

— Втемяшь ему!

— Чать, тоже человек...

— На камне и то выдолбить можно.

— Лупи!..

Крепкотелая Авдотья Стещенкова, подобрав палевые юбки, наклонилась и толкнула американца плечом:

— Ты вникай, дурень, тебе же добра хочут.

Американский солдат оглядывал волосатые красно-бронзовые лица мужиков, расстегнутую прореху штанов Знобова, слушал непонятный говор и вежливо мял в улыбке бритое лицо.

Мужики возбужденно ходили вокруг него, передвигая его в толпе, как лист по воде; громко, как глухому, кричали.

Американец, часто мигая, точно от дыма, глазами, поднимая кверху голову, улыбался и ничего не понимал.

Окорок закричал американцу во весь голос:

— Ты им там разъясни. Подробно. Нехорошо, мол.

— Зачем нам мешать!

— Против своего брата заставляют идти!

Вершинин степенно сказал:

— Люди вы хорошие, должны понять. Такие же крестьяне, как и мы, скажем, пашете и все такое. Японец, он што, рис жрет, для него по-другому говорить надо!

Знобов тяжело затоптался перед американцем и, пригладив усы, сказал:

— Мы разбоем не занимаемся, мы порядок наводим. У вас поди этого не знают за морем-то, далеко, да и опять и душа-то у тебя чужой земли...

Голоса повышались, густели.

Американец беспомощно оглянулся и проговорил:

— I don't understand ¹.

Мужики враз смолкли.

Васька Окорок сказал:

— Не вникат. По-русски-то не знат, бедность!

Мужики отошли от американца.

Вершинин почувствовал смущенье.

— Отправить его в обоз, что тут с ним чертомелиться, — сказал он Знобову.

Знобов не соглашался, упорно твердя:

— Он поймет!.. Тут только надо!.. Он поймет!..

Знобов думал.

Американец, все припадая на ногу, слегка покачиваясь, стоял. Чуть заметно, как ветерок стога сена, ворошила его лицо тоска.

Син Бин-у лег на землю подле американца, закрыв ладонью глаза, тянул пронзительную китайскую песню.

— Мука мученическая, — сказал тоскливо Вершинин.

Васька Окорок нехотя предложил:

— Рази книжку каку?

Найденные книжки были все русские.

— Только на раскурку и годны, — сказал Знобов, — кабы с картинками.

Авдотья пошла вперед, к возам, стоявшим у покотины, долго рылась в сундуках, наконец принесла истрепанный, с оборванными углами, учебник закона божия для сельских школ.

— Може, по закону? — спросила она.

Знобов открыл книжку и сказал недоумевающе:

— Картинки-то божественны! Нам его не перекрещивать. Не попы.

— А ты попробуй, — предложил Васька.

— Как его. Не поймет поди!

— Может, поймет. Валяй!

Знобов подозвал американца:

— Эй, товарищ, иди-ка сюда.

¹ Я не понимаю.

Американец подошел.

Мужики опять собрались, опять задышали хлебом, табаком.

— Ленин,— сказал твердо и громко Знобов и как-то нечаянно, словно оступаясь, улыбнулся.

Американец вздрогнул всем телом, блеснул глазами и радостно ответил:

— There's a chap! ¹

Знобов стукнул себя кулаком в грудь и, похлопывая ладонью мужиков по плечам и спинам, прокричал:

— Советская республика!

Американец протянул руки к мужикам, щеки у него запрыгали, и он возбужденно закричал:

— What is pretty indeed ².

Мужики радостно захохотали:

— Понимает, стерва.

— Вот сволочь, а!

— А Пентя-то, Пентя-то по-американски кроет!

— Ты ихних-то буржуев по матушке, Пентя!

Знобов торопливо раскинул учебник закона божия и, тыча пальцами в картинку, где Авраам приносил в жертву Исаака, а вверху на облаках висел бог, стал разъяснять:

— Этот с ножом-то — буржуй. Ишь, брюхо-то выпустил, часы с цепочкой только. А здесь, на бревнах-то, пролетариат лежит, понял! Про-ле-та-ри-ат.

Американец указал себе рукой на грудь и, протяжно и радостно заикаясь, гордо проговорил:

— Про-ле-та-ри-ат!.. Wel! ³

Мужики обнимали американца, щупали его одежду и изо всей силы жали его руки, плечи.

Васька Окорок схватил его за голову и, заглядывая в глаза, восторженно орал:

— Парень, ты скажи та-ам. За морями-то...

— Будет тебе, ветрень,— говорил любовно Вершинин.

Знобов продолжал:

— Лежит он — пролетариат, на бревнах, а буржуй его режет. А на облаках-то японец, американка, англичанка — вся эта сволочь империализма самая сидит.

¹ Вот это парень!

² Вот что действительно прекрасно.

³ Мы!

Американец сорвал с головы фуражку и завопил:

— Имперализм! Долой!..

Знобов с ожесточением швырнул фуражку оземь.

— Имперализм с буржуями — к чертям!

Син Бин-у подскочил к американцу и, подтягивая спадающие штаны, торопливо проговорил:

— Русики ресыпубылика-а. Китайси ресыпубылика-а. Мерикансы ресыпубылика-а — пухао. Нипонсы, пухао, нада, нада ресыпубылика-а. Крыя-а-сна ресыпубылика нада, нада...

И, оглядевшись кругом, встал на цыпочки и, медленно подымая большой палец кверху, проговорил:

— Шанго.

Вершинин приказал:

— Накормить его надо. А потом вывести на дорогу и пустить.

Старик конвоир спросил:

— Глаза-то завязать, как поведем? Не приведет сюда?

Мужики решили:

— Не надо. Не выдаст.

IX

Партизаны с хохотом, свистом вскинули ружья на плечи.

Окорок закрутил курчавой рыжей головой, вдруг тонким, как паутина, голоском затянул:

Я рассею грусть-тоску по зеленому лужку,
Уродись, моя тоска, мелкой травкой-муравкой.
Ты не сохни, ты не блекни, цветами расцвети...

И какой-то быстрый и веселый голос ударил вслед за Васькой:

Я рассеявши пошел, во зеленый сад вошел —
Много в саду вишенья, винограду, грушенья.

И тут сотня хриплых, порывистых, похожих на морской ветер мужицких голосов подняла и понесла в тропы, в лес, в горы:

Я рассеявши пошел,
Во зеленый сад вошел,
— Э-э-эх...
— Сью-ю-ю...

Партизаны, как на свадьбе, шли с ревом, гиканьем, свистом в сопки.

Шестой день увядал.

Томительно и радостно пахли вечерние деревья.

В ГОРОДЕ

Х

На широких плетенных из гаоляна циновках лежали кучи камбалы, угрей, похожие на мокрые веревки, толстые пласты наваги, сазана и зубатки. В чешую рыб ныряло небо, камни домов. Плавники хранили еще нежные цвета моря — сапфирно-золотистые, ярко-желтые и густо-оранжевые.

Китайцы безучастно, как на землю, глядели на груды мяса и пронзительно, точно рожая, кричали:

— Тле-епанга-а!.. Капитана Луска! Кла-аба!.. Тлепанга-а! Покупайло еси?.. А-а?

Пентефлий Знобов, избрызганный желтой грязью, пахнувший илом, сидел в лодке у ступенек набережной и говорил с неудовольствием:

— Орет китай, а всего только рыбу предлагает.

— Предлагай, парень, ты!

— Наше дело рушить все! Рушь да рушь, надоело. Когда строить-то будем! Эх, кабы японца грамотного найти!

Матрос спустил ноги к воде, играя подошвами у борды волны, спросил:

— На што тебе японца?

У матроса была круглая, гладкая, как яйцо, голова и торчащие грязные уши. Весь он плескался, как море у лодки, — рубаха, широчайшие штаны, гибкие рукава. Плескалась и плыла набережная, город...

«Веселый человек», — подумал Знобов.

— Японца я могу. Найду. Японца здесь много!

Знобов вышел из лодки, наклонился к матросу и, глядя поверх плеча на пеструю, как одеяло из лоскутьев, толпу, звенящие вагоны трамваев и бесстрастные голубовато-желтые короткие кофты — курмы китайцев, проговорил шепотом:

— Японца надо особенного, не здешнего. Прокламацию пустить чтоб. Напечатать и расклеить по городу. Полу-чай! Можно по войскам ихним.

Он представил себе желтый листик бумаги, упечатанный непонятными знаками, и ласково улыбнулся:

— Они поймут! Мы, парень, одного американца до слезы проняли. Прямо чисто бак лопнул... плачет...

— Может, и со страху плакал?

— Не сикельди. Главное, разъяснить жизнь надо человеку. Без разъяснения что с него спросишь, олово?

— Трудно такого японца найти.

— Я и то говорю. Не иначе, как только наткнешься.

Матрос привстал на цыпочки. Глянул в толпу:

— Ишь сколь народу! Может, и есть здесь хороший японец, а как его найдешь!

Знобов вздохнул:

— Найти трудно. Особенно мне. Совсем людей не вижу. У меня в голове-то сейчас совсем как в церкви клирос! Свои войдут, поют, а остальная публика только слушай. Пелена в глазах.

— Таких теперь много.

— Иначе нельзя. По тропке идешь, в одну точку смотри, а то закружится голова, ухнешь в пядь! Суши там кости. Кайся.

Опрятно одетые канадцы проходили с громким смехом. Молчаливо шли японцы, похожие на вырезанные из брюквы фигурки. Пели шпорами сереброгалунные атамановцы.

В гранит устало упиралось море. Влажный, как пена, ветер, пахнувший рыбой, трепал волосы. В бухте, как цветы, тканые на ситце, нестрели серо-лиловые корабли, белоголовые китайские шкуны, лодки рыбаков.

— Кабак, а не Расея!

Матрос подпрыгнул упруго. Рассмеялся:

— Подожди, мы им холку натрем.

— Пошли? — спросил Знобов.

— Айда, посуда!

Они подымались в гору Пекинской улицей.

Из дверей домов пахло жареным мясом, чесноком, маслом. Два китайца-разносчика, поправляя на плечах кипы материй, туго перетянутых ремнями, глядя на русских, нагло хохотали.

Знобов сказал:

— Хохочут, черти! А у меня в брюхе-то как новый дом строят. Да и ухни он! Дал бы нормально по носу, суки!..

Матрос повел телом под скорлупой рубахи и кашлянул.

— Кому как!

Похоже было — огромный приморский город жил своей привычной жизнью.

Но уже томительная тоска поражений наложила язвы на лица людей, на животных, дома. Даже на море.

Видно было, как за блестящими стеклами кафе затянутые во френчи офицеры за маленькими столиками пили торопливо, точно укалывая себя рюмками, коньяк. Плечи у них были устало искривлены. Часто опускались на глаза тощие, точно задыхающиеся веки.

Худые, как осиноый хворост, измороженные отступлением лошади, расслабленно хромая, тащили наполненные грязным бельем телеги. Его эвакуировали из Омска по ошибке, вместо снарядов и орудий. И всем казалось, что белье это с трупов.

Ели глаза, как раствор мыла, пятна домов, полуразрушенных во время восстания.

И другое, инаколикое, чем всегда, плескалось море.

И по-иному, из-за далекой овиди¹ — тонкой и звенящей, как стальная проволока, — задевал крылом по городу зеленый океанский ветер.

Матрос неторопливо и немного франтовато козырял.

— Не боишься шпиков-то? — спросил он Знобова.

Знобов думал о японцах и, вычесывая западающие глубоко мысли, ответил немного торопливо:

— А нет. У меня другое на сердце. Сначала боялся, а потом привык. Теперь большевиков ждут, мести боятся, знакомые-то потому и не выдают. — Он ухмыльнулся. — Сколь мы страху человекам нагнали. В десять лет не изживут.

— И сами тоже хватили!

— Да-а!.. У вас арестов нету?!

— Трех взяли.

— Да-а... Иди к нам в сопки.

— Камень, лес. Не люблю... скучно.

¹ Горизонт.

— Это верно. Домов из такого камня хороших можно набухать. Прямо — Америка. Валяется без толку, ни жрать, ни под голову. Мужичку ничего, а мне тоже скучно. Придется нам, однако, в город наступать.

— Валяйте. Вершинин как мыслит?

— Вершинин — туча, куда ветер — там и он с дождем. Куда мужики — значит, и Вершинин...

XI

Председатель подпольного революционного комитета товарищ Пеклеванов, маленький веснушчатый человек, в черепаховых очках, очинял ножичком карандаш. На стеклах очков остро, как лезвие ножичка, играло солнце и будто очиняло глаза, и они блестели по-новому.

— Вы часто приходите, товарищ Знобов, — сказал Пеклеванов.

Знобов положил потрескавшися от ветра и воды пальцы на стол и туго проговорил:

— Народ робить хочет.

— Ну?

— А робить не дают. Объяростели. Гонют. Мне и то неловко, будто невесту богатую уговариваю.

— Мы вас известим.

— Ждать надоело. Хуже рвоты. Стреляй по поездам, жги, казаков бей... Бронепоезд тут. Японец чисто огонь — не разбирает.

— Пройдет.

— Знаем. Кабы не прошло, за что умирать? Мост взорвать хочут.

— Прекрасно. Инициативу нужно, нужно. Чудесно.

— Снаряду надо и человека со снарядами тоже. Динамитного человека надо.

— Пошлем. И человека и динамит. Действуйте.

Помолчали. Пеклеванов жарко, истощенно дышал:

— Дисциплины в вас нет.

— Промеж себя?

— Нет, внутри.

— Ну-у, такой дисциплины теперь ни у кого нету...

Председатель ревкома поцарапал зачесавшийся острый локоть. Кожа у него на щеках нездоровая, как будто не спал всю жизнь, но глубоко где-то хлещет радость, и

толчки ее, как ребенок в чреве роженицы, пятнами румянят щеки.

Матрос протянул руку, пожал, будто сок выжимая. Вышел.

Знобов придвинулся поближе и тихо спросил:

— Мужики все насчет восстанья, ка-ак?.. Случай чего, тыщи три из деревни дадим сюда. Германского бою, стары солдаты. План-то имеется?

Он раздвинул руки, точно охватывая стол, и устало зашептал:

— А вы на японца-то прокламацию пустите. Чтоб ему сердце-то насквозь прожечь... Мы тут американца одного, до слезы...

У Пеклеванова впалая грудь, говорит слабым голосом, глаз тихий — в очках.

— Как же, думаем... Меры принимаем.

Знобову вдруг стало его жалко.

«Хороший ты человек, а начальник... того...» — подумал он, и ему захотелось увидеть начальника — здорово бритого человека и почему-то с лысиной во всю голову.

На столе валялась большая газета, а на ней хмурый черный хлеб, мелко нарезанные ломтики колбасы, а поодаль, на синем блюдечке, две картошки и подле блюдечка кусочек сахара.

«Птичья еда», — подумал с неудовольствием Знобов.

Пеклеванов, потирая плечом небритую щеку снизу вверх, говорил:

— В назначенный час восстанья на трамваях со всех концов города появляются рабочие и присоединившиеся к ним солдаты. Перерезают телеграфные провода и захватывают учреждения.

Пеклеванов говорил, точно читая телеграмму, и Знобову было радостно. Он потряс усами и заторопил:

— Ну-у!.. А не сорвется опять! Вы верите уже...

— Все остальное сделает ревком. В дальнейшем он будет руководить операциями.

Знобов опустил на стол томящиеся силой руки и спросил:

— Все?

— Пока да.

— А мало этого, товарищ... Ей-богу, мало... Ну, возьми...

Пальцы Пеклеванова побежали среди пуговиц пиджака, веснушчатое лицо покрылось пятнами. Он словно обиделся.

Знобов бормотал:

— Мужиков-то тоже так бросить нельзя. Надо позвать. Выходит, мы в сопках-то зря сидели, как куры на испорченных яйцах. Нас, товарищ, много... тысячи...

— Японцев сорок. Сорок тысяч.

— Это верно,— как вшей, могут сдать. А только пойдет.

— Кто?

— Мир. Мужик хочет.

— Эсеровщины в вас много, товарищ Знобов. Землей от вас несет.

— А от вас колбасой.

Пеклеванов захохотал каким-то пестрым смехом.

— Водкой попотчую, хотите? — предложил он. — Только долго не сидите и правительство не ругайте. Следят.

— Мы втихомолку.

Выпив стакан водки, Знобов вспотел и, вытирая лицо полотенцем, сказал, хмельно икая:

— Ты, парень, не сердись — прохлаждайся. А сначала не понравился ты мне, что хошь.

— Прошло?

— Теперь ничего. Мы, брат, мост взорвем, а потом броневик там такой есть.

— Где?

Знобов распустил руки:

— По линии... ходит. Четырнадцать там, и еще цифры. Зовут. Народу много погубил. Может, миллион народу срезал. Так мы ево... того...

— В воду?

— Зачем в воду? Мы по справедливости. Добро казенное, мы так возьмем.

— Орудия на нем.

— Опять ничего не значит. Постольку поскольку выходит, и никакого черта...

Знобов вяло качнул головой:

— Водка у тебя крепкая. Тело у меня, как земля,— не слушат человеческого говору. Свое прет.

Он поднял ногу на порог и сказал:

— Прощай. Предыдущий ты человек, ей-богу.

Пеклеванов отрезал кусочек колбасы, выпил водки и, глядя на засиженную мухами стену, сказал:

— Да-а... предыдущий.

Он, весело ухмыльнувшись, достал лист бумаги и, словно скрипя пером, стал писать инструкцию восставшим военным частям.

ХII

На улице Знобов увидел у палисадника японского солдата.

Солдат в фуражке с красным околышем и в желтых крагах нес длинную эмалированную миску. У японца был жесткий маленький рот и редкие, как стрекозьи крылышки, усики.

— Обожди-ка! — сказал Знобов, взяв его за рукав.

Японец резко отдернул руку и строго крикнул:

— Ню! Сиво лезишь?

Знобов скривил лицо и передразнил:

— Хрю! Чушка ты. К тебе с добром, а ты с хрю-ю! В бога веруешь?

Японец призакрыл глаза и из-под загнутых, как углы крыш пагоды, ресниц оглядел поперек Знобова — от плеча к плечу, потом оглядел сапоги и, заметив на них засохшую желтую грязь, сморщил рот и хрипло сказал:

— Лусика сюполочь. Ню?..

И, прижимая к ребрам миску, неторопливо отошел.

Знобов поглядел вслед на задорно блестящие бляшки пояса. Сказал с сожалением:

— Дурак ты, я тебе скажу!..

КИТАЕЦ СИН БИН-У

ХIII

Через три дня в отряд Вершинина, разламывая телом плетенную из тростника тележку, примчался матрос Анисимов.

Лоб у него горел волдырями, одна щека тонула в ссадине, а на груди болтался красный бант.

Матрос кричал с трашпанки:

— В городе, товарищ-щи, восстанье!.. Крой... Броне-вик капитану Незеласову приказано туда в два счета при-гнать... Чтoб немедленно. Рабочие бастуют, одним сло-вом — крой, и никаких гвоздей!.. А броневик вам, значит, вручаем... А я милицию органиую.

И ускакал в сопки — веселый матрос.

Облако над сопками — словно красная лента...

XIV

Эта история длинная, как Син Бин-у возненавидел японцев. У Син Бин-у была жена из фамилии Е, крепкая манза¹, в манзе крашеный теплый кан² и за манзой жел-тые поля гаоляна и чумизы³.

А в один день, когда гуси улетели на юг, все исчезло. Только щека оказалась проколота штыком.

Син Бин-у читал Ши-цзинь⁴, плел циновки в город, но бросил Ши-цзинь в колодец, забыл циновки и ушел с русскими по дороге Хун-ци-цзе⁵.

Син Бин-у отдыхал на песке, у моря. Снизу тепло, сверху тепло, словно сквозь тело прожигает и калит пе-сок солнце.

Ноги плещутся в море, и когда теплая, как парное молоко, волна лезет под рубаху и штаны, Син Бин-у за-дирает ноги и ругается.

— Цхау-неа!..

Син Бин-у не слышал, что говорит густоусый и высо-коносый русский. Син Бин-у убил трех японцев, и пока китайцу ничего не надо, он доволен.

От солнца, от влажного ветра бороды мужиков желто-вато-зеленые, спутанные, как болотная тина, и пахнут мужики скотом и травами.

У телег пулеметы со щитами, похожими на зеленые тарелки, пулеметные ленты, винтовки.

¹ Хижина.

² Деревянные нары, заменяющие кровать.

³ Род китайского проса.

⁴ Книга стихов, чтение которой указывает на хорошую гра-мотность.

⁵ Дорога Красного знамени, восстаний.

На телеге с низким передком, прикрытой рваным брезентом, метался раненый. Авдотья Стещенкова поила его из деревянной чашки и уговаривала:

— А ты не стони, пройдет!

Потная толпа плотно набилась между телег. И телеги, казалось, тоже вспотели, стиснутые бушующим человеческим мясом. Выросшие из бород мутно-красными полосками губы блестели на солнце слюной.

— О-о-о-у-у-у!..

Вершинин с болью во всем теле, точно его подкидывал на штыки этот бессловный рев, оглушая себя нутряным криком, орал:

— Не давай землю японсу-у!.. Все отымем! Не давай!

И никак не мог закрыть глотку. Все ему казалось мало. Иные слова не приходили.

— Не да-ва-й!..

Толпа тянула за ним:

— А-а-а!..

И вот на мгновенье стихла. Вдохнула.

Ветер нес запах пота.

Партизаны митинговали.

Лицо Васьки Огорока, рыжее, как подсолнечник, буйно металось в толпе, и потрескавшиеся от жары губы шептали:

— На-ароду-то... Народу-то мильёны, товарищи!..

Высокий, мясистый, похожий на вздыбленную лошадь, Никита Вершинин орал с пня:

— Главна: не давай-й!.. Придет суда скоро армия... советска, а ты не давай... старик!..

Как рыба, попавшая в невод, туго бросается в мотню, так кинулись все на одно слово:

— Не-е да-а-авай!!

И казалось, вот-вот обрушится слово, переломится, и появится что-то непонятное, злобное, как тайфун.

В это время корявый мужичонка в шелковой малиновой рубахе, прижимая руки к животу, пронзительным голосом подтвердил:

— А верю, ведь верна!..

— Потому за нас Питер... ници... пал!.. и все чужие земли! Бояться нечего... Японец — что, японец — легок... Кисея!..

— Верна, парень, верна! — визжал мужичонка.

Густая потная тысячная толпа топтала его визг.

— Верна-а...

— Не да-а-ай!..

-- На-а!..

— О-о-оу-у-у!!

— О-о!!!

XV

После митинга Никита Вершинин выпил ковш самогонки и пошел к морю. Он сел на камень подле китайца, сказал:

— Подбери ноги, штаны измочишь. Пошто на митингу не шел, Сенька?

— Нисиво,— проговорил китаец,— мне ни нада... Мне так зынаю — зынаю псе... шанго.

— Ноги-то подбери!

— Нисиво. Солнышко тепло еси. Нисиво — а!..

Вершинин насупился и строго, глядя куда-то подле китаец, с расстановкой сказал:

— Беспорядку много. Народу сколь тратится, а все в туман.. У меня, Сенька, душа пищит, как котенка на морозе бросили... да-а... Мост вот взорвем, строить придется.

Вершинин подобрал живот, так что ребра натянулись под рубахой, как ивняк под засохшим илом, и, наклонившись к китайцу, с потемневшим лицом выпытывающе спросил:

— А ты... как думаешь... А? Пошто эта, а?..

Син Бин-у, торопливо натягивая петли на деревянные пуговицы кофты, оробело отполз.

Вершинин, склонившись над отползающим китайцем, глубоко оседая в песке тяжелыми сапогами, как у идола, тоскливо и не надеясь на ответ, спрашивал:

— Зря, что ль, молчишь-то?.. Ну?..

Китайцу показалось, что вставать никак нельзя, он залепетал:

— Нисиво!.. нисиво ни зынаю!..

Вершинин почувствовал ослабление тела, сел на камень.

— Ну вас к черту!.. Никто не знат, не понимает... Разбудили, побежали, а дале что?..

И, осев плотно на камне, как леший, усталое сказал подходившему Окороку:

— Не то народ умом оскудел, не то я...

— Чего? — спросил тот.

— На смерть лезет народ.

— Куда?

— Броневи́к-то братъ. Миру добыют много. И то в смерть, как снег в полынью, несет людей.

Окорок, свистнув, оттопырил нижнюю губу.

— Жалко тебе?

Подошел Знобов, под мышкой у него была прижата папка с бумагами.

— Подписать приказы!

Вершинин густо начеркал на бумаге букву В, а подле нее длинную жирную черту.

— Ране-то пыхтел-потел, еле-еле фамилию напишешь, спасибо, догадь взяла, поставил одну букву с палкой — и ладно... знают.

Окорок повторил:

— Жалко тебе?

— Чего? — спросил Знобов.

— Люди мрут.

Знобов сунул бумажку в папку и сказал:

— Пустяковину все мелешь. Чего народу жалеть? Новой вырастет.

Вершинин сипло ответил:

— Кабы настоящи ключи были. А вдруг, паре, не теми ключьми двери-то открыть надо.

— Зачем идешь?

— Землю жалко. Японец отымет.

Окорок беспутно захохотал:

— Эх, вы, землехранители, ядрена-зелена! И-их!..

— Чего ржешь? — с тугой злостью проговорил Вершинин. — Кому море, а кому земля. Земля-то, парень, тверже. Я сам рыбацкого роду...

— Ну, пророк?

— Рыбалку брошу теперь.

— Пошто?

— Зря я мучился, чтоб в море идти опять. Пахотой займусь. Город-то оманывает, пузырь мыльной, в карман не сунешь.

Знобов вспомнил город, председателя ревкома, яркие пятна на пристани — людей, трамвай, дома — и сказал с неудовольствием:

— Земли твоей нам не надо. Мы, тюря, по всем пла-

нетам землю отымем и трудящимся массам — расписывайся!..

Окорок растянулся на песке рядом с китайцем и, взрывая ногами песок, сказал:

— Японскова микадо колды расстреливать будут, вот завизжит, курва. Патеха-а!.. Не ждет поди, а, Сенька? Как ты думаешь, Егорыч?

— Им виднее, — нехотя ответил Вершинин.

Над песками — берега-скалы, дальше горы. Дуб. Лиственница. Высоко на скале человек, в желтом — как кусочек смолы на стволе сосны — часовой.

Вершинин, грузно ступая, пошел между телегами.

Син Бин-у сказал:

— Серысе похудел-пхудел немынога... а?

— Пройдет, — успокоил Окорок, закуривая папироску.

Син Бин-у согласился:

— Нпсиво.

XVI

Корявый мужичонка в малиновой рубаше поймал Вершинина за полу пиджака и, отходя в сторону, таинственно зашептал:

— Я тебя понимаю. Ты полагаешь, я балда балдой. Ты им вбей в голову, поверют и пойдут!.. Само главное — в человека поверить... А интернасынал-то?

Он подмигнул и еще тихо сказал:

— Я ведь знаю — там ничего нету. За таким мудреным словом никогда доброго не найдешь. Слово должно быть простое, скажем — пашня... Хорошее слово.

— Надоели мне хорошие слова.

— Бреешь. Только говорил и говорить будешь. Ты вбей им в голову. А потом лишнее спрятать можно... Это завсегда так делается. Ведь которому человеку агромаднейшая мера надобна, такое племя... Он тебе верхком, стерва, мерить не хочет, а верста. И пусть, пусть мерят.. Ты-то свою меру знашь... Хе-хе-хе!..

Мужичонка по-свойски хлопнул Вершинина в плечо.

Тело у Вершинина сжималось и горело. Лег под телегу, пробовал уснуть и не мог.

Вскочил, туго перетянул живот ремнем, умылся из чугунного рукомоиника согретой водой и пошел собирать молодых парней.

— На учење, айда. Жива-а!..

Парни с зыбкими и неясными, как студень, лицами собирались послушно.

Вершинин выстроил их в линию и скомандовал:

— Смирна-а!..

И от крика этого почувствовал себя солдатом:

— Равнение на-право-о!..

Вершинин до позднего вечера учил парней.

Парни потели, злобно проделывая упражнения, по-сматривая на солдце.

— Полу-оборот на-алева-а!.. Смотри. К японцу пойдём!

Один из парней жалостно улыбнулся.

— Чего ты?

Парень, моргая выцветшими от морской соли ресницами, сказал робко:

— Где к японсу? Свово б не упустить. У японса-то, бают, мо-оря... А вода их горячая, хрисьянину пить нельзя.

— Таки же люди, колдобоина!

— А пошто они желты? С воды горячей, бают?

Парни захохотали.

Вершинин прошел по строю и строго скомандовал:

— Рота-а, пли-я!..

Парни щелкнули затворами.

Лежавший под телегой мужик поднял голову и сказал:

— Учит. Обстоятельный мужик, Вершинин-то...

Другой ответил ему полусонно:

— Камень, скаля... Большим комиссаром будет.

— Он-то? Обязательна.

П РА П О Р Ш И К О Б А Б

ХVII

Казак изнеможенно ответил:

— Так точно... с документами...

Мужик стоял, откинув туловище, и похожая на рыжий платок борода плотно прижималась к груди.

Казак, подавая конверт, сказал:

— За голяшками нашли!

Молодой крупноглазый комендант станции, обессиленно опираясь на низкий столик, стал допрашивать партизана:

— Ты... какой банды... вершининской?..

Капитан Незеласов, вдавливая раздражение, гладил ладонями грязно пахнущую, как солдатская портянка, скамью комендантской и зябко вздрагивал. Ему хотелось уйти, но постукивавший в соседней комнате аппарат телеграфа не пускал:

«Может... приказ... может...»

Комендант, передвигая тускло блестящие четырехугольники бумажек, изнуренным голосом спросил:

— Какое количество?.. Что?.. Где?..

Со стен, когда стучали входной дверью, откалывалась штукатурка. Незеласову казалось, что комендант притворяется спокойным.

«Угодить хочет... бронепоезд... дескать, наши...»

А у самого внутри такая боль, какая бывает, когда медведь проглатывает ледяшку с замороженной спиралью китового уса. Ледяшка тает, пружина распрямляется, рвет внутренности — сначала одну кишку, потом другую...

Мужик говорил закоснелым, смертным говором и только при словах: «Город-то, бают, узяли наши», — строго огляделся, но опять спрятал глаза.

Румяное женское лицо показалось в окошечке:

— Господин комендант, из города не отвечают.

Комендант сказал:

— Говорят, не расстреливают — палками...

— Что? — спросило румяное лицо.

— Работайте, вам-то что! Вы слышали, капитан?

— Может... все может... Но ведь, я думаю...

— Как?

— Партизаны перерезали провода. Да, перерезали, только...

— Нет, не думаю. Хотя!..

Когда капитан вышел на платформу, комендант, изнуренно кладя на подоконник свое тело, сказал громко:

— Капитан, арестованного прихватите.

Рыжебородый мужик сидел в бронепоезде неподвижно. Кровь ушла внутрь, лицо и руки ослизли, как мокрая серая глина.

Когда в него стреляли, солдатам казалось, что они стреляют в труп. Поэтому, наверное, один солдат приказал до расстрела:

— А ты сапоги-то сейчасними, а то потом возись.

Обычным движением мужик сдернул сапоги.

Противно было видеть потом, как из раны туго ударила кровь.

Обаб принес в купе щенка — маленький сверточек слабого тела. Сверточек неуверенно переполз с широкой ладони прапорщика на кровать и заскулил.

— Зачем вам? — спросил Незеласов.

Обаб как-то по-своему ухмыльнулся:

— Живность. В деревне у нас — скотина. Я уезда Барнаульского.

— Зря... да, напрасно, прапорщик.

— Чего?

— Кому здесь нужен ваш уезд?.. Вы... вот... прапорщик Обаба, да золотопогонник и... враг революции. Никаких.

— Ну? — жестко проговорил Обаба.

И, отплескивая чуть заметное наслаждение, капитан проговорил:

— Как таковой... враг революции... выходит, подлежит уничтожению. Уничтожению!

Обаба мутно посмотрел на свои колени, широкие и узловатые пальцы рук, напоминавшие сухие корни, и мутным, тягучим голосом проговорил:

— Ерунда. Мы их в ланшу искрошим!

На ходу в бронепоезде было изнурительно душно. Тепло исходило потом, руки липли к стенам, скамейкам.

Только когда выводили и расстреливали мужика с рыжей бородой, в вагон слабо вошел хилый, больной ветер и слегка освежил лица. Мелькнул кусок стального неба, клочья изорванных немощных листьев с клёнов.

Тоскливо пищал щенок.

Капитан Незеласов ходил торопливо по вагонам и визгливо, по-женски ругался. У солдат были вялые длинные лица, и капитан брызгал словами:

— Молчать, гниды. Не разговаривать, молчать!..

Солдаты еще более выпячивали скулы и пугались своих воспаленных мыслей. Им при окриках капитана каза-

лось, что кто-то, не признававший дисциплины, тихо скучит у пулеметов, у орудий.

Они торопливо оглядывались.

Стальные листы, покрывавшие хрупкие деревянные доски, несло по ровным, как спички, рельсам — к востоку, к городу, к морю.

XVIII

Син Бин-у направили разведчиком.

В плетеную из ивовых прутьев корзинку он насыпал жареных семечек, на дно положил револьвер и, продавая семечки, хитро и радостно улыбался.

Офицер в черных галифе с серебряными двуполосыми галунами, заметив радостно изнемогающее лицо китайца, наклонился к его глазам и торопливо спросил:

— Кокаин есть?

Син Бин-у плотно сжал колпачки тонких, как щели, век и, точно сожалея, ответил:

— Нетю!

Офицер строго выпрямился.

— А что есть?

— Семечки еси.

— Жидам продались,— сказал офицер, отходя.— Вешать вас!

Тонкогрудый солдатик в голубых обмотках и в шинели, похожей на грязный больничный халат, сидел рядом с китайцем и рассказывал:

— У нас в Семипалатинской губернии, брат китаеца, арбуз совсем особенный — китайскому арбузу далеко.

— Шанго,— согласился китаец.

— Домой охота, а меня к морю везут, видишь.

— Сытупай.

— Куда.

— Домой.

— Устал я. Повезут — поеду, а самому идти — сил нету.

— Семичика мынога.

— Чево?

Китаец встряхнул корзинку. Семечки сухо зашуршали, запахло золой от них.

— Семичики мынога у русика башку. У-ух... Шибиршнты...

— Что шёбуршит?
— Семичика, зелена-а...
— А тебе что же, камень надо, чтоб в голове-то лежал?

Китаец одобрительно повел губами и, указывая на серый френч проходившего плоского офицера, спросил:

— Кто?
— Капитан Незеласов, это, китаеза, начальник бронепоезда. В город требуют поезд, уходит. Перережут тут нас партизаны-то, а?

— Шанго... Пу шанго...

— Для тебя все шанго, а мы кумекай тут!

Русоглазый парень с мешком, из которого торчал жидкий птичий пух, остановился против китайца и весело крикнул:

— Наторговал?

Китаец вскочил торопливо и пошел за парнем.

Бронепоезд вышел на первый путь. Беженцы с перрона жадно и тоскливо посмотрели на него, зашептались испуганно. Изнеможенно прошли казаки. Седой длиннобородый старик рыдал возле кипяточного крана, и, когда он вытирал слезы, видно было — руки у него маленькие и чистенькие.

Солдатик прошел мимо, с любопытством и скрытой радостью оглядываясь, посмотрел в бочку, наполненную гнило пахнущей, похожей на ржавую медь водой.

— Житьишко, — сказал он любовно.

Китаец в гаюлянах говорил что-то шепотом русоглазому парню.

ХІХ

Ночью стало совсем душно. Духота густыми непреодолимыми волнами рвалась с мрачных чугунно-темных полей, с лесов — и, как теплую воду, ее ощущали губы, и с каждым вздохом грудь наполнялась тяжелой, как мокрая глина, тоской.

Сумерки здесь коротки, как мысль помешанного. Сразу — тьма. Небо в искрах. Искры бегут за паровозом, паровоз рвет рельсы, тьму и беспомощно жалко ревет.

А сзади наскскивают горы, лес. Наскочат и раздавят, как овца жука.

Прапорщик Обаб всегда в такие минуты ел. Торопливо хватал из холщового мешка яйца, срывал скорлупу, втискивал в рот хлеб, масло, мясо. Мясо любил полусырое и жевал его передними зубами, роняя липкую, как мед, слюну на одеяло. Но внутри по-прежнему был жар и голод.

Солдат-денщик разводил чаем спирт, на остановках приносил корзины провизии, недоумело докладывая:

— С городом, господин прапорщик, сообщения нет.

Обаб молчал, хватая корзинку, и узловатыми пальцами вырывал хлеб, и если не мог больше его съесть, сладострастно тискал и мял, отшвыривая затем прочь.

Спустив щенка на пол и следя за ним мутным медленным взглядом, Обаб лежал неподвижно. Выступала на теле испарина. Особенно неприятно было, когда потели волосы.

Щенок, тоже потный, визжал. Визжали буксы. Грохотала сталь — точно заклепывали...

У себя в купе, жалко и быстро вспыхивая, как спичка на ветру, бормотал Незеласов:

— Прорвемся... к черту!.. Нам никаких командований... Нам плевать!..

Но так же, как и вчера, версту за верстой, как Обаб пищу, торопливо и жадно хватал бронепоезд — и не насыщался. Так же мелькали будки стрелочников, и так же, забитый полями, ветром и морем, жил на том конце рельс непонятный и страшный в молчании город.

— Прорвемся, — выхаркивал капитан и бежал к машинисту.

Машинист, лицом чернявый, порывистый, махая всем своим телом, кричал Незеласову:

— Уходите!.. Уходите!..

Капитан, незаметно гримасничая, обволакивал машиниста словами:

— Вы не беспокойтесь... партизан здесь нет... А мы прорвемся, да, обязательно... А вы скорей... А... Мы все-таки...

Машинист был доброволец из Уфы, и ему было стыдно своей трусости.

Кочегар, тыча пальцем в тьму, говорил:

— У красной черты... Видите?

Капитан глядел на закоптелый глаз машиниста и воспаленно думал о «красной черте». За ней паровоз взорвется, сойдет с ума.

— Все мы... да... в паровоз...

Нехорошо пахло углем и маслом.

Вспоминались бунтующие рабочие.

Незеласов внезапно выскакивал из паровоза и бежал по вагонам, крича:

— Стреляй!..

Для чего-то подтянув ремни, солдаты становились у пулеметов и выпускали в тьму пули. От знакомой работы аппаратов тошнило.

Явился Обаб. Губы жирные, лоб потно блестел. Он спрашивал одно и то же:

— Обстреливают? Обстреливают?

Капитан приказывал:

— Отставь!

— Усните, капитан!

Все в поезде бегало и кричало — вещи и люди. И серый щенок в купе прапорщика Обаба тоже пищал.

Капитан торопился закурить сигаретку:

— Уйдите... к черту!.. Жрите... все, что хотите... Без вас обойдемся.

И визгливо тянул:

— Пра-а-порщик!..

— Слушаю,— сказал прапорщик,— вы что ищете?

— Прорвемся... я говорю — прорвемся!..

— Ясно. Всего хватает.

Капитан снизил голос:

— Ничего. Потеряли!.. Коромысло есть... Нет ни чашек... ни гирь... Кого и чем мы вешать будем!..

— Да я их...

Капитан пошел в свое купе, бормоча на ходу:

— А... Земли здесь вот... за окнами... Как вы... вот пока... она вас... проклиняет, а?..

— Что вы глисту тянете? Не люблю. Короче.

— Мы, прапорщик, трупы... завтрашнего дня. И я, и вы, и все в поезде — прах... Сегодня мы закопали человека, а завтра... для нас лопата... да.

— Лечиться надо.

Капитан подошел к Обабу и, быстро впивая в себя воздух, прошептал:

— Сталь не лечат, переливать надо... Это ту... движется если... работает... А если заржавела... Я всю жизнь, на всю жизнь убежден был в чем-то, а... Ошибся, оказывается... Ошибку хорошо при смерти... А мне тридцать ле-ет, Обаб. Тридцать, и у меня ребеночек — Ва-а-алька... И ногти у него розовые, Обаб...

Тупые, как носок американского сапога, мысли Обаба разошлись в стороны. Он отстал, вернулся к себе, взял папироску и тут, не куря еще, начал плевать — сначала на пол, потом в закрытое окно, в стены и на одеяло, и когда во рту пересохло, сел на кровать и мутно воззрился на мокрый живой сверточек, пищавший на полу.

— Глиста!..

XX

На рассвете капитан вбежал в купе Обаба.

Обаб лежал вниз лицом, подняв плечи, словно прикрывая ими голову.

— Послушайте, — нерешительно сказал капитан, потянув Обаба за рукав.

Обаб повернулся, поспешно убирая спину, как убирают рваную подкладку платья.

— Стреляют? Партизаны?

— Да нет... Послушайте!..

Веки у Обаба были вздутые и влажные от духоты, и мутно и обтрепанно глядели глаза, похожие на прорехи в платье.

— Но нет мне разве места... в людях, Обаб?.. Поймите... я письмо хочу... получить. Из дома, ну!..

Обаб сипло сказал:

— Спать надо, отстаньте!

— Я хочу... получить из дома... А мне не пишут!.. Я ничего не знаю. Напишите хоть вы мне его, прапорщик!.. — Капитан стыдливо хихикнул: — А... незаметно так, бывает... а...

Обаб вскочил, натянул дрожащими руками большие сапоги, а затем хрипло закричал:

— Вы мне по службе, да! А так мне говорить не смей! У меня у самого... в Барнаульском уезде...

Прапорщик вытянулся, как на параде.

— Орудия, может, не чищены? Может, приказать?
Солдаты пьяны, а тут ты... Не имеешь права...

Он замахал руками и, подбирая живот, говорил:

— Какое до тебя мне дело? Не желаю я жалеть тебя, не желаю!

— Тоска, прапорщик... А вы... все-таки... человек!

— Жизненка твоя паршивая. Сам паршивый... Она-низмом в детстве-то, а... Ишь, ласки захотел...

— Вы поймите... Обаб.

— Не по службе то.

— Я прошу...

Прапорщик закричал:

— Не хо-очу-у!..

И он повторил несколько раз это слово, и с каждым повторением оно теряло свою окраску; из горла вырывалось что-то огромное, хриплое и страшное, похожее на бегущую армию:

— О-о-а-е-ггты!..

Они, не слушая друг друга, иступленно кричали, до хрипоты, до того, пока не высох голос.

Капитан устало сел на койку и, взяв щенка на колени, сказал с горечью:

— Я думал... камень. Про вас-то... А тут — леденец... в жару распустился!

Обаб распахнул окно и, подскочив к капитану, резко схватил щенка за гривку.

Капитан повис у него на руке и закричал:

— Не сметь!.. Не сметь бросать!

Щенок завизжал.

— Ну-у!..— густо и жалобно протянул Обаб.— Пу-у-сти-и...

— Не пуцу, я тебе говорю!..

— Пу-усти-и!

— Бро-ось!.. Я!..

Обаб убрал руку и, словно намеренно тяжело ступая, вышел.

Щенок тихо взвизгивал, неуверенно перебирал серыми лапками по полу, по серому одеялу. Похож на мокрое, ползущее пятно.

— Вот, бедный,— проговорил Незеласов, и вдруг в горле у него заклокотало, в носу ощутилась вязкая сырость. Он заплакал.

В купе звенел звонок — машинист бронепоезда требовал к себе.

Незеласов устало позвал:

— Обаб!

Обаб шел позади и был недоволен мелкими шажками капитана.

Обаб сказал:

— Мостов здесь порванных нету. Что у них? Шпалы разобрали... Партизаны... А из города ничего. Ерунда!

Незеласов виновато сказал:

— Чудесно... мы живем, да-а?.. А до сего момента... не знаю, как имя... отчество ваше, а... Обаб и Обаб?.. Извините, прямо... как собачья кличка...

— Имя мое — Семен Авдеич. Хозяйственное имя.

Машинист, как всегда, стоял у рычагов. Сухой, жилистый, с медными усами и словно закоптелыми глазами.

Указывая вперед, он проговорил:

— Человек лежит.

Незеласов не понял. Машинист повторил:

— Человек на пути!

Обаб высунулся. Машинист быстро передвинул какие-то рычаги. Ветер рванул волосы Обаба.

— На рельсах, господин капитан, человек!

Незеласова раздражал спокойный голос прапорщика, и он резко сказал:

— Остановите поезд!

— Не могу, — сказал машинист.

— Я приказываю! Я...

— Нельзя, — повторил машинист. — Поздно вы пришли. Перережем, тогда остановимся.

— Человек ведь! Что?

— По инструкции не могу остановить. Крушение иначе будет.

Обаб расхохотался:

— Совсем останавливаться ни к чему. Мало мы людей перебили. Если из-за каждого стоять, мы бы дальше Ново-Николаевска не ушли.

Капитан раздраженно сказал:

— Прошу не указывать! Остановить после перереза! Прошу!..

— Слушаюсь, господин капитан, — ответил Обаб.

Ответ этот, грубый и торопливый, еще больше озлил капитана, и он сказал:

— А вы, прапорщик Обаб, идите немедленно, и чтобы мне рапорт, что за труп на пути.

— Слушаю,— ответил Обаб.

Машинист еще увеличил ход.

Вагоны напряженно вздрогнули. Пронзительно зазвучал гудок.

Человек на рельсах лежал неподвижно. Виднелось на желтых шпалах синее пятно его рубахи.

Вагоны передернуло железными лопатками площадок.

— Кончено,— сказал машинист.— Сейчас остановлю, и посмотрим.

Обаб, расстегивая ворот рубахи, чтобы потное тело опыхнуло ветром, соскочил с верхней площадки прямо на землю. Машинист прыгнул за ним.

Солдаты показались в дверях. Незеласов надел фуражку и тоже пошел к выходу.

Но в это время толкнул бронепоезд лес гулким ружейным залпом. И немного спустя еще один заблудившийся выстрел.

Прапорщик Обаб вытянул вперед руки, как будто приготавливаясь к нырянию в воду, и вдруг тяжело покатился по откосу насыпи.

Машинист запнулся и, как мешок с вoза, грузно упал у колес вагона. На шею выступила кровь, и его медные усы точно сразу побелели.

— Назад!.. Назад!..— пронзительно закричал Незеласов.

Дверцы вагонов хлопнули, заглушая выстрелы. Мимо вагонов пробежал забытый в суматохе солдат. У четвертого вагона его убило.

Застучали пулеметы.

РЕЛЬСЫ

XXII

Похоже, не мог найти сапог по ноге и потому бегал босиком. Ступни у лисолицего были огромные, как лыжи, а тело, как у овцы,— маленькое и слабое.

Бегал лисолицый торопливо и кричал, глядя себе под ноги, словно сгоняя цыплят:

— Шавялись. Шавялись. Ждут...

И, для чего-то зажмурившись, спрашивал проходившие отряды:

— Сколько народу?

Открывая глаза, залихватски выкрикивал стоявшему на холме Вершинину:

— Гришати́нски, Никита Егорыч!

У подола горы редел лес, и на россыпях цвел голый камень. За камнем, на восток, на полверсты — реденький кустарник, за кустарником — желтая насыпь железной дороги, похожая на одну бесконечную могилу без крестов.

— Мутьевка, Никита Егорыч! — кричал лисолицый.

Темный, в желтеющих измятых травах стоял Вершинин. Было у него лохмоволосое, звериное лицо, иссушенный долгими переходами взгляд, изнуренные руки. Привыкшему к машинам Пентефлию Знобову было спокойно и весело стоять близ него. Знобов сказал:

— Народу идет много.

И протянул вперед руку, словно хватаясь за рычаг исправной и готовой к ходу машины.

— Аписимовски, сосновски!

Васька Окорок, рыжеголовый, на золотошерстном коротконогом иноходце подскакал к холму и, щекоча сапогами шею у лошади, заорал:

— Иду-ут! Тыщ поди пять будет!

— Боле, — отозвался уверенно лисолицый с россыпи. — Кабы я грамотный, я бы тебе усю рiestру разложил. Мильён!

Он яростно закричал проходившим:

— А ты каких волостей?!

У низкорослых монгольских лошадок и людей были приторочены длинные крестьянские мешки с сухарями. В гривах лошадей и людей торчали спелые осенние травы, и голоса были протяжные, но жесткие, как у перелетных осенних птиц.

— Открывать, что ли? — закричал лисолицый. — Ждут...

И хотя знали все: в городе восстание, на помощь белым идет бронепоезд № 14-69, если не задержать, восстание подавят японцы, — все же нужно было собраться, и чтоб один сказал и все подтвердили:

— Идти... Сказать всем, всем — слышать,

— Японец больше воевать не хочет,— добавил Вершинин, слезая с ходка.

Син Бин-у влез на ходок и долго, будто выпуская изо рта цветную и непонятно шебуршащую бумажную ленту, говорил, почему нужно сегодня задержать бронепоезд.

Между выкрашенных под золото и красную медь осенних деревьев натянулось, грязное, пахнущее землей, полотно из мужицких тел. Полотно гудело. И было непонятно — не то сердито, не то радостно гудит оно от слов человечков, говорящих с телеги.

— Голосовать, что ли? — спросил толстый секретарь штаба.

Вершинин ответил:

— Обожди. Не орали еще.

Зеленобородый старик с выцветшими, распаренными глазами, расправляя рубаху на животе, словно к его животу хотели прикладываться, шипел исступленно Вершинипу:

— А ты от бога куда идешь, а?

— Окстись ты, дед!

— Бога ведь рушишь. Я знаю! Никола-угодник являлся — больше, грит, рыбы в море не будет. Не даст. А ты пошто народ бунтуешь?.. Мне избу надо ладить, а ты у меня всех работников забрал.

— Сожжет японец избу-то!

— Японца я знаю,— торопливо, обливая слюной бороду, бормотал старик,— японец хочет, чтоб в его веру перешли. Ну, а народ-то — пень: не понимает. А нам от греха дальше, взять да согласиться, черт с ним — втишь-то можно... своему богу... Никола-то своему не простит, а японца завсегда надуть можна...

Старик тряс головой, будто пробивая какую-то темную стену, и слова, которые он говорил, видно было, тяжело рождены им, а Вершинину они были не нужны.

И он, выливая через слабые губы, как через проржавленное ведро влагу, опять начал бормотать свое.

— Уйди! — сказал грубо Вершинин.— Чего лезешь в ноздрю с богами своими? Подумаешь... Абы жизнь была — богов выдумают...

— Ты не хулись, ирод, не хулись!..

Окорок сказал со злобою:

— Дай ему, Егорыч, стерве, в зубы! Провокатёры тиковые!

Вскочив на ходок, Окорок закричал, разглаживая слова:

— Ну, так вы как, товарищи?.. Галисовать, что ли?

— Голосуй! — отвечал кто-то робко из толпы.

Мужики загудели:

— Валяй!..

— Чаво мыслить-то!..

— Жарь, Васька!

Когда проголосовали уже, решив идти на броневик, влево, далеко над лесом послышался неровный гул, похожий на срыв в падь скалы. Мохнатым громадным венником выбросило в небо дым.

Толстый секретарь снял шапку и по-протоальному сказал мужикам:

— Это штаб постановил — через Мукленку мост наши взорвали. Поезд, значит, все равно не выскочит к городу. Наши-то сгибли поди пятеро...

Мужики сняли шапки, перекрестились, за упокой. Пошли через лес к железнодорожной насыпи окапываться.

Вершинин пошел по кустарнику к насыпи, поднялся кверху и, крепко поставив, будто пришив, ноги между шпал на землю, долго глядел в даль блестящих стальных полос на запад.

— Чего ты? — спросил Знобов.

Вершинин отвернулся и, спускаясь с насыпи, сказал:

— Будут же после нас люди хорошо жить?

— Ну?

— Вот и все.

Знобов развел пальцами усы и сказал с удовольствием:

— Это их дело. Я думаю, обязаны, стервы!

XXIII

Бритый коротконогий человек лег грудью на стол, — похоже, что ноги его не держат, — и хрипло говорил:

— Нельзя так, товарищ Пеклеванов: ваш ревок совершенно не считается с мнением Совета союзов. Выступление преждевременно.

Один из сидевших в углу на стуле рабочих сказал желчно:

— Японцы объявили о сохранении ими нейтралитета. Не будем же мы ждать, когда они на острова уберутся. Власть должна быть в наших руках, тогда они скорее уйдут.

Коротконогий человек доказывал:

— Совет союзов, товарищи, зла не желает, можно бы обождать...

— Когда японцы выдвинут еще кого-нибудь.

— Пойдут опять усмирять мужиков?

— Ждали достаточно!

Собрание волновалось. Пеклеванов, отхлебывая чай, успокаивал:

— А вы тише, товарищи.

Коротконогий представитель Совета союзов протестовал:

— Вы не считаетесь с моментом. Правда, крестьяне настроены фанатично, но... Вы уже послали агитаторов по уезду, крестьяне идут на город, японцы нейтралитетствуют... Правда!.. Вершинин пусть даже бронепоезд задержит, и все же восстания у нас не будет.

— Покажите ему!

— Это демагогия!..

— Прошу слова!

— Товарищи!

Пеклеванов поднялся, вытащил из портфеля бумажку и, краснея, прочитал:

— Разрешите огласить следующее: «По постановлению Совета Народных Комиссаров Сибири — восстание назначено на двенадцать часов дня шестнадцатого сентября тысяча девятьсот девятнадцатого года. Начальный пункт восстания — казармы артиллерийского дивизиона... По сигналу... Совет Народных...»

Уходя, коротконогий человек сказал Пеклеванову:

— За нами следят! Вы осторожнее... И матроса напрасно в уезд командировали.

— А что?

— Взболтанный человек: бог знает чего может наговорить! Надо людей сейчас осмотрительно выбирать.

— Мужиков он знает хорошо, — сказал Пеклеванов.

— Мужиков никто не знает. Человек он воздушный, а воздушность на них, правда, действует. Все же... На митинг поедете?

— Куда?

— Судостроительный завод. Рабочие хотят вас видеть. Пеклеванов покраснел.

Коротконогий подошел к нему вплотную и тихо в лицо сказал:

— Мне вас жалко. А без вас они выступить не хотят. Не верят они словам, а человека увидеть хотят. Следят... контрразведка... Расстреляют при поимке, — а видеть хотят. Дескать, с нами ли? Напрасно затеваете.

Пеклеванов вытер потный веснушчатый лоб, сунул маленькие руки в карманы короткополого пиджака и прошелся по комнате. Коротконогий следил за ним из-под выпуклых очков.

— Сентиментальность, — сказал Пеклеванов, — ничего не будет!

Коротконогий вздохнул:

— Как хотите. Значит, захватить за вами?

— Когда?

Пеклеванов покраснел сильнее и подумал: «А он за себя трусит».

И от этой мысли совсем растерялся, даже руки задрожали.

— А хотя мне все равно. Когда хотите!

Вечером коротконогий подъехал к палисаднику и ждал. Через кустарник видна была его соломенная шляпа и усы, желтоватые, подстриженные, похожие на зубную щеточку. Фыркала лошадь.

Жена Пеклеванова плакала. У нее были острые зубы и очень румяное лицо. Слезы на нем были не нужны, неприятно их было видеть на розовых щеках и мягком подбородке.

— Измотал ты меня. Каждый день жду — арестуют... Бог знает потом... Хоть бы одно!.. Не ходи!..

Она бегала по комнате, потом подскочила к двери и ухватилась за ручку, просила:

— Не пущу... Кто мне потом тебя возвратит, когда расстреляют? Ревком? Наплевать мне на них всех, идиотов.

— Маня! Ждет же Семенов.

— Мерзавец он — и больше никто. Не пущу, тебе говорят, не хоч! Ну-у?..

Пеклеванов оглянулся, подошел к двери. Жена изогнулась туловищем, как теснина под ветром; на согнутой руке, под мокрой кожей, натянулись сухожилия.

Пеклеванов смущенно отошел к окну.

— Не понимаю я вас!..

— Не любишь ты никого... Ни меня, ни себя, Васенька! Не ходи!..

Коротконогий хрипло проговорил с пролетки:

— Василий Максимыч, скоро? А то стемнеет, магазины запрут.

Пеклеванов тихо сказал:

— Позор, Маня. Что мне, как Подколесину, в окошко выпрыгнуть? Не могу же я отказаться: струсил, скажут.

— На смерть ведь. Не пуцу.

Пеклеванов пригладил низенькие жидкие волосенки.

— Придется.

Пошарив в карманах короткополого пиджака и криво улыбаясь, стал залезать на подоконник.

— Ерунда какая... Нельзя же так...

Жена закрыла лицо руками и громко, будто нарочито плача, выбежала из комнаты.

— Поехали? — спросил коротконогий. Вдохнул.

Пеклеванов подумал, что он слышал плач в домишке. Неловко сунулся в карман, но портсигара не оказалось. Возвращаться же было стыдно.

— Папирос у вас нету? — спросил он.

XXIV

Никита Вершинин верхом на брюхастой, мохнатошерстой, как меделянская собака, лошади объезжал кустарники у железнодорожной насыпи.

Мужики лежали в кустах, курили, готовились ждать долго. Пестрые пятна — десятками, сотнями росли с обеих сторон насыпи, между разъездами — почти на десять верст.

Лошадь — ленивая, вместо седла — мешок. Ноги Вершинина болтались, и через плохо обернутую портянку сапог больно тер пятку.

— Баб чтоб не было, — говорил он.

Начальники отрядов вытягивались и бойко, точно успокаивая себя военной выправкой, спрашивали:

— Из городу, Никита Егорыч, ничего не слышно?

— Восстание там.

— А успехи-то как? Военны?

Вершинин бил каблуком лошадь в живот и, чувствуя в теле сонную усталость, отъезжал.

— Успехи, парень, хорошие. Главню, — нам не подгадить!

Мужики, как на покосе, выстроились вдоль насыпи. Ждали.

Непонятно-незнакомо пустела насыпь. Последние дни один за другим уходили на восток эшелоны с беженцами, солдатами — японскими, американскими и русскими. Где-то перервалась нить, и людей отбросило в другую сторону. Говорили, что беженцев грабят приехавшие из сопок мужики, и было завидно. Бронепоезд № 14-69 носился один между станциями и не давал солдатам бросить все и бежать.

Партизанский штаб заседал в будке стрелочника. Стрелочник тоскливо стоял у трубки телефона и спрашивал станцию:

— Бронепоезд скоро?

Около него сидел со спокойным лицом партизан с револьвером и глядел в рот стрелочнику.

Васька Окорок подсмеивался над стрелочником:

— Мы тебя кашеваром сделаем. Ты не трусь!

И, указывая на телефон, сказал:

— С луной, бают, в Питере-то большевики учены переговаривают?

— Ничо не поделаешь, коли правда.

Мужики вздохнули, поглядели на насыпь.

— Правда-то, она и на звезды влезет.

Штаб ждал бронепоезда. Направили к мосту пятьсот мужиков, к насыпи на длинных российских телегах привезли бревна, чтоб бронепоезд не ушел обратно. У шпал валялись ломы — разобрать рельсы.

Знобов сказал недовольно:

— Все правда да правда! А к чему — и сами не знаем. Тебе с луною-то, Васька, для чего говорить?

— А все-таки чудно! Может, захочем на луне-то мужика построить.

Мужики захохотали.

— Ботало.

— Окурок!

— Надо, чтоб народу лишнего не расходовать, а он тут про луну. Как бронепоезд возьмем, дьявол?

— Возьмем!

— Это тебе не белка — с сосны снять!

В это время приехал Вершинин. Вошел, тяжело дыша, грузно положил фуражку на стол и сказал Знобову:

— Скоро ль?

Стрелочник сказал у телефона:

— Не отвечают.

Мужики сидели молча. Один начал рассказывать про охоту. Знобов вспомнил про председателя ревкома в городе.

— Этот, белобрысый-то? — спросил мужик, рассказывавший про охоту, и тут же начал врать про Пеклеванова, что у него лицо белее крупчатки, и что бабы за ним, как лягушки за болотом, и что американский министр предлагал семьсот миллионов за то, чтоб Пеклеванов перешел в американскую веру, а Пеклеванов гордо ответил: «Мы вас в свою даром не возьмем».

— Вот стерва! — восторгались мужики.

Знобову было почему-то приятно слушать это вранье и хотелось рассказать самому. Вершинин снял сапоги и начал переобуваться. Стрелочник вдруг робко спросил — в трубку:

— Во сколько? Пять двадцать?

Обернувшись к мужикам, сказал:

— Идет!

И словно поезд был уже подле будки, — все выбежали и, вскинув ружья, залезли на телеги и поехали на восток к взорванному мосту.

— Успеем! — говорил Окорок.

Вперед послали нарочного.

Глядели на рельсы, тускло блестящие среди деревьев.

— Разобрать бы — и только.

С соседней телеги отвечали:

— Нельзя. А кто собирать будет?

— Мы, брат, прямо на поезде!

— В город вкатим!

— А тут собирай.

Окорок крикнул:

— Братцы, а ведь у них люди-то есть!

— Где?

— У Незеласовых-то? Которые рельсы ремонтируют — есть-то люди?

— Дурной, Васька, а как мы их перебьем? Всех?

И, разохотившись на работу, согласились:

— Эта можна... Перебьем!..

— Нет, шпалы некому собирать.

Все время оглядывались назад — не идет ли бронепоезд. Прятались в лес, потому — люди теперь по линии необычны, — бронепоезд несется и обстреливает.

Стучали боязливо сердца, били по лошадям, гнали, точно у моста их ждало прикрытие.

Верстах в двух от домика стрелочника, на насыпи, увидали верхового человека.

— Свой! — закричал Знобов.

Васька взял на прицел.

— Снять его. Свой?

— Какой черт свой, кабы свой — не целился б!

Сип Бин-у, сидевший рядом с Васькой, удержал:

— Пасытой, Васика-а!..

— Обождь! — закричал Знобов.

Человек на лошади подогнал ближе. Это был мужик с перевязанной щекой, приведший американца.

— Никита Егорыч здесь?

— Ну?

Мужик, радуясь, закричал:

— Пришли мы туда, а там — казаки. Около мосту-то!

Постреляли мы их, да и обратно.

— Откуда?

Вершинин подъехал к мужику и, оглядывая его, спросил:

— Всех убили?

— Усех, Никита Егорыч. Пятеро — царство небесное!

— А казаки откуда?

Мужик хлопнул лошадь по гриве.

— Да ведь мост-от, Никита Егорыч, не подняли.

Целой.

Мужики заорали:

— Чего там?

— Провакатор!

— Дай ему в харю!

Мужичонка торопливо закрестился.

— Вот те крест — не подняли. У камня, саженьх в триста, сами себя взорвали. Должно, динамит пробовать удумали. Только штанину одну с мясом нашли, а все остальное... Пропали...

Мужики молчали. Поехали вперед. Но вдруг остановились. Васька с перекосившимся лицом закричал:

— Братцы, а ведь уйдет броневик-то! В город! Братцы!

Из лесу ввалилась посланная вперед толпа мужиков. Один из них сказал:

— Там бревна, Никита Егорыч, у моста навалены, на насыпь-то. Отстреливаются от казаков. Ну, их немного.

— Туда, к мосту, идти? — спросил Знобов.

Здесь все разом почему-то оглянулись. Над лесом тонко стлался дымок.

— Идет! — сказал Окорок.

Знобов повторил, ударил яростно лошадь кнутом:

— Идет!

Мужики повторили:

— Идет!

— Товарищи! — звенел Окорок. — Остановить надо!..

Сорвались с телеги. Схватив винтовки, кинулись на насыпь. Лошади ушли в травы и, помахивая уздечками, ципали.

Мужики добежали до насыпи. Легли на шпалы. Вставили обоймы. Приготовились.

Тихо стонали рельсы — шел бронепоезд.

Знобов тихо сказал:

— Перережет — и все. Стрелять не будет даже зря!

И вдруг, почувствовав это, тихо сползли все в кустарники, опять обнажив насыпь.

Дым густел, его рвал ветер, но он упорно полз над лесом.

— Идет!.. Идет!.. — с криком бежали к Вершинину мужики.

Вершинин и весь штаб, мокрые, стыдливо лежали в кустарниках. Васька Окорок злобно бил кулаком по земле. Китаец сидел на корточках и срывал траву.

Знобов торопливо, испуганно сказал:

— Кабы мертвой!

— Для чего?

— А, вишь, по закону, — как мертвого перережут, поезд-то останавливается. Чтоб протокол составить... свидетельство и все там!..

— Ну?

— Вот кабы труп. Положили бы его. Перережут и останоятся, а тут машиниста, когда он выйдет,— пристрелить. Можно взять тогда.

Дым густел. Раздался гудок.

Вершинин вскочил и закричал:

— Кто хочет, товарищи... на рельсы чтоб и перережет!.. Все равно подыхать-то. Ну?.. А мы тут машиниста с поезда снимем! А только вернее, что остановится, не дойдет до человека.

Мужики подняли головы, взглянули на насыпь, похожую на могильный холм.

— Товарищи! — закричал Вершинин.

Мужики молчали.

Васька отбросил ружье и полез на насыпь.

— Куда? — крикнул Знобов.

Васька злобно огрызнулся:

— А ну вас к...! Стервы...

И, вытянув руки вдоль тела, лег поперек рельс.

Уже дышали, гукая, деревья, и, как пена, над ними оторвался и прыгал по верхушкам желто-багровый дым.

Васька повернулся вниз животом. Смолисто пахли шпалы. Васька насыпал на шпалу горсть песка и лег на него щекой. Песок был теплый и крупный.

Неразборчиво, как ветер по листве, говорили в кустах мужики. Гудели в лесу рельсы...

Васька поднял голову и тихо бросил в кусты:

— Самогонки нету?.. Горит!..

Палевобородый мужик на четвереньках приполз с ковшом самогонки. Васька выпил и положил ковш рядом.

Потом поднял голову и, стряхивая рукой со щек песок, посмотрел: голубые гудели деревья, голубые звенели рельсы.

Приподнялся на локтях. Лицо стянулось в одну желтую морщину, глаза как две алые слезы...

— Не могу-у!.. Душа-а!..

Мужики молчали.

Китаец откинул винтовку и пополз вверх по насыпи.

— Куда? — спросил Знобов.

Син Бин-у, не оборачиваясь, сказал:

— Сыкуучна-а!.. Васика!

И лег с Васькой рядом.

Морщилось, темнело, как осенний лист, желтое лицо.

Рельс плакал. Человек ли отползал вниз по откосу, кусты ли кого принимали,— не знал, не видел Син Бин-у...

— Не могу-у!.. Братани-и!..— выл Васька, отползая вниз.

Слюнявилась трава, слюнявилось небо...

Син Бин-у был один.

Плоская изумрудноглазая, как у кобры, голова его пощупала шпалы, оторвалась от них и, качаясь, поднялась над рельсами... Оглянулась.

Подняли кусты молчаливые мужицкие головы со ждущими голодными глазами.

Син Бин-у лег.

И еще потянулась изумрудноглазая кобра — вверх, и еще несколько сот голов зашевелили кустами и взглянули на него.

Китаец опять лег.

Корявый палевобородый мужичонка крикнул ему:

— Ковш тот брось суды, манза!.. Да и ливорвер-то бы оставил. Куда тебе ево?.. Ей!.. А мне сгодится!..

Син Бин-у вынул револьвер, не поднимая головы, махнул рукой, будто желая кинуть в кусты, и вдруг выстрелил себе в затылок.

Тело китайца тесно прижалось к рельсам.

Сосны выкинули бронепоезд. Был он серый, квадратный, и злобно-багрово блестели зрочки паровоза. Серой плесенью подернулось небо; как голубое сукно были деревья...

И труп китайца Син Бин-у, плотно прижавшийся к земле, слушал гулкий перезвон рельс...

СМЕРТЬ КАПИТАНА НЕЗЕЛАСОВА

XXV

Прапорщик Обаб остался лежать у насыпи, в травах.

Капитан Незеласов был в купе, в паровозе, по вагонам. И всем казалось, что он не торопится, хоть и говорил, проглатывая слова:

— Пошел!.. Пошел!..

На смену прибежал помощник машиниста. Мешаясь в рычагах, обтирая о замасленную куртку руки, сказал:

— Сейчас... нельзя так... смотреть!..

Закипели водопроводные краны.

Разыскивая в паровозном инструменте зубило, узкогорлый зашиб голову и вдруг от боли закричал.

Незеласов, пригибаясь, побежал прочь.

— Ну вас к черту... к черту...

Поезд торопился к мосту, но там на рельсах за три версты лежали бревна, огромная лиственница. И мост почему-то казался взорванным.

Бронепоезд, лязгая буферами, отпрыгнул обратно и с визгом понесся к станции. Но на повороте в лес, где убили Обаба, были разобраны шпалы...

И на прямом пути стремительно взад и вперед — от моста до будки стрелочника было шесть верст, — как огромный маятник, метался взад и вперед капитан Незеласов.

Били пулеметы, били вагоны пулеметами, пулеметы были горячие, как кровь...

Видно было, как из кустарника подпрыгивали кверху тяжело раненные партизаны. Они теперь не боялись показаться лицом.

Но тех, кто был жив, не было видно, так же гнулся золотисто-серый кустарник, и в глубине темнел кедр. Временами казалось, что бьет только один бронепоезд.

Незеласов не мог отличить лиц солдат в поезде. Угасали лампы, и лица казались светлее желтых фитилей.

Тело Незеласова покорно слушалось, звонко, немного резко кричала глотка, и левая рука тискала что-то в воздухе.

Он хотел прокричать солдатам какие-то утешения, но подумал: «Сами знают!»

И опять почувствовал злость на прапорщика Обаба.

Ночью партизаны зажгли костры. Они горели огромным молочно-желтым пламенем, и так как подходить и подбрасывать дрова в костер было опасно, то кидали издали, и будто костры были широкие, величиной с крестьянские избы. Бронепоезд бежал среди этих костров и на пламя усиливал огонь пулеметов и орудий. Так, по обеим сторонам дороги горели костры, и не видно было людей, а выстрелы из тайги походили на треск горевших сырых поленьев. Капитану казалось, что его тело, тяжелое, перетягивает один конец поезда, а он бежал на середину и думал, что машинист уйдет к партизанам,

а в будке машиниста, что позади, отцепляют солдаты вагоны на ходу.

Капитан, стараясь казаться строгим, говорил:

— Патронов... того... не жалеть!..

И, утешая самого себя, кричал машинисту:

— Я говорю... не слышите, вам говорят!.. Не жалеть патронов!

И, отвернувшись, тихо смеялся за дверями и тряс левой рукой:

— Главное, капитан... стереотипные фразы... «патронов не жалеть».

Капитан схватил винтовку и попробовал сам стрелять в темноту, но вспомнил, что начальник нужен как распорядитель, а не как боевая единица. Пощупал бритый подбородок и подумал торопливо: «А на что я нужен?»

Но тут: «Хорошо бы капитану влюбиться... бороду завести в пол-аршина!.. Генеральская дочь... карьера... Не смей!..»

Капитан побежал на середину поезда.

— Не смей без приказа!

Бронепоезд без приказаний капитана метался от моста — маленького деревянного мостика через речонку, которого почему-то не могли взорвать партизаны, и за будку стрелочника, но уже все ближе навстречу, как плоскости двух винтов, ползли бревна по рельсам, а за бревнами мужики.

В бревна били пули, навстречу им стреляли мужики.

Бронепоезд, слепой, боясь оступиться, шел грудью на пули, а за стенками из стали уже перебежали из вагона в вагон солдаты, менялись местами, работая не у своих аппаратов, вытирая потные груди, и говорили:

— Прости ты, господи!

Незеласову было страшно показаться к машинисту. И, как за стальными стенками, перебежали с места на место мысли, и, когда нужно было говорить что-нибудь нужное, капитан кричал:

— Сволочи!..

И долго билось нужное слово в ногах, в локтях рук, покрытых гусиной кожей.

Капитан прибежал в свое купе. Коричневый щенок спал клубком на кровати.

Капитан замахал рукой:

— Говорил... ни снарядов... ни жалости!.. А тут сволочи... сволочи!..

Он потоптался на одном месте, хлопнул ладонью по подушке, щенок отскочил, раскрыл рот и запищал тихо, Капитан наклонился к нему и послушал.

— И-и-и!..— пикал щенок.

Капитан схватил его, сунул под мышку и с ним побежал по вагонам.

Солдаты не оглядывались на капитана. Его знакомая широкая, но плоская фигура, бывшая сейчас какой-то прозрачной, как плохая курительная бумага, пробегала с тихим визгом. И солдатам казалось, что визжит не щенок, а капитан. И не удивляло то, что визжит капитан,

Но визжал щенок, слабо царапая мягкими лапами френч капитана.

Так же, не утихая, седьмой час подряд били пулеметы в траву, в деревья, в темноту, в отражавшиеся у костров камни, и непонятно было, почему партизаны стреляют в стальную броню вагонов, зная, что не пробьет ее пулей.

Капитан чувствовал усталость, когда дотрагивался до головы. Тесно жали ноги сухие и жесткие, точно из дерева, сапоги.

Крутился потолок, гнулись стены, пахло горелым мясом — откуда, почему? И гудел, не переставая, паровоз! — А-а-о-е-е-е-и.

XXVI

Мужики прибывали и прибывали. Они оставляли в лесу телеги с женами и по тропам выходили с ружьями на плечах на опушку. Отсюда ползли к насыпи и окапывались.

Бабы, причитая, встречали раненых и увозили их домой. Раненые, которые посильнее, ругали баб матерной бранью, а тяжело раненные подпрыгивали на корнях, раскрывали воздуху и опадавшему листу свои полые куски мяса. Листы присыхали к крови выпачканных телег.

Рябая маленькая старуха с ковшом святой воды ходила по опушке и с уголька обрызгивала идущих. Они ползли, сворачивали к ней и проползали тихо, похожие на стадо сытых, возвращающихся с поля овец.

Вершинин на телеге за будкой стрелочника слушал донесения, которые читал ему толстый секретарь.

Васька Окорок шепнул боязливо:

— Страшно, Никита Егорыч?

— Чего? — хрипло спросил Вершинин.

— Народу-то темень!

— Тебе что, — ты не конокрад. Известно — мир!..

Васька после смерти китайца ходил съезжившись и глядел всем в лицо с вялой, виноватой улыбочкой.

— Тихо идут-то, Никита Егорыч; у меня внутри не-ладно.

— А ты молчи — и пройдет!

Знобов сказал:

— Кою ночь не спим, а ты, Васька, рыжий, а рыжая-то, парень, с перьями.

Васька тихо вздохнул:

— В какой-то стране, бают, рыжих в солдаты не берут. А я царю-то почесть семь лет служил: четыре года на действительной да три на германской.

— Хорошо мост-то не подняли... — сказал Знобов.

— Чего? — спросил Васька.

— Как бы повели на город бронепоезд-то? Даже шпал не хотели разбирать, а тут тебе мост. Омраченье!..

Васька уткнул курчавую голову в плечи и поднял воротник.

— Жалко мне, Знобов, китайца-то! А думаю, в рай он уйдет — за крестьянскую веру пострадал.

— А дурак ты, Васька.

— Чего?

— В бога веруешь.

— А ты нет?

— Никаких!..

— Стерва ты, Знобов. А впрочем, дела твои, братан. Ноне свобода, кого хошь, того и лижи. Только мне без веры нельзя — у меня вся семья из веку кержацкая, раскольной веры.

— Вери-ители!..

Знобов рассмеялся. Васька тоскливо вздохнул:

— Пусти ты меня, Никита Егорыч, — постреляю хоть!

— Нельзя. Раз ты штаб, значит, и сиди в штабной квартире.

— Телеги-то!

Задрезжало и с мягким звоном упало стекло в стрелочной. Снаряд упал рядом.

Вершинин вдруг озлился и стукнул секретаря:

— Сиди тут. А ночь как придет — пушшай костер палят. А не то слезут с поезда-то и в лес удерут, либо черт их знат, што им в голову придет.

Вершинин погнал лошадь вдоль линии железной дороги вслед убегающему бронепоезду:

— Не уйдешь.

Лохматая, как собака, лошаденка трясла большим, как бочка, животом. Телега подпрыгивала. Вершинин встал на ноги, натянул вожжи:

— Ну-у!..

Лошаденка натянула ноги, закрутила хвостом и понесла. Знобов, подсакивая грузным телом, крепко держался за грядку телеги, уговаривая Вершинина:

— А ты не гони — не догонишь! А убить-то тебя за дешеvu монету убьют.

— Никуда он не убежит. Но-о, пошел!

Он хлестнул лошадь кнутом по потной спине.

Васька закричал:

— Гони! Весь штаб делат смотр войскам! А на капитана етова с поездом его плевать. Гони, Егорыч!.. Пошел!

Телега бежала мимо окопавшихся мужиков. Мужики подымались на колени и молча провожали глазами стоящего на телеге, потом клали винтовки на руки и ждали проносившийся мимо поезд, чтобы стрелять.

Бронепоезд с грохотом, выстрелами несся навстречу.

Васька зажмурился.

— Высоко берет,— сказал Знобов,— вишь, не хватат. Они там, должно, очумели, ни черта не видят!

— Ни лешева,— яростно заорал Васька и, схватив прут, начал стегать лошадь.

Вершинин — огромный, брови рвались по мокрому лицу:

— Не выдавай, товарищи!

— Крой! — орал Васька.

Телега дребезжала, о колеса билась лагушка, из-под сиденья валилось на землю выбрасываемое толчками сено. Мужики в кустарниках не по-солдатски отвечали:

— Ничего!..

И это казалось крепким и своим, и даже Знобов вско-
чил на колени и, махая винтовкой, закричал:

— А дуй, паря, пропадать так пропадать!

Опять навстречу мчался уже не страшный бронепоезд,
и Васька грозил кулаком:

— Доберемся!

Среди огней молчаливых костров стремительно в тем-
ноте серые коробки вагонов с грохотом носились взад и
вперед.

А волосатый человек на телеге приказывал. Мужики
подтаскивали бревна на насыпи и, медленно подталкивая
их впереди себя, ползли. Бронепоезд подходил и бил
в упор.

Бревна были как трупы, и трупы как бревна — хру-
стели ветки и руки, и молодое и здоровое тело было
у деревьев и людей.

Небо было темное и тяжелое, выкованное из чугуна,
и ревели сверху гулким паровозным ревом.

Мужики крестились, заряжали винтовки и подталки-
вали бревна. Пахло от бревен смолой, а от мужиков
потом.

Пихты были как пики, и хрупко ломались о броню
подходившего поезда.

Васька, изгибаясь по телеге, хохотал:

— Не пьешь, стерва. Мы, брат, до тебя доберемся.
Не ускочишь. Задарма мы тебе китайца отдали!

Знобов высчитывал:

— Завтра у них вода выдет. Возьмем. Это обяза-
тельно.

Вершинин сказал:

— Надо в город-то на подмогу идти.

Как спелые плоды от ветра, падали люди и целовали
смертельным последним поцелуем землю.

Руки уже не упирались, а мягко падало все тело и
не ушибалось больше — земля жалела. Сначала падали
десятки. Тихо плакали за опушкой, на просеке бабы.
Потом сотни — и выше и выше подымался вой. Носить
их стало некому, и трупы мешали подтаскивать бревна.

Мужики все лезли и лезли.

Броневи́к продолжал жевать, не уставая, и точно те-
ряя путь от дыма пустующих костров, все меньше и
меньше делал свои шаги от будки стрелочника до дере-
вянного мостика через речонку. Потом остановился.

Тогда-то, далеко еще до крика Вершинина: «Пашел!.. Та-ва-ри-щи!..» — мужики повели наступление.

Падали, отрываясь от стальных стенок, кусочки свинца и меди в тела, рвали грудь, пробивая насквозь, застегивая ее навсегда со смертью в одну петлю.

Мужики ревели:

— О-а-а-а-о!!

Травы ползли по груди, животу. О сучья кустарников цеплялись лица, путались и рвались бороды, из их потного мокрого волоса лезли наружу губы:

— О-а-а-а-о-о!!

Костры остались за спиной, а тут недалеко стояли темные, похожие на амбары вагоны, а не было пути к людям, боязливо спрятавшимся за стальными стенками.

Партизан бросил бомбу к колесам. Она разорвалась, отдаваясь у каждого в груди.

Мужики отступили.

Светало.

Когда при свете увидели трупы, заорали, точно им сразу сцарапнули со спины кожу, и опять полезли на вагоны.

Вершинин снял сапоги и шел босиком. Знобов, часто приседая, почти на четвереньках, осторожно и почему-то обходя кусты, полз. Васька Окорок восторженно глядел на Вершинина и кричал:

— А ты, Никита Егорыч, Еруслан!

Лицо у Васьки было веселое, и только на глазах блестели слезы.

Броневик гудел.

— Заткни ему глотку-то! — закричал пронзительно Окорок и вдруг поднялся с колен и, схватившись за грудь, проговорил тоненьким голоском, каким говорят обиженные дети: — Господи... и меня!..

Упал.

Партизаны, не глядя на Ваську, лезли к насыпи, высокой желтой, похожей на огромную могилу.

Васька судорожно дрыгал всем телом, как всегда торопясь куда-то. Умер.

Партизаны отступили.

На рассвете приехал Пеклеванов. В портфеле у него лежали прокламации, и одно стекло очков было сломано наполовину.

Мокрые от пота солдаты, громыхая бидонами, охлаждали у бойниц пулеметы. Были у них робко торопливые и словно стыдливые движения исцарапанных рук.

Поезд трясся сыпучей дрожью и был весь горячий, как больной в тифозном бреду.

Темно-багровый мрак трепещущими сгустками заполнял голову капитана Незеласова. От висков колючим треугольником — тупым концом вниз — шла и оседала у сердца коробящая тело жаркая, зябкая дрожь.

— Мерзавцы! — кричал капитан.

В руках у него был неизвестно как попавший кавалерийский карабин, и затвор его был удивительно тепел и мягок. Незеласов, задевая прикладом за двери, бегал по вагонам.

— Мерзавцы! — кричал он визгливо. — Мерзавцы!

Было обидно, что не мог подыскать такого слова, которое было бы похоже на приказание, и ругань ему казалась наиболее подходящей и наиболее легко вспоминаемой.

Мужики вели наступление на поезд.

Через просветы бойниц, среди далеких кустарников, похожих на свалывшуюся желтую шерсть, видно было, как перебегали горбатые спины и сбоку их мелькали винтовки, похожие на дощечки. За кустарниками леса и всегда неожиданно толстые темно-зеленые сопки, похожие на груди. Но страшнее огромных сопок торопливо перебегающие по кустарникам спины, похожие на куски коры. И солдаты чувствовали этот страх и, чтобы не слышно было хриплого рева из кустарников, заглушали его пулеметами. Неустанно, не сравнимо ни с чем, ни с кем, бил по кустарникам пулемет. Капитан Незеласов несколько раз пробежал мимо своего купе. Зайти туда было почему-то страшно, через дверки виден был литографированный портрет Колчака, план театра европейской войны и чугунный божок, заменявший пепельницу. Капитан чувствовал, что, попав в купе, он заплачет и не выйдет, забившись куда-нибудь в угол, как этот где-то визжавший щенок.

Мужики наступали.

Стыдно было сознаться, но он не знал, сколько было наступлений, а спросить было нельзя у солдат, — такой

злостью были наполнены их глаза. Их не подымали с затворов винтовок и пулеметных лент, и нельзя было эти глаза оторвать безнаказанно — убьют. Капитан бегал среди них, и карабин, бывший его по голенищу сапога, был легок, как камышовая трость. Уже уходил бронепоезд в ночь, и тьма неохотно пускала тяжелые стальные коробки. Обрывками капитану думалось, что он слышит шум ветра в лесу... Солдаты угрюмо били из ружей и пулеметов в тьму. Пулеметы словно резали огромное, яростно кричащее тело. Какой-то бледноволосый солдат наливал керосин в лампу. Керосин давно уже тек у него по коленям, и капитан, остановившись подле, ощутил легкий запах яблок.

— Щенка надо... напоить!.. — сказал Незеласов торопливо.

Бледноволосый послушно вытянул губы и позвал:

— Н'ах... н'ах... н'ах...

Другой, с тонкими, но страшно короткими руками, переобувал сапоги и, подымая портянку, долго нюхал и сказал очень спокойно капитану:

— Керосин, ваше благородие. У нас в поселке керосин по керенке фунт...

...Их было много, много... И всем почему-то нужно было умирать и лежать вблизи бронепоезда в кустарниках, похожих на желтую свалявшуюся шерсть.

Зажгли костры. Они горели, как свечи, ровно, чуть вздрагивая, и не видно было, кто подбрасывал дрова. Горели сопки.

— Камень не горит!

— Горит!..

— Горит!..

Опять наступление.

Кто-то бежит к поезду и падает. Отбегает обратно и опять бежит.

— Это наступление?

Ерунда.

Они полежат — эти в кустарниках, встанут, отбегут и опять.

— ...Побежали!..

Через пулеметы, мимо звонких маленьких жерл, пронесся и пал в вагоны каменный густой рев:

— О-о-у-о-о!..

И тонко-тонко:

— Ой... Ой!..

Солдат со впавшими щеками сказал:

— Причитают... там, в тайге, бабы по ним!..

И осел на скамью.

Пуля попала ему в ухо и на другой стороне головы прорвала дыру с кулак.

— Почему видно все во тьме? — сказал Незеласов.— Там костры, а тут, должно быть, темно. И дым: они выкуривают нас дымом, чувствуете?

Костры во тьме, за ним рев баб. А может быть, сопки ревут?

— Ерунда!.. Сопки горят!..

— Нет, тоже ерунда, это горят костры!..

Пулеметчик обжег бок и заплакал по-мальчишески.

Старый, бородатый, как поп, доброволец пристрелил его из нагапа.

Капитан хотел закричать, но почему-то смолчал и только потрогал свои сухие, как бумага, и тонкие веки. А у капитана в городе есть невеста... она теперь...

Карабин становился тяжелей, но надо для чего-то таскать его с собой.

У капитана Незеласова белая мягкая кожа, и на ней, как цветок на шелку,— глаза.

Уже проходит ночь. Скоро взойдет солнце. Невеста читает книгу. Невеста заснула над книгой. Веки женщины влажны от сна...

Бледноволосый солдатик спал у пулемета, а тот стрелял сонный. Хотя, быть может, стрелял и не его пулемет, а соседа. Или у соседа спал пулемет, а сосед кричал:

— Туды!.. Туды!..

И какую книгу можно читать в эту ночь?

От горла к подбородку тянулась боль, словно гвоздем спарывали кожу. И тут увидел Незеласов около своего лица: трясутся худые руки с грязными длинными ногтями.

Потом забыл об этом. Многое забыл в эту ночь... Что-то нужно забывать, а то тяжело все нести... тяжело...

И вдруг тишина...

Там, за порогами вагонов, в кустарниках.

Нужно уснуть. Кажется, утро, а может быть, вечер. Не нужно помнить все дни...

Не стреляют там, в сопках. У насыпи лежат спокой-

ные, выпачканные в крови мужики. Лежать им, конечно, неудобно.

А здесь на глаза — тьма. Слеп капитан.

— Это от тишины...

И глазами и душой ослеп. Показалось даже весело.

Но тут все почувствовали, сначала слегка, а потом точно обжигаясь, — тишину терпеть нельзя.

Бледноволосый солдат, поднимая руки, побежал к дверям.

Тьма! В тьме не видно его поднятых рук.

И капитан сразу почувствовал: сейчас из всех семи вагонов бросились к дверям люди. На песке легче держаться. И можно куда-то убежать... Люди задыхались от дыма в стальных коробках... Им душно!

На мгновение стошнило. Тошнота не только в животе, но и в ногах, в руках и в плече. Но плечо вдруг ослабло, а под ногами капитан почувствовал траву, и колени ско-
сились.

Впереди себя увидел капитан бородатую рубаху, на штыке погон и кусок мяса...

...Его, капитана Незеласова, мясо...

«Котлеты из свиного мяса... Ресторан «Олимпия»... Мексиканский негр дирижирует румынским... Осина... Осень...

Благодарю тебя, Россия... мир... все славянство... за тишину... Тишина по всей земле...»

— Кро-ой, бей, круши...

Крутится, кружится, крошится крушина...

Поезда на насыпи нет. Значит — ночь. Пощупал под рукой — волос человеческий в поту. Половина оторванного уха, как суконка, прореха, гвоздем разорвало...

...Кустарник — в руке. Кустарник можно отломить спокойно и даже сунуть в рот. Это не ухо.

Через плечо карабин! Значит, из поезда ушел?

Незеласов обрадовался. Не мог вспомнить, откуда ощутился пояс с патронами поверх френча.

Чему-то поверил.

Рассмеялся и, может быть, захохотал.

Вязко пах кустарник теплой кровью. Из сопок дул черный, колючий ветер, дул ветвями длинными и мокрыми. Может быть, мокрые в крови...

Дальше прополз Обаб со щенком под мышкой. Его галифе были похожи на колеса телеги.

Вытянулся бледноволосый, доложил тихо:

— Прикажете выезжать?

— Пошел к черту!

Беженка в коричневом мантио зашептала в ухо:

— Идут! Идут!..

Капитан Незеласов и сам знал, что идут. Ему нужно занять удобную позицию. Он пополз на холм, поднял карабин и выстрелил.

Но одной руки, оказывается, не хватает. Одной рукой неудобно. Но можно на колено. С колена мушки не видать... Почему не стрелял в поезде, а здесь...

Здесь один, а ползет... ишь их сколько, бородатые, сволочь, в землю попадают, а то бы...

Так стрелял торопливо капитан Незеласов в тьму до тех пор, пока не расстрелял все патроны.

Потом отложил карабин, сполз с холма в куст и, уткнув лицо в траву, умер.

П Е Н А

XXV III

В жирных темных полях сытно шумят гаоляны.

Медный китайский дракон желтыми звенящими кольцами бьется в лесу. А в кольцах перекатываются, звенят, грохочут квадратные серые коробки...

На желтой чешуе дракона — дым, пепел, искры...

Сталь по стали звенит, кует!..

Дым. Искры. Гаоляны. Тучные поля.

· Может быть, дракон китайский из сопок, может быть, леса.

Желтые листья, желтое небо, желтая насыпь.

Гаоляны!.. Поля!

У дверцы купе лисолицый старикашка, примеряя широчайшие синие галифе прапорщика Обаба, мальчишески задорным голосом кричит:

— Вот халипа!.. Чисто юбка, а коленко-то голым-голоз
огурец!..

Пепел на столике. В окна врывается дым.

Окна настежь. Двери настежь. Сундуки настежь.

Китайский чугунный божок на полу, заплеван, ухмы-
ляется жалобно. Смешной чудачок.

За насыпью другой бог ползет из сопок, желтый, ли-
тыми кольцами звенит...

Жирные гаоляны, черные!

Взгляд жирный у человека, сытый и довольный.

— О-хо-хо!..

— Конец чертям!..

— Буде-е!..

На паровозе уцепились мужики, ерзают по стали горя-
чими хмельными телами.

Один в красной рубахе кулаком грозит:

— Мы тебе покажем!

Кому? Кто?

Неизвестно!

А грозить всегда надо! Надо!

Красная рубаха, красный бант на серой шинели.

Бант!

О-о-о-о!..

— Тяни, Гаврила-а!..

— А-а-а!..

Бант.

Бронепоезд «Полярный» за № 14-69 под красным фла-
гом. Бант!..

На рыжем драконе из сопок — на рыжем — бант!.. На
рыжем!

Здесь было колесо — через минуту за две версты, за
две. Молчат рельсы, ве гудят, напуганы... Молчат.

Ага!..

Тщедушный солдатик в голубых французских обмот-
ках, с бebuтом.

— Дыня на Иртыше плохо родится... больше подсол-
нух и арбуз. А народ ни злой, ни ласковый... Не знаю —
какой народ.

— Про народ кто знат?

— Сам бог рукой махнул...

— О-о!..

— Ну вас, грит!..

— О-о!..

Литографированный Колчак, в клозете, на полу. Приказы на полу, газеты на полу...

Люди пола не замечают, ходят — не чувствуют...

— А-а-а!..

«Полярный» под красным флагом...

Ага!

Огромный, важный — по ветру плывет поезд — лоскут красной материи. Кровавой, живой, орущий: о-о-о!..

У Пеклеванова очки на нос пытаются прыгнуть, не удается, куда-то сам пытается прыгнуть и телом и словами.

— В Америке — со дня на день!

Орет Знобов:

— Знаю... Сам с американским буржуем пропаганду вел!..

— Изучили!..

— В Англии, товарищи!

Вставай, проклятем заклеименный..

— О-о-о!..

Очки на нос вспрыгнули. Увидели глаза: дым, табак, пулеметы на полу, винтовки, патроны — как зерна, мужицкий волос, глаза жирные, хмельные.

— Ревком, товарищи, имея задачей!..

— Знаем!..

— Буде... Сам орать хочу!..

Салавей, салавей, пташечка,
Канареючка!..

На кровати — Вершинин, дышит глубоко и мерно, лишь внутри горит — от дыхания его тяжело в купе, хоть двери и настезь. Земляной воздух, тяжелый, мужицкий. Рядом — баба. Откуда пришла — подалась грудями вперед вся, трепыхает. Настасьюшка. Жена!

Орет Знобов:

— Нашла? Он парень добрай!..

Эх, шарабан мой, американка..

.....

табак скурился,
правитель скрылся..

За дверями кто-то плачет пьяно:

— Ваську-то... сволочи, Ваську — убили... Я им за Ваську пятерым брюхо испорю — за Ваську и за китайца... Сволочи...

— Ну их к... Собаки...

— Я их... за Ваську-то!..

XXIX

Ночью опять пришла жена, задышала-запыхалась, замерла. Видны были при месяце ее белые зубы — холодные и охлаждающие тело — и то же тело, как зубы, но теплое и вздрагивающее.

Говорила слова прежние, детские, и было в ней детское, а в руках сила не своя, чужая — земляная.

И в ногах — тоже...

— А та-та-та!.. Ах!.. Ах!..

Это бронепоезд — к городу, к морю.

Люди тоже идут.

Может быть, туда же, может быть, еще дальше...

Им надо идти дальше, на то они и люди...

Я говорю, я:

— Зверем мы рождаемся ночью, зверем!

Знаю — и радуюсь... Верю...

Пахнет земля — из-за стали слышно, хоть и двери настезь, души настезь. Пахнет она травами осенними, тонко, радостно и благословляюще.

Леса нежные, ночные идут к человеку, дрожат и радуются — он господин.

Знаю!

Верю!

Человек дрожит — он тоже лист на дереве огромном и прекрасном. Его небо и его земля, и он — небо и земля.

Тьма густая и синяя, душа густая и синяя, земля радостная и опьяненная.

Хорошо, хорошо — всем верить, все знать и любить.

Все так надо и так будет — всегда и в каждом сердце!

— О-о-о!

— Сенька, Степка!.. Кикимора-а!..

— Ну!..

Рев жирный у этих людей — они в стальных одеждах, радуются им, что ли, гнутся стальные листья, содрогаются огромный паровоз, и тьма масляным гулом расплзается:

— У-о-у-а... у-у-у!..

Бронепоезд «Полярный»...

Вся линия знает, город знает, вся Россия... На Байкало небось, и на Оби...

Ага!..

Станция.

Японский офицер вышел из тьмы и ровной, чужой походкой подошел к бронепоезду. Чувствовалась за ним чужая, спрятавшаяся в темноте сила, и потому, должно быть, было весело, холодновато и страшновато.

Навстречу пошел Энобов. Сначала была толпа энбобовых — лохматых, густоволосых, а потом отделился один.

Быстро и ловко протянул офицер руку и сказал по-русски, нарочно коверкая слова!..

— Мий — нитралитеты!..

И, повышая голос, заговорил звонко и повелительно по-японски. Было у него в голосе презрение и какая-то непонятная скука. И сказал Энобов:

— Нитралитет — это ладно, а только много вас?..

— Двасать тысьсь... — сказал японец и, повернувшись по-военному, какой-то ненужный и опять весь чужой, ушел.

Постоял Энобов, тоже повернулся и сказал про себя шепотом:

— А нас — мильён, сволочь ты!..

А партизанам объяснил:

— Трусют. Нитралитеты, грит, и желаем на острова ехать — рис разводить... Нам черт с тобой, поезжай!

И в ладонь свою зло плюнул:

— Еще руку трясет, стерва!

— Одно — вешать их! — решили партизаны.

Плачущего, с девичьим розовым личиком, вели офицера. Плакал он тоже по-девичьи — глазами и губами.

Хромой, с пустым грязным мешком, перекинутым через руку, мужик подошел к офицеру и свободной рукой ударил его в переносицу.

— Не ной!..

Тогда копвойнный, точно вспомнив что-то, размахнулся и, подскочив, как на ученье, всадил штык офицеру между лопаток.

Станция.

Желтый фонарь, желтые лица и черная земля.

Ночь.

На койке в купе женщина. Жена. Подле черные одежды.

Поднялся Вершинин и пошел в канцелярию.

Толстому писарю объяснил:

— Запиши!..

Был пьян писарь и не понял:

— Чего?

Да и сам Вершинин не знал, что нужно записать. Постоял, подумал. Нужно что-то сделать, кому-то как-то..

— Запиши...

И пьяный писарь толстым, как он сам, почерком написал:

— Приказ. По постановлению...

— Не надо,— сказал Вершинин.— Не надо, парень.

Согласился писарь и уснул, положив толстую голову на тоненький столик.

Тщедушный солдатик в голубых обмотках рассказывал:

— Земли я прошел много и народу всякого видел много...

У Знобова золотые усы и глаза золотые — жадные и ласковые. Говорят:

— Откуда ты?

Повел веселый рассказ солдатик, и не верили ему, и он сам не верил, но было всем хорошо.

Пулеметные ленты на полу. Патроны — как зерна, и на пулеметах сушатся партизанские штаны. На дулах засохшая кровь, похожая на истлевший бордовый шелк.

— А то раз по туркестанским землям персидский шах путешествовал, и встречается ему английская королева...

XXX

Город встретил их спокойно.

Еще на разъезде сторож говорил испуганно:

— Никаких восстаний не слышно. А мобыть, и есть — наше дело железнодорожное. Жалованье маленькое, ну и...

Борода у него была седоватая, как истлевший навоз, и пахло от него курятником.

На вокзале испуганно метались в комендантской офицеры, срывая погоны. У перрона радостно кричали с грузовиков шоферы. Из депо шли рабочие.

Около Вершинина суетился Пеклеванов.

— Нам придется начинать, Никита Егорыч.

Из вагонов выскакивали с пулеметами, с винтовками партизаны. Были они почти все без шапок и с пьяными узкими глазами.

— Нича нету?..

— Ставь пулемету...

— Машину давай, чернай!

Подходили грузовики. В комендантской звенели стекла и револьверные выстрелы. Какие-то бледные барышни ставили в буфет первого класса разорванное красное знамя.

Рабочие кричали «ура». Знобов что-то неразборчиво кричал. Пеклеванов сидел в грузовике и неясно сквозь очки улыбался.

На телеге привезли убитых.

Какая-то старуха в розовом платке плакала. Провели арестованного попа. Поп что-то весело рассказывал, кощунные хототали.

На кучу шпал вскочил бритоусый американец и щелкнул подряд несколько раз кодаком.

В штабе генерала Спасского ничего не знали.

Пышноволосые девушки стучали на машинках.

Офицеры с желтыми лампасами бегали по лестницам и по звонким, как скрипка, коридорам. В прихожей пела в клетке канарейка и на деревянном диване спал дневальный.

Сразу из-за угла выскочили грузовики. Глухо ухнула толпа, кидаясь в ворота. Зазвенели трамваи, загудели гудки автомобилей, и по лестницам кверху побежали партизаны.

На полу — опять бумаги, машинки испорченные, может быть, убитые люди.

По лестнице провели седенького, с розовыми ушками генерала. Убили его на последней ступеньке и оттащили к дивану, где дремал дневальный.

Бежал по лестнице партизан, поддерживая рукой живот. Лицо у него было серое, и, не пробежав половины лестницы, он закричал пронзительно и вдруг сморщился.

Завизжала женщина.

Канарейка в клетке все раскатисто насвистывала.

Провели толпу офицеров в подвал. Ни один из них не заметил лежащего у лестницы труп генерала. Солдатик в голубых обмотках и бутсах подумал сентиментально, что хорошо б красной подкладкой шинели прикрыть труп героя.

Но герои закопаны в гаюлянах...

Солдатик в голубых обмотках стоял на часах у входа в подвал, где были заперты арестованные офицеры.

В руках у него была английская бомба — было приказано: «В случае чего, крой туда бомбу — черт с ними».

В дверях подвала синело четырехугольное окошечко и ниже — угловатая, покрытая черным волосом челюсть моргающим мокрым глазом. За дверью часто, неразборчиво бормотали, словно молились...

Солдатик устало думал: «А ведь когда бомбу бросить, отскочит от окна или не отскочит?..»

Не звенели трамваи. Не звенела на панели толпа. Желтая и густая, как дыхание тайфуна, томила город жара. И как камни сопок, неподвижно и хмуро стояли вокруг бухты дома.

А в бухте, легко и свободно покачиваясь на зеленоватосиней воде, молчал японский миноносец.

В прихожей штаба тонко и разливчато пела канарейка, и где-то, как всегда, плакали.

Полный секретарь ревштаба, улыбаясь одной щекой, писал на скамейке, хотя столы были все свободны.

Тихо, возбужденно переговариваясь, пробежали четверо партизан. Запахло мокрой кожей, дегтем...

Секретарь ревштаба отыскивал печать, но с печатью уехал Вершинин; секретарь поднял чернильницу и хотел позвать кого-то...

...Далеко с окраины выстрелили. Выстрел был гулкий и точно не из винтовки — огромный и тяжелый, потрясающий все тело...

Потом глубже к главным улицам, разрезая радостью сердце, ударили улицы пулеметами, винтовками, трамваями... заревела верфь...

Началось восстание.

И еще — через два часа подул с моря теплый и влажный темно-зеленый ветер.

...Проходили в широких плисовых шароварах и синих дабовых рубахах — приисковые. Были у них костлявые лица с серым, похожим на мох, волосом. Блестели у них округленные, привыкшие к камню глаза...

Проходили длиннорукие, ниже колен — до икр, рыбаки с Зейских озер. Были на них штаны из налимьих шкур и длинные, густые, как весенние травы, пахнущие рыбами волосы...

И еще — шли закаленным каменным шагом пастухи с хребта Сихотэ-Алинь с китаеподобными узкоглазыми лицами и с длинноствольными прадедовскими винтовками.

Еще — тонкогубые с реки Хора, грудастые, привыкшие к морским ветрам, задыхающиеся в тростниках материка рыбаки с залива Св. Ольги...

И еще, и еще — равнинные темнолицые крестьяне с одинаковым, ровным, как у усталого стада, шагом...

На автомобиле впереди ехал Вершинин с женой. Горело у жены сильное и большое тело, завернутое в яркие ткани. Кровенились потрескавшиеся губы, и выпячивался сквозь платье крепкий живот. Сидели они неподвижно, не оглядываясь по сторонам, и только шевелил платье такой же, как и в сопках, тугой, пахнущий морем, камнями и морскими травами ветер...

На тумбе, прислонившись к фонарному столбу и водя карандашом в маленькой записной книжке, стоял американский корреспондент. Был он чистый и гладкий, быстро, по-мышьиному оглядывающий манифестацию.

А напротив, через улицу, стоял тщедушный солдатик в шинели, похожей на больничный халат, голубых обмотках и английских бутсах. Смотрел он на американца поверх проходивших людей (он устал и привык к манифестациям) и пытался удержать американца в памяти. Но был тот гладок, скользок и неуловим, как рыба в воде.

ПОДКОВА



I

Перемеченные огнем снарядов — красные, кроваво-красные и тяжелые, — низко обламывались облака над городом. Невнятные гулы шли по деревянным тротуарам, между досок их — мокрая, седая осенняя трава. Люди в узких деревянных щелях домов; слышен шепот:

— Через Сусловицу перешли...

— Сначала коммуны бить... начнут...

— Говорят, всех прощают, только масштабы их признавай...

— Какие масштабы?

— Господи, а мы-то при чем?..

В этот вечер, когда калечили облака желтые — пахнущие углем и серой — снаряды, когда солнце в маслянистой крови — как незарубцованная рана, уездный кузнец Василий в горне варил картошку. Был он подслеповат — не от кузнечной, а от портняжной работы; от болезни глаз и в кузнецы пошел.

Кузница была под горой — «на подоле»; ниже — город; выше, на горе, — кладбище. Почему кладбище на горе, а не город — неизвестно. Живым и так весело, а мертвецу с горы лучше видно: может быть, так думали?

Подручный Ерошка — кузнец всех подручных Ерошками звал — качал мехи. Голосенко у него какой-то подтянутый, словно пищали мехи или скрипела сухая кожа.

Грызя полусырую картошку, махал он тонкой, как ремень, рукой и спрашивал:

— А обозы белу муку скоро повезут? Утикают...

— Муки белой не полагается, муку белую едят белые, а нам надо исть муку черную.

Кузнец погнул в пальцах изржавевший жестяной обручишко, изорвал его в куски и бросил в угол. Обошел вдоль стен, выглянул, вдохнул сладковатой сырости и захлопнул торопливо дверь.

— В городе-то — тьма, даже в тюрьме огня нету. Ты картошку не проследи, уплывет... Белые поди сегодня придут, надо б домой идти. Пушай здесь убивают, одна могила, да и та хоть своя, а?.. Всех трудящихся чересчур, говорят, убивают. Возьмут нас, Ерошка, да и повесят вот тут, в станке на перекладинах, где коней куем.

— А за ноги вешают? У которых шея поди тонкая, не выдержит, дяденька?

— Проси — повесят за ноги.

— А на том свете в рай попадем?

Василий оттянул котелок, щеточкой попробовал картошку. Седоватая бороденка отсырела и запахла табаком. Ему захотелось курить, он поскоблил в карманах.

— А на этом свете в рай хочешь?

— Хочу.

— Давай табаку, дорогу расскажу.

Ерошка выпустил ремень меха и сказал медленно:

— Я некурящий.

Подумал и, подхватывая ремень, кашлянул тихонько:

— У нас, дяденька, парнишки порешили в бога не верить.

— Ишь!

— Большевики в бога не верют... Кипят!..

— Кипит. Доставай.

В крестах, на горе, ухнуло и посыпало мелким треском.

— Бонба,— сказал боязливо Ерошка.

— Ешь, пока картофель горяча.

А сам кузнец не стал есть. Разломил, понюхал: пахнуло сыростью. Отложил. Поднялся и вдруг, ссутулясь, накрыл корчагой угли в горне. Ерошка зачавкал медленнее:

— Темно, дяденька.

Василий стоял у дверей. Ржала где-то далеко лошадь;

по дороге неустанно шел ветер. У станка дляковки, подле кузницы, свистела, как бич, веревка... Кузнецу стало холодно, он вспомнил, что у воротника рубахи нет пуговиц. Тоненько пискнул в углу Ерощка:

— Дяденька, темно... Пойдем в город... тут крысы...

Обстрел, должно быть, кончился. Щели дверей расширились.

Запах угля отяжелел.

Здесь, от станка дляковки, глухо и медленно позвал голос:

— Хозяин!

II

Ерощка для чего-то задержал ремень мехов; метнулась зола в очаге. Василий хотел было промолчать, но туго потер загрибок и хрипло крикнул:

— Чего ты-ы?..

— Хозя-яин... — протяжно и густо позвал голос.

В распахнутую дверь сразу, под бороду и на потную грудь, хлестнуло холодом.

У станка, фыркающая звеня уздой, — лошадь. Выше ее — темный, широкий голос:

— Подковы есть?

Звякнуло стремя, мягко осела земля под пятой.

— Кузнец?

Василий порывшись в карманах, сплюнул и, ленью голоса стараясь преодолеть дрожь, сказал:

— Покурить нету?

— Огня давай. — Потом, расстегивая одежду должно быть, медленнее добавил: — Коня куй.

— Откуда ты?

— Куй.

Человек стоял поодаль; дыханье у него было медленное. Тонко, прерывисто запахло кислым хлебом.

«Крестьянин», — подумал радостно Василий и, стукнув кулаком по бревну станка, твердо выговорил:

— Ерощка, дуй уголь.

Василий подошел к станку.

— За ночную работу берем вчетверо. От ночной работы у меня глаз сочится, оттого ремесло переменил. Опять, кто ночью кует? Лошади спать надо. Каков размер копыта?

Так же, словно роняя грузный мешок, повторил тот:
— Куй.

Огонь в горне поднялся, и отблеск переломился в синей луже за дверью. Огромное и теплое, лежало копыто перед Василием, как темное блюдо. Волос от копыта шел длинный, жесткий и седоватый, пахнувший прелой соломой. Ерошка, стучая пяткой по ящику, тащил подковы. И вот, перекидывая железо, набивая ладонь едкой ржавчиной, стал выбирать Василий подкову. Одна за другой, в связках, в одиночку, старые, стертые, блестящие, и совсем шершавые, и новые, еще пахнувшие огнем, ложились подковы на кочковатую ладонь и звякали, падая обратно в ящик. Не то! От старых битюгов, давно, еще до войны, возивших барские клады, уцелело шесть пар, валялись они в углу. Ерошка вытащил их, свистнул и подкинул угля в горн — чтобы было светло. И эти — не то! Лежали они, словно кольца, на ладони.

Человек, сошедший с лошади, звякнул чем-то позади станка. Василий обернулся и поглядел на него.

Тоненькой ниточкой на огромном куске солдатского сукна блеснула винтовка. Ушастая островерхая шапка с пятиконечной звездой оседала на широкий лоб.

Василий поспешно спросил:

— Какой губернии?

— Я-то?.. Муромской.

Василий обежал кузницу; запнулся за подвернувшийся обруч, откинул его в угол. Подбросил для чего-то угля в горн, махая над углем куском железа, крикнул:

— Нету подходящих подков! Нету!

Звякнула тяжелыми кольцами узда.

— По коню куй.

Человек, сошедший с коня, огромным грузным шагом отошел куда-то в темень, и оттуда раздалось:

— Куй.

Раскаляя железо, Василий над искрами его хотел было охнуть, пожаловаться, а засвистел, заскрежетал молотом:

— И-их!.. И-их!.. Ирошка-а!..

И Ерошка вился худеньким телом: тоже под искрами, под молотом рвал мехи, в горн надавливал воздух, потел, попискивал:

— Их, дяденька-а! Их...

И только тогда, когда подкова лежала, как темноватая алая ржаная булка, крикнул Василий:

— Туда, что ль, на них?..

— Прямо! Куй.

— Кую! И-их!.. Пря-ямо?

— Прямо.

— И-их!..

Лошадь дышала тепло, прямо в затылок Василию. Человек в островерхой шапке так и не показывал лица.

Шлепая, разрезая грязь, прошел в гору обоз.

Хотел Василий пожаловаться, рассказывать долго и правильно, чего он, кузнец Василий, хочет. Конь, словно лопатами, откидывал подкованными копытами звонкую пахучую грязь. Седло под рукой Василия — теплое, ласковое.

Он сказал, указывая на гору:

— Город-то надо сюда перенести.

Из тьмы опять, как грузные пласты земли, последний раз упало:

— Перенесем. Обожди.

КАМЫШИ



I

Солнце в камышах жирное и пестрое, как праздничный халат ламы. А тина — зеленая водяная смола — пахнет карасями.

И рукам моим хочется плыть, — под камышами, по тине, — лениво разгребая густые и пахучие воды.

Но я не плыву. Этот единственный день я отдал своему телу, и руки пусть лежат на траве спокойно.

Вот комар опустился ко мне на бровь; я чувствую, он расставил тонкие, как паутинка, лапки и медленно погружает в меня свое жало. Я ему сегодня не мешаю, я закрываю накаленные солнцем веки и считаю, сколько раз шипящий у моего уха лист травы коснется моих волос.

— Четыре... семь... восемь...

Если чет — меня убьют, если нет — убегу. В поселке атамановский отряд, и станичному приказано меня выдать. Выдаст ли?

— Двенадцать... тринадцать... пятнадцать...

Ерунда! Трава отбежала от моих волос, но я не всрью. Я говорю ей:

— Шестнадцать!

И пригибаю ее к своей голове. Она сердится. Сломана. Зеленоватая гагара, раздавливая воды сапфирной грудью, выплывает из протока. Она медленно опускает в воду синий клюв, перья у нее на шее редекот, тело жадно вздрагивает, — она кого-то нашла.

Здесь я стогняю комара с брови и лениво смотрю, как, колыхая алым брюшком, наполненным моей кровью, он летит.

И в жилы мои вползают такие ленивые и тягучие воды. Сердце плывет далеко — жирный и зеленый карась. Больше всего нагрелись колени и лоб — три моих паперти.

Мысли мои идут, как монахи со свечами, медленно. Вдруг один за другим падают на руки черные кашюшоны, и усагие загорелые рожи громко хохочут. Это когда я подумал о папертях.

Я глажу колени и лоб. Смеюсь.

Лама в пестром халате, похожем на солнце в камышах, говорил мне у развалин Каракорума.

— Жизнь человеческая — как камни. Ветры проходят, и остаются пески. Здесь жил Батый и Тамерлан, тебе чего нужно?

Я рассмеялся почтенному ламе в его узкие губы.

— Я иду с одним ослом и Батыем и Тамерланом не буду, а любви у меня больше тебя и больше их...

Осел, широко расставив тонкие и пыльные ноги, отсвив губу, мычал через нос. А на губе у него сидела сизая муха. Такая же муха сидела на халате ламы и у меня на плече.

Мы, выпив молока, пошли дальше, а лама остался размышлять о Батые, Тамерлане и о камнях, превращающихся в пески.

Почему я вспомнил о ламе?

Не знаю, может быть, солнце, лежащее в камышах, похоже на его халат.

От плеча до локтя в тело вдавливается палка, но мне не хочется ложиться на спину. Палка эта гнилая, и к тому времени, когда мне крикнут, она будет раздавлена. У ней — я помню — бледно-сероватая с тоненькими узелками кора, — может быть, береза. Я вспоминаю холодный березовый сок — его весной хорошо тянуть через соломинку. Земля еще холодная, но ветер тугой, теплый, гнет шею; березовый ствол дрожит от верха до черной коры корней, дрожит, отдавая свои соки. Дальше я вспоминаю березовую луку своего седла и опять смеюсь:

— Нет, атамановцы меня не поймают!

Зеленая клейкая влага трав на моих ладонях, она заклеивает те дороги, по которым прошла моя жизнь, и рука

моя похожа на лист, пальцы как жилы, у их основания серые мозоли от вожжей. Кто много едет, тот знает куда!

Так идет время. Все неподвижнее и тяжелее вдавливаются в землю воды. Камыши прямеют, тянутся кверху, напряженно звеня листьями. Рыбы отрываются от дна, всплывают, их плавники в зеленоватой воде похожи на желтоватую пыль. Мне кажется, я вижу их мутно-алые сонные зеницы, рыбы подплывают к солнцу, чтобы пробудиться. Я ложусь затылком на теплые ленты травы, и лицо мое обращается к небу. Оно все такое, как и тогда, когда меня не было,— и, может быть, поэтому я не люблю на него смотреть. Здесь у меня каждый год рождаются листья, и земля — тучная и широкая — любит меня по-своему.

Опять я гляжу, как воды поглощают время. Руки мои тянутся к ним ударить широко и звонко сонную мать, чтоб эти широкие рыбы испуганно метнулись по озеру и вдавили б в свой мозг, какое оно, их царство маленькое.

Нужно ли это?

Сегодня будем думать, что не нужно.

Я кладу руку на траву и стараюсь пальцами узнать ее цвет. Я закрываю глаза, у меня ясно мелькает: мягкая, длинная, пахучая полоса — зеленая, уже, жестче — зеленовато-желтая, а вот эта, почти круглая, — красная.

Я открываю глаза — круглая красная трава.

Нужно помнить — осень. В пальцах у меня круглая красная трава. Я ее ломаю и говорю:

— Осень.

Камыши темнеют. Они как нити, соединявшие облака и землю. Они как перегородка, закрывающая хозяйню, перегородка в большой юрте.

Тело мое устает. Я подхожу к водам и умываюсь. Капли с моих рук тихо и тягуче, как мед, медленно всасываются озером.

В камышах свистят. Широкое копыто звучно чмокает у кочек. Я опускаю челюсть, рот у меня выпрямляется, и губы нарезают свист:

— Ссссс... ссссс...

В камышах харкнули. Мягко шевеля крылом листья, взлетает над моей головой птица. Человек смеется:

— Чтобы те язвило!

Я вспоминаю палку, на которой лежал. Давлю ее каблуком.

— Лукьян, ты?

— Я, парень; птица, чтоб ее трафило, прямо в нос хвостом. Ну, ты как?

— Готов.

Он наклоняется и, откинув гриву, шлепает коня в потную шею; вытирает пот о голенища и говорит:

— Садись рядом. Ишшут вас здорово, найдут — кончат. Там, подале, я лошадь оставил, в аул Бикметжанки поедешь, знаешь?

— Нет. Где он, аул? Не знаю.

— Ну? Прямо валяй через степь, на солнце. Найдешь. Твои все тамotka, ждут.

II

Через степь — на солнце.

Через степь — на радость.

Через степь — вперед.

Пройдем и проедем степи. Пески превратим в камни.
Камни — в хлеб.

Веселых дней моих звенящая пена,—

— Будь!

ЛОГА



I

Уйдет она на пригон, в предбанник, скинет рубаху, смотрит на себя: плотно прижалось мясо к кости — алое, как калина, и пахнет крупным осенним мхом.

Скажет она горестно:

— С чего оно в тоске? Зачем?

А небо белое-белое, белее молока. Земля снизу его поджигает, дышит на него прелым духом.

Люди вокруг огромные, широкие, как земля, из твердого мяса сбитые. Ходят по полям победителями, высовывая из бород насмешные улыбки. Они покойны!

Хотя б муж ее Петр — у него черная, точно унавоженная борода, — земля, сто лет не паханная. И говорит, точно корни корчует:

— Нонче, паря, урожай. Бог послал!

Иль дед Емолыч — хан казанский. Лыс, как курган, хитер и слово бережет, словно клады земля. Молчит.

Бешмет у него киргизский, пестрый, на ногах ичиги, и не ходит — летает человек. Лошадь у него иноходец; трашпанка — легка, будто из бумаги.

И все дань из города привозит.

Привезет, в сундук, жестью цветной обитый, складывая, улыбается лысиной. А лицо, как темя, неподвижно.

Петр говорит ему:

— Пушшай бунтуют. У нас земля удоиная, а город, ён все припрет сюды. Им бы бунтовать.

Идет Аксинья мимо мужа; в глаза ему посмотрит — как колодец степной, сух и темен глаз. А ночью, когда жмет ее, давит и зыбко дышит на ее тело, — закрывает она глаза. Тогда ей совсем страшно.

Шла бабка Фекла по пригону: яйца курица несет несуразно в этом году — искала. Шарила прелую землю, навоз сухой и едкий, сено. Шебуршала, как сеном, губами:

— Ребятишки, баю, в Расее-то без ног родятся. Ксинь, а?

— Не знаю.

— Ничо народ ноне не знает! Ране хоть старова слушались, теперь вот своим умом зажили. Слякотной народ.

— Тошно мне, баушка!

— А ты Миколе Мирликійскому да Пантилимону свечку вверх ногами поставь. Сглазили, усю Расею антихрист сглазил!

И опять зашарила руками, зашебуршала сеном.

— Силы у меня нету, в бор бы не то пошла. Иди хоть ты, Ксинь.

— Видьмедя там я не видала, что ли?

— Гриб собирай! В городе-то заместо хлеба гриб жрут, провалиться им совсем! Собрала бы вот да на платье бархатно выменяла, а то на шелково, а?..

— Куды мне шелка? Скука.

И дом огромен, темен, как из камня рублен. Пахнет вечным силным хлебным духом. Все лето окна настезь — не выходит дух.

И все село такое огромное. На версты — в лесу, в хлебах.

Из города, как начался голод, приходили тощие, с широкими пустыми мешками, просили.

— Бог подаст! — отвечало село.

Не стали приходить. Собакам скучно, лаять не на кого. Да и приходившие завидовали им:

— Собаке на день скармливаете больше, чем нам на неделю дают.

— А ты не бунтуй!

И лохмоногие псы рвали сапожонки уходивших. Тоска и широта.

Желтым вечером — с юга дул песчаный ветер — из степи приехали киргизы.

Скрипели высококолесые тяжелые арбы. В них на тонкой протершейся кошме лежали тесно тонкие, как жерди, сухие люди.

Лупящаяся кожа пластами, как алебастр, прорывала острые кости. На рваных овчинах, закрывавших тела, густым слоем надуло песок.

— Нан хлеба, нету чок...— говорили они.

Голоса их были, как ветер в курганах,— свистящие и одинокие.

— Хлеба нету!..

Мужики широко, крепко втискивая в землю босые ноги, покрытые пыльным волосом, смотрели на лишаи и струщья. Отходя, говорили про киргизов:

— Не выживут...

Петр сказал киргизам:

— Проезжай!

— Нан нету!.. Хлеба нету...

Ветер вырывал из прорех халатов ключья шерсти. Из малахаев тоже ползла верблюжья шерсть. А верблюды, тощие, с вяло повисшими горбами, были голы, и кожа их морщижилась, как солнце в засуху.

Петр встретил Аксинью в воротах и молча посторожился.

Дед Емолыч шел за ним и, улыбаясь лысиной, велеречил:

— Я им на хлеб, баю, меняй верблюда-то! Не хотят, калыпы. Мало даешь, грит, а? Пуда пшеницы ему, немаканому, мало за верблюда.

— Гнать их — и больше никаких.

— И то гнать. Чуму припрут!..

— Ты в город-то когда торговать?

...Киргизы сидели на траве подле арб.

Курчавый казак Сенька Убычев резал сделанным из литовки ножом толстые ломти хлеба. Один за другим, не спеша, кидал ломти на траву.

Киргизы жадно хватали с земли хлеб вместе с травой. Жевали всем телом — плечами, грудью, ногами.

Курчавый подбрасывал ломти, кричал:

— Лопай, ну!.. Ешь досыта, ешь...

Лежавшие же в арбах молчали, и остро выдавались под грязными овчинами их груди.

Киргизы, хватая ломти хлеба, благодарили:

— Щикур, Санка, щикур. Спасибо.

Скотина на Иртыше пила теплую воду, обмакивая в струю пыльные морды. С морды по шерсти текла вода, и глаза у скота были тоже как огромные темные капли.

А курчавый Сенька Убычев все резал и резал хлеб.

— Лопай! Бог один, вера разна! Ешь.

— Берна, берна!.. — бормотали киргизы. — Берна.

Заметил Аксинью.

Выцветший, как ковыль, волос подняло ветром с его широкоскулого лица. Открылись глаза — голубые, большие, — как мокрое блюдечко.

— Чего ты? — спросил он. — Зачем пришла?

А у ней зарумянилась улыбка, сошла с лица на высокую, как старинное крыльцо, грудь. Во всем теле отдавалось радостным холодком.

— Ничего, парень!..

Ушла, приминая траву, и трава увядала под ее ногой. Думала: «Есть на земле еще жалость».

...А фиолетовой душной ночью, крадучись, нагребла из сусека мешок зерна. Пригибаясь к редкой травке, упираясь пальцами в теплый песок, еле-еле донесла мешок до каравана.

Здесь обнял голову запах кизяка и айрана. Залаяли шепотом голодные киргизские собаки. Не выдержала. Опустила мешок, убежала.

Киргизы подняли мешок, спрятали.

III

Лога заковали село кольцами темной жирной земли — не то свадебные кольца, не то острожные. Трава в логах — скот плутает, молоко приносит из них густое, как сметана, и сладкое, как мед.

Гриб — огромен и ядрен. (Атаман Черняев в былые годы, сказывали, царям в подарок посылал. Но у царя внутри для гриба кишка переварная не годилась, и поедали гриб митрополиты. Атаману Черняеву же лента брильянтовая подарена за грибы была.)

Через лога дорога извилистая по кустам и березняку на юг...

Дорогу трава заедает. И заела бы, кабы не киргизы и не дед Емолыч — они по ней в город ездят.

И жмут дорогу лога — колею украсили чертополохом. Синий колючий чертополох за колеса цепляется.

Стала уходить Аксинья в лога, будто скотину разыскивать.

Идет она березняком, боярышником — кажется, что запах его за платье цепляется, в волос лезет. А перед глазами дорога — убогая, тонкая, как киргизы те на арбах, голодные.

Цепляются мысли за дорогу, как чертополох за колеса, сердце в горькой и едучей полыни сохнет:

— Господи... Где же люди-то? С жалостью...

Идет Аксинья, томится.

— Господи! Может, и твой глаз спален, как эта вот степь-то? А?.. В городах-то, бают, землю гложут, камень, сухой да твердый... А и то по правде жизнь переделывают... Пошто так-то, господи?.. Здесь-то эвон на полземли распахнуло хлебами-то... Через леса прут, пашня ен мала... А людям жадно, все жадно... Хамство ты наше окаянное!..

...Курчавый Сенька,— один только, красным лампасом штанину окрасив, изогнулся, стоит поодаль, киргизам ломти широкие бросает. А глаз у курчавого голубой жалобный...

Идет Аксинья, под кусты склоняется.

Пахнет боярышник ее сердцем, ее тоской, а лога жадные влажно дышат, прижимают к себе травы, колки березовые, чудесные подарочные грибы...

Пьет сердце и он, курчавый. И еще дорога, попираемая травами. И пески с голодными киргизами, а больше всего он — город... Посмотреть бы, какова там жизнь?

Идет Аксинья, плачет:

— Господи! Может, и твой глаз спален, не видишь!.. Где они, очи твои, господи!

Обнимает трава-лепетун ноги. Обнимает голову боярышник, ягоду тяжелую и мягкую на темя роняет. Утки крикают в травах.

— Спален, может, господи?..

Молчит господь, онемел. Непонятно глух. И только лога говорят слова жадные и немилые.

Встретил курчавый Аксинью за селом, глаз его голубой плывет, тает в небе.

— Гуляете, Аксинья Семеновна?

— Скотину собираю... Скот в логах.

Стоит он у боярышника, куст тоже курчавый — ягода мягкая... «А какие у курчавого губы?..»

Потупилась Аксинья, а потом подняла неспешно глаза, темно на душе стало у курчавого, темно и жутко, как в самом темном логоу.

И разошлись они. Она в лога. Он в село.

А на другой раз — сел напротив, в травы.

— Торгует муж-то? — спрашивает. На губах — хмель: не то смеется, не то завидует. — Торгуют ваши-то?

— Наши-то?

— Ну?

— В городе, меняют. Обида ведь это, Сеньша! Ведь на голоде наживаются!

— И Петр?

Вспомнила она Петра — его черной земли бороду. Ноги тяжелые, прямые, как деревья, шагают. И на груди как после надсады... и на память дед Емолыч, хан казанский... Жадность какая!..

Хохочет курчавый.

— Что ты, Александр Григорич?

— Чудной народ, прямо не поймешь!

Аксинья говорит:

— У меня душа гниет, Александр Григорич, и не пойму никак... Сомневаюсь...

— В хозяйстве непорядок?

— Да нет!..

— Бабушка, Фекла-то, должно, стерва?

— И она ничо. Другое.

— Пошто, а?

— Болит, места нету... Не найду...

Курчавый ухмыльнулся и ногой пошевелил.

— Это бывает... Тело...

Пошло у него лицо ходуном. Руки затряслись, помокровели губы.

Положил руку свою к ней на колени. Обратнo взять сил нет...

...А потом так же, как и Петр, брызгая слюной, давил и мял ее тело. И так же, как Петр, откинулся прочь, потно вадышал в небо.

...Сорвала Акси́нья пучочек травки и легонько на глаза ему положила.

Горячий у ней голос — радость тушит его, — ничего не выскажешь.

— Трава-то, вишь... сохнет... милай!

Курчавый утомленно повернул лицо набок и сронил траву.

— Листопад, потому оно и... сохнет.

Вдохнула Акси́нья, глянула из лога вверх, по скату. Травы вновь по-весеннему поднимаются, хоть опять коси. За небо березка уцепилась, дрожит:

— Уйдем мы, Сенька, с тобой!..

— Куды?

— Жадный народ, боюсь я!.. Душа у меня гниет... Не могу, уйдем... а ты добрый...

Поднялся курчавый, расставил ноги так же, как расставляет их Петр. Медленно опуская голову, сказал спокойно:

— Ты коли с мужика своего тоскуешь — плюнь. А бить будет, уйти от него завсегда можно, поне закон легок. Ехать-то, конечно, можно, а куды?.. Некуда ехать, да!.. Да и хозяйство у меня.

Погладил шею, сплюнул.

— Ты вот у мужика спроси: у него на пригоне бревна валяются, не продаст ли?.. Рубить народу не найдешь, да нонче какой работник пошел, знаешь сама...

— Не пойму тебя я, Сеньша, шутишь? Рубить?

— Дом рубить буду!

И тут от слов тех опять накатилося под душу, затомило тело. Забилась опять внутри горящая береста — сердце. Вскрикнула, полоснулась душой она:

— А киргизы-то?.. Сеньша!.. Киргизов-то кормил?

Захотел курчавый.

— С киргизами-то, Акси́нья, потеха-а!.. Дай, думаю, покормлю их власть, наголодались. Взял у матери булки-то и давай их напихивать. Лопай! И верна, ведь трое подошли... Обожрались, немаканые, а?.. Ловко я сыграл, а? — Заглянул ей в темный — как глубокий лог — глаз и ничего, не дрогнул. — Завтра у меня гости будут, воскресенье...

Ты в понедельник сюда приди. Ладно? А с немакаными ловко!

Ушел курчавый.

...Ударилась Акси́нья в землю, заголосила.

Чертополох попал под грудь, переломился. Отдернулись под телом травы, и, хрустя, как травы, ломалось в груди...

А сумрак зеленый нашел лога. Убрал травы, тупо пахнувший боярышник и одинокую, хилую, заглоданную травами дорогу через лога, на юг...

1922

ДОЛГ



I

Карта уезда в руке легка и мала, словно осенний лист. Когда отряд скакал рощами, — листья осыпались, липли на мокрые поводья. А разбухшие ремни поводьев похожи на клочья грязи, что отрывались от колес двуколки, груженной пулеметами.

Фадейцев, всовывая в портфель карту, голосом, выработанным войной и агитацией, высказал адъютанту Карнаухову несколько соображений: 1) позор перед революцией — накануне или даже в день столкновения разделить отряд; 2) нельзя свою растянность сваливать на дождь и мглу; 3) пора расставить секреты, выслать разведку...

— И вообще больше инициативы.

Но голос срывался. Усталость.

— Врач просит одиннадцать одеял, а то больные жалуются, товарищ комиссар... Здоровые, говорят, под одеялами, а нам — под шинелями, — осень...

— Да у меня на руках-то канцелярия да больные, — это объяснил им?.. Хм... Обоза нет.

— Совершенно подробно и насчет того, что отряд на две половинки. Тут темень и канцелярия. Да я им митинг, что ли, устрою из-за одиннадцати одеял?.. Я им говорю — вот Чугреев разобьет нас, — всем земляные одеяла закажет.

— Больным? Да вы, товарищ, неосторожны.

— Кабы они простые больные,— это революционеры.

Адъютант Карнаухов любил хорошую фразу. Был из пермских мужиков, короткорук, с обнаженной волосатой грудью. Выезжая из города, он надевал суконную матроску и папаху.

Красноармеец внес мешок Фадейцева. У порога, счищая щепочкой грязь с веревок, он с хохотом сказал адъютанту:

— Старуха к воротам пришла, просит церковь под нужник не занимать. Лучше, грит, мой амбар возьмите, он тоже чистый, и хоть, грит, немного пашеничкой отдает, а все же. Во — тьма египетскова царя! Наговорили ей про нас...

— Рабы,— басом сказал Карнаухов,— бандитов разобьем, возвратимся — собеседование о религии устрою. Так и передай.

— Это со старухами собеседовать? Имн болота мостить,— только и годны старые.

Фадейцев смутно понимал разговоры.

— Самоварчик бы,— сказал он тихо.

Хозяин избы, Бакушев, темноротый тощий старик, махая непомерно длинными рукавами рубахи, потащил в решете угли. Адъютант и красноармеец яростно заспорили. Фадейцев сонно взглянул в окно, но мало что увидал. А в поле пустые стебли звенят, как стекло... Небо серно-желтое... Мокрые поводья пахнут осоками и хвощами. Голые нищие колосья сушат душу. Днем в облаках голодная звонкая жара, ночью рвутся в полях дикие ветры. И хотя из-за каждой кочки может разорвать сердце пуля,— все же легче ехать болотами, нежели пустыми межами; лучше под кустом мокрого смородинника разбить банку консервов. Возможно, поэтому хотелось комиссару Фадейцеву уснуть. Но обсахарившиеся веки нельзя («во имя революции», — напыщенно говорит Карнаухов) смыкать. Неустанно, кажется, шестые сутки, мчался отряд полями, гатями, болотами,— чтобы взять в камышах гнездо бандита и висельника Чугреева.

— Интересы коммунизма неуклонно!..— вдруг во все горло закричал адъютант Карнаухов.

Тотчас же старик внес самовар.

Фадейцев медленно вытянулся на лавке.

— Я все-таки, ребята, сосну... пока самовар кипит... Тут ребята подоспеют, обоз...

Он потянул голенища. Старик поспешил помочь. Карнаухов выматерился.

— Царизму захотел, сапоги снимаешь?

— Устал он, командер ведь.

— Если устал, можно и в сапогах превосходно. Ты как об этом предмете, товарищ?..

— Я лучше усну...

Старик сунул ему под руку подушку. Адъютант «собеседовал»:

— Литературу получаете? Надо курс событий чтоб под ноготь, батя, понимать.

— Бандита пошла, голубь, и прямо как саранча бандита. В нашей волости народ все смирной рос, а теперь однажы скачут... один здоровенный такой — рожа будто у кучера, как ему стыда нет — печенки захотел. И что ты думаешь? У соседа корову застрелил, печенку вырезал, сжарил, остальню кинул. А про люд, люду-то сколько перебито-о... э...

Карнаухов строго кашлянул:

— Очередная задача — поголовное уничтожение бандитизма и вслед за этим мирное строительство...

...Всегда, после переходов, сны Фадейцева начинались так, словно внутри все зарастало жарким волосом...

Но вдруг, ломаясь, затрещали половицы. Медные, звонкие копыта раскололи огромную белую печь.

Ничего не понимая, шальной и полусонный, Фадейцев вскочил. Зашиб лоб о край стола. Ночь. Керосиновая контилка, казалось, потухла.

В раме окна со свистом прошипела пуля. Три раза, вслед за выстрелами маузера, кто-то громко позвал: «Товарищ Фадейцев!» Шип пули — будто перерезанный зов. Топот лошадей смягчался, словно скакали по назьмам. Фадейцев, прижимая к боку револьвер, прыгнул к дверям. Быстро и мелко старик крестился в окно. Лицо у него было блее бороды, а пальцы черные с киноварными ногтями, и ногти были крупнее глаз. Фадейцев выглянул в окно. При свете большого фонаря чубастый парень (грива его лошади была прикрыта зеленым полотнищем) устало махал саблей. Стоны после каждого его взмаха тоже усталые. Старик сказал: «Зарубил».

Фадейцев посмотрел на прильнувшего к печи старика и повторил:

— Зарубил?.. Ево?.. Бандиты?.. Кого зарубил?

— Оне. Бандиты.

И здесь Фадейцев вспомнил, — револьвер его опять не заряжен. Пять лет революции не мог он приучиться вовремя заряжать... Револьвер царапнулся по доскам пола. Котенок шарахнулся из-под скамейки. И внезапно стало страшно выбежать в сени. На дверях же даже нет засова. Старик обернулся. Деловито, с матерком, сунул револьвер в загнету печи, в золу.

«Амба... — подумал быстро Фадейцев, и ему на мгновение стало жалко Карнаухова, — зарубили...»

— На двор ступай... урубят и так: меня перед смертью пожалеть надо. Скажи — я вас по доброй воле не пускал... так и скажи. Владычица ты, пресвятая богородица! Иди, что ль! Хамунисты-ы... — протянул старик. — Иди, комиссар.

Засвистали пронзительно на перекрестке улиц. Икры ног Фадейцева стали словно деревянные. Фадейцев пал на колени. Так он прополз два-три шага и неизвестно для чего приоткрыл подпол. Щеки его обдал гнилой запахом проросшей картошки.

— Найду-ут... Дам вот по башке пестом!.. Прячься?..

От этого злого беззубого голоса Фадейцев вдруг окреп. Он сдернул свой мешок с вещами. За мешком — портфель, разрезал почему-то пополам фуражку. Трясущийся в пальцах нож напомнил ему об ножницах.

— Ножницы давай, — закричал он, — скорей!.. и рубаху... рубаху свою... Убью!..

Старик вытянул рот:

— Но-о...

Старик подал источенные ножницы и гладко выкатанную рубаху. Состригая бородку, рашенную клинушкой, Фадейцев торопил:

— Старую... старую надо... живо!.. Скажешь... как фамилья...

— Моя-то?

— Ну?.. Твоя.

Старик словно забыл про страх. Он хозяйственно оглядел избу.

— Тебе на какую беду?

— Говори!

— Ну, Бакушев, Лексей Осипыч... ну?..

Он поднял кулаки (с ножницами и с остатком бород-

ки в пальцах) и, глотая слюну, прошипел старику в волос. Ах, волосом этим, как войлоком, закатано все: глаза, сердце, губы, никогда не целовавшие детей. И речь нужно пронзительнее и тоньше волоска, чтобы...

— А я, скажешь, твой... сын!.. Семен... Семен Алексеевич, из Красной Армии... дезертир! Документов нету... да... Иначе — амба! Наши придут и, если меня найдут копченым, кишки твои засолят на полсотни лет... попалят, порежут... амба, туды вашу!.. Если выдашь!..

Он махнул на старика ножницами. Старик противно, словно расчесывая грязные волосы, крестился.

— Мы што... мы хрестьяне... наше дело... ладно, я старухе скажу... поищу. Ладно уж.

Скамья под телом Фадейцева словно смазана маслом. Нет, этак жирно вспотели ладони. Карнаухов оставил на столе портсигар. Фадейцев сунул его в трубу самовара («кожаный, вонять будет», — подумал он), но обратно доставать не было силы. Он, тупо глядя на самовар, сбирал в гортани слюну сплюнуть, — и не мог.

А с оружием возможно было прорваться к какой-нибудь лошади. Ветер, вечер, холодная осенняя грязь.

Эх, научиться б вовремя заряжать револьвер!..

II

На минуту показалось — шел он сам, потом — шаги в стене, на потолке. Бред.

Вбежала старуха. Топот нескольких ног послышался в сенях. «К печке», — шепнул, задыхаясь, Фадейцев. Сразу не стало видно дверей, — печь же будто бесконечный кирпичный забор.

В остро распахнутую дверь озябший гортанный голос сказал быстро:

— Свету! Свету, и выходи сюда!

Казак с чубом телесного цвета поставил на пол крупный фонарь. Свеча там была желтая, восковая, церковная. Дергая тонким плечом, вперед выступил высокий человек.

— Красные есть, хозяйева?

Он тяжело поднял руки: дула револьверов были похожи на забрызганные грязью пальцы.

— Где они?

— Убежали, родной, как поскакали до коней, так их будто смело... разве в других местах, моя изба — голубь... Сынка вот хотели увести, едва уговорил... мы, грит, так и так...

— Сын? Этот?

Из сеней нетерпеливо спросили:

— Увести, ваше... по такой роже, если судить...

— Я что говорил? Вмешиваться?

Хотя никто не шевельнулся, он отстранился локтем. Опять, чуть вздрогнув плечом, шагнул к Фадейцеву. Каждое его слово было ровное и белое, такое, как его зубы. От фонаря похожие на кровь, дрожали на жидких и длинных усах капли грязи. Он сунул револьвер назад в сени, холодная четырехугольная рука его нащупала пальцы Фадейцева. Спрашивая, он все время подымался вверх по кисти на грудь, на бока. Ногти его словно прокусывали платье. Он ощупал нижнее белье. Фадейцев любил махорку, сыпал ее не в кисет, а прямо в карман. Высокий достал щепоточку, понюхал и плюнул.

— Какого полка?

— Стального Путиловского третьего...

— Фамилия?

— Бакушев Семен.

— Доброволец?

— Никак нет, мобилизованный.

— В отпуску?

— Никак нет...

— Ранен? Дезертир? Документы? Нет документов?

Значит, врешь. Расстрелять.

В сенях подняли щеколду. Кто-то, гремя прикладом, сыркнул с крыльца в грязь. В курятнике сонно-испуганно металась птица — казак резал к ужину. Лениво оглядывая стены, высокий человек легонько направил Фадейцева к дверям. Выравнилось несколько пар грубых сапог: проход был похож на могилу. Прямее винтовки не будешь. Он тянулся. Высокий был с револьвером: он держал его за спиной. Усы его висли над плечом Фадейцева, как сухая хвоя. Попробуй вырви револьвер.

Чтобы продвинуться ближе к окну, Фадейцев спросил:

— Проститься с родителями можно?

Фадейцев упал старикам в ноги.

Старуха завyla. Старик наклонился было благослов-

лять его, но внезапно, причитая, пополз за сапогами высокого.

— Князюшка, я ведь твоего батюшку и мамашу-то знал во-о... одноутробнова-то? Трое суток как прибежал... на скотину болезнь, ну, думаем — пообходит сынок городской... а тут в могилушку сыночка...

— Золотце ты мое, Сенюшка, соколик мой ясноглазый!

Высокий человек посмотрел хмуро в пол. Атласистое сало свечи капнуло ему на полушубок. Старик поспешно слизнул. «Эх, зря», — подумал Фадейцев, но высокому, по видимому, понравилось. Он нагнулся.

— Вставай! Черт с вами, прощаю — мало тут дезертиров! Только смотри, старик, набрешешь — покаешься. Я зло помню...

Он не спеша двинулся к дверям, но, мельком взглянув на профиль Фадейцева, неожиданно быстро устремился к нему. Судорожно дергаясь плечом, он заглянул в глаза: Фадейцеву почудилось — веки его коснулись щеки. Он прижал одну руку к груди и закричал пронзительно:

— Что? Что?.. Фамплия? Снимай шапку!..

Фадейцев вспомнил — когда сказали «расстрелять» — он надел шапку. Она мала, чужая, прокисшая какая-то...

— Семен Бакушев.

Высокий провел по его волосам, с удивлением поглядел на глубокий шрам подле виска.

— Бакушев? Врешь!

Он неловко, словно в воде, мотнул головой.

— Ясно... да... Не помню Бакушева. В Орле был?

— Никак нет.

— Князей Чугреевых знаешь?

«Ты...» — с какой-то тоскливой радостью подумал Фадейцев. Посылая его в уезд, председатель губисполкома дал ему для сличения фотографическую карточку руководителя зеленых, генерала Чугреева. Там он был моложе, полнее. Брови слегка углом. Фотография эта лежала в чемодане, в подполье. Фадейцев припомнил, как мужики делают размашистые жесты. Он выпятил грудь и поднял высоко локти.

— Чугреевых? Господи! Да у нас вся волость...

— Врешь... все врешь, сволочь.

Солдат в алых наплечниках лепил на стол свечу.

— Пошел к черту!

Генерал и князь Чугреев, ловить которого комиссар Фадейцев мчался в каличинские болота, сидел перед ним, быстро пощипывая грязную кожу на подбородке. Была какая-то смесь щегольства и убожества в нем самом и в его подчиненных. Полушубок он расстегнул: зеленый мундир его был шит золотом (хотя оно и пообтерлось), а брюки были грубого солдатского хаки. Грязь стекала с его хромовых высоких сапог.

— В германскую войну в каком полку?

Фадейцев назвал полк.

— Не помню. В каком чине?

— Рядовой.

— Э...

Из сеней тоскливо, после продолжительного топтания:

— Прикажете вывести?

— Обожди. Хозяин, дай молока!

Обливая бороду молоком, он долго и торопливо пил. Щелкнули на улице выстрелы. Чугреев отставил кринку. Сизые мухи (такие липкие бывают весенними вечерами почки осин) уселись по краю.

Он грузно опустил руки на стол.

— Несомненно, где-то я видел тебя и в чем-то важном... этаком важном... для меня...

Он пощупал грудь.

— Видишь, даже сердце заныло. У меня всегда...

Старик опять грохнулся на колени. Он с умилением глядел на Фадейцева.

— Так сын, говоришь?..

— А как же, батюшка, да ей же боженьки...

— Колена тверже пяток — вставай! Допрошу в штабе и отпущу. Молись богу — цуцай правду говорит... Идем!

III

Генерал Чугреев был слегка сед, размашист, немного судорожен в шаге, Комиссар Фадейцев — низенький, сутуловат. И так как всю жизнь приходилось ему подпольничать, то шаг у него был маленький, точно он боялся наступить кому-то на ноги. Ночь — сырая и ветреная, аспидно-синяя — рвала солому с крыши, хлипко гнула ее. У подбородка, у плеча нет силы снять соломинку,

пахнущую грибами. Казаки отставали — шли только с ружьями наперевес двое. Штаб Чугреева в сельской школе. Поднимаясь по ступенькам, спросил Чугреев:

— Трусись?

— Одна смерть,— ответил звонко, по-митинговому, Фадейцев. Ходьба освежила, ободрила его, и перед расстрелом он решил крикнуть: «Да здравствует революция!»

— Мы сегодня семьдесят два человека кокнули. Если считаешь, то который по счету, а? Трусись?

Фадейцев смолчал.

Парты сдвинуты к стенам, на полу (в пурпурово-голубом пятне) керосиновый фонарь. Пахло же в комнате не керосином, а мелом. Под ногами, точно известь в воде, шипели куски мела. Выпачканный в белом, спал подле классной доски лысый с ушами, похожими на переспелые огурцы.

— Казначей. Спит. У большевиков спирт отбили, перепились. Зачем им возить с собой спирт, а?

«Мы спиртом? У нас спирт? Свлочь!» — так крикнул бы адъютант Карнаухов. Фадейцеву опять на мгновение стало жалко Карнаухова. Он промолчал.

Не давая заговорить, Чугреев сморщился и что-то показал пальцами над щекой.

— Надоело мне все, садись. Трусись?

Стол шатался и скрипел.

Чугреев тоже шатался; плечи у него вздрагивали; он вябко поджимал колени. Он спрашивал о германской войне, об офицерах, служивших в полках.

Внезапно он вскочил:

— Гагарин? Это какой, пензенский?

— Не могу знать.

Чугреев приблизил к нему сонные, цвета мокрого песка, глаза.

— Я четыре ночи не спал... Меня надо титуловать. Забыл у большевиков? — Он быстро провел пальцем по подбородку Фадейцева. — Сегодня остригся,— сказал он медленно и попросил называть города, где бывал Фадейцев.

— Тула... Воронеж...

Чугреев остановил:

— В каком году был в Воронеже?

— В семнадцатом,

— Месяц?

— Январь, генерал.

Чугреев, дергая руки по коленям, точно сметая пыль, хихикнул. Смешок у него неумелый, смешной, как будто разрывали бумагу.

— Вспомнил!.. Я...

Он, задевая рукой о парты, вытряс из какого-то мешка книгу, карандаши... Вырвал лист из входящего журнала. «Устав артиллерийской службы» запылен, засижен мухами. Сунул Фадейцеву устав.

— Переписывай! Быстро, ну.

Нарочито неумело, согнув палец и волоча за каждой буквой ладонь, Фадейцев начал писать. Буквы надобно выводить корявые, мужичьи, похожие на сучья. Буквы прыгали. Давило и прыгало сердце. Длинный человек через плечо заглядывал ему на бумагу. Сухо смеялся, словно вырывая лист. Стучал с силой рукояткой револьвера в стол, торопил. Карандаши крошились. Устав нескончаем. Фадейцев начал забывать, терять — какие нужно выводить буквы. Ему казалось, что та, которую он сейчас написал, прямее предыдущих, и он ломал их, нарочито округлял. Особенно плохо удавалось «о», то растянуто, как гримаса, то круглое, как кольцо, то согнуто — вытянуто, как стручок. Тоска!..

Неожиданно Чугреев откинул стул, топнул и закричал:

— Пиши фамилию! Свою!

И Фадейцев повел было «Фа...», но быстро перечеркнул и написал: «Алексей Бакушев».

Чугреев вырвал бумажку и разгладил.

— Превосходно. Фа... Фарисеев, например, или Фараончиков... Как?

— Напугался, ваше... с испугу... Не фартит мне...

— Знаем, голубчик, испуги ваши. Рассказывай о Воронеже. Гулял, пил в клубе...

Он беспокойно понесся по комнате.

— В клубе! В клубе!.. В январе в Воронеже, есть такое дело... вспомнил, черт подери. Как фамилия, Фа-а...

— Бакушев, ваше сиятельство.

— А? Подожди, не мешай... сейчас припомню. Ты меня узнаешь... В клубе, январь семнадцатого года и я — князь Чугреев, а?

Фадейцев размягчил щеки, выпрямил губы — улыбнулся.

— Шутить изволите...

Казначей принес самогон. Срывая ногу с ноги, разметывая пахнущие конями волосы, Чугреев говорил:

— Слушайте! Я знаю много хороших офицеров из прекраснейших семей, они служат у большевиков... Одни — мобилизованы, другие — по слабости воли... Наконец, чтобы достичь такой ненависти, какая у меня, надо четыре года травить, гонять, улюлюкать на перекрестках в глаза, в рот харкнуть! Во-о... я сейчас в окно смотрю, а думаю — возможно ведь: в город или в отряды, которые ловят сейчас меня, мужик или казак скачет... и предаст!.. За хорошее слово предаст! Вы ведь тоже по слабости характера — к ним, а? А?.. Я завтра утром всех крестьян перепорю, а об вас узнаю... впрочем, ерунда! Вы понимаете, конечно, — меньше всего я могу добиться у крестьян — они боятся меня, но верят в большевиков! Если б два года назад... Повторяю, вашей фамилии я не могу припомнить, — обстоятельства же нашей встречи мне ясны...

Он быстро порылся в карманах и растерянно скривил усы.

— У меня после одного случая в Чека подурнела память. Я полтора года ищу свою записную книжку... Итак! Десятого или девятого января семнадцатого года. Вы помните этот вечер?

— Ничего...

— Э, бросьте дурака ломать... в этот вечер я проиграл вам... я...

Он сжал пальцами веки и, склоняясь длинным костлявым лицом к щекам Фадейцева, придушенно спросил:

— Вы понимаете, понимаете... я... я... забыл, сколько вам проиграл. Сколько я проиграл?

Он свел руки.

— И ни одной собаки вокруг меня, которая бы вспомнила — или сказала о вас! Про вас... кто вы. Да. Девятого января в Воронежском офицерском собрании я на честное слово проиграл вам... на другой день я должен был доставить деньги, их у меня не было. А на третий день вы исчезли... Так за всю мою жизнь я, князь Чугреев, однажды не заплатил карточного долга. Теперь счастливый случай свел нас.

Фадейцев посмотрел на его побледневший рот. В семнадцатом году в январе (он вспомнил с тоской — тогда он был влюблен) он рядовым действительно был на спектакле. Солдат пускали только на галерку — она же пошла с матерью в партер... Он со злобой глядел на разриsovанные под малахит колонны; ему смутно вспоминается длинная фигура в золоченом мундире... Злость еще хранилась с того времени! Но карты... он никогда не брал в руки карт.

Отодвинул стакан.

— Я не пью, ваше сиятельство, не пью и не курю.

Беспокойные искорки мелькнули в зрачках Чугреева. За стеной неустанно шипел ветер. Казначей, с необычайно черными, словно точенными из угля, усиками, заученым скучным движением раскрыл чемодан, доверху наполненный деньгами. Глядя на него, Фадейцев подумал: «Честность, едрена вошь. За должок сотни две людей отправил. Сволочи!» Он слегка успокоился и даже сделал вид, будто отпил из стакана.

Мотая жы над чашкой, Чугреев хрипло бунчал:

— Я же знаю, какого вы полка: шестого драгунского имени герцога... а теперь в путиловском! В нас много стыда... капитан... на столетия стыда хватит! Вы полагаете, я вас презираю, — бог дай совести — нет! Я однажды от большевиков скрывался, а помог мне скраться знакомый мужик, славный будто мужик... Конечно, он знал, что я князь, отец его крепостным в саду моего деда рассаду тыкал (дед, блаженной памяти, в куртинах салат любил выращивать)... и все-таки он... меня... из-под большой своей жены горшки заставил носить!.. Когда, позже, я приехал к нему с отрядом — посмотрел-посмотрел в его рожу и, не плюнув, простил... Надо понимать людей, капитан.

Чугреев откинулся на парту и полузакрыв глаза. Кожа под глазами дряблая, синевато-белая. Слово глаза сползают с лица...

Сырая знакомая муть из ног к сердцу Фадейцева. Такая, когда входили бандиты в сени.

— Пустите меня, — прошептал он. — Устал.

Чугреев сморщился.

— Вы нас порядком гнали, капитан, я три дня или больше не спал. Думал штаб ваш захватить, ударили. Они в другой половине села остановились. Какого-то ко-

миссара нового за мной послали из губернии, мне не успели сообщить его фамилии... вы не слышали?..

— Красные сказывали — Щукин.

— Да, «товарищ» Щукин... но и он меня не поймают. Знаете, кто меня сграбастает?

Он мелко, как на сильный свет, подмигнул.

— Тот, у кого фамилия включает четное число букв.

Фадейцев сосчитал у себя, — восемь.

— Бог даст, не изловят, — сказал он хрипло.

— Пошлют такого комиссара — четыре или восемь — амба!

— Амба? — переспросил, заглядывая ему в лицо Фадейцев. — Кого амба?..

Тот, широко открывая гнилой рот, захохотал.

— Без примет скучно верить, капитан! Примечайте, примечайте!.. Много замечательного стоит приметить на свете. Слушайте, дайте руку...

Чугреев встал и, со вздрагиваниями пожимая пальцы Фадейцева своей вязкой четырехугольной рукой, глухо заговорил:

— Капитан, честным словом князей Чугреевых клянусь вам — я выпущу невредимым за мои пакеты, отдам долг — вот сейчас, сейчас! Васька, открой чемоданы, вали деньги на стол... огурцы убери! И золото там, из мешка, золото принеси... Никому в жизни, никому, чтоб я — карточный долг!.. Капитан, ваша фамилия и сколько я должен?

Фадейцев посмотрел на толстые пачки кредиток, золотые монеты, кольца. Чугреев из замшевого мешочка высыпал в тарелку с огурцами блестящие камешки.

— Хватит? — спросил он хвастливо.

Фадейцев больно надавил локтем в стол.

«Сказать, наврять, все равно утром крестьяне узнают...» Вдруг он вспомнил об отряде: кабы узнать, куда скрылись, куда направляются. Что ему какой-то идиотский долг? И не один, наверное, так пойманный, погиб. «Во имя революционных мотивировок, — припомнил он адъютанта, — держись...»

Он намеренно глубоко вздохнул, отодвигаясь.

— Греха на душу... пусти, ваше благородье... ваше сиятельство... Бакушев я, хоть все село опроси.

— А, Бакушев? Сейчас узнаем. Направо кругом! Шаг-арш... Ась, два!.. Стой!..

Он взял его под руку и подвел к столу.

— Разве так солдаты ходят? Правую ногу этак только драгуны могли вскидывать. Садитесь. Курите? Пожалуйста... И руки не прячьте... Итак, Васка, самогону и огурец! Жаль — до встречи я всех коммунистов сгоряча порубил, а то бы они про вас что-нибудь сообщили. Ну, скажите...

— Ваше сиятельство, ей-богу!..

Нога Чугреева тяжело упала на пол.

— Гадко, капитан. Я у виска с револьвером мог бы выпытать. Если вы забыли дворянскую честь, то имеете вы кусочек человеческой совести? Капитан!

В угнетении находишь какую-то радость повторять одни и те же слова. Тогда слово становится таким же мутным и стертым, как сердце.

Но Фадейцев молчал.

— Можете ли вы мне говорить прямо?

«Во имя революции — нет», — так бы ответил Карнаухов, веселый и прямой адъютант.

Фадейцев же молчал.

Недоумевая, Чугреев отошел от стола.

— Напишите карандашом цифру и уйдите. Если вы — коммунист, так эти деньги народные, сударь, награбленные мной. Вы имеете право их взять, пожертвовать на детские дома или на дом отдыха для проституток, черт бы вас драл!

Лицо у него было жесткое и суровое.

«Что есть во мне драгоценного и что он хочет купить за эти деньги?» Тревога и гнев оседали в груди Фадейцева.

Из чашки пьет самогон князь Чугреев. Какое безумие! Князь говорит здраво и долго о восьми тысячах десятин имения в Симбирской губернии.

Петухи, хлопая крыльями и прочищая горло, роняют теплые перья. Опять одно радостное и горькое перо уронила земля — день... День прошел — полночь.

Князь опять упрекает:

— Вы не дадите уснуть пять ночей. Завидую вашему упорству. Дайте мне возможность уснуть.

Глаза у Фадейцева черные и пустые. Чугреев отворачивается.

А у князя, наверное, такое чувство, что ему никогда нельзя спать.

Усталый, но, на что-то надеясь, он говорит:

— Идите... Завтра я вспомню, сколько тысяч долгу...

Фадейцев поворачивается. Нет, в спину всегда стреляют. Так пусть лучше бьет в грудь. Он пятится к дверям.

На столе перед князем револьвер и деньги. Что он намеревается делать? Он лишь пьяно сплевывает.

Не пьяный ли плевок вся ночь? Уже полночь.

Широкие улицы вздыхают травой — она росиста и пахнет слегка спиртом. В село возвращается дозор. Радостно, тонко, с привизгами, по-бабьему мычит теленок.

Небо легкое и белое.

Земля легкая и розовая.

Старик Бакушев, придерживая тиковые штаны, отвергает ему ворота. Ласково треплет его по плечу (рука у него пахнет чистой пшеничной мукой).

— Молока не хошь? — спрашивает он тихо и ласково. — Я тут страдал...

Фадейцев, мутно ухмыляясь, лезет на полати, закрывает глаза. Он хочет понять, вспомнить. Подушка пахнет чьим-то крепким телом, губы медеют...

IV

Гики. Рассвет.

Пулемет. Солнце на пулемете.

Пустые улицы заполнились топотом.

Фадейцев спрыгнул с полатей.

— Наши!.. Ясно, что наши.

— Ну!.. — протянул недоверчиво старик. — Чугрсеву подмога.

А полчаса спустя красноармейцы качали на шинели Фадейцева, пели «Интернационал» и писали радостную резолюцию.

Адъютант Карнаухов стоял на крыльце, улыбаясь всем своим широким телом. Желтовато-оливковые галифе были в крови, а шея туго забинтована.

— Я думал, ты убит, — повторял ему Фадейцев.

— А я об тебе думаю: амба! Я, как выстрелили они, одурел — темень нашла, выскочил на двор, смотрю: твоей лошади нет, — ну, думаю, утек. С кем тут защищаться? Я и покатил на соединение... Там в обеих половинках

говорят: не встречали, нету тебя... Ну, мы и поперли, думаем хоть тело достать.

— А князь?

— Чухня-то эта? Удрал — деньги оставил, а казначея его Миронов прирубил. Они ведь всех наших раненых тово.

Он пошел в избу.

— Мы их, товарищ, достанем. Теперь достанем.

Фадейцев встретил старика в дверях с самоваром.

— Чай, батя?

— Чай, сынок.

— Можно... Чаю хорошо теперь.

Фадейцев, обходя стол (мешок у него лежал в переднем углу), взглянул в окно. Санитары несли раненого, мужик вывозил из деревни три лошадиные туши, а внизу под склоном холма виднелся нехитрый березовый лесок, овражек, крошечное озерко, где молодые гуси пытались летать. Солнце было цвета медной яри, и гуси имели светло-красно-красные подкрылья...

...И тогда Фадейцев вспомнил...

Два года назад Фадейцев был помощником коменданта губернской ЧК. Ему было приказано сопровождать партию приговоренных к расстрелу белогвардейских офицеров. Было такое же, цвета медной яри, раннее утро, как сейчас. Приговоренные (их было пятеро), пока грузовик, круша звонкую пахучую грязь, вез их за город, — говорили об охоте. Один высокий, с жидкими пепельно-серыми усами, рассказывал любопытные истории о замечательной собаке своей Фингале. «Таких людей и убивать-то весело», — сказал на ухо Фадейцеву один из агентов. А Фадейцев ехал на расстрел впервые, на душе было тягостно, хотя он убежденно веровал, что уничтожать их нужно. Остановились подле такого же озерка, что и сейчас. Гуси неумело, испуганно отлетели от машины. Приговоренных подвели к оврагу, и высокий перед смертью попросил у Фадейцева папироску. Тот растерялся и отказал. Высокий сдвинул угловатые брови и сказал сухо: «Последовательно». После выстрела Фадейцев должен был выслушать пульс и сердце (врача он почему-то постеснялся позвать), четверо были убиты наповал, а пятый — высокий, закусив губу, глядел на него мутноватыми, цвета мокрого песка зеницами. По инструкции, Фадейцев должен был его пристрелить. Солдаты уже сбрасывали в овражек трупы и

слегка присыпали песком (так как все знали, что через три-четыре часа придут к овражку родные и унесут тела; сначала с этим боролись, а потом надоело). Высокому прострелили плечо. Не опуская перед ним взора, Фадейцев вынул револьвер, приставил к груди и нажал собачку. Осечка. Он посмотрел в барабан — там было пусто. Как всегда, он забыл зарядить револьвер. Теперь он попросил бы солдат пристрелить, а тогда ему было стыдно своей оплошности, и он сказал: «Умер... бросайте»...

Фадейцев пощупал револьвер и отошел от окна.

— Ду-урак... — придыхая, сказал он, — ду-урак... у-ух... какой дурак.

— Кто?

— Кто? Да разве я знаю?.. Я сосну лучше, товарищ Карнаухов!

И перед сном он еще раз проверил револьвер: тот был полон, как стручок в урожае зерном.

ПУСТЫНЯ ТУУБ-КОЯ



Глава первая

Экая гайдучья трава! Не только конь — камень не в силах раздавить, разжевать такой травы. И не потому ль в горах скалы — обсыпавшиеся, обкусанные, словно зубы коней, что бессильно крошатся о травы Тууб-Коя.

И над всем, вплоть до ледников, такое же желтое, как пески Тууб-Коя, — небо.

Звезды на нем, словно шаянье сухого помета аргалов.

Да и то так ли? Потому что никто не знает, есть ли на этом мутно-желтом, гнилой соломы, алтынном жалком цвете неба, — есть ли на нем звезды.

И все же через гайдучьи травы, через пески, откуда-то от Тюмени, сквозь уральские и иные степи пробрался в партизанский отряд товарища Омехина агитатор, демонстратор и вообще говорун Евдоким Петрович Глушков.

Удивительнее его словес, которые, правда, стоили пятидесяти газет, — алебастровый, девичий цвет его лица. Никакие солнца никаких пустынь не могли потревожить его нежнейшей кожи, а он, нимало не млея, гордился своими словесами и особенно — способом своей агитации.

На трех ослах пригнал он свое имущество. На первом — «Командир» по кличке — имел Глушков «вполне исправный», по списку, пулемет. На остальных — кинематографический аппарат «Кок» и в туркменском пестром мешке — круглые ящики лент.

Ноги у Глушкова были босы, потрескавшиеся, в цыпках, а брюки он почему-то не подбирал, и густая желтая пыль была в отворотах — точно он нарочно насыпал туда песку. Вытянувшись, стоял он пред товарищем Омехиным, и было у него такое розовое лицо, будто явился он с ледников.

— Удивительный способ моего воздействия на массы заключается в объяснении событий предыдущего строя, демонстрируя вышеуказанные события и любовные драмы на мелком экране, посредством домашнего электричества, машиной, приводимой в действие человеческой рукой, именуемой «Кок», что по-русски значит: победа.

— Победа? — спросил Омехин и поглядел в горы Тууб-Коя, в ледники, что одни прорезали небо и куда бесследно ушли отряды белых.

— Несомненно, победа, — ответил Глушков, и зубы его показались белее алебастрового его лица.

— Тоды что ж, — сказал Омехин. — Мы не против буржуазной культуры, если она со смыслом... Показывай.

Больше года уже носился омехинский отряд по барханам Монголии, больше десятка месяцев жевали кони гайдучные травы пустыни, и многое стал забывать товарищ Омехин. Так, пройдя несколько шагов, остановился он и поглядел на тех трех заморенных осликов, на жирных оводов, носящихся вокруг них, и на Глушкова, раскладывавшего по кошме аппарат «Кок».

— Поди так, про любовь?

— Преимущественно про любовь, товарищ.

— Зря. Тут надо про смерть.

— А мы подведем соответствующую структуру.

Одни сверкающие ненавистью к зною ледники, одни они прорезают небо. Высоки и звонки горы Тууб-Коя.

И, отходя к своей палатке, хрипло сказал Омехин:

— Разве что — подведем.

Глава вторая

В середине ленты, когда гладкий и ровный «трутень» объяснился в любви длинношлейфой даме, а соперник его — трухлявый лысый злодей — подслушивал за портьерой, когда Глушков совсем приготовил в памяти одну из удиви-

тельных своих речей, такую, что после десятка подобных совсем к черту бы развалился старый мир, — в отряд, пробравшись неизвестными тропами, примчалось подкрепление — уфимские татары.

Экран потух, партизаны заорали «ура», и косым ножом семиреченский казак Лумакша перехватил горло кобылице. Казаны для гостей мыли так, будто собирались варить в них лекарство, и, по степному обычаю, сам Омехин первый кусок сваренной казы пальцами положил в рот командиру отряда татар Максиму Семеновичу Палейке.

— Вступаю под непосредственное ваше командование, — сказал Палейка, быстро глотая кусок.

— Кушайте на здоровье, — ответил Омехин, придвигая блюдо. — По поводу же картины замечу: с точки зрения человеческой целесообразности любовь вызывает жалость к себе.

— Зачем же... Жизнь любить не мешает, особенно — рожать. Не рожая — какая жизнь. По-моему, женщина у меня должна быть единственная. Чтобы сказать фигурально или в пример аллегорией, — присосаться к шее на всю жизнь и пить.

— Не одобряю, — возразил Омехин.

Он хотел было спросить о буржуазном происхождении Палейки, но здесь тонко, словно испаряясь в сухом, как пламень, воздухе, пропел горнист.

Всадники вспрыгнули на коней.

Казак Лумакша, резавший кобылу, привел двух киргизов. От страха стараясь прямо, по-русски, держаться в седлах, сказали они, что ак-рус — белые люди — следников пошли в обход омехинскому отряду, по дороге берут киргизские стада, и бии — старшины — собираются резать джаташников.

— Мы сами джатак, — сказали они. — Пусти нас, мы по вольной тропе пришли.

«Джатак — значит бедняк, — самому себе перевел Глушков. — Необходимо отметить и употребить в речи, как окончу картину демонстрировать...»

Дни здесь сухие, как ветер, тоска здешней жизни суше и проще ветра, и ветер желтым и крупным песком заносит конец ее.

Вот поехали утром еще трое партизан собирать кизяки — топливо — и не вернулись.

В долине Кайги остались сторожа подле запасных табунов, пустые палатки, три пасущихся подле саксаулов ослика и агитатор Глушков, спящий со скуки на камне, подле смотанных лент.

Сторожа рассказывали сказки о попадьях и рабочих. Неутолимая тоска по бабьему телу капала у них с губ, и Глушков проснулся от вопроса:

— Неужель такая баба растет, как на картине? Надо полагать, перерезали таких баб всех, а не порезали — мы докончим. Зачем ты, сука, виляешь, когда мы тут страдаем, а?

Проснулся Глушков, тесно и жарко показалось ему в грязной своей одежде, пощупал горячий и потный свой живот, подумал — разве можно, действительно, показывать в пустыне такие бедра. И с необычайным для него матерком добавил:

— ...Вырежу прочь вышеуказанный кусок из ленты. Тогда же.

На одной из темных троп шарахнулись в сторону копыта коней.

Темно-вишневый цвет смолистой щепы осветил узловатый подбородок Омехина, кровь на копытах коня и грудь человека, разрезанную в виде звезды. По челку утонула в груди человека конская нога.

Это был один из троих, ушедших утром собирать кизяки.

Крупным песком заносится конец здешней жизни.

Палейка оправил ремни револьвера и тихо сказал Омехину:

— Предлагаю: труп в сторону. Пленных не брать.

От гривы к гриве, от папахи к папахе пронеслось с неясным шумом, словно вставляли патрон в обойму:

— Пленных не брать.

— Так точно, — прошептал задний в отряде, оглядываясь в тесную темноту, — так точно: пленных не брать.

В битве подле аула Тачи, как известно вам, был убит полковник Канашвили, варублено семьдесят три атамановца и взят в плен брат Канашвили.

Горный поток тоже не брал пленных. Вода мутнеет от крови только в песнях, а пасмы туманов в горах были такие же, как в прошлый день.

— Расстрелять, — сказал, не глядя на пленного,

Палейка. Он разыскивал тщетно спички, он не курил всю ночь, и, конечно, приятнее держать в руках папироску, чем пашку.

— Товарищ...

Омехин зажег ему спичку. Такая любезность удивила Палейку, и он даже поклонился:

— Благодарю вас, товарищ Омехин.

Омехин зажег еще спичку и так, с горящей крохотной лучинкой в руке, проговорил:

— Но, товарищ, поскольку она женщина, а не брат...

Палейка опять зашарил спички.

— Предлагаю: расстреляем через полчаса. Я ее сам допрошу. Выходит, не брат, а жена? — спросил он почему-то Омехина.

Тот тряхнул головой, и Палейка тоже наклонил голову.

— И жену... тоже можно расстрелять.

— Можно, — подтвердил Омехин. И тогда сразу Палейка почувствовал, что папироса его курится.

Был рассвет. Пятница. Татары умело кололи кобылиц, и так же уверенно, словно блеском своим сами себе создавали счастье, так же смело блистали ледники Тууб-Коя.

Глава третья

— Допросили. Чего ее караулить, мазанка у ней такой крепости: развалится, крышей придавит, и в расход не успеешь пулей ее вывести. Также строят дома: горшок тверже. Знает свое дело.

Палейка любил говорить о великой войне. Он рассказывал, как при взятии Львова за его храбрость полюбила его черноволосая мадьярка и как он на ней хотел жениться. Свадьба не состоялась: войска оставили Львов, но на память она дала ему дюжину шелковых платков песенного синего цвета.

Он вынимал тогда один из платков и, если приходила нужда, нос туда вкладывал, словно перстень.

Так и тут — он потянул палец за платком, галифе его заняли весь камень.

— Допросили, Максим Семеныч?

Палейка поднял платок. Пятеро татар, лениво переминаясь с ноги на ногу, ждали позади Омехина.

— Допросить-то я допросил. Однако должен предупредить вас, Алексей Петрович, что указанная вами грузинка есть не жена, а сестра Канашвили. Зовут Еленой и, между прочим, девица. Она согласилась дать исчерпывающие сведения о состоянии бандитских шаяк в горах, указать пути обхода и все связи бандитов с городом.

И по тому, как Палейка твердо выговорил последнюю фразу, Омехин понял — врет. Тянувший жар у него прошел от губ к ушам, упал на шею, и ему показалось, что он пятится.

— Я согласен на отсрочку расстрела. Я ее сам допрошу, товарищ Палейка.

— Очень рад. Вы, как твердо знающий политическое руководство, за долгое пребывание в степи изучивший ее... У вас связи с городом не имеется, если туда препроводить?..

Связь тут — красное знамя, да и то источили ветры и дожди.

Чудак Палейка, весенняя синяя твоя душа!

Омехин подошел к ветхой, словно истолченной киргизской мазанке. Несколько партизан заглядывали в просверленные круглые отверстия задней стенки мазанки, перебывали очередь, переругивались, с силой рвали рукава друг другу.

— Черт, гляди, отмахнул на круговую от плеча! Защищай теперь.

— А ты воткнулся головой, что клоп в пазуху. Ишь весь накраснелся, кровью налился. Надо и другим...

Испитой, бледный, как его старая потертая шинель, мужик тщетно проталкивался между двумя крепкотельными татарами. Бока его шинели, нависающие на туго перетянутую поясом талию, совсем закрывали широкий, заворотившийся с обеих сторон ремень, и локтями он упирался в стоящих рядом татар.

— Я совсем немного, братишки, одним глазком, — умолял хилый парень. — Дай-ка, ну-у...

Другой, тонкий, вертлявый, в короткой шинели, ухитрившийся придать ей вид щеголеватого кафтана, босой, угрем проскользнул между гладких круглых спин и отверстие отыскал совсем под локтем мужика. Сухие ноги кафтанника совсем неслышно упирались в тяжелые сапоги татар. Он взвизгнул от удовольствия:

— Ай, что за женчин... Все только пундрится и мундрится...

Столпившиеся захохотали:

— Неужели еще пундрится?! Вот стерва, уж третий день. Другая бы глаз не осушила, доведись до нашей русской бабы, а этой хошь бы што...

— Польша она.

— Может, и еврейка, только белая.

— А муж генерал, говорят. Его не поймали.

— Ха, что ей муж? Его и не было в отряде, она сама орудовала, как командир. Вот черт баба — в штанах, с ножом, а рожа крашенная...

Новая гурьба желающих взглянуть на пленницу толкалась к просверленным отверстиям, хватая друг друга за локти. У одного старая, пробитая пулями шинель треснула, и фалда повисла до земли. Он, не оглядываясь, попал кулаком обидчику в голову. Фуражка у того надвинулась на глаза. Он, расвирепев, принялся лупить напиравших по чем попало. Серые шинели слились в один матерно мечущийся, растрепанный ворох.

Омехин, давно недовольно наблюдавший за солдатами, придерживая тяжелый наган, двинулся к ним.

— Обожди, не муха! Чего ползешь? Где караул? Ну, отойди, говорят.

Мужики шарахнулись, словно разлепились, и едкий пот нанесло на Омехина.

— Сплошь пундрит, — сипло продохнул кто-то позади.

Омехин обошел партизан и поискал отверстие в стене на уровне своего роста.

Такого высокого отверстия не оказалось. Он оглянулся.

— Куда вы смотрите-то?

— А ты пониже, пониже, брат.

Омехин недовольно примял немного фуражку на голове и, согнувшись перед отверстием чуть не вдвое, заглянул. Сначала ничего не видел: узкие стекла у самого потолка мало давали света. Мазанка совсем пустая. Пахнет в ней золой. Две грязные полосы сосновых нар, скорее — длинная узкая скамья, и на ней, теперь сразу стало видно, сидит женщина в белой черкеске. Две тугие косы прямой линией — по спине. Косы будто зеленые. Лица не видно: оно к свету от окна. На коленях — белая папаха. В мягкой расчесанной мерлушке совсем утонуло круглое зеркальце. Рядом на плахе — круглая плоская голубая ко-

робочка. В руках у женщины пуховка. Она водит ею по лицу, поворачивает голову перед зеркалом. Лицо все более отходит от Омехина. Он оперся, видимо, тяжело: из ветхого глиняного кирпича стенки выдавился сухой треск. Женщина быстро подобрала под плахи ноги в черных лакированных сапогах и оглянулась. Еще сильнее запахло мокрой золой. Серые глаза ее с ненавистью забегали по стенке. Брови совсем нависли на глаза, или ресницы хватили до бровей.

— Ссс... скоты... — скорее свистнула, чем произнесла, она.

Лицо бледное, выжженное, неживое, какое-то внутреннее, а не наружное. Глаза наездничьи, разбежистые.

Омехин отвернулся от щели и вздрогнул, словно по его груди проскользнуло это стремительное, молниеносное насекомое.

На его плечо по-дружески, но крепко легла рука Палейки.

Пальцы у него растрепанные и грязные, словно испаренные веники.

— Допросили?

— Собираюсь, — ответил Омехин.

— Может, препроводить ее при письме? Часть нежелательно возбуждена. Вы заметили, Алексей Петрович?

Омехин, уменьшая свой широкий рот, быстро спросил:

— Вы, кажется, товарищ Палейка, больше о ней заботитесь, чем... Да тут лавочка у ней, дальше коробки с пудрой не двинется. Да... Разговаривать с ней нечего, я ее допрошу. Допрошу... — повторил Омехин.

Голоса негромкие, не дальше сжатых губ, короткого дыхания, но ухо пленной чутко. Она всем телом прижалась к стене мазанки. И так горячо, так охвачено пламенем ее тело. Серая шершавая стена принимает, впитывает ее жар — она совсем теплая. Очень теплая. Совершенно не удивительно будет, если переданное ею тепло коснется, дойдет до лиц близко стоящих мужчин. Щеки одного вспыхнули, за ними пылают уши.

— Я вам не сочувствую, хотя как руководителю военной части все сообщенные ею сведения мне необходимо было бы знать первому...

Палейка вдруг круто, по-военному повернулся, козырнул молча и пошел вдоль палаток.

Омехин крикнул уже вслед ему:

— Обождите, Максим! Надо выяснить, чего недоразуметь. Верите ли...

Последние слова он бормотал на ходу, далеко откидывая коленями длинные полы шинели.

— В лесу надо поговорить,— через плечо сказал ему Палейка.

— В лесу?

— В лесу. Здесь неудобно.

Глава четвертая

Шинель Омехин сбросил на куст саксаула. Голубая издешняя птичка выскочила из-под его куста.

«Хорошее место для могилы»,— подумал он.

Палейка, не по-солдатски широко размахивая руками, шел далеко впереди.

...Ведь надумает еще пойти не до саксаулов, а до гор. Не до гор, а до скал Каги, до них пять верст по меньшей мере. Собачий перегон — так называются пять верст...

Костры чадили в долине. Партизанские кони рвали траву, как сучья. Годы — как палатки, в которых спит смерть.

Одни ледники разорвали желтое небо.

Ледники холодом своим смеются над пустыней.

...К горам, что ли, он идет?

...Не дойдешь, брат, в такой тоске.

...Все мы не доходим. Было другое лето в Петербурге, где нет гор и где море за ровными скалами, построенными людьми. Все же и там дует ветер пустыни, свивает наши полы и сушит без того сухие губы. Птица у меня на родине, в Лебяжьем, выводила из камышей к чистой воде желтых птенцов. Я не видал их. Об этом напомнили мне книги. Петербургские тропы ровные и прямые, и я все-таки недалеко ушел со своей тоской...

Палейка, обессиленный, повалился грудью на землю.

Саксаул острыми спицами впился в тонкое сукно, разрезая приникшее к земле тело. Теплый дождь — подумал с неудовольствием кустарник.

Запыхавшийся Омехин остановился подле. Губы у него твердые, как дресва саксаула. Будто всю жизнь Омехин ест корки.

«Вы, я вижу, Максим, на самом деле, а?..» — хотел было сказать он, и, как всегда при речах, потер он оземь и согнул правую ступню.

— Бывает, — промолвил он.

И так стало тихо, что от соседнего кустарника, верхка четыре от ствола, отскочила вдруг голубенькая мышка. Юхтач называется она, что значит — жадный. Задумчив и величав ее чуть загнутый нос.

Палейка приподнялся на локтях, вынул неслышно наган. Рот у него открылся: один зуб у него, оказывается, перерос другие. И главное — желтее всех.

Он повернул потную голову к Омехину и сказал:

— Пали!

Омехин хотел отступить, но Палейка приподнял на глаз мушку, и Омехин прошептал:

— Бог с тобой, Максим Семеныч, с чего я в тебя палить буду?

— Не в меня, в мышь. Кто попадет, тому она и достанется. Пали, ради бога.

— Спятил! Да никогда я в мышей не стрелял из револьвера.

— Пали! Считаю до двух. Кто убьет — тому. Система у нас разная. Пали, тебе говорят.

Мышь насторожилась, хвост у нее поднялся, она вздохнула, собралась бежать... и вдруг, не чуя себя, Омехин шепнул:

— Считай!

Глава пятая

Женщина лежала на лавке, подложив шапаху под голову. Когда Палейка вскочил в мазанку и поспешно задвинул за собой дверь, она быстро поднялась и села, держась обеими руками за кромку плахи.

— Я закричу. Что вам?

Не отвечая, Палейка чиркнул спичку и зажег небольшой огарок, оглянулся — куда бы его поставить. Она прищурилась, словно приберегая глаза для разбега, быстро согнула в локте его руку и сказала:

— Стойте так!

Осторожно достала из кармана кофточки круглое зеркальце и пудреницу из бокового кармана юбки и, открыв голубую коробочку, не глядя на Палейку, неподвижно светившего ей, стала пудриться.

Когда нос стал белее лица, она губной помадой тронула чуть-чуть губы. Улыбнулась тягостно-легко.

— Теперь хорошо.

Спрятав пудру и помаду, взглянула на Палейку. Зеркальце осталось у ней в руках. Вытянулась и, еще пригнув к носу зеркальце, тронула рукой грудь Палейки.

— Отойдите дальше.

Палейка, повинувшись совсем не ее руке, задевшей, словно пчела, отступил назад.

В зеркале брызнулась отсветом свеча, ему захотелось загасить — но губы сохлись.

Она опять села и положила зеркальце на колени.

— Что же, вы опять молчать будете, как прошлый раз? Вам чего, собственно, от меня нужно? Я ведь знаю, куда вы меня утром отправите, и ничего вам не скажу. Я и ничего не знаю.

Она ненадолго задумалась. Опять словно водяной паучок скользнул на ее щеки. У паучка смешное имя — «мзя».

— Я хотела после себя оставить...

— Мне?

— Совсем не вам, а вообще. Я думаю, что мои косы на это годятся. Пускай они останутся жить... я их люблю.

Она сложила на груди обе косы вместе, играя пушистыми концами.

«Хитра», — со злостью подумал Палейка, ощущая теснящуюся в носу влагу растроганности.

И он сказал басом:

— Серьезнее вы ни о чем не попросите? Может, какие другие вещи есть?

— Вот смешно! Это очень серьезно...

— Неужели на меня нельзя рассчитывать в смысле легкой, предположим, помощи. Мы, в крайнем случае, где-нибудь и понаскребем.

— Помощь... фи! И притом... надо же понимать. Кто служит, вообще как-то действует в жизни вместе с хамами, сам теряет благородство. А у лишенных этого достоинства я услуг не принимаю. Уйдите. Вы мне больше не нужны. Спасибо за огарок. Да, вот еще что: разрешите

мне причесаться к завтраму, а то завтра я не успею. Подержите еще огарок.

Женщина спокойно, таким же заученным жестом, как ее слова, стала распускать волосы.

Палейка быстро поставил огарок прямо на пол. Его большая неуклюжая тень метнулась по стене, сломляясь у потолка. Голова на потолке превратилась в чурбан. Он сел рядом с женщиной и, не давая ей опомниться, поймал ее руки.

— В помощи? Да? Фу, гадость какая, только подумать... Уходите. И вы еще прикоснулись ко мне: у вас руки грязные, смотрите, ногти обломанные, короткис, желтые... как окурки...

Она с отвращением вытерла свои пухлые руки о низ черкески. Вдруг зеркальце соскользнуло с ее колен, упало на пол и разбилось пополам.

Женщина испуганно посмотрела на осколки, подняла их, словно не веря глазам, посмотрелась и заплакала, затопала ногами, пронзительно крича:

— От вас только несчастье, горе, потеря! Ненавижу, ненавижу! Убирайтесь! Знаю, что завтра расстреляете, знаю... и незачем зеркало бить!

Она бросилась на нары, подогнув под себя колени, и, уткнувшись головой в папаху, зарыдала. Косы, свисая до полу, бились, трепетали, увертливо развивались.

— Ишь, черт! — сказал хрипло Палейка. Горло у него было сухое, словно из папье-маше.— Ишь, черт, зеркало пожалела. Сплошь тяготение к суеверию.

Он слегка помолчал. Пальцы его нащупали в кармане платок. Мадыарский платок был последний. По бокам он обтрепался. Не будет больше таких платков у Палейки. И любви такой песенной больше не будет. Капут.

— Я его оставлю.

Женщина молчала.

— Я его тут рядом положу. Мне его невеста подарила. Теперь она, несомненно, померла. Я к вам даже не в смысле любви, а так, если что сможете почувствовать, то предлагаю вывесить на видном месте. Думаю: долго придется вам жить, так как, по некоторым соображениям, предполагаю отложить ваш расстрел.

— Я хоть в сапогах, а портянок не ношу. Уберите платок,

Палейка упрямо подошел к скамье, аккуратно разложил платок и, плотно захлопнув дверь, строго сказал двум часовым татарам:

— Смотрите в оба, потому что — стерва.

Татарин только сплюнул через уголок губ.

— Знаем.

Он поднял винтовку и сплюнул еще.

— Все знаем, солай.

Увидав входящего, Омехин приподнялся с койки.

— Какова?

— Ничего.

— Говорили?

Палейка, высоко взметая пушистые брови, захохотал.

— Везет вам, товарищ Палейка, с бабами. И-и, везет.

Я ведь как стреляю, а и то промахнулся, на ваше счастье. И в чего — в мышь. Она добровольно...

— Конечно.

— Сволочь бабы. Брата ухлопали, многих перебили, а тут на четвертый день... Вот и женись тут. Возни нам теперь с ней будет.

— Какая ж возня? Отправим по месту назначения.

— А вы как, товарищ Палейка?

— Побаловался — и будет.

— Да... будто и хорошо, будто и плохо. Везет вам с бабами, товарищ Палейка.

— Да, везет, — вздохнул Палейка.

Пески не стынут за ночь — как сердце. Пески разбредаются по всей пустыне, как кровь по телу. Кто уберезит саксаулы от вихрей? Тученосно увиваются пески вокруг саксаулов.

Глава шестая

Деревянная койка была жестче седла. У посланной шинели прямо невозможные швы. Не швы, а канаты. Завтра, наверное, пойдут по всему телу красные рубцы, отпечатки этих толстых грубых портновских швов. Положил бы он спать на эту шинель самым нежным местом самого портного. Посмотрел бы, как стал этот портной ворочаться, кричать и чесываться. Но чесываться приходилось не от одних швов. Омехин, ворочаясь, бормотал:

— Швы... швы...

Портного все-таки не мешало бы притянуть к ответственности, чтобы шил аккуратнее. Надо сообщить, но...

— Лешак те дери, таку жись! Сидишь, как вошь на сковороде — и жирно, и жрать нечего. Бабу бы по такой жизни.

«Военком рядом за стенкой, спит уже. Как боров, храпит, наверное...»

Омехин прислушался.

«И дыханья совсем нет. Значит, доволен».

— А ну его, сдался он мне!

Он достал махорку, выкурил трубку. Опять лег, накрывшись одной полой шинели. Духота — как в мелочной лавке. Промчался мимо патруль. Годы спал на шинели, не жала, а тут... И вспомнил он вдруг запах богородской травы. Пятикратное заклятье читать от такого запаха, если он почудится во сне девице... А тут патруль. Думай лучше о пахоте. Вот жарким весенним утром пахота. Пахота... пауза... похоть... пахтанье... похоть...

Со скуки читал он словарик иностранных слов, среди которых все были русские... «Иностранные» напечатано, чтоб больше покупали. Смешно.

...Совсем какая-то куличная ночь. Пахнет — словно на пасху. Луна, наверное, и чужие горы. Луна здесь — словно каждый день пасха...

Он отбросил шинель. Пуговицы четко ударились о стенку. Омехин достал из-под изголовья сапоги.

— Пойду, посмотрю караул.

Он, стараясь не звенеть шпорами, стал натягивать сапоги.

Но здесь он явственно расслышал женский визг, рев нескольких голосов, и затем упал выстрел и, странно, не отдался в горах. Точно во сне — там никогда не узнаешь эхо.

Омехин запнулся о порог.

Мелькал фонарь подле мазанки, партизан задевал о его стекло наспех привязанной шашкой. Небывалый клекочущий гогот слышался там. В кустарниках за лагерем были приставшие собаки.

— Тише! Ну-у...

Кафтанистый партизан схватил его за руку и, со смехом указывая на троих татар, громко прокричал над ухом, словно выстрелы продолжались:

— Ты на них посмотри... ты на эти рожи. Хотел ка-а...

— Чего тут, парни, а?

В углу мазанки, держа в одной руке нож, а в другой папаху, плакала женщина. Ей, наверное, было стыдно видеть себя плачущей, и потому она визжала непереносно высоким голосом:

— Изверги, палачи! Сегодня комиссар кидался, а теперь стаей хотят... Расстреляйте меня, не мучайте! Сейчас же, сию минуту! Гадины!

Омехин, отстегнув кобуру револьвера, взглянул на сутулого татарина, одного из часовых:

— Ну?..

Татарин сделал руки по швам. Лицо у него вдруг вспотело, веки как-то опухли. Он оглянулся на остальных.

— Баба нету. Четыре месяца терпел, как Уфа уехал, нету баба. Завтра стрелять все равно, комиссар щупал, надо нам мало-мало прижимать. Он...

Татарин жалобно указал на жидкую бороденку, по которой ползла кровь.

— Он нож — пщак сюда, начал меня резать. Пошто нам нету баб?!

Кафтаносец даже взвизгнул:

— Эта рожа, браток, смотри, эта рожа! Бабу ему надо! Терпи, терпи так, как революция тебя терпит, а?

И он в совершенном восторге хлопнул себя по сапогам ружьем.

— Они для страха в воздух уф... Припереть ее чтоб.

— Запереть ее, — сказал Омехин с раздражением. — Запереть наглухо... Ты покарауль пока, — указал он кафтаносцу.

Тот для чего-то обнажил шашку и застыл, только зубы его смеялись в темноте, и видно было их, казалось, за десять саженей от мазанки, куда отошел Омехин, татары и Палейка.

Фонари стояли на теплых и словно вспотевших камнях. Трухлявый ветер чуть шевелил полы шинелей.

— Поскольку... — сказал Омехин, глядя на камень.

Свеча нагорела, и не находилось дурака снять нагар, и поэтому Омехин чувствовал все увеличивающееся раздражение.

— Поскольку командная сила нашего славного партизанского отряда допустила попустительство, не кончив

ее сразу, а дальнейшее ее пребывание заклеит позором наш отряд,— я нахожу необходимым провести без промедления революционный приговор. Во избежание аккредитивов на анархические выходы — часовых: Гадеина, Алим Каши и Закия Кызымбаева приговорить к высшей мере наказания, но, принимая во внимание их неосознанность, приговор считать условным. До исполнения дежурить над гражданкой... чем и загладить свою вину. Иначе — к черту. Понял? Есть возражения? Возражения имеются?

— Нет,— ответил Палейка.

Все так же глядя в камень, Омехин сказал татарам:

— Приговорены условно к расстрелу. Ступайте по местам и караул веди теперь безо всяких. Понял?

Татары вдруг взялись за руки и отступили.

— Ну?!

— Э, понял, Лексе Петрович, э...

И сутулый татарин низко, почти до земли поклонился.

— Э...

— Осмелюсь доложить,— сказал Палейка,— могли не понять. Может, разъяснить им?

— Какие там разъяснения, если о пощаде не просят. Ясно.

Глава седьмая

Утром от мазанки нашли следы, направляющиеся к горам. Скакали четыре лошади, а на самой легкой, на карем иноходце Палейки, мчалась сбоку трех, видимо, она — Елена Канашвили.

Всякие бывают события в жизни, как всякая вода в реках, но очень муторно было в это утро Омехину. Сидел он в седле, вытащив длинные сухие ноги по кошме, и глядел с раздражением, как Палейка выбирал в табуне лошадь.

— Каки события предпринимаешь?! — крикнул он ему.— Плохо, видно, с бабой спал, раз утекла. Плохо, видно, присосался.

Палейка с криком ударил укрючиной в табун. Кони метнулись, из-за палатки послышался топот копыт, и Палейка выехал на неоседланной лошади.

— Ка-амандер... Без седла ехать хочешь?! Не оводи! Дать ему седло!

Татары подхватили Палейку.

— Дарю тебе на счастье свое седло,— сказал Омехин.— А коня не дам, прозеваешь.

Вслед за Палейкой помчались еще шесть всадников.

Палейка метался один, без дороги, натываясь на кусты, камни, рытвины. Дергал за уздцы коня,— тот часто вставал на дыбы, крутился на одном месте, пытался даже сбросить непонятого ему, по желаниям, всадника.

Он словно бежал в догону за скрывшимися и в то же время словно скакал от Омехина.

Но все-таки на крутой горной тропе, подле горы Ай-оль, Омехин догнал его. Оборачиваясь на топот, Палейка крикнул:

— Они, Алексей Петрович, убьют нас, как тараканов. Четверо их.

Омехин в седле сидел так же уверенно, как за книгой, за словарем иностранных слов, который он небывало презирал. Ноги его плотно сжимали бока и были четырехугольные, тупые и скучные.

На шестой версте от лагеря, в нескольких шагах от тропы они увидели труп бежавшего часового Алим Каши. Череп его был разрублен саблей. Скользнувший дальше клинок рассек гимнастерку и обнажил впалую, чахоточную грудь.

— Тоже баба понадобилась,— не слезая с лошади, сказал Омехин.— Я думаю, отказался с ними в горы дальше идти. Не захотел быть предателем рабочего класса. Потому закопать его, а то волки сожрут.

Чернели вдали сухие выветренные скалы. Очень сильно, до кровавых ссадин надо было сжимать бока коня, чтобы еще и еще сбирал он растроченные силы.

И вот у Агатовой скалы еще распростертое тело партизанского коня и всадника — часового Гадеина. Это был красавец саженного роста, веселый и хохотун. Скрюченные руки его запутались в поводу. Обезображенная голова коня — рядом.

Гадеин еще жив. Он поднимает омертвевшие веки и чуть слышно, словно веками, спрашивает Омехина:

— Стрелять пришел? Зря я от твоей пули бежал. Лучше от своей пули азрак — азрак капут. Он говорит: — бежим, убьет, все равно расстрел. Каши говорит — бе-

жим, Закия говорит — бежим, все равно расстреляют. Ха, куда свой полк убежит татарин?.. Ха... Закия баба нет. Закия баран. Закия мне в башку расстрелял, как баба просил. Не стреляй, Алексей Петрович, в морду, стреляй прямо в сердце.

— Да,— сказал Омехин, подбирая свои повода,— кончится скоро. И верно — не понял, что значит «условно». Что значит условно? — обернулся он назад.

Бойкий пензенский паренек выпрямился в седле.

— Условно,— значит, товарищ комиссар, которых убить бы надо, да пожалели оттого, что хорошие ребята.

Ближайшая гора прикрыта до пояса кустарником, словно юбкой, а дальше голая, скалистая. В кустах паслась лошадь. Высоко подымая пухлые губы, она весело щипала колючую траву. Появление людей ее не встревожило.

Она отдохнула, освежилась и радостно заржала. Далеко от лошади, впереди, на каменной тропке лежал вниз лицом труп. Он врылся в расщелину камня грязными пальцами.

В него было всажено — в спину, в шею и в голову — четыре револьверных пули. Совершенно бессмысленно, тщеславно.

— Это баба стреляла,— сказал Омехин.

Дальше уже шел след одного коня.

Омехин посмотрел в горы. Куст окончился, и обнажился голый камень. Высоко, где-то в снегах серел аул. Дымок виднелся среди скал. Вечная жара веяла от камней.

Омехин натянул левый повод, а сам откачнулся вправо.

— Будя! Дальше нас самих пристрелят. Вертай, товарищ, обрать. Лошадь забери. Жалко мне твое иноходца, Максим Семеныч, но, бог даст, поймам когда-нибудь ее.

Позади его в спину он услышал шепот Палейки.

— Товарищ, вы заметили — у последнего-то в руках волосы ее...

— Ну?

— Он ведь был самый некрасивый. Закия, который всех убил. Он ее за волосы успел схватить...

Омехин осадил коня, поравнялся с Палейкой и наклонился к нему так, что почувствовал запах кумыса и курта.

— Ну, а если даже и за волосы... За волосы таких баб бить надо, а не помирать.

Глава восьмая

До потока, что проходил у самого стана, они ехали молча. И когда копыта разбудили деревянный самодельный мостик и вода словно забурлила еще быстрее, Палейка догнал Омехина. Держась за луку его седла, он забормотал:

— Я ведь вам все наврал, Алексей Петрович, как есть наврал. Может, она ему жена, может, сестра... или польский шпион. Не спал я с ней, и ничего не было, и зря вы вмышь промахнулись. Лучше бы мне промахнуться. Я ей только синий платок подарил.

— Ну?

— Чтобы она показала в руке, если захочет вообще с симпатией, а она...

Омехин вдруг тяжело повернулся в седле и огорченно будто крикнул:

— Увезла?!

Сухие скулы Палейки вспотели, повод скользнул, и он соврал:

— Сожгла. Пепел мне показывала потом, после тар. Пепел. От шелку сколько пепла? Как от папирсы.

Вязкая теплота наполнила жилы Омехина. Ему захотелось спать, стремя отяжелело и словно стоптало в сторону.

— А ну ее,— сказал он лениво.— Надо протокол для отчета составить. Я еще хочу днем мазанку осмотреть, как они удрали. Татар жалко...

К двери мазанки, там, где скоба, был прибит тоненьким гвоздиком синий шелковый платок Палейки.

— Так,— проговорил Омехин задумчиво, глядя, как Палейка торопливо, даже не спрыгнув с лошади, сорвал платок,— так, посмеялась паскудная баба. Увижу — шесть пуль всажу.

Отъехав немного, он остановился, посмотрел на Палейку, покачал головой и вдруг, спрыгнув с лошади, по-

шел пешком к палатке. Какой-то проходивший партизан подхватил повод его коня.

Вечером Омехин взял винтовку, переменял обойму и почему-то снял с сапог шпоры, хотя он очень любил ходить в шпорах.

Ружье ему показалось очень тяжелым, ночь — непереносно душной, и только было хорошо то, что не видно было во тьме гор.

Он сел недалеко от мостика через поток. Воды словно убавилось. Пахла она цветливыми горными запахами. Омехин не спал вторую ночь, и потому все ему казалось почему-то соленым. Виски тучнели, и тьма ночи была непереносно тягучей.

Под ногами, казалось, сыпались-сыпались мелкие, острые, как иглы, камушки. Костры в лагере потухли, и скоро вернулся через мост патруль. Мужики громко хохотали, и один из них скинул в поток горсть горных орехов.

Так Омехин сидел долго. Ноги свела тесная боль в жилах. Ружье он отложил в сторону. Где-то на небе мелькнуло пятнышко зеленого с желтым рассвета, и здесь он услышал заглушенный топот.

Всадник медленно, со стороны лагеря, приблизился к мосту. Постоял немного и громким шепотом понукал лошадь. Лошадь четко ударила копытами.

— Палейка, ты? — окликнул его Омехин.

Всадник дрогнул и неестественно громко выкрикнул:

— Я!

— Подними голову выше. Я тебе покажу, куда надо бегать.

Омехин плотно, согласно уставу, прижал к плечу ложу винтовки.

Лошадь шарахнулась от выстрела, прыгнула два раза и с пустым седлом помчалась обратно в лагерь.

Омехин перевернул труп, из бокового кармана гимнастерки достал пакет, завернутый в синий мадьярский платок. Там было немного денег и документы Палейки. И документы и деньги он кинул в воду вслед за трупом, а платок сунул в карман.

Затем он, неизвестно для чего, разжег костер из саксаула. Закурил и разложил перед собою платок. Достал веточку с горящим концом и проткнул платок посредине.

Заняло гарью, и палочкой же Омехин пшвырнул платок в костер. Подошедшему же секретарю штаба сказал:

— Надо мне сегодня картину ту досмотреть, что татары поменяли. Какая, интересно, мораль получилась из ихней любви.

— Нельзя её досмотреть, товарищ комиссар, — ответил ему секретарь.

— Пошто же я не могу её досмотреть?

— Оттого, что две недели назад уже как демонстратор, товарищ Глушков, отъехал в другую сторону, с вашего же разрешения переменяв ослов на лошадей, потому что ослы, как известно, были задраны волками за отсутствием стадности и наблюдения.

— Две недели?

— Так точно.

— Ишь ты, жизнь-то как идет. Жизнь идет прямо... — но не докончил, как именно идет у него жизнь, так и не докопчил товарищ Омехин. Только ухмыльнулся.

Камень в горах тугой и броский. Веселая и зеленая под ним земля. Солнечный пламень в горах потух, и облака, как пепел на костре человека, закрыли камни.

Под руку попалась трава. Экая гайдучья трава: но разжевать ее, не раздавить.

И все же через гайдучьи травы, через пески откуда-то от Тюмени, через уральские и иные степи, через партизанский отряд товарища Омехина пробирается дальше агитатор, демонстратор и вообще говорун Евдоким Петрович Глушков.

СМЕРТЬ САПЕГИ



Я отстал от полка.

Наш полк, состоявший большей частью из мадьяр и сербов, шел югом Барабинской степи. Мне было скучно в нем. Мадьяры были наполнены какой-то непопятной мне заботливой храбростью. На разведку в неизвестную им местность они шли, как голодный на обед. Возвращались словно с головокружениями — такие у них были глаза. Мне казалось: так поступают они из презрения к нам, к русским, у себя на родине они не были бы столь храбры. Все то время казалось мне их бесстрашию мимовольным...

Подле крохотной речушки Усяцкой встретил я Омский батальон профсоюзов. Командовал батальоном Вася Колесников — щеголь, бабник, весельчак; позже он погиб в памятное восстание на Куломзине. Раньше, до революции, мне пришлось работать с ним в типографии, — он был метранпажем. Помню, было испытание: новый метранпаж должен выпить двадцать семь рюмок водки, и если на двадцать седьмой отличит nonпарель от корпуса, значит, годен. Васька не отличил — и точно, плохой выдался из него метранпаж. Позже мне довелось сменить его, а его перевели на афиши, — и афишером он был плохим.

Зато комиссар из Васьки вышел великолепный — веселый, находчивый; батальон свой он вел по степи и на бивуаки ставил, словно корабль пачирас откупоривал.

чистые, опрятные, свежие. Так вот секретарем у этого Васьки Колесникова был Аника Сапега.

Где он ухитрился захватить столь удалое имя и еще более — великого гетмана — фамилию, мне так и не удалось узнать. Сказал я ему как-то о гетмане; Аника быстро пощупал голову (так — я заметил — щупают голову боящиеся себя люди) и спокойно сказал:

— Ежели по характеру судить — родственник, хотя папаша мой и не упоминал о родстве. Папаша-то мой похвастаться любил. Говорил же вон твой папаша, что отец-то его — туркестанский генерал-губернатор.

Дня через три возобновил он разговор о гетмане. Аника был назначен командиром третьей роты, и меня перевели туда заведовать продовольствием. Я думаю — настоял о моем переводе Колесников: человек он был самолюбивый, трудно было ему примириться, что рядом с ним идет лучший метранпаж, хотя никто во всем полку и не слышал никогда слова «метранпаж». Заведовать продовольствием казалось мне унижительным долгом, и я сказал Анике, что по матери предки мои — польские конфедераты.

— Человек — как топор, друг: в лес идет — назад глядит, из лесу идет — в лес глядит. Потому я всех этих притчей о прошлом-то и не люблю. Мне, друг, на предков твоих, да и на своих, по пути, плевать...

Сапега вытянул по кошме костлявое и плоское свое тело, спокойно посмотрел на озеро, спокойно налил чаю из медного котелка. А я чаю не мог пить: когда мы подъехали к озерку, и сухие, залоснившиеся от травы ободья колес зашипели в солонцах, лошади отказались пить. Подумали — вода очень соленая, попробовали — и нет. Озеро мелкое, начали искать палками — и нашли пять трупов с камнями на шее и на коленях. По черному волосу и по усам можно было узнать мадьяр. Невдалеке находилось богатое село; отстали, вроде меня, зашли выведать дорогу, и их мужички и направили туда, куда казалось мужичкам выгоднее.

Вишневая весенняя рябь была на озере, винтовки отражались в ней и похожи были на камыш. Солончаковая полынь цвела вишневым небом.

— Плевать мне на всех предков вплоть до седьмого колена — дальше мне не доплюнуть. Я сам хочу предком быть, и очень просто — не придется. Вчерась меня Ко-

лесников вызывает и говорит: «Дошли до меня слухи, Аника Сапега, что ты буржуазных женщин валишь и насилуешь при первом подходящем случае». Я ему отвечаю, что никаких насилий нету, они сами согласны со мной. «Смотри,— отвечает мне Колесников,— смотри, Аника. Назначили тебя по моему настоянию командиром третьей почетной роты. Я могу тебе в башку пулю всадить». — «И сади,— отвечаю я ему,— только в морду не бей, крой в затылок». ...На том разговор и кончился. ...Тут вот в стороне заимка Козловских есть, верстах небось в ста отсюда. Я под ихней заимкой родился и рос, а позже батраком на ту заимку попал. Парень я был взрослый, в восемнадцать лет горел и сох. А тепло-то внутри, как в избе,— не видно. К концу лета на страду в заимке народу много нанимали. Съехались бабы, девки. Груды у баб в этих местах как стога — и запах и мягкость. Ну, и замучили эти запахи. Валяются ночью по соломе, по колодцам, по телегам,— скрип и гам не меньше, чем днем. Днем лошади в хомутах ходят до седьмого поту, а ночью бабы. Не нравилась мне эта преледия, и не нравилась по той простой причине, что на меня ни одна баба не смотрела! ...Парень я был здоровый, да застенчивой, что ли. Необразованность наша и забитость. Запустил бы это пальцы, думаешь, а дальше своего носа, смотришь, и не уйдешь. Схвачу иную бабу, два часа подхожу, бывало, а она наотмашь — и прямо в рыло. И так обидно, что даже живот занает. ...Стряпуха там водилась, Параскевья Понедельник по прозвищу. Такая грязная и конопатая, чисто свиное корыто... никто на нее и не зарился. Шел это я по кухне как-то, она в печь чугуны ставит. Посмотрел я на масленицу-то ее... эх, думаю, да что там рожа, не с рожей жить, а с человеком! Заиграл во мне весь инвентарь, что восемнадцать лет хранился. То ли она рассердилась, что не вовремя полез к ней, то ли даже и ей, корыту свиному, не понравился... как она обернется да как хватит ухватом меня в живот, в ту ли самую мою бабью боль. Ну, тут я, значит, не вытерпел уже, тут я полный кулак грязных ее волос надрал. ...А она о том происшествии моем всем и расскажи. Обедали все в сарае, столице на пятьдесят человек, так от смеху словно шарф трясется. Девки, может, со временем бы и привыкли ко мне и, как-никак сжалившись, удостоили бы... ну, а после такого

случая — хи, да ха, да изголянье... У меня от того случая судороги начались, и на теле рябь выступила. На бабу посмотрю, и вдруг вид из себя стану такой иметь — ну, хоть в тулупе ходи. И сны замучили, и чудесные все сны: голые бабы все, и все зря, никакого поражения им не было... И кончались те сны таким образом, что быдто я бревно, и везут меня в жару по тряской дороге. Мученье страшное! Я в одну ночь чуть было передок телеги зубами не перегрыз, ладно — в рот деготь попал. ...А стряпуха за мной все следит. Хитрая, стерва, была, и все непонятно, зачем за мной ходила. А у меня совсем, должно быть, помутнение головы получилось. Одним словом, идет мимо току стряпуха Параскевья Понедельник, я на току задержался, лошадей из молотильного круга выпрягал, и пришло мне в голову... ...Одним словом, посмотрела она на меня — и к барину. «Так, мол, и так, иду, мол, мимо току, а Аника бог весть что приспособливает». — «Что же он приспособливает?» — спрашивает барин. «Да, — отвечает стряпуха, — и язык не поворачивается. Выпряг кобылу Флору, скамеечку подставил и лезет по той скамеечке»... Ну, барин закричал, усами зашевелил, схватил со стены мушкет какой-то старинный. А на дворе уже стемнело. Впереди идет лакей с фонарем, за ним стряпуха, а позади стряпухи с мушкетом наперевес сам господин Козловский. ...Приходят на ток, а преступник, я-то, выходит, услышавши те крики и беготню да и огни в неурочное время, — скрылся. Валяется на току скамеечка, да хлопает ушами Флора. Посмотрел на эту беззащитную Флору барин, заорал ей что-то по-французски и хлоп ее из мушкета в лоб. ...Искали меня, искали — все бесполезно. Под утро случайно парни наткнулись. Сажу я это у яра и в реку смотрю. Они подойти боятся, издали кричат: «Конец твоей жизни, Аника! Одно остается — кидайся с яру в реку и топнись немедленно». — «Ну, — отвечаю я им, — коли уж я не утопился до этого, то теперь, поняв жизнь и ее сладость, я не утоплюсь, а буду я...» ...И сам не знаю, кем я могу быть. В разбойники уйти? Да где тут разбойники — степь кругом голая, как пятак, каждый кустик у стражников на учете, да и инструменту у меня — палка да моргалка. Одним коротким словом, пошел я в город, оттуда вскорости пришлось на войну попасть, а оттуда...

Аника выпрямился, сделал грудь колесом, зашевелил бровями,— и я понял, что сейчас он начнет хвастать.

— Наврал ты мне, Аника,— сказал и рассмеялся.

Аника раздраженно вырвал пук полыни, размельчил на ладони землю и вдруг выронил землю прямо на кошму.

— Куды, друг, наврал... Кабы наврал, самому бы хоту на три дня хватило. Правда все сплошь, как полынь вот тут подле озера...

Он посмотрел пристально на меня и хрипло сказал:

— Убьет меня скоро Колесников, и за дело убьет, не в затылок, а в морду. У меня предчувствие есть. На меня как забота найдет, так и получается предчувствие. У Васьки-то характер разнообразный... И судить меня нельзя, придется убить без товарищеского суда, единолично.

Он собрал землю в костлявую и тонкую ладонь и веером раскинул ее по полыни.

— Соленая земля, а вот, поди ты, для полыни и благодать. Я это, когда при первом подходящем случае доберусь до барского нутра, лежу с барыней, и голова-то, мне кажется, как пузырь, раздуется от крови, и мысли-то перепутаются, растут, как трава в тундре... и какие-то багровые, друг. Лежу и чуть не ору прямо: «Смотри, Аника, куда ты заехал, на какую высоту!..» И от такой моей крови и гордости барыню-то от меня потом хоть на носилках убирай. И не жалуются, знаешь.

Он быстро тронул меня в голову, отшатнулся и захохотал.

— Ей-богу, не жалуются. Может, даже довольны. А как я могу на суде товарищам смысл объяснить, если падо по долгой мысли и по тайне объяснять... Убьет меня Васька Колесников.

— Пожалуй, убьет,— согласился я.

Аника задумчиво выбивал пальцем из кошмы травинки.

— И помирать-то неохота.

Тут к кошме подбежал вестовой, подал записку Анике. Аника лежал на животе, долго читал ее, а затем передал мне. Колесников — пером «рондо» (слово «распоряжение» было выведено под готический шрифт) — отдавал распоряжение: что, ввиду поступивших сведений и приближения чехов «в лоб» нашему отряду, собраться и

двигаться в северо-западном направлении, к долине реки Уймона и к озеру Сарыкуль.

Аника тщательно сложил бумажку и некоторое время думал — положить ли ее в правый или левый карман френча. Устало повертел ее в руках и положил в левый.

— Я тебе говорил али нет про заботу-то свою с предчувствием?.. Вот и выходит: идти нам прямо на заимку того проклятого господина Козловского, с которого и началось мое сотрясение. Барин там живет, а при нем офицерская жена за сыном. Сын-то Козловского у белых... Тут мне и конец. Ну, одним словом, надо сбор трубить.

Через двое суток кончились солончаки, и мы вступили в березовые колки, а дальше начали встречаться нам матерые дубровы, где березы были в два обхвата; у подножий их росли густо опенки, а в дуплах гудели шмели. Помню, поймав такого бархатного шмеля, Аника сказал, что через трое суток будет заимка Козловского, и положил шмеля в кiset. В деревнях мужики встречали нас неприветливо, и если спрашивали: «За какую вы власть?» — отвечали: «Властей теперь много ходит, у нас теперь власть покосная». И точно — пора бы и косить. И вот в полдень так увидали мы среди березовой рощи на увале господский дом: розовый, с нелепыми бронзовыми завитушками над окнами. Низкая кирпичная ограда почти вся ушла в крапиву, а над чугунными воротами развевалось бело-зеленое сибирское знамя. Увидали мы неумелые окопы; пятеро каких-то необыкновенно низеньких людей выскочили из них и, подпрыгивая, побежали к воротам.

— Это и есть Козловского? — спросил я у Аники.

— Козловского дальше, у Козловского мы завтра будем, а это есть заимка генерала Стрепетова.

Красногвардейцы привели пойманного в коноплях за рощей парнишку. Парнишка собирал землянику и больше всего боялся, как бы ее не отняли.

— Генерал-то здесь? — спросил Аника.

— Здесь, — ответил торопливо мальчишка.

— Семья тоже?

— Чо?

— Бабы есть?

Парнишка поправил лопух, прикрывавший ягоды, и сочувственно улыбнулся.

— Баб тут сколь хошь. Вы на подмогу им, чо ли, генералу?.. А-а!..

Аника испустил нечленораздельный вопль. Его плоский и широкий рот, подернутый мутной слюной, почти не закрывался. Фразы и слова, прорывающиеся через вихрь воплей, были наполнены неистовой бранью. Дыханье смешалось, и густой пот выступил на висках.

Нашей роте суждено было идти первой. Аника вел ее бесстрашно. «Многие бы мадьяры, — мелькнуло у меня в голове, — позавидовали б его храбрости».

Я не люблю сражений и боюсь, но есть какая-то прелесть в беге с винтовкой по полю. Незрелая пшеница вьется в ногах, упадешь — влажная земля прилипает к ладоням. Матерые стволы березовой дубровы виднеются вдаль, и кажется — пуля летит в тонкий крест колоколенки. Что ж, если помирать, так помирать, приложившись ко кресту не по-отцовски!

Ружейные залпы бело-зеленого знамени быстро прекратились. Только с крыши усадьбы неистовствовали два пулемета. Мы винтовками выбили ворота — не по нужде, так как достаточно было сшибить замок, а для большего страху. Во дворе среди телег, нагруженных разным хламом (готовились к бегству), метались куры, неистово лаяли собаки; на свежих тесинах, привезенных, по-видимому, для починки погреба, у самых дверей лежало бело-зеленое знамя, и какой-то длинноволосый человек в очках стоял подле него, высоко подняв вверх руки. Рукава пиджака были необыкновенно коротки, и стало вдруг жаль его. Помню, я крикнул, пробегая: «Опусти-те руки», — и он не опустил. Аника, потрясая паганом, спросил что-то у толпы сдавшихся людей, и вдруг самого упитанного, в капитанских погонах, ударил кулаком в зубы. Капитан упал больше от страху, чем от боли. Толпа, словно одной рукой, указала Анике на веранду. Он запахнул полы шинели, качнулся, отхаркнулся и медленно, словно вспоминая затерянные слова, приказал мне переписывать пленных:

— А с хозяевами я сам... Сам... поговорю...

И опять беспорядочно понеслись над его телом беспокойные его руки. Я поспешил за ним. Визжали половицы веранды. Встретил нас высокий старик в длинном генеральском сюртуке с сорванными эполетами, рядом заплаканная старушка мяла шаль, несколько впереди ее

дочь — смуглая девушка лет девятнадцати, востроглазая, хохотунья, должно быть. Она была в сереньком ситцевом платице и в крошечном ситцевом передничке, — может быть, перед самым нашим приездом разливала чай. Аника схватил старика — его плоская рука как бы заменила сорванный эполет — и толчками повел его в кабинет. За ним кинулись мать и дочь. Вытирая потный лоб и дергающиеся веки, Аника оттолкнул меня от дверей кабинета — и через полминуты вышел оттуда. Девушка, чуть вздрагивая головой, направилась вперед по коридору. Окна были большие, и солнце было большое, — шаги ее казались какими-то прозрачными. Он вдруг обернулся ко мне, мотнул револьвером и завопил:

— Ты што здесь, ты што? Пошел к черту!

Он весь трясся, губа его над далеко выдающимися передними зубами (в народе так называемый «собачий прикус») взметнулась. Едва ли он узнавал меня.

— Пойдем обратно, Аника, — сказал я, весь тоже дрожа. — Отпусти барышню.

— Не смей, стерва, командовать!.. Ваську поди зови, Ваську... А ты кто такой? Эй, веди! Судите меня!..

Девушка обернулась, ровная спичка бровей зажглась над ее лицом. Аника кинулся в распахнутую дверь. Белая пушистая кровать, коричневый ночной столик и развернутая книга на нем — мелькнули у меня перед глазами. Щелкнул замок. Белая солнечная тишина хлынула в дом.

Ручка двери была круглая, из синего стекла. Очень пеловко было за нее дергать — казалось, словно дергаешь за трость. Я ударил каблуком в дверь, — злой рев донесся из спальни. Я начал стучать кулаками, — раздался выстрел, женский визг, очень короткий и очень спокойный какой-то. Пуля пробила дверь на четверть выше моей головы.

И тогда я решил на последнее.

— Аника! — закричал я. — Аника, зачем ее обмапываешь?.. Генерала бьют... ребята генерала бьют... Ты ей обещал отца сохранить, Аника!..

Мне казалось — крик мой доносился издалека. Вскоре к нему присоединился неистовый женский визг. Я услышал топот.

Я разглядел красноармейцев и впереди их Ваську Колесникова; он был в новой кожаной куртке, ремешок

бинокля висел у него через плечо. Щеголевато, одним пальцем указал он на дверь спальни, красногвардейцы ударили в дверь столом, и мы увидели посреди девичьей кровати лежащего на спине Анику. Он был мерзко растегнут. Угловатые его колени поросли рыжими волосами, а на груди с левой стороны гимнастерка медленно тонула в крови. Подле опрокинутого ночного столика лежал окровавленный бронзовый нож нелепой формы, похожей на огурец. Аника был мертв, убит. Не доехал Аника до своего предчувствия, не видал он займки Козловского!

Женщина, завернувшись до горла в пикейное синее одеяло, лежала комочком в огромном кресле. Складки полотняного чехла поднялись вверх, и можно было разглядеть муаровую розовую обивку, расшитую серебряными нитями.

А Колесников, держа одну руку в кармане, говорил женщине:

— Пролетарское правосудие знает, кого карает, и оно умеет щадить, гражданка. Напрасно вы пошли на его вымогательство и на обещание сохранить жизнь вашим родственникам, которое есть сплошной блеф. Идите к родителям, они там ревут, думают — убили вас тут.

Она, все так же завернутая по горло в одеяло, встала и пошла. Походка и лицо ее были иными. Мы отодвинули к стене наши винтовки, чтоб дать дорогу — матери.

Вдвоем с Колесниковым отвезли мы в степь тело Аники и зарыли на пригорке. Колесников не сказал ни слова, я крепко пожал ему руку, и он понял — за что. Батальон пошел дальше, генерала Стрепетова и его помощников по защите займки отвезли в город. Опять — травы, солончаки, полынь, степь.

А несколько лет спустя наткнулся я на Люблинском проспекте города Омска на женщину. Было у ней строгое лицо, прямая, словно в смертельной тоске сотворенная фигура, одета она была очень скромно, а вырываясь из тонких рук ее, неся вперед мальчик. Он был плоский, костлявый, с далеко выдающимися вперед зубами, что в народе у нас зовут «собачий прикус», и была у него походка Аники...

Она не узнала меня, и я не остановил ее. Да и зачем?..

БОГ МАТВЕЙ



Три недели уже, как полк пытался взять брод через речку Ик. А брод был отличнейший. Далеко, даже в пасмурные дни, блестело желтое песчаное дно речушки. И, глядя на этот веселый блеск, всем думалось, что только перейди брод — и начнется легкая, веселая война. Белые хлынут наутек вдоль железнодорожной линии, полк каждый день будет вбегать в новый город, хлебные эшелоны (как бы изнемогая от радости) сыто поползут на Русь!

Комиссар полка, Денисюк Александр Петрович, был спокойный и деловитый человек. Его огорчали неудачи у брода. И еще было очень огорчительно, что в увеличивающейся спешке никак не удавалось обновить сработанные для праздников с великим трудом и великой экономией превосходные галифе и френч цвета подопрешей соломы. Едва выходил праздник, как приказывали наступать, а в эти три недели, как назло, не пришлось ни одного революционного праздника, а в церковные праздники надевать свои обноры Денисюку было противно. Деревня Талица, в которой стоял штаб полка, несколько раз переходила от белых к красным. Мужики устали от войны, и не было ничего удивительного, что однажды комиссару Денисюку доложили: на передовые линии явился из Талицы житель, Матвей Митрофанч Костяков, называющий себя богом Матвеем, и заявил, что для пуль он неуязвим и воевать приказывает бросить!

Денисюк мало верил в культурно-просветительную работу, но когда появилось такое живое воплощение предрассудков, — он сказал с удовлетворением: «Ну вот, упрекают — не ведем, дескать, культурной работы. Мы им теперь такой докладик напишем, во-о...» И он велел привести бога.

Бог Матвей оказался небольшим мужичком, на голову ниже Денисюка. Бог был в чистой холщовой рубахе длиннее колен. Лицо у него было бледное, восторженное, маленькая, поднимающаяся кверху бородка сияла, вымазанная лампадным маслом, и уголки длинных губ тоже сияли. Денисюк любил довольных людей, он и сам многим был доволен — удачным продвижением полка, храбростью солдат и своей храбростью. А он был действительно храбр, и храбр как-то по-плакатному, очень весело: он бежал, например, впереди полка с возгласом «за революцию!», он при этом делал какой-нибудь вызывающий жест в сторону белых — и это до слез почему-то и радовало и умиляло солдат. Денисюк был представлен к ордену, в газетах о нем писали несколько раз, — он тщательно вырезал эти корреспонденции и, наклеив на бумажку, отсылал матери, домой. Бог Матвей ему понравился, хотя Денисюка несколько коробила явная снисходительность Матвея. Между ними произошел приблизительно следующий разговор:

— Ты действительно считаешь себя богом?

Денисюк сразу же почувствовал глупость этого вопроса, а Матвей, кажется, понял это, потому что он ответил с большим, чем раньше, снисхождением:

— А как же, я и есть — бог. Я тебе пришел сказать, что воевать не надо — глупость, а надо жить в мире и в радости. Вот и пуля меня оттого не берет. Приказал я ей меня не брать!

И он опять так посмотрел на Денисюка, что тот внутри как-то смутился, и опять снисходительно засияли уголки длинных губ Матвея. И Денисюк, понимая, что говорить не надо, все же сказал другую глупость:

— А я возьму и пошлю тебя на передовую линию. — И тут уже получилось совсем нехорошо, потому что бог Матвей даже отвернулся в сторону, словно ему стыдно было говорить: «Да ведь я же был на передовой линии, зачем же меня сюда приводить». И он пошел, еще более сияя бородой, лицом, губами, — солдаты, жалостливо

и тревожно улыбаясь, пропустили его. Денисюк подумал, что самая пора сказать что-то очень поучительное, вроде — вот, мол, суеверия и тьма, как порог, всем под ноги смотрят. Тирада получалась длинной, неубедительной.

Штаб дивизии прислал спешную депешу, — его вызывали. Он забыл о боге Матвее, все же легкое томление где-то билось в Денисюке, оттого на заседании он, с несвойственной ему горячностью, доказывал необходимость немедленного наступления. Предложение его было отклонено. Имелась точные сведения, что белые готовятся перейти речку Ик, к броду подтягивались значительные силы. Такие сообщения раньше всегда его ободряли — очень уж он был уверен в своем счастье. Теперь же он вернулся в полк встревоженным. С неприязнью к самому себе он выслушал сообщение политрука. Политрук Полтавский, плотный рябой человек с острыми и высоко поставленными ушами, часто говорил о себе: «Я как пиявка: кровь пью, но коли надо, и жизнь даю. Для успеха революции самое главное — беспощадность». Он и теперь повторил эту поговорку и добавил, что на передовых линиях солдаты смущены; перед окопами несколько раз проходил невредим бог Матвей. Политрук любил Денисюка, и говорить это ему, по-видимому, было неприятно, но в то же время он как бы любовался своей беспощадностью.

Разговор происходил в крестьянской избе. Денисюк вдруг разглядел, что все избы, виденные им в последние месяцы, внутренним убранством как-то очень похожи одна на другую: мужики прячут все лишнее, а остающееся необходимое во всех избах одинаково. Хозяин избы, должно быть, был очень религиозный человек — на божнице остался образ в серебряной ризе. Да и хозяин слушал их разговор с какими-то подозрительно спокойными глазами. Все это видеть и понимать было сильно неприятно Денисюку, но в то же время он сознавал, что ему ничего не придумать, и долго будут приходиться ненужные мысли о крестьянских избах, об иконах, о хозяйствах. Он поехал на передовую линию. Окопы были выкопаны наскоро и в песчаной почве, но они уже нашли жильем, портянками, окурки валялись всюду, и немалая толщина этих окурков напоминала о войне.

Бог Матвей сидел в окопе на пустом и очень грязном бочонке из-под селедок. Он с аппетитом ел большой кусок черного хлеба, макал его в чайник с чаем.

— Кружку бы дали ему,— неизвестно для чего сказал Денисюк.

Красноармеец, наблюдавший за едой бога, ответил и смущенно и почтительно:

— Дали ему кружку, а он, забывши, вышел в обход свой, у него пулей и вышибло кружку.

Рубаха на боге Матвее была уже грязная и измятая, особенно раздражали прилипшие к рубахе чешуйки селенок.

И Денисюку показалось, что солдаты на него смотрят теперь не с прежним любовным добродушием, к которому он привык, а добродушие их теперь какое-то нарочное. Вот они быстро столпились и стали просить табачку, хотя табак выдавали только вчера,— и это тоже взволновало его. Был ясный день. За речкой над окопами белых летела ворона, и отчетливо было видно, как, когда она взмахивала крыльями (несколько устало и, может быть, счастливо), от крыла отделялись перья; и вскоре одно перо выпало и, кружась винтом, медленно и как-то тепло падало на землю. Вспыхнул и погас пулемет.

Бог Матвей доел хлеб, собрал в подоле крошки, хотел их положить в рот, но выкинул за окопы.

— Пускай и птица поест... — сказал он лживым, видимо, несвойственным ему тенорком, а затем добавил уже деловито:— Ты не видал, я тебе покажу, Аликсандр Питрович. Воевать нельзя, Аликсандр Питрович!

Он одернул рубаху, оправил пояс, подвинул бочончок и, побрякивая как-то про себя, вылез из окопа. Сразу же белые открыли огонь. Бог Матвей, мелкими шажками, непрерывно вытирая губы рукой и озорно, боком, поглядывая на Денисюка, прошелся два раза подле окопов, постоял, подумал, улыбнулся хитро и туманно и, сорвав желтенький, неприятно пахнущий цветочек, вернулся в окопы. Цветочек он протянул комиссару. Денисюка поразило не то, что бог Матвей вернулся невредимым, а то, что красноармейцы не отвечали на выстрелы белых, и то, что он, комиссар Денисюк, не командовал им огонь. Надо было пожать плечами и уйти, увести с собой блаженного этого, маньяка, но он понимал, что сделать так нельзя: солдаты смотрели на бога Матвея жалостливо, строго и в то же время восхищенно. И его трепетно ожгла мысль: «Убегут!» Страх к нему приходил всегда, как и у большинства, после слу-

чившегося ужаса. Сейчас никакого ужаса не было, но все же страх овладел им. Грубо и сжато выражаясь, было такое чувство, словно солдаты уже бегут, бегут по нему, по его счастью, топчут его заслуги перед революцией да и перед самим собой...

И он задорно, по-мальчишески, крикнул:

— А вот и кокнул тебя!

Бог Матвей даже притопнул ногой и так же задорно, чуть-чуть разве повыше, выкрикнул:

— А вот и не кокнул! Бог я или нет?

Денисюк обернулся к солдатам. Красноармейцы молчали. Но раздумывать было некогда, надо было спешить, он вяло сказал:

— Я вот тебе показательную штуку устрою.

— Чего? — оборачиваясь, весело спросил бог Матвей.

— Испытание, — твердо и резко ответил комиссар.

Тогда бог Матвей сразу стал тише. Он опять сел на бочоночек, сказал поучительно:

— Мы с тобой будто небо и земля: два быка бодутся, а никак не сойдутся... однако я с тобой разговаривать буду.

И он медленным и деловым крестьянским говорком стал рассказывать комиссару, как он думает устроить испытание. Он выбрал поле, сказав, что там тополь есть посредине, на ветер походит. Сравнение не понравилось Денисюку, он возразил, что такого тополя не заметил. Тогда бог Матвей добавил, что под таким тополем только поучать и притчи рассказывать. Есть у него одна притча... Комиссар поторопил его, и бог подмигнул: потом, дескать, расскажу. Говорок у него был спокойный и твердый, и скоро Денисюк если не совсем, то во многом верил своей мысли, что бог Матвей перед самым испытанием струсит и откажется. Денисюк опять подобрел, уверенно хлопывая себя по кобуре кольца, шел он окопами, и жизнь опять казалась простой и веселой. Испытание назначили на другой день, при заходе солнца. Политрук Полтавский зашел вечером в избу, потоптался, заговорил о каком-то смешном письме и смущенно заметил, что икону-то с серебряной ризой хозяин не спрятал.

— Забыл, должно быть, — сказал он, подходя к печи и облокачиваясь с таким видом, словно ему было холодно...

Он быстро ушел, так и не сказав своих мыслей, хотя едва ли у него было что дельное — тогда присущая ему вера в свою беспощадность помогла бы ему. Денисюк заснул быстро.

День вышел теплый, сухой. Когда Денисюк проходил под деревьями, на руки и плечи ему падали осенние листья — горячие, хрустящие, пахнущие странно: угаром. Огромное поле дохнуло на него теплом. Тополь посредине поля действительно чем-то напоминал ветер. Вдалеке за звонкой, старческого цвета травой виднелся трепещущий багрянцем осинник. Солдаты были встревожены, глаза у них были опухшие: должно быть, спали плохо. Мимо к осиннику верхом на неоседланной лошади проехал бог Матвей. Ему днем выдали четвертушку мыла, он принес из речки, под обстрелом, два ведра воды на коромысле и выстирал рубаху. Она высохла, коробилась слегка — складки и сейчас явственно обозначались на боках. Лошадь он выбрал белую. Он и ее вымыл. Он приостановился и, не глядя на солдат, восторженно и весело прокричал, чтобы стреляли, когда солнце будет опускаться... Солдаты молча и встревоженно глядели на его острые лопатки, шевелившиеся под опрятной рубахой. Лошадь пошла рысцой. Денисюк взглянул на небо: солнце спускалось за спины солдат, богу Матвею, значит, оно будет в лицо. Денисюк приказал зарядить ружья холостыми патронами. На мгновение солдаты улыбнулись, но затем, должно быть, забыли о холостых зарядах и, крепко сжимая винтовки, встревоженно и устало глядели в осинник. Пение псалма донеслось из осинника. Ни комиссар, ни солдаты не разбирали слов, а они были такие:

Еще немного, и не станет нечестивого;
Посмотришь на его место,
И нет его.
А кроткие наследуют землю
И наслаются множеством мира...

Бог Матвей привык к псалмам. Он пел и в то же время думал, что вот песня, как лук, — без боли и печали приводит в слезы. Он действительно плакал и от гордости и от радости. А комиссар Денисюк ждал заходящего солнца, стоял в трех шагах от трепещущих внутренних дрожью солдат и туманно думал, что вот этот рядом с ним, румяный и курчавый (Петров, кажется,

по фамилии), — если не попадет в бога, возьмет да бросит винтовку и убежит из окопа. Пение усиливалось.

Голова лошади показалась из осинника. Медленно, на белом коне (багровое сияние несло над его головой), появился бог Матвей. Сияние слепило. «Какая ерунда», — подумал со стыдом и злобой Денисюк. И он крикнул, глядя в землю:

— Пли! — тогда как выстрелы начались еще до его приказа.

Солдаты стреляли нестройно. Конь, привыкший к выстрелам, спокойно старался достать траву, — оттого руки у бога Матвея были напряженно вытянуты, и пение часто срывалось, и ему было обидно, потому что он думал, что солдаты могут принять это за трусость. Он продолжал пение, но голоса не хватало.

Сияние все более и более било в глаза. И тогда Денисюк схватил винтовку. Он поспешно всунул боевую, сразу вымокшую в его руках обойму. Бог все двигался. Коня тревожили теперь близкие выстрелы, и он уже не рвал траву. Холостые заряды вышли. Солдаты с такими же лицами били боевыми, они, ясно, сразу не поверили, что им дали холостые. Больше всех спешил румяный Петров! Выстрелы все выпрямлялись и скоро превратились в залпы, — и когда три таких залпа последовали один за другим, разделенные ровными промежутками, — Денисюк кинул винтовку, взглянул в лица, — и отвернулся. Руки его тряслись и не попадали в карманы френча, лицо было мокрое. Залпы прекратились. Комиссар взглянул.

На земле, неистово мотая головой, предсмертно бился конь. Солдаты побежали, но бог Матвей поднялся. И солдаты на мгновение задержались. Ровное облачко дыма взметнулось над ними. Они опять побежали. Бог упал. Быстро — для чего-то поправляя револьвер — комиссар подбежал к богу Матвею. Плечо у него было мокрое и алое. Самодовольно и благостно улыбаясь, он пытался поднять руку — и не мог. На лбу у него, тоненькими тесемочками, был привязан осколок зеркала. Он увидал комиссара, улыбнулся еще самодовольнее и медленно проговорил:

— Ну что, парень, говорил я тебе — меня не снять! Кто меня снимет? Бог я или нет?!

И тогда Денисюк (понимая, что поступать так нельзя, но иначе он поступить не может) поспешно сунул

руку в кобуру, и то, что она была не застегнута, чем-то ободрило его, может быть, как доказательство того, что все это заранее где-то далеко внутри его было решено, — поспешно выхватил кольт и одну за другой всадил в бога Матвея три пули. Оглянулся. И тогда все еще более поостражили. Румяный и курчавый Петров оказался самым расторопным. Он побежал за лопатами.

Бога Матвея похоронили под тополем, могилу выкопали мелкую, потому что Денисюк торопил, говорил, что будет скоро гроза, — да и то воздух был сухой, по волосам нельзя было провести — они тревожно трещали: быть грозе! И с ужином он торопил и, не доужинав, вскочил, — диспозиции совсем такой не было. Но он приказал двигаться вперед, будто он боялся, что счастье уйдет от него.

Полк загудел одобрительно; замотались в руках винтовки, — и счастье, верно, не изменило Денисюку: к утру переправа была взята, белые отступили, кинув обозы и орудия, — а сам комиссар полка Александр Петрович Денисюк погиб как герой — впереди всех! Ему простили своеволие, за которое хотели судить, и хоронили пышно. Накрыв знаменами, несли через осинник, а затем по звонкой, старческого цвета траве к тополю, который действительно походил на ветер. Грозы так и не было, и стояла по-прежнему великая сушь. Политрук Полтавский сказал обширную речь, вытер слезы, — и многие вытерли слезы.

Громадная толпа окружала тополь, и никто не заметил, что могила бога Матвея была совсем сровнена шагами (к тому же песок быстро высыхает, рассыпается). Холмик бога Матвея исчез. А на могилу комиссара Денисюка однополчане желали положить что-либо достойное, и так как в тот день сбили самолет белых, то в холмик вкопали пропеллер самолета, химическим карандашом жирно вывели: «Пал смертью храбрых», — и полк двинулся дальше. В тот день случился большой революционный праздник, и наконец-то комиссару Денисюку удалось обновить свою одежду: и он гордо и прямо лежал в своей могиле, одетый в новый френч и галифе веселого цвета подопревшей соломы.



Сообщается, между прочим, о геологических пунктираж и югу от города Айкеня, там, где обозначено «си»

Ступни у Егора были твердые, четырехугольные, и ходил он так, словно хотел оттолкнуть от себя землю. И в нарте сидел так уверенно, что казалось, не олени мчали его грузное, жилистое тело, а эти его ноги, сталкивающие эвенка-возчика с сиденья.

Свыше тысячи верст промчалась без поломок оленья упряжка «анасы», свыше тысячи снежных верст промчались за ними следом,— верст, наполненных пургами, заледенелыми горами и промерзшими до дна речушками.

Тысячу верст (а еще осталось двести) мчатся до городка Айкеня.

— Удивительная земля,— сказал Егорке сосед его по анасы,— совершенно невозможная земля: один снег да чумы.

— А вам что ж, яблоков хочется? Сказано коротко: Великий Ледовитый океан.

— Так до океана, товарищ, еще тысяча верст.

— Тысяча? Может, и больше. Я не спорю. Мое дело дали мандат — и еду. А про океан там ни слова, а если ни слова — должен ли для нас существовать океан без мандата? Не должен. К тому же, товарищ, не могу я вести

политических разговоров по такому холоду, у меня жидкость в каналах замерзает, а вы тут с политикой.

— Я что ж, товарищ,— обиделся даже слегка Лейзеров,— вы же сами начали про океан и про китов.

— Каких китов?

— Вообще. Кстати, и меня киты мало занимают. А вот почему вы ямщика тунгусом зовете, когда он по возвращенному социалистической революцией самоназванию — эвенк?

— Привычка.

— В некотором смысле привычка, извините, оскорбительная. Указывает отчасти и на невежество. Тунгусская языковая группа — одно, а народности: эвенки, орочены, мургены, манегры — другое. Этак можно называть тюрками казахов, узбеков, туркмен.

— Привычка. И нет в этом ничего обидного. Постепенно отвыкнем, извините.

— Насчет постепенности не возражаю, тем более что и многие классические писатели называли эвенков тунгусами. Что же касается китов...

Но замолчал уже товарищ Лейзеров. Был он, надо сказать к слову, тощ. Из одной ноги Егора Кушнаренко получилось бы три таких Лейзерова, разве что не хватило бы обмундирования на громадные роговые очки, да волосом он был черен необыкновенно, так черен, что годову постоянно со стыда брил, и все-таки выше носа стлалась у него черная, иссиня-черная полоса, как тропическая ночь, будто не череп был, а целый остров Ява накануне новолуния.

Дали им двоим мандаты на том пригорочке, где лежит, изогнувшись в тупике, как лыжа, последняя рельса и откуда начинается, вплоть до городка Айкена, снежное полторатысячное поле, в котором снег тверже льда и копыто оленя дает след не толще древесного листа, где солнце лежит в снежной мгле и где больше всего легенд о солнце, а пурга занимает половину человеческой жизни.

Эвенк Каргу перевязывал анасы ременными веревками, а значит, и пассажиров,— перевязавши, гнал оленей от чума к чуму. Он пел иногда песню в свой воротник, потому что песня мерзнет на таком холоде, как рыба. Песню приходится петь про себя.

У очага, когда дым разъедал глаза и эвенки спраши-

вали, скоро ли новые русские повезут в тундру спирт, Лейзеров вспоминал, как при Алексее Михайловиче еще «скрытные людишки» кляли путь от чума к чуму к староверческим скитам, именуемым Айкеном, и как брали дань «узорочьем», мехами: от соболей до горностаев.

Так от царя Алексея Михайловича и держат дорогу эвенки. Летом водой через речушки, где на оленях, где волоком везут нужных и служилых людей в Айкень, муку и мясо тамошним жителям. Деревянные дома в Айкене так же островерхи, как при «скрытных людишках», и походят они на топоры, кинутые озорным плотником лезвием вверх.

— Будто и нет существенной разницы,— спрашивал у эвенка пытливейший путешественник Мосей Лейзеров,— будто и нет ее между царским правительством и Советской властью?

— Одна идет дорога,— отвечал ему (мча последние двести или триста верст до Айкена) эвенк, возчик Каргу.— Говорят: ух, как далеко от нас идет колесо по железу, а на колесе дома и в этих домах... э... в этих домах будто сидят русские без шуб и чай все время пьют от радости. А колесо катиться может и неделю, и две, и год, куда пожелаешь.

— Есть такое колесо, и называется оно надземная железная дорога как последнее слово техники, а есть и вообще железная дорога.

— Э, врут,— бормотал эвенк в малицу.— Как русские врать могут! Кабы я так врал, я бы давно над всеми оленями богом был и баб у меня было, как вшей.

Возмущился такой антисанитарности товарищ Лейзеров.

— Существует, тебе говорят. Вот дорога есть простая, камнем выложена (в Сибири таких дорог нету). Название у ней несколько странное — шоссе.

— Такая дорога может случиться,— согласился возчик,— просто надо рубить такую дорогу по камням. Этому я верю...

И от радости так хлестнул оленей, что в синем сумраке зажелтели огоньки городка, остроперые крыши. Впрочем, желтели так они еще несколько часов вдали, пока наконец нарты не ворвались в узкие, занесенные сугробами улицы, пока не остановились они у высокого

забора, у тесовых ворот которого болтался на шесте пучок сена; и, указывая на сено, пояснил эвенк:

— Тамаша будет от твоего приезда, тамаша у Сократа Пузырькова.

— Это о чем же он? — спросил Егор.

И всезнающий путешественник Лейзеров пояснил:

— «Тамаша» — значит обоюдодобрый праздник, а клок сена заменяет вывеску постоянного двора, что, по-видимому, не избавляет его от внимания финотдела, работу которого я, впрочем, выясню.

Взглянул он радостным взором в окошко и, несмотря на промерзшую свою душу, отвел в сторону Егора и спросил таинственно:

— Замечаете, товарищ?

— Промерзло окно, действительно. Это оттого, что рамы вторые поздно вставили, товарищ.

— Я не об этом. Вы на свет, на свет обратите внимание.

— Действительно... Да... действительно желтый.

— Да не желтый, а электрический. Электрификация здесь, которая...

Егор уже шел к крыльцу.

— Не электрификация, такое слово к промерзшим местам и употреблять стыд. Просто поставили аппарат и светят. А мне что? Жалко? Свети.

Только любопытному путешественнику Лейзерову было занято и чудно в этой сибирской просторной избе, где лавки шире лежанок, где чело печи больше паровой топки и все срублено, словно на тысячи лет, — видеть лампочку, похожую на мыльный пузырь, в которой волосики тоньше ребячьей мечты.

Чудно! И потому даже закоченевшим пальцем, не снимая тулупа, дотронулся до лампочки Лейзеров. Дотронулся — и будто тело все оттаяло.

— Чудно, — повторил он.

В громадном чугуне варил пельмени сам Сократ Пузырьков, постоянного двора хозяин и города Айкенья гражданин. Чугун клокотал паром так, что животы приезжих будто втянул в себя этот пар. А Егор Кушнаренко говорил уже о своих мандатах, и как вообще он намерен ревизовать город Айкень, и какие тут претензии.

— Претензии тут какие же, — сказал Сократ Пузырьков, — претензий, слышь, наберу тебе больше, чем волос

в твоём тулупе. Однако... Однако если у всей Руси такая жизнь, то наша претензия может быть одна. Уборные национализировали.

— Почему же так? — спросил Лейзеров и вынул записную книгу, где вправо писалось «за», а налево — «против». — В каких целях произведена эта национализация или, как я склонен думать, учет?

— Видите ли, гражданин, — сказал Пузырьков, наливая пельменей с такой лихвой в глубокие тарелки, что пельмени имели желание плыть не по тарелкам, а по всему столу, — правительство наше говорит, что Айкень в смысле жилой площади очень плох, строить некогда. Ну, и приспособили уборные для жилья. И получилось так, что холодные переполнены желающими, а на улице сорок градусов мороза, да и кто их тут считает, градусы, когда и цифры в термометре все перемерзли, и ртутью мальчонки разучились играть из-за ее отсутствия. Нельзя с голым телом, разве что блаженному, по таким градусам на сугробы бегать.

— Чудно, — сказал Егор, отправляя от смеха вместо одного в рот шесть пельменей.

— Чудно, — повторил Лейзеров, отстраняя от себя пельмени, чтобы не подавиться, потому что есть и записывать неудобно.

Еще один чугуи наполняя для Егора пельменями, продолжал Пузырьков:

— Однако и горазда же Русь на выдумки. Я это иду седни и смотрю, — шtbody те язвило, — идет пар быдто из чугуна и...

Но не удалось ему договорить своей речи. Пар хлынул в распахнутую настежь дверь, две пары розовых расшитых валенок, которые выделяет с таким великолепием прославленный город Барнаул, две пары валенок показались на пороге, и голос такой, что человек, всю жизнь проходивший босиком, сразу бы забыл про валенки, спросил:

— Тять, кто приехал-та?

— А мандаты, — ответил Пузырьков.

Но тут дюжину пельменей чуть не проглотил Егор Кушнаренок, но задохся, схватил ковш квасу, выдул его, не подымая наполненных слезами от обжога глаз, — выдул и тогда только спросил у расшитых валенок:

— Выходит, хозяин, и здесь красавицы живут?

Но не уместались уже пельмени в ложке Егора, как не уместались в его голове расшитые валенки, белое, как пельменное тесто, лицо и словно расшитые брови. Да и нельзя же пельмени брать пригоршней! Нельзя и глядеть так на девуку.

А в то время Лейзеров развернул карту и, тыча в пунтир пальцем, просверлил пространство неожиданно басом:

— Любопытно, какова производительность труда теперь в районе мелких медных рудников к югу от Айкена, обозначенном здесь как «си»...

— Сыт,— сказал Егор и отложил ложку с откусанным краем.— Не могу больше смотреть.

А девка прошла в горницу и тоже на него не поглядела.

Долетит резкий голос поморника...

Так в задней горнице и поселились приезжие. Лейзеров сразу же достал откуда-то из мешка бритву «жиллетт» — ту бритву, что горит как солнце, а бреет как пресс-папье. Сам себе выбрил голову, посмотрел в зеркало и заговорил:

— Не находите ли, товарищ, возможным выдвинуть в укоме предложение об установке в Айкене радио?

Егор же надевал сапоги, а надеть ему сапоги все равно что одному человеку построить дом. Вообразите — портянки длиной чуть ли не три сажени, толстые и твердые, как ковер. Портянки превращали ногу в куль, и вдруг этот куль со свистом, гиканьем и причмокиванием лез в голенище. Ушки у голенищ были из медных цепочек, но и те часто рвались. Пыль и грохот наполняли комнату, и только обильный пот с лица увлажнял пол.

Егор, подпрыгивая, носился на одной ноге, тщетно пытаясь всунуть вышеописанный куль в кожаное его логово, а Лейзеров, путешественник и любопытник, говорил, обтирая ваткой бритву:

— Каковы же, товарищ, ваши соображения о радио?

— Развезло!.. — хрипло прокричал где-то в пространствах портянок Егор.

— Я же вам говорил, товарищ, что надо в России

теперь носить штиблеты как наиболее гигиеничную и дешевую обувь.

— Не о том... Ты в окно смотри, там развезло.

И точно — будто выломали окно. Не было уже в нем ледяных узоров, можно было разглядеть, как по двору, высоко подобрав юбку, прошла Маньша, дочь Сократа, и хотя было так, будто прошла она не по двору, а по лицу Егора, но и на это не обратил внимания Лейзеров. Лед покрылся выступившей водой, приятно пахнущей мятой.

Лед трясся, дрожал. Он понимал, что завтра скопившаяся вода прорвет, искромсает пласты снегов и льдов. Воды поднимут льды на своих хребтах и ринутся к океану. В проталинах так же быстро, как волос на лице Лейзера, выступит трава. Ива и полярная березка выпрямят стволы и брызнут в небо листьями.

Весна здесь коротка, как первая любовь, и так же быстро, как распустятся листья, тундра наполнится гогом птиц, и клочья перьев и кровь покроют новую зелень. Это самцы будут драться из-за самок за ласку.

— Развезло, — задумчиво согласился Лейзеров, вздохнул и вместо коробочки аккуратную бритву «жиллетт» положил в кармашек своего вязаного жилета. Впрочем, он быстро вспомнил, где она должна лежать. Складывая ее в синюю коробочку, он спросил Егора, все еще глядящего в окно: — Как же с радио? Надо сообщить, что желаем здесь установить радио.

— Некому везти пакета, — задумчиво сказал Егор, разглядывая, как ветвисторогий олень тыкался широким носом в ладонь Маньши, — вдрызг развезло, и надо нам ждать лета. Весна. Ишь ты, и олень интересуется.

— Чем? Весной?

— Жратвой, — с раздражением ответил Егор, — вишь, у пей крауха в руке. А может, и нет краухи.

— Значит, нельзя пакета?

— Нельзя, — подтвердил Егор сурово.

— И газеты не будет до лета?

— Не будет.

И Егор так загрохотал сапогами, словно пошла вдруг печь.

— Как же, товарищ Егор, без газеты? И нельзя ли о таком бедственном положении сообщить? Имеются здесь поди почтовые голуби?

— Почтальонов-то нет, не то что почтовых голубей. И тех бы съели со скуки. Да и о чем тут через голубей сообщать. О таком ведь...

Он опять посмотрел на лучистые глаза оленя.

— О таком не сообщишь...

Он гулко высморкался.

— Голубей захотел почтовых. Посмотрел бы я в России теперь почтовых голубей, на что они похожи. Вы в ссылке-то были, товарищ Мосей?

— Конечно же, был. И отсюда недалеко. Но то была ссылка, а теперь так жить нельзя.

— Нельзя,— подтвердил Егор, вздыхая легонько: сапоги у него оказались надетыми.

Егор вскинул ружье, оправил патронташ, а Лейзеров взял портфель, измызганный и протертый, словно пронесли по нему все революции и войны.

Один из них пошел на охоту, а другой в уком секретарствовать.

Все сутки в небе — солнце, как неразмennyй рубль в сказке. Лучи его — незаходящие и мягкие — заставляют глазом разглядеть, как идет из земли трава. И такая же незаходящая и мягкая тишина растет над тундрой, и гогот стай тонет в ее неоглядном пространстве, как перо в море. И только, как поморник над океаном, с резким криком пронесется мимо твоего лица, обдавая брызгами, весенний ручей, и опять широкая нога Егора в тихой траве.

Так подле озерка, имени которого нет, а если и есть, то оно даровано эвенками и похоже — словно выдуманно во сне,— подле мелкого озерка встретил Егор охотника из Айкеня, старика, облысевшего и обдряхлевшего до того, что он и говорить-то разучился, а стрелять умел только из своего ружья.

Стая птиц неслась из-за гор, и, глядя им вслед, спросил Егор охотника, прозванного «Нямням»:

— Через горы дуют прямо к морю?

— А? — наклонил к нему изодранное медведем ухо ветхий Нямням.

— Говорю, нет им объездного пути, который нам цари оставили. Теперь вот полторы тысячи верст крюку даем, объезжаем горы. А по-над горами птица летит к морю.

— Летит,— прошамкал старик, поправляя курок! есть ли пистон и не снизится ли стая к озеру,— ишь летит прямо.

— Над горами, говорю, летит прямо.

— А как же ей, милай?..— спросил старик, не видя разозленного лица Егора: в жизни он замечает теперь только зверя.

(И счастье же у того, кто на пороге могилы видит зверя!)

— А человек в обход?

Но человеком не занимался Нямням, отошел на другую тропу было, но Егор догнал его и прокричал в лицо:

— Как оно зовется-то, если птица летит не сворачивая?

Старик вдруг выпрямился, словно получил обратно вчерашний день, разыскал где-то на своем лице глаза и, натужив брови, сказал:

— От стариков, от дедов, а може, и раньше, нам так и говорят — будет она называться «пролетная дорога», которая для птиц, а не для человека. А пойти по той птичьей дороге — к смерти.

Оглядел Егор его нескладное ружьишко, opravил сумку.

— Все, дед, мечта. Очень просто.

Наметив спустившегося на берег гуся, ружье в руке Нямняма полгчало. Старик скрылся за пригорком, отыскивая свою птицу.

Даже и не посмотрел любопытный путешественник Лейзеров настролянную Егором дичь, будто картошкой одной питается человек.

— Мечта,— сказал Егор, усаживаясь за стол,— все в мечте пройдет, если жрать не будешь. Хряпать хочу, а, Маньш?.. Тоже, лететь!

— А и сейчас доспею,— сказала ему Маньша.

Лейзеров же достал записную книжку — ту, где было «за» и «против», — и по графе «за» сказал Егору:

— Принципиально, товарищ Егор, после моего доклада, уком принципиально согласился провести кратчайший путь к железной дороге через горы, уничтожив объездную дорогу как приносящую несоразмерные расходы и эксплуатирующую бессмысленно население. Надо собрать митинг и пояснить населению, что Советская власть...

Егор встал, расстегнул для чего-то ремень и опять сел.

— Пролетная? — спросил он.

— Как, товарищ?

— Старик тут, охотник один, говорил. Дорога, говорит, у них такая называется — пролетная. По которой птицы летят.

Захлопнул Лейзеров книжку и взял ложку, подумал — опускать ли ее в миску; очень жирные были щи.

— Докладчиком назначили вас, а насчет пролетной...

Он еще раз посмотрел в щи.

— Какие же мы птицы, когда я щи жирные есть боюсь? Вдруг желудок расстроится! Просто — дорога, простая проселочная дорога в две колени.

В глаза мечется пушной князек Хабу

Уже окончились заседания уездного Совета, и весь немудрый портфелишко Лейзерова был туго набит резолюциями. Тут же лежала и та, ради которой выступал Егор на эвенкском митинге. Собрав в памяти немногие слова, оставшиеся после ссылки, говорил Егор о сокращении древней дороги на тысячу верст и о том, какая впоследствии тунгусам — то есть, извините, эвенкам — выгода.

— Так, — проговорил ему один эвенк, снимая для легкости мысли упатую шапку, — так! По птичьему пути лететь хочешь? Так. Тотем нашего рода — олени рога, твоего — звезда, похожая на те, что летом прибывает море вместе с теплой водой и чужим для нас лесом, который нельзя ни строгать, ни жечь. Дерево это черно и крепко, как железо. Из звезд можно было бы точить ожерелья, так они красны. Под всякими тотемами ходят люди, как вот ушел Нямям...

— Куда ушел Нямям?..

— А ушел... Он твердый охотник, как те деревья, о которых я могу тебе спеть даже. Такие деревья, что о них мягким языком надо говорить. Так! Ушел.

Все же после разговоров о новой дороге пошло по Айкению, что скрылся в горы охотник Нямям, в молодости носивший имя христианское Хрументил, а прозванный Нямямом за дряхлость. Имена же такие эвенки дают словно во сне, а охотник вел на удивление нам свою жизнь, окончив уже видеть человека, умерев для чело-

века — видал он только зверя, вел он звериную жизнь. И вот получились разговоры, что в горах — там, где должна проходить новая дорога, — встретил Нямням невиданной красоты черно-бурую лисицу, князька лисиц, самого Хабу, сказка о котором будет дальше.

Вот и скрылся Нямням в горы, и с ним следом еще три охотника.

Об этом сказали Лейзерову на одном из заседаний. Он, не дослушав рассказа о Нямняме, позвонил в немудрящий колокольчик и проскрипел:

— Прошу ближе к делу.

Представителю же промысловой кооперации, дюжему помору Каргасову, послал записку: «Необходимо, не ускользнула чтоб шкурка в спекулятивные руки. Ценно для Республики. Л.».

Думая о сметах и возможности внеочередного кредита для прокладывания дороги, а также и о том — не мешает ему, пожалуй, завести болотные сапоги, — поравнялся с тесовыми постоянными воротами Лейзеров.

Уже птица готовилась выводить потомство, и теснился камыш, приготавливая ей место для гнезд, уже осока пахла вяло, по-летнему, и змеей обвивалась вокруг ног; уже сеновал, где Лейзеров перед обедом любил отдохнуть часок-другой, скоро набьют сухой травой и, мягко колыхнувшись, можно будет лишний раз перевернуться с боку на бок.

Лестница скрипела, — похоже, катилась под гору, словно не ноги, а бревна были у Лейзерова, но и то, заглушая этот потрясающий скрип, свистали и визжали в сеновале жерди навеса. Лейзеров хотел было спускаться обратно, но, любя устанавливать причины, он открыл ветхую дверку. Открыл, заглянул и захлопнул.

Сошел вниз, уже не слыша скрипа. Попробовал зачехлить замочек портфеля.

«Какая грубость, — подумал Лейзеров, — какая грубость, не хватало еще, чтобы вместо козловых ботинок здешние девушки носили болотные сапоги».

— А носят же, — сказал он, не оборачиваясь, услышав за спиной мутное, смущенное сопение Егора.

— Приходится, — со вздохом ответил Кушнарченко, хотя, конечно, не знал мысли Лейзерова.

— Это дело личное!

— Безусловно,— опять вздохнул Егор, косо заслоняя плечом лицо Лейзерова, чтобы тот не видал, как Маньша проскользнет к высокому крыльцу избы,— говорят, князек лисий в горах появился и пошел, сказывают...

— Да? — спросил Лейзеров, выныривая из-под его плеча и стараясь увидеть Маньшу,— да? Я отдал соответствующие распоряжения.

Егор еще больше надвинул плечо. Оно было громадное, как сибирский забор, крепко рубленное, будто из бревен, и тщетно пытался заглянуть за него любопытствующий глазок Лейзерова.

— По-моему, товарищ,— наклоняя голову, дабы снизу, где-то между ребер, скользнуть ужом, сказал Лейзеров,— голые предрассудки, и вам не стоит верить вышеуказанным князькам.

— Вы находите? — пробурчал Егор, отступая вправо, туда, куда направлялась Маньша.

— Ну да.— И Лейзеров тоже подпрыгнул вправо.

— Ага! — И Егор сделал еще один шаг.— По-вашему...

— Как же иначе.— И Лейзеров вдруг нарочно уронил портфель вперед, чтобы нырнуть за ним и тем самым руки Егора оставить за своей спиной.

Но дверь сеней уже захлопнулась, и Маньша, наверное смеясь над неловким Лейзеровым, приводит теперь в порядок лицо, невероятнейшие свои косы и, возможно, платье.

— Я все к тому,— сказал Лейзеров, отряхая жирную пыль с портфеля,— вел с вами переговоры, что уком выдвигает вашу кандидатуру в руководители работ по проведению вышеуказанной дороги через Гайленский хребет к ближайшему железнодорожному полотну. Нам необходимо разбить у населения всеми мерами сомнение в неосуществимости данного проекта. Вы, товарищ, как хорошо знающий местные условия, сможете...

И Лейзеров, потрясая портфеликом, уже направлялся в горницу.

Удивительный он был человек! На Маньшу больше не взглянул, а подошел к шестку печи, где жирная стряпуха варила бычьи ноги, готовя студень. Ну, что ему надо в горшке? Так нет, мало того заглянуть — щепочкой вытянул оттуда бабку и с большим аппетитом обглодал. Поставил затем бабку на попа и, весело ухмыль-

нувшись, сбил ее карандашом, оставив на жирной кости легкий фиолетовый след. Карандаши он всегда употреблял химические.

Сократ Пузырьков с неудовольствием глядел на такие манипуляции своего именитого гостя. Ситцевая рубашка у Сократа синими цветочками, плисовые шаровары незнакомой ширины — словно ковер, а не штаны.

— Не отдадут вам, граждане, — сказал он с явным злорадством, — тунгусье своего лисичьего князька, названного Хабу. А такой зверь на заграничных рынках продается во многие тысячи рублей.

— Для чего ж им хранить такого зверька или, вернее, его шкуру? — спросил Лейзеров, опять заглядывая в горшок.

— Для счастья. Талисман.

— Экономическая необходимость поборет все суеверия. Надо только организовать тверже промысловую кооперацию.

И тут Лейзеров, в свою очередь, с таким злорадством оглядел плисовые шаровары Сократа, словно громадными буквами напечатал на тех шароварах: «Старый ты, толстый и к тому же лысый, как полтинник, дурак. Какое тебе дело до лисих князьков, за которыми гоняются по тундре эвенки и выжившие из ума горе-охотнички, вроде Нямняма? Почаще бы ты, старый дурак, заглядывал в сеновал, а то не только жерди выскочат из навеса, но кое-что и поценнее...»

Не могу не повторить: поразительный человек был Лейзеров. Ведь промолчал, с самым невиннейшим видом предложив вошедшей Маньше:

— Недурно бы нам чайку, хозяйшечка, говоря вашим диалектом — доспеть.

Брачный период раннего лета

Ветер приносил из тундры линияное перо птицы. Оно липнет, как снег на мшистых крышах Айкеня; засоряет глаза пожарному на каланче, и тот багровое, незаходящее солнце едва-едва не принимает как зарево.

Казарка и гусь потеряли крылья и, голые, прячутся в глухих озерах и долищах.

Такое перо, мчащееся из низкой моховой тундры, оседало на поджарый портфель Лейзера, когда шмыгал он по расширившимся вдруг улочкам (сугробы растаяли когда еще!). Воротник френчика поистерся от постоянного поворота вправо или влево: «Вы еще что имеете сказать, товарищ?»

И спрашиваемый товарищ, увидав пытливейшие роговые надносицы, смущенно смолкал.

— Значит, возражений нет? Мы направляем...

И Лейзеров, окончив заседание, пытался чистить свой френч. Но он постоянно был в пуху, точно Айкенъ всунули вдруг в перину.

— Вы вот, по-видимому, давний старожил,— остановился однажды Лейзеров подле землянки, где во всю роскошь своего ситца и плиса восседал Сократ Пузырьков,— не обратили ли внимание, почему тут вокруг пух летает и нельзя ли его утилизировать?

— Летает оттого, что птица перо потеряла,— ответил ему Сократ.— Куда ж ему деваться, если не лететь. Вот и летит, раз никому не надобен...

Наклонился к нему с записной книжкой Лейзеров и карандашик занес над «за».

— А если, повторяю, утилизировать?

Сократ же только повел тем местом, где должна бы находиться бровь, а на самом же деле, по причине лысины,— синяя жилка.

— Птенец прет, вот и линяет. Нонче насчет птенца, однако, легко. У меня вот животина тоже за птенцом ушла.

Хитрый этот Лейзеров. Знает, о чем тут речь, да и сам, наверное, не раз говорил об этом. Вид же из себя соорудил, словно невдомек ему.

— Удивительная дрессировка. Что же она живыми и приносит?

— Кто?

— Да собака, подозреваю.

Бить бы его прямо наотмашь в роговые его очки, бить за такие издевательские разговоры! Но, во-первых — власть, Совет, а во-вторых — черт его знает, какую он механику ведет на таком деле!

— Не собака, гражданин,— а дочь, Маньша. Ушла в горы к Егорше. Хочу, говорит, тоже на дороге робить.

Однако не робит, а спит с ним без креста и венца. Вот тебе и линия после этого.

Посмотрел Лейзеров в горы так, словно их сам составил в полчаса, как резолюцию.

— Не огорчайтесь, пройдет,— сказал он наиласковейше.— Уже двадцать верст проложили. По пять верст в день идут. Пятью пять — двадцать пять, пятью шесть — тридцать, пятью семь — тридцать пять. Удивительно.

— Чего!

— Удивительно, говорю. Тридцать пять верст в неделю.

— Кому удивительно, а кому одна пачкотня.

Лейзеров в это время загнулся о косилку, выставленную на дождь и ветер, но перед окнами, наружу. Потому: все смотрите, какой богатый Сократ, под окнами стоит косилка.

— Удивительная неряшливость. Надо записать и разъяснить.

И карандашик его ткнулся несколько раз в записную книжку.

Поглядел на этот синенький карандашик Сократ и даже ноги вытянул от неожиданной мысли. И ноги свои показали ему необыкновенно длинными.

Горница его опустела так же, как весь город Айкень, занятый на работах. Долго бродил Сократ, разыскивая перо, оставшееся еще с тех времен, когда Маньша ходила в школу. Оно заржавело, и порядком оттирал его толченым кирпичом Сократ. Чернила уцелели от последних постояльцев, только, загустев, превратились в кашу, и Сократ развел их самогоном. Потом такую же чернильную густоту почувствовал он в желудке и решил для легкости пустить тоже слегка и туда самогона.

Ну и веселые же загогулины, приседая и ломаясь, поскакали по бумаге! Что тебе тундровые кочки, искривленные полярные березки или синие, густо наполненные тиной, озера!

Неимоверной замысловатости его доноса долго дивовались в земельном отделе губисполкома, куда он попал через три недели вместе с пакетом от Айкеньского Совета рабочих и крестьянских депутатов, сообщающего, что граждане Айкени решили проложить сокращенный путь через хребет. Долго лыбые землемеры, склонясь над картой, думали — можно ли проложить дорогу, и, нако-

нец, самый молодой, который еще надеялся зализать оставшимися волосиками пустующие пространства своего черепного покрова, отважно проговорил:

— По-моему, это мое личное мнение, такую дорогу провести невозможно.

— Невозможно,— подтвердил другой, у которого уже не было надежды зачесать на лысину волосы; такой длины они не достигали: нагло секлись.

И немедленно собрание согласилось, что мысли, высказанные в анонимном доносе, весьма и весьма здравые мысли и что, во-первых, правоту их можно выяснить только на месте и, во-вторых, такой далекий путь могут выдержать только молодые и здоровые люди, для которых тундровый комар легок, как поцелуй или вообще что-нибудь легкомысленное в этом же роде.

А исходя из высказанного, молодых землемеров — одного с лысиной зачесанной, другого не зачесанной — направить в Айкенъ.

Ясное и жаркое лето было в этот год в тундре. В болотах и по краям озер выше плеч человека поднялась осока. Сизая, тусклая дымка затягивала открытый простор равнин.

Берестяный долбень, выпрыгивая на волны, весь облепленный пеной, мчал землемеров в тундру. Худые, источенные тысячетлетними бурями, скалы нависали над рекой.

В редких — через пятьдесят или семьдесят верст — избушках ждали их эвенки.

Они молча, слегка откинув назад туловище, осматривали печати подорожной и выгоняли оленей или спускали лодки.

И рога оленей и лодки были одного цвета.

Так они ехали неделю и еще шесть суток. Все такие же лишайчатые скалы и незнаемо прозрачные реки были на их пути.

А на седьмой — незакатное солнце все так же мерцало над тундрой — эвенк-проводник поднялся с ними на гору Татын.

Вдруг тусклая дымка на краю неба дрогнула, словно расплавилась, и в желтом мареве увидали они ринувшиеся в небо острые крыши домов, синий купол церкви и

каланчу, занявшую полнеба. Если б присмотрелись они, то внизу, на площади, в мираже, они узнали бы скользнувшего с поношенным портфеликом человечка в роговых очках и, кто знает, даже пух, приставший к его плечу. Пух линялой птицы тундр! Такое было ясное марево.

Но ничего не успели они разглядеть, потому что эвенк, всматривавшийся в равнину, спокойно поворачиваясь, сказал:

— Ошибся мало. Триста верст в сторону уехал. Поехал обратно, батюшки, эта не Татын. Не тот гора.

И они еще три дня разыскивали избушку, от которой повернули было на гору Татын.

Ямщики исчезли. Избушка была пуста.

Старик эвенк, оставленный для смерти, сказал:

— Сломал дорогу. Ушел весь род короткую дорогу делать. Весь род в Айкень ушел. Теперь новой дороги в Айкень жди.

— Как же теперь? — спросил инженер.

— Довезу, — ответил им последний ямщик сломанной дороги. — Довезу.

Он долго кипятил чайник и долго пояснял им, что он остался один и ему себя беречь надо. Никто его сменять не будет. Потом, напившись чаю, он долго, смотря на потухающий огонь и умирающего старика, пел — какой он герой, последний ямщик покинутой дороги, и как он повезет русских в губернский город, где ему дадут за его подвиг часы и водки. Сначала он выпьет водку, затем пропьет часы, оленей и свою малицу. Потом русские вновь подарят ему часы и оленей, и он вновь их пропьет. Тогда русские обругают его и на летающей лодке увезут его в тундру, потому что в губернском городе он может спиться. Русские иногда умеют жалеть. Айкень-город сошел с ума, сломал анасы и хочет жить один. Ему плевать на Айкень, он самый храбрый хозяин анасы во всей тундре и может в один присест съесть оленя.

Землемеры тоже смотрели в огонь. Один из них на божнице нашел кожаную сумку. В ней лежал кусок пергамента, и славянской вязью «холоп Ивашка, сын Свищев» писал царю, какую дорогу он сделал от Мангазеи до Студеного моря и как по дороге той идет до царя

«соболь, да горноста́й, да чу́дная, из морского слона выделанная утварь. А и слон тот лохматый да страшный ходит по морскому дну, а на клыках, что с добрый дуб, носит ледяные горы. А еще есть тут другое зверье, которое и ловить крещеному грешно. То зверье живет в подземных ямах и на дух выходит в канун Нового года. Повели, государь, слуге твоему и рабу отчинить еще прислуги и пороху, да и нет терпежу пробыть тут до Нового году!».

— Который у нас месяц? — спросил землемер.

— Июль, — ответил другой шепотом.

Но тут ветер нанес на избу густую пелену облаков со стороны океана. Закрывая небо, заморосил холодный дождь. Толстые покровы мхов тундры наполнились водой. Ремни вожов анасы ослизли и потемнели.

Бесконечный дождь будто промочил шкуру оленей. Наклонив ветвистые головы, шлепая широкими, как тарелки, копытами, они шли понуро и медленно.

Из-за скалы выскочил верхом на олене оборванный, без шапки, старик. Он, низко наклонив голову, осматривал землю и, так и не взглянув на встречных, умчался дальше в дождь.

— Это Нямям, — сказал ямщик, — он ищет Хабу.

Они не спросили: кто такой Нямям и кто такой Хабу. Они даже побоялись сказать о дороге — не спросить ли старика о ней? И ямщик, угадав их мысли, стегнул оленей.

— Я, батюшки, доведу.

И он действительно довел их.

Так землемеры вернулись в губернский город, не найдя Айкенья, и репортер местной газеты (он был в то же время корреспондентом РОСТА) сочинил телеграмму в центр, что из-за разлива рек город Айкень отрезан от культурных центров.

Первоочередные вопросы товарища Лейзерова

Г. Айкень
30 июня 1923 г.

Уважаемый товарищ
Кушнаренко!

Техника указывает нам возможный путь борьбы с различными невгодами. Несомненно, огромные лесные

и пушные богатства нашего Севера привлекут в непродолжительном времени всю технику Республики в нашу страну. По всей вероятности, это произойдет года через три, не меньше. Однако, судя по вашим сообщениям, многие сомнения попали вам на пути. К числу таких мне даже стыдно относить комаров, однако я нахожу необходимым сказать об этом биче природы нашего Севера.

Как вам известно, товарищ, говоря местным языком, улусная полуторатысячная дорога оказалась «сломанной». Я не виню товарищей, проводивших кампанию за строительство краткой дороги через Гайленский хребет. Из этой кампании получилось так, что все эвенки ушли к вам на работы и старую дорогу отказались держать, отчего мы оказались отрезанными от культурного центра, который с последней почтой я просил об установке в Айкене радио. Ответа не последовало, да и не может быть, так как эвенки разбежались.

Я, из-за нарушения нормальных сношений с центром — даже телеграфные столбы, недавно проведенные до половины пути к Айкению, смыло ливнями, — я, товарищ, не мог затребовать для ваших работ сеток от комаров, и президиуму Совета пришлось прибегнуть к героическим мерам, а именно:

- 1) конфисковать все тюлевые занавески у мещан;
- 2) взять в больнице всю марлю, отчего для перевязок пришлось употреблять коленкор;
- 3) объявить в местной прессе конкурс на приготовление лучшей мази от комаров.

Последнее предложение отпало ввиду перерыва сношений аптеки с центром. Лекарства и так не хватает, а тут еще опыты. Последнее предложение не мое, а здравотдела.

Некоторую прозодежду посылаю.

Таким образом, широкая плановая работа помощи вам продолжается, — от себя же добавляю:

Да, товарищ Егор, многое с вами пришлось мне пережить даже в последнюю нашу командировку. И что же получилось? Мы прилагаем все усилия к проложению дороги, а смущенная мещанством некоторая часть Совета упрекает нас в демагогии и инсинуациях. В чем дело? Оказывается, они сомневаются — можно ли провести дорогу и стоит ли прилагать столько усилий, когда:

1) хлеб для города с юга теми путями, какими он шел нам летом, не подвозится. Мы же опасаемся, что на лето нам хлеба не хватит, да и санный путь, ввиду ухода эвенков, уничтожен;

2) рабочих на дороге трясет малярия, или для мягкости здешнего ее проявления назовем — лихоманка. Медикаментов для указанной борьбы нет;

3) продвижение вперед значительно замедлилось.

Товарищ Егор, по революционному долгу советую вам напрячь все усилия, дабы завершить дело Республики, так как я полагаю, в наше достижение центр не верит и благодаря прерыву сношений может подумать —

не восстание ли на Крайнем Севере СССР?!

Берегитесь такого толчка, товарищ!

Еще добавляю. Мещанство хотя разлагается, но оно в нашем глухом углу еще крепко. Сократа Пузырькова, например, поймали с самогонным аппаратом. Приговорили условно. Дочь его, как ваша жена, кажется, женщина сознательная и хорошо знает местные условия. Извините, что вмешиваюсь в частную жизнь, но теперь дорог каждый час, и мы должны думать о судьбе города, одного из немногих на Крайнем Севере СССР.

С коммунистическим приветом

М. Лейзеров.

Некоторые размышления на Тверской, 48

Удивительно, но никто не подумает — ведь летом в Москве бывает ночь. То есть солнце скрывается, наступает тьма. В трамваях горят огни, и буква «А» несется по бульварам. Буква «А» походит на прохожего в дождевом пальто, с портфелем в руках. Да, действительно, и дождливейшее же лето было в 1923 году! Будто смуть хотело тот ремонт, который неумело еще, после долгого перерыва, проделывала над собой Москва. Дождь стрекотал по улицам, топил колеса автомобилей и пролеток; из-за грязи огни машин словно светили из реки. И вот — в такую ночь на Страстной площади из буквы «А» вылез человек. Назовем его Рыкин, да и это почти так (его настоящая фамилия Рукин). Рыкин был ночным выпускающим газеты «Знамя труда», печатающейся на Тверской, 48. Этой ночью ему нездоровилось, человек он был

первый, а ночная газетная работа очень утомительна. Чувствуя озноб во всем теле, он прошел в наборную и взял оттиски информации и статей. Развернутые части ротационки ждали своих белых челюстей, чтобы нацелкать за ночь девятьсот тысяч номеров газеты. Рыкин должен был проверить правильность установки зубов. Челюстями мы зовем отлитые матрицы, а зубами — ну, хотя бы статьи, гранки. Очень сильно пахло скипидаром и свежей бумагой. Все как будто было в порядке, и только одна заметка смутила Рыкина. В телеграмме сообщалось, что вследствие разлива рек город Айкенъ отрезан от мира. Продовольствие доставлять туда затруднительно. В общем, девять строк. Но какой губернии — РОСТА забыла вставить, по-видимому. Какой губернии и где этот город? Ночной редактор достал энциклопедический словарь и не нашел Айкеня. Может быть, это в Австралии, в Мексике? Удивительно, но такого города нигде не было. Голова у него болела. Буквы словно плавали, и ему хотелось скорей сверстать номер. «Эту заметку надо рассыпать», — сказал он метранпажу. Утром на другой день Рыкин подумал: а вдруг в другой газете ночной редактор оказался умнее его, Рыкина, и нашел, где находится город Айкенъ? Он торопливо раскрыл газету. Нет, и в другой газете не было злополучной заметки. Значит, и тот не нашел такого города. По утрам Рыкин сам варил на примусе кофе. Шел густой дождь. Он смотрел в окно на противоположную мокрую стену громадного здания, большими глотками пил густой и горячий кофе. О выкинутой заметке он давно забыл и решал, как бы ему достать бесплатный билет в Художественный театр.

Привал на сто третьей версте

У старых прискателей и каторжников есть привычка — шагать вперед, упираясь на левую ногу. Правая приподнята всегда и готова к удару. Зверь ли, пень ли гнилой, торчащий перед шагом. Правая нога сильнее и тверже, и лопотина на правой оттого изнашивается быстрее.

Так вот, все незакатные месяцы правой ногой и правой рукой вперед билось становище, предводительствуемое Егором Кушнаренко.

Были здесь и прискатели, потерявшие счастье в золоте и явившиеся в Айкенъ на немногие работишки, были и каторжники, загубившие не одну душу и давно забывшие свое молодое имя; было несколько красноармейцев из крохотного айкенского гарнизона, и мещане были айкенские, степенные остатки торговцев пушной, рыбой и мамонтовым клыком. Кто знает, как они попали в это оголтелое, бессонное становище, с ревом и невероятными матерками врубившееся в тайгу и горы.

У Егора в левом латаном кармане гимнастерки бился компас, за плечами гремела землемерная цепь, и звенк Каргу носил за ним, как паникадило, медный треножник.

Смолевой, янтарный дым от костров!

Неусыпное солнце всегда на полдне!

Всегда плечи жжет мошкара, комар-гнус и неустанный, незакатный пламень, прожигающий тайгу, мхи и лишайчатые, пепельного цвета, скалы.

А позади русских, позади матерков, махорочных окурков, остатков дрянного тряпья и полугнилой пищи, шли звенки. Они убирали сваленные деревья, выжигали пни и тщательно, как своих идолов, выстругивали версты, а подле них ставили чумы. Слышались крики на собак и оленей. Чумы походили на рога, а маленькие, лохматые собачонки — на клочки тумана. И дорога стала человеческой дорогой.

Подле чумов белели остовы рыб. Хромой старик Хаймень расставлял силки, и кто-то к своему шалашу нес песцовую шкурку.

И вдруг — сырая, полуистлевшая чаща. Словно дорога уткнулась в громадный гнилой пень. Каждая пядь нату-жисто пропахла плесенью.

— Здесь, паря, надо бы спирту, — хрипло сказал один из рубак, сидевший на камне. Громадный топор лежал у него меж ног, а борода была шире и, казалось, тверже топора. Так он упорно держал эту бороду, напряженно глядя в фиолетовую чащу.

— Не мешат, — ответил корявый Петрован Щокур, поглядывая на Егора.

Раньше о спирте они упоминали перед сном, — как иногда в изморозь, где-нибудь в скалах, приятно потянуться и вздохнуть; вот бы сейчас да на лежанку, да блинков бы...

Лопотина у них пахла дымом и мхами. Они упорно глядели в чащу. Какая-то незаметная тропка не тропка, а легкий следок разгляделся вдруг в чаще. А когда разглядел Егор, то почему-то заглодело от этой тропки сердце.

— Разве тут ходят? — пошел он ближе к Щокуру.

— Кто когда, — ответил тот, мотнув волосатой головой, — поди так и ходют.

И, отложив лопаты и топоры, приисковые остановились у тропки, а Егор достал карту и присел в стороне. В паузин всякий делает что хочет, и не мог он мешать своим становникам стоять у тропы.

— Разве ждут? — спросил он тихо у Маньши. — Кого бы им ждать?

Одну только Маньшу не брали комары. То ли так крепка и смугла была ее кожа, то ли знала какую мазь, выдуманную затейливым Сократом, но ходила она с открытым лицом, глубоко вбирая в рот пухлые, широкие губы. Кажется, в губы только и кусали ее комары. Ночью, под пологом, рядом с Егором — попробуй отыщи ее губы комар!

Чудовороженная жизнь проходила тайгой, и будто поэтому выдумала тайга, чтоб задержать эту жизнь, — выпустила жухлый мертвый лес, который нельзя ни пилить, ни жечь, а отгребать, как золу, лопатами. Лес этот столетиями валится во всяческом беспорядке, гниет, оставляя пустоты. Идет зверь — и вдруг провалится меж бревен на трехсотенную пропасть, в гниль.

И в такой жухлой чаще вдруг тропка.

— Спиртоносов ждут, это ихняя тропка, — ответила Маньша, — стрелять надо им навстречу. Вели стрелять.

— Откуда тут спиртоносы? Насколько понимаю — глухота, и, кроме медведя, кто в такой чаще способный есть, поднимается на ноги?

Маньша ему на ухо. Слова у ней быстрее, чем пламень незакатного, обжигают шею!

— Я тебе говорю, стреляй, покуда не пришли. Чего воззрился?

— Врут! Маревится им.

— Не маревится, а прииска где-то тут. А на приисках тех уцелели старатели.

И точно: вспомнил он пунктирную карту и место, обозначенное в Салаирской долине «си»: мелкие медные рудники. Но какие же старатели на медных рудниках и

кто может плавить здесь медь? Только самодурному Строганову пришло на ум основывать медные рудники в двух тысячах верст от железной дороги! Построили бараки, может, пару машин в разборке привезли на оленях. Бараки теперь истлели, а машины давно по частям расковали эвенки и источили для наконечников стрел.

— Ерунда.— Егор и карту сложил на восемь частей, хотя раньше она складывалась на четыре.— Какие тут спиртоносы?

Все же не последним расслышал он далекий и крохотный, словно из кедрового орешка, лай собачонки.

Синего жука разглядел он на прелой тропке, что словно вымывалась из чащи.

И не он один разглядел синего жучка.

Вот белый клубок лайки выпрыгнул из чащевой норы. Да, надо было б стрелить Егору, надо б солдатами гнать подходивших и сипло перекликавшихся людей.

Маньша сидела вдаль на пне и, щурясь, злорадно глядела в сторону от него. Может быть, назад?

Выскочившая собачонка тоже шурилась. У ней были разноцветные глаза и усики, необычайно завитые в колечко, словно не усики, а паучок.

— Ваши мандаты! — крикнул Егор в тропу.— Зачем в такие места попер? Чего тебе здесь надо? Проходи!

Только собаки становища поддержали его крик. Люди, как жена его Маньша, смотрели туда, куда упиралась напряженная жилистая его спина.

Несколько мужиков с котомками, с пистонными ружьями, в истрепанных броднях, покрытых, как ржавчиной, пылью гнилушек, вышли на полянку. Они перекрестились. Громадный овод с сухим шипеньем закружился вокруг передового старика.

— Слава те, истинному Христу,— протяжно проговорил старик,— выбрались мы из тех треклятых мест.

— С рудников? — спросил быстро Егор.— Старатели?

— Какие наши старанья, голубь. На одном мясе да на морошке жили. Цинга-то вот...

И они, словно сговорившись, разом обнажили кровавые беззубые десны.

— Пальцами теперь жуем. Хлебушка бы, нету ли хоть сухарика, го-лубы!

Позади своей жалости опять разобрал Егор шепот Маньши:

— Врут... все как есть врут. Забирай их, в город забирай! Там разберутся, а здесь про них теперь никто правды не скажет.

— Топоры слышим,— тянул старик,— динамитом скалу взрывали. На сотню верст гу-ул пошел. Слава те, господи, думаем, человек-то проснулся. Про тайгу вспомнил и напролом пошел. Самому с собой-то воевать ему надоест, и не найдется ли тут нам, убогим, что...

Отстраняя ладонью шепчущую Маньшу, Егор сказал с превеликой жалостью:

— Накормить и приписать к нам!

Что ж, и накормили, и приписали к становищу. Мужичонки к тому же оказались ледащие, рыхлые, как этот встречный лес. Работа их темная. Увидал мельком Егор, позже, когда жадно ели мужики у костра хлеб, пузырек из-под лекарства,— пузырек тот, наполненный желтой жидкостью, ходил по рукам становщиков.

— Спирт! — быстро подскочив, крикнул Егор.

— Золото,— ответили ему.

Все время сидения в тайге присковые мужики, как монетой, пользовались таким пузырьком. Орочены и еще какие-то незнакомые люди бродят по тайге. Питаются они морошкой и диким зверем. Медведя ловят так: накапывают в два кулака величиной клубок соломы, натychут туда гвоздей, острием вверх. Клуб как железный еж. Выскакивает встревоженный медведь на тропу, поднимается во весь свой смертоносный рост. Тут ему кидают железного ежа. С ревом охватывает он его лапами. Гвозди впииваются в мякоть лап,— и юркий таежник всаживает ему в сердце нож. Впрочем, не утверждаю, что это именно так происходит. Сказок, от таежной скуки, составляют здесь не мало.

Становище спало. Чадили костры из сырой хвои и помета — дым от комаров. Певучие волки выли в горах. Из шести пришедших по тропке двое куда-то исчезли.

Куда?

Шел Егор становищем, и словно дымом обвеяно его сердце. Тошнo.

А дорога — как в паузин, когда заприметили становщики жухлую тропку, будто пахнущую спиртом,— так и остановилась на сто третьей версте.

С утра (каменный сон лежал на Егоре) поднялись на становище пьяные песни о Байкале, баргузине и кандалах. В голенищах туго обрисовались спрятанные ножи, и обильная слюна омочила сваланные и грязные бороды.

Напрасно звонил в колокол Егор, призывая к работе, напрасно он назначал штрафы.

Как-никак нож легче топора и человеческое тело — не сосна!

— Тащи,— ревел Петрован Щокур,— все тащи! Все пропью!

— Жись! К лешему такую комариную жись!

— Крой!

До хрипоты пролаяли на них глотки собаки, не привыкшие к такому вою.

И Щокур, с бутылкой в потных руках, шатаясь, ходил вокруг пня, где сидел Егор, и, непрерывно сплевывая, бормотал:

— Желаем праздновать, желаем горе горькое запить, чтобы вместо бродней были у меня на лапах лаковые полусапожки. Верно, парень?

Он ловил кого-то бутылкой в воздухе, глаза его посинели, и мир сузился в один пень.

— Старожилы говорят: идет за этим лесом дале одна скала и пропасть на сто верст. Никакого следу туда нету. Зачем зря рубить просеку? Не хотим рубить — и шабаш! Старожилы всю твою жись наизусть знают, почему ты хозайство хрестьянское бросил и из какой выгоды в ссылку пошел. Не хотим!.. А?..

Подле валившегося с сонным храпом Щокура стояла вся обожженная злостью Маньша и, тыча в слюнявую бороду, упрекала пьяного:

— Я же баяла тебе, Егор, на какую бабью веру ты меня принял? Я тебе щепя, что ли: сгорела — и другую брось. Я рази за твоим огнем пошла в тайгу?.. Я ж тебе баяла — стреляй их, бей их с тропы!..

— Надо тут,— ответил хмуро Егор,— общее собрание. Порицание чтоб вынести... или там меры. Проспятя — и общее собрание. Очень все просто. А над спиртоносами — следствие.

«На сто тринадцатую версту товарищу Кушнаренко» — таков был адрес пакета от товарища Лейзерова, полученный Егором на сто третьей версте.

$$2 \times 5 = 10.$$

Пять верст в день!

Два дня пьянствовало становище.

Десять нетронутых верст приобрела тайга.

Совсем какой-то пьедестальный человек был товарищ Лейзеров. Написать такое письмо. Прежде всего, ну, кому в голову придет изобретать мазь от комаров? Да мало того, выдумку эту приписывает здравотделу. Очень уж глупо, должно быть, показалось, и, себя пожалев, обвинил в глупости целый отдел.

Тысячу лет едят комары людей, а он — мазь!

Медикаменты, черт бы вас драл!

А не лучше б подумать, откуда появляются в тайге спиртоносы? Империалисты подсылают? Значит, карты совершенно точные есть у империалистов. Карты всей тайги, такие карты, по которым знаменитую пролетную дорогу теперь, что, как пьяный мужик, уткнулась в гниль и грязь, — можно провести с легким сердцем в три дня?

— Значит, есть карты? — подошел гневно Егор к спиртоносам.

Они сидели — прямые, цинговатые и трезвые. Кто знает, откуда они добывали спирт? Раз пять уже безрезультатно обыскивал их Егор.

— Поди так десять лет не играем в карты, милай! Тебе али со скуки в картишки перекинуться хочется? Которые ведь искусники, дошли — сами рисуют, а нам куда же...

— Значит, можно же спирт носить? Значит, можно туда, на ту сторону, пройти?

— Едва ль, голубь, едва ль. Да и какой спирт в тайге? Людишки-то твои мухоморы, сказывают, настаивают и пьют. Гриб такой, с того ли гриба?..

Пропасть бы всему! Или, верно, мухоморы? Нынешнее лето, горькое и сухое, наплодило их, как листьев. Оранжевые, голубые с черными крапинками, кроваво-красные — по всем прогалинам хохочут они над Егором.

Если мухоморы, если настой?

На сто восемнадцатой версте надо бы перечитать письмо Лейзерова, а Егор перечел его на сто третьей.

$3 \times 5 = 15$.

Густой и тяжелый вечер принесла с собой таратайка, в которой примчался вдруг товарищ Лейзеров. Поверх драного его пальтишка болтался на его плечах брезентовый плащ, больше похожий на палатку. Обильная пыль

оседала на плащ, и на эту пыль всю дорогу любовался Лейзеров. Дьявол ее дери, какая замечательная пыль на этой дороге! Если бы солнце знало свои часы и закатывалось — совсем жизнь, как в центре. Две колеи, меж колеи разная там травка болтается, чахлые лошаденки (из пожарного обоза) пригубляют эту траву, колокольчик звенит. Ты дремлешь, коробок потряхивает лениво. Здорово закручено, черт возьми!

— Итак!.. — весело было крикнул Лейзеров, со злостью давя комара на щеке.

Но тут взгляд его остановился на верстовом столбе. Голос упал, и десяток комаров сразу безвозбранно облепил сухую его щеку.

— Итак, товарищ?.. Почему же сто три, когда надо... — он порылся в записной книжке... — надо в этот час сто двадцать. Куда же, товарищ, девали вы семнадцать верст? Семнадцать верст куда девали, я спрашиваю?

— Они, — мотнул Егор головой на спиртоносов, — я их под арестом в чум, а народ пьет. Как тут...

Гмыкнул Лейзеров, брезентешко скинул, портфельчик подхватил, и засверкали его роговые очки по всему лагерю. Во-первых, посверкали вокруг инвентаря. В порядке ли? Весь инвентарь был в порядке. Во-вторых, по страницам путевого журнала. На сто третьей версте они размышляли долго, затем под очки торопливо нырнуло перо и ручка. Где запись сто третьей верстой запнулась — ровненьким почерком вывело перо:

«Нахожу необходимым назначить ревизионную комиссию».

Отложил перо, покрутился по пню, понюхал воздух. И точно, будто пахло спиртом.

— Нда-а... — протянул он слегка визгливо, — нда... Назначьте митинг.

— Пьяны все.

— Все?

— Красноармейцы ничего. Но что ж их...

— Нда... Красноармейцы, конечно. Нда!.. Отправить с красноармейцами этих... волосатых, без зубов, в Айкень! Посадить их. Пускай сидят, не шляются. Делали ли вы ультимативные требования и не приводило ли это к ускорению работ? Нет? Пьют? Нда-а... Дайте мне ваш револьвер, товарищ, я еду к эвенкам. Мой без патронов.

Отстегивая револьвер, Егор сказал:

— Старожилы находят невозможным провести дорогу, тут позади Салаирских медных рудников начинается...

— ...Глупость начинается, товарищ. Глупость. Вы по происхождению — крестьянин, должны понимать. Нда... А вы верите старожилам. Никаких пропастей существовать не может, если...

Но он не считал нужным окончить фразу.

Что — «если»? Почему Лейзеров не считал нужным окончить фразу?

Лейзеров любил Егора, любил эту внешнюю, большую и живую силу. И жалко, что сила эта тратится так безумно-строптивно на Маньшу. Потерял парень голову! Лейзеров сам влюблялся, — он был порядком влюблен прошлой осенью в Курске, где преподавал на дорожнострительных курсах, на которые попал прямо из армии, — и она его любила, и отличная могла бы получиться жизнь в Курске. А вызывают в горком: «Угодно к тунгусам, или эвенкам, поскольку вы родились и воспитывались, кажется, на Енисее?» А ей тоже угодно, но она оканчивает институт! Вера в любовь, конечно, вещь хорошая, но расстояние и время есть все-таки расстояние и время. Он не повесил носа, не спился, не ослабел, — нужно ехать, нужно мобилизовать культурные способности и не отказываться применять их там, где они нужны государству. А тут неожиданно Егор... Он даже склонен дезертировать! Нет, это не любовь, а самое мрачное сладострастие. Любовь должна вдохновлять, поднимать голову, любовь должна кудрявить тебя, а тут голова поди стала плоской и можно ее употребить лишь в качестве могильной лопаты. Очень грустно, Егор, очень грустно. А говорить тебе? Что говорить, если на сердце твоём, Егор, нерассветный и вместе с тем певучий мрак. Сожалею, но молчу. Не способен убедить. Понимаю.

Бруттой обрыв спускался к реке, имеющей запах крови

Вспрыгнул Лейзеров в таратайку, вот уже портфелишко его под боком, очки блестят у плетенной из ивы стенки.

— Понесла, — кричит он ямщику.

Лошаденка трясется, пыхтит. Лохматая ее шерсть от напряжения несется клочьями. Обратная пыль на брезен-

тишко, что именуется плащом. Визжит ось, не успел ее смазать ямщик, — так торопил любопытствующий комиссар, всю дорогу вслух высчитывавший: выгодно ли ямщику самому ладить упряжь или покупать в кооперативе?

Несмотря на полную прыть лошаденки, рядом, левой рукой, с коричневыми от табаку пальцами, слегка касаясь облучка, шагал великоногий Егор.

— Я вам говорю, товарищ, не срамитесь по чумам. Ну, как вы поднимете эвенков на такую скаженную работу, когда и русский с тяжести запил. Вы и языка-то не знаете.

— Он переведет, — ткнул Лейзеров записной книжкой ямщика в спину. — Гражданин, как по-эвенски — объединение? Экономическое объединение безо всякого идеализма? Садитесь, товарищ, сюда рядом. Чего вы шагаете... как буран?

И он засмеялся своей шутке.

— Сюда, на мешок. Рядом на мешок. Вы им добавьте возвышенно там как-нибудь про религию. О вреде ее тоже слегка. Их тронуть легко.

— Не сяду я с вами, — ответил Егор, сдернул фуражку, пахнул ею на разгоряченное лицо, — не верю я вам. Это Маньша вас хвалит.

— Хвалит? Сознательный она индивидуум, если хвалит, — не без гордости ответил Лейзеров. — Вы бы ее к работе среди эвенкских женщин приспособили. Необыкновенно талантливым народ, я их, правда, изучил мало, но так, по достижениям некоторых. Удивительно быстро ездят, например. На собаках так ездят...

— А по-моему, дранковый вы человек. Не поеду с вами.

Даже обернулся слегка Лейзеров. Уходящие ноги ступают твердо, словно колотушки, которыми сейчас будут разбиты эти аккуратные колени.

— Товарищ, вы забываете ответственность. Быт целого города республики в опасности.

Колотушки, заглушая стук колес, ухали по колеям, «Солидный мужчина», — подумал Лейзеров, но тотчас же проговорил вслух:

— Однако! Как он про дранковый... Дрянь. Дрянь. Драный. Дрянь. Ага! Это — та дрянь, которую для штукатурки употребляют. Ну, какая же я штукатурка, то

есть для штукатурки? Не понимаю! Разве дерево в смысле красоты? Из какого дерева дрань? Кажется, из дуба.

И, с легким удовлетворением, кладя портфель на острые колышки, добавил:

— Конечно же, из дуба. Солидный и умный мужчина... да и женщина его ничего, милая.

Пьяные становщики бродили в обнимку по поляне. Штаны, выпавшие из голенищ, треплясь, подымали желтые копыны пыли. Из этих копен виднелись только неподвижные, наполненные мертвым хмелем лица. Они ревели такие же неподвижные песни.

Егор лежал под сосной на куске войлока.

Со скуки думал он об отъезде, о губернском городе, где нет тайги, где единственный сад разбили назад тому два года, где дома из кирпича. Надоел ему запах прели, грибов, деревьев, которые прут в небо, словно смеясь над человеком. Жалко было действительно бросить дорогу, но теперь только он понял, какими дураками они были, когда одни, без землемеров пошли. Пролетный, птичий путь! Нет, видно, опять веди эвенков на улусную дорогу, опять мчись на анасах полторы тысячи верст, опять...

И он с усмешкой закрыл рваным мешком землемерную цепь и свой компас с дрожащей сизой стрелкой. Сделал это он как-то боком от Маньши и, чтоб веселее было, — даже слегка засвистел.

Характерное цоканье оленьего бича донеслось по просеке. Егор обернулся. Какая бронзовая прямая просека! Кому не жалко, если зарастет она? Сначала робкий березняк, затем осина и, наконец, давя всех в сопровождении медведя, выпрыгнет со своей шипучей кроной сосна. Обовьет корнями, сгнившими стволами, сольется крепкими, как кремень, ветвями и скажет: «Будет, побаловались!»

Трехпарная упряжка оленей, анасы, показалась на колеях. Неистово, не глядя на русских, гнал ее эвенк. За ней вторая, третья, седьмая. Все возы наполнены гикающими эвенками. Еще анасы, еще...

А позади всех, блестя очками, трясется в трашпанке Лейзеров и вопит чуть разборчиво:

— Топоров, топов, товарищи!

И вот сотня неумелых топов врзается в жухлую чащу.

Не успел Егор подняться на ноги, отбросить кошму, как завалена тропка спиртоносов срубленным стволом. Ствол этот оттащен. Валится другой. Тропа на пол-аршина засыпана маслянистыми желтыми щепами.

Значит, не совсем сгнил лес, коли смолистые щепы?

Значит, не совсем завязают в прели топоры?

Не совсем!

Потому что в ряду с эвенками, звеня лезвием, как при улыбке зубами, идет на чащу Маньша.

У Лейзерова руки на портфелике, револьвер сбоку немело, как кожаная заплатка на ситцевой рубашке. От умиления, что ли, или от гордости пропотели очки.

— Мой разговор с ними, — сказал он Егору, — был чисто экономический. Я говорю: привез вам для зимней охоты мешок, восемь пудов. Это на котором я вас сидеть приглашал. Восемь пудов пороху. Пойдете рубить — отдам бесплатно, не пойдете — на золото менять не буду, хоть фунт на фунт. Промысловая кооперация своей чередой, а интересы республики дороже. Сознательное племя. Моментально согласились. Даже качать хотели, да я отказался.

О качанье он, положим, соврал.

— Пока я, товарищ, руководство беру на себя. Нда... На себя. До заключения ревизионной комиссии. А эти субъекты пьют?

— Пьют.

Он посмотрел на неподвижное лицо Егора. Где-то у левой брови билась, стремясь к векам, розовая жилка. Так билась, что казалось — бьется все лицо.

— Ничего, товарищ, они перестанут. Вы передайте — они могут идти по домам. Считаем невозможной дальнейшую совместную работу. Очень просто — и нечего им пни облевывать. Такая грубость!

Становище чуть тлело сонными искрами костров. Давно костры эвенков перегнали русские костры. Изредка, от гула взрывающейся скалы, проснется пьяный, посмотрит на дымный столб, подумает — грезится ему во сне взрыв, солнце, светящееся ночью, у костра громадный неподвижный Егор Кушнарченко. Опять опустит будто прелую голову.

Сыплется тленью, червями от каждого взрыва, сыплется на просеку жухлый лес. Целые насыпи мелкого, как

пепел, лесного праха по краям просеки, но если даже налетит буран — не заест жухлядь колеи.

Широкую, как на масленицу, радостную просеку прокусили руки эвенков.

Охлябью на лошаденке подскакал молодой красноармеец — подрывник. Шлем у него на нос, и грязная захватанная звезда словно подмигивала с его лица Егору.

— Дяденька, товарищ Лейзеров командировал насчет динамиту. Весь студень израсходовали, а скала над самой рекой. Не взорвать, обходу никакого нету. Горы кругом — могила.

Он как-то по-детски охнул.

— Динамит весь вышел. Незачем и посылать. Товарищу Лейзерову было известно, я докладывал. Все-таки где, говорит, может, завалился?

— Весь. Шнура могу дать.

— Нам не вешаться.— И он с обиды даже звезду передвинул на затылок.

— Так и скажи.

— Видно, так и придется сказать. Ничего, мол, нет!

Красноармеец лихо ударил голыми пятками в пузо лошаденки. Пузо глухо екнуло, и лошаденка понеслась.

Взрывы прекратились. Лейзеров объявил отдых. Дорога уперлась в скалу. За скалой круто ревела река. Эвенки легли спать. Они спали в ряд, на спине, с открытыми лицами. Чадили костры.

Плохо дремалось ямщику Каргу. Думал он завести себе малицу после зимних охот. Малицу разошьет цветными сукнами. Говорят, где-то там, за тундрой, где летом закатывается солнце, люди шьют малицы сплошь из цветных дорогих сукон. Все-то врут. Шубу из цветных сукон. Ведь тогда бы он, Каргу...

От таких мыслей не поспишь.

Каргу решил пройти к скале, которую завтра обещал взорвать человек с глазами позади круглых окон. Оконный глаз, Мосейка. Обещал порох. Куль с порохом у него крупнее куля муки. Сколько зверья помрет из-за такого мешка? Много! Сильно много. Как мух, много зверья. Ого! Какой Каргу умный! Как комара, много зверья.

Да еще сегодня говорили меж собой, будто старый леший Нямням нашел лисьего князька Хабу и будто бы убил,

Врут!

Его убьет из этого пороха... Ха, кто его убьет? Только не Нямням, старый безглазый леший. Давно бы ему надо подохнуть.

Каргу шел босиком. Это на работу ходят в обуви. Гуляют веселые люди всегда босиком.

Так-то так, но почему же не спит стеклянный глаз, Мосейка? Спиной к Каргу, без верхней рубахи, наклонился он к мешку, в котором у него порох. Крадучись (здесь Каргу, по охотничьей привычке, присел) идет он с кожаным портсигаром, в котором он ищет всегда какие-то бумажки. Портсигар величиной, правда, в три кирпича, и в него папирос вошло бы столько, сколько сосен в тайге. Портсигар плотно набит, почти круглый. Мосейка несет его с трудом. Оглядывается. Каргу приседает. Оглядывается. К дыре, просверленной для гремучего студня, от которого скала рассыпается, как старуха... В дыру сует портсигар. Забивает, и только, как язык, торчит из дыры красный шнур.

Всегда показывали эвенкам, как закладывают гремучий студень, а тут Мосейка сказал:

— Отойди в сторону!

Отойти, почему не отойти? Своя голова не скала, жалко. Но, отойдя-то, и сказал хитрый Каргу друзьям. От малицы к малице и пошли его слова:

— Почему ходил Мосейка к дыре, ходил и нес кожаный мешок? Почему прячет куль с порохом? Почему не показал нам сегодня, как кладут гремучий студень?

Открывшаяся после взрыва река имела сырой запах крови. Острые камни, словно ножи, торчали из пены.

И в открывшемся проходе, глядя на реку, громко спросил Мосейку хитрый Каргу:

— Почему ты шел ночью с кожаным мешком к дыре, Мосейка? Кому ты еду нес в мешке?

— Я хотел ловить рыбу и нес приманку на удочку, — ответил Мосейка. — У меня есть сильно длинные лески, которые возьмут через всю скалу.

Разве с русским поговоришь? Русский — если не пожалеет языка — языком взорвет скалу.

— Или врет, или вправду, — сказали эвенки, — надо, выходит, пойти к другому русскому. Тот очень счастлив, сидит на поляне и жрет спирт. Счастливые всегда справедливы.

— Надо,— подтвердил и хитрый Каргу.

Лейзеров, близоруко щурясь, стоял там, где крутой обрыв спускался к реке, имеющей запах крови. Через реку ревел лес, скаты Гайленских гор дымились вдаль, и небо было пустое, серое и низкое.

Закон тела — любовь, закон тайги — топор

Толпа сжалась. Сухой перегар водки и давно немытого тела, как пологом, застлал Егора. Ему захотелось подняться на дыпочки.

— Вре-ет!..— закричали из задних рядов.

— Конечно, врет, какой там расчет? Погулять пельзья?

— Сместили его, вот и мутит. Рубить не пойдут, дескать, без него.

Чей-то тонкий дрожащий локоть упирался ему в бок. Махнув рукой, он рванул рубаху, и большой клоч гнилого сатина остался в его руках. Он растерянно держал тряпку. За толпой у костров валялись солдатские манерки. Тощая собака, поджав хвост и оглядываясь, тащила одну манерку в кустарники.

— Согласно приказанию товарища Лейзерова мне поручено сообщить вам о расчете. Такие прогулы мы не потерпим. Скажу кратко: идите в город, там и разъяснят...

— Сто верст? Сам шагай, сволочь!

— У бабы уселся в штанах! Пищишь! Иди сам!

— Товарищи становщики...

Гул пронесся над толпой. Чей-то камень попал в собаку, волочившую манерку, и на визг все обернулись. Собака, ощерясь, присела на задние лапы, а передние лежали на чьей-то брошенной лопате.

— Бери струмент,— завопил Щокур,— пшла, стерва, с лопаты. Обгадишь еще со страху. Струмент, паре, бери! Пошли к реке на работу!

Он подхватил лопату, по дороге со всей мочи огрел ею собаку. Та, иступленно визжа, закружилась. Становщики захохотали, и кто-то ткнул ей, подкравшись, головню в бок. Запахло шерстью. Хохот увеличивался.

Мотая похмельными, тяжелыми головами, они затянули песню и пошли к дороге. Последний замешкавшийся степенный и рослый мужик, в синем озяме, поднял было

кирку, чтобы добить собаку, но раздумал и, держа кирку на отвес, сказал Егору:

— Тебе бы лучше за бабой следить, если нашей работы не уберег. Тунгусов выпустил! Еще по-приискательски котелок раскалят да на голову. Потом и думай.

И он легкой походкой пустился в догоню.

«Так ли? Будто не так», — думал Егор. А все же остался он один на поляне подле разметанных костров. Нет даже угля в кострах. Закурить не от чего. Опасаясь пожара, тщательно залили становщики костры. Ему угля не оставили. Словно он труп. И никто не подумал — а не пойдет ли он с ними в глубь тайги, к Мосейке. Робить.

Визжала израненная собака, но и она скоро убежала за становщиками. Она хромала, и кровь ее в пыли скапывалась черными шариками.

Все то же бессонное солнце посредине неба! Бессонная у него здесь, в тундре, кровь!

Кровь? Разве следит за бабой? Кровь следит? Будто — следит. С такой бабой — камень кажется мягче гагачьего пуха. От твердых, словно замороженных щек скользит рука по длинной и круглой шее. Такая осина бывает один час, когда снимешь с нее кору. Горький сок течет по белому стволу, и рука, дрожа, застывает на горле, где кадык походит на только что родившегося цыпленка или воробушка в руке. Чье-то сердце, чья-то кровь течет под твоей ладонью. Будто по тем извилинам, по которым гадают цыганки. Ниже — крутые ребра, готовые поддерживать в тугом животе хотя бы пудового ребенка.

Прямая у него всегда была борода. Лежа с ней рядом, от горячего ее дыхания завивал бороду лучше, чем на огне.

Разве можно не следить за такой бабой?

Вот для остуживания крови, той, которую он не мог остудить, она подняла топор. Не таким топором рубят кровь, не таким, матушка!

И, сам не помня своих мыслей, облепленный жужжащими комарами, в расстегнутой рубахе, шагал Егор по следам становщиков.

Товарищ Егор Кушнарченко, ссыльный крестьянин из Златоустинского уезда, позже комиссар Четырнадцатого Вятского полка на денкинском фронте — трижды ранен-

ный, герой, удалец, не дурак выпить,— как ты попал в Айкенскую тундру?

Мандат. Чрезвычайно просто. Знает местный быт. По-езжай. А тут кстати — пролетная дорога. Птичий путь через Гайленский хребет, через Салаирскую долину, мимо реки Чала, через нее вернее, по горе Тагасы, по тайге, через поток Обо, выше по... Но кто знает, что там дальше. Птица?

Здесь опять мысли о бабе. Ей простое слово:

— Пошли!

— Куда?

— К черту, обратно. От сумасшедшего дурака Лейзерова, от его окуляров, портфелика и жидких кисельных ног.

Но вот на повороте перед скалой, которую Лейзеров взорвал порохом, стоит плетеная таратайка. Лошадь, отмахиваясь хвостом и даже слегка лягаясь, косо следит влажным глазом за носящимися оводами.

Под тележкой портфелик, жиденькие ноги на брезентике.

И сразу Егор вспомнил весенний сеновал, свое плечо, заслонявшее роговое лицо Лейзерова. Что ж, лошадь будет теперь заслонять своим плечом его, Егора Кушнаренко?

— А, сволочь!..

Но Лейзеров уже поправляет на потном носике очки, уже крутит круглые свои слова — кедровые орешки. Гнилые орешки, третьегодняшние.

— Нда... Поскольку женщина имеет право распоряжаться собой и поскольку ищет она любви той, которую она себе намечает для своего счастья, мы должны не мешать ей. — И он продолжал с той книжностью фраз, которая была свойственна ему и которая смягчалась его нежным и словно светлым голосом: — Рост разумного существа обуславливается содружеством особей, к тому расположенных... Если она наметила меня?..

Маньша стоит, прислонившись плечом к коробку траппанки. Смуглая кожа ее плеча поцарапана и ворот кофты без пуговиц. А ногти у Лейзерова давно не острижены и словно заржавели.

Посмотрел вниз Егор так, будто ногти того внизу валялись под телегой (хотя они недурным жестом торчали из кармашек гимнастерки), и для себя больше спросил:

— Кокнуть его?

Лейзеров — сообразительный, словно всю жизнь сам у себя наиответственнейшим секретарем был. Он-то знает, какое яичко хочет кокнуть Егор. Лейзеров — круглоголодный, но он выпрямляет грудь и говорит:

— Сделайте ваше одолжение, гражданин. Но предупреждаю, что перед республикой ответите. За все. У медведя кулак вдвое больше вашего, на него я бы не обиделся, а от вас глупо и слышать. К тому же не мешает подумать о ревизионной комиссии. Личные же дела лично и устраивайте. Но вековые цепи рабства пора сбросить.

Какие тут личные дела? Так, мзга, туман на горизонте, там, где небо сливается с землей. Вот и наша жизнь!

И не оттого, конечно, так подумал Егор, что Маньша улыбается во весь свой сильный рот.

И не оттого — пошла, колыхнулся кузов трашпанки ей вслед. Кофту оправляет на мосту, сооруженном из четырех пар сплотненных бревен. Становщики крепят бревна, сами по грудь в воде, в пене по бороды. Кричат:

— Юбки выше подымай, потонешь!..

И хохот.

Будто помнится — каким узлом учили его становщики вязать плоты. Узел, помнится, проходит две петли. Ива, которой крепят бревна, скрипит, вьется, скользит и пахнет илом.

— Упадешь, моржовый нос!..

— Не терпится, подождала бы. Не на свадьбу.

— А и крой ты, иди, медвежья невеста!

— Угу-у!.. Иди!..

На медведя такой крик. На силу, которая идет.

Поднял Егор кулак, махнул.

Тоненькая, словно сквозь нее оводов видно, грудь топорщится перед ним.

Кулаком он — о кузов трашпанки.

Метнулся внутрь, схватил веревочные вожжи и какой-то слегой — по спине, так, что пот брызнул, будто баба вальком по белью ударила. Из конской спины пот и кровь.

Всеми копытами забила лошаденка об колеса. Завились, как вожжи, оглобли.

Ноги его вышибли прочь облучок. Высоко над головой Лейзерова пронеслась эта просиженная доска.

И пыль. Вопль вслед:

— Документы!.. Товарищ Егор, портфель выкинь! Увезете!..

Несется слега над лошадиной спиной, вожжи кольцом, колени наворачиваются на колеса.

Оглядел свой револьвер Лейзеров — тот, походивший на кожаную заплатку по ситцу. Кнопку было отстегнул.

— Что касается стрельбы, то нелепо стрелять в такого идиота. Портфель жалко. Ясно, если вдумчиво и внимательно отнестись к его нуждам. Ясно... нда...

А у становища, на сто третьей версте, ждали Егора хитрые эвенки. Тут был Каргу, для храбрости попросивший у одного из красноармейцев шлем. Он его держал в руках и тыкал все время в звезду пальцем.

— Твой тотем — такой. Мой — олени рога, зачем нам друг друга врать? Ты счастливый был, спирт пил — зачем тебе меня обманывать? Если Мосейка к мешку с порохом, который нам обещал, наклоняется и берет? Кожаный мешок делается полный, и в дыру, которую надо разорвать, как мышшь, пулей — в дыру еле-еле лезет, — не от этого ли мешка взрывается дыра, и скала расплзается, как сметана? А?

Подожди, русский, натягивать вожжи. Каргу хитрее тебя сто раз. Каргу легонько берет вожжи из рук русского.

— Я там больше не служу. Моей работы там нет. Я ничего не знаю, граждане.

Да, вот языки у русских. С такими языками только святыми быть. Сам по каким-то делам, может, за спиртом, едет в город на трашпанке Мосейки. Поговори с такими!

Хотелось бы посмотреть эвенкам: есть ли кто хитрее Каргу? Они хохочут даже раньше, чем он откроет свой мудрый рот.

— Пускай не знаешь. Тогда ты мне скажи, есть ли еще в Айкене такие кули с порохом, или этот последний? Если есть, нам что ж беспокоиться?

— Не знаю я ничего.

Ну, нашла стрела на стрелу, костяные наконечники. Однако посмотрим, как выкрутится Каргу.

— Если не будет пороха — хорошо. Мы думаем из луков стрелять! Мы же привыкшие. Спрашиваем, много ли заготовить мы должны пороху. У!..

Они все улыбаются. Ну да, они поэтому только и спрашивают.

— Удалось!

— Ай да Каргу! Вот лиса.

Русский перегнулся с тележки, смотрит в глаза и говорит медленно, даже со страхом:

— А коли порох-то последний?..

Каргу, одерни тех трех дураков, схватившихся за нож! Рожи их одерни! Ведь не подыхаешь еще, ведь деды твои когда-то хорошо попадали из луков, а теперь — лук в западне, а в руке твоей мозг — ружье. Губы одерни, не скаль зубы! Не горло же рвать зубами!

Будто и хотел русский Егорка сказать. Или торопился и некогда было ему думать. Быстро подобрал вожжи.

— Другим порохом взрывает. Динамитом. И в Айкене пороху — амбар. Советская власть сильна.

Поглядели на закрутившиеся колеса эвенки. Довольные переглянулись, и Каргу сказал:

— Надо бы мне посмотреть в тундре того, кто хочет убить князька Хабу. Хоть бы и старого дурака Нямпяма.

— Да, найдешь. Есть ли еще в тундре кто хитрее тебя, — ответили с восторгом эвенки.

Из северных областей тундры шли к лесам кочевники со своими стадами. Себе — за топливом на зиму, стадам — нетронутые пастбища. Несколько таких незнакомых чумов увидал Егор.

Под сырыми длинными тучами встретил Егор возвращающихся из Айкена красноармейцев. Егор тоскливо, вяло оглядел их и, словно удивившись, что с ними нет спиртоносов, спросил:

— Куда вы их dospели?

— Сперва в милицию. Пожалел их кто-то и выпустил. Теперь у Сократа живут.

— У Сократа? — переспросил он. — Ну, и пускай у Сократа.

Долго стояли красноармейцы, словно ожидая, не вернется ли за чем Егор. Кобчик сделал много кругов над осокой и три раза падал в траву.

Тогда один со всей ему доступной мудростью сказал:

— Баба. От нее. А без бабы нельзя.

— Без ба-бы — столб.

*Ясно видно кругом желтоватые лайды и бурые
гребни далеких холмов*

Он был одиноким, этот день. Так ясно, что за версту, казалось, разглядишь крыло птицы, лениво свисавшее с ивового куста. Птица думает — не пора ли подымать свое крыло на юг? Ей лень, и она смотрит на север, где от моря по тундре начинается завывать пурга и ледяные горы упрямо тычутся звенящими синими лбами в желтые береговые скалы.

Но если в лайдах была осенняя озерная ясность, то в горницах Сократа Пузырькова словно все залито вязкой тиной.

Стлался желто-серый махорочный дым, мелькали серо-красные десны спиртоносов; хватая потрескавшиеся стаканы со спиртом, они, словно киркой породу, долбили судьбу ругательствами.

А позади стола, расставив опухшие (будто шире туловища они теперь) ноги, с пустой деревянной чашкой, — Егорка, прозванный теперь спиртоносами почему-то Речкой. От беспрерывного пьянства его лохмотья тоже кажутся распухшими и склизкими.

— Налей! — ворчит он над чашкой одинаковым голосом последние две недели.

— Чем платишь? — спрашивает старый спиртонос.

Спиртонос не зол, не скуп. Вспоминая хорошую встречу у тропки из жухлого леса, он иногда дает водки даром. Но город через две недели будет в пургах, город сохнет, из Айкеня надо бежать, и нечем больше разбавлять спирт.

— Налей!

— Сиди... сиди... Чем платишь? Вшами. Ружье отдашь?

— Не дам ружье.

Эти три слова он говорит вяло. Он и сам не верит: разве ружье не пропито? Зачем ему ружье с одним патроном? Да и последнего патрона пистон покороблен. И чем заряжен патрон? Дробью? Бекасником? Нет, картечью. Оленей бить?

Егорке бить оленей?

Обносивший вокруг стола похлебку из брюшины Сократ щедро плеснул в деревянную чашку Егорки.

— Мне спирту.

Сократ уже выдавал по тоненькому ломтику хлеба. Ломтиком Егора он обнес. Айкень готовится к буранам, а пища с юга так и не везут. Говорят — будут выдавать в городе по осьмушке на рот.

— Не будешь жрать? В обрат вылью.

— Съем.

Без ложки, забыл о ней, роняя брюшину на штаны, Егорка торопливо пьет похлебку. Чисто собака! Что, ему лень протянуть руку за ложкой? Каторжник и тот в тайге носит с собой ложку. Спиртоносы глядят на него с презрением.

Похлебка обожгла ему горло и желудок. Голос у него потвердел.

— Какое седни число?

— Осень,— кратко, сопровождая пояснение канальным матерком, отвечал Сократ.— К могиле дорогу ведут!.. Сказывали седни на площади, будто наступила новая революция, и наши большевики для спасения выдумали дорогу через хребет. А дорога та в пропасть.

— Я ему когда говорил,— кивает спиртонос на Егорку,— он человек справедливый, понял, ушел. Али согнали тебя с партийного билета-то?

Егор молчит. Бутыль обступили люди. Они все прибывают. Пол в горницах затоптан и захаркан, словно с ухода Маньши не мели его. И толстый Сократ, у которого всегда были такие запашистые ситцевые рубахи и синие глаза, тоже словно захаркан.

Пьют от дороги, пьют от тоски. В омут идет дорога, и к тому же заставили верить всех, что в рай. На дорогу убухана вся городская жратва.

— Налей,— говорит один, кидает монету спиртоносу и уходит, выругавшись на пороге.

— Налей,— говорит другой, останавливается у стола и кричит Егору: — Ты мне правду скажи!

— Какую правду? Сами ее выдумали, сами и верьте!

Плевать Егору на все дороги. Пропьет оставшееся ружье и поступит на службу. Делопроизводителем хотя бы, бумажки подшивать.

Сам он не ест который день. Много верст прошла дорога с той поры, когда он пообедал последний раз.

— Пей,— наливает ему какой-то курносый с синим прыщом на широкой губе,— пей, и поцелуемся.

Егор целует и еще пьет.

— Дуй! Я тебя за удалство люблю. Захотел девку — упер. Захотел плюнуть — и прямо в шары.

— Ты мою девку не дай,— несется на него Сократ. В кулаке у него разливальная ложка.

— Была девка, а теперь баба Мосейки,— визжит прыщавый, подставляя под бутылку стакан.— Ты за Мосейкина сына выпей, она так режет — в очках, грит, непременно рожу.

Егор выхватывает стакан у прыщавого и глотает. Стакан вдребезги. Об пол.

— Бе-ей,— визжат у протенка в истошном веселье незнакомые голоса,— хозяев в первую голову дуй!

Егорка подымает громадный опухший кулак над прыщавой губой угощателя.

— Мой сын, говорю! Не может от Мосейки быть сынов. Мой!..

Прыщавый приседает, нырнул меж ног и хлопнул костлявым кулачком по заду.

— Там по волосам разберемся.

— Мой,— орет Егор,— ублю!

А прыщавый носится где-то в темных углах. Сейчас только разглядел Егор — нет давно электрической лампочки, тюлений жировик на столе. Найди-ка меж лавок теперь прыщавого. Лавки шире кровати!

— Тише, ты, черт,— кричит один из спиртоносов, у него необыкновенно плоская, как тарелка, голова.

— Я черт? — спрашивает Егорка.

— Нет, архангел Михаил!

— Я черт?

— Отлипни ты, халипа...

— Значит, я черт?

— Привязался. Черт в ботале! Ну?..

— А, в ботале!

Раз! В глаза.

Спиртонос на стакан. Стекло в нос. На стекло — кровь.

— Крой Егорку,— вопят спиртоносы,— режь его на нашу голову.

— Режь!

— А, меня резать? Егорку?

И широкая, как кровать, скамейка понеслась по головам. Жировик зашипел синим огнем. Потух.

— Матушки, зарезали,— охнул кто-то по-бабьи.

И в хрипоте, вое и смраде выскочил Егор в сени. Схватил из кладовой свою берданку.

Вдруг вспомнил.

Один патрон.

А в темноте, может, в зряшного человека всадишь.

— И ну ва-ас...

Распахнул тесовые ворота и понесся по улице.

Уже солнце исчезает с тундры. Уже осень и лиловый мрак над осоками, ягелями и хвощами.

...Несется Егор, размахивая ружьем, вдоль острокры-
пых улиц. Выцветшие сизые окна. Люди от голода пьют
моршковый густой чай, пекут лепешки из грибов. Там,
за сизыми окнами, тоже тоска о дороге.

— А...

...Вот первая верста. Он вкопал ее своей лопатой.
У лопаты, помнится, крашеный черный черенок. Кто
же красит черенки? От почтения разве? К Егору, ко-
нечно.

Дальше — мелькают лайды, изогнутые полярные бе-
резки. Волк сделал несколько легких прыжков в кустар-
ники.

Версты мелькают, как пальцы.

Началась просека. На сухой наклоненной сосне сидит
белая сова. Легкая морозность заволокла даль, и сосна
за десять шагов кажется моржом. Да, осенью иногда глаз
обманывается еще хуже.

Просека скачет и вьется. Версты все короче и коро-
че. Несколько овражков. Гуси лениво поднялись при его
приближении.

Еще лайды. Еще бурые холмы. Морозность унес ве-
тер, и стало ясно, как утром.

Вот сто третья верста! За ней поворот в жухлый
лесок; похоже, что дорога кинулась, надломив свою ду-
шеньку. Взорванная скала и тут.

Тут Егор сорвал с плеч ружье и вставил патрон.

— А, су-ука!..

Нет, пистон не покарябан. Пистон зажжет порох. Как
она тогда распахнула дверь. Как она тогда зажгла
сердце.

...За последней хатенкой, у айкеньского кладбища, нашел возвращавшийся в тайгу ямщик Каргу счастливого становщика Егора. Он был ободран, в крови и спал головой к тайге. Ружье лежало в паре саженой, рядом. Лежит, счастливцев, и бредово воет.

— В тайгу хотел идти,— решил хитрый Каргу.— Погулял, и будет. Надо работать, нельзя же быть все время счастливым.

Каргу взвалил Егорку на воз, накрыл гусом и понюхал рот.

— Опять пьян,— прошептал он с восторгом,— и где он только находит?

Так и спал почти всю дорогу под гусом Егорка.

На повороте сто третьей версты подтянул к себе винтовку.

Нет, единственный патрон давно лежал в ложе. И piston все-таки был покаябан. Видно, пригрезилось, что цел. Видно, пригрезилось, что в час прибежал на сто третью версту.

Мост над бревнами

Разведчики опоздали с возвращением на три дня. Охотились они или заблудились?

Лейзерова в эти дни схватила лихорадка. Его отрепанная записная книжечка подпрыгивала в его иссохших пальцах. Но глаза все с прежним же любопытством наблюдали, как Маньша варила осиновый настой, заменяющий в тех местах хину.

Лоб, казалось ему, свертывается, как береста, от жары. Он обижался, что не мог на слух определить, сколько топоров звенит в тайге. Маленькие серебряные молоточки, заглушая топоры, звенели в ушах.

— Пропорцию осины впиши в книжку,— даже привставая, сказал он, когда она наливала настой,— надо сообщить по инстанции, как народное средство. Нда... Разведчики не стреляют?

А вечером в широкий поток Обо начала прибывать вода. Она постепенно пеной заглатывала торчащие бурые камни, лепилась по сваям моста, все выше.

Единственную лодку становщика пришлось привязать к кустам, втянуть ее к яру.

— Пройдет, с дождей вчерашних,— сказал Лейзеров, выглядывая в прорез палатки.— Разведчиков не слышно?

— Говорят те, нету.

— Волнуются только неорганизованные индивидуумы, имеющие перевес инстинктов над сознанием.

И он долго, пока не охрип, говорил о зверином воспитании. Чуть что — за нож. А надо — за мысль!

— Только мысль обуславливает движение прогресса, то есть передовая мысль. Иначе...

Сначала будто и скучно слушать эти книжные слова, а потом все же прошибает. Пылко говорит человек, резко, а главное, от чистого сердца — для всех.

К вечеру возвратились разведчики. Предводительствовал ими Петрован Щокур. Одно ухо у него было порвано в чаще; длинную и гибкую какую-то, как веревка, шею он держал вкось.

— Ливень в горах был матерущий. Така волна на нас прет. Быдто гора! Все к ядерной бабушке смое! Из речушки одной бугор размыла в промежье и с нашим Обо соединилась.

Однако и воды! Пока мост не снесло, надо идти обратно.

Выставив острый нос, по которому скакали роговые очки, Лейзеров лежал под двумя тулупами и гусом.

Очки его при словах Щокура подскочили еще выше.

— Ни в коем случае! Жду из Айкения нарочного, Каргу едет. Должен быть на месте следования, то есть у нас, завтра утром. Раньше завтрашнего никаких решений не будет.

— Мост снесет, а там, товарищ, жди, когда река замерзнет. С голоду подохнем, поколь холода.

— Превосходно, превосходно, товарищ. Каковы результаты разведки? Проходы есть? Дневник путешествия согласно распоряжению моему вели? Каковы те скопления воды в горах, которые могут ринуться на нас?

Дневник по неграмотности своей разведчики вести не могли. Гайленский проход существует, разве что зимой будут снежные обвалы. Там криволесье и пропасти.

Тулупы поползли с тощих его коленок.

— Меры, меры примут! Я же говорил — пройдем. Через проход, а там по скату вниз, Маньша, сколько нам предписано еще верст пройти?

— Пятьдесят, — ответила Маньша.

— Надо спешить, осень. Надо провизию везти в Айкень. По всем данным — голод. Каковы объемы вод? Много воды вверху, говорю?

— Да, воды много.

— Надо было отвести в сторону, где нет поселенного жилья.

Чудак этот Лейзеров! Провел какой-то хилый мост через Обо, дал ему имя какого-то революционера, стаповище разбил возле потока и утверждает — не беспокойте моего жилья. Отведите горные реки.

Черта ли горным рекам от твоего жилья? Разнесут твой скрипучий мост по щепочке, по клинышку, саданут по тайге, с треском ломая столетние деревья, — разыскивай там после твою брезентовую палатку.

Воды, густопенные и тугие, прибывали.

О сваи бились несущиеся с верховьев подгнившие стволы. На одном из деревьев, тесно прижавшись к коре, проплыла рысь.

Услышав про зверя, Лейзеров попросил помочь ему выбраться к реке. Ноги его подламывались, как гнилая кора.

Тогда звенки положили на жерди малицы, а на малицы — Лейзерова. Острый сучок давил ему в бок, но он промолчал, так как вспомнил «Полтавский бой» и даже стишок оттуда:

...В качалке, бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился.

И потому, может, взглянув на бушующую реку, сказал:

— Величественное зрелище.

Хотел перевернуться на спину, но носилки чуть не рассыпались, и он приказал тащить обратно. Он теперь попробует еще компрессы.

Щокуру очень-то не верили. Полагали, вода от дождя понесет, побьется и перестанет. Ночью с тундры полетел северный ветер с косым дождем, задул костры, промочил, как сквозь сито шалаши, засвистел, загукал по мосту, сорвал с цепей лодку и разбил ее о сваи.

И тогда становище кинулось к палатке Мосейки. Шубы его были тоже промочены, палатку сорвало с прикольев.

— Граждане,— сказал он,— не волнуйтесь. Верному человеку, при первой вашей попытке к возвращению через мост, приказано стоять и караулить его неподвижность. Я думаю — выстоит. И нет нужды падать вам вместе с этим сооружением в поток. Возвращайтесь и разжигайте костры для обсушки. Верный человек стоит на мосту и стережет.

А верный-то его человек, на самом деле, в это время разыскивал по кустам унесенные ветром штаны Мосейки.

— Главное, ждите терпеливо...

Теперь мы перейдем к продолжению истории о хитром ямщике Каргу.

...Видите ли, Каргу давно подозревал — неладное там делается с порохом. Почему один Мосейка с Маньшей делает взрывы и где они держат гремучий студень? Пожлясться всеми идолами можно — опять нас желают надуть.

Вот об этом, боком, переспросил Егора по дороге.

— Порохом взрывает,— сказал спокойно Егор.— Давно в Айкене нет динамита, и порох, что у Мосейки,— последний.

Захлопал, заударял по самым больным местам себе Каргу. Хо, какой хитрой и грязной веревкой опоясан мир! Как пойдешь по этой веревке, так и в яму!

— Почему ты, Егор, раньше не говорил такие слова?

Егор подтянул колени к бороде, опухшие красные веки его неподвижны. Молчаливый и скрытный, как колчан.

— Поди так врешь. Надо же и тебе посмеяться над хитрым Каргу.

И пристал: врешь и врешь.

Сунул ему Егор патронташ. Пустые патроны, и только ружье заряжено — последним.

Выходит — правда.

Выходит эвенкам другая дорога.

— Как же? Работали и не спали, Егор? Сон был короче рюмки. Лучше приисковых рубили тайгу и ворожали камни, порох, думали, получим. Белка за вашу войну наплодилась больше комара. Как же?

Молчит Егор.

Борода у него грязная, спутанная, словно торф жует. Колени стучаются в ухабах. Жует бороду, как сжевал он эвенкскую жизнь. Счастливый, пил, — теперь еще что-нибудь выдумает. Эвенки все передохнут, а об нем песни будут петь.

Паршивый, вонючий барсук! Так бы тебя надо ругать. Ночь спустилась. Играли сполохи.

Стучит трашпанка, так стучит, будто Каргу со злости. Несет из тайги запахами мхов. Лошадь прядет ушами.

— Да и то гоню, — говорит, оглядываясь, хитрый Каргу, — куда тебе еще быстрее!

Егорка молчит. Поставил ружье меж колен и молчит,

Каргу согласится спеть о своей хитрости и ловкости. Два веселых человека едут, о чем им скучать!

Молчит, паршивый барсук. Его из милости, пьяницу, подобрали, а он с хозяином и разговаривать не хочет. Трусит, должно быть, как бы Каргу не разлился и не прогнал.

Долго ли Каргу рассердиться? Насупит густые свои брови, губу отставит и...

Но тут оглянулся. Человек не человек, кедр не кедр в трашпанке.

— Да гоню же, гоню!..

Так и молчал он до последнего рассвета.

А на последнем...

И сильно же шумит тайга, словно злится, что поток обо пересекает ее темный густой халат. Как к потоку ближе, так словно с ума сошла тайга. Клокочет, захлебывается, ревет. Будто горы обвалились на тайгу.

Послушал. Вожжи натянул.

Так.

— А ведь шумит вода, Егорка. А через воду мост.

Вот здесь-то и крикнул действительно Егор:

— Гони!.. Гони, курва!

Словно откидывая от себя не грязь, а свое мясо, обезумело понеслась лошаденка. Дорога, приближаясь к потоку, словно уже срублена. Словно нарочно под колеса попадают камни.

Выскочили на берег, а на том яру — через ревуший и дрожащий мост — кричат:

— Скорее!.. Скорее!..

Подхватил ружье Егор и, прыгая через пять бревен, через вырванные настилы, в которые все тело обдавало

студеными брызгами, побежал по мосту. Сутунки, обтесанные рукой человека, визжат об сутунки, обтесанные рекой. Гнутые вылезают сваи.

А Каргу...

Лошаденку — под уздцы, пакет за пазухой, жратву промочит, пускай. Только вступил на первую плаху моста, вдруг легонькая неживая рука отстранила его. Короткая, вылинявшая малица, стоптанные бродни, словно на жерди, отстранила его.

А в руках коротенькая шкурка лисички с белыми кисточками на ушах. Синяя шкурка. Синяя с серебром.

Кто скажет — это не пушной князек Хабу?

Кто его убил? Кто — великий охотник?

Кто скажет, что это не Нямням?

Старик легонечко, словно лисичка несла его, скользил по мосту. Скрылся на яру в толпе Нямням.

А оттуда все еще кричат:

— Скорее!.. Скорее!..

Кричите; хоть оглохните от крику! Кому вас жалко, дураков! Зачем Каргу пойдет теперь к вам? Ждите.

Несколько человек кинулись на мост. Наверное, помочь Каргу. Мост, с левого конца, затрещал. Полезли деревянные клинья. В разрыв хлынули покрытые пеной, вырванные потоком, деревья.

Каргу привязал лошадь к молодой сосне. Засыпал ей овса. Сел на пень и запел.

Пел он о своей хитрости. О порохе. О пушном князьке Хабу. О старом дураке Нямняме, который получит теперь десять тысяч за черно-бурого лисьего князька. Пускай бунтуют на том берегу, пускай кричат. Каргу долго будет петь, чтобы песня о его отчаянии прославилась на всю тундру.

Ясно!

*Только детальное обследование сумело бы
выяснить технические условия работы*

Прыгая с последнего бревна, перекинул Егор ружье с плеча на руку. Чье-то рукопожатие помешало положить ему палец на курок. Одноухий Петрован уже хрипел над ним.

— Тебя, что ли, послали?.. — пошутил Лейзеров.

А Маньша — за толпой стояла, будто нарочито выпятив живот. Лицо ее ожухло, как будто какая-то кора покрывала щеки. Если приглядеться, каждую весну разного цвета бывает кора на дереве. А рот все так же широко смеялся.

Его били кулаками в плечи, радостно хохотали в бороду и, как листок по воде, передвигали в толпе.

Немного смеющихся ртов все-таки было тут. И для одного Маньшина живота соврал во весь крик, через всю толпу, Егор:

— Отец твой помер с голоду. Перед смертью мне — повидай, грит, ее.

— Царство небесное, — ответила она.

Видно, не от вести о смерти отца скинет она ребенка. На него, на ребенка, как на скалу, стоит, опираясь, она. Всякие бывают сердца.

— Каково в городе-то? — кричали ему становщики. Как бы ответить ему?

— Ждут, — ответил он.

И все понимали, чего ждут в городе.

— Привез, что ли?..

— Чего молчит та, лапа?

Но тут-то и прыгнул на яр примечательный охотник Нямням. Тут-то треснул и расплозся мост.

А Каргу на той стороне сел подле трашпанки петть о своей хитрости.

Твердо, как в дверь, вошла в Егоровы глаза Маньша. Скинула приставшую к ее рукаву ляпку грязи и сказала:

— Ты б к Мосею прошел...

Всегда-то по-особенному крутится этот смешной Лейзеров. Теперь влез под тулупы. От цинги, надо думать, от лихорадки опух и посинел. Все же портфельик рядом, на раздвижном стулике, и очки протерты тщательно оленьей замшей.

— Временные технические комбинации задерживают несколько продвижение вперед. В технике лесных дорог многое не предвидено. Голодают там?

— В Айкене?

— Странные вы вопросы иногда задаете, товарищ Егор. Кажется, вы достаточно знакомы с моими практическими навыками. Ида... Мандат у вас есть?

— Какой?

— А что в партию и на работу обратно назначили. Без мандата я вас не приму. Не говоря уже о реабилитации, все мои уступки...

И завел свою пречуднейшую разговоринку товарищ Лейзеров. Со стороны посмотреть — паршивенький аршинный человечиска лежит под шубами. Желтые, высохшие от лихорадки ручонки, отеки под глазами. Так нет ведь! Рассказал подробно, как можно гнать древесный уголь, какая может быть осуществлена здесь белая энергия, или белый уголь, какая польза от выгаданных тысяч верст.

— У столетий вырвали тысячи верст!

Через неделю будет он иметь тысячу верст. Неплохо хочет аршинный человечиска.

Задохся, закурился, закашлялся.

— Какой грубый табак вы тянете, товарищ Егор. Все махорка?

— Все.

— Нда... Вредна! Легкие ваши бычьи, а вредно. Температура у вас бывает? Редко? Любопытно, какая у белки температура! Она как птица носится с одного раскидистого дерева на другое. Удивительно быстрое животное.— И опять о новостях в укоме: — Не перемещали никого?

Что Егору до этого дурака, до себя, наконец, до дороги? Дойдет ли она или нет? Если явился сюда, то не для насмешечек же Лейзерова. Врать так врать.

— Мандаты мои и документы у Каргу. Я отдохну и пойду через мост.

Хлебнул Лейзеров какого-то отвару, посмотрел отвар с отвращением на свет, отставил подальше, но тут же сразу придвинул.

— Я вам верю, товарищ. Формальности после.

Действительно же верит, дурак. Действительно заблестели жирным южным солнцем глаза.

Вытянул руку, обтер об шубу, и все-таки пот тотчас же выступил вновь, сильно увлажнив ладонь Егора.

— Поздравляю!

А там позади, в палатке у дверей, десятские тоже лезут с поздравлениями. Давно не щупали Егора эти мозоли, давно не пахло подле него пропотевшей кожей бродней.

Молчать ему,— чтобы подумали: врет? Одно осталось.

Разгладил бороду свою, словно по всему телу.

— Мне поручено,— сказал Егор, глядя в пол,— привезти к вам на работы добавочную партию... в сто человек рабочих. Ускорить производство, значит, через них. Они позади идут. Следом за Каргу. Я отдохну здесь и вернусь за ними.

Тут Лейзеров даже привскочил на кровати. Выскочила из-под шубы грязная его рубашка, с полуоторванным воротом, показались жалко торчащие сухие ключицы.

— Я ж вам настойчиво, товарищ Егор, повторяю: мост разорван совершенно. И вообще за такое безобразие надо к стенке. Еще недавно просил я в Айкене помощи. Сказали — нет и не будет. Что же видим мы теперь?

Он натянул на себя шубу, очки прыгали где-то у него на лбу.

— Как вы полагаете? — спросил он с кашлем Егора. Егор отошел на шаг и сказал:

— Я ж ничего...

Поморщился болезненно Лейзеров.

— Терпеть не могу бессмысленного оружия. Период гражданских войн уже окончился, и ни к чему носить без надобности, когда эпоха экономического строительства... Сняли бы вы свой пулемет.

И Егор послушно спустил ремень берданки.

В крыло передовой птицы дует теплый ветер с юга. Ноги ее плотно прижаты к телу. Она не оглядывается на обгоняющие вереницы.

А внизу, на Гайленском хребте, дует ветер с севера, с тундры!

Сиплым свистом провожает птиц пролетная дорога, сиплым свистом в криволесье.

Здесь, на перевале, становщикам кажется, словно они опять попали в тундру, словно не прорубались сквозь мачтовые леса. Серые, в плечо человека ростом, на многие десятины тянутся густые заросли криволесья.

Издали кажется поросль, а наклонись к коре — и поймешь: от суровой полярной зимы — без снеговой защиты (все снега уносят бураны в тайгу, ниже), в леденящем ветре — эти деревья на десятки лет зачали,

скрючились и серым пластом жмутся к заболоченной земле.

И будто труднее их рубить, чем мачтовые леса, чем жухлость Салаирской долины.

В руки передового, Егора, дул колючий серый ветер с тундр. Он словно гвоздями прибивал пальцы к топищу, тяжелил, — леденил сапоги, ноги не держались на узловатых корнях.

Птица летела на юг и не удивлялась, что в этом году, как бакены на реке, на ее пролетной дороге виднеются черные чумы, и голубой дым из них тоже несется на юг.

Звук топоров словно замерзал.

К звонку колокольчиков в ушах Лейзерова прибавился еще какой-то шип.

Никому не жалуется криволесье. Оно упорно на многие десятины ползет Гайленским перевалом. Миллион, наверное, искривленных, сутулых деревьев. Кора у них в болезненных наростах, а корни — словно в ревматизме.

С кем бы плакать Лейзерову? Смешно подумать.

— Ты им содействуй, — говорит он Маньше, с печалью глядя на свою бритву «жиллетт». Она заржавела, и нет у него силы отчистить ее. Других просить брить его? Или чистить заржавленную бритву?

После Октября нет слуг в Советской республике!

Но не успела Маньша выйти — Лейзеров окрикнул ее.

— Помогите мне подняться!

И какой же он смешной, этот Лейзеров! Неужели не понимает, что у него нет сил подняться и сесть, не думая уже о ходьбе. Так нет, говорит, хочу идти! Эвенки несут носилки. Жерди теперь не распадаются, носилки вырублены прочно, и Лейзеров каждый раз словно видит их впервые.

— Откуда здесь носилки? — спрашивает он удивленно.

И ему стыдно спросить, не Егор ли ему срубил носилки. Он спрашивает о другом:

— Я вас, граждане, не отрываю от работы?

— Нисиво, — отвечают эвенки. — Плохо вот табаку нету. Травы сырой, мох сырой, дождик.

— Да, дождик, — соглашается Лейзеров, подтыкая под бока брезент.

Носилки качаются. Впереди сверкает топором Егор. Одна его спина шире носилок.

Голова Лейзерова укутана кругом шарфом, только остались одни очки. Слезающиеся глаза упрямо глядят на корявые, оттаскиваемые эвенками деревца.

— Не находите ли вы, — свешивается оп головой с носилок, — что колеи будто становятся уже?

— Не нахожу, — отвечает Егор, оборачиваясь.

Только топор сверкает ярче его глаз.

— Эвенку и вообще кочевнику, товарищ Егор, самое ценное в его хозяйстве — олень... Он питает, одевает и возит. Короче говоря, вся жизнь эвенка в оленях. Мне поэтому необыкновенно тяжело было отдавать распоряжение резать оленей эвенка. Но тем не менее река разливается шире, и ваша пицца окончилась. Вы, как мой заместитель, сообщили бы становищу, что...

— ...что Каргу приехал?

— С чего вы взяли? Да и вообще плюньте... об нем.

Егор повернулся. Томительнейшая тоска была на его лице. Очки у Лейзерова сразу пропотели, и медленно сказал он эвенкам:

— Прошу вас, пожалуйста, подымите мои носилки.

Так и не отошли очки у Лейзерова. Так и остался у него в памяти Егор с опущенным топором, серым, как криволесье, лицом и растопыренными по-детски пальцами.

— Готовится оленьё мясо, товарищ! Возможно, поспело, вы бы объявили паужин. Насколько мне известно, рабочие не ели со вчерашнего утра.

А в паужин принесли миску Лейзерову. Достал он от туда своей складной вилкой кусочек поменьше, поднес ко рту — и отложил.

— Тошнит!.. И вообще за последнее время наблюдаю у себя отсутствие аппетита. — Сморщил веки, добавляя: — Также энергии... необходимой...

В тот же день на берегу разлившегося потока Обоямщик Каргу закончил свою песню. Вяленой рыбы у него было еще достаточно; шалаш дожди промочить не могли; сено для лошади было. К тому ж сидел он на высокой скале, как орёл сидел, видел бурлящий поток, горы, голос его почти совсем-совсем заглушал поток. Долго бы мог петь Каргу, но помешали глупые эвенки. Со всех чумов,

стоящих по краю дороги, от самого Айкена, собрались они к скале и сказали:

— Сегодня улетел с Таймыра последний гусь. Через три дня падает на реке лед. Нам надо порох, мы ждем льда на Обо, мы хотим получить порох с Мосейки, разве не пора охотиться?

Да-а!.. Вот тут и хотел бы Каргу, чтоб десять дней еще не было льда на Обо. Десять дней пел бы он песню о Мосейке, его порохе, о гремучем студне... о многих хитрых вещах.

Но и десяти слов не выслушали эвенки.

— Так нет пороха? — спросили они.

— Нет, — ответил Каргу, при виде таких лиц сразу спутавший песню.

— Так. Едем с нами.

— Я не люблю быть свидетелем, — ответил Каргу, — я бедный, и у меня нет оленей, которые питают богатого человека, едущего по русским судам.

Молчат эвенки. Смотрят со злостью, как будут смотреть на русских, когда переправятся через Обо.

— Мне делать нечего, я прогуляюсь, — говорит Каргу. — Еду.

Как улетел последний гусь с Таймыра, так и выпал через три дня на Обо лед.

Первый через лед переправился большой герой и хитрец Каргу.

5×70 = 350

Первого сентября в Айкене престол и ярмарка. У престола — в золоченой ризе поп. У престола — лавки; в ситцевой рубахе, вымытой так, что блестит ярче парчи, — купец. Эвенки привозят пешку для пыжиковых шапок, непляй для малиц, постель для замши, красную лисицу, росомаху, песца и нерпу. Олени хрипят подле чумов. Купец щупает меха, борода его краснее лисицы, а голос нежнее пыжика.

Поп молится. Поп еще молится, а купец...

А вместо купца за прилавком товарищи Каргасовы — представители промысловой кооперации. Они в полушубках, на манер зырян, подпоясаны широкими цветными опоясками. Задатков не дают, спиртом не поят. Чудной народ!

Каргас — называли их эвенки, а как называли, так про купца начали рассказывать сказки, и «это было тогда, когда ездил по тундре купец»...

Резные наличники над окнами по всему Айкеню. Есть еще в некоторых домах и по сие время слюдяные окна. Ставни расписаны петухами. Петухи же наполовину засыпаны сугробами, торчит лишь красный гребень.

В зале, построенной тогда, «когда ездили еще по тундре купцы», один из таких Каргасов рассказывал пленуму Совета:

— Я могу сделать только одно замечание: необходимо поспешить с доставкой товаров на ярмарку. Имеющиеся запасы наши вывезены на площадь, их едва хватит на три дня. Запасы не пополнялись. Из-за отсутствия связи с центром. Необходимо запасы увеличить.

Люди в дохах, с опущенными капюшонами, крутят поморские густые усы (такие, будто на меха готовят). Посылают нескладные записочки на махорочной бумаге. Не поймешь — слова ли там или остатки махорки. Председатель машет обмороженной рукой (он командирован недавно и до сего времени не может понять: вчера осень, а сегодня полез в карман за платком и отморозил пальцы)...

— Товарищи, вносится предложение: направить по новому проложенному пути через Гайленский хребет обозы за товарами. Других предложений нет?

Каргас бормочет секретарю Совета тайну, сокрушившую его душу. В тайге какой-то охотник, кажется Нямям, убил необыкновенной ценности черно-бурую лисицу — ту, порода которой называется князьком Хабу. Шкурки нет на ярмарке. Идет разговор, а шкурку не везут.

— Талисман, — поспешно бормочет секретарь, царапая протокол, — берется кусочек шерсти на счастье. Суеверие. Волосок от такой шкурки ценят дороже любого идола. Неумеренно желаете, так же как и одевайтесь... Суеверие проходит не сразу.

И он с презрением глядит на купеческую опояску Каргаса.

— Президиум Совета, с согласия профессиональных организаций поморов, в ознаменование неимоверных трудностей, пережитых при прокладке пути через хребет, постановил, товарищи, выдать отряду, предводительствуемому товарищем Лейзеровым, красное знамя, — продолжает председатель.

Барабанщик, тощий флейтист и какой-то волосач за пианино весьма согласно играют «Интернационал». Председатель говорит о заслугах перед революцией, затем опять возвращается к ярмарке, к товарам, наконец к полу, к религии и престольному празднику. Он находит, что необходимо бороться с суеверием и в противовес мистическому одурачиванию масс выдвинуть здоровые развлечения. В данном случае президиум организует оленьи бега по новой, так называемой пролетной дороге. Бега, привившись, повлияют на развитие оленеводства, создадут здоровое соревнование и отвлекут массы от суеверий, от мистического дурмана, вроде каких-нибудь легенд, скажем, о зверьке Хабу!

Совет шумит, перебирает вслух оленьи запряжки, лучших беговых быков. Широкие малицы, мягко шурша, сбиваются в кучи. Пахнет мехом.

Так бы и крикнул: легковые сани — к высокому крыльцу, занесенному до перил синим сугробом!

Снег звенит.

Узда на олене без удил, на шее его широкая и мягкая, расшитая цветным сукном ляжка.

А под нею мускулы — твердые, как полоз. От ляжки под брюхом оленя, меж ног, ремень, тянущий нарту. Через блокчи мамонтовой кости скользят эти ремни, соединяющие оленей.

Скользит по ним свистящая прыть четверки. На всю четверку одна вожжа у крайнего левого оленя.

Ах, черт подери!

Алое полотнище в санях исполкома.

Эх, черт подери — пустыня!

На десятки, да что — на сотни верст в лощинах, прячьась от ветра, острые чумы. Снег от копыт звенит, попадая в ветвистые рога оленя, бегущего следом за передовым. В длинных оленьих рубахах, с капюшонами, мехом наружу, несутся пустыней люди. Шесты тычут в спины оленей. Полозья скрипят. На тысячи верст — пустыня вековых снегов, упавших властно на свое хозяйство, занявших тундру в три дня.

Ни птицы, ни следа зверя в пустыне, и ветер даже стих, поклоняясь такой силе.

Полоз визжит. Капляет изредка на бегу олень.

Голубой дымкой задернута даль.

Кой-когда откроешь заледевшие ресницы, наберешь духа — и, как в драке, мелькнет обрыв берега над неизвестным озером или низкая волна пологих, как груди тридцатилетней, холмов.

Да, черт подери! Пустыня, моя пустыня! Жена моя, тундра, — бег удержи свой ровный, — так, как через каждые полчаса задерживает олень. Отдохни. Наклони косматую голову и широкой, веселой ноздрей выдуй в снегу ямку.

— Далеко ли нам мчаться? Нет ли огня?

Шест погонщика — каюра — тычется в спину оленя. Резкая тень на снегу от ветвей.

— Хайто, хайто (далеко, далеко)!

Или подует ветер! Одним порывом, другим! Кабы да не снежные змейки по гребням застрогов и сугробов на краях лощин — о чем бы ты смог подумать?

Буран одевает нас в тьму. Наклонись ниже, присмотришь, как несется ветер, как он режет людей и оленей снегом. Теснее сдвигайтесь, нарты!

Велика пустыня, хотя ты и проложил пролетную дорогу, человек!

Подбирай подола, теснись!

Да, такая чертовская жизнь! Такой горячий снег и такое полночное — полдневное — небо.

Гони! Гони!

Будем гнать, пока не задохлось сердце.

Будем!

Вбил оштол — палку тормоза нарты, — вбил передовой каюр Илибем. Промчалась исполкомовская нарта. Гайленский перевал, криволесье, нанесенные снегом гольцы и Невзгодная гора, что лежит у самого спуска в долину, где, как две черные нитки, как две иглы, блестят под сполохами рельсы.

— Сделали, — сказал каюр Илибем, — сделали легко, как птицы, дорогу.

В долине редкий березняк. Словно из снега точенные стволы, прозрачные, как сосульки. Заяц лупит березняком, напугался до смерти. Ишь ведь сколько несется оленей, пар от них гуще тумана и к тому же желтый. Занозил заяц ухо о сучок.

А налево от березнячка, да и налево от дороги — толпа эвенков, чумы — кольцом, нарты — длинной дугой.

Хотя пал снег, но земля не застыла. Могилу копать легко, как летом. От земли даже прелый запах.

На возу, прикрытый жалким брезентишком, лежал коротконогий труп. Подле выла высокая баба, одетая в бараний тулуп и расшитые барнаульские валенки.

Секретарю исполкома (он уже догадался, что это за покойник) как-то целовко было поднимать черешок знамени.

— Лейзерова хороните? — спросил он, наклоня знамя.

— Его, — ответил какой-то становщик.

Эвенки поодаль шептались о порохе. Каргу рассказывал для чего-то вслух, как они примчались всеми чумами к Мосейке за порохом, а пороха давно нет, и сам Мосейка час тому назад умер. Хитрее Каргу был мужик, единственная надежда — ждать теперь, когда подъедет на колесах целая огненная деревня телег. И какой-то старый эвенк сказал убежденно:

— Найдется ли такой дурак, чтоб ехать, не ломая себе шеи, по узеньким этим полозьям?

— Надо думать, найдется, — подтвердил Каргу.

Секретарь, фамилия его была Рассохин (был коряв и слегка хром), увидел Егора:

— А мы про вас думали, спился? И вы здесь? Простым рабочим поступили?

Егор стоял в стороне с ружьем, в котором по-прежнему, тесно прижавшись к стволу, лежал последний патрон.

— Я?.. — спросил он. — Я... так... по ближней дороге до станции дошел. Так, в одиночку, и вообще, чего вам от меня надо? Я поезда жду. Простое дело — уезжать. Запасы, второй день нет поездов. Знал бы — из Айкения не спешил. Приехал бы, когда дорогу обкатали.

Представитель промысловой кооперации Каргас не терял надежды приобрести шкурку лисьего князька. Выспрашивая, обошел он все чумы. В одном видел старого охотника, прозванного Нямнямом. Охотник ел ряску — поджаренные на огне куски теста. В чуме было чадно и пахло горелым салом. Охотник притворялся непонимающим или на самом деле не понимал человека? Был такой, как говорили о нем.

Каргас, огорченный, шел по небольшой тропке к могиле, куда закапывали Лейзерова. Каргас не любил мерт-

вещей и ждал в стороне, когда окончатся салютные выстрелы из последнего пороха. Он видел, как выстрелил Егор, и почему-то подумал с неудовольствием: «И этот туда же». Толпа быстро разошлась. Каргас, пропуская ее, сошел даже в снег. Было глубоко, и ком снега попал в валенок. Когда он вытряс валенок, поднялся на ноги, подле могилы, прикрытой красным полотнищем, сидела на снегу только одна очень рослая и очень красивая баба в желтом тулупе. «Должно быть, жена», — подумал Каргас, направляясь неизвестно почему к могиле. Из могилы торчало большое, обтесанное сосновое бревно, с грубо нарисованной на нем звездой. А внизу кола, рядом с красным знаменем, за ушко была прибита, мелким железным гвоздиком, синева-бурая пушистая шкурка.

— Да... — растерянно проговорил Каргас, расставляя ноги и даже щупая шкурку. — Ишь вы... племя!

Плачущая баба не подняла головы. Да и как бы спросил ее Каргас, почему здесь шкурка князька Хабу, почему пожертвовали эвенки и почему не продали ее ему. И как заставили Нямняма отдать шкурку и что ему заплатили? Тогда надо было бы спросить и о том, почему умер этот черноглазый еврей, родившийся в ссылке на Енисее, учившийся в Минске, усердно воевавший почти на всех фронтах гражданской войны, вновь попавший в тайгу и тундру? Почему плачет баба и почему такой холодный и чистый снег?

Промолчал Каргас, постоял, снял шапку и направился обратно к железнодорожной насыпи, подле которой, тесно прижавшись, сидели эвенки, и упрямый старик продолжал уверять:

— Надули русские, не пойдет. Только в песнях поется, будто ходит. Мало ли я песен слышал на своих годах!

— Пойдет, — упрямо сказал Каргу, — если Мосейка сказал пойдет, значит, пойдет и еще будет свистеть.

— Пойдет, — отвечали эвенки, сдвигаясь еще ближе.

Вскоре густой гудок донесся из тайги. Синий с искрами пар поднялся над покрытыми снегом кронами.

С непонятным трепетом услышал Каргас стук колес. Что он, в первый раз видит поезд?

От тумов в лес поскакали олени. Чумазый машинист высунулся из паровоза и махнул рукой. Поезд прокатил дальше.

— Та-ак...— сказал старый эвенк.— Мы сколько работали, а он мимо прошел. Даже не остановился выпить чаю.

— Коли Мосейка говорил,— сказал Каргу, снова усаживаясь на снег,— значит, вернется обратно, обратно прогонит, но подле остановится. Надо подождать.

— Тогда подождем,— ответили эвенки, усаживаясь подле Каргу.

Неподалеку от эвенков, дрябло опустив пустое ружье в снег, сидел Егорка. Он вяло глядел в тусклую березовую рощицу и, видимо, ничего не ждал.

Каргас оглянулся, подумал: «Какая темь»,— и поспешно спросил:

— Граждане, нет ли у кого спичек трубку зажечь?

Но все молчали.

ПЛОДОРОДИЕ



I

Прибежал сынишка Алешка. Весело тряся недоуздкой, радостно крикнул, что Серко разорвал путы о камень и ускакал в гольцы. Смеяться было нечему. Мартын со строгим лицом повернулся к сыну и нехотя вытянул его по потной спине недоуздкой. И когда ударил, стало так тошно и жалко — то ли сына, то ли затерявшуюся в горах лошадь. Он перекрестился на видневшийся через забор крест молельни и сказал кротко жене:

— Ты уж обедать не жди... Дегтем бы смазана была, тогда бы не угнала, а то теперь овод поди ее к лёдову затурил. Вот гнило́та: путы — на что волос, а и то сгнил. Скоро и пригоны порушит... Работаеть, работаеть...

Жена его, маленькая, болезненная и тощая, словно недосиженный цыпленок, зная, что напрасно говорит и напрасно сердится, далеко брызгая жидкой слюной, крикнула ему:

— Заработался, леший!.. Мотри — толстый, как церква... Ишпо дите беззащитное бьешь... Ты бы себе за свою леность по мусалу съездил! Ох, пропасть бы мне скорее...

Чтобы подняться к гольцам, нужно было пройти через все село, через кладбище и сосновую рощу; оттуда начинался березняк, затем Святой Овражек и дальше гольцы. Мартын достал единственную новую ситцевую — в большой цветок — рубаху. Пелагея даже побледнела от злости,

прижалась к голбчику, рот у нее пересох — и ей самой стало страшно своего гнева. Она ткнула ему вслед тощим пальцем, точно пронзая что, разглядела свой палец — и тонко, словно с большой высоты, завывла.

Улица шла по берегу озера, где по необычайно зеленой траве вверх днищами были раскиданы лодки. Над берегом и озером тлелся легкий, как дремота, туман. Отдаленные горы, как снежный обруч висевшие над долиной, тоже были в синевато-розовом тумане.

Один лишь бот, принадлежавший Мартыну, валялся ближе всех к воде, боком; днище было треснутое, пакля вылезла и — обиднее всего — кто-то нагрешил под лодку. Ребятишки, наверное.

Мартын хотел поругаться, но вспомнил, что не только бот, но и сети его давно сгнили. Было жарко. Собаки, высунув ровные розовые языки, лениво глядели на него, словно приглашая проходить и не мешать сну. Мартын бодро дернул плечом, оправил рубаху.

— Направлю вот, с понедельника али со вторника начну...

Ему неизвестно с чего стало весело. Он любил уходить в горы. Там легко думалось о кладах, редко встречались сельчане, при первом же слове упрекавшие его в лешости. Сельчане были староверы — кержаки по-алтайскому, — любили с благочестием помогать друг другу, любили, чтобы упоминали часто о такой помощи. А Мартын все забывал, и благочестием его наполнить было так же трудно, как бочку плевками.

Когда он начал подыматься проулком к кладбищу, на встречу ему попалась Елена, жена начетчика Скороходова. Она была высокая, полная; льняные косы выбивались из-под длинного платка на синий старинный сарафан. Мартыну понравилось какое-то раздолье, несущееся от нее. Пухлые белые руки ее тихо потрогали маленький подбородок, когда над ней низко пролетела сонная ворона.

— Здравствуйте, Мартын Андреич, — протяжно сказала она, проходя плавно мимо него. И белые руки ее, казалось, неистово как-то улыбнулись.

— И-ех... касатка, — сказал Мартын ей вслед... — И-ех... Поповски дочери, что голубые лошади: либо добры, либо дики.

И вдруг у него громко — будто в реве — заныло серд-

це. Сначала он как будто сдержал себя, но мотаулось, словно щука на крючке, сорвалось — и понесло. Мартын глядел в радужные от древности стекла окон, и какие-то мелкие рыбешки дрожали в них. Солнце поднялось высоко; басом, точно бык, прокричал петух; мальчишка с псалтырем в обеих руках торжественно пробежал мимо Мартына.

На кладбище он посмотрел, как над могилами, старинными голубцами в виде маленьких домиков, опушались березы. Вспомнил почему-то, что если в радуге выделяется зеленый цвет — к урожаю, и посмотрел на небо. В Святом Овраге он послушал, не ржет ли Серко, хотя помнил, что путал его версты за три от Оврага на березовой елали — поляне. Подле одного пня, почему-то похожего на сига, он собирал перезревшую, почти темную землянику. Ягоды были темные и приторно-сладкие. Он выплюнул их с омерзением и пошел по березняку выше. Затем вспомнил про разрушенный бот и решил, что тут в чем-то виновата Елена.

— Краля толстопузая, — уныло сказал Мартын, — тоже лезет...

И опять зашью сердце, и трава под ногами казалась жесткой, словно солома.

— Я те мурсало-то расквашу, попади на меня!

И он закричал так, что даже сам вздрогнул:

— Серко-о!.. Сер-ко!.. Ну-у!..

Эхо отчетливо, без перекатов, повторило его крик. Рассыпчато покатился камень. И эхо и тилилиньканье камней указывали на близость гольцов. Мартыну надо было взять вправо, а он полез влево по самой крутой тропе. Облепиха путалась в коленях, громадная паутина с жирным пауком посередине села ему на лицо. Жизнь свою, казалось ему, знал он, знал все свои нужды, знал все, что ему нужно делать... и все же долго бежал в гору, пока по крыльцам за ошкур штанов густо не потек липкий и словно связывающий ноги пот.

Теперь вокруг него были матерые лиственницы, кое-где с них пластами была снята кора (для покрытия хлебов), ярко-желтая смола походила на ледяные сосульки. Подосинники синели в траве, дятел говорил где-то о кладках. Мартын огляделся — и опять рассердился не то на лошадь, не то на Елену. Прохлада охватила его, он лег полежать — ко сну он был падох, но в боку вновь словно

хлестнулась заноза. Он ударил по стволу лиственницы так, что на недоуздке осталась сера.

— Я те мурло-то расквашу! Краса, подумаешь! Алена, тридцать три года...

II

Осиновые листья лежали кверху изнанкой. Осипник и попавшийся овражек густо заросли пучками. Мартын, как дети, любил пучки. Сломал одну, есть не мог и, даже не думая о ней, полез влево. На самом дне овражка Мартын выронил пучку — и поскользнулся на ней. Упав, он вдруг ощутил мокрый холод в колене, наклонился ниже; прозрачный до того, что паутинка, упавшая вместе с сучочком, виднелась на доньшке его, маленький ручеек пробирался у него под ногами. Овражек показался ему незнакомым. Жужжали пчелы, — должно быть, недалеко пасака. Он поймал пчелу, она ласково зашипела у него в ладони, будто торопя его выпустить, — и не укусила. Он последил за ее полетом и пошел по ручью дальше.

То, что тут тек ручей, казалось ему большим непорядком, и это даже заглушило его сердце и то, что он выпачкал штаны. Откуда ручей? Озеро в долине Кок-Таш наполнялось весной тающими снегами со склонов гор, осенью оно сильно мелело, — и тогда легко было ловить карасей и линей.

«Родник, видно, забил, — придется проследить. Да и Серко небось к воде вышел. Где ж, коли не у воды, искать коня».

Овраг скоро кончился, ручеек тек уже из березняка. Был он теперь шириной не больше пол-аршина, тек он медленно, — упавшие березовые листья долго цеплялись друг за друга, словно играя, а потом, качаясь, плыли дальше. А местами вода была столь прозрачна, что ее можно было заметить только по журчанию.

«Не иначе, родник».

И вдруг, выходя из березняка, он увидел болото, самое настоящее болото с мелкими кочками, поросшими остро пахнущей осокой. Это было уже совершенно чудно, — никогда по склонам гор, окружающих долину Кок-Таш, не слышно было про болота.

«Да заплутал я, што ли?» — и Мартын встревоженно поднялся на высокую безлесную скалу. И тогда сразу, поверх запахов хвои, снизу, из долины пахнуло на него цветущими хлебами. От волнения у него словно колос прошел по горлу. Ему казалось, что сквозь синеватую пленку тумана, закрывавшую озеро и долину, он видит поля, плотно затканые колосьями. Звенят усики, подмигивает игривый овес, просо лохмато, будто старовеерческие бороды... Много телег едут осматривать поля, голоса звенят ясно, значит, будет ведро, будут закрома подперты кедровыми слегами, чтобы не развалились...

«Соберу зерно, ружье обязательно куплю, на горно-стая уйду в камни... а там видно будет».

Он вновь вспомнил Елену — и кинулся к ручью.

Болотом идти было трудней, осинник перегнил, часто пога вязла в кислой няше — болотной глине. Перед самым концом болота из осинника выскочил журавль. Нелепо расставляя ноги, он разбежался, оглянулся со страхом и медленно полетел. Поднявшись над скалой, на которой был Мартын, журавль тоскливо курлыкнул. И журавль, и болото, и тоска — все было зряшное, пустое. Мартын обрадовался гольцам, обширному серому полю, голым скалам вдаль и твердому, с каменным запахом лишаев ветру.

А ручей уже был величиной с шаг и встречал его грохотаньем влекомых им галек.

«Чисто наваждение... и Серко не могу найти...»

Он поднялся совсем высоко — едва ль уйдет сюда конь. Болотце, через которое он проходил далеко вниз, закрыл туман. Показались впереди холодные, крытые рыжими лишаями, обдерганые словно, скалы. Сверху хлынул ледяной ветер, знобким коробом натянул за плечами рубаху. Мартын, вправляя рубаху в штаны, упрямо потряс недоуздком:

«Я-то узнаю, в чем тут запалощная события...»

Солнце поднялось высоко, но было холодно; шаг становился все легче и легче, но было такое чувство, словно он идти-то шел, а — словно часы — не сходил с места. Закопошилась знакомая всем долинная тягость, все же Мартын не повернул назад.

Слева из гольцев вышла темно-бурая гряда холмов. Ручей уперся им в бока. С самого высокого холма Мартын разглядел внизу, еще левее, начало пустынной каме-

нистой долины, соседней с Кок-Ташем, называемой Талас. Она была необитаема, гола; холодные потоки вод с ледников устремлялись туда, чтоб, соединившись в реку, направиться в Нор-Зайсан. На холме было еще холоднее, он вновь спустился за гольцы.

Наконец он увидал Тиляшские неприступные скалы. Они подымались в густое синее небо высотой в пять наивеликих сосен, вершины их походили на поставленные дыбом челноки; огромный беркут, словно часовой, нехотя и злобно кружил над ним. За скалами начинались ледники, незнаемое лёдово, вечные холода, смерть.

И здесь Мартын увидал: огромная, с часовню, глыба, выпавшая из скалы, открывала что-то похожее на окно или погреб. Там, похожие на синие нити в ткацком станке, блестели тускло льды, и оттуда-то хлестал на волю неизвестный ручей. Выше и по бокам ледяного погреба шли широкие, в ладонь, трещины, осыпался щебень.

— Дивеса!..— сказал со смехом Мартын. Он был доволен, что знает, откуда течет ручей. Он наклонился с розового, похожего видом на паука камня напиться к крошечному запруднику. Коршун отразился в воде, и ему показалось, что коршун летает над ним.

— Брысы! — весело сказал он.

Но вода была столь холодна, что словно камнем ударило ему в зубы. Спокойствие охватило его, он свистнул, подмигнул неизвестно кому и побежал вниз. На одной из еланей он встретил Серко, стоявшего по голову в траве и яростно отмахивающегося тощим хвостом от оводов. Конь, увидав хозяина, заржал; в редких зубах его торчали листья таволжника. Таволжник цвел, значит, хорошо пойдет в сети карась.

III

Утром он почистил Серко, и баба долго дивовалась на это. Дальше ему захотелось на озеро. Он вычерпал бот, кое-как затыкал щели куделью, Алешка сел за лопашные весла. В курье — узком протяжении озера, заросшем камышом, встретились рыбаки-сельчане, сытые, здоровые. В ботах у них стояли большие корзины, наполненные рыбой — золотисто-серыми карасями и темно-янтарными лями. Похвалили Мартына:

— Надо, надо! Клев на уду.

Мартын смазал морду внутри пресным хлебом; вода, казалось, гнула прутья, когда он опускал морду, долго расходились круги по воде. Утро было крепкое, как холст; кудерочки облаков ходили стайками. Жить бы, поживать да посмеиваться в такое утро да в таких местах.

Ресницы от теплоты слипались, словно березовые мочки. Мартын начал смазывать вторую морду, но вдруг опять защемило сердце, он отодвинул горшок с тестом и посмотрел на горы.

— Парит, Алешка.

— Но, парит! — возразил ему Алешка. — Я вижу — на сеновал хошь. Сичас ветер с лёдова подует, жара-то и схлынет. Я самолет поставлю.

— На поле надо сходить... поворачивай-ка, Алешка. Алешка обиделся.

— Дай хоть морду спущу.

Он ловчее и быстрее отца поднял широкую плетеную, похожую на корчагу, морду. Мартын удивился на его споровку, но было обидно, что сын не почитает его. Гляди, лет через восемь прогонит отца на полати и возьмется за хозяйство. Мартын сказал ему об этом.

— И будет... — уверенно ответил Алешка. — Лежи.

Мартын рассердился, выругал его.

Вытащив бот на берег, Алешка взял нож и пошел в березняки за вениками, а Мартын направился на папню. Погонка хлебная — концы колосьев, образующих ровную земле плоскость, — блестела, словно начищенная; изредка над ней выныривали от легкого ветра князьки — более высокие и крупные колосья. Все было как нужно: в цветенье дул легкий ветер, погода ясная, в колосе завязывалось доброе зерно. Пахло теплой соломой и сухой землей, в пыли играли воробьи, пепел выстукивал «вот идет, вот идет...».

Мошки вились табуном, бабочек-белянок было много — все к урожаю, к ясности, а сердце у Мартына захолонуло еще больше. От жары, что ли, или устал, много пробыв над водой. Он вернулся домой, влез на сеновал, — баба только что привезла накошенной травы. Трава была мелкая, точно волос, и пахла медом. Он тупо выслушал бабью воркотню, даже не обругал. Угрюмо смотрел он на ветхую крышу сеновала и так мотал головой, словно крыша могла

сейчас упасть и раздавить его. Так он пролежал до вечера, а вечером поел картошки с луком, переложил топор под лавкой лезвием к стене и вернулся вновь на сеновал.

И весь следующий день пролежал Мартын. Баба начала беспокоиться.

— Болит где, што ли?

«Разве к доктору съездить?» — подумал Мартын. Но доктор жил далеко — за двадцать верст, к тому же Мартын думал, что доктора могут помогать только в животе, до всего остального они еще не дошли.

— Чего ж лежишь ты тут, будто лёдово!..

При этих словах жены Мартын вспомнил синюю стену льда, выдавившего дно скал, холодный ручей, бьющий с рокотом из-под льдов.

— Ты мне на завтра хлеба отложи. Мне надо в камни сходить.

Утром он, верно, ушел в камни.

«Выкупаться, гляди — поможет», — думал он, идя Святым Овражком к болотцу.

На болотце была уже довольно глубокая топь, кое-где по открытым местам ветер, прорывавшийся через осипник, колыхал по воде осоку. Крякали утки, легкий пар подымался от затопленных пней. Мартын обеспокоился, что придется далеко обходить болотце — не раздалось ли оно еще в ширину. Поток за болотцем стал еще шире, он увлекал с собой камни величиной с гусиное яйцо, с шипеньем рыл в гольцах свое логово. Камушек, где еще недавно Мартын стоял и пил воду из потока, был под водой и, казалось, вырос. Лед под скалами словно сел ниже, и отверстие погребка расширилось. Мартын сунул в поток руку, ее захватило, словно петель, и повлекло...

А тоска оседала на душе все ниже и ниже, как эти льды. Мартын вышел из тени скал, и ему сразу стало теплее, хотя с ледников через скалы несло холодом.

«Жара-то какая... лёдово-то тает как поди там... Ишь, ведь камень проело, чисто крот...»

И он подумал, что сейчас начало самой жары, льды начнут таять по-настоящему недели через две...

Солнце упало в погреб, и льды ощерились, словно клыки. С металлическим звоном откололась глыба величиной с бочку и, качаясь, выкатилась по потоку на гольцы.

«Вот потечет-то... Ведь эдак-то...»

Он хотел пошутить, что теперь им не надо набивать на лето погребца свои льдом, но вдруг мучительная мысль опалила его сверху донизу так, что заныли икры:

«Ведь этак-то в долину река пойдет...»

Он еще не мог понять, как это пойдет река в долину, через матерую черную землю, через эти нивы и покосы, где колос тяжестью в человечью руку, а сено на вилах словно бобровая шапка.

Он, не оглядываясь, кинулся вниз по гольцам.

Пробежав сосновый лес, он выскочил на дорогу. Здесь догнал он Турукай-Табуна, Микиту, веселого мужика. Турукай был мужик никчемный, пустой, и если б не тесть да не отец, он бы всегда сидел подле озера с удочкой, рассказывал сказки да ловил окуней. Собой он был какой-то мочалистый, постоянно кашлял и много врал. Турукай сидел на возу березовых жердей; увидав Мартына, он заюлюкал, заорал; лошадь, привыкшая к его выходкам, только повела ушами.

— Мартын, друг сердешной, таракан запешной, откедова? А я как раз сотой воз жердей в этой неделе везу, да едва под пропасть не попал, — медведь, сукин сын, лезет из черни... ладно лошадь ученая. Садись, подвезу.

Мартын сел. Нежная белая кожа на жердях во многих местах облезла, показалась другая, зеленая. Мартыну, кто знает почему, стало жаль березки, да и брехняка Турукай тоже было жаль.

— Река идет в долину-то, — сказал он тихо, — из лёдова идет. Сейчас сам видал.

— Ну, река! Плоты, значит, будем плавить. Я, брат, мастер по плотам... раньше, до революции, меня купцы нарасхват на плоты звали, невест-то сколько давали, с приданным... тыщи!

Он уперся руками в бока и долго хохотал.

— Али мельницу открою на шастнадцать поставов, с аликтрическим освещением. Брать буду по копейке с пуду, всем мельникам по округу конец. Еще убьют, пожалуй.

— Да ты не болтай, Микита. Я те всурьез говорю — река.

— Взаболь? Ишь лошадь под тобой вспотела... как сел, так вся потом изошла... к сердешному делу, выходит.

— К сердешному? — переспросил Мартын.

Но Турукаю, видимо, стало скучно.

— Ко мне девка пришла ноне за яйцами, занять. Я ведь кур новых купил... голландских... десять рублей пара, каждая весом полпуда, небось. Я говорю девке-то — пойди на поветь, там куры свежих яиц нанесли, собери сама... я оглобли строгал. Да правей бери — там они и несутся. А правей-то жерди разошлись, в повети-то яма. Она и бу-ух... только руками полснулась. И застряла, граffi ее, посреде жердей, юбка на голове, орет. Ногами машет, вертит, дрыгат в конец-то... в дождь ударило... едва со смеху не сдох.

Он долго катался по жердям, хлопал себя по ляжкам, визжал.

— Да у тебя, Мартын, мурло-то — чисто ты погань какую съел... Али идет вот попадья с работником, и встречаются им две собачки...

Но когда Мартын и этой сказке не рассмеялся, Турукай обиделся:

— Зболтаный ты какой-то, Мартын, скушно с тобой, чисто в туесе.

Он стегнул лошадь, жерди затрепетали, защелкали. Турукай запел песню. Кому тут говорить о мутном своем сердце?

Мартыну не спалось. А когда поднялся над озером месяц и погасил в воде лениво мигавшие звезды, стало так тоскливо, что заныли пальцы. Он пошел по селу. Подле изб, как и везде у сибиряков, лежали напоказ богатства все: плуги, косилки и жнейки. Они портились от погоды, месяц блестел тускло и кроваво на ржавчине. Ворота высокие, как у крепостей, с железом крытыми кровлями. На бревенчатых заплотах сидели кошки, сытые, толстые.

Ночь шла под Ивана Купальника. Девки в эту ночь собирают двенадцать разных трав, кладут под подушку — завечают свою судьбу. Девки шли в обнимку с парнями, с полными горстями трав, тихо, без голоса, словно скотина с водопоя. Кое-где в палисадниках тихонько, истошно охали, и тогда сразу тяжелел живот у Мартына. В одной избе проспунлась баба, вспомнила, что завтра Иван Купальник, и, голая, на месяц вышла к окну, поставила на подоконник под иванову росу пустые кринки, — от ивановой росы снимок-сметана делается толще. Груды у ней не вместились бы и в кринку, она сонно, медленно

качалась и не замечала стоявшего под окном Мартына. Окна везде были настежь, и казалось — в вековечном сне храпят кержацкие избы. Спокойно дышала скотина во дворах; тоже, если не идет в хлев,— к добру, к ясности. В одной избенке мельтешил жировик, там вдова шинковала, но пили там тоже тихо, будто больше для сна. В окне Мартын увидел мужа Елены, начетчика Скороходова; он уговаривал соседа идти домой. Мартыну захотелось выпить, но кто ему поверит в долг? И тогда он озлился, выругался и пошел к скороходовской избе. Он перелез палисадник, черемуха хлестнула его по горячему лицу, он поднялся на завалинку. Плахи завалинки качались (землю, чтоб не прели бревна, выкинули от плах и стен), пазы пахли мхом, а изба, вся наполненная мясцем, пахла хлебом и человеком. Елена лежала на кровати, и пухлые руки ее свешивались до полу, словно ловя косы. Ребенок, посвистывая носом, спал на голбце. Месяц ушел за облако, и Мартыну было приятно видеть темное жерло избы. Только еще сильнее пахнуло оттуда человеком.

— Экая сыть,— уныло сказал про себя Мартын, плюнул в выставленную на росу кринку и пошел обратно.

Парни и девки расходились по домам. Девки зыбались чреслами, шел от них плотный запах кислого хлеба, а парни словно спали.

Мартын остановился перед молельней; прямой раскольничий крест скопился от древности. Мартын в бога не верил, и ему казалось, что все верующие притворяются, но сейчас он обидчиво сказал:

— Видно, и бог-то тоже спит. У одного меня, што ли, сердце-то ныть обязано...

Безгрозовые зарницы мелькали над белками, беззвучно качались камыши, и выпрыгнувшая из воды рыба словно растаяла в воздухе.

IV

Мартын сидел на заплоте, он веревкой перехватывал матицу, чтобы потом попытаться с лошадьёю вместе потянуть и выпрямить покосившиеся ворота. Мимо прошел Антип Скороходов; он был сильный, плечистый мужик, в проседь, картуз низко сидел над длинными, словно огурец, ушами. Отойдя несколько шагов, Антип остановился,

подумал и, одернув пиджак, вернулся к Мартыновым воротам.

— Мартын, я ведь тебя, как птицу, могу с заплота стряхнуть,— сказал он, положив крепкие волосатые руки на бревно.

— А стряхни,— нехотя сказал Мартын,— может, ворота выпрямишь. Мышь скирдой не задавишь.

Скороходов повернулся к нему спиной и сказал, глядя на озеро:

— Колдуешь все... деревню обещаешь затопить...

Мартын озлился и закричал:

— Кабы да мне грамоту да обученье, а я бы вас, толстопузых чертей, всех превзошел. Ты вот начетчик, Писанье наизусть выучил, почему ты понять не можешь, что деревню-то зальет. Вот к брюху бабищи твоей подойдет, тогда и засикильдите.

— Ну! А ты, Мартын, старайся, старайся.

Он наклонился к нему, огляделся по сторонам, и на висках у него показался пот.

— Ты вот по горам стал похаживать, а я тебя понимаю... На воде-то ты глаза отводишь, а главная мысль твоя — металл. Я тебя без хитрости: бери меня в пай на водото. Работников найдем, брата пошлю, сам все дела буду вести, как по ниточке.

В горах там вокруг прииска. Были когда-то прииска и в пустынной соседней долине Талас, куда бежали потоки с ледников. Из таких сел, вроде Ильинского, на прииска народ больше уходил зряшный, пустой, у которого с хозяйством ничего не выходило. «В металл пошел» — было вроде ругани. По правде сказать, богатеями с приисков и стараний не возвращались.

— О золоте не спишь, а того, леший, не поймешь, что скоро, месяц, два али раньше, деревню затопит.

Антип погрозил толстым волосатым пальцем:

— Мартын, не хитри. Говорят тебе: в пай пойду.

Глядя ему вслед, трудно было понять — поп ли это, купец или знахарь. Пиджак длинный, волосы тоже длинные, в одной руке пук травы и кореньев, а в другой — кнут.

Мартын разозлился на ненужные мысли и на то, что подумал: «Хорошо бы с ним в пай. Елену будешь каждый день видеть». Он кинул нагретую солнцем веревку на землю, погрозил кулаком воротам:

— Вешаться на такой машине только!

Поглядел на горы.

«Сам уплыву, тони все барахло, а не пойду».

Но через день он взял лопату — и пошел.

В Святом Овражке пучки уже подсохли; ему захотелось есть. Он остановился, подумал, не вернуться ли ему домой за хлебом. В кустах рядом треснул сучок, кто-то фыркнул. Мартын раздвинул кусты и увидел обвитое паутиной лицо Антипа Скороходова. Скороходов был тоже с лопатой, руки его беспокойно перебирали черень, а фигура была строгая, и голову он держал немного набок, словно читал молитвы.

— Дай, думаю, посмотрю, где это ты металл, Мартын, роешь. — И он осторожно вздохнул.

— Пойдем, чего тебе за мной следовать, — сказал Мартын. — Хлеба ты не захватил?

Антип указал на оттопыренную пазуху, Мартын кивнул и пошел вперед.

Болотце было сплошь залито водой. Вода, видимо, не успевала испаряться и, несколькими струйками теряясь в траве, искала выхода в долину.

— Видишь? — указал Мартын.

— Ну?..

И по губам Антипа Мартын понял, что думает он совсем иное и едва ли видит воду и думает о ней. Из кармана у него торчал завернутый в тряпку нож, и нож-то особенно разозлил Мартына.

— Долго мне еще с вами, дураками, возиться! Попимаешь?

Антип не обиделся на его ругань, он как-то не по характеру торопливо поддернул штаны и ласково заглянул Мартыну в глаза.

— Это тебе, начетная твоя дурь, должно быть, дороже металла. Ручей-то течет в долину, а долина-то как блюдечко — ни вытека, ни втока. Ты вот попробуй капать в блюдечко по капле... капай да капай...

— Здесь, што ль, Мартынушка, рассыпь-то?

Мартын яростно плюнул.

— Дурак!

— Где ж?

— Выше.

Мартын и не повел его к Тилишским скалам: все равно — метла метлой, а не человек. На самом низком холме,

из цепи закрывавших проток в долину Талас, Мартын ткнул перстом в землю и сказал:

— Здесь. Рой, да глубже.

Он сел рядом на камень и тоскливо глядел, как моталась в руках Антипа лопата. Прорыл тот не больше аршина, лопата зазвенела и сломалась.

— На породу наткнулся,— с недоумением сказал Антип.— В другом месте разве порыть, а то пласт-то тонко больно.

— Не надо. Не порыть, значит.

Долина Талас лежала перед ними — пустынная, бурая и тихая. Сколько воды может принять, а поди ты!

Антип тем временем схватил лопату земли и побежал к потоку. Там он пустил землю по шапке, долго рылся в ворсе и, вернувшись, потряс черенком перед лицом Мартына.

— Нету металла-то, ведь нету.

— И не было,— сказал Мартын, вставая.— Пойдем домой. Я своей силой думал отвести, а теперь не иначе — взрывать... Со стариками бы ты поговорил.

Антип вдруг задрожал, побледнел:

— Ты у меня не хитри, ты у меня глаза-то не отводи... Ты указывай, коли сговорился.

— Укажу-ка я тебе одно место,— сказал тихо Мартын и тоже начал дрожать,— откуда мысль твоя пошла... да небось сам знаешь. Иди, я на тебя да на твою бабу... не работник.

Скороходов вдруг заругался громко, всеми матами,— он, видимо, и сдержать-то себя не мог, да и не хотел. Так он шел за Мартыном до самой колесной дороги через весь сосновый бор, ругался, пока Мартын не удивился:

— Ну, и жаден же ты, Антип! Как суслик. Благословись, огарком очертись.

v

Пашни начинались сразу за поскотиной. У ворот поскотины часто любил сидеть Турукай: можно было остановить каждый воз, въезжавший и выезжавший из села, поговорить и сорвать что-нибудь. Турукай все любили за сказки и за то, что он многому верил. А не верил он только в смерть, и такие сказки, где говорилось, как и где

помер, он не рассказывал и говорил, что их бабы-старухи выдумали.

— Я,— говорил он с полной верой,— не помру. Пробогухульствую и в лешие или водяные предназначу себя — только меня и видали.

Поскотину караулили всегда мальчишки. Турукай рассказывал им сказки и подговаривал обворовывать огороды и маковые поля. Мальчишек часто ловили; кто знает, может, Турукай же и предавал их. Пороли их мокрой крапивой. Турукай долго потом издевался над выпоротыми.

Когда Мартын подошел к поскотине, Турукай широко распахнул ему ворота, поклонился в пояс и вдруг захохотал:

— Баба сейчас Скороходова на пашне лупила, только что прошел впереди тебя, весь-то будто каменный. А ты все, Мартын, металл ищешь. В прошлом году попал я в Таласскую долину, смотрю — на дороге самородок лежит, никак не меньше куриного яйца. Я его бац в карман, а карман-то с дырой. Прихожу домой, а там ветер в кармане. Слез-то пролил сколько, жалко!

Мартыну после Анטיפа как-то весело стало от турукаевской брехни. Глаза у Турукай были веселые, ясные, сам он весь словно на гору вспрыгнуть хотел.

— А ты, Мартын, разрыв-траву такую поищи. Все тебе клады раскроет, от болезней излечишься и любую бабу приворожишь.

— Нет такой травы, чтоб приворожить. Я бы искал.

— Я тебе говорю — есть. Я одного старика видел, купец-скопец, в городе. Листок дал один махонький, — клад, грит, можешь достать, любую бабу али болезни. А у меня страх тогда живот болел! Мне бы про клад надо сказать, а потом на эти денежки из Питера докторов выписать, а я и брякни: брюхо, мол, хочу залечить, понос несусветный. Листка-то как не бывало, а и болезнь-то как телепнок языком слизнул. Да...

Мартын потрогал его за плечо и сказал:

— А ты, Турукай, в партию не хошь?

Турукай даже зажмурился от радости.

— В партию, Мартын, хорошо-о... Волостным председателем...

— Я те на самом деле говорю: давай по селу-то партию устроим, зажмем им гасники-то,— прервал его Мартын.

Турукай заморгал, посмотрел в сторону, подергал локтями.

— Давай. Однако и чудно! Сколько лет жили без партии, а седни только оказалось — нельзя без нее жить. Я в ней кем буду? Я ведь тоже грамоту-то хоть и проходил, да все церковнославянскую, да все за заботами-то из головы выскочило.

— Научись.

— Это я могу. Учиться я могу здорово. В три дня до всего дойду.

Он яростно сплюнул, засучил рукава.

— Мы им, сукиным детям, покажем. В шелковых рубашках скоро ходить будут, а там страдают. Да-а...

Вечером было тихо и пасмурно. Турукай обегал всю деревню, наврал, что из города едут на трех подводах инструктора, что Турукай послал главному по партии пакет, а что там написал, — добавлял он угрожающе, — потом разберутся. Старики, вышедшие из молельни, сгрудились и стали говорить о погоде, что пора перепахивать во второй раз пары, а под пшеницу троеить кислые залоги — новые земли. Поговорили и о прежней жизни, и о том, что теперь так дорога мануфактура: рубль двадцать аршин. В это время проходили мимо бабы, сговаривавшиеся на-завтра идти по клубнику и по красильные травы. Среди них была и жена Мартына. Высокий старик с тупым и упрямым лицом, Митрий Савин, поманил ее пальцем.

— Ну, как Мартын-то? — спросил он ее строго.

— Не знаю, Митрий Василч. Все тосковал, по ком, не знаю, а вот теперь гневается, а пошто гневается, и ума не приложу. Вам, старикам, разбирать.

— Дурит он у тебя. Скажи, что, мол, в гости придем.

Идти им к Мартыну было до мучения тяжело. Они долго еще говорили о погоде и об урожае, наконец оправили сзади старомодные кафтаны и пошли. Мартын согрел в чугушке чай, старики поблагодарили, но попросили налить им вместо чаю кипятку. Но и кипяток они пить не стали. Спросили, много ли Мартын наберет на зиму сена; за него ответила баба. Тогда высокий старик, Митрий Савин, протяжно сказал:

— Мартын Андреич, ты бы эту штуку, што Турукай болтает, оставил. На чем свет, на том и позор, а на наши места тысячи народу зарятся. Наша земля-то клином впереди всех земель идет. Сколь лет без партии жили, а тут

на тебе. Вон в Артемовке младший у Глафириных в город ушел, в комсомольцы записался да и женился. Пошел второй — на водке сгорел. Третьему только счастье: жена тихая, работающая, сам дома сидит — пимокатное руко-месло изучил. Тебе и помощь устраивали, и хлеба давали, и еще дадим, коли надо... скотину для работы можно определить... А коли сознаешь ты, што не можешь хрупкую лямку тянуть, шел бы в металл. Семью-то твою не забудем...

Старикам не хотелось говорить с Мартыном, но времена дикие: если не партия, сожжет еще, а потом такие законы отыщет, погорельцев же судить и будут.

— Не хочу металлу! — вдруг, подбочившись, закричал Мартын.

И кричать-то ему не хотелось, да и подбачиваться-то, сам знал, смешно, по-турукаевски выходило, а вот по-несло как-то.

— Не хочу. Разговор буду с вами иметь.

Он вспотел даже, но локти задрал еще выше. Старики, все так же легко вздыхая, смотрели в сторону.

— Имею я желание ехать с вами, старики, в горы. Для полного маршрута. Лёдово на долину идет.

— Веками лёдово в Таласскую долину шло, — осторожно сказал Василий Тюменец, толстый, со слезящимися алыми веками старик, — а теперь што ему запритчилось к нам поворачивать...

— Прошу встать! — закричал вдруг Мартын. — Алешка, собери к завтраму телегу.

Старики пожевали губами и попросили выехать пораньше, до жары. Когда они ушли и баба, вздыхая протяжно, стала убирать со стола, Мартыну стало стыдно, что он так кричал на стариков, которые ничего не сделали ему плохого, ломался, словно пьяница, и себя показал дураком. «Завтра, — решил он, — буду степеннее». Но утром он опять задурил: надел новую рубаху, занял у соседа ременный пояс с блестящей пряжкой, по деревне ехал и громко кричал, упрекая стариков. Ехал он медленно, и ему хотелось, чтоб его видела Елена, — он даже остановился против ее окон, будто бы поправляя шлею. Окна были раскрыты настежь, но Елена не обернулась; она садила хлебы в печь, и мелькала перед темным жерлом печи круглая, посыпанная мукой, лопата. И тут Мартын не вытерпел; указывая на ее зад, он подтолкнул

самого молчаливого старика, богомольного Сидора Лабашкина:

— Цело-то, цело-то како, мотри! Тебе бы такое цело. Не уцелел бы, дядя!

— Отвяжись, лихоманка, креста-то на тебе нету,— строго сказал ему Митрий Савин.

— И не будет! — закричал Мартын. — Всю деревню переверну, легче. Мне ради такого дела... никого не жалко! У меня душа горит! Я на все согласен!

Но и тут Елена не обернулась.

За поскотиной поехали быстрее. Черная пыль огромным хвостом, словно тень, волоклась за телегой. Старики глядели на поля и говорили: цветы пахнут сильнее с каждым днем, значит, колос наливается полней, тяжелей; что коготки рано развернули венчики — овсы будут питательны; к теплу — мышь оставляет траву, пищу снаружи, а не тащит внутрь норы; что кошки крепко спят — тоже к теплой зиме. Трещали звонкие кузнечики, высоко прыгивая промеж колея дороги. Небо было душное, хотя и раннее, и почти желтое.

Но вдруг громадная лужа преградила им дорогу.

— Объезжать, что ли?! — закричал вдруг обрадованно Мартын. — Дождались! Выбирайте теперь имя реке, крестить ее надо, старые черти!

Старики охнули. Прямо через поле богомольного Сидора Лабашкина неся с шипеньем и пеной ручей.

Тогда Мартын указал на небо и начал по пальцам пересчитывать приметы:

— Горы-то в ясности — жара, кошки-то спят долго — к теплу, мышь-то сено снаружи держит — к теплу... А лед-то тает, лёдово-то идет — конец вам подходит, а?.. Буде с бабами валяться, буде... дай другим, а?

Старики молчали, а старик Лабашкин слез с телеги, ухватился руками за смятые, подмытые водой колосья и тихонько, по-ребячьи, завыл.

VI

К ручью сбежались мальчишки, сразу появился подле ручья мусор, — пашню, чтоб не пропадала, наскоро скосяли и стали сушить пшеницу для корма на поветях. Рев быстро прекратился, и никто не верил, что вода в озере

может подняться. Тогда Мартын воткнул в воду размоченную вешку, вода в сутки поднялась на полвершка. Ему не поверили, и старик Митрий Савин сам воткнул вешку и весь день сидел подле нее, не спуская глаз. Вода поднялась по его вешке на вершок.

Турукай-Табун, согнув палец, помчался по деревне с криком:

— Братцы, на вершок! А с завтрава будет по поларшина подниматься, там еще камни обрушились, я сам видел.

Турукаю не поверили, но старики съездили в горы, посмотрели поток.

— Што, назвище какое будет? — сказал им ехидно Мартын. — Назовем ручей-то Бабьим, а?

Антип Скороходов закричал ему:

— Колдун, сукин сын, наколдовал, а теперь смеешься! Цена зайцу две деньги, а бежать за тобой — сто рублей.

— Одна пора в году — страда, — вздохнул Митрий Савин. — Мы к тебе, Мартын Андреич, опять вечером-то заглянем.

— Загляните, угощением не обидим.

Елена как-то встретилась; попробовал Мартын сказать ей что-то, да получилось очень обидно. Она оправила платок, шевельнула плечом и, сказав с отворачиванием:

— Пела бы жнея, да горлышко пересохло, — пошла прочь.

Позже Мартын подобрал нужные слова, но не было случая переговорить, да и нужно ли было с ней говорить — он не мог понять.

Старики опять, как и прошлый раз, сели по росту — низкий ближе к божнице. Опять отказались от чая, и Митрий Савин сказал:

— В город, што ли, тебя послать...

А молчаливый Лабашкин наконец вымолвил:

— По вершку в день — так вот и смерть человечья.

— Что в город! — возразил Тюменец со злостью. — Богатеи, скажут, кулаки — тоните, ни дна вам, ни крыши. В городе народ обнищал, на достатки зарится, за ситец вон по рупь двадцать дерет.

Тогда Митрий Савин тряхнул большой головой и сказал резко:

— Што там с души-то кажуху сдирать, надо дело... Придется тебе, Мартын, как ране говорил, партию по селу доспеть.

— И на самом деле, Мартын, партию.

— Партейному, бают, сплошь вера и помощь.

Тут постучали в окошко, и внучек Лабашкина прокричал, что вода поднялась еще на полвершка. По всем приметам выходила длительная засуха, для хлебов хорошо, а для льдов...

— В волость разве, в камитет...

— Во-олость... Соберут совет, таких же талегай, как мы, писарь резалицию напишет, а она месяц до города пройдет, а через месяц-то вода будет на улках. А то из города приедут, инструктора какая там, заездят по страде лошадей, обожрут, да и видал их.

— Своими надо силами.

— Своими... — длинно вздохнул Лабашкин.

Тут опять строго заговорил Митрий Савин:

— Однако можно в городе и помощь кому деньгами там, али чем оказать. Найти наших, которы на металл ушли, выменять у них пузырек металлу, все равно в Китае дороже не дадут. И не монета, а лестно. Кто откажется.

— Да што в лёдово понимают, што они могут доспеть, коли там сам бог больше... Надо такого человека, штоб с леригией подступиться мог.

И Лабашкин опять надолго умолк.

— Допоручить Мартыну, — сказал решительно Савин, — составить партию. Надо выбрать кого.

— Турукая я взял, — сказал Мартын.

— Турукая можно в пугало, а не в партию. Турука ты для нашего веселья оставь. Окушков Егор победней всех.

Тюменец замахал руками:

— Не пойдет Егор, рыбалку и самогон любит. Ему бы воды побольше, он на воде и спать будет.

— Мир заставит — пойдет.

— Разве мир.

Митрий Савин загнул палец, — пальцы у него были длинные и сухие, как щепы.

— Значит, один есть, с Мартыном двое. Надо бы с металлу, которы победнее, привести.

— Металл сейчас не бросят. Сейчас с гор вода двинулась, для промывки золота самое время.

— Тогда Семенов: он все Советску власть хвалит.

— Семенов гундосый и храпит, скажут — пьяница, а то еще что похуже... Не допустят.

— Монополку-то сами ж открыли.

— Так это не для пьянства, а для аппетита.

— Оно и верно, — сказал Тюменец, — аппетит, пока с ног мордой в канаву не летит.

Сидор Лабашкин неожиданно оказался смешливым, — долго, держась за живот, хохотал он. Наконец осел, вспопел и стал креститься.

— Прости ты, господи, грехи наши... Тилиграмму послать в Москву, кто у них там главный, ему... так, мол, и так, тоном.

— Покедова проверят, все лёдово стает.

Мартыну надоело слушать, он стукнул кулаком по столу.

— Да што ж эта вы никому не верите! Я вам бабын слова говорю, что ли? Я о бабах вам?..

Митрий Савин посмотрел на него спокойно и спокойно же ответил:

— Мы стогам верим да скирдам, да богу.

Потом все же решили послать в город делегацию. Выбрали четырех, которые побородатей да похудее. Долго смотрели на Мартына и наконец сказали, что может и он поехать, только чтоб был помирнее. Пиджаки надели погрязней, долго разучивали, как вначале нужно хвалить Советскую власть, как благодарить за благодеяния, за агрономов, за школы, за свободу религий, а позже добавить, что агрономы-то почти не заезжают, урожаи совсем плохи, а то ведь многое можно сделать при урожаях-то... И про тракторы, мол, слышали. А всему, мол, этому мешает наша темень, наступают на нас льды с белков, топят селение. Налогу не сможешь заплатить, не говоря уже о тракторах. Нельзя ли помочь взорвать Оленью гряду, отвести поток в пустынную долину Талас.

На постоялом дворе в городе было грязно, прокурено, клопы не давали спать, а днем ходили какие-то слепые и продавали пакеты — по двадцать копеек пакет. Слепые были навязчивы, ругали мужиков буржуями. Потом пристал какой-то тощий человек в солдатской шинели и татарской шапке, в треснутых очках. Он пообещал, что если в Совете ничего не получится, у него имеются нужные люди. Все ж нашли в Совете необходимого человека. Сказали ему так, как решили в селе. Необходимый чело-

век долго думал, послал к другому, тот думал не меньше, и оба, видимо, ничего не могли придумать. Первый спросил, порывшись в каких-то бумагах:

— Работников много имеете?

— Какие ж та работники, все сродственники, семьи опять большие.

— Но есть? Обсудим... — и велел прийти через неделю.

«Взятку бы дать, — подумали мужики, — да страшно».

Пришлось ждать неделю, а там еще пять дней — через пять дней обязательно. Тем временем тощий человек в солдатской шинели привел другого тощего человека, армянина, должно быть. Они написали за трешку два прошения и добыли откуда-то двух подрядчиков по подрывному делу. Подрядчики с карандашами в руках сели за стол, вынули из-за пазухи узкую книжку, разграфленную красными чернилами, и долго прикидывали на уме. Поговорили в соседней комнате, еще посчитали и запросили за взрыв Оленьей гряды и вообще за «урегулировку» всего вопроса — три тысячи. Пятьсот сейчас, тысячу на месте, полторы тысячи после благополучного окончания работ. Старики крякнули и дали сто рублей. Подрядчики заявили, что обсерватория предсказывает грозы и бури, что на дворе уже падера — дождь и что другие и за пять тысяч не возьмутся.

А вечером прискакал из Ильинского Егор Окушков и привез два пузырька намытого подле болотца, за которым начинались гольцы, самого лучшего крупного красного золота.

VII

В Совете, перед двумя необходимыми людьми, Егор Окушков, тряся пахнувшей рыбой шапкой, рассказал подробно, как его односельчанин Антип Скороходов нашел подле болота россыпь, как они вдвоем начали промывать и в первый же день намыли два пузырька. Пузырьки эти они решили подарить народной власти и ей же заявить об открытии новых приисков. Необходимые люди взволновались, из соседних комнат выскочили стриженные барышнешки. Тряся кудельками, они щупали пузырьки и взвизгивали. У Мартына от этого шума и от того, что не он, а Антип Скороходов нашел золото, разболелась голова, поднялась изжога. Тут прибежали фотографы и сна-

чала сняли Егора Окушкова, а потом и всех ильинских мужиков. Мужики кланялись, благодарили — и в тот же день поехали обратно.

А в городе после их отъезда стали рассказывать легенды о новых приисках — что будто бы какой-то поп намыл в два дня золота на сорок тысяч, что сельский писарь вымыл самородок чуть ли не с лошадиную голову. В газете появилось объявление, приглашающее не верить вздорным слухам, и оттого им поверили еще больше. Заскрипели телеги, направляющиеся к селу Ильинскому; беззаботные мечтатели, соорудив котомки, бросали службу и пешком направлялись в гору. По дорогам ночью горели костры, было несколько лесных пожаров.

Пришедшие на прииска останавливались подле поскутины, здесь их встречал Турукай. Он рассказывал необыкновенные события, был каждый день пьян. Хлеб и молоко в селе стали продавать втрое дороже, и бабы завели себе шелковые московские платки.

Затем приехали три молодых инженера и в первый же день напились, собрали девок со всего села и неумело плясали русскую. Девки визжали, парни лезли обниматься с инженерами, жена Скороходова, Елена, не отходила от самого старого инженера в синих брюках и белой шелковой рубахе. Мартын прошел мимо гулянки раз-другой, никто не позвал его. Турукай блевал, нехорошо ругаясь, руки у него были почему-то в сметане. Инженер со Скороходовым и его женой (ехидно, как показалось Мартыну, виляющей бедрами) ушел в избу.

Мартын дома застал полный порядок, — казалось, жена без него лучше управлялась с хозяйством. О партии никто с ним не говорил, не говорили и о золоте, один раз только жена упрекнула его:

— Как же так, Мартын Андреич, ходил ты, ходил, а металл-то нашли другие.

— Нету никакого металлу, — закричал уныло Мартын, — врут они все! И себе врут. Бабы разговоры, брехня...

А это походило на правду. Из Ильинского на приисках никто не работал, изредка старики ездили в город — будто бы продавать нарытое золото, а на самом деле гоняли скот. Да и прибылью воды в озере никто не интересовался. Попробовал Мартын поставить измерительную вешку, подошел Митрий Савин и, тихо сказав:

— Не гневи бога, Мартынка, — вырвал вешку.

Потом строго посмотрел на него и спросил:

— У тебя... как ее... эта, партия-то, собирается?

«Собирается!» — хотел крикнуть Мартын, а не мог. Он подергал только реденькими своими бровенками.

— Ты ужо, Мартынка, живи один, а то тоже — партия собирается... Болото!

Отошел подальше, отвернулся и начал расстегивать штаны. Вода в озере была прозрачная, холодная. Мартыну тоже хотелось искупаться, но казалось, что Митрий Савин занял своим телом всю воду, что это озеро, а не Митрий Савин, крикает.

К белкам, к лёдову, на прииска ему не хотелось идти, да и ему ли верить теперь в свое счастье. Попробовал походить с бреднем по озеру и вытащил мертвого карася. От карася нехорошо пахло, и грязная чешуя осталась на ладони, как перчатки. Долго держал его в руке Мартын, даже не заметил, как выдавил глаза. Кинул его в озеро — и заплакал.

VIII

На Флора и Лавра почти совсем закончились уборка и кладка хлеба, загородили остожья вокруг хлебных кладей и зародов сена. Глянцевитые березовые жерди остожий, казалось, дрожали, как опояска на туловище тучного человека, полевые мышцы отъелись так, что с потом влазили в свои норы. Разгородили поскотину, и на Флора и Лавра скот весь день отдыхал. Сделали очистку скотных дворов, поправили постройки. Мужики начали осматривать сани, пошевни, плести короба и пестери для возки мякины.

Ничего словно и не случилось в Ильинском. Вода из озера вышла почти на улицу, приходилось, как в весеннюю грязь, идти вдоль завалинок. Колеса уходили кое-где по спицы в воду.

— Тепла ж, — говорили мужики нехотя, — тепла ж, хоть и из лёдова идет...

А Мартын так и на поле не заглядывал. Нехотя пришли мужики на устроенную бабой помочь; отработав, не остались даже на паужин. Мартын, когда увидал пришедших мужиков, их походку, тихие злые голоса, — даже Ту-

рукай-Табун и тот отворачивался,— опять заманило его в горы. Баба справилась почти одна со всем полем. Один раз только Мартын нарубил ей сухостойных дров для сушки снопов в овине. Баба остригла овец, выбила луком шерсть и начала катать потники. Кисло запахло в избе...

— Заели вы меня,— сказал Мартын, а баба ничего не ответила.

Широкая отводная канава по ту и по эту стороны высокого холма, загораживающего сток вод в долину Талас, была готова, и на воскресенье приисковые люди назначили взрыв середины холма, загораживающего соединение канав, взрыв тех пород, которые было трудно и долго бить киркой.

Как и тогда, когда он впервые увидел вытекавший из ледника поток, Мартын надел лучшую цветную рубаху, взял за пазуху ломоть хлеба и направился в горы. Главную улицу, затопленную озером, нужно было обходить, да и никто не встретился Мартыну: с раннего утра почти вся деревня, кроме самых ветхих стариков, ушла в горы, к холмам.

Как и тогда, шумели на кладбище березы, легкая дымка стояла над горами, и только, словно вспарывая долину серебристо-синим ножом, неся через Святой Овраг, через поля неизвестный ледяной поток. А когда Мартын обогнул болото и вспомнил, что сегодня потока не будет, завтра и послезавтра вода в озере пойдет на убыль, озеро встанет в свои берега, на токах загремят цепи и громадные телеги, кованные железом, повезут зерно в город,— засосало у него опять сердце. А поток по гольцам, казалось, понимая свои последние часы, неся с тоскливым грохотом, фыркал пеной и голосисто ржал в березняках. Мартын постоял, посмотрел. Юркая синичка дрожала на камешке. И тогда Мартын с ясностью до боли припомнил эти месяцы, свою короткую славу, и власть, и то, что он ничего не мог сделать из этого,— получилась только одна мужицкая злоба к нему да вконец разоренное хозяйство. Опять чувство тоски до слез охватило его сердце.

Зачем ему идти к холмам? Мужики посмотрят на бегущий в долину Талас ледяной поток, меж собой одними хитрыми глазами рассмеются над глупым городским человеком и разойдутся. Позже и городские уйдут, останутся

одни Тяляшские неприступные скалы, за ними — ледники, готовые к осени метели...

Мартын вернулся к опушке болота. Сонно трепетали осины листьями, пьяной сытостью пахло из болота. Мартын сел на поваленную осину, спустил ноги к потоку. Зеленая ящерица осоловело заметалась между камешков, среди его ног. Он злобно каблуком отдал ей хвост. Хвост остался трепетать, а ящерица скрылась. А деревья в болоте все хлопали и хлопали, словно уходящие-входящие в комнату дверь. Мартын сидел и думал все о том же. Он зажмурил глаза, — поток булькал водой, будто наливался в бутылку. И Мартын вспомнил, что за все это время он ни разу не напился пьяным... Надо бы уйти, лечь спать дома, что ли, но где-то внутри была еще надежда, что спускающиеся с гор мужики остановятся подле него и кто-нибудь скажет: «Ну, спасибо тебе, Мартын, все ж много ты доспел для общества...»

Зеленые тени листьев были у его ног, затем поползли по лицу за спину и, наконец, совсем скрылись. Небось уже давно за полдень, обедать пора. И в это время маслянистый какой-то гул донесся с ледников. Поток словно колыхнулся, а затем зажурчал еще сильнее.

— Черта взорвете! — сказал Мартын со злостью. — Смыло бы вас лучше, как щепки, небо коптите только...

Что-то темное и высокое мелькало среди осин. Мартын пригляделся. К нему, выбирая места посуше, спешил какой-то человек. Позади, быстро махая ручонками, бежал мальчишка.

Мартын вытянул шею, мотнул головой и грубо выругался. Это была Елена. Должно быть, она давно не бывала в горах или же радовалась, что пятилетний сынишка, как большой, не отстает от нее. Лицо ее пылало румяным удовольствием, платок она держала в руке, и льняные, былинные косы были страшны, как ледники. Как шиповник-колюка на вилах, а одета в багрянец.

— Чего сидишь там?! — крикнула она издали еще Мартыну. — Домовничать осталась, да в деревне-то, будто в колоде, — тихо. Мотыка зовет: пойдём, мамка, да пойдём, — ну, и пошла... Верно я иду-то?

— Верно, — хмуро ответил Мартын, отворачиваясь. — Туда и дойдешь, иди. Ждут тебя.

— Ты что ж на бревне-то уселся? Я думала — водяной или горовой, колдуешь все...

— Нога подвернулась, — соврал Мартын. — Да все равно у них ничего не выйдет.

— Не выйдет! А сколько хлопотов убухали да металлу.

— Металлу?! — удивленно спросил Мартын.

Елена поняла, должно быть, что сказала лишнее. Она ни с того ни с сего наклонилась к его ноге.

— Я ведь кое-что в костоправстве мерекую... Дай пощупаю, кость-то цела?..

Мартын увидел ее пухлый, розовый, слегка влажный затылок, крутые плечи. Складки сарафана показались ему мокрыми; башмак у ней со щеголеватым высоким каблучком поднялся над землей. Притихло как-то все внутри Мартына, и он тогда взглянул на поток. Вода журчала тише, синие мокрые гальки на пол-аршина обнажились вдоль берега. Более крупные уже обсыхали.

Взрыв, значит, удался! Поток, значит, повернул в долину Талас.

И Мартыну почудилось, что он закричал — и испуганно и насмешливо. Он было и руки протянул ко рту — прекратить этот крик, — но рука и волосы были словно из металла... И вдруг он вспомнил, как мужики шептались с неизвестными шатунами из приисков, как однажды он встретил трех стариков, ехавших на трашпанке в горы, — лица у стариков были жадные и потные, руки их крепко охватывали шкатулку, прикрытую половиком.

Соленый пот злости наполнил его глаза. Он зажмурился.

— Отвели? Из-за баб отвели, кобылье! А кто указал? А?..

Захотелось пить. Ноги были тяжелые. Крутая шея и затылок с жирной складкой, склонившиеся к его ногам, словно взывали о жалости, а о какой и к кому — он и думать не мог... И он, понимая, что думать так нехорошо, глупо — все ж подумал, что теперь только Елена поняла, сколько она горя причинила ему, как испортила жизнь, какие принесла обиды, — и готова всячески наградить его. Ее широко расставленные ноги лениво и в то же время торопливо шевелились, выбирая место помягче. Казалось, дотронься до нее пальцем — и она упадет, но дотронуться не хватало сил, и было проще и легче пхнуть ее, дабы под сапогом почувствовать испуганное поганое мясо бедер! Мартын взглянул на ладонь, и то, что она

была грязная и сухая,— это даже обрадовало его. Он плюнул в пальцы и, весь трепеща от испуга и от какой-то непонятной радости, со всего размаху ударил кулаком Елену в розовый ее затылок. Кулак скользнул на шитье сарафана. Елена охнула, опрокинулась. Мальчонка завыл: «Ма-амка!..» Мартын наотмашь левой рукой ударил ее по лицу, а правой изо всей силы пхнул мальчишку за пень в траву. Елена привстала было, горло ее напряглось. Мартын схватил ее за косу, обернул вокруг шеи и притянул косы к березовому суку. Глаза у ней закатились, она захрипела.

— А, будешь, будешь!..— визжал Мартын, увивая косами сук.— Будешь перед каждым вилять? Я тебе колода? А?..

Холодная и какая-то тяжелая влага выступила у него на груди, сухой жар хлынул в ноги, и, путаясь в тряпках, захватив зубами косы, обвитые вокруг сука, Мартын дернул ее за ворот сарафана. Ситец казался необычайно крепким, а в пальцах расходилась, словно вода.

Мальчонка визжал в кустах: «Ма-амка!..» Тряпки пахли нехорошим потом, и странно было видеть на лице у этой красивой сильной бабы испуг и трепет и его, Мартынову, слюну.

Потом баба, неприятно расставив ноги, долго ползла вокруг березы, распутывая с ее сучьев свои косы. Большой клок волос, потемневший от слюны, остался на коре. Баба, схватив разорванный сарафан, как в мешок, уталкивала в рубаху огромные белые груди. Медленно локтем стерла с лица слюну и тогда завывала:

— Ой, матушки, ой!.. да што это-о!.. ой!..

Мальчишка визжал гуще ее и как-то жалобнее. Кончик носа у него был красный, и тут только заметил Мартын, как он походил на мать.

— У, падаль! Лезет тоже,— сказал Мартын и пошел к потоку умыться.

В ложе потока, во впадинах остались лишь редкие лужицы. Вода показалась ему удивительно теплой.

Баба, нелепо тряся задом и путаясь в юбках, бежала вверх. Мальчишка, смешно приседая, спешил за ней.

Мартын опять сел на бревно. Жар остался в пальцах, ему ничего не думалось и только почему-то жалко было, что он умылся. Он все соображал — и было такое чувство, будто он истратил последнюю воду. Пить к тому же

хотелось, а тут нахлынула такая слабость и дрожь, какой он не испытывал никогда.

Огромная тишина повисла над пустым ложем потока. Казалось еще, что по невысохшим галькам скользит багровый осиновый лист, попрыгивает, лепечет, но все бесшумно и все зря. Мартын закрыл глаза, и многое в этом мире качнулось перед ним.

Протяжно прокричала иволга, и Мартын подумал: «Похоже, мужики спускаются...»

Мужики действительно, молча, держа руки за опоясками, спускались по гольцам.

Они остановились в нескольких шагах от Мартына плотной толпой. Кто-то из них дышал тяжело, со свистом и часто сплевывал. Мартын тупо открыл глаза и положил почему-то правую руку в карман. Вышел вперед Скороходов, скинул кафтан, обшитый по борту и по вороту треугольниками.

— Ну, бей,— пробормотал Мартын.— Бабы жалко? Бей.

Скороходов побледнел, поднял руку, словно для призыва, и нехотя проговорил:

— Што ж тебя бить... за што тебя бить...

Мартын зажмурился, качнулся. Так же, будто нехотя, Скороходов прошел мимо него и вдруг, быстро обернувшись, ударил Мартына в переносицу. Желтый, как смола, свет лизнул Мартына в затылок, он схватился за грудь.

— Не надо,— сказал какой-то лысый, изъеденный оспой старик.

Из толпы спокойно отозвались:

— Проучить не мешает, из-за него металлу сколь потратили... Ты ему, Семен, за металл-то...

— А, за металл! — взвизгнул вдруг Скороходов.— Колдун! Сколько денег из-за тебя... Животины сколь погибло...

Мартын только жадно хватал ртом, будто не мог напиться. Скороходов наклонился, схватил в руку гальку. Жидкая как будто кровь брызнула из щеки Мартына.

— Та-ак его! — крикнул лысый старик и, подпрыгнув, с разбега ударил Мартына в грудь.

Мартын заревел каким-то телячьим ревом, и так не переставал реветь он, пока его били сначала кулаками, затем подхватили и, подкидывая в воздух, бросали спи-

ной на гальки. Голова мокро стучала, руки мотались — белые и слишком сухие. Лысый старик начал топтать ему руки, а затем крикнул и прыгнул на живот. В животе тоже нехорошо крикнуло, грязная жижа потекла из рта Мартына, а он все еще ревел нелепым своим телячьим ревом. Лысый старик топтался уже по голове, скользил с нее, словно с мокрого камня, а рев еще не прекращался. И здесь молодой курчавый парень, до того стоявший в стороне и больше всего оравший: «В морду ему, в морду!» — взял продолговатый камень, оттолкнул старика и, прищурив глаза, ударил камнем Мартына в висок.

Когда Мартын стих и перестал даже подергиваться, лысый старик вытер пот, оправил рубаху, перекрестился:

— Миром согрели, миром и отвечать.

— Миром, — качнул головой курчавый парень.

Елена ж все время сидела на бревне, где недавно еще сидел Мартын. Мальчонка прятал у нее в подоле плачущее лицо. Волосы у нее были плотно убраны под платок, глаза сухие и ожидающие, и смотрела она поверх мужиков. Когда Мартын выпрямился и курчавый парень вынул из рта искусанные им пальцы и руки сделал ему крест-накрест, Скороходов подошел к ней, покачал головой и вдруг со всего размаха ударил ее в глаза. Она опрокинулась за бревно и долго лежала там, пока не ушли мужики и пока мальчонка не перевел весь свой голос. Тогда она оправила платок, взяла мальчонку за руку и стала спускаться в долину.

Долина опять наполнилась плодородной тишиной; опять на жнивье гоготали сытые гуси, и опять месяц в озере был тепел и походил на каравай, только что вынутый из печи.

ПОЛЕ



Отпустили Милехина на четыре часа.

— Опоздаешь — не в очередь в наряд отправлю, — сказал ротный командир, со стуком прикладывая штемпель на пропуск.

Да Милехину и часу было достаточно. Ротному он сказал, что приехали родные из деревни, и, сказавши так, соврал. Хотелось проветриться. В казарме особенно казалось темно от мартовского солнца, от грязных окурков на полу, от стен, серых от грязи. На классной доске (раньше здесь была школа) кто-то белой глиной написал нехорошее слово, а рядом на стене хлебным мякишем был прилеплен плакат: «Колчак несет колбасу, Советы — свободу». И когда Милехин захлопнул обитую рогожей дверь и пошел через большой двор на площадь, — ему было тепло, сытно и радостно.

Станция железной дороги была от города верстах в четырех, и через каждые полчаса в город ходила ветка. Милехину не хотелось дожидаться ветки, и он пошел пешком через огромную площадь станции.

Сверху пекло солнце, а снизу морозило. Площадь уже оттаяла, и только бугор дороги лежал грязновато-желтоватой лентой на черной разбухшей земле. За тальниками — прямо на западе — мерзло синел Иртыш и видны были на нем разорванные кусочки дороги, как клочки бумаги.

— Тронулся ночью, должно,— сказал Милехин.

Но шипящего шума тронувшегося льда еще не было слышно.

«Скоро пойдет».

Милехин улыбнулся и почувствовал радость, словно лед принадлежал ему. Он, шумно бухая мокрыми английскими бутсами, шел по краю дороги, и снег ломался под его ногами. И треск этот доставлял ему удовольствие. Зеленая английская шинель, похожая на пальто, и голубые французские обмотки на икрах так не шли к огромной заячьей шапке с ушами и плохой рыженькой бороденке.

Над тальником мелькнула белым крылом чайка.

«Скоро пойдет»,— подумал опять Милехин.

На вокзале толпились люди с мешками, большинство женщин; солдаты с жестяными звездочками на шапках; три китайца продавали сигареты и семечки. С крыши капала вода, и часто с тихим звоном падали длинные ледяные сосульки.

Милехин постоял у двери третьего класса. Какой-то комиссар с желтым портфелем под мышкой, проходя, толкнул его и тихо проговорил:

— Извините.

Милехин, чтобы не мешаться, отошел и сел на подоконник. Бегали мимо с фонарями и какими-то черными ящичками железнодорожники, свистели на разные голоса паровозы, стучали буфера вагонов. Сверху, тихо и не спеша, грело и станцию, и грязные вагоны, и набухающую влагой землю большое чистое солнце.

Рядом упала сосулька. Милехин наклонился и поднял ее,— она была без пустоты внутри. Упала вторая, третья — все такие же.

«К урожаю,— подумал Милехин,— налив будет полно и умолот богатый. Штука-а...»

И ему вспомнилось, что снег тает не от солнца, а больше ночью, от земли. И тает дружно.

— К урожаю,— сказал вслух Милехин и, сказавши этак, подумал о деревне.

Подумал, что скотина у него вся ко двору — чалая и бурая, хозяйство идет хорошо. В прошлом году плох был урожай, а нонче должен быть хорош — март весь сухой,

да вот коли апрель будет в сырости — благодать. А теперь — в такое святое время винтовку чисти, а то на часах у какого-нибудь склада стой. Ему стало нехорошо на душе, он поднялся, прошел три раза по перрону и решил идти в роту. В это время его окликнули:

— Кольша!

Милехин обернулся и узнал одного из товарищей по роте, Федьку Никитина. Он месяц назад заболел тифом, и его увезли в больницу. Милехин подошел к нему, и они подержали друг у друга руки.

— Как живешь-то? — спросил Милехин.

— Ничо. В поправку на два месяца в деревню пустили. Поеду сейчас.

— Ты какого уезда-то?

— Татарского, — ответил Никитин с удовольствием. — Через полдня, брат, дома буду. А ты?

Милехин нехотя ответил:

— Ново-Николаевского... Двое суток надо ехать. Ноне поезда-то беда как ходют, а коли с «максимом», так и всю неделю.

— С «максимом», верна, — подтвердил Никитин и звонким радостным голосом сказал: — Айда ко мне чай пить.

Милехин согласился. Когда они шли, Милехин заметил, что Никитина пошатывает от слабости, а с лица он был такой, будто под венец шел. Милехин ему позавидовал.

За чаем Никитин, как и все послетифозные, ел много и угощал Милехина. А Милехин не слышал, что рассказывал ему Никитин про больницу, докторов, а думал о своей деревне.

И когда он вышел из вагона, распрощавшись с товарищем, то решил уехать домой с этим же поездом. Прошло три вагона, хотелось сесть в самом хвосте поезда, но не вытерпел, вошел в вагон, прошел одно купе и в следующем полез под лавку.

В купе сидело пятеро солдат. Один из них, с расщепленным носом, спросил:

— Куда ты?

— Домой, — ответил Милехин.

— А-а... — сказал солдат, а другой, макая сухарь в стакан с чаем, спросил:

— Далеко тебе?

— До Ново-Николаевска. Одну станцию не доехать.

— Далеко. Документов нету?

— Нету.

— И хлеба нету?

Милехин ответил со злостью:

— Ну, нет, а тебе чо?

— Лежи уж,— сказал солдат.— Как-нибудь доедешь.

Два дня пролежал, не вылезая, под лавкой Милехин и на третьи сутки ночью слез на Грачевой. От Грачевой до Крутого осталось пятнадцать верст, и утром Милехин был дома.

Милка завизжала и кинулась под ноги. Гусь испуганно бросился в сторону, под опрокинутые розвальни; на конском черепе, воткнутом на заборный кол, как и год назад, сидел воробей и чистил под крылышками. Сенька выглянул в двери и заорал в избу:

— Мамка, батя приехал!

Баба поставила самовар, принесла молока, нарезала калачей и, утирая в кути подолом глаза, спросила:

— Надолго те пустили?

— На двое месяцев,— степенно сказал Милехин, и ему самому поверилось сказанному.

— Война кончилась, што ли?

— Где кончать? По болезни пустили.

— Какая болесть-то?

— А черт ее знат. Докторам известно.

— Конечно, докторам известно,— всхлипывая, сказала Марья,— уморили человека-то, да еще и не говорят — чем.

— Ладно, не лопшись. Буде.

В деревне спрашивали:

— В кумынию не записался?

Милехин отвечал:

— Брюхом не вышел, говорят.

— Ишь ты...— удивлялись мужики.— А у нас тут бают — в Омске-то усех в кумынию пишут, а кто не хочет, тому затылок бреют и к немцам шлют. Не видал таких?

— Не приходилось,— отвечал Милехин.

— Набродь мутить народ, добра не жди.

Милехин подтвердил:

— Не жди...

Но расспросы скоро кончились. Начался взмет земли, и все пошло на пашню. Весна шла тихая, апрель сырел — падали недолгие, но хрупкие дожди.

— Благодать, — невголот говорил Милехин, чтоб не сглазить. — Оглобля за ночь травой зарастает.

— Дивеса! — охала баба.

Плуг упорно и бойко буравил черную землю. Бурко потел, и от хомута пахло остро и сладко. Поблескивал лемех, поблескивала влажная шерсть на Бурке, и Милехину казалось, что сама отваливается земля — надоело ей лежать. С озер пахло камышами, распускались деревья, а кое-где на них мокрели еще нераспустившиеся почки, похожие на больших жуков.

И как-то не думал Милехин, что в Омске, во втором взводе, лежит у его нар винтовка № 45728 и что он совсем не дядя Коля, а Николай Милехин, солдат Красной Армии.

Куры сходили с насеста поздно. Баба улыбалась и тихо ночью говорила на ухо Милехину:

— Урожай будет.

— Ладно, — сонным голосом отвечал Милехин, и у него слегка щипало краешек сердца. Он притискивал к себе бабу и засыпал.

Когда расцвела черемуха, начали сеять. Утром с востока дул легкий ветерок — хорошо, зерна несло к западу, к покою; потом к полудню ветер совсем прекратился — еще лучше. Солнце стояло в теплом красном круге — смотрело, как ровно и грузно падают в землю большие желтые зерна.

Потом Милехин пошел в поле и увидел густой зеленый подъем. С вглава — прозорного места, на котором он стоял, пашия походила на зеленую коломенскую скатерть. А по краям — акорье — черные, обгорелые лесины, как стаканы с кирпичным чаем.

— Видал ты... — с уважением к себе сказал Милехин и, вспомнив, что дома не поена скотина, пошел домой.

За воротами его встретил Сенька:

— Батя, там стражник.

— Где?

— В горнице... Шапка большая-я... Я боюсь.

— Не укусит,— сказал Милехин, подымаясь на крыльцо.

Милиционер повез Милехина в волость, а оттуда в уездный воинский комиссариат. Из уезда его отправили в губернию, и губвоен трибунал постановил: за самовольную отлучку из Красной Армии в момент напряженной борьбы с врагами социалистического отечества конфисковать в пользу государства половину его движимого и недвижимого имущества.

ПОЛЫНЯ



Жизнь, как слово — слаще и горче всего.

Богдан Шестаков очень изменился за последний год. Когда он напивался, в голову приходили тягучие мысли о смерти, а подумав, он начинал драку. В деревне его стали бояться и хвалили только за то, что он дерется не ножом, а постоянно палкой. Девки приставали меньше, кто-то пустил о нем славу — порченый. И верно, всякий раз после пьянки его долго тошнило, и если выскакивал из горла темный сгусток крови, то становилось легче дышать... Кожа на его огромном скуластом лице казалась какой-то гнилой, а маленькие глазки смотрели так, словно дано было ему видеть мир в последний раз.

Был конец масленой, деревня много дней уже пила, дралась и, путаясь в огромных сугробах, орала озорные песни. Накануне прощеного воскресенья девки не пришли на вечерку, и Богдану хоть и скучно было драться без девок, но опять заняло сердце, опять в голове стало так, словно он стоял, наклонившись над бездонным оврагом, — и Богдан разогнал вечерку, выбил в избе окна и даже ударил любимого своего друга Степку Бережного. Ударил в ухо, в кровь, а Степка парень был гордый, удара не простит, — и думал утром Богдан: теперь или Степку придется зарезать, или Степка зарежет его. Стало необычно тоскливо. Плохо растапливалась печь. Мать, перекладывая поленья, сказала ему:

— Хоть бы ты долги за бочки собрал, кончат тебя скоро. Степка по селу ходит — не миновать, говорит, тебе ножа.

В свободное от хозяйства время Богдан бондарничал. Деньги за работу собирать не умел, и часто надо бы сказать заказчику ласковое слово, а у него получалась брань. И то, что мать не пожалела его, а думала больше о деньгах, тоже как-то расслабило Богдана. Вяло и нехотя натянув щегольские, с узкими голенищами сапоги, взял обеденный нож со стола, вытер его два раза о подошву, сунул за голенище. Мать только громыхнула ухватом. Размахивая сучковатым своим батошкой, Богдан вразвалку, лихо играя плечами и удало посматривая по сторонам, шел по улице. В первый раз за всю его жизнь лежал у него за голенищем нож, и было непонятно чего стыдно и даже страшно. Казалось — выбеги сейчас из-за угла Степка, едва ли Богдан выхватил бы нож и даже едва ли поднял бы палку.

Деревня после вчерашней гулянки еще спала. Выйдет разве за ворота посмотреть погоду какой старик. Тупо стоит, распахнув тулуп и подставив солнцу сивую бороду. Снег тает у него подле валенок, валенки темнеют, и не видит ничего старик. Даже собаки не лаяли, словно и они страдали с похмелья. Казалось Богдану, разбежалась, перепрыгала по сугробам деревня, словно вспорол он своим ножом мешок с пшеницей. Так Богдан дошел до выгона, там уж кое-где посерел снег: словно протерлась материя и выступила подкладка. Ночью, надо думать, выпадала пушная кидь — самый крупный снег, и обледенелая дорога казалась исковерканной долотом. И опять мысли, тяжелые горы, упали на него. Один он стоял у поля. Повернуть уже в деревню было страшно до поту. Вправо от выгона белело кладбище, и пришло ему в голову, как трудно будет долбить ломами могилу, а копать ему могилу будут парни-сверстники (есть такой обычай: зарезанному приятелю сверстники копают могилу, чтобы подольше поговорить о покойнике). Степка первым пойдет по деревне... И тогда он подумал: «Надо обрат идти. Говорят уж поди — от Степкина ножа утек». И все же не было сил обернуться к родным избам. Здесь он припомнил, что в Данилове — соседней деревне, верстах в пяти — сегодня престол и вечерки.

Богдан выпустил чуб из-под шапки, подтянул выше

голенища, страх будто прошел, и Богдан направился по обширной снеговине в Данилово.

С легким хрустом скользили его каблуки по ледку дороги. Хруст льда был рыхлый, весенний, и рыхлые шелковисто-белые облака были в огромном небе. Конец снеговины был занят легким синеватым леском. Дорога, словно утомившись, прямо бежала по снеговине, начинала вилять и в лесок брела, как пьяная. Лесок-ельничек был весь в снегу, в искрах, в фарфоровом блеске, поднимался он на холм бодрый, веселый, словно бы с пеньем. За холмом — поляна, а с краю ее — Данилово. Перед самым леском текла речка, занесенная пухлым снегом, убродная, словно стянула она со всей равнины на себя снега, будто нужно ей было прятать что-то драгоценное. Ничего-то в ней не водилось, даже пескари и те давно передохли, запутавшись и устав жить в неимоверно густых лопухах и водорослях. Через речушку лежал мостик, тоже занесенный снегом; торчали от него два столбика, а направо от этих столбиков виднелся сруб, — года два назад кто-то хотел устроить здесь мельницу, да так и бросил, неизвестно почему. Летом в этот сруб парни водили девок, водил и Богдан.

И вдруг влево от столбиков, в двух саженях, не более, увидал Богдан громадную, как большой двор, полынью.

Не меньше как в неделю раз ездил Богдан по этой дороге за сеном на луга, а заметил эту полынью впервые. Вода была неподвижна, смарагдово-зеленая по краям, а снег, окружавший полынью, казался необычайно рыхлым, злым. Да и полынья не казалась радостной, будто речушка вынесла в нее всю свою злобу, накопленную за долгие годы.

А по ту сторону полыньи увидел Богдан большого сивоголового селезня.

Кому дано знать, как он попал, когда он попал на эту полынью? То ли затосковал он в солнечной стране по родным лугам? То ли на самом деле должна через несколько дней хлынуть весна? И селезень, словно смеясь над смущенно остановившимся человеком, весело поныривая, плыл вдоль полыньи. И казалось, когда он выныривал, вода расцветала. Селезень крикнул, ударил крылом и подплыл ближе к человеку. И то, что он ударил крылом, словно по сердцу, непередаваемо разозлило Бог-

дана. Он отпрыгнул, схватил ледышку и метнул ею в селезня, Птица нырнула, шесть темно-серебристых кругов, похожих на круглые перья, пошли от нее. И Богдан уныло подумал — не завести, видно, ему никогда дробовика. Он быстро начал собирать обледелые комья снега, и ему было стыдно: большой парень, а, словно мальчишка, гоняется за селезнем. Но тут ему захотелось принести на вѣчерку в Данилово дикого селезня.

— Замучаю, гадина! — закричал он, продолжая собирать ледышки.

Селезень кричал, тревожно смотрел вверх. Рыхлые облака, словно пряди седых волос на молодом лице, продолжали скользить по небу. Желтый клюв селезня, подобный уцелевшему осеннему лепестку, тонул в воде. Богдан, весь потный, увязая в снегу по пояс, бегал с одного берега на другой и все не мог отыскать такого места, с которого он мог бы попасть в селезня. Подле кустика он ткнулся в настыль — промерзшую толстую кору снега. Богдан наломал куски этой настыли и долго кидал их в прорубь. Он скоро устал — и от злости на такую глупую охоту, и от мысли, что селезень может улететь. А селезень продолжал все нырять и нырять, и казалось — с каждым разом он остается в воде все дольше и дольше. И вот, когда он нырнул особенно надолго, Богдан, внимательно рассматривавший полынью и гадавший, где бы мог вынырнуть селезень, как-то невзначай взглянул на сугробы. По сугробам переметывался с тревожным шипеньем снег. Богдан поднял голову, и в небо, словно с сугробов, перекинулась волокушка. От солнца в мятущихся снегах осталось только пятно огненно-красной киновари. Края земли походили на завороты сугроба. Деревни не было видно.

Тогда Богдан поспешно отыскал свою палку, переломил ее, долго целился и так кинул ее, что палка завизжала. Селезень валетнул на сажень. Богдану показалось, что он попал ему в крыло. Да и селезень теперь не нырял, а, чуть волоча крыло, плыл вдоль снежного берега. В воду с надутых, как капризные губы, сугробов сыпался снег. Стало тускло, как в сумерки. Очень ясно обозначались талые места дороги, и тут только Богдан понял, что, даже убив селезня, он не смог бы достать его из полыньи. Разве лесиной, но едва ли подыщешь такую тонкую и длинную лесину, которая могла бы достать до середины полыньи.

Он почувствовал иней на шее, замотал крепче шарф, перетянул опояску, вдруг стало почему-то обидно, что на полушубке недостает трех пуговиц. И опять с непонятным страхом подумал о родной деревне, о Стёпке, опять тяжелые, как горы, мысли подступали к сердцу... От ножа ноге стало холодно, он достал нож и сунул его за пазуху. Посмотрел на полынью, — селезня за снегом не было видно. Богдан постоял, подумал и все-таки пошел в Данилово.

А ветер все усиливался, и не успел Богдан отойти десяти шагов от столбиков моста, как снег — мелкий, пыльный «блеска» — так ударил ему в лицо, что словно забил горло. Богдан долго протирал глаза и, протирая, не заметил, как очутился на реке. Потерялась лиловая тень мельничного сруба, да ельник куда-то исчез — и дороги под собой не нашел Богдан. И когда он, поддерживая для чего-то шарф на шее, кинулся вперед, — вдруг темная вода полыньи открылась у его ног. Снег медленно уходил в воду, так медленно, что казалось — прежде чем уйти, он скользит поверху, отыскивая нору, куда бы мог скрыться от разъяренного ветра, от бесконечных однообразных полей, и, уходя, не верит, что можно скрыться. Богдан, неотступно глядя на полынью, медленно шел вдоль берега и вскоре наткнулся опять на столбики. Он яростно сбил с одного из них снег. Он потоптался перед столбиком, даже как-то неумело припляснул, — сразу стало веселей, и он вновь направился в Данилово.

И вновь, не успев отойти десятка шагов, сбился с ледка дороги (хотя вначале, прежде чем ступить, нащупывал впереди себя ледок, но ему быстро надоело нащупывать, сразу поверилось в удачу) и опять попал на реку, глубоко теперь, почти по пояс занесенную снегом. Идти вперед по реке было до обиды страшно, — каждый шаг, казалось, обваливался и катился в полынью. Мчалась, округ него шипящая светлая темнота. Богдан остановился. «Господи!» — прокричал он приказывающе, повел палкой, и вправо палка его наткнулась на бревна мельничного сруба. Он хотел было войти туда, но вдруг зачем-то вспомнилось, как воняло в срубе, когда он водил туда девок, и как вонь эту замечали только тогда, когда шли обратно. И стало ему до слез обидно на Стёпку, пригнавшего Богдана на такую обидную смерть к срубу. «Господи!» — опять приказал он. А поносуха все сильнее и сильнее

крутила снега, притискивая к его телу кожан. «На дорогу от сруба надо брать влево», — припомнил Богдан. А на дороге ветер был еще сильнее, поднялся, видно, последний зимний буран. Столбик вновь был занесен снегом, полынья исчезла. «Тоже, должно быть, занесло», — подумал Богдан, и ему стало легче. Он присел на столбик, скрутил папиросу и, когда между колен в полушубке зажег спичку, ветер дернул, вырвал кисет, обидно помахал им в воздухе и швырнул его к полынье, в снега. Богдану стало так тяжело, что он даже не обрадовался тому — на таком сильном ветру, закуривая папиросу, не испортил ни одной спички. «Затянуться напоследки», — подумал он и здесь вспомнил опять Степку, свою трусость, и селезень в проруби чем-то напомнил ему венчик, что надевают на лоб покойнику. Он уже и сам понимал, что не дойти ему теперь ни до Данилова, ни до дому, заблудится, сдохнет, — и все-таки пошел в Данилово. И верно — сразу же он спутался, упал, сразу очутился в сугробе, и вот снова перед ним — полынья. Она лежала такая же неподвижная и темная, как и раньше, так же неподвижно были в ней подземные родники, и так же нехотя принимала она в себя снега. Не колышась, плыла она покойно среди этих взбесившихся снегов, плыла настолько неподвижно, что даже не отражала ничего, как глаз мертвого.

Сердце у Богдана вдруг словно прокололи насквозь, он даже от такой боли перекрестился. И затем сразу нашло на него такое чувство, словно он засыпал после большого, наполненного усталостью дня. Вода на мгновение просветлела — и он неистово ринулся прочь. Но сразу же до истомы стало ясно: куда бы он ни кидался, как бы ни бежал по сугробам, — везде под ногами обрушивались глыбы рыхлого снега, и вода открывалась ему. Попробовал было он закричать, — сразу от сильного ветра заныли зубы, и стало чего-то стыдно. Шарф стал влажным, и скоро обмокрела спина. «Добро — у сапог узкие голенища, а то бы снегу-то сколько набилось», — подумал он, не замечая, что и узкие голенища были наполнены снегом, а теплые капли пробирались вдоль икр.

Он устал думать о дороге, — в голове у него остались только какие-то коротенькие мысли о столбиках. Ему казалось — ухватиться бы за столбик, и он не скатится тогда в воду. Виски были словно зажжены, а чуб лез на глаза, холодный и чужой. Несколько раз отсканивая от по-

лыньи, наткнулся он наконец на столбики, упал и прижался лбом к обледенелому дереву, и на мгновение вернулась храбрость, он полез было в карман за табаком. Скверно и долго выругался. Брапъ шла легче, чем крик, и он, длинно и долго ругаясь, звал на помощь. Показалось, что чем-то и кому-то он отплатил за свои муки. А веселый и свистоголосый ветер все так же неся над снеговинной, все так же блестящей пылью звенел на обледеневшей коре-чире, колол ресницы. Богдан отполз немного от столбика, от дороги; он ясно слышал понуканье ямщика, храп утомленной лошади, ему показалось, что его могут растоптать, но тут лошади словно свернули в сторону. Он даже разглядел, как блеснули длинные оглобли, хотя и знал, что иной дороги, кроме той, на которой он лежит, — нету. Но он отполз еще два шага.

И опять темное жерло полыньи всплыло перед ним. Обледенелый скат, спускающийся в воду, как бы дрогнул, в плечах Богдана словно что-то хрустнуло, и он торопливо поджал под себя ноги. И было время, — каблук уперся в какую-то ледышку или коряжку, а в полуаршине далее лежала вода, пахнувшая почему-то тинной. Эта пахнувшая тинной вода словно всосала все его мысли. Он долго, сгорбившись, сидел и неотступно смотрел в воду. А затем, как родник, со дна его души ударила в тело и смятенно пронеслась мысль, что сейчас каблук соскользнет с коряжки, кости и мясо — все то, из чего составлен Богдан, покатится по льду, ветер, дующий в плечи, еще сильнее ударит в полы полушубка, и шесть огромных кругов, похожих на круглые перья, захлопнут его жизнь. Он стал тереть ноги, а пальцы без толку путались, и казалось — трет он сапог о сапог, как безрукий чеботарь. И когда подумал — «безрукий», все как-то вдруг рухнуло в его голове: дорога, ожидание саней, удаль его, и он хорошо понял, к чему это, словно пропели ему конец.

Тогда вправо, совсем против столбиков, подле большой, нависшей над водой глыбы снега (с глыбы тусклой струйкой сыпался в воду снег) Богдан увидел селезня. Птица, уткнув под крыло голову, тихо покачивалась на воде. Сверху она была вся засыпана снегом и как бы походила на свою белую тень. Богдан изумленно потрогал веки — снег словно посинел.

— Цыпа... цыпа... — позвал он вдруг и сам удивился своему пискливому голосу. Не успел он позвать птицу и

трех раз, как селезень встрепенулся, снег с него скатился, и он медленно поплыл прочь. Богдану стало обидно, зло, он даже почувствовал жар в веках,— так напряженно вглядывался он в крутящуюся синеву. А более всего ему было обидно то, что он мог вспомнить сразу, как кличут цыплят, а как кличут утят — он не мог вспомнить. Селезень давно уже уплыл в снега, а Богдан все покрикивал: «Цыпа, цыпа»,— и, когда совсем обмерзли десны и ему пришлось замолчать, он вдруг почувствовал, что катиться в полынью не так страшно. Он убрал с коряжки затекшую ногу. И оказалось — скат не так уж скользок. Опять усилилась метель, и вскоре он начал думать, что селезень почудился ему и что нет такого селезня совсем, а было ему виденье перед смертью.

Снег пожелтел на минуту,— надо думать, закатывалось солнце. А потом зашипело еще сильнее; казалось, снег был теперь с мелкими градинками,— очень больно колот за ушами. Долго так сидел Богдан. Снегу намело вровень с плечами, перекачивался он по груди. Спине стало теплее, и Богдану не хотелось вставать, уходить. Он всунул пальцы в рукава, надвинул шапку на уши и полузакрыв глаза. И тогда ему показалось, что коряжка выскакивает из-под его ног. Он шевельнул ступней: что-то похожее на льдину качнулось подле его сапога. Он наклонился — было уже совсем темно — и неподвижной холодной рукой он скорее почувствовал, чем ощупал, перья селезня. Птица отошла от его руки и поползла, скользнула вдоль сапога к сгибу ноги,— видно, ей хотелось, выбрать, где теплее. И Богдан вспомнил, как раньше сизое перо селезня чем-то напоминало ему венчик на лбу покойника. И огромная злость потрясла Богдана, он сунул руку за пазуху к ножу, но тут грудь его наполнилась каким-то кипящим теплом, тепло это хлынуло по рукам. В голенищах снег уже не таял, и не было ощущения, что портянки с ног разматывают по ниточке. Сугроб за его спиной почудился шире, тверже и чем-то напомнил баню. Небывалая доброта овладела всем Богданом.

— Ишь, черт,— сказал он шепотом и заботливо погладил селезня по крылу. Затем рука его спустилась к животу; живот у селезня был мокрый. Тогда только Богдан заметил, что селезень мелко дрожит и шея его бес-

сильно падает на тыл Богдановой руки.— Полежай дальше,— прошептал Богдан и долго не убирал руки, пока селезень не согрелся и не взял голову под крыло.

Так человек и птица просидели всю ночь у полыньи. Вначале, когда Богдан перебирал затекающими ногами, селезень шарахался, а потом привык и только легонько кричал, и это смешило Богдана. Под конец даже Богдан решил, что селезень выведен при птичнике из яиц дикой утки, может быть, даже и улетел из птичника. Под утро Богдан вздремнул и, засыпая, подумал уверенно и весело: «Не замерзну». И он, точно, не замерз. К утру из-за лесочка, из-за холма, словно он там спал всю ночь, хлынул в снеговину теплый весенний ветер. Ветер тронул Богдановы ресницы. Богдан вскочил и начал оттирать снегом руки. Три пальца не действовали, посинели слегка и стали необычно гладки. «Придется обрубить,— подумал он,— и на ногах подои придется обрубить». И, оглянувшись, заметил он, что больше, выше всего снег на дороге, да и всегда весной, если идет крупный снег, больше всего наматывает его на дорогу. Что ж тут позорного, если и заблудился. Тихий плеск послышался рядом — это селезень нырнул в полынью. Но он вскоре вынырнул, точно ему жалко было оставлять тепло и солнце, взглянул изумленно на человека и с громким криком уверенно и быстро поднялся вверх, прошелестел над леском и понесся на холм, навстречу весеннему ветру.

— Ишь, черт,— сказал любовно, глядя ему вслед, Богдан.

Отмороженные пальцы начинали ныть, но Богдану было легко переносить эту боль. Идя вдоль каймы занесенной снегом дороги, он думал уверенно, что если уж теперь драка выйдет, так конец-то теперь Степке будет, а не ему, Богдану. И было непонятно, как он мог бояться своего села,— оно лежало в снегах такое теплое, пахнущее хлебным дымом,— как он мог думать о смерти, бежать куда-то, кого-то зря, точно свою смерть, бить... Он не знал еще, что будет делать теперь, но веселая уверенность наполняла его все крепче и крепче. Так, улыбаясь неумелой улыбкой, прошел он вдоль села, стукнул в окно и тихо крикнул:

— Мамка, неси топор да рукотерку!

Положил руку на бревно, на котором кололи дрова,

отрубил три пальца и, перетягивая полотенцем руку, сказал ласково матери:

— Теперь удача мне во всем, работать ли, еще ли что, а коли со Степкой резаться,— обязательно ему конец, мамка.

А матери было страшно слышать его ласковый голос, тошнота подступила к сердцу от снега, залитого кровью, слезы текли у ней из глаз, а вытереть она их боялась почему-то. И так же ласково, в голос сыну, она спросила:

— Ливорвер, что ли, купил?

И, опять улыбаясь неумелой улыбкой, ответил ей ласково Богдан:

— А то как же... Не со слова же быть мне такому храброму.

НА ПОКОЙ



Ермолай Григорьич на работе был строг, часто упрекающе вскрикивал, и упреки его были почему-то особенно обидны. Его желтые зеницы ехидно смотрели вбок, в сторону, словно там, за плечами человека, он видел и знал самое плохое, о котором ему не только говорить, но и думать было противно. И когда вдруг оказалось, что фабрика убыточна и выделявает не то, что необходимо республике, и что ее нужно закрыть, — сотоварищи обрадовались, что наконец-то Ермолай Григорьич попал в беду. Но его желтые глаза по-прежнему уверенно и ехидно блестели под круглыми, какими-то косматыми бровями, и они поверили, что Ермолай Григорьич всегда справедлив и строгость его от большого знания своего места на земле, и они разошлись так, что когда выходили из конторы и расставались, может быть, навсегда, то никто не подал руки Ермолаю Григорьичу. Ермолай Григорьич скопил крепкие щеки, желтые глаза его последний раз увидели за плечами товарищей то, чего никто не видал и не знал, и он бодро вышел впереди всех. Но сердце у него ныло, и, казалось, закрыли не всю фабрику, а выгнали его одного.

Он прошел два квартала вдоль фабричной красной стены к трамвайной остановке. Подле светло-синей, быстро на глазах высыхающей лужи стояла небольшая очередь. Он гулким голосом, крепко выходящим из его выпуклой пятидесятилетней груди, спросил, кто последний,

и так уверенно стал повади какого-то чахоточного человека в грязном парусиновом пальто, что человек сразу ватосковал, да так и, мучаясь, не смог понять, что с ним происходит. И когда испарканная трамвайная подножка уже была подле его колена, Ермолай Григорьич догадался, что он собирается ехать к своим сыновьям. И он так уверенно отошел от трамвая, что никто не подумал о его ошибке, а всем было ясно — ему не понравился вагон. Кондратий и Евдоким, его сыновья, работали на другой фабрике, кондитерской, кочегарами. Кондратий был лыс, выше почти на голову Евдокима, говорил раздельным тенорком, а Евдоким неумело хрипел, и все же и посторонним и даже отцу казалось, что братья всегда говорят в голос, может быть, потому, что всегда говорили о хозяйстве, деньги до последней копейки посылали в деревню, сами впроголодь жили в какой-то провонявшей селедкой и мочой кухنيшке и к отцу в его опрятную комнатку ходить не любили. Каждый вечер они начинали меж собой разговор о сбруе, — им хотелось иметь кожаную сбрую с ременными вожжами, — и всем чудилось, что мечтает о сбруе один какой-то очень недовольный голос. И нередко они брали на ночь девку, уговариваясь, что спать с ней будут двое, и, хватая девку за ляжку, лысый Кондратий говорил: «скидывай сбрую», — и девка почему-то всегда была ими довольна, и, уходя, она старалась думать, что спала с одним каким-то необычайно сильным человеком. Поспав с девкой, — это чаще всего происходило в субботу, — братья шли в гости к отцу, и всегда они встречали там кипящий самовар на столе, связку пухлых баранок, полбутылки водки и в окне довольного снегиря. Отец весело и снисходительно расспрашивал их о деревне, хвалил деревенскую жизнь, легонько трогал пальцем клетку, говорил: «Как птицы живете», — и заглядывал далеко куда-то за плечи сыновьям. Но сам он никогда не высказывал желания поехать в деревню, и, расставаясь, все трое чувствовали, что между ними многое не договорено, — и тогда они враз все трое улыбались и хлопали суетливо друг друга по плечу.

Были у него еще две дочери — Василиса и Вера, жившие в деревне и правившие хозяйством вместе с женой Кондратия, Анной. О дочерях Ермолай Григорьич вспоминал с нежностью: они были беспечны, певуны, а женихи как-то не шли к ним, — и, что им суждено

остаться в девках, тоже трогало нежностью сердце Ермолай Григорьяча. Но с сыновьями о девках Ермолай Григорьяч не говорил, и, когда сыновья уезжали в отпуск, он давал им по ситцевому отрезу и хмуρο бормотал: «Ублажите... пушай по кофе сошьют, глядишь — и хватают кого за душу».

Весь день он был доволен, что не пошел к сыновьям, побрякивая, пил чай и сам не заметил, что снегирю три раза насыпал зерна в кормушку. Проснулся он рано, легкий весенний морозец чуть тронул окно; снегирь играл перьями в розоватом и блестящем тумане света. Трамваи звенели так, словно неслись в небо. Сидевший на тополе грач, увидав проходившего мимо Ермолая Григорьяча, радостно тряхнул перьями, и показалось, что весь синий тополь тоже задрожал. Вчера, за чаем, Ермолай Григорьяч выбирал, на какой бы ему завод пристроиться: он не любил людных зданий и завод выбирал подальше от города и почему-то с коротким названием, может быть, потому, что фабрика, с которой его убрали, имела огромную вывеску в добрую сотню букв и при открытии ее говорилось много речей и посылались длинные приветственные телеграммы. И вот Ермолай Григорьяч направился на выбранный им вчера завод. Знакомые на заводе долго жали ему руку и, оглядываясь на дверь — словно их кликал кто, сказали: «Что поделаешь, кризис... у всех...» Дверь была обита клеенкой, невероятное количество ржавых гвоздей в бешеном беспорядке гнездились на клеенке. Ермолай Григорьяч, ласково улынувшись, ушел. И чем больше он ходил от завода к заводу, от фабрики к фабрике, от окошечка биржи к другому, тем все больше он приближался к людным местам и тем все обиднее разговаривали с ним люди. Сразу во всем: в разговорах, в поступках людей — увидел он обидный до слез беспорядок и, вспоминая многие резолюции, за которые он голосовал в ячейке, он замечал чепуху и непонятное в этом, казалось бы, налаженном деле.

Явилась нужда пойти в пивную со знакомыми, один из которых, угрюмый, с кривыми грязными пальцами, одетый в парусиновый пиджак поверх грубой толстовки, обещал ему поденную работу. Ермолай Григорьяч поставил дюжину пива, и сразу после двух бутылок знакомый развеселился, начал расхваливать себя, рот у него раз-

мок, и можно было ясно понять, что зря ему поставлено пиво. В другое время Ермолай Григорьич прогрохотал бы тяжелыми своими сапогами и ушел бы, а тут он вдруг почувствовал себя усталым, веки его с трудом подымались, и в бровях кололо так, словно веки были стеклянные.

— Цыпленок-то вот дважды родится, а ни однажды не крестится, — сказал он и пристально, словно удивляясь чему-то, взглянул в пивную бутылку.

Все посмотрели на него вопросительно, а он тихо расставил крепкие ноги и между ног опустил руки, и все с какой-то робостью увидали, что руки его почти хватают до полу.

— А я вот дважды крестился. Сперва в Христа, а потом в коммунизму. Под крестом-то на шапке я всю Галицию проходил, до немца через все болота докатывался, а из-за коммунизмы и на Украине и на Колчака... много скитанья принял.

— Ты к чему поешь-то? — весело спросил хмурый знакомый, играя грязными пальцами.

— А к тому, что спокойствия, а выходит, и меня — не рождалось еще!

— Найдешь, найдешь работу, не тоскуй.

Между столиками стояли сделанные из фанеры пальмы. Пиво пылало желтым солнцем. Ермолаю Григорьичу до головной боли было непереносно смотреть на эти пальмы.

— Я в Закавказье не на таких пальмах кашу варил, — вдруг, со злобой глядя на угрюмого знакомого, сказал он, — там пальмы... в обхват...

— И верю, верю, — напряженно прикрывая рот грязными пальцами, испуганно ответил ему знакомый. — Ты пиво пей. Говорю, будет тебе работа!

Но Ермолай Григорьич взял шапку, постоял: никто не сказал, чтоб он платил за пиво, и он грузно вышел. Ложась спать, он подумал, что завтра встанет бодрый и уверенный, дабы искать работу, но поутру усталость еще более овладела им. Он даже не застегнул пуговиц на рубашке, и неприятно было чувствовать голую, казалось — одряхлевшую шею. Вспоминалась вчерашняя выпивка, и мысль опять вернулась к скитаньям, и он вспомнил, как он вступил в партию. Случилось это накануне сражения с каппелевцами, когда все думали, что

полку нужно сдать. Военком воскликнул, указывая на него: «Товарищи, учитесь смелости у Тумакова!» И сто одиннадцать человек в ту же минуту пожелали вступить в партию. Каппелевцев разгромили, и приказом по полку была отмечена выдающаяся храбрость тов. Ермолая Тумакова. Потом пришло на ум, как на Урале, на хозяйственном фронте, дивизия заготавливала дрова. Должен был проехать нарком. Красноармейцы десять верст, прямо через снега, шли к рельсам для того, чтобы прокричать мчащемуся мимо поезду «ура», и Тумаков пришел первым. А теперь усталость (что как тень лежит на воде и не тонет) — усталость овладела им, и он чувствовал себя стариком. Ему захотелось посмотреть на себя в зеркало, но и зеркала, оказалось, он не имел. Последний раз, перед отъездом на фронт, жена подарила ему маленькое зеркальце в ладонь величиной. Он разбил его случайно прикладом и, помнится, пошутил, что с бабой-то видно, плохо, а баба почти в те дни и умерла от тифа. Вспомнив и зеркало, и терпеливую старуху, он вспомнил и свое хозяйство, которое он не видал лет восемь, — и тогда он направился к сыновьям.

Сыновья, как оказалось, уже знали, что фабрика закрылась и что отец не может найти работы.

— Деньги-то заместо пропивок надо было б в деревню посылать, — сказал Кондратий и самодовольно погладил лысую голову.

— Барин, — подхватил Евдоким, — хамунист, вояка...

Сыновья держали себя заметно развязнее, и когда Ермолай Григорьич сказал, что он устал и ему пора на покой, сыновья промолчали. Серая кошка с гноящимися глазами развязно прошла по вонючему полу кухни. Ермолай Григорьич хотел было прикрикнуть на сыновей, но как-то получилось, что он утомленно сказал им, что дом его и скотина им не отписана. Сыновья, видимо, испугались, хотя бояться им было нечего, и вот, побродив без толку еще неделю по городу, Ермолай Григорьич уехал в деревню.

В Волгу врывалась речонка, желтая, бойкая, и бойкие рыбешки с красными крылышками, словно обгоняя струи, выпрыгивали из воды. Речушка же, врываясь в Волгу, пересекала ее прямо до противоположного берега, и казалось, что через Волгу лежит свежий сосновый горбуль. На песчаных холмах синели избы деревни

под веселым названием Тоша. Ласковые холмы неустанно кружили вокруг деревни. Прыгали по ним с веселым пчелиным звоном зеленые хлеба. Церкви блистали среди рощ, и, казалось, Волга шла под колокольный звон.

Тело к ухабам сразу привыкло, но Ермолаю Григорьичу казалось, что сердце вздрагивает у него от толчков телеги. Ермолай Григорьич держался одной рукой за телегу, а другой прикрывал глаза от солнца, хотя солнце было тихое. Когда вдали, с холма, перед ним блеснула Волга и скрылась, легкий страх охватил его. И чем более он ощущал звенящую тишину полей, чем более сливались перед ним стоявшие вначале в одиночку колосья, — тем сильнее и увереннее отягощал его страх. Ему не то что казалось, что его не допустят до околицы, но не было даже уверенности, что эта родная ему околица есть. Медленно и как-то боязливо отвечая его мыслям, тряслась телега. И вот вместо оврага, по которому когда-то тек высыхающий летом ручей, он увидел громадину воды. Новая мельница, вся в ласковом пушке пакли, как хвост распустила за собой большой пруд, усеянный кувшинками.

— Общество-то экую сляпало, — с гордостью сказал возница, и от его немудрых слов Ермолая Григорьича всего потрясло, и даже скулы заняли.

Чумазый карапуз медленно распахнул перед ним жердевые ворота. Ермолай Григорьич кинул ему две копейки. Карапуз медленно, не спеша, поднял их и с достоинством пошел к дому. Собак не встречалось, и Ермолаю Григорьичу смутно подумалось, что, забреша сейчас собака, он, пожалуй, повернул бы обратно. Когда телега остановилась у его дома, он несколько раз снял и надел картуз и без нужды сказал вознице:

— Домище-то какой я сыновьям оставляю! Из-за такого домища меня и столетнего не выгонят.

Но в локтях была обидная дрожь; входя в сени, Ермолай Григорьич чувствовал, что теряет походку. В сенях пахло мокрой кожей. Сундук, который он купил лет двадцать назад на ярмарке, был прикрыт незнакомым ему половиком с наглым серым узором по желтому полю. Он скинул половик и присел. Ноги его крепко упирались в покосившиеся половицы пола, а руки беспокойно бегали по пиджаку. Вошел возница и, удивленно глядя на него, обидно спросил:

— Деньги-то сейчас платить будешь, али ждать придется?

Здесь из кухни прибежали дочери. Они были в заплатах, постаревшие, с надтреснутыми голосами. Они распахнули дверь в горницу, и Василиса робко спросила его:

— Иконы-то сейчас снимать, тятя, иль обождешь?

И тогда Ермолай Григорьич бодро встал с сундука, обнял дочерей. Отдал картуз и драповое пальто вознице и сказал:

— Вез-то ты хоть плохо, а все-таки заходи, чаю выпьешь.

За чаем он был немного смущенный и несколько раз говорил вознице:

— Дочери-то каковы... хорошие дочери...

Возница, корявый, и запуганный, и тоскующий мужик, ничего не находя в девках хорошего, вздрагивая от его благодарного голоса и сам в то же время чувствуя какую-то непонятную благодарность, торопливо поддакивал:

— Эх, да кабы мне таких обходительных дочерьев!

После чаю Ермолай Григорьич, хотя ему и не хотелось, лег соснуть. Он прикрылся толстым одеялом и с тихой благодарностью слушал, как дочери его ходили на цыпочках по горнице и как Вера уронила кусок хлеба, а Василиса прикрикнула на нее и тихо ворчала потом. Заснуть ему так и не удалось; он полежал час-другой, придумывая, чем бы ему теперь заняться, затем встал, умылся, причесал голову и вышел раздавать дочерям подарки. Дочери отмахивались, говорили, что напрасно, им ничего не нужно, а им действительно ничего не нужно было, а Ермолаю Григорьичу все казалось, что он мало привез.

— По кольцу бы надо,— сказал он, ухмыляясь, и тогда вдруг сестры спросили о братьях.

— Живут,— угрюмо ответил Ермолай Григорьич и ничего не добавил.

Под вечер, когда нагретая солнцем лавочка, на которой сидел Ермолай Григорьич, охладилась и он лениво вложил руки в карманы,— с базара приехала жена Кондратия, Анна. Кондратий женился на ней, когда отец воевал на Украине, в город ее не привозил, и Ермолаю Григорьичу не доводилось ее видеть. Она вошла, легко неся в руках жирную баранью ляжку с прилипшими

травинками. Переступая порог, хотя дверь была и высокая, она, видимо привыкнув к низким дверям, наклонила голову, и оттого ее высокая грудь прикрыла плотскими тенями ее нежное, чуть-чуть широкое лицо, убранный легкими волосами. Ермолаю Григорьичу она поклонилась низко, в пояс, и голос у нее оказался такой же, какой некогда был у Веры и Василисы. Да и веселой походкой, беззаботными руками она напомнила ему дочерей, но только расцветших, удовлетворенных, таких, какими они не будут никогда. И легкая грусть овладела им.

— Детей-то нету? — спросил он.

— Не дает бог, — тихо ответила Анна.

Ермолай рассмеялся на ее тихий, какой-то виноватый ответ.

— Муж редко бывает, — и она, будто поняв его мысли, вдруг густо, всем лицом вспыхнула. И тогда Ермолая Григорьича, помимо благодарности, охватила такая беспричинная радость, какой он не чувствовал давно. Ему не захотелось есть, и он ел, дабы не огорчать дочерей, и сам умилялся этим.

— Баню истопить на завтра? — тихо спросила Анна, видимо не имея силы отделаться от нахлынувших мыслей.

— А истопи, пропарюсь, — задорно сказал Ермолай Григорьич, отодвигая тарелку, которую непрерывно наполняли ему дочери. Даже мухи, казалось, лезли ему в ложку не оттого, что им хотелось есть, а от радости.

Анна раскинула ему постель, Вера принесла подушку. И подушка и постель пахли мятой. «Не думал, не думал, что так встретите...» — хотел было сказать Ермолай Григорьич, но почему-то не сказал, а по глазам женщин он увидал, что не сказанные им слова им понятны и они отвечают ему мысленно: «А как же иначе?»

Проснулся он рано и вышел на двор выбирать работу. Утро было легкое и пушистое, как хмель. Глубокое, словно омут, небо вещало жару. Напряженно зеленели в небе листья яблонь.

С дровами к бане прошла Анна.

Надо было бы переменить ось в телеге, но эта работа показалась ему необычайно легкой. Потяжелей бы. Работа потяжелей была на пашне, а ему не хотелось покидать дом. «Отдохну денек-то...» — сказал он сам себе и

потрепал яблоню по стволу. Возвращающаяся от бани Анна ласково улыбнулась и не спеша сказала:

— Нонче на яблоки урожай будет: шиповник-то густо расцвел.

Ермолай Григорьич не понимал, чем связано густое цветенье шиповника с урожаем яблок, но сразу поверил Анне и громко рассмеялся:

— Я вас вино из яблок научу гнать. Куда самогону!

И Анна улыбнулась милостиво и долго, и уши ее залились краской.

Весь день Ермолай Григорьич ходил по соседям, рассказывал о войне, о коммунистах,—и рассказы получались такие, словно он читал вслух газету. Мужикам это и нравилось. Своих, крестьянских разговоров никто с ним не вел,—получалось несколько обидно,—но обида эта еще более усиливала бушевавшую в нем радость. Опять незаметно подошел вечер, теплый, тихий. Ветер вынес было запахи молодых нив и цветущего шиповника, но и ветру, казалось, не хотелось тревожить редкое человеческое спокойствие, и он скрылся. Пришла Василиса — звать в баню. Ермолай Григорьич выбрал побелее рубаху и подштанники, достал голубой вязаный поясок.

В предбаннике на скамье он заметил юбку.

— Мойтесь, что ж. Я попозже приду.

— Никто не моется,— раздался из бани голос Анны.— Угар выбздаю, да полок надо промыть.

Анна показалась в дверях. Накаленная, плотно облепившая тело рубаха была дымчатого какого-то цвета. Черные круги сосцов мутно просвечивали через ткань. Глаза у нее были липкие, и круглый, упруго трепещущий от дыхания живот глубоко уходил к костям.

— Иди, иди,— торопливо сказал Ермолай Григорьич,— сам выбздаю угар.

Анна взглянула на его щеки. Поспешно схватила юбку.

Ермолай Григорьич долго снимал сапоги, затем налил в шайку воды и, крепко прижимая шайку к животу, вошел в баню. Ему надо было б вылить шайку на каменку, а он вылил на себя. Распаренный веник плохо держался в руках, он его отложил, и долго, неподвижно вытянувшись, смотрел Ермолай Григорьич в потолок. Потом он вскочил, облил кипятком веник, сунул на камни и почти мгновенно охлестал его о свое тело. Окатился,

и ему стало скучно, и было ясно, что в бане больше делать нечего и что он отвык париться в деревенской бане. К тому же заболела голова, и он вспомнил, что угар-то он и забыл выбадовать. Возвращаться же столь быстро из бани было как-то неудобно, пожалуй — обидно для дочерей; посидеть бы хоть на пороге, повздыхать, посмотреть на яблони, — но Ермолай Григорьич не мог.

Над столом клубился самоварный пар. Черная почти струя чая, зыблясь, наполняла его чашку.

— Отвык поди от наших бань? — спросила Василиса.

— Отвыкнешь, — угрюмо ответил Ермолай Григорьич и почему-то взглянул на Анну.

— Выбодовал угар-то? — спросила та ласково.

— Выбодовал, — и Ермолаю Григорьичу стало стыдно, что у него нет сил сказать правду. Вчерашняя радость, казалось — на всю жизнь наполнившая его, прошла бесследно.

Неподвижно вытянувшись, лежал он в кровати, пытаясь уверить себя, что все, что томит его, — это от бани. Ветер пронесся по улице. Тонкая ветвь через окно упала и задрожала на подоконнике. Ермолай Григорьич не выдержал, притянул к себе с силой ветку и сломал. Из соседней комнаты раздался сонный голос Анны: «Кто там?», и Ермолай Григорьич не нашел сил ответить ей. Анна же, должно быть, тотчас заснула. Долго он ждал второго вопроса, и долго его тянуло пойти на голос.

— Квасу бы выпить, што ли? — сказал он вслух тревожно и громко.

Кошка прыгнула на печь, оттуда с шипеньем скользнула лучина. Ермолай Григорьич вдрогнул. Заснул он на рассвете.

Томительная тревога овладела им с того дня. Он быстро раздражался, стал малоразговорчивым, и, когда дочери собрались однажды ехать на почту получать деньги, Ермолай Григорьич крепко обругал Кондратия: дескать, не доверяет жене, а деньги шлет сестрам. Анна посмотрела на него удивленно, да и все другие удивились. После этого не проходило дня, чтоб Ермолай Григорьич не бранил сыновей, особенно Кондратия. И когда он бранился, тревога как будто стихала в нем. Работалось плохо, да и работать на жадных сыновей, которые, конечно, при первом удобном случае выгонят его, — такая работа казалась ему унижительной. Дочери по-прежнему

были ласковы: раз в голос спросили его, какое б варенье сварить ему на зиму. А ласковость эта еще более беспокоила Ермолая Григорьича, словно он ждал, что они сразу выскажут ему все накопившееся в них раздражение.

Однажды, наполненный такими мыслями, он встретил Анну: она несла в баню тяжелую охапку дров.

— Давай помогу,— сказал он, беря поленья с ее рук.

Она молча, с недоумением передала ему дрова, а проходившая мимо Василиса крикнула: «Что ей помогать, не беременна!» И голос ее был по-прежнему ласков, но он раздражил Ермолая Григорьича. Анна, все недоумевая, шла позади него, и когда он скинул дрова у каменки и она наклонилась, дабы класть поленья в печь, Ермолай Григорьич легонько взял ее за плечи и сказал:

— Ты мне на сеновале стели спать, Аннушка.

— Душно, что ли, в горнице? — спросила она, не оборачиваясь.

— Душно.

И тогда она обернулась, робко взглянула в его лицо и почти прошептала:

— Ну, постелю.

Ермолай Григорьич построжал, сдвинул брови, и все ж таки ему пришлось облокотиться о косяк, когда он сказал:

— Ночью-то приходи.

— Господи,— пискливо вскрикнула Анна.

— Я те покажу господи,— жестко ответил Ермолай Григорьич, и весь день голос у него был командующий, грубый, и за обедом он ел поспешно и строго, и дочери боялись поднять на него глаза.

Убирая посуду, Анна спросила Василису:

— Сердитый стал батя? Рассердится, так поди и дом сможет отобрать. И сынов-то все ругает...

Василисе не понравилось, что Анна непочтительно говорит об отце, она уверенно сказала:

— И отберет, ему б захотеть. В царское время сколь бы «Георгиев» имел он... Куда ополоски-то льешь, в молоко!

— И то в молоко,— сказала Анна тихо.

Спать лег Ермолай Григорьич рано и лежал, вытянувшись, горячий, без одеяла, и даже в темноте хмурил брови. В пригоне рядом шумно вздыхала корова. Сено почти не имело запаха, и в сеновале остро пахло гнию-

щей соломой крыши. Ермолай Григорьич был уверен, что Анна придет, и она, точно, пришла. «Ты не трусь», — сказал Ермолай Григорьич, схватывая ее за шею, и она молча, не шевелясь, вытянулась рядом с ним. Он уверенно, как и все на земле делаемое им, подхватил ее, и действительно, она скоро сладострастно раскрыла рот, и дрожащие зубы ее побежали по его лицу, и шумное дыхание коровы было заглушено ее усталым стоном. «Лежи», — сказал Ермолай Григорьич, засыпая. Она покорно лежала. Вот закукарекал радостно петух, и от двора к двору побежало хлопанье крыльев. Анна тоже заснула, и ей снилось, что приехал из города Кондратий в новом пиджаке и желтых ботинках, ласково, как всегда, обнял ее и повел на сеновал. Он соскучился по ней и, как всегда, быстро заснул у ее груди, и ей было радостно лежать, чувствуя рядом с собой молодое, веселое только при ней и с ней, человеческое тело.

Она проснулась. Начинался рассвет. Ворота в сад были закрыты, и корова беспокойно ходила по стойлу. Ермолай Григорьич лежал на спине, и пухлый старческий живот его — весь в морщинах — поднимался и опускался уверенно и легко. Анна вытерла слезы и крадучись пошла в кухню.

Ермолай Григорьич призывал ее еще раза два, и затем она стала приходить сама. Она как будто соглашалась с ним, когда он говорил, что Кондратию во всем далеко до него, и как будто на работу стала спорее, и, когда Ермолай Григорьич бранил сыновей, она так глядела на него, словно вот-вот скажет что-то очень обидное и правдивое про них, и, хотя Ермолай Григорьич часто с удовлетворением думал: «Чем бóльшим можно было бы отплатить чванствующему сыну?», тревога по-прежнему не покидала Ермолая Григорьича. По-прежнему Ермолай Григорьич не мог как следует взяться за дело и, чтоб как-нибудь оправдаться, начал жаловаться на недомогания, и было противно видеть, что дочери верят ему. И вот однажды за обедом, когда Ермолай Григорьич ворчал, что сыновья высохли от жадности и некому будет наследовать добро, Анна вдруг отложила ложку и, побледнев, выбежала на кухню. Василиса пошла за ней, и, когда вернулась, у нее было другое лицо. Ермолай Григорьич сразу смолк, прервал обед и ушел, хлопнув оглушительно дверью. В кухне завывала Анна, а Василиса

встала перед образами на молитву. Помолившись, она пошла в Совет, а оттуда ее направили в вик. Было дождливо, слякотно, до вика было верст десять, она шла босая, полями, дабы сократить дорогу. Жидкая, мокрая прядь волос упала ей на глаза, она взяла прядь в руки, взгляделась — много седых, и тогда она, внезапно обессилев, села у колосьев прямо на землю и долго, с закрытым ртом, плакала. В деревню вместе с ней приехал милиционер. Обед был все еще не убран, и милиционер, курчавый и курносый, строго приказал очистить стол. Затем он призвал Анну и жалостливо стал ее расспрашивать. Допросил и Ермолая Григорьяча и с пренебрежением добавил: «На тебе, как на березе, две кожи, за такие дела не поглядят, — па-артейный», и когда Ермолай Григорьяч хотел возразить, он закричал: «Молчи!» — и самодовольно указал на свой револьвер.

Ермолая Григорьяча увезли сначала в волость, потом отправили в уездный город, предъявили обвинение в насилии и вскоре назначили суд. Сыновья не приехали, они не хотели ради суда покидать работу, а заводский отпуск их выходил на глубокую осень. Явилась Василиса. Она все боялась, что на позор придет смотреть весь город, а в камере оказалось пять-шесть человек, да и то трое из них скоро ушли. Она приготовила всякие оправдывающие отца слова, а получилось так, что все ее слова оказались на суде ненужными и говорили все совсем о другом. У нее было растерянное и слегка довольное лицо. Все дни до суда, да и во время суда, Ермолай Григорьяч по-прежнему ощущал беспокойство и тревогу, а когда вышла к красному столу Анна, исхудавшая, с заметно выдающимся животом, и, стоя к нему боком (причем как-то особенно тронуло сердце судей острое ее плечо и маленькая заплатка на кофте, ниже плеча), начала давать показания и говорила о том, чего не было: будто Ермолай Григорьяч гонялся за ней всюду, улещал подарками, грозил отнять у сыновей дом и под угрозой ножа положил ее рядом с собой и что она согласилась спать с ним, потому что это меньше видно людям, чем приставанье. «А с мужем-то мы дружны, как снопы», — сказала она, и судьи жалостливо улыбнулись, и хотя Ермолаю Григорьячу обидно было, что по голосу ее нельзя было узнать, каким словам своим она верит, все ж ему тоже стало ее жаль и стало жалко самого себя. Он встал, вы-

тянулся по-солдатски, чтоб было легче говорить, и сказал приблизительно так: «Виноват. За войну испортился, к бабе привык относиться хуже, чем к скотине. Все происходило так, как она говорит: зарезал бы, если б не согласилась», — и было горько видеть, что все поверили его словам. Какая-то настолько раскрашенная женщина — волосы, губы, лицо, — что и глаза ее казались выкрашенными, испуганно взглянула на него и быстро и сладострастно заперевирала пальцами. Прочитали приговор. Василиса заплакала, и конвойный шепотом сказал неподвижно сидевшему Ермолаю Григорьичу: «Пошли, огурец!» — и сам засмеялся придуманному прозвищу. Так и в тюрьму вошел Ермолай Григорьич под прозвищем «Огурца».

Глубокой осенью приехали в Тошу на отпуск сыновья Ермолая Григорьича; они были довольны, что едут вместе и что удалось получить отпуск, когда еще нет снега и нет ранней осенней грязи, и, значит, хозяйство можно приготовить на зиму как следует. Кондратий слезал с телеги, из ворот выбежала простоволосая Анна и упала перед ним на колени. Кондратий взглянул на брата, тот бессмысленно улыбнулся, — и Кондратий тоже улыбнулся бессмысленно.

— Надо б ко мне приехать, выкидыш бы сделали, а теперь, ишь... — сказал он и ткнул ее сапогом в живот, — морда-то будто камень без цвету. Брюхом робить будешь, да?.. Ставь самовар.

— Самовар-то поставлен, — тихо ответила Анна, и голос ее был хриплый, чужой.

Разговора за чаем не получалось, у сестер были испуганно-жадущие лица, и вскоре сам Кондратий начал ждать от себя неизвестно чего. Надо б было сразу, после чаю, пойти на овин, а он вышел на улицу, оглянулся; повеселевшие лица сестер смотрели ему вслед, словно они угадали, куда он идет, — он и пошел. А затем получилось так, что все в деревне стеснялись разговаривать с ним, и ему пришлось напиться, хотя пить ему вовсе не хотелось, и, значит, вышло так, как ждали сестры. Самогон с непривычки отрывивал, и было такое ощущение, словно он всполоснул рот керосином. Он пил три или четыре дня, несколько раз в кровь избил жену, куражился, кричал, что все теперь в хозяйстве испорчено, — и все молчали и словно бы одобряли его. Раз ему попал под руки

ножик, источенный так, что посредине получилась выемка; он сунул ножик в карман, а когда проснулся утром и почувствовал в кармане нож, ему стало и страшно и весело. Он велел, — именно велел, а не сам, — запрячь лошадь и поехал в уездный город, в тюрьме которого сидел его отец. Звонко лязгала копытами в подмерзшую грязь подкованная вчера лошадь, небо было ясное, высокое, и железо на шинах было почти что белого цвета.

Когда к Ермолаю Григорьичу подошли и крикнули под ухо: «Огурец, иди на свидку», — он в это время стоял перед стеной газетой камеры и с горечью и страхом старался вникнуть в переписанные аккуратно стишки:

И теперь, чтобы в этапы
И в исправдомы не попадать,
Нужно меньше водки пить,
Да и в карты не играть.

Он легонько провел ногтем по стишкам, оглядел себя: борода росла клочьями, парусиновая рубаха и штаны были грязны и помяты. И вдруг он понял, о чем написаны стишки. «В карты не играть!» — повторил он с усмешкой и выпросил у соседа, смоленобородого молокана, судившегося за конокрадство, чистую рубаху. Туго затянув тесемки на воротнике, он думал: «Кто бы мог приехать?», и сразу же решил, что некому приехать, кроме Кондратия. Он распустил тесемки и вновь затянул. «Не с добром приехал», — подумал он, и сразу же горечь и страх, нестерпимо мучившие его, прошли и еще более стали понятны прочитанные стишки. «Главное, меньше водки пить, да и в карты не играть», — сказал он молокану, и молокан, увидав его развеселевшее лицо, неизвестно чему подмигнул. Ермолай Григорьич вытер тряпкой громадные солдатские ботинки, тоже занятые у соседа, и, осторожно ступая, направился по длинному, тусклому и вонючему коридору. И он тоже, как и его сын, заметил, что день был высокий и ясный. Двор тюрьмы был весь в траве, и, переполненный неизвестно откуда хлынувшим чувством благодарности и успокоения, Ермолай Григорьич легким и немного смешным шагом шел по хрустящей и желтой траве к сыну. Кондратий сидел у стены, на грудке кирпичей. Перед тем как прийти в тюрьму, он выпил полбутылки водки, и хмель

еще не успел ударить в тело, а где-то под сердцем лежало и шаяло дешевое, как от табаку, томление. Ермолай Григорьич остановился перед сыном, откинул назад голову и ждущим, в то же время успокоенным голосом сказал: «Ну?» — и тогда Кондратий встал, не спеша сунул руку в карман и ударил отца ножом в живот. Нож как-то необычайно быстро выскочил обратно, и Кондратий ударил еще. Ермолай Григорьич стукнул зубами, схватился пальцами за усы, затем за глаза и подогнул колена. Руки у него упали на грудь, да так и остались, впившись в чистую, с аккуратными тесемочками на вороту рубаху. Тут только Кондратий увидал на его ногах огромные, тщательно начищенные сапоги, крепко стянутые толстым кожаным ремешком. Сразу же хмель зашатал его, и Кондратий устало присел на кирпичи. Уже трещал напуганный свисток, к трупу бежали с мокрыми раскрытыми ртами арестанты, а лицо у убитого делалось все более и более успокоенным и благодарным.

ЖИЗНЬ СМОКОТИНИНА



Когда, впервые после долгих войн, пришли в деревню плотники рубить богатому мужику Анфиногенову вместо сгоревшей новую избу, — насмешек над ними было много. Кричали, что осины им теперь, разучившись, не отличить от сосны. Но все ж было приятно сознавать наступившее стоящее время, когда можно и построиться и поработать не зря. И все подолгу ходили подле накиданных холмом желтых бревен и щупали хорошие златоустовские топоры.

Подрядчик, рубивший избу, был свой, деревенский, Евграф Смокотинин, низенький, широконогий старичок. Евграф был запуган войной, голодом, непонятными налогами, а еще больше его запугали, когда вновь, после долгого перерыва, он начал подрядничать. Срубил в волости, на совесть, лавку для кооператива, деньги на завтра получать, а кооператив возьми и лопни! Суд да дело, и не поймешь, кто виноват, и взыскивать не с кого. После этого он окончательно никому не верил и сам платил и себе требовал платить за работу вперед. Накануне рубки избы ему занедужилось, или он притворился, чтобы приучить детей, но он направил смотреть за работой младшего сына своего Тимофея.

Румяному, ясному и звонкоголосому Тимофею смотреть за работой и понукать плотников было скучно. Он схватил топор, выбрал потяжелее лесину и — ударил! Топор зазвенел, охнуло дерево... Утро выдалось прохладное; на исподе листьев еще не обсохла роса; подле

амбара ворковали голуби — и голоса у них были деловые, как и все в это утро. Плотники, видя, как старается их хозяин, тоже крепко ухватились за топорыща. Они были со стороны, не любили эту сытую деревню, и им хотелось показать, как по-настоящему должно работать. А хозяйий словно желал с ними потягаться.

Здесь из-за амбара вышла Катерина Шепелова, вдова мужа у ней убили на войне, она осталась с одним ребенком. Кто знает, чем она жила, — говорили, будто бы волостной кооператив заказывает ей для продажи вязать варежки. Да и велик ли от варежек доход? И часто, ночью, в открытое окно протягивалась из тьмы неизвестная рука, ставившая на подоконник узелок с пищей: тайная милостыня. С собой она была высокая, здоровая, молчаливая, голову держала несколько наискось, и казалось — мели землю длинные каштановые ее ресницы... Обойдя груды бревен, сильно пахнущих смолой, она поравнялась с плотниками и медленно, словно стыдясь, взяла большую, аршина в полтора длиной, щепу, поклонилась им низко. Плотники взглянули на хозяина — тот горел над лесиной; думал он вырубить из нее матицу, а попался громадный сук, значит, опозорился: в матице сучков не полагается.

— Баба-то будто окно, раму бы ей подходящую: тут тебе и тепло и светло будет, — сказал один из плотников, глядя вслед Катерине.

Тимофей поднял голову и тут только заметил Катерину.

— Кто ей щепу дал?

— Сама взяла, — с неудовольствием ответил тот же плотник: хозяин, молодой и глупый, не знал, видно, обычая, по которому плотники могут давать щепы, кому захотят.

Из-за неудавшейся матицы, из-за того, что по голосу плотников можно было понять, что он спорил какую-то глупость, — Тимофей рассердился, догнал уже ушедшую за амбар Катерину, схватил ее за рукав синей кофты и раздраженно крикнул:

— Кто тебе позволил щепы таскать?

Катерина плавно качнула плечами, — кофта у ней была старая, заплатанная, плохо застегнутая на груди и, должно быть, надета на голое тело, потому-то она и прижала щепу к груди, словно ребенка, — и от этого ее движения

словно что-то зарябило внутри Тимофея. Он протянул руку — с бабами он был боек — и вместо щепы, через незастегивавшуюся прореху, схватил ее за грудь. Катерина, не так, как иные бабы: не завизжала, не заерзала, и ноги ее остались твердыми, она будто и не спешила его оттолкнуть, — Катерина только сказала:

— Полно, — и выпустила щепу.

Щепа медленно скользнула, ткнулась концом в землю и, прежде чем свалиться, легонько качнулась, словно вздыхая. Катерина подобрала под платок руки, повернулась, и вдруг Тимофею показалось, что вместе со щепой скользнуло так же его сердце, так же торчком, так же качнулось...

— Иди ты, задавалка! — прокричал он и, похлопывая себя отнятой щепой по сапогу, вернулся к работе. А щепато была тяжелая, и казалось — похлопывает он себя поленом.

— Грош на разживу да щепочку на растопку, — насмешливо поддразнил его все тот же плотник.

Но Тимофей не огрызнулся.

Попробовал он было выбрать новую лесину для матицы, но вдруг оказалось, что лес-то сплошь сучковатый и сырой; что место для избы выбрано покатое, надо скапывать, выпрямлять; да и плотники лодыри, много курят и смеются. Захотелось домой — выпить чаю; пойти на реку, что ли, — выкупаться.

— Канительше папаши получится, — сказал ему вслед насмешливый плотник. — Жоха вырастет для нашего сословия.

И все плотники согласились с его мыслью.

Отец лежал на полатах, и, когда сын вошел, он заохал, застонал, — Тимофею было противно видеть его притворство. Отец начал выпрашивать, как идет рубка. Кипящий самовар стоял на столе, сестра налила Тимофею чашку и придвинула сахар в стеклянной сахарнице, похожей на подойник. Тимофей не ответил отцу и выругал сестру:

— Только и знаете чай жрать, а он два цалковых кирпич!

Вышел на реку. На противоположном берегу в зарослях перекликались бабы, сбравшие смородину. Он и на это рассердился. Стянул было сапог — выкупаться, — онучи были горячие и свернулись трубочкой, отдаленно напоминая форму его ноги. Он хлопнул кулаком по онуче.

Лето выдалось тихое, запашистое. К вечеру выпадал легкий дождь, выбивая каплями в пыли тонкую сетку; росы были тяжелы и теплы; майки — ароматные жуки, носившиеся по вечерам, — тыкались, словно играя, в волосы: поздравляли с урожаем. Работать бы, рубить бы в это лето, все перепахать, все застроить, всю округу!

А Тимофей с того утра так и не заглядывал к срубам. Отец поругался, поругался и пришел сам вести дело. И на пашню не хотелось Тимофею, а с пашни все приезжали усталые, выпить было не с кем, и даже варка самогона уменьшилась. Вздумалось Тимофею погулять по реке с бреднем, а как сунул ноги в воду, так чуть было не вытошнило.

— Поди ты, — смущенно сказал он, опуская бредень на теплый песок, — болесть какую, что ли, прилепили?

Вечером знахарная бабка sprыснула его с уголька, дала выпить крещенской воды, но и от этого не стало легче. Даже спать стал плохо. Той же знахарке обещал шерстяную юбку, если ночью приведет на сеновал Катерину. Бабка всполошилась.

— Я тебе лучше Лизавету приведу, та и не так сухопара и соглашается. Катерина никак не согласна. Перед мужем, грит, в обете. Разве гостинец обещать настоящий, вроде ботинок, что ли...

Но и бабке Катерина ответила тем же темным словом: «Полно», — и бабка, пристально взглянув на ее ресницы, вдруг зашикала, замахала руками.

Жара началась в небе, жара была в душе. Зрел колос, и зори были пьяны своей сытостью, весельем, как и поля.

Тогда Тимофей упросил отца справиться ему подводу и уехал в город извозничать. Но извозчик из него выдался на редкость плохой. Хоть и стоял он на самых бойких перекрестках вроде того, что подле зеленой церквушки, похожей на лукошко с грибами; хоть и лошадь была сытая и тележка новая, окрашенная в голубую краску; хоть и парень будто бравый, — а подойдет седок — пьяный, дурак, — посмотрит на ямщика и направится к следующему. Тимофей никогда не зазывал; подсобрав выручку, приворачивал к пивной и, облокотившись на стол, торопливо пил пиво; молча, как на перекрестке — не видя никого, — глядел на столики. Однажды в праздник довелось ему выручить семь рублей; пошел с приятелями по квартирному углу в трактир. Один из них, гундосый и пры-

щеватый, рассказывал, как он вчера испортил девчонку. Слушавшие долго хохотали над каждым словом.

— Да брошу, ну ее... плаксива больно...— закончил гундосый.

— А не закалешь? — вдруг спросил Тимофей.

— Чего? — удивился гундосый.

Тимофей тряхнул головой — и потребовал стакан водки... Приятели тоже, за компанию, выпили по стакану. Тогда Тимофей сказал:

— А я одну... вдову загубил, жениться не хотел, она мне и говорит: на ком этот вздох, тот бы в щепку иссох...

Водки осталось лишь полстакана. Стали обсуждать, что пить дальше — пиво или водку. Все давно забыли о словах Тимофея, а ему хотелось досказать, почему он не женился и как ее слова оказались брехней и только после ее слов началось ему настоящее везенье: зарабатывает он уйму, коляску скоро себе заведет на дутых... Многие хотели ему рассказать, но так и не пришлось.

Утром он опохмелился в том же трактире, голова сразу необычайно прояснилась, и ему стало так весело, как не бывало давно. Стоял он опять на том же шумном перекрестке подле зеленой церковки, похожей на лукошко с грибами. Он бойко посматривал по сторонам, и какой-то старик в длиннополом сюртуке, умиленно указывая на него, сказал шедшей рядом с ним молодке: «Купец Гаврилов, тысячами когда-то ворочал, а теперь до чего довели,— извозчик». И Тимофею было приятно, что его приняли за купца. Но вдруг направо от человека с лотком — пирожника — отошла женщина в синем платье. Легкие руки ее таким знакомым, единственным, движением скрылись у нее под платком, походка ее была единственная, тоскливая... Сразу та ясность, что порхала в Тимофее, слетела, как цвет, оборванный ветром с шиповника; защипало в глазах... Крикнуть он было хотел, подхватил вожжи, и лошадь словно узнала ее,— смиренная была всегда, а тут понесла в толпу! Мальчишку с сумкой сшибли, посыпались книжонки, пирожник упал, подвернулась какая-то бабка в длинной серой шали... А Тимофей кричал, нахлестывая лошадь: «Останови ее, останови!..» Румяный милиционер засвистал, сам забавляясь и суматохой, и свистом, и непонятным происшествием.

Тимофея забрали в часть. Просидел он неделю, выпустили: решили — больной. Лошадь за эту неделю исху-

дала, словно и она стыдилась. Тимофей продал лошадь, пропил деньги и в опорках вернулся в село. Отец уже подрядился строить четвертую за этот год избу, а был все так же запуган. На нивах в жнивье гуляли жирные гуси; по утрам вдоль реки появлялась наледь, и крепко пожелтели осины. Катерина и думой не бывала в городе, все в том же синем латаном платье проходила она селом, и казалось — дали ей чужую жизнь жить, она и живет. Вскоре после приезда Тимофея волк задрал у них в поле жеребенка. С жеребенка сняли шкуру, а тушу оттащили в овраг, в кусты. Отец дал Тимофею дробовик, заряженный картечью, и приказал сидеть в кустах: кто знает, волки осенью злы, голодны, авось и придут на мясо. И верно, на рассвете в кустах таволжника вверху оврага показались пара волков,— никогда не предполагал Тимофей, что у них такие громадные головы. Тимофей выстрелил, волки прыгнули, один из них захромал. А Тимофею было скучно и хотелось спать. «Завтра найду»,— подумал он и отправился домой. В деревне еще спали, но, когда он вошел в улицу, уже показался из труб дым, и оранжево заблестели отсветами от печей маленькие окна. В окне избушки Катерины тоже мелькнуло оранжевое пламя. Тимофей заглянул. Катерина стояла к нему боком и тянула с печи лучины. Печка, видимо, слабо разгоралась, и она хотела дожечь лучины. И опять Тимофей увидал ее руки: легкие, белые и как бы пушистые, чем-то напоминавшие лен. Когда она касалась ими груди, то словно мелькали зарницы: не освещая, а наводя трепет и на ее лицо и на чужое. Ее, стоявшую неподвижно со щепами... даже какое-то умиление почувствовал Тимофей. Но едва она двинулась и руки опустились к бедрам, едва показалась линия груди, словно крутой берег выступил из тумана,— Тимофею стало стыдно, мерзко — и того, что он даже думал на ней жениться и не было сил сказать о женитьбе отцу и ей; и того, что он ждал опять этого слова «полно», и того, что он, здоровый, казалось, смелый человек, стоит, как попрошайка под окном, не смея не только войти, но и подумать об этом.

Тимофей, дабы освободиться от таких мыслей, жирно сплюнул и, сплюнув, почувствовал на плече тяжесть ружья. Достал патрон и не мог припомнить — с картечью он или с дробью. «Все равно — три шага»,— подумал он, и та необычайная ясность — что приходила однажды на

перекрестке подле зеленой церквушки — опять нахлынула на него.

Он не убил ее, заряд угодил ей в плечо. Она пролежала полтора месяца на лавке под тулупом, присланным отцом Тимофеем, — на суд она не явилась. Тимофей ничего не смог объяснить суду — о колдовстве ему было стыдно говорить, хотя и хотелось. «Как щепя за сердцем», — сказал он и развел руками. Суд дал Тимофею год. Отсидев положенный срок, он уже не вернулся в свою деревню. В тюрьме он завел много знакомств, начал шляться с новыми знакомыми по ярмаркам, с цыганами сидеть в трактире. Жизнь казалась легкой, невсамделишной, все думалось: надо прийти к отцу, поклониться в ноги и сказать, а что сказать — он и сам еще не знал. А пойти к отцу все не было времени, да и одежонка поистрепалась.

Опять была осень, заморозки, небо словно в инее. На одну из ярмарок привели откуда-то из-под Оренбурга необыкновенных аргамаков. Мужики за последнее время полюбили кровных лошадей, — цыгане предложили Тимофею дело. Но пригнавшие аргамаков тоже были коновалы опытные, хитрее цыган. Аргамаки стояли в сарае, одна стена сарая выходила в темный переулок. Цыгане выпилили доску. «Полезай», — сказал ему нетерпеливо самый молодой. Тимофей прыгнул: невиданная боль ударила ему в колени, — коновалы поставили вдоль стены волчьи капканы. Он закричал. Замелькали фонари, кто-то выстрелил. Тимофею долго били кулаками, плетью, допытывались — где цыгане. Он сказал. Тогда его ударили в бок поленом — и кинули в овраг, за селом. У него вытек глаз, он начал хромать — и пошла о нем тяжкая слава. Теперь и пьяный даже он не думал возвращаться к отцу. Цыгане его гнали от себя, он совсем обносился, голодал, и однажды парни из соседней деревни предложили ему убить какого-то человека. За убийство они обещали валенки, полушубок и соглашались отвезти в город.

— Да, братишки, довела меня, подлюка! Идет, согласен непременно! — закричал он. Услышал свой голос — и попросил водки. Ему дали полстакана, и в санях, лежа среди парней, он врал им о своей любви к поповской дочери: как гонял его поп, как подговаривал деревню выселить его... Парни, неизвестно чему, хохотали, пока не доехали до угла большой пятистенной избы. Они предложили ему постучать в окно, крикнуть Игната и, когда тот

выйдет, сунуть ему нож в живот. Тимофей так и сделал. Вышел Игнат, высокий мужик в длинном тулупе, похожий на попа. Был высокий спокойный месяц, и лицо у Игната было тоже спокойное, и шуба его казалась синей, а воротник походил на облака.

— Не мешай жить,— крикнул Тимофей, ударяя его ножом.

Однако нож скользнул, и вдруг все перемешалось в теле Тимофея. Он ясно почувствовал — горький снег во рту, шатающийся сугроб — и месяц скользнул у него между рук...

Утром Тимофея нашли за овинами, подле проруби на речке, мертвого. Голова у него была проломлена в трех местах, а десны — совершенно голые, как у ребенка. Родное село его было в тридцати верстах, думали — отец не приедет, а он приехал, на паре саврасых... Посмотрел сыну в лицо, перекрестил и, прикрыв его скатертью, велел положить в сани.

И вот Тимофей последний раз лежал дома, под образами, в горнице. Лысый дьячок читал псалтырь, кошка играла бахромой скатерти, сестра Тимофея готовила поминальный обед. Все было спокойно: без рева, без хлопот. В сенях плотники стругали гроб, и насмешливый плотник, когда-то вместе с Тимофеем рубивший избу Анфиногенову, подтрунивал над недавно женившимся товарищем. Многие приходили проститься с покойником. Плотники, чтобы идти было легче, отодвигали в угол рассыпавшиеся по всем сеням медовые запахом стружки. Пришла и Катерина. Перекрестилась, оправила медяки, сползавшие с глаз Тимофея, поцеловала его в лоб. Медяки делали его лицо испуганным и робким. «Полно», — сказала шепотом Катерина и еще раз перекрестилась. В сенях она посмотрела на гроб. Плотники отдыхали, курили. Крепко пахло махоркой. Она туго, чтоб не скользил с плеч, затянула платок узлом на груди — склонилась к полу.

И никто теперь не помешал бы ей набрать щеп.

НОЧЬ



Любовь да тоска на крови стоят.

У Афоньки Петрова умер старший брат Филипп. Умер в первый день своей женитьбы, на свадебной кровати. А к свадьбе Филипп готовился долго, тесть его был состоятельным мельником, зять брал к себе в дом и на хозяйство требовал много денег. Филипп мотался по волости, но волость была бедная, деньги не шли, и к тому же Глафира, его невеста, была близко — у самого сердца, — и тогда он ушел в город. Жил он там год с лишним, а когда вернулся, то ничего не мог рассказать, кроме того, что вывески там черные, с золотыми буквами, — может быть, потому, что у Глафиры под соломенными волосами цвели ржаные глаза. Пожалуй, так. Оттого и в те немногие часы, что приходились ему на сон в городе, его ноющее тело видело эти ржаные глаза. И вот накануне свадьбы добро свое он привез к тестю на собственной тройке с золоченой дугой и с бубенцами. Народ сбежался смотреть на Филиппа, мельник обнял его на крыльце, растроганный, со слезами на огромных, близко поставленных глазах — и немного пьяный. Позже приехали на таратайке Филипповы старики: Александр Ильич и Марья Егоровна, тоже пьяные и разговорчивые; приехал и Афонька — младший сын, конопатый, с растерянной походкой, в синем новом картузе и толстых пуховых перчатках. Все они сидели за столом обнявшись и неустанно хвастались. Старики Петровы говорили, что сын их Филипп упрямый и своего места в жизни добьется, а мель-

ник хвастался своей красавицей дочерью и гулко на всю пятистенную избу кричал, что у Глафиры глаза — что твой колодец и что в молодости и он своими глазами десятки баб завораживал. А глаза у Глафиры действительно были как в ружье смертное дуплице, и она не подымала их на жениха. Филипп же сидел рядом, прямой, крепкий и немного бледный, но спокойный, и только в сердце у него словно летала пчела и редко-редко чувствовалась игольчатая боль.

Запрягли опять тройку и поехали в Совет, хотя ходу было до Совета одна улица. Записались быстро, и председатель, тоже веселый и без шапки даже, сел с мельником рядом, и тогда весь поезд направился в церковь. А было начало весны, — ленты, которыми были убраны лошади, сыро мотались под ветром, через гривы коней ямщику виднелось ясное небо, и ямщик прогнал тройку по всем улицам села. Воробьи, выбиравшие из завалинок чистые соломинки, любовались на мчащийся поезд, мальчишки гнались за синими комьями грязи, летящими, как облака, из-под копыт и из-под колес. Мальчишки быстро устали, лица их стали напряженными, но они не могли отстать от поезда, от гремящих весенних бубенцов — и от пьяных лошадиных и человеческих глаз.

Свадьба, вернувшись на мельницу, опять стала пить, кричать песни и хвастаться. Председатель орал, что, если б ему волю, он бы перекричал любого попа, — и действительно, голос у него был необычайно дикий и пронзительный. Филипп сидел так же прямо и строго, он только под скатертью схватил невесту за руку и мял руку так, словно хотел выжать всю свою силу, накопленную за полтора года, — и не умел. Глафире было больно и приятно, рука немела, и немота переходила на сердце — и никак она не могла поднять ржанных глаз. Затем молодых проводили до кровати, и мельник долго и неумело плясал перед дочерью, неустанно подмигивая огромными и близко поставленными глазами. Гости совсем было расходились, но как-то замешкались у стола и вдруг опять начали пить и плясать. Уснувший было гармонист ударил по ладам, а после вышло и солнце и тоже ударило в пальцы гармониста, и гости свалились, кто куда мог. Матушка Филиппа, Марья Егоровна, пила мало, но ей было веселей и радостней всех, и особенно она была довольна, когда гости все свалились; тогда она, крестясь, обошла всех и накрыла

шубами, кого могла. Афонька уснул во дворе, на телеге: она накрыла его двумя тулупами и еще пологом и с радостью подумала, что старость ее будет добрая и легкая и что младшему сыну — а был он пожиже Филиппа и не такой строгий — невесту надо выбрать веселей и свадьбу устроить еще лучше Филипповой, чтобы любовь была крепче. Потом Марья Егоровна вернулась в избу, но спать ей не хотелось, — и вздумала она подоить коров. Она взяла подойник и вышла было в сени, но опять радость охватила ее, и она вернулась. Тихо, дабы не греметь, поставила она подойник среди обедков и разбитых тарелок на полу, подошла к дверям горницы, где спали молодые, и медленно перекрестила двери — и прослезилась и, прослезившись, опять перекрестила. Глухой стон послышался в это время за дверьми, и Марья Егоровна таким же голосом, каким она увещевала рожавших коров, проговорила:

— Ничего, мила, ничего... потерпи, — и медленно, подхватив подойник, пошла.

А на крыльце уже услышала она дикий вопль, и подойник задрезбежал по ступенькам.

Выбежала в одной исподней растрепанная Глафира, упала старухе на плечо.

— Плоха, с Филиппом-то плоха! — крикнула она.

Старуха оглядела ее всю — и ласково прикрыла ее бедра своей шалью и затем ласково же сказала:

— Ничего, милая, пройдет, это у его от заботы.

Она взяла ковш воды, перекрестила его и пошла в горницу. А Филипп, такой же прямой и строгий, как всегда, лежал на кровати, и только лицо у него было такое, словно он удивился, что за все его муки и терпение он смог получить все-таки свою награду.

А после его хоронили, и с кладбища уже шли другими. Началось с того, что мельнику показалось — могила будто не так глубока, как нужно, что его и здесь хотят надуть. Он слазил и сам смерил могилу. А идя с кладбища по самым грязным местам, бормотал:

— Девку-то как охаял. Теперь по всей волости смех пойдет, разломана жисьнь у девки...

А старику Петрову, шедшему рядом с ним, хотелось утешить его, и он не знал как, и стыдно было врать, что Филипп не дотронулся до жены.

— Ноне все быстро заживает,— сказал он — и сам испугался своих слов.

А по лицу Глафиры нельзя было понять, что она думает и даже знает ли, отчего умер Филипп, и только один Афонька, нечаянно встретивший ее в сених, когда в избу вносили крышку гроба, увидел ее глаза и матовый влажный рот. Она остановилась у косяка и так провела рукой по глазам и рту, словно замыкала в себе на всю жизнь ту радость, которую получила в одну ночь. Холодная роса упала на сердце Афоньки, и неожиданно, вбежав в избу, он закричал со слезливой завистью:

— Лучше б мне подохнуть!

Марья Егоровна посмотрела на него удивленно и раздельно, будто на весь мир, сказала:

— О, господи, жисть-то как перекубилась. И ты туда же.

На поминках, за блинами, отец Филиппа повел разговор, что тройку-то надо вернуть. Тогда мельник, как будто ожидавший такого разговора, закричал и даже ложкой стукнул:

— Что ж, позор на мою дочь трех лошадей не стоит?! На всю волость смех теперь пойдет,— колдун, мол, мельник и дочь колдунья. Кто ее теперь возьмет? Вековушей сдохнет, а то солдаты измусолят.

И неожиданно Глафира тряхнула головой и, обведя всех своими огромными ржаными, так же, как у отца, близко поставленными глазами, протяжно сказала:

— Видно, от бога так мне... — и не докончила, что ей суждено, и никто ее не переспросил.

Все же старик Петров, подпив, осмелел и начал торговаться и под конец выторговал у мельника одну лошадь из тройки, с упряжью, а деньги, внесенные Филиппом, мельник наотрез отказался вернуть. Выторгованную лошадь привязали к оглобле, она бочилась, не шла, а глаза у нее были такие же веселые, как и в день свадьбы.

В эти несколько дней в поле многое изменилось. На пригорках выступила зелень, земля пахла травой, и только в оврагах кое-где лежал конопатый, изгрызенный ветрами снег. Чуть заметный туман стоял над оврагами.

Сразу же старик Петров заговорил о посевах, что весна, надо думать, будет теплая. Слова у него были та-

кие же, как и в прошлую весну, но теперь Афонька им не верил, и ему тяжело было их слушать.

В двух верстах от деревни дорога разветвлялась, — одна, поуже, шла в родное Афонькино село, другая, пошире и погрязней, вела к станции. Несколько подвод, груженных бревнами, уныло брели, лошади увязали по животы, и тощий мужичонка, необыкновенно искусно свистя кнутом, кружился подле обоза. Рыжая собака визжала — кто знает на что.

Афонька посмотрел на них, сердце его защемило еще больше, вспомнились опять Филиппова смерть и нездешней наполненные радостью и удовлетворением глаза Глафиры. Он спрыгнул с таратайки и сказал, что придет домой по чугунке. И хотя до родного села железной дорогой было верст сорок, а проселками — все шестьдесят, а то и больше, — всегда удивлялись, если кто ехал чугункой. Удивился и теперь старик Петров, но ничего не сказал, а только покрепче натянул вожжи и бочившего Филиппова коня вытянул хворостиной.

Афонька так спешил на станцию, словно там его ждал поезд, а прибежал — и вдруг оказалось, что и спешить-то не стоило, да и, пожалуй, не стоило ехать чугункой. На станции курили мужики, привезшие бревна; два солдата, возвращавшиеся с побывки в казарму, читали вслух «Крестьянскую газету» и непрестанно прерывали чтение разными деревенскими новостями. Афоньку в солдаты не брали, грудью как-то не выходил, хотя с лица и был ловок — рот лишь был очень пухлый и длинный. Афонька позавидовал веселым солдатам, попросил у них кусок газеты, но разговориться не мог. Окна, грязные и холодные, еле пропускали свет — и скоро стало смеркаться; до поезда оставалось четыре часа. Сторож, гремя зажатыми в одной руке ключами, стал подметать пол.

— Подбери ноги-то! — неожиданно сердито закричал он Афоньке.

И тогда Афонька, махая газетой, тоже закричал и потребовал составления протокола. Сначала и мужики и красноармейцы поглядели на него с интересом: думали — или пьяный, или будет драться, а потом отвернулись как-то обидно и заговорили о своем. Ссора несколько ободрила его, но вскоре опять стало скучно, и начало казаться, что сторож, стоявший у печки в грязном тулупе и с грязной метлой в руке, выдумывает такую каверзу, которая

позволит ему на всю жизнь опозорить Афоньку. И когда сторож вдруг во все горло, так, что газета выпала из рук красноармейца, заорал, что поезд опаздывает на три часа,— Афоньке стало непереносно муторно, и он вышел, сильно прихлопнув громадную дверь. Дул сырой ветер, мелкими каплями неумелого дождя брызгая в косоу фонарь подле станционного колокола. Особенная, пахнувшая керосином станционная скользкая слизь блестела под ногами, и словно отражалась в ней вся мерзость сегодняшнего дня — весь этот хриплый шум дождя, простуженный храп железа на крыше, чахоточный свист проволоки. Сразу же за станцией, по обе стороны полотна, начинался лес — сосновый, высокий, но теперь тоже какой-то чужой, без гула и запаха, словно укутанный тиной. Афонька повернул обратно. И тогда-то к станции, медленно и со скрипом, подкатил товарный поезд. Впереди шли теплушки, а в конце темнели широким треугольником две платформы, груженные каменным углем. И то, что уголь везли, как песок, не прикрывая и без стенок, — очень удивило Афоньку. Тот же ругательный сторож, теперь уже в башлыке и рукавицах, прошел мимо всех теплушек, освещая все площадки фонарем. Платформы с углем он не стал осматривать. Афонька обежал кругом паровоза, лысый машинист быстро тянул папироску за папироской, словно воровал огонь. Афонька, ухватившись за плаху, поставленную на ребро и служившую стенкой, прыгнул на уголь. Папироска машиниста, до этого мелькавшая у него в глазах, вдруг потухла. Он вспомнил, что на нем новая стеженная, крытая бобриком серая тужурка, а уголь пачкается. Поезд качнул его плечи вперед. Уголь закрипел под плахой, за которую он держался. Оказалось, что сидеть очень неловко, доска шаталась, тело скатывалось, а уголь, мелкий и сырой, лез в рукава, за голенища, в носу щекотало, и никак не удавалось нащупать большую глыбу угля, чтобы ухватиться. Вскоре уголь стал подкатываться под него, и казалось, что Афонька будет сидеть сейчас выше плахи, платформа как-нибудь шатнется по-особому... Афонька со всей силой ухватился за плаху.

Золотая кукла искр прыгала в темном небе,— выпрыгнет и погаснет. Колеса*с грохотом и шипом гнались за куклой, откосы отвечали свистом вдруг проснувшихся сосен, и когда однажды Афонька наклонился,— рельсы

блеснули, как рога. А доска шаталась все больше и больше, холодела и скользила из рук. Попробовал было Афонька обнять ногами доску, но она совсем скренилась, и тогда он, не помня себя, рукой и ногой начал разгребать уголь. Попалась острая, чем-то напоминавшая льдину, глыба угля. Но здесь золотую куклу искр остановил разъезд, и начальник разъезда попросил у машиниста папироску. Афонька хотел было спрыгнуть, но вспомнил свою выпачканную углем тужурку — засмеют, и здесь ему пришло в голову, что наверху, на угле, ему будет легче держаться. Он полез. Машинист кинул докуренную папироску, колеса подхватили ее, буфера им одобрительно подлязгнули, и теплушки опять понеслись вперед.

Вскоре Афонька разглядел, что на угле, в аршине от него, сидит еще человек. Когда Афонька, рассматривая его, наклонился, человек сказал что-то. Афонька не разобрал — что, но понял — какую-то тоскливую жалобу. Афонька, прикрывая ладонью, зажег спичку и поднес ее к лицу человека. Он увидел большие добрые глаза, косящее старушечье лицо и боязливо сжатый рот. Афонька с веселой тоской крикнул:

— Бабка, куда едешь?

И от его крика старуха боязливо оправилась за плечами котомку. Она сидела, охватив валенками большой кусок угля. Места наверху было мало, к тому же под тяжестью двух человек начал сыпаться мелкий уголь, и скоро Афоньке пришлось притиснуться плечом к старухе. Она легонько, vareжкой, должно быть, тронула его за бок, а затем осмелела и тронула сильнее. Афонька хотел было выбраться, но в это время свистнул паровоз, а после свистка браниться не хотелось, да и старуха затихла, а вскоре котомкой своей легонько прислонилась к Афоньке. Котомка была жесткая, как будто деревянная, наверное, с сухарями, — и Афонька вспомнил, что слово бы на поминках брата он видал эту старуху. И снова зависть и непонятное томление охватило его — и он спросил:

— Много на Филипповых поминках-то наскребла?

Опять старуха пробурчала что-то непонятное и жалобное.

Вскоре спина у Афоньки заняла, сидеть вдвоем было очень неудобно, и когда поезд задержался на разъезде, Афонька подумал было перебежать на другую платфор-

му, но ведь и там могли сидеть люди — в темноте соседняя платформа походила на развороченный стог сена. К тому же с фонарями прошли мимо кондуктора, разговаривавшие о непромокаемых плащах. Один из них нехотя сказал что-то о сыплющемся с платформы угле, и тогда из тьмы вдруг раздался злой и басистый голос: «Складывают тоже, лодыри!» В голосе было такое презрение и такая власть, что давно и кондуктора прошли, давно уже двинулся поезд,— Афонька же все вздрагивал и недовольно сопел.

— Тебе не здесь слазить, бабка? — спросил он шепотом.

Старуха шатнулась вся, и виски его вдруг похолодели. Так с похолодевшими и тяжелыми висками он сидел долго, пока не понял, что поезд идет очень быстро, что все время он думал о старухе. «Вот,— думал Афонька,—если толкнуть ее слегка в спину, в ее жесткий горб, а затем поддать еще в шею,— старуха метнется под откос, и ее место освободится. А то может и она поддать». Но он хорошо понимал, что старуха его не тронет, но все же думать об этом было приятно, и не было мыслей о гордой Филипповой смерти. И старуха, словно понимая его, зашевелилась, и рука ее в легкой варежке тихо дотронулась до локтя Афоньки. Афонька оттолкнул ее, и горб ее затрясся подле его плеча. Засосало сердце — и он стал считать до десяти. Но стук колес перебил его счет и томление, и тут сосущая сердце злоба нахлынула на него. Синяя широкая туча вдруг обозначилась в небе. Он снова поймал свой ненужный счет. «Шесть, семь», — пробормотал он и стал шарить ногой такое место, чтобы оттуда, упершись, можно было возможно ловчее ударить старуху. На мгновение стук колес опять раздавил его мысли, но вскоре шумящая теплота злости опять убрала этот стук. Нога его уже было вытянулась, кулак сжался, но тут он почувствовал, что ноги его, слегка замерзшие у колен, были охвачены варежками — и горб старухи очутился у его груди. Старуха, взвизгивая, терлась лицом о бобриковую его тужурку.

— Бабка, ты что ж, спятила, что ли!.. — сказал он, и голос его был такой, что он сам испугался. Он вспомнил, что тужурка будет выпачкана, и стал оттягивать руки старухи, но они с бешеной силой охватывали его, и одна из них зацепилась за карман, и ее-то трудней все-

го было оторвать, к тому же (стороной) подумалось, что старуха испортит карман. И он начал ругаться, и тогда злость скоро схлынула с него; но старуха все не выпускала кармана, и теперь он уже не стал думать о том, почему нужно свалить под откос старуху, он стал думать — как бы ее свалить, чтоб вместе с ней не упасть самому. И еще уверенность, что, если он выпустит старуху, она его столкнет, — эта уверенность охватывала его все более и более. А старуха становилась все ловчее и ловчее, и уже руки ее ворочали теперь его тело, как квашню. И тут-то он вспомнил, что последние ночи он почти не спал — все утешал мать, да и за отцом нужно было следить, и самого замучили непонятные мысли. И вчера и сегодня он почти не ел, — у него закружилась голова, ослабли ноги, и он упал всем телом на старуху. Теперь она вся очутилась под ним, он лежал грудью на ее горбу, но все же рука по-прежнему крепко держала его карман.

— Пусти руку, карга! — закричал он.

— Не пуцу, — вдруг хрипло и раздельно проговорила старуха.

И тогда стал он плевать ей на горб и на шаль, и чем больше он плевался, тем харчки его растягивались все больше и больше — словно полз из его рта сплошной сладковато-горький ремень. Наконец рукам стало больно, шарф сполз на рот, да и дышать было тяжело. Но тут мелькнул семафор, поезд подошел к станции, тускло закрипели двери. Старуха опустила руки и скатилась вниз. Афонька растер тело, сказал что-то очень скабрезное и обидное про старуху, спрыгнул. Это была та станция, куда он должен был доехать, — до его села оставалось еще верст пять. У станционного фонаря он осмотрел тужурку; уголь не так выпачкал ее, как он предполагал, — он легко отчистил ее снегом. Афонька, чтобы не встретиться со старухой, не зашел на станцию, а, обойдя здание кругом, направился в свое село.

На другой день было воскресенье — и опять поминки. Собрались родственники, долго жалели Филиппа и говорили, что все это порча от войны, что на войне у всех солдат снарядами сердца отбиты. И никто ни слова не сказал о Глафире, а когда все ушли, отец снял с деревянного крючка зачем-то узду и, держа ее в руке, как подарок, сказал Афоньке:

— Как доехал-то?

— Хорошо доехал,— ответил Афонька раздраженно.

По голосу отца можно было понять, что он придумал какую-то ловкую мысль и что, ответив раздраженно, Афонька тем самым согласился с отцом. Так оно и было. Отец хлопнул его уздой по плечу и сказал:

— Вот это я и говорю. Можно и без суда обойтись. Скажем, што Филипп-то с бабой вовсе и не спал, не тронувши ее, значит. Законы нонче что редька,— всякий за хвост держит. Стал, значит, Филипп раздеваться,— ну, тут с ним и случилось. Ее ведь раздетой-то никто, кроме нашей старухи, и не видал... выходит, какая она ему жена?.. Однако по волости может пройти — ведьма, всякие разговоры... Позору сколь мельнику. Вот я и говорю: возьмет он тебя, Афонька, в зятя. Старика жить недолго, все на ноги жалуется, а домище-то пятистенный, да и к нему мельница о скольких поставках...

— Уж и мельница,— льстиво сказала мать. Ей казалось, что, может, наладится прежняя жизнь, и если Афонька уйдет к Глафире, то Филипп словно бы вернется. Афонька же молча взял уздечку из рук отца и повесил ее на крюк.

Отец подождал, думая, что сын скажет что-нибудь, но Афонька молчал, и отец подумал, что всегда-то Афонька хоть и был шальной, но послушный. Подумав так, он решил, что с лошадьми Филиппа улажено. Ушел. Мать прошла к окну, на лавку, и, перебирая руками подвернувшееся полотенце и, видимо, стараясь заглядеть неясную еще ей самой вину, стала что-то рассказывать. Афонька все еще стоял у крюка и не слушал, что говорит ему мать. Ему было обидно, что так скоро ушел отец, не сомневаясь в согласии сына. Афонька и сам знал, что не откажется, и не мог понять — почему. Знал, что ляжет в кровать рядом с пустыми, выпитыми Филиппом глазами и будет виться голодным псом вокруг ее тела всю свою жизнь, и на долгую жизнь хватит Афонькина сердца. Сердце у Афоньки не то что у брата... «Выдержит», — презрительно мелькнуло у него в голове. И Глафире уйти некуда, так и она останется подле Афоньки,— с ним и без него,— будет терпеть и ругань, и побои, и темные осенние ночи...

— Ты его про кого? — спросил он вдруг, вслушиваясь.

— А тут, Афонюшка, нищая на нашем краю показана

лась, жизнь свою всю нам со дня рожденья рассказывала... такая жизнь — все утро просидели, и отойти от нищей нельзя. Глаза-то у ней хоть и старые, а большие да добрые. Страдаю, грит, страдаю, а тут откуда ни возмись добрый человек появится и добрым поступком пригреет. Так и тебе Глафиру пригреть надо. Нонче, рассказывает, едет она на углях, на площадке, значит, а кондуктор мимо шел, позвал с углей, в свое помещенье провел, чаем угостил и еще полтинник на дорогу дал. Думала, грит, земляк, а он совсем из других краев, просто ласковая душа.

— Ласковая, говоришь, душа? С горбом она?

— Кто с горбом?

— Ну, старуха-то.

— Известно, котомка, либо што в той котомке...

Афонька расхохотался, сразу стало веселей, и мир словно полегчал, словно оперился. Афонька похлопал ладонью по уздечке, переобулся, — походка будто изменилась. Тут пришли парни и стали звать Афоньку на вечерку. До ночи было еще далеко, но надо было успеть достать водки, с гармонистом сговориться и с девками. Водки достали быстро, слегка выпили. Пришел гармонист с новой, необычайно звонкой гармошкой. Афонька позвал парней на улицу. Парни, обнявшись и долго толкаясь в сепях, вышли.

День был яркий, козырьки фуражек горели, словно зеркала. Село их стояло на пригорке и было такое веселое и светлое, словно нарадоваться не могло, что забралось на такую вышину, откуда столько земли видно, что во всю жизнь пахать — не перепахать, сеять — не пересеять.

Подле амбаров парнишки играли в бабки, и бабки блестели в воздухе, словно прыгающие рыбы.

— Жепюсь, ребята, угощаю! — вдруг закричал Афонька, и тогда развеселились еще больше.

Парни загудели и, предвидя выпивку, начали угадывать невесту, льстиво выбирая самых лучших девок в волости. И никто опять ни слова не сказал о Глафире. И то, что никто не сказал ни слова о Глафире, наполнило душу Афоньки страшной и непередаваемо веселой тревогой. Он подождал, когда назвали самую красивую и богатую невесту — Аннушку Боленкову. Тогда он вскрикнул:

— А может, ее!.. Ставлю четверть! — И парни пошли к шинкарке.

Переступая порог шинка, Афонька запнулся, и вновь ему стало непередаваемо страшно и весело. Шинкарки Любки не застали дома; был ее племянник, тощий Митя, прозванный «Архангелом». Говорили, что шинкарка жила с ним, делая над ним городские любовные фокусы, которым она научилась, когда служила кухаркой. Митя имел сухие, словно высосанные глаза и говорил, сильно шепелявя. Он дал парням только бутылку водки, и деньги спрятал, как баба, в голенище, за чулок. Другую бутылку он не посмел выдать без шинкарки и на вопросы парней ответил, что Любка ушла к школьной сторожихе, а у той сидит какая-то нищая. «Афонские истории рассказывает», — добавил он и как-то нехорошо облизнулся. Парни говорили, что надо обождать, а от выпитой водки у Афоньки еще больше заныло сердце, и он позвал парней к школьной сторожихе. И вот парни, звеня гармошкой, шли за Афонькой, и солнце за это время, казалось, стало еще больше и низко висело над домами, занимая почти все небо. Сторожиха же, шинкарка Любка и неизвестная нищая уже перешли в другой дом — к вдове Параскеве. Афонька постучал в окно и поманил пальцем — и он знал, кто выйдет. И верно — вышла вчерашняя нищая. Она зевнула, ласково посмотрела на парней. Десны у ней были розовые и в мягких хлебных крошках. Афонька подумал, что она на него не посмотрит, но она взглянула — и не узнала.

— Шинкарку Любку нам подавай! — закричал Афонька.

Но и теперь старуха не узнала его голоса; она молча, все так же ласково улыбаясь, щелкнула щеколдой и ушла.

Вскоре появилась шинкарка Любка — грудастая, толстогубая — и, так как люди все были свои, она стала говорить, что водки в городе достать стало трудно, она устала от такой тяжелой работы; видимо, она хотела надбавки или просто ломалась перед парнями. И опять Афонька закричал:

— Угощаю, плачу, бери все, что хочешь!

И на последние его слова из сеней показалась нищая. Она зорко посмотрела на широко расставленные ноги Афоньки — щедрость была во всей его фигуре — и, локтем поправляя за плечами несуществующую суму, спус-

тилась с крыльца. Она рядом стояла с ним и все еще не могла узнать. Тогда Афонька наклонился к ней и крикнул ей в лицо:

— Че-ем, бабка, живешь?!

И вдруг ласковые глаза старухи слиплись, она отшатнулась, и рука ее сделала такой жест, словно она хватала Афоньку за карман. Она открыла было ввалившиеся губы, но здесь Афонька, неожиданно для себя, ударил ее со всего размаха в рот. Старуха качнулась головой легонько влево, но Афонька ударил ее слева, в затылок, а когда она упала на землю, он пхнул ее в висок каблуком и отошел. Самый пьяный из парней взвизгнул, хватил кулаком старуху в бок, но потом отскочил и бессмысленно уставился на Афоньку. Парни закричали было: «Так ей и надо!» — хотя никто не знал, почему ей так и надо, но немного спустя парни вгляделись в старуху. Она быстро-быстро сучила ногами. Парни кинулись на Афоньку. Он не отбивался, а только протяжно мычал и, когда его начали бить, защищал руками лицо. Били его долго, неумело и как-то растерянно. Сбежалось много мужиков, и никто не хотел вступить за него, да никто и не подвуживал парней. Когда пришел старик Петров, Афоньку отпустили; он лежал, окровавленный и грязный, неподалеку от старухи, сразу ставшей какой-то чистой, — ей уже кто-то сложил крестом руки. Старик Петров постоял, погладил тонкую бороду, хотел что-то сказать — и не мог. Попробовал поднять сына за руки — и тоже не мог. Тогда мужики не спеша, молча взяли Афоньку и повели в холодную.

Утром его увезли в город. Там, до суда, он сидел, сколько нужно, в тюрьме, а на суде, когда судья — бойкий и самоуверенный человек, сразу почему-то решивший, что Афонька конокрад, картежник и пьяница, сказал: «Подсудимый, ваше последнее слово», — Афонька встал, хотел было рассказать, как он ехал с похорон брата на угле, но не мог вспомнить названия той длинной телеги, на которой везли уголь. Он растерялся, и многие слова перепутались в его голове. Он начал и долго говорил про каких-то кондукторов и врал неумело и зря. Афонька оглядывался, топтался. Никто, кроме старика Петрова, не приехал на суд, да и старику хотелось пожаловаться, что старуха все хворает, хозяйство сыплется, даже Филиппова лошадь, возвращенная мельни-

ком, хромает. Сам мельник пьет, Глафира ходит худая, оборванная и богомольная... Старик глядел на него укоризненными глазами. Судья морщился и думал, что Афонька, видимо, убил старуху, дабы скрыть кое-какие грешки, которые она могла знать.

— Ничего больше не имеете сказать? — спросил судья бесстрастно и сам остался доволен своим голосом.

— Ничего, — ответил Афонька, и тогда-то только пришло ему в голову, что он людям понятного сказать ничего не может, — и он визгливо, по-ребячески, заплакал. Отец тоже заплакал, а суд ушел совещаться. Суд вернулся быстро. У Афоньки были опять сухие и тусклые глаза, он долго и пристально смотрел на отца, а поклонился судье — низко, как отцу не кланялся во всю жизнь, косо ухмыльнулся, и его увели в тюрьму отсидживать положенный ему срок.

СТАРИК



От речушки и деревня называлась Глинице.

Мужики здесь раньше колокольничали, а это значит — обжигали оглобли, натягивали на лошадь тронутый огнем хомутишко, на дрянную тележонку клали колокол и шли по губерниям собирать на сгоревшую церковь. Осенью возвращались, вгоняли телегу с колоколом в сарай, обували лаковые сапоги и плисовые шаровары — и всю зиму пьянствовали и дрались. В революцию колокола у них отобрали, мужики, скучая, сидели на лавочках перед расписанными домами и с тоской видели, как облупляется со ставен краска. Говорили, будто некоторые начинают пошалить в лесочке, подле станции.

Вот в это время явился из города Евсей Коробков. Евсей сызмальства служил по господам, обидным показалось ему колокольное ремесло, и он ушел в город. В революцию последний барин Евсея не то умер, не то прибрали его в общую могилку. Евсей об этом говорил мало. В ливрее, со споротыми галунами, сидел он на бревнах и смотрел холодно серыми глазами, чуть прикрытыми гладкими, молодыми веками, на поля, позолоченные тощей рожью, на сиявшие вдали среди рощ церкви, и непрестанно думалось ему, что вот рассчитывал найти тишину и уважение, а по песчаной улице все время с дикими песнями неслись бог весть куда грохочущие телеги, и мужики проклинали длинными до небес ругательствами все, что можно найти хорошего в этом мире.

За любимую поговорку Евсея мальчишки прозвали его «Проста жись» и кричали ему вслед, словно долбя:

— Проста жись! Проста жись!

И та злость, что неустанно владела им в городе, вновь нахлынула на него. Однажды он проходил мимо схода, какой-то веселый, веснушчатый мужик крикнул ему:

— Милай, ты всю жись подле умных людей прожил, што нам теперь делать, коли у нас колокола потобрали?

Евсею всегда казалось, что с мужиками нужно говорить поучая их, и он обрадовался, что у него спросили совета. Хотя умерший барин был пьяница и мот, Евсей начал с того, что стал хвалить барскую бережливость, и тут он вспомнил, как солдаты занимали барские комнаты и как один из баловства хватил прикладом японскую вазу, которая стоила две с половиной тысячи и которую Евсей изо дня в день одиннадцать лет обтирал ваткой. Злость схватила за сердце Евсея. Вспомнил он, что и солдаты-то были те же мужики, может быть даже из родной его волости. Он поднялся со скамейки и пробормотал:

— Вон заводы-то в Питере бросили, картошку начали сажать... Вот и сажайте картошку, коли простой жизни не понимаете.

Под счастливую голову, что ли, попали слова Евсея, или уж так и должно быть, но только мужики послушали его совета. Почва вокруг Глиниц сухая, песчаная; лето выдалось и не дождливое и не знойное: к казанской картошка выросла невиданная, в кулак. Счастье как земля — нет ничего жирнее: мужики подобрали, приделались, ребятишки стали бегать в штанах, ставни покрылись краской, а в груди Евсея — словно вместо сердца выросла кость. С собой он пожелтел, высох, седина стала какая-то нехорошая, грязная. Никто не вспоминал о его совете, от которого вся деревня вошла в тело; разве по вечерам парни, не выдавшие никогда в глаза барина, слушали, посмеиваясь, речи Евсея о барской бережливости.

— Пчелу вот с телятами вместе удумали держать, она и подохла: пчела тебе не червь. У барина-то почти каждая пчелка в отдельной каморке жила... Барину-то перед смертью надо было впна выпить, а он бутылку пожалел откупыривать, вот и помер!

Евсею и самому казалось, что барин действительно был бережлив. Евсей смотрел с неудовольствием на мужицкую расточительность. Лень в объезд две версты ехать, так начали строить мост прямо против деревни. Гвоздей набухали в мост, словно в каблук. Жил Евсей у племянника. То ли племянник наслушался Евсеевых рассказов, но кормил он Евсея объедками, да и то попрекал. Евсею жить было трудно, но он хвалил племянника за бережливость. Промышлять ему осталось одним — рыбачить, а рыбы в Глинице было мало, попадались только налимы, но и тех мужики не ели, так как рыбу без костей, как лягушек, считали поганой. И вот раз в полдень Евсей с удочками пошел через строящийся мост на рыбалку. Отдыхающие топоры рябью отражали редкие тучки, солнце словно не могло вместиться на топорах и искрами рассыпалось по смоле бревен. Белокурые плотники со смехом плескались в реке. Один из них, желтоголовый, неустанно нырял. Евсей перешел по бревнам моста, на которые должны были стелить плахи.

— «Проста жись» по рыбу пошел! — крикнул ныряющий плотник.

Ему, должно быть, было очень хорошо, и казалось, что вся река принадлежит ему; потому он и крикнул: — Пожалуюсь на тебя, «Проста жись»!

И Евсей понял жадность и ответил со злостью:

— Вот рыбаки в реке хозяев воруют, да никто не жалуется.

— Много ты у меня наворуешь,— задорно отозвался плотник.

— Тело-то у тебя как свеча и бело, и маковка-то у тебя золотая, а душа портянная,— сказал Евсей.

Плотники захохотали, и тогда Евсею захотелось совсем унижить желтоголового плотника. Евсей пошел вправо, в небольшой заливчик. Три ивы низко повисли над водой; сизые стрекозы, видимо изнемогая от зноя и радости, метались между ветвями. Вода была неподвижная, синевато-черная, только дальше, саженьях в трех, омуток окружали чуть колыхающиеся кувшинки. Кое-где на лепестках у них дрожала вода. Казалось, что радость так переполняет их, что они неустанно плачут. И от раздражения и от нетерпения пальцы у Евсея дрожали, и он выронил двух червяков; раньше бы он их непременно поймал и еще прибавил бы что-нибудь про бережливость

барина, который и из одного червяка мог бы великую извлечь пользу. Сразу же камышовый поплавок нырнул, Евсей дернул — оказался ерш. Ерши удочку заглатывают глубоко, к тому же Евсей торопился — он несколько раз уколел руку. Уколелся удочкой от торопливости, — а оказалось, зря. Давно ерш, насаженный на прутик, заснул, давно уже звенели топоры у моста, а рыба не брала. Евсей переходил на три места, поднимал поплавок и выше, опускал и ниже, плевал на червей — ничего не помогало. Солнце крепко прожгло ему картуз, овод все норовил попасть на потную шею, а Евсею все казалось, что поплавок вот-вот нырнет, хватит лец или двухфунтовый окунь, и Евсей лениво пройдет мимо нахальных плотников, подарит им окуня и кстати расскажет, как в барском именье строили мост, обошелся он вполовину этого, хотя и был чуть ли не вдвое шире, а все оттого, что люди умели бережливо жить и бережливо распорядиться своей и чужой жизнью.

В желтой тафте мимо поплавка пролетела крутоногая пчела. Евсей, чуть шевеля губами, прошептал, что нынче и пчела-то не туда, куда нужно, за медом летает. Какой на лопухах мед? Здесь он вздрогнул, потому что почти под самым его ухом кто-то визгливо крикнул:

— «Проста жись», клюет!

Под ивой стоял сынишка председателя Митька в новой рубахе и синих штанах. Мальчишка был в отца, бойкий, самоуверенный; острижен он был как-то кусками, так стригут овец, но и это, казалось, сделано было у него назло.

— Не мешай воде, — медленно сказал Евсей и, для чего-то вытащив удочку, переменял червяка.

А мальчишка словно и ждал этого: он взвизгнул и подпрыгнул, и хотя ему, должно быть, вовсе не хотелось купаться, но он пролез за кусты и оттуда крикнул:

— «Проста жись», чур не мне воду греть!

«Всю рыбу перепугает», — подумал Евсей.

И точно, сразу же в кустах зашелестели ветки и плеснула глухо вода. Мальчишка, видимо, ждал ругани, но Евсей не ругался: он неподвижно смотрел на чуть колыхнувшиеся от волн, что прошли от мальчишки, кувшинки. Кое-где в средину листьев кувшинки прошла вода, она медленно стекала по капле, задерживаясь на маслянистой поверхности листьев. Не дождавшись руга-

ни, мальчишка рассердился и сам начал бить по воде руками, сначала слабо, а потом все сильнее и сильнее, и вскоре мутная вода медленно стала наполнять омут, подле которого сидел Евсей. Муть шла кругами. Евсей с горечью смотрел, как постепенно исчезали в ней волнистые стебли кувшинок и мохнатые камыши. Исчезали мелькавшие среди стеблей серые мульки, и плакучая ива укоротила свои ветви. Но тут вдруг раздался визг, и захлебывающийся голос с испуганным стоном выкрикнул:

— Тону!

Евсей вздрогнул, но не от этого крика, да и слышал ли он его, неизвестно. От мутной воды, что ли, в его омут метнулась щука, потому что поплавок сразу рвануло — словно вода проглотила его, леска тоже почти целиком ушла в воду, и удилище задышало в руке Евсея. На мгновение, напугавшись, должно быть, невиданной боли, щука метнулась вверх, и Евсею показалось, что он видел ее мокрую и злую спину. Выскочил поплавок, блеснул самодовольно на солнце и опять помчался в воду. Щука вначале понеслась из омута, но боль не прекращалась, и, не дойдя до камышей, она вернулась и кинулась к берегу. Леска ослабла, Евсей отшатнулся, посколькунулся и выронил удилище. Когда он встал, он сначала увидел ныряющее по омуту удилище, а затем услышал вопли:

— Тону!

И тогда он понял, что тонет это Митька.

То же самое, видимо, поняли плотники на мосту, потому что стуки топоров прекратились, и чей-то хриплый голос очень высоко прокричал:

— Беги!

Евсей скинул старые, подшитые много раз валенки (племянник не давал ему больше никакой обуви), растегнул штаны, — ему показалось очень холодно, — и совсем было подумал идти в кусты, подумал (так как глаза его все еще были в омуте на ныряющем удилище):

«Надо парнишку-то тащить, а тут — щука!»

И тут ему почему-то мгновенно вспомнился пруд на даче под Москвой и сеттер Пишо, прыгавший в воду по приказанию барина за поноской. Было хорошее теплое лето. Евсей был молод, получал отличное жалованье и собирался жениться. Удилище продолжало нырять.

«Перекусит леску-то, уйдет,— подумал Евсей.— А барин-то был бережливый... Барин бы такую щуку не упустил бы...»

И хотя ему было стыдно, но,— уверяя себя, что приткый желтоголовый плотник небось уже подбегает к Митьке, что плотник вытащит Митьку,— Евсей полез в воду. Коряга больно уколола ему ногу, он нырнул и вспомнил тут, что лет небось двадцать не нырял,— и у него похолодело сердце. Он вынырнул, воздух показался ему удивительно горячим, длинные волосы залепили глаза, и не было сил вынуть руку из воды и поправить волосы. Ему стало страшно. Он сразу забыл и поплавок, и удилище, и Митьку, и только трепался в голове обрывок мысли, которая зародилась у него, когда он вступил за щукой в воду:

«Река-то крива да лукава!»

А дальше было больно и думать. Он греб все вперед и вперед. Вдруг что-то липучее и в то же время скользкое попало ему между пальцев.

«Щука! — радостно подумал он, крепко хватая скользкое.— Поймал-таки». Он открыл глаза. Лопух! Нет, щука! Сердце охладело. И тогда едкая вода ринулась ему под веки.

— Тону! — крикнул он.

И ему почему-то показалось, что кричит это Митька. Но Митька уже не кричал: желтоголовый плотник действительно успел добежать и, в чем был, кинулся в реку. Вытащив мальчишку, он легонько хлопнул его по заду и сказал:

— Дуй в деревню, а то тятке скажу.

Крика Евсея никто не слышал, и хватились его к вечеру. Нашли его запутавшегося в камышах, без порток.

Когда желтоголовый плотник рассказал об утопавшем Митьке, то все решили, что старик поплыл спасать мальчишку, запутался в камышах и утонул. И сразу все вспомнили совет старика — сеять картошку. Умпление охватило всех, и хотя старик никому никакого добра не делал, но каждый вспоминал или придумывал добро, сотворенное Евсеем. Вспомнили даже про пчел и попеняли друг на друга, что по-прежнему продолжают держать их вместе с телятами.

Председатель предложил похоронить старика на почетном месте, подле строящегося моста. Племянник обе-

шал вывести вокруг могилы оградку. Рыжеголовый плотник выстрогал огромный крест, выкрасил его белилами и с завистью сказал:

— Мне бы такой...

Хоронить старика собралась вся деревня, а утром, перед похоронами, председатель выпорол Митьку.

— Из-за тебя хороший человек погиб, а ты чурбан чурбаном.

Митька стоял на похоронах в новой рубахе, заплаканный и гордый. Когда все разошлись, он, окруженный мальчишками, пошел посмотреть то место, где он тонул и где умер, как все думали, из-за него дед Евсей.

Омуток был чист, синевато-черен, неподвижен, а у самого берега, кверху белым животом, лежала большая сдохшая щука. Ребятишки боязливо вытащили ее, она уже протухла, щуку кинули собаке. Собака понюхала, поджала почему-то хвост — и отошла прочь. Тогда ребятишки боязливо и молча пошли домой.

СЧАСТЬЕ ЕПИСКОПА ВАЛЕНТИНА



Епископу Валентину (умилявшему граждан молодой своей хилостью, от которой казалось, что голос епископа звучит как бы во вчерашнем дне) председатель церковного совета Трофим Николаевич Архипов сообщил, что паства, собрав последние крохи и скорбя сердцем за епископа, жившего у мужика, отремонтировала светелку, где ранее помещалась ризница. Епископа умилило все, даже голос Архипова (не одобряющий мир и трескучий по звуку), хотя Архипов, промышляющий кожами и кадушками, был во многом противен епископу. Архипов был мужик увлекающийся, горячий, религией он занимался не потому, что верил в бога, в боге он сильно сомневался и даже просматривал изредка богохульствующие журналы,— он был честолюбив, отважен. Отец Архипова семидесяти двух лет повесился в витрине своего магазина: всю революцию торговал старик, а вот на восьмой год слопали, не мог осилить их,— а также не мог осилить себя. Сын рос в отца.

Паства уважала епископа, епархия была маленькая, недавно образованная: в церковном центре не знали, что уездный городишко И. вот уже полгода превращен за ненадобностью в волость. Добро, если епархия насчитывала полтора десятка сел. Все ж епископ приехал в епархию свою с радостью, исполненный надежд и любви. Дело в том, что вот уже как год епископ полюбил девушку, назовем ее Софьей,— ничего в ней отделяющего ее от толпы иных девушек не было; она в меру боялась

жизни, нежно берегла свое девичество, епископа, может быть, полюбила потому, что он был не очень боек, — и поцеловал ее один раз в щеку. Каждый день епископ Валентин писал ей письма, длинные, со вздохами, со следами слез и с надписью в конце каждой страницы: «продолжение на обороте». Шапка епископа, высокая, потертая, из поддельного котика, была починена ее руками. Епископ тихо любовался неровно лежащими синими нитками, привык за последнее время часто снимать шапку: перевернет ее в тонких и бледных ладонях, вдохнет холодный и необозримо широкий воздух пустынного городка, — печальные мысли все чаще и чаще посещали его голову...

В собор епископу Валентину приходилось ходить мимо дровяного и сеного базара. Ласковые запахи мерзлого леса и сонных трав издавна умиляли его. Он воспитывался в городе, в деревне бывал редко, мужиков привык жалеть по картинкам и книгам. Деревню епископ представлял кроткой и в то же время жестокой, чем-то похожей на его детство, и когда его назначили в И. (он знал, что И. превращен в волость), он вдруг поверил, что счастье, которое его ждало с Софьей, — здесь, в простой и ровной, земной и скотской, то есть ясной по своим плотским желаньям, жизни. Счастье здесь придет и возьмет его дни без замедления. Несколько дней ему даже казалось, что он как бы возвращается в свое детство. Его комната у мужика пахла животными и картофелем, тихо превшим под полом.

А от него требовалось постоянно мыслить, что он, епископ Валентин, слуга бога и живой церкви, борется с тихоновщиной в своей крошечной епархии; что епархии, такие крошечные, открывают для прельщения глупых и неразумных чад блеском епископского служения. Хлеб и паства доставались с трудом (даже служение из великих церковных композиторов надо было назначать с выбором, ибо постоянно стоял подле хора агент, бравший налог за исполнение песнопений, а миряне в кружку опускали мелкие монеты, и больше всего раздражало, что вот уже год, но каждый день в кружке находят николаевский двугривенный, и никак не удавалось уследить, кто так озорничает), и кроткая радость, с которой он встретил мужиков, медленно угасала в нем.

Так и теперь, идя базаром, епископ Валентин холодно, с неясным томлением, переходившим в раздражение,

разглядывал тощие воза, мужиков, завернутых в грязные бараньи шкуры, плохо выделанные и плохо скроенные. На многих мужиках уцелели еще солдатские шапки, а от бывших храбрых движений не осталось и следа. День был светлый, морозный и как бы далекий. За базаром, среди сверкающих сугробов, сразу же начинались две тропинки: одна черная (сажу роняли, должно быть, когда несли железные трубы и печь) к светелке; другая, желтая и широкая, к ветхому собору; эта тропинка, извилистая, была утоптана слабыми женскими ногами. Даже по тропинке можно было понять оскудение и пустоту веры! Собор блистал голубизной, древностью и веселым величием.

Длиннорукий мужик в черном тулупе, белой шапке с громадными наушниками, из которых один был полоторван, носился по базару. Он наткнулся на председателя церковного совета Архипова. Архипов снисходительно оттолкнул мужика, мужик не отставал, и тогда Архипов окрикнул епископа. На Архипове были щегольские сапоги с выгнутыми голенищами, отчего сапоги походили на полозья, поставленные торчком. Епископ медленно благословил председателя.

— Еле отвязался, восемь копеек ему дай! Восемь копеек на земле не валяются. Морозно-с? — присвистывая сквозь редкие зубы, спросил епископа Архипов. — Мороз-то душу радует, если знать, что дома тебя ждет отдохновение. Я вам для светелки дров торговал. Мужик нынче пошел на деньги жадный, за сажень ломают бог знает что, им хоть церковь, хоть трактир.

Он бойко, одним глазом, посмотрел на епископа. Всегда такой взгляд смущал епископа Валентина. Всегда после такого взгляда Архипов начинал выказывать унижение, даже просил исповеди, отпущения грехов, — и невозможно было понять: смеется он или действительно томится в страданиях. Архипов, продолжая бранить мужиков за отсутствие веры, шагал по желтой тропинке к светелке. Любовь мужицкую он сравнивал с собачьей, — и здесь опять епископ Валентин вспомнил свою любовь.

Догнали их еще двое членов церковного совета: чахоточный с одутловатым серым лицом и до нестерпимости выразительными глазами, низенький, жизнерадостный и постоянно строящийся Любирцев и мрачный, непомерного здоровья и столетней, наверное, жизни и как

бы каменноволосый Егор Чирков. Они были друзья, во всем почти соглашались, только святых уважали разных: один Николая Мирликийского, а другой Марию Египетскую. Архипова они чтили как знатока законов, а епископа сразу же, когда он приехал, хвалили за безбрачие: легче, дескать, с тихоновцами бороться. И епископ вспомнил — тогда же Архипов, уже какой-то тайной мыслью унизив себя, иступленно, полушепотом, воскликнул: «Смущение веры, думали, произойдет, ваше преосвященство! Вы будто пламень, ваше преосвященство». Епископ Валентин растерялся, и хотя не верил Архипову, подумал — «скажу им о Софье позже...», и чем дольше он жил, тем все труднее и труднее было признаться в своей любви. Письма к ней становились все длиннее, часто в стихах. Она в ответ называла его своим Данте, а себя Беатрисой, письма так и подписывала: «твоя Беатриса», и это было неприятно и в то же время радостно читать.

Архипов, берясь за выпачканную известкой скобу низенькой двери, воскликнул:

— Нам ли, ваше преосвященство, не понимать ваших мучений? Живете вы у мужика, спите на досках, у Митрия-то клопов-то поди больше гвоздей, господи. И все из-за веры... Я же понимаю! Вера и терпение,— да мне ль не понять?..

Митрий, квартирохозяин епископа, был сапожник,— и клопов действительно было много. Помимо клопов епископа мучила духота: кроме Митрия, в комнате спали трое детей, теленок, стояли вонючие кадучки с огурцами и капустой. Митрий, сутулый, с грудной жабой, сильно некрасивый, настаивал перед епископом и перед живой церковью, чтоб требовали христиане уничтожения икон: «больно святые ликами прекрасны»,— озлобленно хрипел он. Тоже, должно быть, любви в своей жизни не встретил.

Епископ Валентин благодарно взглянул на Архипова. Епископу стало весело. Перед тем как войти в светелку, он радостно оглянулся. Морозный и звонкий шум базара умилил его. Голуби, суетливо хлопая крыльями, носились над собором. Купол собора отдаленно напоминал крыло, голубое крыло. И в светелке, когда они вошли, все бледно-голубело, даже сапоги Архипова и те казались нежными. Пахло известкой. И простая мысль, что наконец-то милые женские кудри упали на его жизнь, непреодолимо завладела сердцем епископа Валентина. Стих

затеplился внутри его. Он присел на лавку. И мужики, словно поняв его умиление, тоже присели на лавки. Они глядели в пол, молчали. Снег от их валенок светло и тихо таял на пахучих сосновых досках. Да, такая именно тишина ему необходима. Маленькое окно, стекла, закапанные белой краской, которую, наверное, забудут отмыть и которую так важно именно не отмыть. За окном сугробы, крепкие, словно бы столетние. За ними чуть-чуть мерцают голубые локоны на главах собора, над ними огромное российское небо. Тишина, умиление, вера... Он вздрогнул, обомлел.

Надо сказать мужикам о Софье! Он понимал, что теперь у него сил хватит бороться: как бы ни вопили тихоновцы о женитьбе епископа, сколько бы прихожан ни отвернулось от него, как бы ни позорили его святость. Возвышенная дрожь охватила его, — он перекрестился в угол. И то, что в углу не было образов, что епископ крестится на пустой угол, — мужики поняли по-своему, умилились, и только Архипов мельком подумал, что тут неладно, хитрый поп намекает и язвит, что вот светелку-то отделали, а иконы забыли поставить. Намекает на суету! Но Архипов верил в себя и знал, что он-то сумеет урвать епископа. Излишне подобострастно Архипов проговорил:

— Тишина, ваше преосвященство, всего на свете слаще. Вот вечером и сможете переехать. Помещение обширное. Одному скучно только мирянину...

Епископ смущенно осмотрелся: сводчатый потолок пересекала железная балка, тоже побеленная и как бы распухшая оттого. И епископ подтвердил, что да, комната, верно, большая. Архипов встревоженно взглянул ему в глаза (епископ понял, что сейчас, именно сейчас, надо сказать о Софье) — и опять смолчал. Архипов, должно быть, уже кое о чем догадывался. Он встал с лавки, и тогда епископ взял шапку, витиевато поблагодарил членов совета за хлопоты о нем и сказал, что пора идти на служение. Тяжело и устало бухал соборный колокол. По желтой тропе шли старухи в длинных черных платьях. На базаре, будто передразнивая благовест, лихо скрипели полозья. Члены совета отстали, епископ шел один, на душе у него было ясно, Архипов уже не тревожил его. Он с умилением думал, что вот: собор дряхл, служат в одном зимнем притворе, через весь притвор тянется к

алтарю ржавая труба железной печки, и ладану никак не удастся осилить запах сырых дров, а колокол гремит так, будто ему надо сывать тысячную паству. Снег забился в калоши. Епископ остановился, и когда поднял глаза, перед ним стоял длиннорукий мужик в черном тулупе, недавно споривший с Архиповым. Полуоторванный наушник шапки болтался подле его инистой бороды. В руке он держал варежку, несколько монет позвякивало на дне ее. Лицо у мужика было веснушчатое, украшенное тонкими и веселыми губами, руки у него были упрямые, он взмахивал ими так, словно и посейчас не выпустил топора. Да и по всему можно было понять, что никакая работа ему не страшна, что к людям он относится снисходительно и многое успеет (и хорошего и плохого) сделать в своей жизни. Епископу Валентину подумать так о мужике было приятно, и он спросил:

— Как имя-то твое, милый?

— Сумишев,— бойко, давая понять, что он все на земле знает, даже и то, почему епископ спрашивает его об имени, ответил ему мужик.— Сумишев, Митрий Максимыч, батя. Я вот с Архиповым говорил, Архипов твой... тьфу. Дай мне, батя, восемь копеек.

— Зачем тебе восемь копеек? — спросил епископ, думая в то же время, что в радости даже самые отвратительные голоса могут звучать прекрасно и что трудно понять: хороший или плохой голос у мужика.

Здесь подошел Архипов, но он не оттолкнул, как давеча, мужика, он наклонился к епископу и тихо сказал, что, верно, приходы бедны и епархия самая беднейшая, может быть, во всем мире. Жалованье епископу увеличат не скоро, причту где справиться. Он протянул синюю книжечку уложений о квартирной плате, и епископ смятенно прочел, что ему за квартиру надобно платить девять рублей за сажень. Он взглянул на Архипова,— «пять сажен»,— сказал тот тихо и оглянулся на прочих членов совета. Члены совета сжали руки. Сорок пять рублей! Мужики молча переглянулись. Сумишев тараторил:

— Развожусь, батя. Развод-то стоит семь с полтиной. Ну и наскреб я эти семь с полтиной, прихожу, едренамышь! Надо им еще! Еще требуется двадцать копеек за прошение писать. А зачем мне прошение? Никак невозможно, оказывается, без прошения. А меня одна баба ждет разводиться да другая ждет — венчаться. Самогон для

свадьбы приготовлен, пироги мамка печет, прямо как в песне... А у меня двадцати копеек не хватает, едрена мышь!

Сумишев скинул рукавицы, щелкнул пальцами и притопнул даже, не имея силы, должно быть, сдерживать свое восхищение миром: таким шутивым и трогательным. И дальше он уже говорил не для попа (да и поп-то глядел под ноги, слушая, должно быть, себя), а потому, что восторга у него так много, что стыдно и даже больно не поделиться им с прочими такими же счастливыми людьми. Он глядел на епископа — и тоже ничего не замечал в нем. Не замечал острого, усталого лица, красных пухлых век, длинного пальто с отрепанными рукавами и шапки в руках, шапки, снятой, несмотря на мороз и на то, что волосы у попа жидкие, серые... Шея епископа, закутанная грязным оренбургским платком, казалась необычайной длинной, а голова (все от того же пухлого платка) испуганной и больной.

— Чтобы мне да и двугривенного не хватало на свадьбу, как же так, едрена мышь! Я говорю писарю: «Ты обожди, гражданин товарищ, я сейчас». И на базар. Кричу: «Граждане, товарищи, дайте двугривенный на развод. У меня корова стельная, весна на носу, а по весне мне надо избу новую рубить, а от старой бабы как от пуха на воде: ни тебе колыханья, ни потонуть. С такой бабой мне какая выгода жить? С такой бабой мне разводиться давно пора!» Ну они кричат: «Разводись, Митрий Максимыч Сумишев! Давай шапку али рукавицу, оберем мы тебе на развод». Весь базар кричит, вот какой мне почет. Ну, пошел я по базару. Смотреть ведь, кто сколько бросит — стыдно. Обошел всех, гляжу в рукавицу, весит тяжело, а сосчитал — накидали мне двенадцать копеек. Восьми копеек не хватает, батя! Второй раз мне идти по базару амбиция не позволяет, да и ни кляпа не бросят. Не ехать же мне из-за восьми копеек в обратную! А может, к тому времени и девка моего позора не перенесет, откажется. Что мне, по весне без избы быть? У меня изба должна быть новая, не могу я в осиновой избе жить, я хочу в сосновой. Правда, батя?..

— Правда, — ответил епископ на громкий возглас мужика. Но епископу даже и думать не хотелось, о какой правде спрашивает его мужик. Надо было б епископу обернуться туда, куда смотрит Сумишев, Митрий Максимыч: грудастая с крепкими, как бы деревянными, ладо-

нями девка, обутая в раскрашенную катаную шерсть, полуоткрыв жесткий рот, стоит у дровней и ждет своей ночи и своей избы. И он, епископ Валентин, за восемь копеек подарит эту ночь девке. Горькая влага смочила б его сухие щеки. Но епископ, думая о своем, порылся в карманах. Попалось три копейки. Он сунул их мужику. Мужик, разгладив варежку, пересыпал деньги в карман, звякнул ими — «Ну, и за пятнадцать уговорю. Напишет покороче», — и мужик быстро побежал к крыльцу управления. Епископ уронил шапку, Архипов подобострастно подал ее. И епископ, все еще тиская шапку, сказал:

— Я не лед, братия. Я не могу моститься без досок, без топора, без клина. Мороз умерщвляет меня. Деньги мои ничтожны. Я отказываюсь. Счастье мое, видно, опять у мужика на печи пребывать.

Он взглянул на реку, виднеющуюся за обрывом, снежную, пухлую, — и Архипов и другие члены совета вздрогнули: от радости и от беспокойства. Радостно потому, что стало ясным, что архиерей святой человек, мученик, и подлая тихоновская паства кинет своих недостойных пастырей и перейдет на лоно истинной церкви, и спокойно потому, что святой человек скоро поймет многие грехи, ранее им не замечаемые, многого потребует, возропщет, найдет других, более достойных сподвижников. Епископ опять уронил шапку. Шапку теперь ему не подали. Он склонился сам.

Мужики ушли далеко вперед. Соборный колокол трескуче гудел. Озябшие пальцы епископа неумело выдергивали из шапки длинные легкие и синие нитки. Поземка подхватила одну нитку. Легкое шипение перекатывающихся снежинок скрутило нитку, понесло. Сонная и пушистая туча подымалась из-за оврагов, из-за реки. Будет буран. Ветер обматывал синюю нитку вокруг тонкой вечернего цвета ветви, беспомощно тянувшейся из огромного сугроба. Какая пустыня, какое одиночество... И как тяжело жить, если счастье человеческое состоит в том, что ты не смеешь судить мир, не имеешь силы убежать от мира и должен подчиняться тайному тайных земли, малую каплю которого знают мужики... Снега темнели, туча надвигалась. Еще полдень только, еще бы сиять снегам... Купол собора походил на голубое крыло...



Едва показался у дверей церкви сторож, намеренно грохочущий ключами (дабы отогнать дремоту), как к паперти уже подошла Катерина Алексеевна. Был какой-то маленький церковный праздник; звонарь долго выбирал, в какой бы ему ударить колокол; священник, страдающий одышкой, белоголовый и глухой,— запоздал: старуха многим была недовольна и кресты клала размашистые, твердые, и ей думалось, что все в церкви понимают и страшатся ее неудовольствия. И еще она думала, что она стоит вот в церкви строгая, прямая, во всем черном, а стеганая кофта ее, засаленная, с ленивыми заплатами, горбила ее и без того сутулую спину. Дряблые щеки ее были покрыты серым, грязного цвета, волосом, и острый нос ее всем казался распухшим и как бы потливым, и все оттого, что она редко мылась с мылом.

Опускаясь на колени, она каждый раз оглядывалась на Анфиску, девчонку, приставленную к ней; девчонка спешила ей помочь и делала такое лицо, какое делали все в доме, то есть что, дескать, страшно им гнева Катерины Алексеевны. А на самом деле Анфиска думала, что старуха притворяется, не богомольна она и в церковь ходит только потому — чем же она может отблагодарить хозяев, у которых чуть ли не пятьдесят лет служила она в кухарках и которые дали ей каморку за кухней, пищу и одежду до гроба и еще в прислужение Анфиску. Да и кому любопытно стоять в душевной церквушке, пахнущей

гнилым ладаном и дешевым воском, когда на улице август; зрелые, слегка желтые листья, устав от радостной жизни, лениво падают с деревьев, виснут на железных зубьях оград; листья эти пахнут плодами, и плоды наполняют базары.

Громадная и солнечная осень надвигается на город; и город гремит, и гремят в небе птицы, и на душе тоже много шуму! А старухе холодно, и на ногах у нее несколько пар чулок, все шерстяные и все один чулок на другой. Шлепанцы у нее тоже толстые, кошемные, без задков, и когда они выходят к порогу церкви, то всегда Анфиска торопит старуху, тянет ее за руку и взвизгивает: «Пойдем, пойдем!» Сразу же с паперти видны сады, ветви сияют солнцем и ветром, а старуха запинаясь о плетенный из веревок половик, и всегда Анфиска забывает посмотреть на ноги старухи, и каждый раз старуха оставляет здесь туфли и по улице идет в чулках.

А на улице Анфиске и совсем не до старухи, здесь на углах расторопные и веселые мужики с алыми пальцами продавали отяжелевшую запоздалую малину; покупатели со смехом смотрели, как малина вываливалась на землю из кошелки и лежала все такая же сочная и радостная. На лотках сиял голубым цветом виноград. Виноград запахи, должно быть, таил про себя, и Анфиска думала, что никогда рот ее не узнает этих запахов, и так же думали стоявшие подле торговца мальчишки, хотя были, говорят, случаи, когда торговец давал мальчишкам по ягоде или по две. Но стоять тут Анфиска не могла, надо было вести старуху домой,— да Анфиска и не завидовала мальчишкам, а была довольна их счастьем, в которое, впрочем, она мало верила. И так же, как и всегда, и в этот день старуха, подымаясь на крыльцо, остановилась у дверей и пожелала вытереть ноги, дабы не наследить, хотя день был сухой и пыльный, но со старухой спорить было нельзя. Старуха ухватилась за скобу,— и тогда опять оказалось, что она забыла на половике в церкви свои шлепанцы. У Анфиски были всегда широко расставлены пальцы рук (словно между этими пальцами лежали еще другие, не видные никому пальцы, да и Анфиска, кажется, так и думала). Катерина Алексеевна посмотрела на эти напряженно рвущиеся в разные стороны пальцы и медленно сказала: «Иди». Анфиска и пошла, хотя ей и не хотелось.

В церкви теперь уже совсем сыро, сторож бродит и ворчит, детей в церкви он не любит, ему все кажется, что дети ходят в церковь воровать свечи (сторож — сапожник, были у него две дочери, а отца оставили, ушли на бульвар за веселой жизнью, — может быть, они и нашли эту жизнь, но только отцу не сообщали). В квартире же хозяев Катерины Алексеевны было пусто — кто ушел на службу, кто на свиданье, а кто просто на солнце, и Катерина Алексеевна, как всегда в таких случаях, прежде чем пройти в свою каморку, обошла всю квартиру. Дверь ей открывала кухарка, она теперь громыхала посудой в кухне. Кухарка была рослая, толстозадая и никак не могла родить ребенка, и муж ее, живший в деревне, грозил, что найдет себе другую жену. Кухарка говорила, что детей у нее нет от недостатка воздуха, она постоянно открывала форточку, чтобы проветривать, а хозяева запрещали ей открывать: они говорили, что из кухни пройдет холодный воздух в каморку Катерины Алексеевны и она может простудиться. Говорили они это не потому, что боялись, дескать, Катерина Алексеевна умрет, а потому, что не любили больных, от которых, казалось им, постоянно идет зараза, и хозяин, круглый и с зачесами на лысину, Федор Сергеич, даже ручку у дам целовать спешил первым, дабы не заразиться от остатков слюны тех, которые целовали руку раньше его.

Катерина Алексеевна же думала, что кухарка хочет ее свести со свету для того, чтобы самой занять каморку, и поэтому она не говорила кухарке того средства, которое, как ей было известно, способствует деторождению. И кухарка понимала это, и они много лет уже собирались переговорить друг с другом, и у обеих не хватало решительности. Комнаты были светлые, просторные, но почему-то оклеенные темными обоями с крупными неестественными цветами наверху, и все гости хвалили и радовались почему-то этой темноте и этим цветам, похожим на щепы. Лучшее всего и веселей всего в квартире был буфет.

Буфет этот сохранился еще с тех времен, когда люди не стыдились того (как они стыдятся этого теперь), что они много и хорошо едят, а другие голодают. Этот буфет построили люди, которые ели много, — и когда Катерина Алексеевна остановилась против него, солнце целым окном падало на темный дуб; на резные листья,

украшавшие боковые дверцы; на дверцы эти скользил деревянный темный виноград, и он тоже сиял на солнце и, казалось, просвечивал. Ниспадающее почти до полу чрево буфета поддерживали вырезанные из дуба веселые ребятишки, животы у них были крепкие и круглые и на твердых щеках ликовал тот жир, который они хранили целые столетия. Полка, соединявшая две половины буфета, была толстая, из цельного дуба. Из громадной этой плахи можно было выстроить лодку или, скажем, уложить на нее целого жареного быка. Вот запах мяса наполнил бы целый дом; хозяин подошел бы с ножом, и гости бы, поглядывая уверенно на быка, придвинули бы к себе ближе рюмки... На этой доске стоял забытый соусник французского фарфора с бледными, как бы тающими, розами. Этот соусник был из сервиза, которым гордилась вся семья, много семей, много хозяев Катерины Алексеевны.

О, этот сервиз! Катерина Алексеевна служила ему полсотни лет, больше чем полсотни, семьдесят пять лет! Она пришла к нему впервые девчонкой из деревни, и кухарка, седая и ласковая, строго учила ее, как надо осторожно мыть сервиз, учила теми же словами, которые теперь говорит Катерина Алексеевна девчонке Анфиске. Много войн, банковских крахов, даже революций (во время которых исчезли из этой квартиры персидские ковры и керман-шали, сияющие белыми кругами, кашемировыми своими сердцами), многое прошло мимо этого сервиза, и бледные цветы его напоминали тонким и тощим своим владельцам, что есть розовые кусты, которые цветут даже зимой и не опадают в циклоны! Такие мысли многим людям доставляют удовольствие — и буфет цепко и радостно держал в своем животе глубокомысленные бледные розы...

Катерина Алексеевна хотела убрать соусник, чтобы не толкнул кто его случайно, убрать в буфет, она протянула уже руку, холодная гладь коснулась было ее кожи,— но тут она почувствовала мелкую и тревожную боль в боку. Боль эта быстро прошла, она сменилась тоже быстро промелькнувшим дремотным томлением. Но тревога осталась, и, не смея одолеть эту тревогу, Катерина Алексеевна прошла в свою каморку. Ход в эту каморку был через переднюю, в маленький темненький коридорчик, из которого одна дверь шла в кухню, а другая к Катерине

Алексеевне. Дверь была низкая, так что всегда приходилось наклоняться, и всегда Катерина Алексеевна, за шаг не доходя, наклоняла голову, а теперь она ударилась и, главное, почувствовала боль только тогда, когда остановилась у своей кровати. Боль ее не удивила, но ее удивило то, что она не могла понять, откуда эта боль, и еще то, что она не верила — боль эта оттого, что она ударилась о косяк!.. Ее все более и более клонило ко сну, было такое чувство, особенно в руках, что ею исполнена какая-то очень долгая и не столько утомительная, сколько однообразная работа. Пальцы, казалось ей, слипаются, а глаза — уже давно слиплись, хотя она все отчетливо и ясно видела. Окно было плохо промыто; следы от воды бороздили его, — ей захотелось открыть окно. Она и сказала об этом окне вошедшей Анфиске.

Деревья в саду уже оголились, потому что сад стоял на ветреном холме, и через стволы были видны главы далекого монастыря, главы эти тускло блестели, как созревшие плоды. Когда Анфиска повернулась от окна, старуха лежала вытянувшись, и у нее было такое строгое лицо, от которого только теперь Анфиска действительно почувствовала страх. Обе руки старухи были плотно сдвинуты: концы пальцев, грубые и толстые, были в морщинах и грязи. Старуха внятно и раздельно сказала Анфиске:

— Поди принеси тарел... да не из кухни, из буфета.

Катерине Алексеевне хотелось говорить, и ей думалось, что она говорит шепотом, потому что ей хотелось закричать не то с радости, не то с горя, с какого-то неизвестного чувства, которого она не ощущала никогда. Она поджимала губы, но губы ее лежали неподвижно, и она видела, что Анфиска суетится и торопится так неумело, что суета ее только путает ее движения, и когда Анфиска показалась в дверях с тарелкой в руках и бледную розу пересек переплет рамы, Катерине Алексеевне стало обидно впервые, что к ней приставили такого человека, который не понимает простых слов и простых желаний. Анфиска же видела на этом неподвижном и побагровевшем лице какую-то удалую злобу, и эта злоба была так ясна и так томительна, что Анфиска, понимая, что надо бы бежать и сказать о Катерине Алексеевне на кухне, все же не имела сил бежать, и когда старуха сказала ей сердито:

— Чево принесла? Две надо принести! — Анфиска пошла и принесла вторую тарелку.

Старуха попыталась приподняться, Анфиска подложила ей под спину подушку, но этого показалось мало, и она положила еще стеганую кофту, а потом и валенки. И тогда старуха, преодолевая нестерпимую сонливость и стараясь как бы выпрямить свое стянутое в судорогу лицо и думая, что это ей удастся, — разомкнула медленно слипавшиеся свои руки, взяла в каждую руку по тарелке, и когда она взяла эти тарелки, она ясно почувствовала — теперь ей бояться некого, она взмахнула яростно руками, — и веселая и легкая бодрость овладела ею, и сон дунул сухим ветром на ее глаза. Она уже не слышала, как стукнулись и разбились в ее руках тарелки и как большой палец ее руки упал на острый черепок фарфора и — не почувствовал острия. Лицо ее было багрово, и бледность начала медленно сходить с кончика носа на щеки. Белое это пятно ширилось, заполняло все лицо, а тело ее все выпрямлялось и выпрямлялось.

У табурета подле кровати стояла Анфиска, и ей было не страшно видеть то, как бледнеет это напряженное багровое лицо, а ее пугала до озноба непонятная мысль: почему же старуха разбила тарелки? И только тогда, когда она подумала, что могут решить, что тарелки разбила не старуха, а она, Анфиска, ей стало легче, и неподвижное лицо старухи показалось ей страшным и в то же время родным, и она горько заплакала.

ФОТОГРАФ



В городке П., грязной осенней ночью, бандиты убили ответственного работника Вуранцева. Этот ответственный работник никакими особенными доблестями не отличался. Пил он мало, да и пил всегда почему-то в ясную погоду, весной, и умер он тоже скромно, соседи и те не слышали его криков, когда на него напали бандиты,— а он защищался, потому что через улицу нашли лужу бандитской крови и посреди лужи котиковую шапку.

Городок дышал сытой осенней ясностью, солнце плавно шло как бы по твердому, немного усталому небу,— не стоило умирать Вуранцеву, не одну бутылку опустошил бы он перед таким веселым небом! И вдруг городок возгордел. Сразу же у скромного Вуранцева обнаружилось несколько жен, жены эти оспаривали честь стоять у гроба,— а теперешние мужья их не сопротивлялись этому и словно бы гордились близостью своей жены к такому герою. Домовые комитеты вытащили флаги; пожарная команда чистила каски свои и трубы своего оркестра. И тогда же секретарь одного столичного журнала, товарищ Шазарев, хмурый и как бы приплюснутый человек, сказал фотографу Николаю Николаевичу: «Снимите. Вот»,— и он сунул Николаю Николаевичу адрес убитого Вуранцева, железнодорожный билет и последний номер журнала с работами Николая Николаевича, где один из вождей сидел вполборота к зрителям, и лицо у него было скучающее. Николай Николаевич понял намек желч-

ного секретаря и обиделся. Так, сердясь, Николай Николаевич и пришел домой. Здесь, как и всегда, гудел примус, жена была подвязана фартучком, испачканным желтками и мукой, а на дворе такая трогательная осень, и люди (как думал фотограф) ходят все добрые, и он скавал со слезой в голосе:

— Ну, поеду я, Клавоочка, отдохнуть денька два.

Клавоочка сморщила неумело подкрашенные свои веки, и это чем-то показалось обидным Николаю Николаевичу, — он переложил билет из правого в левый карман и полез под кровать за чемоданом.

Городок П. был украшен кремлем и Волгой; одна из улиц городка имела бульвар. Скамейки бульвара, как и везде в России, были изрезаны скучными словами и фразами, которые почему-то считаются неприличными, хотя они так же распространены и так же часто употребляются в народе, как и сапоги или как варешки, и, видимо, столь же необходимы ему.

Фотограф посидел на скамеечке, попробовал перочинным своим ножичком соскоблить некую фразу, оскорблявшую его стыдливость, но фраза была столь глубоко всажена в дерево столь мощно держало ее, что Николай Николаевич при всем усердии своем даже буквы не мог повредить сколько-нибудь заметно. Он втайне огорчился своей прогулкой и направился отыскивать квартиру Вуранцева.

Гроб стоял громадный, толстый, на письменном столе, покрытом дрянной персидской шалью, из тех, которыми и по сие время мы усердно снабжаем страну Саади, — жены робко посмотрели фотографу в лицо, а Николай Николаевич сказал хмуро, что снимать здесь он не может: во-первых, тесно; во-вторых, белено известкой, — покойник выйдет в ореоле. Лучше снять завтра, на улице, или хоть бы в клуб его какой-нибудь перенесли. И он опять ушел, ходил по бульвару, у ворот кремля, древних и вросших в землю, — у ворот на солнышке беспризорные играли в «очко». Надо было б снять и беспризорных, и корявые лапы их на желтых и бурых грудях опавших листьев, и ржавые ворота кремля, обсиженные голубями настолько, что ворота сверху казались покрашенными белыми. Но во всем Николай Николаевич увидал такую уверенную в себе красоту, что он растерялся, не посмел снять, а только сам себе сказал с гордостью: вот зароботка лишается, но природой хочет любоваться бескорыстно!

Так, гордый, бродил он подле кремля и по бульвару до вечера, пообедал зачем-то в вегетарианской столовой. Обеды были на редкость плохие, да и вообще было непонятно, зачем городку П. иметь вегетарианскую столовую. Потом он опять пошел на квартиру к Вуранцеву. Там у дверей стояла одна из жен Вуранцева, с усиками и в потертом кожаном пальто. Она радостно сообщила Николаю Николаевичу, что предложение его принято, и тело героя перенесено в клуб имени... и она, произнеся не без игривости обширный и грозный титул, взяла Николая Николаевича под руку и, стараясь (из траура, надо полагать) не вилять юбкой, тем местом, где она наиболее плотно прилегает к телу, — повела его в клуб. По дороге она сообщила, что остальные жены сопротивлялись ее настойчивости в проведении предложения Николая Николаевича, и все для того, чтобы доказать, что ответственный любил ее меньше, чем остальных своих жен, а фотограф в клуб не зашел, и провожавшая слегка обиделась на него.

Всю ночь фотографа жрали клопы; кремль кивал ему пышными главами, упрекая его, — не осмелился объективно запечатлеть такую исчезающую красоту, — проснулся фотограф с тяжестью в желудке, и тяжесть эта вскоре перешла в слабость всего тела, и фотографу стало скучно, он надел носки «мехом наружу», как он сказал самому себе ехидно.

Вынос был назначен в девять, фотограф пришел в половине девятого. Зала была заперта на огромный замок (сторожа, боясь трупы, ушли спать по знакомым), дверь ему открыла заплаканная кухарка Вуранцева: «Нет никого», — сказала она басом, и фотограф тихо спросил ее: чего ж она плачет, и кухарка ответила ему еще суровей: «Вот и плачу, что никто не плачет». Фотограф присел на крылечко, кухарка села рядом и длинно, часто повторяя одни и те же фразы, начала ему рассказывать о жизни Вуранцева.

Фотографу хотелось спать; солнце слепило ему глаза; голос кухарки становился все тоньше и тоньше, — но здесь появилась жена ответственного, та, которая была в кожаном пальто. Она испуганно сказала Николаю Николаевичу, что все-то в городе думали: фотограф опоздает, проспит; город-то славен клопами; непривычному человеку спать трудно, — все здесь просыпают.

И точно,— народ начал собираться к десяти. Появилась худая с огромными щеками вторая жена Вуранцева; за ней третья, низенькая, как бы пронзительная,— с таким носом, что, глядя на такой нос, становились понятными многие обиды на этом свете. Все жали руку Николаю Николаевичу, вели его к гробу, становились у гроба в позу и просили снимать. Лицо у покойника было ясное; веки так легко сжаты, словно ему приходилось помирать от бандитов каждый день. И Николай Николаевич тяжесть своего желудка почувствовал очень унижительно, к тому же лицо Вуранцева было все время не в фокусе, да и жены заслоняли его. А затем нахлынули друзья... Всю ночь в городке говорили, что приехал из столицы знаменитый фотограф, снимает для газет и журналов. Демонстратор из будки кинематографа сообщал на ухо, что особый у фотографа аппарат и возможно, что не фотограф это, а готовящийся в кино (демонстратор загадочно проводил кулаком внизу подбородка) спец. Уездная красавица, любовница начальника милиции, обладавшая таким совершенством форм, что вот уже два года, каждый раз увидав эти формы, начальник милиции хватался за голову и дико восклицал: «Ну и чудо же вавилонское, господи ты боже мой!» — Мария Захаровна пришла и гроб одную из первых. Фотограф, как и всем, и ей показался общительным. Три раза стремительно поводила она плечами, теми плечами, что загубили душу начальника милиции, и три раза щелкал Николай Николаевич.

Становилось тесно; лица были напряженные; все смотрели на Николая Николаевича, пока он тихо не спросил кого-то: «Чего же ждут и скоро ли выносить?» — и тогда тотчас же гроб подхватили, грянул оркестр, и одетая в кожаное пальто спросила Николая Николаевича: «Каким путем нести?» — на что тот ответил: ему, дескать, все равно, ибо снимать трудно, небо в тучах (и точно, уже накрапывал дождь). Тогда гроб остановился. Друзья долго совещались. Но затем было решено, что, пока несут, солнце может выйти, и все снимутся на фоне Волги или кремля, — и хоть путь этот был в десять раз длиннее, все ж гроб понесли сначала по бульвару, здесь долго стояли в тени лип, ждали солнца, смотрели на фотографа, обсуждали: что неужели не изобретена такая система, чтобы при тучах снимать. Николай Николаевич объяснял устройство своего аппарата. Так солнца хотя и не дождались, но

снять — снялись. Стояли и у кремля, и у берега Волги. Дым парохода показался, — ждали парохода, чтоб по пути захватить на пленку и пароход. Снимались и у кремлевских ворот. Мужчины стояли, лихо сдвинув фуражки набок, а женщины пленительно улыбались. И Николай Николаевич улыбался и вставлял кассеты.

А дождь все увеличивался и увеличивался; заплетенные волосы свисали грязными сосульками на щеки; кресты на кладбище стояли тусклые и неопрятные; церковь кладбищенская была с проваленным куполом. Ноги скользили по глине; гроб опускать было неудобно, к тому же друзья и жены ползли на объектив, и Николай Николаевич никак не мог поймать лица покойника и щелкнул прямо на ура. Речь за суматохой забыли сказать. Сторожа, по ошибке, притащили к могиле крест и с испугу кинули его. Крест так и валялся неподалеку, дождь крупными каплями сбирался на масляной краске его, и капли были грязные, вонючие. Нет, нехорошо под такую погоду ложиться в землю!

Николаю Николаевичу благодарно трясли руки, и каждый спрашивал, где он остановился, и много ли нужно ему времени, чтобы приготовить карточку, и в каком журнале она будет напечатана. Кожаное пальто пленительно и тревожно сжало ему пальцы... Скорый отходил вечером, и Николай Николаевич уехал с почтовым. Почтовый пришел в столицу с опозданием на семь часов, и даже это опоздание обрадовало Николая Николаевича. Со злостью и грохотом прошел он в свою лабораторию, поспешно проявил, напечатал, — и сразу же на душе стало тише, и даже слабость, мучившая его, прошла. Секретарь Шазарев, не отрываясь от стола, сунул к тусклому и хмурому своему носу карточки и неразборчиво пробормотал:

— У вас за последнее время скептицизм появился. Тут, во-первых, покойника нету, а во-вторых, вы что же мне рож тут каких набирали! На кинооператора готовитесь!

Шазарев кино считал низким удовольствием, потому-то он и промолвил с наслаждением:

— Не пойдет, — и вернул Николаю Николаевичу все его отпечатки.

ПЕЙЗАЖ



Чалка со свистом скатилась на пушку, врытую в песок. Матрос скидывал в холодную утреннюю воду слежавшиеся круги канатов. Над пристанью запахло каменным углем. Спустили трап, и воздух, сонный, спертый, наполненный запахами плохо печенного хлеба и плохо мытого человеческого тела, кинулся вслед за толпой. Помощник капитана, сонный, с мокрым круглым ртом, сплевывая и мыча, ловил из рук пассажиров скомканные билеты. Он протяжно, с вятским выговором, кричал, чтоб не напирали. Пристань-баржа быстро опустела. Затем невыспавшиеся матросы молча выгрузили в пустынные пакгаузы несколько тюков бумаги. Приемщик, тощий человек с связкой огромных и ржавых ключей, кусая усы и уныло глядя на свои ботинки с неизменно выпуклыми, в виде бильярдных шаров, носами, долго говорил таинственно о «нем», не менее таинственно намекая на пакгаузных крыс. Наконец из трюма появился большой дубовый гроб. Приемщик почтительно одной рукой поддерживал его. Гроб этот поставили на несколько плах подле пакгауза. В этом гробу было тело члена президиума губисполкома тов. Одинцова, — купаясь, Одинцов утонул; река быстрая, и труп его унесло далеко. Приемщик из почтительности надел по ключу на палец, дабы не звенели, дремотно опустил на порог сторожки и пристально смотрел на гроб. Из парохода показался мужик, высокий, оборванный, чем-то похожий на вставшую на дыбы

лошадь, — у него были такие же удалые и такие же умные глаза. Мужик этот вел за руку мальчонку с толстым и капризным лицом (мужика зовут Елизаром Тарасычем Латыревым, а мальчонка — его сын). Елизар Тарасыч сел на бревно, рядом с гробом, и достал плисовый истертый кисет. Мальчонка сунул ему в колени голову и тотчас же заснул, и тогда стал виден на шее у мальчонки пионерский галстук. Отец локтем погладил его по голове и глубоко, с наслаждением затягивался.

— Покараулишь, что ли? — спросил приемщик и, сонно шипя ботинками, ушел в сторожку.

Из-за тополей пышет солнце. Тень от пакгауза огромная, влажная: ночью много пало росы. Роса и на рогах, прикрывающих груды мешков с солью. Еще стоят две сноповязалки, неумело и небрежно упакованные. Солнце сверкает на влажной краске сноповязалок. И это на пристани весь и экспорт и импорт! Пароход перестал дымить, и теперь из-за баржи видна только корма с задранной лодкой и нос, где на свернутых канатах спал в придуманной позе (колена к подбородку и руки на пол) вахтенный. И здесь на пристань пришел Хаников Игнатий Тимофеевич. На нем ватная солдатская стеженка, которую он носит зимой и летом, от зимы еще остался на ней неотпоротый заячий воротник. Щеки у него утомленные, давно не бритые, глаза красные. Он лениво побродил по пристани, пощупал сноповязалку, как щупал ее и вчера и позавчера, долго глядел, как подле носа парохода течение крутило ивовый лист. Лист вьется, ныряет, вновь выскакивает и все не может исчезнуть! Так и не дождавшись его погибели, Хаников подошел к гробу; сел на корточки против мужика и, со злостью глядя ему в подбородок, спросил:

— Одинцова привез?

Елизар Тарасыч вяло погладил подбородок и ответил вопросом:

— Родственник будешь?

— Кабы родственник! От родственника не грешно было б и пострадать, от родственника можно надеяться — хоть пожалеет. А этому зачем меня жалеть? Сам я из-под города, здесь всего два года, и грамоте плохо знаю, а вот... А фамилия моя Хаников, а потом была у меня другая фамилия — Средний...

— Не понравилась? Бывает. У нас вон в волости человек с фамилией Дураков есть. Так-с... Шесть лет хочет

фамилию переменить и все другую, подходящую подыскать не может! Требовательный человек.— Елизару Тарасычу хотелось чаю, он подумал было спросить у подошедшего, открыт ли трактир и сколько сейчас времени, но у Ханикова было такое унылое лицо, что Елизар Тарасыч только ногой шаркнул.

— Не то что не понравилось, а в газетах, в ведомостях начал писать, а там все фамилии, сказывают, меняют. Ну, думал, веселей будет, взял да и переменял... Служу на электрической станции, жалованье получаю и еще за ведомости деньги; за то, что пишу.

— Деньги?..

— И не то что деньги, а так — туман. Напьешься один раз, вот и нету тех денег, опять пиши. А писать трудно и непривычка. Кажись, легкое дело написать, и беспорядков много, а сядешь за стол, подумаешь — оказывается, все в порядке. На собрания в газету ходил — еще больше тумана в голове. И этот составитель, редактор-то у нас тоже филантроп — все заголовки в газетах переставлял, справа налево и наоборот. Под конец, оказывается, некоторые гадали: «Где, мол, сегодня заголовок будет»... Ему Одинцов вроде начальника был. Призывает наш редактор этого, который нами распоряжался, Папырина, и говорит: «Почему в других губерниях корреспондентов убивают, а у нас ни одного не убили? Получается, вроде как бы нет корреспондентов у нас или плохо пишут». Папырин вернулся грустный. А я к нему как раз с жалобой пришел — у меня такая история произошла. Шел я в субботу мимо квартиры главного нашего инженера Начапинского. А там пьянствовали и песни орали. Я остановился, наблюдаю, а здесь луна вышла — и вижу: на завалинке жена Начапинского с инженером Григоровым спит. Я на баб в последнее время злился, да и вроде обидно: зачем же на завалинке, под самым окном. Я и написал, назвал там — «буржуазия» и так, что полагается по закону и требованию. В воскресенье это и напечатали. А в понедельник приходит ко мне на службу жена Начапинского (и женщина-то веселая, хорошая, никак от нее я такого поступка не ожидал). «Вы, спрашивает, писали такую дрянь?» Я и честно согласился. Тогда она мне в морду. Я подумал, подумал, — думаю, пожаловаться, — выгонят, а не пожаловаться, — тоже выгонят, — зачем, скажут, позволяешь себя бить. А она моего позволения

спрашивала? Погода ветреная была; идти до города от станции верст пять, я вот шел все и думал: жаловаться или нет? А песок мне все в глаза. Ну, все-таки пришел. Вот тогда-то и увидел я грустного Папырина. Я ему рассказал, а он даже и обрадовался: «Изложи, говорит, или давай, для скорости, диктуй мне, я тебе все более равномерно изложу». Я ему продиктовал. Сейчас они — фотографию, меня сняли — и в газету. Не били, дескать, корреспондентов, не преследовали, а вот это что такое? И мало того, особый листок выпустили. Я могу даже листок показать... — Хаников достал из портсигара смятый и подклеенный газетный экстренный выпуск.

Елизар Тарасыч взял листок и долго смотрел на него, никак не понимая, с кем этот унылый человек схож, наконец сообразил, что отдаленно он походит на собеседника. Тогда Елизар Тарасыч начал вслушиваться, о чем тот говорит:

— Получилось форменное нападение на меня! Вроде назавтра выпустили громадную статью про меня, и хоть наврали, но наврали складно. Все, кажись бы, хорошо. А на другой день вроде призывает этот самый Одинцов, ехидный был, Папырина — и к черту! И меня с ним вместе из газеты. А там, оказывается, и на станции я оказался неподходящ... Теперь скитаюсь...

— Драться нельзя, ты бы стерпел, — зевая и глядя в кيسет, сказал Елизар Тарасыч. — Одинцов-то хоть и груб был, однако терпеливый. Вот бы и ты потерпел... Я его, правда, ни разу не видел. А мне от него тоже хлопоты. Сенокос у нас прямо нонче превосходный; косой раз провёл — почти и копна. И комара нету, и погода хорошая, сено сохнет как раз. Ни одно лето я лучше не мог бы жить... так-с. Одинцов-то, говорят, до занятий был лют и, много работая, раскалялся будто бы так — его и терпеть было невозможно. Всяко бывает, одним словом. Работал он раз — работал, не вставая чуть ли неделю, и вздумалось пива ему выпить. А пива-то, говорят, он и никогда не пил, впервые. Так-с... Не известна эта история? Кто тебя знает, — мне почудилось, что ты родственник; лицом будто схож... Выпил он пива, и тоже много выпил. Вместо прохлады получилось у него внутри разгорение. И направился он купаться. И тоже, должно быть, впервой. Так-с. Помер-то, говорят, он весело, не кричал и не суетился, да и когда нашли его, лицо у него тоже не очень

тоскливым было, хотя и распухло. Так-с. Друзей, я думаю, у него много было. Вот и ты, вижу, вроде друг. Жалко, видно, им человека терять. А может, думали, я полагаю, не утащил ли каких казенных денег неизвестных. Одним словом, чтоб, значит, хорошо о нем думать: назначили награду. Кто найдет труп, тому триста рублей! Тебе цены деревенские неизвестны? Так-с. Одним словом, на триста рублей можешь очень легко купить (на дом пригонят показывать) шесть или семь коров в полную собственность, и станешь ты кулаком. Мужики косьбу бросили. Солнце траву к земле гнет. Бабы воют. Лозники все перешарили. Даже где у реки старое русло было — и туда народ прется. Зачем на старое русло? А бог его знает, может, его волной занесло шальной. Багры сразу в цене, а про невода и не говори, да и рыбу, кажись, всю перепугали... Так-с. Я мужиком всегда осмотрительным считался, я думаю, ну шалишь. Елизара Тарасыча не загонишь. Поветь покрыл, косы наточил, работников нанял и, чтоб напередки смущения во мне не было, я им деньги вперед заплатил. Три телеги наладили, пирожков и калачей напекли, запрягать пора, а день жаркий, — и нашла мне тогда в голову мысль: «Пойду, мол, искупаюсь, благо река-то под яром, у самого дома». Зову Ефимку, вот этого, — спит, подошли к берегу, ничего не думая. И никогда-то я не нырял, кроме как в детстве, а тут от солнца, что ли, меня слепота осенила; сорвал я портки, заорал и нырнул! А мальчонка за мной! И тут будто рыба мне в руки. Я провел ладонью: лицо, волосы, одежда. Тащу на солнце. И лицо у него смеется будто, борода, — по описанию, он. И Ефимка ему в ногу вцепился, тоже кричит: «Он, папа...»

— Счастье, — вздохнул Хаников.

— Ну, не скажи. Кому бы и верно счастье, да не моему сословию. Выволокли мы его. А надо тебе добавить, деревня наша давно моему хозяйству завидует, а тут увидала как этого Одинцова, так прямо вся изошла лицом, будто помелом с золой по морде им провели. И то сказать: на полтораста верст по реке все деревни искали, а почему мне одному такое привалило? Мужики со мной и не разговаривают. Положили труп в холодную. Телеграмму в город отбили. Люди приезжают, посмотрели на мое хозяйство: «Нет, говорят, кулак ты. Не можем, говорят, мы тебе триста рублей выдать». Так-с. Тут я тебе могу ска-

вать правду: я обиделся, вроде тебя. Несправедливостей терпеть не могу. «Если так, говорю, то почему же я работникам вперед заплатил — и на моем сыне пионерский галстук. Я с сыном вместе Одинцова нашел!» Согласились тогда они сыну моему половину уплатить, и то не ему, а всему отряду, одним словом,— кануло... Я с таким решением никак жить не могу, у меня уже азарт. Я говорю, все суды пройду, а свои триста рублей не уступлю. Сел с ними на пароход... Так-с.

Из сторожки вышел приемщик с ключами, посмотрел на солнце, крикнул и, протянув длинную руку в сени, лениво изгибаясь, добыл оттуда жестяной ковш с водой. Фыркая и сопя, приемщик начал умываться. От земли шел тусклый пар. Петух, клохча и расставляя ноги, подобрался, напился из лужицы воды, которой умывался приемщик. Напившись, петух заорал и, как бы испугавшись своего крика, отбежал, боком, на несколько шагов и еще заорал... Говорить было не о чем, и, чтобы хоть сколько-нибудь закончить разговор, Хаников сказал:

— Добрый был мужик...

— Одинцов-то? Обходительный,— глядя в кисет, ответил Елизар Тарасыч.

— И веселый...

— То-то и оно...

— Да...

— Так-с...

Раскачиваясь, с грохотом, показался в воротах катафалк. Катафалк на необычайно высоких рессорах, красный и весь блестящий, чуть ли не лакированный. Город длинный, одноэтажный, постоянно в нем песчаные ветры и постоянно засухи.

Идти через город трудно, и поэтому погребение назначено было рано.

Начали собираться сонные, невыспавшиеся люди. Лица у всех были мятые,— и уже пыльные. И только владелец катафалка, в длиннополом сюртуке и цилиндре песчаного цвета, распоряжался и радостно и гордо. Он первый, среди прочих городских гробовщиков, догадался окрасить катафалк в красный цвет и даже лошадей подобрал в масть — рыжих. Он отбил все заказы настолько, что прочим гробовщикам перекрашиваться было уже стыдно. Появился человек с тромбоном, укутанный в гро-

мадный шарф и, кроме того, украшенный солдатской фуражкой и роговыми очками. Устало и медленно поставили гроб на катафалк.

Оркестр заревел. Петух вспрыгнул на пушку. Осоловело глядел он, как тонкий лист все еще кружился у носа парохода.

И тогда и Хаников и Елизар Тарасыч стали среди провожающих, а когда катафалк двинулся, то Елизар Тарасыч перешел в первый ряд, к самому гробу, и так как толсторожего и капризного мальчонку принимали за сына Одинцова, то провожавшие несколько расступились, и мальчонка пошел первым за гробом.

ЛИСТЬЯ



I

Осип Осипович Гедеонов с братом Петром и с сестрами Катей, Машей и Соней жил в конце улицы Советских кузнецов города Карналухова. Трое из семьи Гедеоновых служили, Маша стряпала, Осип Осипович распоряжался домом. Жизнь шла спокойно, без жалоб, и Осип Осипович думал, что весь этот отличный дом спокойствием обязан ему, но вдруг оказалось, что не ему, а серебряной сахарнице. И чем дольше он думал, тем все яснее и яснее становилось, что он не ошибается. Налево от дома Гедеоновых стоял базар, за базаром церковь с голубой макушкой, и подальше, у городского сада, исправдом с багровой надписью на воротах: «В труде ты искупишь свою вину». До того как была приобретена серебряная сахарница, сестры, приходя с базара и со службы, передавали, что вот-вот начнутся войны и революции. Война с аэропланами, с танками, бунты, голод. Опять!.. Урожайи минуют, идут стороной, а город Карналухов не черноземен ли? Им казалось, что служат они за малую плату; что следует выбрать службу получше, и брат Петр, религиозный и тихий, тоже смущенно спрашивал: как же быть дальше? И едва лишь Осип Осипович купил серебряную сахарницу, вещь совершенно ненужную, то быстро оказалось, что вот когда он совершил самый важный поступок в жизни, что в голове у него необыкновенно огромные замыслы. Вслух так не гово-

рили, но это можно было понять по успливавшемуся спокойствию, по тому, как все безропотно отдавали ему заработок... Он стал покупать все, что поменьше местом: жовры, подсвечники, кольца. Он не знал покупкам этим конца и смысла, пока однажды на базаре он не услышал, как мальчишки пели ему вслед песню, заставившую его думать о сахарнице:

Кощей, Кощей,
Не ест щей,
Жа-адный!

А он, точно, неделю почти не ел горячей пищи. Никогда ж он таким не был! Он оглядел себя: рубаха рваная, без пуговиц, на булавках; пиджак без подкладки; бороду стрижет сам, чтоб не тратить денег на бритву; плохо спит; сны видит странные. И накануне того дня, в который появился Артур Адамович, тоже приснился странный сон.

Осипу Осиповичу снилась длинная улица, он идет по ней день, другой, улица безлюдна, переулков нет, бесцветна, и Осипу Осиповичу кажется, что он идет вдоль одного громадного дома. Окон много, и в каждом открыта форточка. Он проснулся от нестерпимой тревоги. Жирная черная пыль лениво скользила по стеклу окна. Скрипели телеги, — значит, приехали мужики на базар. Он спустил с дивана грузные ноги в толстых шерстяных чулках. Надо бы открыть окно... и тотчас же вспомнилось, что вот уже четвертый год, каждое лето, вставая с дивана, он хочет открыть окно — и забывает. А в комнате душно, пахнет старым деревом и старой мебелью. Под ребрами у него ноет; одутловатость на лице нехорошая, надо бы подышать чистым воздухом, погулять, но квартиры нельзя оставить, да и к тому же скоро должен прийти татарин — продавец. Татарин ходит целую неделю, вся семья Гедеоновых уже его ненавидит, и он ненавидит семью, но уже решено, что без серебряного подноса, который продает татарин, жить невозможно. Они его подарят кому-нибудь! Они весело смотрят друг другу в глаза и лгут, придумывая, кому бы можно подарить поднос. За поднос должны отдать месячное жалованье Кати, старшей сестры Осипа Осиповича... Осип Осипович отхаркнул в платок мокроту: черную, густую, тревожную. Опять заныло под ребрами. Нет, так жить невозможно. Нужно сознаться, что произошло какое-то обидное недоразумение. И хотя Осип Осипович не знал,

в чем заключается полная и ясная жизнь, но он вслух сказал:

— Надо жить полной и ясной жизнью.

И тотчас же подумалось, что пора умирать и что такие мысли в сорок пять лет не напрасны. Он надел под воротничок атласный рваный галстук, подвешиваемый на запонку, как платьевая вешалка на гвоздь.

Татарин посмотрел на грузное серое лицо Осипа Осиповича и оробело соврал: «Царская посуда! Тайком царскую посуду распродаем! Старинному покупателю меньше себя...» В комнате сестер пахло углями. Младшая, Соня, гладила на полу юбку, присев на корточки. У нее толстые икры и румяные щеки. Соня отставила утюг и тоже подошла осматривать поднос. Пять голов на мгновение склонились к столу. Татарин уважал жадность, но Осипа Осиповича он не любил: жадность его была татарину непонятна. И вдруг Осип Осипович, вырвав поднос, сунул его под мышку. Сестры умиленно и напуганно переглянулись. Татарин прятал деньги. Осип Осипович уже раскаивался в покупке.

— Переплачиваю. Где вещи берешь? — сказал он, схватив татарина за рукав.

Над постелью сестер ворочался в клетке, украшенной золочеными гербами, раскормленный чиж, самодовольный и сонный. Осип Осипович глядел на поднос с ненавистью. Он подвел татарина к окну:

— Где же обещанные гербы на подносе?

У палисадника, кокетливо облокотясь на колья, средняя сестра Гедеоновых, Маша, тощая, с серыми медленными глазами, говорила с маленьким кругленьким человеком в прорезиненном пальто и с зонтиком в руках. Осип Осипович сразу узнал его. По-прежнему на лице — курносом и самоуверенном — висят, в виде топора острием вниз, стальные усы. Осип Осипович опустил руку. Татарин скрылся.

II

По-прежнему на Артуре Адамовиче Непокойчицком, как и двенадцать лет назад, канотье с огромной лентой. Только тогда была лента оранжевая, а теперь синяя с золотыми крапинками. Вот когда приходило счастье Осипа Осиповича! Он познакомился с Артуром Адамовичем у

реки, на скамеечке, в Казани. Они много говорили о ледоходе, о хороших людях, о весело заработанных состояниях. Осип Осипович очаровал Артура Адамовича, и тот свел его к своему патрону. В Осипе Осиповиче вдруг обнаружился превосходный вояжер. Он был высок, с длинной шеей, с басистым голосом. Необычайно многое слышали люди в этом голосе. Осип Осипович преуспевал. У него появилось три кожаных чемодана с длинными ремнями, завершающимися медными пряжками. У него были запонки: поле, половина — черная, железо, — и желтая, золото. А посередине — между железом и золотом — брильянт. Но карьера внезапно прервалась. Однажды закололо под ребрами, Осип Осипович позвал врача, и оказалось, что нельзя Осипу Осиповичу передвигаться, что малярия для него смертельно опасна, а в те дни патрон направлял Осипа Осиповича в Мингрелию, в болотистые равнины реки Риона. И к тому же вдруг оказалось, что Осип Осипович не может глотать хинина.

— За последние десять лет нигде не приходилось так дешево и приятно кушать, как в вашем Карналухове. Нигде не могу надеяться на таких стерлядей, Осип Осипович. Это две совершенно приятные встречи... — И Артур Адамович весело поправил жирные свои усы.

— У меня же совершенно отсутствует аппетит, Артур Адамович. И кроме того, передвигаюсь с трудом, слабость в ногах. В голове усталость и постоянный звон.

— Трудно, трудно... Но живу! И даже детей кормлю. И в Крыму даже имеет возможность лечиться жена. Представляю сейчас пуговичную фабрику, тоже трудно. Костяная пуговица не идет, предпочитают металлическую. Все желают крепкого материала и крепкой жизни. Трудно!..

Осип Осипович вдруг вскочил; прикрыв салфеткой поднос, он скрылся. Дверь, плохо держащаяся на петлях, грязная и вонючая, слегка покачивалась. В окно удушливо дышал базар: запахами плохой пищи, водки и гниющей кожи. Маша смотрела на зеленые шелковые чулки, обтягивавшие ноги Кати. Чулки были искусно заштопаны. Катя низенькая, с громадным задом и громадными грудями, над длинной челюстью ее висят кровавые куски губ. Она презрительно повела этими кусками.

— Зашел по старой памяти к Осипу Осиповичу. — И, словно боясь надоедать разговорами о себе, вояжер спросил: — Шум базара вас не беспокоит, барышни?..

Все напряженно молчали.

— Вояжер тогда только вояжер, когда он говорит что попало и как попало. Но говорит! Вот тогда он может надеяться на заработок.

Сестры разом встали и вышли, не посмотрев на него. Остался один Петр Осипович. Донесся визгливый голос продавщицы кваса. Облезшая краска на голубом куполе храма, виднеющемся через площадь, походит на пыль. Бороды мужиков цвета чернозема. У них беспокойная походка. Да и многое в этом городе беспокойно! Артур Адамович торопливо говорил, что Осип Осипович совершенно не изменился; что сестры выросли и стали совсем красавицы; что им пора замуж, и что вы вот, Петр Осипович, тоже здоровяк, и какая у вас прекрасная семья, на зависть. Петр Осипович уныло сидел за столом, блинворукий, тощий, в стальных очках, в выцветшей толстовке с маленькими кармашками, и наконец, боязливо взглянув на дверь, сказал:

— Покос скоро, мужики чайники на базаре выбирают...

— Как-с? Покос? Совершенно верно.— И Артур Адамович тоже посмотрел на дверь, через которую скрылся Осип Осипович.— А я по вечерам гуляю у реки и, кроме того, принимаю хину.

Он действительно достал облатку хины и попросил воды. Петр Осипович сидел неподвижно. Вояжер проглотил хину и долго сбирал слюну, кашлял, пыхтел.

— В Мингрелии, Петр Осипович, болота почти осушены, но тем не менее я принимаю хину. Малярия почти исчезла.

Осип Осипович вышел с полотенцем.

— Я умывался! — сказал он, косо ухмыляясь.

И полотенце и лицо его были сухи. Артур Адамович поправил ленту на канотье.

— А я, Осип Осипович, по вечерам гуляю у реки. Проезжаю мимо города Карналухова и думаю: неужели за двенадцать лет человек здоровье не выправил? Кроме того, малярия в Мингрелии исчезла, болота осушены. На Кавказ переехали многие знакомые ваши коммерсанты, и когда они увидят вас, то, конечно, дела вы сделаете. Я вам завидую? Ничуть. Поезжайте, Осип Осипович,

— Вот меня в окрестностях -- наверно, слышали, Артур Адамыч, — скупым считают. Окна, говорят, не открывает. Воров боится. А здесь самое неприятное не воры, а черноземная пыль.

— Вредна?

— Не столько вредна, сколько беспокойна. Тем не менее должен из-за болезни опять отказаться от выгодного вашего предложения, ради которого вы остановились в нашем городе...

— Вот именно, Осип Осипович.

Осип Осипович смотрел на полотенце, Петр Осипович — к нему на руки. Вояжер хотел было проглотить еще таблетку, но обиделся на свою растерянность. Он поправил жилет, вынул визитную карточку, пожелтевшую от времени, с «Ъ», положил ее на стол и, ковыряя в зубах спичкой, вышел. Тотчас же после его ухода вернулись сестры. Маша спросила у Петра, выгодное ли предложение сделал вояжер, и Петр ответил, что у вояжера темная фамилия: Непокойчицкий.

III

Городской сад упирался в реку. Сразу же под обрывом у подножия сада гремит деревянный мост. Застрявший на мосту автомобиль непрерывно гудел. Кони, везущие с базара пьяных мужиков, оторопело шарахались. Мужики бранились. Река пахла лопухами. Солнце склонялось к лугам. Наверху, в саду, было пыльно и беспокойно. На аллеях шипели наглаженные до твердости жести платья красавиц. Замусоленные окурки липли к ногам. Инвалиды, хватая за тросточки гуляющих, просили о помощи неестественными голосами. Листья на деревьях, громадные, напряженные, были неподвижны.

Катя увидела Наталью Модестовну, она вела незнакомую, опрятно одетую девушку. Катя тщательно рассмотрела ее, даже два раза обернулась. Затем она спросила Баранцева о девушке. Нет, он ее не знает. Почему же Наталья Модестовна указала девушке на Баранцева? Голос у Кати был спокойный, деловой. Баранцев покраснел. Тогда Тюремкин, рябой увалень в полотняном костюме, приятель Баранцева, взял Катю под руку и сильно ее сжал. Она сказала шепотом: «Больно». Баранцев услышал этот шепот.

— Пора и выпить,— сказал он торопливо.— Наталью Модестовну обижают, а с Машей не знакомите. Скупердый братец не пускает? Умрет на денежных мешках, факт!

На мгновение лицо Кати стало вялое и презрительное. Затем опять ярко засияли куски ее огромных губ.

— У Маши голова болит!

— Мы вылечим, Катерина Осиповна, ручаемся.

— Вылечим,— подтвердил Тюремкин и еще сильнее сжал ее руку.

Они повернули в проулок. Позади, над садом, беспокойно кружились галки. Ударил оркестр. Катя спокойно посмотрела в лицо Баранцева и сказала:

— О ней мы еще не решили.

Кате вспомнился утренний разговор с сестрой. На улице, у палисадника, мужик за узду тянул упирающуюся лошадь. Он материл лошадь визгливо и однообразно. Маша спокойно смотрела на мужика. Мужик, захлебываясь словами, бессильно топтался на месте.

— По животу ее хлестни,— вдруг сказала Маша.

Мужик отскочил в сторону, ударил,— лошадь пошла. Тогда Катя, сама удивляясь мечтательности и тихому своему голосу, заговорила, что Осип, видимо, хочет купить дачу. Над рекой. Хорошо! Летом надо потесниться и сдавать. И никто не посмеет выгнать, и, кроме того, верный капитал. Маша обернулась, лицо у нее было сердитое, она, должно быть, думала, что сестра, заговорив о даче, как бы упрекает Машу за безделье. Маша спросила:

— Баранцева увидишь? — Катя не ответила, тогда Маша добавила:

— Мне нужно с ним поговорить. Он хороший.

Катя вытерла губы:

— Что в нем хорошего? Не курит разве, а изо рта все равно воняет.

— Добрый,— возразила Маша, затем поправилась: — Добросовестный.

Баранцев с удовольствием пропустил гостей в квартиру. У него три комнаты, опрятные и тихие. Диваны, обитые коричневой клеенкой, напряженно горбились. На столе, покрытом выцветшей ковровой скатертью, стояли самодельные выжженные рамки. Стены увешаны фотографиями, тоже в самодельных рамках. Узколобые спокойные лица чуть-чуть качнулись, когда Баранцев

побежал, припрыгивая, к шкафчику... Сначала пили наливку, затем водку. Баранцев приготавливал селедку, обильно посыпая ее перцем. Он свистел, веселился, бил рюмкой в ладонь, ставил ее на лоб и по команде: раз, два — ловил рюмку ртом. Тюремкин дико хохотал; голос у него стал разнеженный. Он жал толстыми своими коленями ноги Кати и с любовью глядел в окно. Стемнело, показались звезды. Баранцев шепотом уговаривал Катю лечь с ними двумя. Кате всегда казалось, что в квартире Баранцева она становится развязнее. Тускло отсвечивали стекла в рамках. Эти выпиленные и выжженные рамки стали ей казаться удивительно милыми. Тюремкин вздыхал:

— Чудная вы девушка!

Катя поцеловала его в щеку и сказала, что на следующий раз она приведет Машу. Тюремкин хотел непременно к реке.

— Сиди, — крикнул вдруг на него Баранцев. — Не пыли!

Подле пустыря, рядом с домиком, где жили Гедеоновы, сидели на грядке разбитых кирпичей Соня и Маша. Осип Осипович с веткой акации в руке шел мимо к городскому саду. Он гнул ветку, глубоко вздыхал. Остановился подле полешка, недалеко от того места, где сидели сестры, чуть склонился, как бы желая поднять полешко, но не взял, двинулся дальше. Ему думалось, что он ничего не знает о себе, разве только то, что — трус. Надо будет найти вояжера, рассказать ему о своей храбрости, о бедности. Вояжер едва ли видел серебряный поднос, но все-таки, если видел, может разболтать... Сестры испуганно посмотрели ему вслед. И тотчас же подумали о Кате.

— Наталья Модестовна сводница, — сказала Соня бойко, — вся в прыщах. Спина у ней в прыщах, она меня в баню водила, я видела.

— Я тоже в баню ходила, но не заметила. Это как, опасно?..

Соня проговорила снисходительно:

— Я не говорю, что у нее сифилис. Но грязнущая, рук не моет. А платье суконное, франтит.

Они посидели молча немного. Проходя мимо полешка, уже забыв, что Осип Осипович наклонялся к нему, они остановились и, рассмеявшись одинаковому движению, обе схватили полешко. Оно было трухлявое и пахло грибами.

— Я сидел в пивной, рассуждая о разном с приятелем. Некоторое время спустя возвращаюсь домой по базару, вижу, человек серебряную сахарницу продает...— Осип Осипович остановился. Ему хотелось рассказать, что из всех его поступков видно, какой он обыкновенный и простой человек. Ему хотелось сказать, что вот купил года два назад серебряную сахарницу, купил случайно, а после этого как-то произошло... И теперь все его считают скупым, указывают пальцами, песни орут! Но рассказать — нельзя! Осип Осипович не находил ни одной причины, которая смогла бы объяснить, почему же он голодает, отнимает у сестер жалованье и что он будет делать дальше. Он повторил: — В пивной сидел...

Вояжер рассмеялся.

— Давно? Вчера? У вас в провинции свои расчеты. Мне говорят — у вас нрав изменился... а по-моему, свои расчеты, Осип Осипович.

Тучка кисеей отражалась в реке. В скамейке еще дневное тепло, и тепло это как бы кисейное. Вояжер похвалил теплый вечер и опять заговорил о том, что по вечерам он гуляет у реки, принимает хину, перечислял живущие, знакомые Осипу Осиповичу, фамилии в Мингрелии: Славгородовы, Биконсфильды, Хлобыстовы, Порфирий Львович Молоствов... Торгуют вином, кавказской пальмой. Осип Осипович спросил:

— Кавказской пальмой? — и, медленно вздохнув, прервал вояжера: — У меня совершенно отсутствует аппетит. Жую, жую, а все без толку. Руки слабые, головные боли, а затем слабость в ногах по утрам. Вот вам тоже говорили обо мне, наверное, не похвальное...— Тяжелая вялость вдруг наполнила его ноги. Вояжер, крепкий, кругленький, плотно сидел на скамейке. Зачем ему заезжать в город? И вояжер ли он теперь? И почему так много фамилий знакомых на Кавказе?

— Я вашу старшую сестру, симпатичную барышню, сегодня в саду встретил. Переглянулась с женщиной в рововом платке.

— Наталья Модестовна, — сказал Осип Осипович изнеможенно.

— Ну, допустим, Наталья Модестовна. Кажется, многим известно, что она сможет прийти к некоторому знакомому в гостиницу и предложить ему карточки продающихся в городе женщин. Допустим, ко мне!

— Может, может,— быстро сказал Осип Осипович со злобным наслаждением.

Вояжер обернулся к нему недоуменно. Артур Адамович тоже имел сестер! Он уже представил, как злодейка-сводница, шепча на ухо сестрам обольстительные слова, ведет их в притоны, а затем увозит за границу, в Константинополь, Париж! Артур Адамович не обладал высоким воображением. Но и при такой картине он почти задохнулся.

— Может? И по-вашему, это вполне простительно? Если ради хлеба, допустим, в голодные годы, да...— Вояжер долго говорил о голоде, о деньгах. Он действительно жалел Осипа Осиповича. К тому же он получил от жены из Крыма в этот день длинное ласковое письмо: здоровье ее лучше, виноград дешевый и квартира дешевая. А в жизни вояжер больше всего уважал дешевизну.— Сестры у вас, Осип Осипович, об их семейном счастье тоже надо подумать. И вам пора. Я женат шесть лет, и несколько это моей жизни не стеснило. А у вас какие-то расчеты...

Осип Осипович даже слегка отодвинулся от него.

— Не стеснило?— повторил он сдавленным голосом.

— Не стеснило,— отозвался вояжер.

Осип Осипович схватил пухлую его руку горячий и трясущейся своей рукой.

— Обязанность их беречь! Голодаем почти! Бедность наша! Больные все... И тем не менее я скажу, что завтра я могу уже уехать с вами на Кавказ. И куда хотите, куда хотите...— Он вскочил и стоял перед скамейкой, махая длинными руками. Лицо у него было спокойное и даже несколько восторженное.— Если столько прежних знакомых и при моем ораторском таланте... Я могу — чудеса!

Вояжер оторопело смотрел ему вслед. Осип Осипович уходил быстро, мелко шагая. Сначала ему казалось, что он поступил чрезвычайно отважно. Но вскоре тревога опять овладела им. Вояжер хитрит! Надо было б предложить ему в сегодняшнюю же ночь уехать... кстати и пароход есть. Все хитрят, и сестры хитрят, заставили его для своих каких-то неизвестных целей коптить, покупать вещи! От лок-

тей к кистям руки его начали покрываться влажным потом. Ноги слабели, и в щеках, подле ушей, знобило. Он остановился.

— А я за тобой спешу, — услышал он голос Петра Осиповича. На темной рубашке у него блестели белые большие пуговицы. — А я, знаешь, от отпуска отказался, я лучше наличными получу. Ты как посоветуешь?

Вот и брат! Ему надо б лечиться, а он принесет эти деньги безропотно Осипу Осиповичу. Хоть бы презрение послышалось у него какое-нибудь, если не к Осипу Осиповичу, так к этому страшному и непонятному миру. Что ж ему посоветовать? Осип Осипович тихо и утомленно сказал:

— Бери.

И тотчас же голос брата стал если не веселей, то беззаботней.

У пустыря, рядом с домом, их остановили крики Сони. Подле забора Соня, широко расставив толстые ноги, держала за волосы Афимьюшку, пьяницу, вдову, торговавшую всяческим старьем. Соня била ее по щекам обрывками бумаги. Афимьюшка была в подряснике, рваном и вонючем, подпоясана веревкой.

— Я покажу тебе, сволочь этакая, обсчитывать. Меня тюрьмой не запугаешь. Видали мы вас.

Афимьюшка хрипела:

— Воровка, пусти.

Соня ударила ее кулаком в переносицу:

— У, пьяница, я тебе покажу — воровка.

Увидав братьев, она оттолкнула плачущую Афимьюшку и побежала домой. Афимьюшка поползла, шаря руками, по земле. Осип Осипович зажег спичку. Они увидели несколько пачек переплетной и раскучной бумаги, два клубка шпагату и небольшой кулек шубного клея. Соня служила в типографии.

V

На восходе явилась Катя. Без ботинок, грубыми, как бы рассыпающимися шагами, она прошла по комнате. Кровать завизжала. «Пьяна», — подумал Осип Осипович и уже не васнул. Стена пахла отвратительным запахом обоев, наклеиваемых слоями друг на друга целые десятилетия. Он открыл форточку и долго пытался вспомнить, какой же и

когда же он видел сон с форточками? Через базар, у церкви, дворник, сильно шипя метлой, мел улицу. Он, по-видимому, разгонял метлой дремоту. Кто-то глубоко и знакомо вздохнул. В дверях стояла Маша.

— ...пока спит Катька, я и договорюсь. Она, как бы ни напилась, всегда в девять встает. Меня, Осип, трудно напугать. — Маша говорила с обычным своим, несколько небрежным спокойствием. — Я не боюсь потерять невинность. Катька треплется бестолково, без выгоды, от беспокойства.

— От беспокойства?.. — Осип Осипович хотел упрекнуть ее в грубости, но не смог. — Я же с вами...

— Противно другое. Подруги мне говорили, что Баранцев — истязатель. Я не верила, думала — сплетни, а сейчас вижу, у Кати на теле синяки от щипков. Она с ним живет. Меня к нему вести не хочет, а сама ничего не делает, выкинет ее через месяц к черту. Ты распорядись. — Она посмотрела, как Осип Осипович, зажав руками уши, сел на диван. На базаре уже скрипели телеги. Ругались веселыми голосами нищие. Маша зевнула. — Она только тебе и верит! Пускай она меня с ним познакомит, у меня он навек забудет щипаться... все они пьяницы и развратники до момента.

— С семьей, что ли, посоветоваться о таком случае? Он, думаешь, женится? На тебе?

— Советоваться? Если ты во всем царь и государь, то сознавай, что чайники для вас мне ставить надоело. Дешевое дело.

Долго после ее ухода он передвигал диваны, достал серебряный поднос, кольца, спрятанные за столом в спичечной коробке. Какое ослепление и какая болезнь владеет теми, которые разрешают ему покупать эти ненужные и, в сущности, неценные вещи? Они тихо разговаривают за дверями, опасаются его обеспокоить! И позже, когда ушел Петр к заутрене, опять появилось серебро. Принесла Наталья Модестовна маленькую, позолоченную, с пустыми и глупыми вензелями, рюмочку. Она сказала, что таких есть дюжина или две, смотря по надобности. И тотчас же, вся наполненная сознанием важности своей работы, осведомилась о Маше; затем об урожае; о покосах; о вояжере, который приехал в город. И на все свои вопросы она отвечала сама и была очень довольна своими ответами.

Тихо говорящие за дверьми односторонно рассуждали о том, что Петр плохо спал всю ночь, что Соня — воровка, и Афимьюшку надо гнать из дома, но как ее прогонишь — придет другая, еще хуже, этой хоть не поверят, если дело коснется суда, — дурочка. Шея у Петра была грязная, он вяло жевал бутерброд из плохого хлеба. Катя жаловалась на головную боль и говорила, что Соня хотя и шестнадцатилетняя, но не мешало бы ее выпороть. Петр неожиданно воскликнул, что надо ходить в церковь, молиться богу, бог все видит, он накажет. Не гибнуть же всем, не сидеть же всем ради ожидаемой прекрасной жизни, да и сможет ли ее устроить Осип Осипович! И тогда Катя завизжала, чуть слышно, оглядываясь на дверь, что Петр не смеет так говорить, не смеет он клеветать на Осипа, Осип в сто раз лучше всех в городе и, может быть, один во всей России понимает, что надо делать. Раз он сказал беречь, значит, нужно беречь и хранить не только деньги, но все, что он прикажет. Она строго посмотрела на Машу. Глядя, как Катя разматывала и заматывала на голову рваное полотенце, Мама сказала:

— Мне Осип говорил, что я могу с Баранцевым познакомиться. Ты меня сегодня, Катя, познакомь с Баранцевым.

— Голова болит. — Глаза у Кати наполнились слезами. Петр на нее смотрел дико и устало. — Спать сейчас лягу.

— Ну, тогда меня Наталья Модестовна познакомит.

— Под титлами живет, — хрипло проговорил Петр. — Бог не разрешает человеку под титлами жить...

Вбежала Соня, розовощекая, в ситцевой, тщательно выстиранной кофточке. Весело упав на подоконник, она, болтая толстыми ногами, смотрела на подошедшую к нарисованнику Афимьюшку. Афимьюшка поддразнивала ее мычаньем. Соня шипела ей, подмигивая:

— А вот и не хочу с тобой... другой продам, уйди, глаза поцарапаю, сволочь. Мало даешь, не выгодно.

Ее не слушали. Осип Осипович, высокий, вялый, показавшись в дверях. Он хотел ласково сказать, что придется ему на небольшой срок уехать к Черному морю, полететь, поработать. Сестры смотрели на него испуганно, и еще более стало ясно, что надо говорить коротко, приказывать, упрекать. Он попросил воды умыться. Ведро, два

ведра! Надо приготовить чемодан, белье. Он едет в Мингрелию. У ворот Наталья Модестовна медленными движениями брала из голубого платочка орехи. У нее плотные и веселые зубы. Она не очень удивилась, когда Катя попросила ее идти вперед. Наталья Модестовна многое понимает. Она самая спокойная в городе, с ней легко, она опрятна, она всех уважает. По улице мужик нес за плечами рогожный мешок. Шея у мужика в мелких пересекающихся морщинах, забитых теплой и темной пылью. Фуражку трудно отличить от шеи. Наталья Модестовна и на мужика посмотрела с любовью и уважением. Ничего, отмоется, если не в этот праздник, то в другой. Маше было приятно, что все свершается без выкриков, и в квартире у Баранцева тоже было просто и тихо. На столе лежал розовый конверт и пресс-папье с чистой пропускной бумагой. Наталья Модестовна позвала прислугу. Она писала записку Баранцеву и не без кокетства спросила у Кати:

— Какого ж вина заказать?

— Углей, углей! — пьяным и веселым голосом вопили на улице.

Фыркала лошадь. Катя ответила хмуро, что всякого, только не ликеру, с ликеру голова болит. Маше именно хотелось ликеру, но она промолчала и решила запомнить это, отомстить Катьке, которая так поступает, конечно, пазло ей, Маше.

VII

Артур Адамович чистил над ведром зубы. Повернув раскрашенные белым порошком усы к Осипу Осиповичу, он необычайно круглым и унылым глазом указал на окно, где стояла завернутая в тонкую раскурочную бумагу бутылка вина. Вином подпоить хочет, сбежать, — но затем Осип Осипович рассудил, что бутылки вина слишком мало для двоих. Осип Осипович раскупорил вино и, сам не замечая того, свернул бумагу и положил ее в карман. Вояжер тоже смотрел на него с тревогой. Ночью, после разговора у реки, он долго не мог заснуть и решил, что у современного человека необходимо совершенно уничтожить чувство доброты. Заехал посмотреть на старого приятеля, а приятель навязывается на Кавказ. Вояжер уже забыл, что сам он приглашал Осипа Осиповича. В углу за умывальником стояла метла из полыни. Осип Осипович уже

чувствовал, что ему не сказать того, с чем он шел сюда, то есть, что ему незачем ехать на Кавказ и здесь-то ему пора умирать, что происходит огромное недоразумение, он — слабый и беспомощный человек, нужно объясниться подробно и ясно... Осип Осипович проговорил:

— У меня сестры... полы чересчур часто метут, а метлы дорогие, на одни метлы уходит энное количество денег.

— Шутник вы,— тоскливо сказал вояжер,— не передумали ехать?

Вопрос показался Осипу Осиповичу задорным и насмешливым. «Кто кого еще!» — подумал Осип Осипович, и он сухим и скрипучим голосом подробно ответил, что он чувствует себя прекрасно; малярия не боится; в доме все налажено. Какой-то липкий озноб охватил его, в висках ныло, а он все говорил и говорил:

— Хотя и необходимо наблюдать за ними... едят много; чулки шелковые завели; примус зажигают, волосы завивать,— сколько керосину бесцельно тратится...

— Угу,— промычал вояжер, взмахивая щеточкой, словно он чистил не зубы, а сапоги.— С таким характером вы имеете полное основание хорошо заработать. Жму вашу руку!

Осип Осипович вяло и долго, часа два, говорил о своих болезнях; жаловался на слабость, и вояжер все более и более понимал, что он берет с собой на Кавказ полумертвого человека. Как он не разглядел скверный румянец и трясущиеся руки? И говорит он и будет говорить покупателям о своих болезнях, а не о пуговицах! Вояжер преисполнился ненавистью и страхом.

Они ехали на извозчике, и Осип Осипович все продолжал говорить. В пустыре, подле дома, мальчишки, протирая грязными руками гнойные глаза, швыряли щепами в голубей. Они запели:

Кошей, Кошей,
Не ест щей...

Осип Осипович ходил по комнатам, укутанный в громадный шарф поверх летнего пальто, с толстой палкой в руках. Он запечатал все сундуки, даже с бельем, сургучной печатью. Маша пьяная, с бледным одеревенелым лицом, спала на кровати навзничь. Петр попробовал ее разбудить — и заплакал. И хотя они чувствовали, что Осип Осипович больше не вернется, но все просили его распоря-

жений. Когда он отвечал, им казалось, что, если Осип Осипович возвратится, он заставит их сделать в тысячу раз более страшное и подлое, чем то, что они делают сейчас. Осип Осипович, протягивая Петру копию со списка вещей, лежащих в сундуках, сказал Артуру Адамовичу:

— Пищи вы излишне много взяли. И не в корзинку нужно было, а в плотно закупоренную посуду.— Он строго посмотрел на Катю.— Прошу не расхищать вещей, даже малоценных. Вы ведь как листья: куда ветер погнет ветку, туда и вы. Ветка-то ведь я? Форточки не забывайте на ночь закрывать, иначе воры влезут, а также поддерживайте всегда свет в квартире, что даст ворами иллюзию даже в ваше отсутствие думать, что в квартире находятся хозяева. Приеду, расскажу более подробные планы, имеющиеся в моей голове. До свиданья.— И он, указывая Петру на копию списка, добавил: — Береги копию. Оригинал у меня.

Извозчик натянул веревочные вожжи. Тусклым и сухим запахом несло от черных земель, начинающихся влево от базара. Ломаными кирпичами зиял пустырь. Осип Осипович поставил на подножку длинную ногу, показался коричневый носок, заштопанный белыми нитками, и еще выше — синие тиковые подштанники. Бессмысленная и жалкая улыбка появилась у всех на лицах. Извозчик обернулся и тоже, неизвестно чему, бессмысленно и жалко улыбнулся.

ОСОБНЯК

Повесть

Глава первая

Началось это все с того, что Е. С. Чижов привез из северного уральского города Н. в Петроград на продажу партию кренделей. И хотя крендели частью заплесневели и сам Ефим Сидорыч в номере гостиницы долго счищал с них плесень, партию эту, как и предыдущие партии, он продал с большой прибылью. Когда он торговался о цене с покупателем, толстым и угрюмым, в бешмете защитного цвета, на площади у вокзала послышалась стрельба. Но митинги и различные выборы и даже свержение царя торговле баранками не помешали, и Ефим Сидорыч скоро забыл о революции, так как другие мысли, неожиданные и более страшные, захватили его голову и его сердце. Однажды, проснувшись утром, он вдруг ощутил непререкаемую необходимость, что он должен иметь дом, жену, скот: коров, лошадей, много утвари и сбруи, — то есть все то, о чем он раньше думал редко, так как считал себя человеком беспечным, способным прожить данные ему годы без лишних тревог, беспокойств и водки. Квартировал он вместе со своей матерью Варварой Петровной и тетужкой Екатериной Петровной у переплетчика Смирнова, занимая большую комнату и кухню за четыре рубля в месяц, а кроме того, Ефим Сидорыч жил с женой переплетчика, крикливой и вертлявой бабой. Жена переплетчика была нетребовательна — ласкова настолько, насколько позволял ей характер.

По воскресеньям она пекла хорошие шаньги и покупала где-то необыкновенно сладкую сметану. Жизнь была удобна и легка, и неожиданное обилие желаний, пришедшее к нему в номере петроградской гостиницы, очень огорчило Ефима Сидорыча. И, дабы отделаться от желаний, он их немедленно попытался исполнить и поступил так, как обычно поступают в таких случаях люди: он выполнил, если можно так сказать, тени своих желаний. Он написал письмо давнишнему своему знакомому в город Н. штабс-капитану С. М. Жиленкову, и в этом письме среди других новостей упомянул о своей мечте купить дом. Затем он взял с Невского румяную — городским едким румянцем — девушку, прокатился с ней на извозчике и, пролежав с ней в кровати отпущенные ему природой минуты, заказал яичницу с молоком. И тому, что он заказал яичницу с молоком, не удивились ни девка, ни он сам, — а молоко было жидкое, с каким-то известковым вкусом. С собой Ефим Сидорыч был строен, с бородкой клинышком, с пустыми и в то же время настойчивыми глазами. Его часто принимали за учителя, и никому в голову не приходило, что Ефим Сидорыч Чижов — бывший сапожный и шорный мастер и что кожа пальцев его полна несмываемой темно-желтой краской и ногти его синие и необыкновенно твердые. И девка с Невского спросила: не учитель ли Ефим Сидорыч, потому что сейчас много учителей выступают на митингах. И, с неприязнью взглянув на девку, Ефим Сидорыч подумал: «Надо ехать. Ехать надо».

И в тот же день уехал в город Н.

Но и в городе Н. тупые и мучительные желания, охватившие Ефима Сидорыча в Петрограде, не схлынули, а приобрели какой-то непонятно насмешливый характер. Например, в первый же день приезда Ефим Сидорыч встретил Жиленкова, штабс-капитана, — того, к кому он написал письмо. Жиленков служил в армии по призыву, а до призыва занимался, как он сам себе говорил, «землеустройством», а всем остальным: «Разыскиваю пастбища», и вообще у него была манера направлять мысли людей о нем в противоположную от истины сторону. А «землеустройство» его заключалось в комиссионной торговле усадьбами и главным образом лесом. Письмо Е. С. Чижова штабс-капитану показалось подозрительным, и он постарался встретить Ефима Сидорыча в первый же день приезда. Вперив взгляд постоянно меняющих цвет глаз и шевеля

своими белесыми и необычайно длинными ресницами, как бы ползущими на лоб, штабс-капитан напряженно спросил:

— В Оренбургскую степь едете?

— Зачем?

— Ну в Оренбургскую, не скрывайте.

— Да зачем мне в Оренбургскую? — спросил недоуменно Ефим Сидорыч.

Жиленков, с таким видом, как будто этим разговором и обижают и обманывают его, отошел и в нескольких шагах крикнул:

— А домик я вам подыщу. Поезжайте, наживитесь, а я вам пока подыщу.

Ефим Сидорыч сразу же понял, как можно наживиться в Оренбургских степях. Многие торговцы пытались пригнать оттуда в центр табуны скота, но дорога скудная, скот мёр... Но и баранки возить в Петроград столь же опасно, и нажива, как и все в жизни, зависит от счастья. Ефим Сидорыч и направился в Оренбургские степи, удачно и быстро пригнал оттуда жирный и гулкокопытный скот. И вновь деньги у Ефима Сидорыча увеличились, но одновременно с деньгами увеличивалась революция. Уже скот, пригнанный из Оренбургских степей, ели недовольные солдаты на фронте; уже Ефима Сидорыча торопили в следующую поездку, дабы уговорить жирным мясом бунтующих солдат, но тут пришел к нему штабс-капитан Жиленков и в то же время привезли в город великого князя Б. — как носились слухи, претендента на русский престол. Жиленков заявил: в центре города есть особняк, вполне по чижовским деньгам, два каменных этажа с деревянными пристройками в виде голубя. «Как?» — спросил оторопело Ефим Сидорыч. И точно: когда Ефим Сидорыч осматривал особняк, то деревянные сараи чем-то напоминали распростертого голубя. А за сараем виднелось соседнее поместье: угрюмый, трехэтажный, похожий на тюрьму, с узкими окнами дом. Тощий березовый сад как-то болезненно разбежался от этого дома. И как только два таких различных дома могли стоять рядом! Особнячок, рекомендованный Жиленковым, был обсажен елочками; песчаные дорожки походили на полосы созревшей ржи, колеблемой ветром; трава пахла медом. Ефим Сидорыч купил особняк и окрасил его в зеленую краску. Тотчас же пришел Жиленков, к зеленой краске отнесшийся подозрительно. Жиленков сказал, что в уезде, в имени князя Хаван-

ского, удрученного революцией, спешно, за бесценок, продается мебель. Купили мебель, обили ее шелком, а обойщики заявили, что мебель старинная и ценная. Насмешливая удача преследовала Ефима Сидорыча; в другое время он бы никак, а тут сразу поверил обойщикам и попросил тетюшку Катерину Петровну позвать штабс-капитана Жиленкова.

Глава вторая

Жиленков сказал обидчиво, что Ефим Сидорыч, несомненно, знает, какую ценность представляла собою мебель, а впрочем, обещал достать каталоги. По французским антикварным каталогам выяснилось, что мебель принадлежала брату Наполеона Первого и в Россию привезена в 1815 году, а стоит она... Жиленков от обиды и зависти даже зажмурился.

Катерина Петровна подыскала невесту — дочь местного адвоката Маркелла Маркеллыча Епича, Манечку Епич, такую невесту, какую хотел Ефим Сидорыч: семнадцатилетнюю, степенную и добросовестную. Катерина Петровна всю жизнь мучилась стыдом от того, что жила на средства племянника; часто, глядя на опрятную бородку Ефима Сидорыча, хотела она сказать обиженно: «ухожу», а скажет совсем другое. Теперь Катерине Петровне казалось, что за хлеб как будто отплачено. Сам Маркелл Маркеллыч все время говорил — и все время убедительно, а дочка, Манечка, все время молчала, — и это тоже было не менее убедительно. Семью Епичей уважал весь город, и семья уважала всех. Дела у адвоката были неважные; он с удовольствием отдавал дочь, тем более что Ефим Сидорыч приданого не требовал. Утешаться бы Ефиму Сидорычу! Но беспокойство и новое желание овладело им, и беспокойство это охватило его на Соборной площади. А на Соборную площадь он попал вот почему.

Великий князь Б. вначале был поселен во дворце Строгановых, огромном, украшенном колоннадой здании, на Соборной площади. Многочисленный караул из солдат и матросов охранял великого князя Б. В городе, а чаще всего на Соборной площади стали встречаться какие-то странные тонкотелые офицеры с испуганными и в то же время наглыми лицами. Обыватели с гордостью гуляли

по площади. И Варвара Петровна позвала сына и сестру погулять на Соборную площадь. У Варвары Петровны всю жизнь, с того дня, как подрос сын, было хотение слушать сына, а всегда происходило так, что слушаться его было невозможно. И даже в деле — важнейшем во всей жизни: в постройке или покупке дома — она считала, что сын поступил неправильно. Если город бунтует, то покупать дом надо в деревне! Старуха была выше сына на голову, с солдатским решительным шагом и с такими же, как и у сына, серыми и настойчивыми глазами. Ефим Сидорыч политику презирал, на площадь он пошел с неохотой. Окна — как бы вынутые из красного вина; плоская оловянного цвета крыша, похожая на серое облако; площадь, поросшая редкой и как бы чугушной травой; и воздух, в котором было слышно, как на дворе здания крикнул солдат, кидая ремень на булыжник, и как зазвенела пряжка; и колючая проволока, похожая на траву, — проволока, которой был обтянут фасад дворца, — все это как-то непонятно оживило Ефима Сидорыча. Подошел гулявший по площади Епич с дочкой. Епич познакомил Ефима Сидорыча с офицером, которого сразу как-то и не заметили, хотя он был и высок и плечист. Офицера звали Голофеевым Сергеем Сергеевичем; он некогда служил в гвардии, был монархистом, понимающим, что монархия гибнет, но не знающим, куда ему идти, и не верящим в людей. Его укоризненное и какое-то мертвое лицо кривилось, — так что смотреть ему в глаза было трудно и неприятно, а некоторым в разговоре с ним казалось, что они как бы разговаривают с мертвецом. Маркелл Маркеллыч заговорил о монархии и евреях. Он даже писал книгу о ритме Египта, в которой доказывал, что евреи погубили ритмический Египет, ибо они антиритмичны. Офицер Голофеев с безнадежной скукой смотрел в окно строгановского дворца. Темнело. Ефим Сидорыч пожал руку невесте. Она ему ответила. Ефим Сидорыч стал рассказывать о своем особняке. Все на него взглянули недоуменно, и он неожиданно предложил офицеру у себя квартиру. Офицер согласился...

— Вот это герой! — воскликнул Маркелл Маркеллыч, обнимая Ефима Сидорыча.

— Я не герой, — ответил Ефим Сидорыч, — но признаю, чтобы поступки были немедленные.

И все согласились с ним, понимая и не спрашивая, какие бывают поступки немедленные и после каких мыслей.

Глава третья

К великому князю назначили нового большевистского комиссара. Комиссара этого звали Петров Иван Григорьевич, и у него был брат Семен Григорьевич, председатель губернского Совета. Комиссар Иван Петров настаивал на пленуме Совета, что стыдно и агитационно нехорошо держать великого князя во дворце Строгановых. Великий князь теперь — обыватель, не больше других, да и вредный к тому же обыватель. Пленум Совета согласился с доводами веснушчатого и короткорукого комиссара и постановил: перевести великого князя в более малое и менее требующее расходов от пролетарского государства помещение. И вот великого князя Б., грузного, с бабьим голосом старика, перевели в трехэтажный дом, находящийся рядом с особняком Ефима Сидорыча. Ефиму Сидорычу было обидно видеть из окна своего особняка, как, входя в дом, великий князь снисходительно и, пожалуй, даже заискивающе разговаривал с большевистским комиссаром Петровым. Вечером Ефим Сидорыч, офицер Голофеев и будущий тесть Маркелл Маркеллыч стояли у дверей балкона, с которого были видны окна, обтянутые колючей проволокой, — окна, где часто проплывал шатающийся силуэт великого князя. И Ефим Сидорыч первым пожалел, что балкон занесен снегом и нельзя выйти и помахать великому князю белым платочком, да и к тому же белый платочек не виден на снегу.

— Вы — ярый монархист! — снисходительно сказал Маркелл Маркеллыч. — Вот не ожидал! А пора великому князю подумать и о повороте.

— Пора, пора, — повторил Ефим Сидорыч, и холодок восторга пронесся по его телу.

Офицер Голофеев взглянул на него мертвыми, злыми глазами и отвернулся.

Из-за суматохи, пайков, приказов на заборах (а Маркелл Маркеллыч, кажется, потому, что надеялся на свадьбу и любовь Голофеева) Ефим Сидорыч соглашался на откладывание свадьбы. Да и к тому же он не особенно надеялся, что беспокойство, владевшее им, исчезнет. Теперь он уже сильно скорбел о монархии. Маркеллу Маркеллычу даже приходилось удерживать его скорбь. Комиссар Иван Петров, опять степенно потрясая длинными каторжными волосами, доказывал на пленуме Совета, что в области за-

метна организация офицеров; военнопленные империалистической войны волнуются; нарастает контрреволюция, а великий князь Б. живет в громадном доме из тринадцати комнат, в то время как пролетариат заводов... Потрясая пустым и тусклым графином, комиссар завопил... Гул одобрения пронесся по залу губернаторского дома. Пленум согласился со словами комиссара Ивана Григорьевича Петрова.

И вот в теплый предвесенний вечер, когда на дворе играла снежная буря, больше похожая на дождь, и елки как бы проходили сквозь льдины, оставляя на своей хвое замороженные капли, — Ефим Сидорыч вместе со своей семьей и друзьями пил чай и слушал, как Маркелл Маркеллыч развивал ему план: через матросов можно провести большую партию муки в Петроград. Послышался робкий и короткий звонок: с таким звонком часто приходил Голофеев, приводя с собой приятелей, таких же, как он, мертвеннолицых, безнадежно вежливых и неумело переодетых. Ефим Сидорыч открыл дверь без спросу. Перед Ефимом Сидорычем стоял комиссар Иван Григорьевич Петров, дальше виднелись красногвардейцы и матросы с револьверами и бомбами. Комиссар не без удовольствия весело-деловитым голосом прочитал постановление пленума Совета, из которого было видно, что Совет признает жилищную площадь, занимаемую великим князем Б., огромной и дорогостоящей для пролетарского государства. Жилищную площадь эту он передает детскому дому, а великого князя переселяет в особняк, принадлежащий гражданину Е. С. Чижову.

— Как же меня выселять? — тихо сказал Ефим Сидорыч. — Меня не следует выселять, и, кроме того, у меня квартиранты!

— Вместе с квартирантами, — ответил комиссар. — Берите подушку и катитесь колбаской вместе с подозрительными вашими квартирантами.

— А мебель? — спросил Ефим Сидорыч.

— Мебель остается у коммуны! — ответил комиссар.

И Ефим Сидорыч взял подушку, одеяло и пошел спать к переплетчику Смирнову, по-прежнему живущему у кладбища. При расставании Маркелл Маркеллыч сочувственно поцеловал его, но в квартиру к себе не пригласил.

— Жизнь подле великого князя наложила на вас из-

вестные обязательства и известные подозрения,— сказал Маркелл Маркеллыч,— а у меня семья и дочь-невеста.

— Я вас понимаю,— ответил Ефим Сидорыч, и он действительно понимал Маркелла Маркеллыча, и ему даже на минуточку стало жаль его.

Глава четвертая

Проснулся Ефим Сидорыч от вони и шипения подгоревшей картошки. В кухне тихо разговаривали женщины. Старуха ворчала: «Надо было покупать дом в волости... И хоть бы отняли за долги!» Запах подгорелой картошки на мгновение даже обрадовал Ефима Сидорыча: он вспомнил начало своей любви к переплетчице. А теперь переплетчица растолстела, тело у нее ползет в стороны, и пахнет от нее нехорошо... Ефим Сидорыч озлился: «Донесли, позавидовали! Весь город завидовал наполеоновской мебели!.. Сколько разговоров было». И разговоры, и сожаления о великом князе, и то, что было жалко этого грузного старика, которого мучат, перетаскивая с места на место, а там, гляди, и судить будут,— все показалось Ефиму Сидорычу вздорным и ненужным. Но он сразу раскаялся в своих мыслях и пошел есть картошку. Картошка была та же самая, которую он ел в особняке, но здесь показалась она ему невкусной и водянистой. Он подумал, что скоро придет переплетчица, которая начнет заигрывать с ним, а мать и тетушка деликатно уйдут. Затем переплетчица засопит, раскроет мокрый рот, похожий на луковицу. Он со злостью посмотрел на мать и крикнул:

— А все ты!.. все перечишь!.. Уходила бы ты от меня скорей.

Мать громко и протяжно заплакала, и тетушка Катерина Петровна, вспомнив хлебá, которыми она себя попрекала, отложила вилку и тоже заплакала. «Нет, напрасно Ефим Сидорыч разговаривал о монархизме!..» Он сплюнул даже от таких мыслей.

На улице Ефим Сидорыч встретил офицера Голофеева. Голофеев шел в ту сторону, где жила невеста Ефима Сидорыча. «Отбивать пошел, обрадовался!» — подумал Ефим Сидорыч и не поклонился Голофееву. Тот сделал такое лицо, как будто пять лет назад знал, что Ефим Сидорыч его предаст, и выпрямил спину... Ефим Сидорыч быстро

прошел в почтовое отделение, попросил бумаги, конверт и трясушейся влажной рукой написал донос в Чека. Опустив письмо в ящик, Ефим Сидорыч ощутил необычайный стыд и томление (вроде того, каким он страдал в Петрограде). Он поспешил написать заявление в исполком, чтобы ему выдали наполеоновскую мебель, как имеющую огромную «духовную» ценность. Ему стало как будто немного легче, и, гуляя по городу, он убеждал себя, что поступил правильно, — Голофееву терять нечего, поднимет восстание, а мертвых и без того хоть отбавляй. И у приятелей, что ходят к нему, тоже небось динамит в карманах. На другой день он пошел за ответом о мебели в исполком. На его длинной записке лежала резолюция — синим, плохо очиленным карандашом: «Прс. гр-на Чижова оств. без последствий». И тут же он услышал об аресте Голофеева, и только тогда, когда узнал подробности ареста, он увидел, что рассказывающий — штабс-капитан Жиленков уже в солдатской шинели и без погон.

— Мебель моя представляет духовную ценность? — спросил он Жиленкова.

Тот подозрительно попятился и немедленно согласился. Ефиму Сидорычу было сильно грустно. Он пошел на обрыв, к пруду. Отсюда была видна Соборная площадь и дворец Строгановых. Во дворце находились уже военные большевистские курсы. Через площадь шла Манечка Епич под руку с каким-то опрятно одетым солдатом. Ефим Сидорыч понял, что верит Манечке и она верит ему, хотя он жених и пожилой и не совсем красивый. И она сразу же покинула кавалера, подошла к Ефиму Сидорычу, нежно пожалала ему руку. Ефим Сидорыч отошел с ней в тень тополя, пожал ей локоток, хотя ему хотелось пожать грудки, а она так и поняла, что он ей сжал груди, потому что она стыдливо сказала шепотом:

— Да что вы, Ефим Сидорыч!

Манечка Епич умела очень искусно и молча сочувствовать людям, и те понимали, что она сочувствует им. Например, Ефим Сидорыч рассказывал ей об отнятой мебели, и она сочувственно добавила то, о чем забыл Ефим Сидорыч:

— Сейчас мебель невозможно вывезти за границу, а ведь придет же время. — И добавление это к мыслям Ефима Сидорыча сильно умилило его. И, кроме того, из разговоров он понял, что она действительно может быть верна, потому что не любит беспокойства.

Ночью Ефим Сидорыч написал письмо исполкому, где доказывал, что великого князя нечего переселять с места на место, а надо его вырвать с корнем, то есть расстрелять, и расстрелять немедленно, ибо в городе организуются шайки офицеров и английских шпионов, и возможен переворот... Писал он искренне: иногда в трогательных местах, где он защищал права бедноты, слезы проступали у него на веках. Он вспомнил свое детство: и корки черного хлеба не было, а по толкучке когда скитался, видел, как там ели требушину за семь копеек порцию, — такой обед за счастье считал; ночевал на барке у пруда... мастера били колодками по рукам... в помещенье нестерпимо воняло мокрой кожей. И теперь он ввергнут в то же положение!.. И великий князь виноват тут тоже отчасти!.. Он хотел подписать своим именем, но раздумал и написал: «От имени пятидесяти рабочих — сапожников и шорников»... И дальше неразборчивые каракули. Ефим Сидорыч сам отнес свое заявление в исполком. На лестнице исполкома опять встретился Жиленков со звездой на солдатской фуражке.

— Дают роту, — сказал он громко Ефиму Сидорычу в лицо. — Доносы на меня не помогают — верят.

И Ефим Сидорыч ответил:

— Да и я верю вам.

Жиленков ехидно погрозил ему пальцем тонким и длинным. Ефим Сидорыч три дня был наполнен ожиданием. Хотя он и не подписал адреса, но ему казалось, что вот-вот придут какие-то важные комиссары и поблагодарят его за превосходные мысли. Лицо его пылало, и он чувствовал сильную жажду. Спал он плохо и на третью ночь бессонницы пытался написать стихи: трехсотлетнее иго должно быть свергнуто, уничтожено! Но стихи не выходили, хотя внутри тела он ощущал трепетания, непохожие на все прежние трепетания; и к себе, и к своей незадачливой жизни он чувствовал возрастающую жалость. Стихи он отнес в газету. Румяный секретарь бегло посмотрел и сказал:

— Тысячи таких есть, — и подал ему номер газеты. Жирным шрифтом газета сообщала, что просьба Ефима Сидорыча о расстреле великого князя исполнена, и приговор приведен в исполнение.

— Но ведь это же я! Я написал пожелание! — крикнул Ефим Сидорыч спокойному секретарю.

Е. С. Чижев, размахивая газетой, пронесся по лестнице.

На крыльце губернаторского дома он сложил газету вчетверо таким образом, чтобы сообщение о расстреле можно было сразу прочесть, аккуратно оправил газету в кармане и подумал о подушке. Но мысль о подушке показалась ему смешной, и он торопливо пошел к своему особняку. Длинноногий красногвардеец в лаковых сапогах стоял у вороха колючей проволоки. Проволокой была обвита уже ограда особняка; телефонные нити были протянуты по елкам; красногвардеец на все это, казалось, смотрел с грустью.

— Назад, — сказал он уныло, — тебе кого?

— Это мой дом и моя мебель, — ответил Ефим Сидорыч, доставая из кармана газету.

Красногвардеец взглянул на газету, зевнул, глаза у него были сонные и голодные, и он неожиданно ласково сказал Ефиму Сидорычу, что здесь был великий князь, — верно, был и позавчера расстрелян, а теперь в этом особняке поселится с секретарями и штабом комиссар Петров.

— Это который настаивал? — спросил Ефим Сидорыч ало радно.

Красногвардеец ответил:

— Не. Брат. Который молчал. Семен Григорыч.

Ефим Сидорыч не поверил красногвардейцу, сел подле дома на камушке. Вскоре приехал на машине комиссар Семен Петров — веселый, плечистый, с охотничьей собакой на коленях. И стража и комендант дома особенно ласково смотрели на рыжую собаку. Красногвардеец-часовой что-то сказал комиссару, тот посмотрел в сторону Ефима Сидорыча, пошел даже к нему с радостным и добрым лицом, но на полдороге вернулся и, посвистывая, ушел в дом. Собака прыгала вокруг него, и даже слышен был ее веселый визг и прыжки в доме. Ефим Сидорыч сказал возмущенно красногвардейцу:

— Я даже дома не прошу, отдайте мне мебель! Я же способствовал уничтожению великого князя, я же им предложил...

Красногвардеец вдруг лениво вскинул ружье на руку.

— А мне, дяденька, надоело на тебя смотреть. Ты вот сидишь, а я в тебя и в сидячего палить буду...

Ефим Сидорыч перекрестился и медленно отошел от своего дома.

В Совете ему сказали, что вопрос о мебели по-прежнему остается открытым. Вечером Ефим Сидорыч пил у Маркелла Маркеллыча чай.

— Я поддерживал эту власть,— воскликнул Ефим Сидорыч,— через все возражения друзей и родных поддерживал. А что получал?

Маркеллу Маркеллычу хотелось говорить; он открыл рот, но Ефим Сидорыч поднес к его лицу чашку с чаем и прокричал:

— Вы даже чай мне из ненависти жидкий налили! Я поступок Жиленкова одобрил. Я расстрел великого князя одобрил...

— Бодро держался, говорят,— задумчиво глядя на чай Ефима Сидорыча, сказал Маркелл Маркеллыч.

— Жиленков — патриот и офицер, а в Красной Армии?.. Какая ему польза?

— Бодро держался при расстреле,— вдруг громко, глядя в лицо Ефиму Сидорычу, сказал адвокат.

Ефим Сидорыч растерянно улыбнулся.

— Бог ему судья.

— Бог ли? — завопил адвокат, и лоб у него стал багровый и потный.

Ефим Сидорыч встал, отодвинул чашку и резко сказал:

— Я виноват, каюсь. Старика убили зря. Но и вам, Маркелл Маркеллыч, вашего крика простить я не могу.

И Ефим Сидорыч ушел и от своей невесты, и от своего будущего тестя и, переходя двор, пустынный, некогда наполненный птицей, зерном и навозом, чувствовал в себе огромный стыд и смятение.

Глава пятая

Ефим Сидорыч часто ходил за справками из новых законов в исполком. Он долго вчитывался в законы, выписывал их себе на листок, а оттуда в заявления о передаче ему мебели. Едва сдав заявление, он вспоминал о том, что на его мебели лежат сапогами красногвардейцы, комиссар удачно стряхивает пепел на шелк его, Ефима Сидорыча, диванов,— и составлял новое заявление. И каждый раз доводы, приводимые им, казались ему все убедительнее и убедительнее. Наступила весна, и лето, и осень; проходили по губернии и области мятежи, восстания и продразверстки; комиссар Петров обзавелся новой машиной, съездил на польскую войну и привез оттуда веселую и высокогрудую жену; жена принесла ему вскорости де-

вочку. Ефим Сидорыч проходил мимо особняка, — там справляли рождение, хохотали и пили водку. Ефим Сидорыч забыл уже, какого цвета шелк на диванах и креслах, и только малиновый сафьян кабинета остался у него в памяти, и то только потому, что исполкомовский сторож вдруг появился в малиновых сафьяновых туфлях. И запах и рисунок кожи были знакомы Ефиму Сидорычу.

— С дивана сорвали, что ли? — спросил он сторожа.

— Не знаю откуда, — ответил сторож, — только мне председатель подарил туфли.

Пришел голод, и во время голода Варвара Петровна впервые в жизни исполнила желание сына — ушла от него. Хоронили ее осенью, могилу копал сам Ефим Сидорыч, а закапывать — вдруг руки ослабели!.. Он взглянул на свои руки: они стали морщинисты до неузнаваемости, и желтая краска сапожного мастерства залила теперь даже тыл ладоней. Ефиму Сидорычу стало жаль не себя, а старости и смерти матери своей, а затем стало жаль и старости Катерины Петровны, тетки, и зачем-то вдруг вспомнился расстрелянный Голофеев и недавно приехавший с войны Жиленков, все такой же подозрительный и напуганный, хотя он теперь заслуженный красный офицер. Жиленков работал по искусству: сооружал городской музей... Ефим Сидорыч, вернувшись с похорон, долго писал (как и десяток раньше, как и десяток позже) донос на дела и безделья комиссара области Семёна Петрова. Сдав донос, он — многие годы уже так — ощущал себя непоколебимо твердым — «правым» (он так и думал — «правым», уже не зная, в чем заключается его правизна: в монархизме ли, в буржуазной ли республике и во власти ли вообще, а может быть, вообще в торжестве злости), и тогда он шел к Маркеллу Маркеллычу. Они уже давно помирились. Манечка Епич была по-прежнему верна Ефиму Сидорычу, — возможно, оттого, что женихов не было. Случился какой-то комиссар — жених, но прошел непонятно-позорный слух про Манечку — и схлынули женихи. Она похудела было, но выправилась быстро и начала опять ждать Ефима Сидорыча. Маркелл Маркеллыч стал правозаступником и в важные минуты любит говорить, обращаясь к судьям: «Ваше пролетарское самосознание должно идти в ритме эпохи. Вот смотрите: Египет...» Жиленков был уже заведующим-хранителем музея и экспертом по отнятым ценностям. Подмигивая и прихихики-

вая, принес он к Ефиму Сидорычу документик, из которого явствовало, что «наполеоновскую» мебель Е. С. Чижов купил на трудовые свои деньги, ценности она не представляет, и люди, сведущие в искусстве, не возражали бы против возврата оной «наполеоновской» якобы мебели ее владельцу. Маркелл Маркеллыч добыл такую же бумажку от профсоюза, а позже, когда Ефим Сидорыч поступил в кооперацию, и кооперация подтвердила ходатайства и людей искусства, и людей профсоюзной работы. Ефим Сидорыч смотрел на жизнь комиссара С. Г. Петрова — невеселая у него была жизнь! Комиссар, видимо, скучал: много пил, поигрывал в карты и пел по утрам военные песни. Голос у него становился все хриплее и хриплее, и собой комиссар грузнел, и не было в нем уже той прыткости, когда он, захлопнув калитку, бежал к жене. Да и жена заметно постарела: щеки у нее обвисли, и она начала носить капоты и перестала вспоминать о Польше...

И вот однажды произошло так, что комиссар по пьяному делу обругал ночью рабочих, работающих на прокладке водопровода. Ефим Сидорыч донес. Раньше, несколько лет назад, он доносил только на то, что он точно знал о комиссаре, а теперь он писал о любом слухе! Уважение и страх к власти исчезали; он видел, что эту власть можно обмануть так же, как он обманывал раньше учреждения или торговцев. Комиссара вызвали в партийный суд (неизвестно, из-за рабочих ли, а болтали — по оппозиционному делу), и отправился комиссар на север! Уехал он бесславно, и секретари и многие собутыльники покинули его. Исполкомовский сторож в истертых сафьяновых туфлях пришел провожать комиссара Петрова. Особняк пустовал два дня, а на третий к железной ограде его подъехали две подводы, — Ефим Сидорыч и его невеста сидели на них! Исполкомовский чиновник открыл двери: «Да, конечно, обивку на мебели необходимо переменить, но особенно большой реставрации от мебели не требуется». Жиленков поздравил молча Ефима Сидорыча и молча же стоял он у загса, куда пошли записать свою удачу Ефим С. Чижов и М. Епич. Затем молодожены, пригласив на свадьбу к себе, в волость, выехали на большую дорогу, за город. Маркелл Маркеллыч со слезами смотрел им вслед и, когда возы и таратайка с молодыми исчезли из глаз, обернулся к Жиленкову.

— Стареем,— сказал Маркелл Маркеллыч со вздохом.

Жиленков посмотрел на него со злостью и с подозрением, а затем испуганно и любезно улыбнулся.

Утром Ефим Сидорыч проснулся раньше всех. Он раскрыл окно. Перед ним была волостная площадь, и громадная желтая вывеска кооператива, в котором он служил, сияла росой и веселым солнцем. Он обернулся: пышная, украшенная бронзой, завитушками, заморским деревом, шелестя шелками и шнурами, мебель заполняла все комнаты. За перегородкой спала верная жена — ее ровное дыхание было солидно и хозяйственно, она имела право так спать потому, что честно, через многие испытания пронесла свою верность. Ефим Сидорыч достал из шкафчика малиновое варенье. На крыльце Катерина Петровна ставила самовар. Ефим Сидорыч пил чай — стакап за стаканом — и смотрел на великолепную дорогу, ведущую к волости. Темная пыль была похожа на шелк, который так необходим для мебели и для счастья! Сердце Ефима Сидорыча было наполнено спокойным торжественным ожиданием. За окном, шепелявя, пело дерево, и птицы молча носились среди ветвей, неслышно перебирая теплыми и пушистыми крыльями.

КРЕСТ ВЛАГОЧЕСТИЯ



Ранним летом 1928 года в городе Торше застрелился главный бухгалтер Торшевской конторы треста «Лесо-Запад», Платон Александрович Попов.

В квартире бухгалтера нашли записку: «Совесь замучила, жить больше не могу. Растратил много, а в чем заключается растрата, не пытайтесь искать, так как я самый лучший бухгалтер Союза ССР».

Присутствующие рассмеялись, а затем переглянулись тревожно: квартира убрана отличной мебелью, на столе тикает хронометр и лежит золотой портсигар семьдесят второй пробы. А дальше выяснилось, что Платон Попов часто ездил в Минск, останавливался в лучшей гостинице и на завтрак заказывал рябчиков.

Все минские проститутки отлично знали Платошу и с нежностью хранили его ценные подарки.

На почте докопались, что кому-то и куда-то далеко Платон Попов переводил большие суммы. Торшевскую контору треста «Лесо-Запад» потрясла тревога.

Заведующий конторой Филимонов приказал открыть книги. Три дня, не покидая столов, смотрели в книги. Курьеры неумоимо разносили густой и едкий чай, а папиросный дым был еще гуще чая. И с трепетом Филимонов сообщил в Минск, что растрату обнаружить не удалось.

Из Минска примчались два бухгалтера. Четыре дня рылись они в книгах — и Минск тревожно сообщил главной конторе в Москву, что где-то есть растрата, а где она и в чем заключается — неизвестно.

Приехали еще бухгалтера — пьяные, в роговых очках. Неделю сидели они над книгами — и книги безмолвствовали. Торша волновалась.

У конторы треста толпились почтенные люди.

Неизвестный почитатель обложил могилу Платона Попова дерном, и тогда весь город заговорил о Попове, и весь город стал с восхищением и ужасом вспоминать жизнь и совестливые глаза Попова.

Бухгалтера из синдиката уезжали на извозчиках, пьяные и без роговых очков. И тогда заговорили, что в Торшу приедет Михаил Яковлевич Самойлов, профессор и инструктор бухгалтерии из ВСНХ.

Перу инструктора принадлежало много печатных трудов, он преподавал бухгалтерию в трех высших учебных заведениях Москвы... «Он умрет, но докопается до правды!» — боязливо прислушивался к таким разговорам завконторой Филимонов.

Завконторой Филимонов был смущен так же, как и шесть лесопильных заводов, пятнадцать сплавных контор, три тысячи рабочих и множество служащих: главный бухгалтер мертв, и на чеки конторы смотрят недоверчиво и банки и даже частники... Завконторой Филимонов стал замечать, что даже руки у него седеют. Наконец в Торшу приехал Самойлов.

Вокзал был хмур, и три носильщика, затейливо раскидывая тощие ноги, подбежали к Самойлову.

У дверей стоял сконфуженно потирающий руки Филимонов. Городской сумасшедший Мотя в пожарной каске и с выцветшей андреевской лентой через плечо отдал Самойлову честь.

— Бывают, бывают и здесь загадки! — весело сказал Самойлов и крепко пожал руку Филимонову.

Самойлов явился в главную контору, потребовал книги, карточки, счета... Он поймет, он разберется!..

На стройных линиях раскрытых книг и на аккуратных стопочках ордеров пышно сияло электричество. Самойлов выпил глоток чаю, глаза его засияли, — он помчался по цифрам. Несколько раз звякнули счеты.

Синий и красный карандаш остановился в воздухе; много голов оторвались от столов и с трепетом смотрели на этот карандаш. И Самойлов сказал самодовольно:

— Но каждая загадка разгадывается рано или поздно.

Среди уймы цифр он поймал за хвост одну в фальши-

вых перьях, и тотчас же цифры задрожали, покатились, — черная метель воцарилась на страницах книг.

— Для завода номер четыре... По фальшивым чекам! — сказал Самойлов.

— Вот где растрата! Найдите мне чеки завода номер четыре!..

— Завода номер четыре!.. чеки!..

— Чеки!.. Завода номер четыре! Слушайте!..

Трепет радости охватил контору.

— Не желаете ли закусить? — сказал Филимонов, а Самойлов ответил ему, что закусывать он не будет, лучше пойдет отдохнуть, а пока необходимо найти чековую книжку, из которой выписывались чеки для завода № 4. Самойлов шел по главной улице, он подошел к мосту через Днепр — деревянному и звонкому. Милиционер отдал честь. Самойлов зашел в столовку выпить квасу, барышня спросила его почтительно:

— Что желаете потребовать, гражданин Самойлов?

Мальчишки смотрели на него с обожанием. На углу какой-то измятый человек подержал его за локоть и шепотом сказал:

— Для полноты картины и уничтожения тайны необходимо вам поговорить с другом покойного, хранителем музея, товарищем Безбородко.

Человечек испуганно и вдохновенно скрылся, а Самойлов, подумав, что на заводские чеки надеяться хорошо, но не плохо бы также узнать кое-что и стороной, направился к хранителю краеведческого музея, товарищу Безбородко.

Музей находился в недостроенном соборе, рядом со зданиями бывшего кадетского корпуса.

В переулках подле корпуса жили проститутки, раньше они обслуживали кадет, жизнь была им легкая, сытая, всю революцию ждали они кадетского возвращения, а тут, оказалось, подошла и старость, и платья поизносились и стали старомодны. По привычке ходят они с тоской по переулку, и, не ожидая ответа, многие из них спросили Самойлова:

— А ну как, гражданин?

Собор стоял теплый, высокий, а вечер был фиолетовый.

Безбородко встретил Самойлова в валенках и в тулупе, на стенах висели зеленые диаграммы и кустарные пла-

тя, которые продаются в изобилии на торшевских базарах, куски синего льна походили на лед.

— Холодно! — сказал дискантом Безбородко, и Самойлов действительно почувствовал, как озноб охватывает его. — Десять лет собор промерзал, вот и промерз. Что же касается Платона Александровича, в искусстве только вы его победить сможете, об вас весь город думает. Я об вас уже Екатерине Аркадьевне сказал, и Екатерина Аркадьевна об вас думает...

А дальше Безбородко стал показывать сорта льна, которые любил покойный Попов. Самойлов вышел из музея в смятении. Измятый человек стоял уже у порога; радостно захихикав, человечек сказал:

— Я говорил Ефиму Трофимычу — выследит, обнаружит. Идите теперь к Екатерине Аркадьевне, она вас ждет. Нити, если есть — у нее...

— Зачем мне идти? Я и так обнаружу.

— Так вам не обнаружить. Пойдемте.

И Самойлов пошел действительно к Екатерине Аркадьевне, владелице «Салона дамских мод». Ее уважал весь город, — и она достойна была этого уважения, моды ее несколько не хуже были московских. Она была и стройна и в то же время слегка полна, умела много и хорошо говорить и вовремя прослезиться.

— Кажется, он любил меня, — сказала она Самойлову со вздохом, — но я не понимала его. Я всю жизнь ждала романтического человека, то есть простоту, соединенную с необыкновенным. А я пропустила мимо себя Попова.

Самойлов неизвестно чему растрогался. Екатерина Аркадьевна угощала его чаем и рассказала простую свою жизнь. Была она некогда богата и все прожила, вот только и хватило мужества сохранить «Крест благочестия», мальтийский орден, принадлежавший некогда прадеду.

— Говорят, на нем бриллианты! — Она раскрыла ящик письменного стола, — среди английских булавок, стеклярусов и стареньких шелковых лент Самойлов увидел крест: алмазики жалко сияли на нем, грош цена этому кресту.

Но Самойлов почувствовал содрогание жалости и любви. Он не спросил, почему Екатерина Аркадьевна хранит этот крест, он только пожал ей руку, она тоже пожалала, сказала ему:

— А вы герой!..

Она смотрела ему куда-то выше лба. Самойлов хотел сказать о том, как много ждет он от этой встречи, как много она смогла бы открыть того в характере покойного бухгалтера Попова, что делало бухгалтера и страшным и смешным. А было ясно, что она оценила в бухгалтере то, что он купил ей «Крест благочестия» с его ничтожным блеском романтики, который затемнил ей романтику сегодняшнего дня и душу мрачного и таинственного бухгалтера П. Попова. Вот почему Самойлов смолчал и попросил только положить еще варенья на блюдечко.

— Вышло варенье... — ответила Екатерина Аркадьевна и ласково улыбнулась.

С завода № 4 тем временем доставили оправдательные документы к чекам. Филимонов, бухгалтера и кассиры окружили стол Самойлова. Он довольными и ласковыми глазами оглядел всех и сказал поучительно:

— Документы были отосланы на завод, потому что они фальшивы. Ваша ли это подпись, товарищ Филимонов?

И Филимонов ответил с горьким торжеством:

— Не моя!

И многие завистливо вздохнули. И, вынимая один за другим документы, Самойлов спрашивал, и Филимонов с горечью отвечал:

— Не моя!

Пачка росла, растрата приближалась к сотне тысяч, голос у Филимонова и падал и возвышался. И когда взглянули на последний ордер и Филимонов ответил изнеможенно: «И эта не моя!» — кто-то прошептал:

— А там еще что-то приписано!

И внизу, под подписью кассира, они прочли слова Попова:

«Ордера-то действительно фальшивые, потому что настоящие ордера хранятся в столе у Филимонова, в левом ящике».

Филимонов не имел сил открыть ящика, его открыл младший кассир. Ордера завода № 4 за подписью Филимонова лежали там. Филимонов с гордостью и стыдом обернулся к Самойлову:

— И кроме этих ордеров, все в порядке?

Самойлов ответил тихо:

— В порядке.

И каменным голосом Филимонов сказал:

— Конец нам, а вы свободны, товарищ инструктор!
И кассир, выдавая Самойлову проездные, сказал с презрением:

— Теперь вы свободны! Великий был человек П. Попов, и таковым он уйдет в пространство!..— И с таким же презрением подал ему шляпу швейцар.

Самойлов направился к дому Екатерины Аркадьевны. Белая тень стояла у окна, и ученица, открывшая ему дверь, сказала сухо:

— Они уехали, и неизвестно когда будут!

Он шел мимо музея, огонек блистал там. Он остановился на пороге. Безбородко осматривал образцы льнов. Он, не обернувшись, сказал:

— Проходите мимо, музей закрыт!

В переулках у кадетского корпуса проститутки скользили мимо Самойлова молча. Ни один носильщик не вышел на платформу.

Он с сухими слезами волок свой чемодан. Сумасшедший Мотя отвернулся.

У Самойлова даже не спросили билета, и длинный фиолетовый поезд, весь в запахах болот и лесов, безмолвно остановился против него.

КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОДЧИК

М. Д. ЛОБАНОВ



1

Кожевенный заводчик Михаил Денисович Лобанов владел многими предприятиями в Москве и других городах. Он имел длинный и низкий дом с таким огромным количеством комнат, что в нем постоянно путались, и все же супруга Михаила Денисовича, которую он прозвал Софьей Премудрой, всегда жаловалась, что в доме не хватает одной комнаты. У него было много коммерческих связей, большой и заслуженный кредит, но он как-то мало верил в мощь своего дела, хотя для сомнений не было и не могло быть причин. С женой своей он жил дружно; поссорился он с ней только однажды, когда жена, обладавшая просторными хрустальными глазами, в которых неизменно отражались и блистали газетные истины, прочитав статью какого-то именитого профессора, доказывавшего, что России пора выйти на американский рынок, воодушевилась этой статьей и потребовала, чтобы Лобанов немедленно вышел на американский рынок, и так как они давно уже собирались за границу, то чтобы внес на иностранные предприятия соответствующие суммы. Лобанов отказался вложить деньги в иностранные дела, но, чтобы не продолжать ссоры, он предложил жене обоюдоудобное решение спора: он вносит определенную сумму на текущий счет в один из американских банков, сумму, которая как бы показывала возможности его участия в аме-

риканских предприятиях. Жена согласилась. Немедленно явился господин Ристер, представитель американского банка, немолодой уже человек, с пухлыми и короткими седыми бровями, чем-то похожими на пилюли. Господин Ристер оказался очень услужливым и очень осведомленным человеком с плавной речью, доказывавшей, что спасение людей только в том, чтобы вложить в «Экспресс-банк» соответствующие их общественному положению суммы, и Лобанов не без удовольствия согласился участвовать в этом спасении. Все же крупной суммой он не рискнул!

Его постоянно грызла забота, он даже боялся хворать, потому что тогда в доме окончательно уже невозможно было ни в чем разобраться, и становилась понятной страшная для всех домашних истина, что в кожевенном деле никто, кроме Михаила Денисовича, ничего не понимает и боится даже понять. И ему было тревожно и боязно лежать в кровати и думать, что ж произойдет без него с заводами и куда потекут деньги, и этих дум даже не облегчала мысль о радостях работы, о том, как на склады привозили растрепанные тюки грязных и дурно пахнущих кож, на которых еще лежали куски земли Монголии, Туркестана или Урала, земель, куда он все собирался съездить, но съездить туда все не хватало времени. И вот эти грязные и противные кожи быстро превращаются в тяжелые и сияющие, как бронза, куски его славы, и марка его заводов гремит на полмира!..

Иногда, чувствуя, как невыносимо тяжело заглушать в себе заботы, Лобанов запивал, и тогда его тусклое лицо цвета пропускной бумаги с нездоровым румянцем и отвислыми щеками, его сильно худое и длинное тело, за которое приказчики называли его подсвечником, наполнялось ясностью. Софья Премудрая, блистая хрустальными глазами и помахивая пальчиком, — во всей ее фигуре запоминался этот указательный опрятный пальчик, похожий на пшеничный колос, — приходила его укорять. Она скорбно смотрела на пачку писем, лежавших без ответа, на сор и грязь, которые почему-то только сейчас замечала!.. Но водку он переносил с трудом, а самое трудное было опохмеляться. Он долго смотрел на водку, которую, чтобы выпить залпом, он наливал в стакан, и, только заслышав осторожные шаги жены, вспомнив ее восторженные хрустальные глаза с отблесками газетных истин, он зажимал пальцами нос, чтобы не чувствовать запаха, и

глотал долго, пока опять все не становилось для него ясным и простым. Тогда он сел у окна своей рабочей каморки, и ему опять казалось странным, что огромный и низкий дом, с бесконечным количеством безвкусно обставленных комнат, могут занимать люди, почти неизвестные ему, хозяину, а он живет и работает в самой маленькой комнатухе и редко ему приходит желание выйти в так называемые «парадные». Вот дети, дочь и сын, неизвестно зачем и чему учащиеся, верхом въезжают в ворота. У них плохая посадка, но дворник, собиравший скверной метлой в железный совок замечательного цвета листья с осенних лип, не понимая того, что эти люди сидят очень некрасиво и тускло, кланяется им приниженно, низко... Дети проскочили через ворота, а дворник продолжал собирать необыкновенно прекрасные листья, думая, как и все, что листья эти — мусор и чепуха.

2

В революцию Лобанов потерял все: заводы, дом, жену и детей. Но через некоторое время, которому даже трудно дать сроки, потому что у одних людей страдание живет год, а у других — месяц или день, Лобанов начал разбираться в том, что произошло. Дольше всего и больше всего мешала ему в этом разборе мысль о покойной жене Софье Премудрой с ее маленьким отставленным пальчиком. Сына его убили на фронте, а дочь уехала с летчиком на Украину и жила там, по-видимому, столь счастливо, что не интересовалась отцом. Его давно выселили из длинного дома, с которым он расставался скорбно и от которого долго не мог отвыкнуть, он все путал переулки и все выходил на Пятницкую. Давно заняли его заводы и захватили его сейф и его знаменитую чековую книжку «Экспресс-банка», из-за которой произошла его единственная ссора с женой. Понемногу Лобанов успокоился. Один из его прежних приказчиков рекомендовал его, и он поступил на службу по своей прежней специальности в соответствующий трест. Он женился на вдове Марии Ивановне, некогда ухаживавшей за покойной его женой Софьей Премудрой. Мария Ивановна была женщина простая, с обширной спиной, за которую все ее называли грузчиком, с ней не надо было спорить о газетных исти-

нах, она имела одну истину, к которой нетрудно было приспособиться: человек должен в первую очередь быть сытым, одетым, надо, чтобы ему было тепло, а обо всем остальном лучше не думать. Лобанов привык и даже полюбил коммунальную квартиру с ее постоянными ссорами и с возможностью наблюдать, как растут дети, как меняются взрослые и как люди постепенно овладевают искусством собственного достоинства, тем искусством, которое столь свойственно людям нашей страны.

Лобанов быстро увлекся своим новым делом и быстро превратился в крупного специалиста. Он много бывал на различных заседаниях, писал доклады, высказывал свои соображения, и он стал быстро замечать, что теперь отменено многое, что раньше мешало его работе, и в первую очередь отменены деньги, ибо то жалованье, которого ему хватало только на одежду и тепло, — разве можно считать деньгами, когда прежде, например, он игрушки мог детям своим дарить вроде железной дороги по восьми копейкам с рельсами и со стрелками и с настоящим паровозом. Он понял, насколько путало его мысли его прежнее богатство, которым к тому же пользовались другие люди, его окружавшие, и пользовались неразумно, и вот это-то неразумие, как он понял теперь, больше всего и злило и заботило его. Поэтому-то он раньше запивал, и поэтому-то часто срывались те дела, которые он намеревался исполнить в ближайшие сроки. Теперь он постепенно отвык от водки и, случись захворать, мог хворать уже спокойно и не сопровождать свою болезнь выпивками и вздохами. Он лежал. В комнате было тихо. Он нашел покой. От всего его бывшего богатства и великолепия уцелели чепелые бамбуковые ширмы, за которыми и спит его жена Мария Ивановна. Цапли с длинными-длинными шеями сторожат ее сон, цапли на розовом шелке, проданные ему когда-то как древняя японская работа и на которых он недавно нашел немецкую марку, и то, что раньше разозлило бы его, теперь только насмешило... В коридоре играют дети, и на улице тоже играют дети, а под окном, как только распахнешь створку, дворник жалуется, что рождаются везде и сплошь двойни, и у него был такой обиженный голос, как будто эти двойни рождаются у него. В окно Лобанов видел небо, похожее на дерево, долго

лежавшее в воде. Ему думалось, что в тресте плохо ли, хорошо ли, но замещают его и не сетуют на его болезни, и забавно было подумать, насколько там, в прежней жизни, боялись его болезни и насколько теперь молодые специалисты даже рады его заболеваниям и рады попробовать без него сами вести сложное и ответственное дело.

Одно только несколько смущало Лобанова: он теперь, как и раньше, считал самым прекрасным достижением человека возможность передвигаться и видеть океаны, неизвестные острова, людей, леса и степи, но путешествовать, — что он желал сделать давно и чего, как ему думалось, по недостатку времени он не успевал сделать, — он и теперь не мог. Но и эта смущавшая его мысль получила внезапно свое разрешение: ему сказали, что трест желал бы направить его, Лобанова, в Париж для переговоров с французскими фирмами, которые хотели заказать на огромную сумму партию телячьих шкур, только что тогда входивших в моду. Из шкур этих выделывали манто и сумочки для парижских дам, а значит, и для дам всего так называемого цивилизованного мира. Лобанов, выслушав и согласившись на предложение, впервые после многих лет подошел к зеркалу в передней треста, где он мог увидеть себя во весь рост (дома он видел себя, только когда брился, и видел только свою бороду и свои несколько выпученные глаза), и здесь, разглядывая себя, он должен был признать, что он помолодел и кожа его с нездоровым румянцем, раньше похожая на пропускную бумагу, разгладилась и посвежела.

3

В Париже его, как и всех приезжих, знакомые повезли на площадь Звезды, где лежит прах Неизвестного солдата и куда двенадцать улиц непрерывно вливают двенадцать потоков автомобилей. Неподвижными показались ему эти двенадцать улиц, все странно похожие друг на друга, и неподвижно катились в запахе бензина похожие друг на друга автомобили. Улицы эти напомнили ему лица предпринимателей, которых он встретил немедленно после приезда и с сознанием превосходства над которыми он разговаривал сегодня о кожах и торговле. Он чувствовал в их лицах то беспокойство, которое владело

им раньше, и он понимал, что эти люди так же, как и он раньше, мало видят жизнь и мало ее, хотя бы плотски, воспринимают. Все они обладают отвратительным пищеварением, глянцевиные лица их старательно выбриты и напудрены, духовно они замкнуты и одиноки. Лобанов знал очень мало истин, но те, которые он знал, он знал теперь твердо, он мог твердо и уверенно наслаждаться своим знанием, а они знали еще меньше его...

Он купил раскрашенную открытку с могилой Неизвестного и решил послать открытку жене. И на открытке неподвижно и странно торчала толпа раскрашенных автомобилей, и Триумфальная арка походила на подкову. Лобанов распроцался со знакомыми, несколько удивленными тем, что он не высказал удивления и восторга перед площадью Звезды, и зашел в кафе. Он хотел было купить галстуки, так как все сослуживцы в Москве просили его привезти возможно больше парижских галстуков, но в витринах, мимо которых он проходил, лежали такие неприятные и пестрые ткани, что ему казалось странным и смешным, что в Москве можно было бы надеть такие пестрые и безвкусные тряпки на шею. И в кафе многое показалось ему смешным и странным, и он с удовольствием вспомнил, что Мария Ивановна ничего из Парижа себе привезти ему не заказала, да и вообще Парижа для нее не существовало, а Михаил Денисович в ее представлении уехал в какую-то длительную командировку чуть дальше Волги. Лобанов выпил стакан плохого и крепкого кофе, от которого он давно отвык, и решил, что галстуки надо купить в магазинах, расположенных где-нибудь на окраине. Он встал, чтобы спуститься в подземную дорогу, но тут впереди себя, неподалеку от Оперы, он увидел здание с вывеской «Экспресс-банк».

Сначала ему стало неприятно, но затем он развеселился. Он вспомнил смешного господина Ристера со странными бровями, похожими на пилюли в облатках, он вспомнил, как у него ножеподобно разглажены были брюки, как он тогда гордился своей Америкой. Ему захотелось узнать: жив ли этот господин Ристер и узнает ли он своего бывшего клиента. Он зашел. Ему немедленно и чрезвычайно любезно сообщили, что Ристер здоров, благоденствует, получил большой пост, и, если угодно, он мо-

жет принять господина Лобанова через три минуты. И точно через три минуты его попросили пройти и любезнейше раскрыли перед ним дверь. Господин Ристер принял его с вежливостью, но уже более сдержанной и более достойной, чем вежливость служащих, встретивших Лобанова внизу. Забавные брови Ристера теперь уже совершенно походили на пилулы в облатках, причем, если можно так сравнить, в облатках, порядком заплесневевших от времени и невнимания. Одет он был теперь небрежно, в стандартный американский костюм, которыми так гордятся американцы, но он еще более гордился своей заокеанской страной, своим благополучием и тем, что ни черта не понимает, что происходит в России, и не обязан понимать. Господин Ристер сразу же сказал:

— Вот видите, господин Лобанов, как хорошо, что вы послушались своей жены и положили деньги в наш банк.

Лобанову неприятно было сознавать, что американец переменит тон и разговор о деньгах, как только узнает, что клиент его советский подданный, и Лобанов сказал по возможности проще:

— Что же хорошего — все равно пропали.

И тогда Ристер сказал то, что решил сказать сразу же, когда узнал, кто к нему пришел:

— Если бы даже на земле произошел потоп, то и тогда ваши деньги остались бы у нас целы. Правда, я знаю, у вас конфискованы документы и, может быть, даже у вас теперь и фамилия иная, но я знаю и помню ваше лицо, а этого достаточно, чтобы вы могли хоть сегодня же получить лежащие на вашем текущем счету семьдесят пять тысяч долларов.

Он с удовольствием осмотрел обстановку кабинета и повторил:

— Да, семьдесят пять тысяч долларов с соответствующими процентами.

4

— Семьдесят пять тысяч долларов?

— Да.

Господин Ристер изумился, что Лобанов даже не знает, сколько у него лежит на текущем счету, но незнание это он приписал тем душевным волнениям, которые пережил и теперь переживает Лобанов. Господин Ристер почувств-

вовал почтенье к тем воображаемым заплатам, которыми был покрыт костюм Лобанова. Ристер взволнованно прошелся по длинному и узкому кабинету, обставленному той широкой и неудобной мебелью, которая так характерна для всех больших предприятий и банков и про которую все знают, что она и некрасива и неудобна, но которой все-таки продолжают обставлять. Ристер остался со своим мнением и впечатлением даже и тогда, когда Лобанов, как-то вкось оправив и без того удобно сидевший на нем пиджак, сказал, что он зайдет в банк на днях.

Лобанов сидел в метро скучный и усталый. Мир уже не казался ему теперь таким ясным и простым, каким он был недавно, он уже разветвлялся на несколько ручейков, и каждый ручеек медленно начинал шириться, и Лобанов вспомнил лица предпринимателей, которых он должен был встретить сегодня вечером, и лица эти, подумалось ему, конечно, более человечны и менее отчужденны. Усталость и духота метро овладевали им, мир же от этого не уменьшался в объеме, но как-то болезненно уточнялся. Мир опять наполнялся заботами и теми разговорами, которые Лобанов вел с предпринимателями, которым он мог выгодно продать кожи, но которым теперь не продаст, потому что он не сможет вести переговоров с прежней легкостью, а главное, с презрением, чем, собственно, он и поразил предпринимателей. Ему казалось, что он должен прекратить бессмысленное повторение: «семьдесят пять тысяч, семьдесят пять тысяч», хотя он ничего и не повторял, а все время думал об ином, главным образом о покупателях телячьих шкур. У входа в отель он остановился, и ему пришла забавная мысль, что он может потребовать сейчас на семьдесят пять тысяч долларов все, что бы ни пожелал, а что он может пожелать, он и сам не знал!.. Он уже старый и достаточно утомленный человек, а стоит, словно мальчишка, на улице и гадает, что же он может потребовать на семьдесят пять тысяч долларов. Ему стало неловко и стыдно.

Улица шла мимо него, разношерстная и развязная: люди целовались и плакали,— от счастья или несчастья, и никто на них не обращал внимания или притворялись, что не обращают, потому что почти все люди в этом городе постоянно и каждый день твердили себе: «Мы в Па-

риже», — и постоянно им казалось или старалось казаться, что они все иные, чем они есть на самом деле. И Лобанов подумал, что вот он стоит на улице и размышляет над собой только потому, что он в Париже, а в Москве бы он так никогда не остановился.

Он вошел в свой номер, оклеенный невероятно яркими французскими обоями канареечного цвета с лиловыми пятнами. Но и в номере ему опять подумалось, что он может купить все, что хочет, и, так как легкое, хотя и тревожное удушье мгновениями охватывало его, он решил, что легче всего отвязаться от этой мысли, если показать что-нибудь. Лакей с втянутой верхней губой, настолько, что нижняя совсем подходила к носу, вошел шумно. Лобанов стоял, долго раздумывая. Лакей привык ко всему, он стоял, наклонив голову, рассматривая сапоги Лобанова, которые тот все собирался почистить с того часу, как переехал пограничную станцию, и которые все еще были не чищены. Он попросил наконец воды. Лобанов вынул открытку с могилой Неизвестного. Лакей принес ему воду. Лобанов прислонил открытку к стакану с водой, и ему почему-то подумалось, что с вещами теперь надо обращаться осторожнее. Он скинул сапоги. Удушье, сладкое и легкое, опять пронеслось по его телу, он прилег, как был, в платье на кровать. Неподвижно и косо отражалась в воде стакана Триумфальная арка, и неподвижны и неправдоподобны были раскрашенные автомобили. Лобанов прислушался, и вот что встревожило его: он уже не слышал осторожного шипения парижских улиц, точно город весь шел в калошах. Он подумал: не подойти ли ему к окну, но внезапно он понял, почему и что его особенно беспокоило в этот вечер: теперь опять нельзя будет хворать! Но как только он это подумал, ему сразу же стало ясно одно: он не сможет остаться здесь, за границей, вдали от родины и от теперешней своей работы и еще другое — ведь трудится-то он теперь гораздо больше и с большей любовью, чем прежде, чем в прежней жизни. И, наконец, как бы он ни старался мысленно уменьшить и унижить значимость производимого им сейчас труда, дабы найти этим умалением оправдание своей прежней жизни, но оправдания ей не было и не могло быть! И от этой охватившей его ясности и от уже принятого им внутренне решения вернуться скорей домой ему стало легко, и он глубоко и свободно вздохнул, и то-

гда вдруг почувствовал остренький и хрустальный, всё расширяющийся холодок у сердца.

Он обрадовался этому холодку. Он лег и вытянулся во весь рост. С полным удовлетворением он вдохнул в себя воздух и протянул руку за стаканом. Нестерпимая жажда овладела им, он задел за что-то рукой, что показалось ему чужим. Ему все вдруг стало просто и ясно, словно бы прорвало плотину, и его понесло, высоко и легко вздымая...

От его последнего в жизни движения вращательно колыхнулась вода в стакане, и поплыли вокруг арки, автомобили, приобретая теперь истинный необходимый им цвет, и сама Триумфальная арка тоже поплыла, постепенно линия... Официальная врачебная наука, представленная стареньким и подагрическим доктором отеля, признала, «что советский гражданин М. Д. Лобанов умер от так называемого разрыва сердца».

1930

Б. М. МАНИКОВ И ЕГО РАБОТНИК ГРИША



I

Встрече Бориса Митрофановича Маникова с его бывшим работником Гришей предшествовали многие размышления. Размышления эти особенно остры стали с того дня, когда он однажды, идя по Москве, подумал, что люди, населяющие сейчас Москву, для него существуют, а он для них нет. Может быть, они замечают его тело, которое говорит, питается, спит и которое они иногда могут даже назвать Борисом Митрофановичем Маниковым, но понять его или даже попытаться понять они не могут. И он ощутил, проходя по этим знакомым с детства улицам, что улицы вот уже десять или пятнадцать лет как заселены иным народом и от прежнего города остались только здания: так же мало меняется посуда, когда в нее наливают разноцветные жидкости... Борису Митрофановичу было уже свыше шестидесяти лет; сухой и жилистый, он походил на гребенку с поломанными зубцами, громадные и прозрачные уши делали его лицо внимательным, приглядывающимся даже каким-то, а на самом деле он был рассеян и видел и слышал очень мало. Он жил за городом, в подмосковной деревне, вместе с сестрой своей Натальей Митрофановной с востреньким лицом и забытыми от юности черными бровями, и хотя она совсем стара, намного старше Бориса Митрофановича, часто прихварывала, любила знахарок и бабок, но по-прежнему в ней было

много властолюбия, по-прежнему она любила думать и была уверена, что в теперешней жизни к богатству и славе все же можно найти, если поискать внимательно, ловкую лазейку и что ей еще не поздно найти эту лазейку.

Прежде, в прежней знакомой Москве, Борис Митрофанович Маников содержал «семейные бани» недалеко от Арбата, в одном из переулков. Дело это приносило большой доход и почет, да и отец передал ему это дело в исправности и без долгов. Борис Митрофанович выгодно женился, выгодно и быстро выдал сестру за торговца мебелью, почтенного и богатого человека. Этот почтенный человек и во времена нэпа лавировал вначале весьма искусно, но времена уже были не те, и он умер, говорили, от водки, но, надо думать, больше от огорчения, что не может угнаться за более молодыми и беззаботными. Имел этот торговец и зять Бориса Митрофановича забавную семейную тайну, которая и переехала даже с Борисом Митрофановичем в подмосковную деревню: как-то еще до революции приобрел торговец редчайшую кровать с редчайшими четырьмя миниатюрами по углам, а затем так ее ловко покрасил, так приbedнил, что десятки опытейших финансовых инспекторов, много раз описывавших его имущество, на эту кровать не обращали внимания, а один даже спросил презрительно: «И зачем вы такую дрянь держите?» И сам торговец смеялся, и жена его Наталья Митрофановна смеялась, и когда-то смеялся и Борис Митрофанович.

Неподалеку от улочки, на которой они жили, протекала под мохнатым обрывом Москва-река, напротив стояла каменная церковь, мимо, в дачные местности, проносились автобусы, а если взять от улочки влево, то сразу разворачивались лиловые картофельные поля, и когда поднимался туман или метель, то не видно было Москвы, ее дыма и света, и казалось, что они живут далеко в провинции. Наталья Митрофановна, поглядывая на эти поля, любила упрекать Бориса Митрофановича в бездеятельности, а он хлеб свой действительно добывал с большим трудом, перепродавая различную чепуховину на толчке, с лицом и взором аристократа, а больше всего он любил сидеть у окна и маленькими ножницами вырезать коньков из газетной бумаги, а затем, подрисовав им красным карандашом глаза и брови, уходил гулять и там незамет-

но разбрасывал этих коньков по дороге или по берегу Москвы-реки.

Весной тысяча девятьсот двадцать девятого года сидел, как всегда, Борис Митрофанович у окна и вырезал своих коньков. Конек за этот день был уже десятый по счету, когда он увидел подле палисадника человечка в стезеном картузе, с коротенькой ищущей походкой. Сестра сразу же догадалась, у кого может быть такая походка, и сразу же скрывающе заворошилась в спальне, и Борис Митрофанович отложил ножницы.

II

Борис Митрофанович вначале подумал то же, что подумала и его сестра: это новый, назначенный на место прежнего, видимо, непригодного, фининспектора, потому что тот, прежний, с белокурым чубом, похожим на крендель, даже сам любил говорить: «Возможно, что, и учитывая вас, ошибаюсь я, граждане». Но прежде чем Борис Митрофанович успел сложить свои мысли в одну фразу с тем, чтобы их передать сестре, он с острой неприязнью вспомнил длинную и волосатую шею человека, стоящего подле палисадника. И еще больше неприятно ему было вспомнить свою гадость, которая так выпукло обозначилась в этом деле с наглым и самолюбивым померным Григорием Гуциным. Гриша Гуцин был нагл и скуп, он получал отличное жалованье и все же, несмотря на запрещение Бориса Митрофановича, подрабатывал у гостей, приводя им в номера девицу.

И вот не кому иному, как этому Грише, он, Борис Митрофанович, предложил отдать замуж племянницу свою Веру, которая воспитывалась у него в доме. А пожелал он отдать ее Грише, а не чиновникам-женихам, обильно посещавшим его дом, потому, что Вера была опозорена: возвращалась она от подруги как-то домой одна. Подле «семейных бань» строился чей-то громадный дом, стояли леса, и пьяные хулиганы затащили ее на постройку. Вера была сильна и высока, она лихо отбивалась и кричала, о лицо какого-то хулигана она сломала зонтик свой. Ее изнасиловали. Позже на крики ее прибежал полицейский, засвистал, и дело огласили... Стыд упал на дом Бориса Митрофановича. Женихи и раскрашенные открытки, ко-

торые посылались ей во все дни двенадцатых праздников, исчезли. Подруги покинули ее. Она сразу стала шлюхой, сразу же в ее походке и в ее сильном теле, которым раньше так восхищались, увидели похоть и сластолюбие. Знакомые отворачивались от нее.

Борис Митрофанович вспомнил, как его мучила гордость, никудышная гордость, которая и посейчас мучает его сестру, и она, так же как и он тогда, думает, что способна и своей гордостью, и своим умом пересилить весь мир. Страдая этой гордостью, он подумал тотчас же о Грише. Гриша, наглец и жулик, один мог без спора и разъяснений понять его. Грише Гущину было лет тридцать, он уже подумывал о возвращении в деревню, на покой и на солидное хозяйство. Борис Митрофанович призвал его и предложил ему получить две с половиной тысячи денег и Веру в жены. Гриша, погладив свою длинную и волосатую шею, склонил голову и со всегдашней своей привычкой прибавлять почти к каждой фразе «да» поспешно проговорил:

— Когда прикажете благословляться прийти?

И еще горше вспомнил Борис Митрофанович, как они пришли благословляться. Вера, рослая, грудастая и с розовыми щеками, которые за месяц сплошных слез все же не побледнели, стояла шага за три от своего жениха и все отодвигалась еще дальше, подергивая левым плечом. Был морозный канун Нового года. В окно Борис Митрофанович видел, как на углу переулка извозчики из торб, подвешенных к оглоблям, кормили коней овсом. Овсянки, окруженные пушистыми каплями пара, катились из розовых морд коней. Голубой, звенящий, как новая сбруя, снег крутился над окнами, над крышами. Борис Митрофанович передал задаток — полторы тысячи — и сказал, что остальные получит Гриша после венчания.

У ворот толпились номерные, приятели Гриши, они смеялись, подталкивали друг друга, но, когда Гриша шел мимо со своей нареченной, сутулый, хмурый, в новом пальто с барашковым воротником, номерные не осмелились пошутить и как-то неумело замолчали. Невеста посмотрела на них смело. Они ушли в ворота. Невеста махнула рукой.

Извозчик, натягивая большие, похожие на чемоданы рукавицы, подал им коня.

Борис Митрофанович знал, что племянница ничуть не осуждает его; для нее все исчезло: и женихи-чиновники, и наследство от Бориса Митрофановича, который не имел детей, и легкая жизнь, которую она вела до этого,— и тогда видеть это ее понимание было приятно и лестно даже Борису Митрофановичу, но теперь вспоминать об этом ему было стыдно. Вспомнил он и то, как он радовался, что люди теперь уже не осудят, что испорченная девушка живет в его доме, и как ему было приятно узнать, что он был прав, она и впрямь дурна: повенчанные Вера и Гриша часто ссорятся. Гриша пьет и чуть ли не говорит о разводе. Слухи эти доходили до Бориса Митрофановича стороной, так как Вера, приходя, сама никогда не жаловалась на плохую жизнь и по-прежнему была румяной и стройной. Затем она забеременела и перестала посещать дом Бориса Митрофановича, а еще позже слышал он, что Гуцины переехали в Самару и что родила она мальчика. В Самаре, говорили, Гриша открыл чайную, стал спокойнее, а мальчонка рос лихо. Тем временем Борис Митрофанович тоже рос капиталом, строя дома и и бани. Он ходил на биржу и с несколькими друзьями разрабатывал план постройки огромных бань на манер римских, и даже очень умный архитектор подыскался... Но тут подоспела война, революция... «И сами мы попали в баню»,— так любил он и его приятели подшучивать, сидя за чаем и обсуждая свои проекты, в начале революции. Но шуточки эти продолжались недолго...

Во время напа несколько раз неудачно пытался подняться до прежних своих подъемов Борис Митрофанович, и во время одного из этих подъемов он узнал, что племянница его Вера умерла здесь, в Москве. Какой-то прыщеватый мальчонка, в лохматой бараньей шапке и коротком тулупчике, принес ему записочку от Гриши, который приглашал на похороны. Борис Митрофанович торопился куда-то с ходатайством; прочтя записку, он попытался вспомнить походку, лицо и голос Веры и ничего не мог вспомнить, кроме широкого румянца на щеках. И о записке он забыл через полчаса, а сейчас, глядя на Гришу, рассматривающего палисадник, и на свою сестру, суемящуюся в соседней комнате, он вспомнил эту записку: написана она была карандашом на листке, вырванном из тетради

«для арифметических упражнений», и Борис Митрофанович, дабы забыть эту записочку и свою тогдашнюю ничтожную суетливость и дабы освободиться от зрелища теперешней ничтожной суетливости сестры, пошутил:

— Ты вот, Наталья Митрофановна, хвасталась, что удачно обвела фина, смотри, на его место нового назначили! — И он указал на Гришу.

— Так я же тебе об этом и говорила! — ответила она, пугаясь того, что даже и незадачливый Борис Митрофанович догадался о новом фине.

— Ты нашего Гришу помнишь, Наталья Митрофановна?

— Который Верку взял? Злодей был мужик, — ответила она, еще более пугаясь своих слов о злодействе, сказанных только потому, что лицо нового фина показалось ей знакомым, а знаком, значит, потому, что он мог когда-то и где-то их весьма успешно притеснять.

— Ну, так ты и присмотришь, Наталья Митрофановна, Гришу-то этого и назначили нам в фины!

Она так и ахнула. Тотчас же она вспомнила, что покойный ее муж рассказывал еще при Грише, какую он замечательную и бесценную кровать купил. Она, охая и потирая по привычке ладонью отвисшие и дряблые свои щеки, подбежала к окну. Точно, там стоял Гриша Гущин. Та же у него отвратительная и волосатая шея и тот же наглый и в то же время светлый взгляд, и нового в нем была только какая-то неощутимая пустота, та страшная пустота, о которой, как думала Наталья Митрофановна, она многое знала в людях, поднявшихся высоко.

Борис Митрофанович, накинув ватную свою тужурку, сшитую из солдатского сукна, вышел на крыльцо. С крыльца видна Москва-река, тающая и блестящая тем напряженным блеском, которым блестит олово, начинающее расплавляться. Деревья в палисаднике были тоже блестящи и как бы готовились к прыжку... Борис Митрофанович глубже вдохнул воздух.

— Входи, что ли, — сказал он Грише.

IV

Да, несомненно, это был Гриша!

И Гриша, видимо, сразу узнал своего бывшего хозяина. Гриша не глядел ему в лицо, он касался своим

взглядом только края, его взгляд скользил где-то подле прозрачных и больших ушей Бориса Митрофановича, и этот взгляд в первые мгновения был очень неприятен Борису Митрофановичу, но дальше он понял, что не только взгляд Гриши, но и вся их последующая и замечательная беседа происходила не здесь и не для Бориса Митрофановича и Натальи Митрофановны, а происходила и производилась она у кого-то и для кого-то в пространство; и эта манера, и это скольжение разговора, и путаность хотя и сильно раздражали Бориса Митрофановича, но в то же время неудержимо влекли его за собой. Он тоже, как Гриша, говорил быстро, путаясь и волнуясь.

Но прежде чем начался этот примечательный разговор, Борис Митрофанович и его гость прошли мимо церкви на высокий берег Москвы-реки. Здесь подул им в лицо весенний ветер, пахнувший тающим льдом; низкие горы, видневшиеся вдаль, как бы раскрывались от солнца, и лес на горах весь дрожал и поднимался на цыпочки... Но они, не замечая ничего этого и не видя, как Наталья Митрофановна машет им рукой и кличет их в дом, подготавливаясь, как бы разбегаясь для будущей беседы, быстро миновали ограду, каменную и потрескавшуюся, потрогали чугунную плиту на могиле какого-то почтенного протоиерея, умершего, как сообщала плита, совершенно в неправдоподобно преклонном возрасте. Правую руку Гриша постоянно держал за пазухой, а левой поглаживал свою шею, и рука эта у него была вся обветренная, красная и в дегте.

— Постарел ты, Гриша,— сказал Борис Митрофанович, и Гриша обрадованно как-то подхватил:

— Да ведь как же, да, пятьдесят пять, да, пятьдесят пять...

И он улыбнулся длинной своей улыбкой, которая вначале всегда казалась жалобной, но совсем неожиданно переходила в наглую, и тогда глаза его светлели... Борис Митрофанович вспомнил эту улыбку, но наглости у Гриши не вышло, и тогда Борис Митрофанович сам улыбнулся и подумал, что улыбается он тому, что, как и двадцать лет назад, Гриша все еще повторяет эти свои приставочки «да, да»; и Борису Митрофановичу подумалось: «А ведь может статься, что Гриша не фининспектор, да и почему они решили, что он фин, формы же на

них пока нет... просто Гриша впал в бедность и явился за помощью, и здесь-то вот нужно ему сказать с большим умением, что дать они ему ничего не могут и самое большое их угощение — морковный чай. И сказать это лучше всего сразу, чтобы Гриша не стеснялся и мог сразу же проявить свою злобу или радость, смотря по тому, какой в нем теперь преобладает характер».

У

Гриша вдруг широко раскрыл глаза, и по лицу его стало понятно, что он только теперь увидал Москву-реку, что он не знает, что это за река, и у него даже губы раскрылись, чтобы спросить: какая и почему здесь река, но тотчас же весь внешний мир спутался, и выбрать слова для этого внешнего мира ему настолько было тяжело, что шея его туго налилась кровью, потемнела, и он быстрыми шагами направился к палисаднику, возле которого его и окликнул Борис Митрофанович и возле которого он, Гриша, приготовил уже все, что ему нужно и что должно сказать и сделать.

Когда они входили в дом, Наталья Митрофановна припрятывала последние свои тряпки, те, которые она считала своим долгом спрятать, и в поисках места для их укрытия она бегала все время, пока они гуляли: более надежного места, как под кроватью, она не могла найти, и она укладывала их под кроватью. Она вылезла потная, багровая и тупо уставилась на Гришу; и то, что он ее не узнал и даже не смотрел на нее, испугало ее неимоверно.

Гриша быстро опустился на лавку и заговорил так, как будто он давно уже начал:

— Ну вот, плывут они среди лесов один день, другой плывут, а кругом берега с церквями, а народу нету и нету армий...

— Кто плывет? — спросил Борис Митрофанович.

— Ну, флотилия плывет. Сын-то мой, звали его тоже Гришей, поступил матросом во флотилию, которую, слышь, прозвали Волжской и направили против Казани, в которой, говорят, весь наш золотой запас хранился и на который, говорят, все буржуи мира сбегались.

Плывут они, говорю, и плывут они ни больше ни меньше как в подводной лодке прямо по Мариинской системе из Петербурга. А из плавания этого, Борис Митрофанович, получал я в эти времена от Гриши очень многое объясняющие письма...

— От Веры сын-то, что ли, был? — спросил Борис Митрофанович, волнуясь.

— Как же, от нее, в Самаре родился! Рослая была женщина, и все любила с палочкой ходить, и сын получился рослый и тоже с палочкой в матросы пошел, а тогда дисциплина свободная была, лишь войей, а там с палкой ты ходишь или с бревном — безразлично. Однако какой-то главнокомандующий похотел над ним: «Ты, говорит, молодой и революционный матрос, почему у тебя, как у старика, для выхода палка?» А он и ему ответил, и нам в письме написал, что палку ему для революции бросить нетрудно, что он ради революции не только палки, но и жизни своей не пожалеет. И кинул он тут на глазах всего флота палку в Волгу, и поплыла она в Каспий!.. Очень трогательно! А я, как вам известно, Борис Митрофанович, бани тем временем бросил и промышлял извозным, и чайная у меня в Самаре, на берегу Волги, была. Самара — город отличный, хотя и запьянцовский. Сам я никогда, как вам известно, не пил и сына приучил; сын только, действительно, признавался, что когда подводная лодка опускается в воду и как весь инструмент, и весь воздух, и все стены вокруг начинают по мере опускания холодеть, то тогда даже и непьющему выпить хочется. Кончатся это наши чайная, извозные расчеты, выйдем мы с женой на берег и думаем, что для нас с некоторого времени Волга стала страшным синим морем. Никогда мы не думали, что она настолько страшна может быть, а текла она в те времена мимо всех пустая, и разве только щепка с какого-нибудь потонувшего парохода качается — проплывет. А ведь раньше, бывало, стоишь в праздник, ведь от большого чая до обеда мимо твоих глаз пароходов пятнадцать проплывет! И чем ближе наш сын подходил к Казани, тем больше мы думали: есть в этом Ленине что-то такое от справедливости и касательно того, что буржуев было необходимо уничтожать и уничтожать окончательно, что всегда он был в этом прав!

Здесь Наталья Митрофановна не удержалась. Она приоткрыла дверь и, просунув голову, боязливо и в то же время стараясь быть веселой, спросила:

— Ты что же, по финансам работаешь?

Гриша встал, поклонился и ответил с торжественной и жалкой улыбкой:

— Нет, я в полной и откровенной отставке! Да, да... Я грудь сломил на своем ломовом деле, да, и действительно, поступать так азартно на старости лет не годится. Заспорили мы, слышь! Я им говорю, что подниму пятнадцать пудов, и верно,— поднять-то поднял, но тут произошло в груди встрясение и стало мне как-то тесно дышать...

— Что же с твоим матросом-то? — спросил Борис Митрофанович. Ему хотелось и узнать, зачем пришел Гриша, и не любил он разговоров о болезнях.

— С матросом-то нашим? Известно, что может произойти с матросом! Идут они ночью, и наткнулись они ночью на мину, и взорвались, и кончились с того дня письма от него... Год с той смерти или три, я уж не знаю, мы все в чайной своей орудовали, торговали, и кони наши ходили по Самаре, так вот через год, что ли, выходим мы с Верой Ивановной на волжский наш берег. По нему пароходы идут, как и раньше, народ в буфетах стерлядей ест, а мы перед самым нашим выходом на Волгу письма Гришины перечитывали. Очень, скажу вам по совести, возвышенные письма, и даже, если их с площади прочесть бы вслух, как теперь есть такое вслух говорящее радио, многим бы пользы дали... Рассуждаем мы и дальше: вот, мол, Вера Ивановна, сын-то наш шел правильно, за спасение погибающих, а мы живем как-то неточно, и вот ведь и женился-то я на тебе, говорю, Вера Ивановна, тоже неточно, не по любви, а потому, что банщик Борис Митрофанович дал мне за тобой в приданое или, лучше сказать, чтобы успокоить свою банную гадость, две с половиной тысячи рублей. Купил, одним словом, говорю, мужа тебе, Вера Ивановна!

Борис Митрофанович сказал мучительно и торопливо:

— Ну о чем говорить, Гриша! От этого же никакого вреда не произошло. Если сын твой умер, то он, наверное, не знал же обстоятельств твоей женитьбы.

— Сын не знал, конечно, Борис Митрофанович.

— Да ведь и прошло этому двадцать с лишком лет, и что вспоминать то, что было двадцать с лишком лет, а?

— Двадцать с лишком лет прошло, верно, Борис Митрофанович. Но вот двадцать-то с лишком лет спустя и началось самое мое от этого главное несчастье.

— Двадцать лет, Гриша?..

— Да, двадцать лет,— ответил Гриша с болью и гордостью.

VI

Гриша заговорил плавно и быстро, и Борис Митрофанович понял, что Гриша теперь только подошел к тому, что уже давно и плотно засело в нем, в чем уже нельзя изменить или переставить слова, и что есть то главное, до чего он добирался с такой явной всем болью и трудом...

«Так вот и путник,— подумалось Борису Митрофановичу,— долго бредет топями, болотами, пока не выйдет на ровный и чистый луг, и здесь перед ним внезапно и плавно катится река, гудят пароходы, и плоты весело несут весенние свои бревна, и на бревно опускается синица, бревно влажное, на него только что накатилась волна от парохода, оно блестит, и синица, подрагивая хвостиком, оправляет свои перья...»

— Да, Борис Митрофанович, так вот мы и рассуждаем с Верой Ивановой! Говорю я ей: «Живем мы с тобой в отличном Самаре-городе, и большое у нас с тобой хозяйство, и четыре громаднейшие, может быть, самые громаднейшие и выносливые ломовые во всем самарском крае, и работники у нас к этим коням замечательные, и живем мы с тобой замечательно, и чай у нас по всему волжскому берегу самый крепкий, и при чайной у нас квартира из двух комнат с отдельной кухней и даже, как у любого попа, есть у нас собственный комод и буфет!» — «И верно,— отвечает мне она,— замечательно живем!» — и сама смотрит в землю, а немного погода поднимает на меня глаза и говорит: «Думать ли нам об этом?.. Борис Митрофанович как следует наказан за свою гордость!.. Вот кабы сынок наш вернулся, все бы узнав, он смог бы тебе посоветовать, а сейчас так ду-

маю: вот мы с тобой, муженек, продержали весь военный коммунизм вплоть до свободной торговли четырех лучших коней в городе и самых лучших работников и дальше теперь хотим свое дело развивать,— правильно ли это?» Я ее еще тогда не понял, сознаюсь, я ответил, как, мол, теперь не развивать! Теперь овес куда легче, чем при военном коммунизме, доставать! Она тут сразу замолчала, и только румянец у нее вековой так и пощипет по лицу. Она это молчит, а я говорю: «Очень мне нехорошо, Вера Ивановна, думать я не привык, а главное — придумаешь, только бы сказать, а тут вместо настоящего слова либо обругаешься, либо выпить захочется, но только смотрю я на свое развивающееся хозяйство и полагаю, что купленная у меня жизнь». Она мне и говорит: «Полагать мало, надо делать...» И сама отошла, как бы обиженная.

— На что же ей обижаться, Гриша? — спросила Наталья Митрофановна.

— ...И очень сильно с того разговора затосковал я, Борис Митрофанович, так затосковал, что откровенно и сказать-то неловко; и по сыну так не тосковал. Все, бывало, в кровати ворочаюсь, а кровать у меня богатая, с металлическими шпиками и на пружинах и с замечательным богатым ситцевым пологом. И вот раз вскакиваю я, под рукомойник, умыться не мог, а на дворе еще темно, и дождичек такой осенний, на всю жизнь, кажется... Говорю я: «Вера Ивановна, решил я и телеги, и коней, и работников рассчитать!» Жена-то на меня смотрит и говорит тихо: «Что же, сколько на конях ни вози, сколько ни скачи, а от своего сердца не ускачешь и горя своего никуда не увезешь. Продавай!» Отправился я на базар, кони тогда в цене были, да и народ видит: коней привел продавать Григорий Гущин — разорился! И каждому, конечно, лестно меня унижить и коней моих купить. Продал я и в своей чайной какое снаряжение и посуду, рассчитал своих работников и кухарку, и осталось у меня тогда ровно девятьсот сорок рублей. Выложил я эти деньги перед женой и говорю: «Вот, мол, и деньги за моих коней и за телеги, и выходит по этим деньгам, что ты сама немногим была дороже моих коней и моей чайной». Она опять молчит и только дня через два так, мельком, сказала, что, верно, тяжело дожить до старости и понять вдруг такие мысли...

Но и тогда-то, Борис Митрофанович, не дошли мы до самой главной нашей думы, что и мою жизнь загубила и Веру Ивановну в могилу свела. Положили мы деньги те в сберегательную кассу, перебрались в Москву и поселились в Петровском парке, поближе к Савеловскому вокзалу, там много в улочках нашего ломового брата живет. Сарай есть в одном дворе, раньше лес, что ли, там сушили, а теперь на жилье передали, нагородили собачьих кошур, перегородки дощатые, глинобитные стены, сырость, мороз, зато дешево...

VII

— Глупости это, — сказал, несколько оправляясь от своего волнения, Борис Митрофанович, — глупости это — деньги копить!

— Зачем глупости? — еще больше заволновался Гриша. — Мученье никогда не глупости. Поселились как только мы в этой сырости, как только расставили наше имущество и стол клеенкой накрыли, так и понял я: не хватит нам уже сил из этой комнатешки выбраться, и не хватит еще и потому, что если мы друг другу свои мысли полностью не откроем и что если открывать, так поскорей. Дрова я в эту минуту накладывал в печку, Борис Митрофанович, так я бросил дрова, встал и говорю: «Завтра мне на работу уже простым ломовым идти, Вера Ивановна, с завтрашнего дня мне, от усталости, может быть, али от злости, уже и говорить-то будет трудно, так я сегодня скажу. Я так думаю, Вера Ивановна, что те две с половиной тыщи, которые мне за мою совесть дал Борис Митрофанович, мне эти две с половиной тыщи надо ему вернуть целиком».

— Отдаст она, Верка-то, как же, — отозвалась из-за дверей Наталья Митрофановна. — Жадна она была всегда, как черт!

Сказала она это не оттого, что действительно была уверена, что Вера жадна, — Наталья Митрофановна всегда была занята главным образом только собой, и если думала о том, каковы люди, то она их всех, кроме себя, считала дураками, — а сейчас о жадности Веры она сказала потому, что ей хотелось поскорей узнать, почему она согласилась возвратить своему бывшему хозяину его

деньги... Борису Митрофановичу было стыдно смотреть на ее потный и жадный старческий лоб, покрытый седыми и редкими волосами. Она отстранила Бориса Митрофановича и села перед Гришей к замасленному и грязному столу. В комнатах была пыль и слякоть, никак не хотели убрать, почистить, все надеялись на лучшее будущее. Наталья Митрофановна смотрела прямо в рот Грише, но тот по-прежнему ее не видал.

— А она еще раньше меня, надо думать, возмечтала столь же гордо. Как я ей только сказал эти мои слова, так у ней лицо-то еще больше воспалило, и она мне быстро, так быстро сыплет: «Отдать, отдать непременно, Гриша». А у меня от тех ее слов даже как-то дышать тяжело стало, сел я на табуретку, а она сама начала дрова в печку кидать. Я на нее смотрю и вслух думаю: «Позволь, Вера, мой сын буржуев уничтожил и лодку в том уничтожении и свою жизнь потопил, а тут выходит, что мы им поможем вновь на ноги подняться, когда мы их обязаны топить, как они нашего сына утопили». А она мне, напротив, тоже вслух думает: «Я у них воспитывалась, жила и ими благодетельствована, у их жизнь прекрасно, лучше своей понимаю. Они эти деньги получают и, верно, употребят их на свое возвышение и поднятие, а этому возвышению никогда уже в нашей стране не быть, и получится им от этого еще большее уничтожение, а нам полное освобождение наших мыслей». И так меня ее слова разожгли, что я обошел комнатешку нашу, и без того пустую, с мыслями, что бы еще продать можно, и вышло так, что сундучки и чемоданчики наши, в которых мы наше барахлишко привезли, вполне продать можно, так как никуда нам уже из этой комнатешки не выехать. И, верно, выручил я с этой продажи пятнадцать рублей, которые и отвез на книжку. Пошла моя Вера приходящей прислугой, ночами стирала артистам, которые снимаются в бывшем Яру и живут неподалеку от нас, а я днем в ломовых ходил, а вечерами, — вспомнив детское свое обучение, мой батюшка-то из сапожников происходил, — починал ломовикам валенки и сапоги, одежда, сам знаешь, у ломовиков как огонь горит, брал я дешево, и было у меня заработков достаточно. А в хибарке нашей холодище, ветер, вечером натопишь, а к утру, смотришь, и выстыло, а я поспать люблю, а Вера-то, обо мне забота,

поднимается раным-рано, затопит печку; чтобы мне на работу из тепла идти. А стены, как я вам говорил, у наших казарм глинобитные, и от глины по утрам уничтожительный и мерзкий запах идет, и я из запаха-то на какой-никакой чистый воздух выхожу, а Вера, перед тем как на приходящую уйти, еще и кушанье сготовит, и починит для меня что... всю захватил ее этот запах, который, знаешь, пошел на сердце, а с сердца в кровь, что ли... подлинно мне вся тонкость эта докторская неизвестна, но начала моя Вера Ивановна сначала покашливать, с румянца спадать, а там и чахнуть. Доктора пришли, которые к нашему ломовому делу приставлены, но только у нас, у ломовых, болезни грубые, им, докторам, лечить их трудно, иной, смотришь, даже в слезу пробьется, а ничего с нашей болезнью понять не может, мы больше сами лечимся, есть у нас и такие-разные знахарочки, из цыганок, которые петь по случаю революции прекратили. Пришел такой доктор один, посмотрел; пришла попозже и цыганочка, тоже пощупала и посмотрела. Жалостливая такая цыганочка, и с голоском как весной сосульки ледяные на землю падают, и оба они сказали: «Выздоровеет!» А моя Вера Ивановна все чахнет и чахнет и только мне не забывает повторять: «Ты, говорит, деньги копи, а я и так поднимусь, самое главное — человеку захотеть подняться, а он уже поднимется, сколько б ни лежал». Ну, как она ни хотела подняться, как ни отрывала голову, а прошлой осенью, вернулся я это как-то с работы поздно, — смотрю: нет у ней больше румянца, и лицо от этого хоть и страшное, но легкое какое-то, как будто зимой лист вынесет когда из-под снега и поднимет ветром. Посмотрела она на меня и, как вам известно, будучи прославлена своими улыбками, улыбнулась мне по-знакомому и говорит: «Сколько у тебя скоплено, Гриша, на сберегательной?» А я ей отвечаю, что, мол, Вера Ивановна, скоплено нами очень много: без малого две тыщи. Тут она подумала и говорит: «Ты, Гриша, на мои похороны больше полтораста рублей не трать, ты пышность любишь. Я, Гриша, теперь скажу тебе по правде, плохо вижу, но все-таки тебе советую и на себя как-нибудь хоть в осеннюю лужу посмотреть, если зеркала не подвернется, и по виду тому своему ты и поймешь, что едва ли ты больше двух тысяч скопишь, да и кроме

того, времена, как мне известно по приходящей службе, такие для буржуев подходят, что лучше с ними сейчас расчитаться, пока с ними окончательно кто-то за нас не стал расчитываться...

— Я говорю: злюка! — сказала Наталья Митрофановна.

— ...И верно, израсходовал я из тех денег почти что полтора ста на похороны, и то ли от ее слов, то ли, верно, пора ко мне такая подошла, но по утрам вставать все труднее и труднее стало, и решил я тогда навалиться на работу. Ну и навалился же. Пар от меня за версту идет, мяса я съедал по три фунта и хлеба почти по пять за день. Ребята мне: «Куда ты рвешься, старик?» А я им: «Поддай!» Да вот, как я вам уже и изволил говорить, Борис Митрофанович, чтобы не столько удаль показать, а чтобы назначили меня на самые труднейшие работы, на которых я смог бы побольше заработать, и произошло у меня от подъема пятнадцати пудов внутреннее рассечение груди. Послушал меня доктор через такую трубочку с двумя резиновыми концами, головой качает в такт того, как я грудью свищу, и сказал этот доктор: «Старик ты резкий, так и я с тобой резок буду и говорю тебе: махни на все и кончай скорее все свои земные дела». Вот это доктор, настоящая душа! Он, оказывается, военным был, оттого у него и понятие жизни такое справедливое. Сильно я его поблагодарил, пошел в тот же день в кассу и взял оттуда все, что там нами скоплено, а оказалось этого всего две тысячи сто десять рублей. Сильно мне хотелось накопить до полной суммы, и тут бы я мог и справедливому доктору не поверить и работал бы до суммы, но сказал тут один человек: «Больно некрасиво живет Борис Митрофанович, под Москвой и без дела, как бы он в другие места не уехал...» А где мне вас искать в других местах, Борис Митрофанович? Как-никак, а у меня злостное рассечение груди!

И он больше из вежливости, чем из своего суждения, разворачивая грязный пакет из газетной бумаги, сказал о здоровье и жизни Бориса Митрофановича:

— Однако же соврал человек, живете вы отлично и собою все здоровы. Получайте, пожалуйста... да, да!

Но здесь на деньги навалилась всем своим рыхлым телом Наталья Митрофановна. Пришепетывая, путая

слова, то говоря, что пересчитает, то что считать некогда, она закутывала деньги опять в бумагу. Бумага у ней ползла меж рук, она сорвала рваную и грязную шаль с головы, седые и жидкие ее волосы на висках были мокры. Нестерпимое отвращение овладело Борисом Митрофановичем.

VIII

Борис Митрофанович понимал, что он не должен и не может принимать эти деньги, но он чувствовал и знал, что он не скажет этого. Он отвык от ссор, от брани по денежным делам. Он понимал, что это слабость, но от понимания этой слабости он и ненавидел эти комнаты с их запахом картофеля и кошек, с китом в углу и с плохими и некрасивыми иконами. Он ненавидел и Гришу, который, высказав все, что его томил и влекло сюда, сидел теперь, тупо и бессмысленно улыбаясь; когда Наталья Митрофановна, несколько поуспокоившись, все же начала пересчитывать деньги, он следил за счетом, и губы его безмолвно двигались за губами Натальи Митрофановны.

Борис Митрофанович поднял свою тужурку из солдатского сукна, и здесь Гриша, торопливо сказав Наталье Митрофановне: «Правильно, все правильно сосчитано», — торопливо схватил стеженный картуз и пошел за ним. В тужурке этой, выменянной на барахолке за отличные серебряные часы, всегда Борис Митрофанович чувствовал себя уютно и тепло. Ее никто у него не отнимает, ей цена самое большее полтинник, но она удивительно греет и бережет тело. Гриша сломил веточку из палисадника, но держать ее он не мог: по-прежнему он совал правую руку за пазуху, а левой почесывал волосатую свою шею. Он испуганно как-то оглянулся, видимо отыскивая столб, подле которого останавливается автобус, нашел и радостно замычал. «Зачем, — думал Борис Митрофанович, — я, старик, не отказался от денег, которые мне совершенно не нужны, а этот, другой старик, отдал все свои деньги, на которые он мог жить отлично, лечиться и не страдать, и зачем третий старик человек, Наталья Митрофановна, думает, что Гриша принес эти деньги, чтобы поддержать прежних хозяев, и даже думает, что и Вера-то не умерла!»

Подшел автобус, синий, высокий, со светлыми окнами. В этом автобусе сидели веселые и молодые мужчины и женщины, они ездили снимать дачи, чтобы летом ходить при луне, целоваться, говорить глупости и плакать от этих глупостей. У них быстрая и широкая жизнь. Кондуктор взмахнул сумкой. Гриша, с осоловевшими глазами, не попрощавшись, вскочил на подножку и дернул внутрь дверь. И в автобусе он так же, как и все прочие, сел бочком, голову откинул назад!.. Долго стоял подле остановки Борис Митрофанович. Несколько автобусов промелькнуло мимо него.

Стыдно и скучно возвращаться ему домой!

И тогда его посетила мысль, которая ему показалась сначала чудовищной и нелепой, но, по мере того как он подходил ближе к домику, в котором он жил, и по мере того как солнце согрело его спину, эта мысль уже не казалась ему столь грубой. Он подумал, что Гриша никогда бы не мог и не принял бы обратно этих денег и тем нелепее принимать им эти деньги, так как они ни по каким законам не могут принадлежать Б. М. Маникову и его сестре, и еще более — нет и нельзя придумать такого оправдания тому, чтобы на эти деньги опять пытаться кого-то обманывать и с кем-то плутовать. Но Наталья Митрофановна будет на эти деньги плутовать и кого-то обманывать! И еще более укрепило его мысли то, что когда он вошел в дом, его сестры там не было. Она, наверное, ушла прятать полученные деньги. Она испробует несколько мест, ей придется вырыть несколько ямок, прежде нежели она решится закопать эти деньги. Она устала, она стара, ей тяжело копать кухонным ее ножом, она с усилием роет мокрую весеннюю землю... Омерзительно!

И Борис Митрофанович направился к фину. Фин жил рядом со школой. В сени к Борису Митрофановичу вышел рослый, немного заспанный человек с белокурым чубом, похожим на крендель. Он вежливо, — как он уже привык разговаривать и как это льстило и ему и другим, — спросил, чего желает от него гражданин Маников. И гражданин Б. М. Маников, с огромными ушами и сухим телом, расставив широко ноги, стоял перед ним и безмолвно смотрел, как фин зажег папироску, быстро искурил, посмотрел в сених — нет ли пепельницы, и погасил папироску о подошву своего сапога. Подошва

та была новая, и то, что фин помнил о ней, так как иначе он не стал бы гасить о нее папироску, а погасил бы, скажем, о порог, показало Борису Митрофановичу, что ничто в жизни не изменилось и мир по-прежнему не понимает и не замечает его. Что может сделать старуха на эти две тысячи, столь нелепо приобретенные ею? Да и никто и ничего не сможет сделать на эти две тысячи! И здесь уфина, если он, Борис Митрофанович, попробует рассказать о двух тысячах, то фин решит, что Б. М. Маников просто выдает сестру из мести или что, может быть, еще хуже, решит, что у них скрыты еще большие деньги. И Борису Митрофановичу стало жалко того, что люди, отлично понимая друг друга, все же не могут понять его, Бориса Митрофановича, и что он не может и не знает того, что есть в нем такого, что люди должны понять. И ему стало нестерпимо жалко себя. Он зарыдал. Фин подхватил его под руки, свел с крыльца, наивежливейше пожал ему руку и сказал, что просит зайти попозже, успокоенным.

Борис Митрофанович пошел. Но он скоро понял, что идет от своего дома в другую сторону, и это его огорчило, но не остановило, потому что чем он дальше шел, тем все легче и легче ему было. Он дышал быстро и ровно. Он на ходу отломил ветвь березы, но оторвать от этой ветки более молодые побеги было уже трудней. И он буквально их отвинчивал. Они были очень забавны, эти побеги, мягкие, налитые жизнью, молодые! И ему было и страшно, и легко, и смешно подумать, что он никогда уже не возвратится домой. Страшно,— ведь ему за пятьдесят! Смешно, что к этому решению он пришел на пороге смерти. Легко,— так как в той иной жизни он даже и подумать бы не мог об уходе, а теперь он идет веселым в молодой и широкий мир!

Он шагал долго. Уже далеко остался позади город; уже давно с какой-то горы последний раз он увидел купол Христа Спасителя, похожий на золотой набалдашник трости, и обозы крестьян уменьшились, и реже стали попадаться деревни, и усталость стала овладевать им, и он обдумывал о ночлеге,— как его обогнал какой-то бродяжка, очень легкий по ходу, с припухшим и бородатым лицом и голубыми глазками. Бродяжка пропустил его, опять обогнал, закурил папироску, свистнул, высморкался и заигрывающе спросил:

— Куда направляетесь, дяденька?

— В Самару,— почему-то ответил Борис Митрофанович, и так как ему это слово понравилось, то он подумал: «А ведь, действительно, неплохо пойти в Самару. Город хлебный, течет там Волга, да и давненько он не видал больших, за зиму сияюще-отремонтированных пароходов, которые весной похожи на вставшие дыбом льдины, и дым их похож на остатки зимних метелей».

— В Самару,— повторил Борис Митрофанович.

Бродяжка кивнул головой и, тоже, должно быть, подумав, что Самара хороший город, добавил:

— Что же, и я, пожалуй, дяденька, могу направиться в Самару, а вот только... — Он прошел несколько шагов рядом и затем спросил быстро: — А вот только, много ли ты, дяденька, денег имеешь, чтобы с тобой идти не страшно, а то знаешь, то-се, бандиты отберут!

— Полтинник имею,— ответил Борис Митрофанович.

Бродяжка подпрыгнул, обрадовался необыкновенно, полез в карман и, вытаскивая чудесно замасленный рубль, воскликнул:

— Ну, я же куда тебя, дяденька, богаче! Качаем, что ли?

И они шли, равномерно и весело раскачиваясь.

МЕЛЬНИК



1

Федор Панфилович Пронышко ехал на свою мельницу так же, как он ездил туда много раз. День облачный, сухой. Легкий ветер дул в спину Федора Панфиловича, отгоняя оводов с тощей спины каурого коня, шагавшего, как всегда, широко и выносливо. Федор Панфилович перебирал свои мысли; он начинал перебирать их всегда, как только каурый конь выходил за городской базар, миновал сосновую рощу с лужайкой возле дороги, на которой постоянно, и зимой и летом, церемонно склонив головы набок, гуляли вороны.

Федор Панфилович — сын мелкого лавочника. Шестеро детей имел старый Панфил Пронышко: четыре парня, две девицы. Истории их жизни очень различны, хотя и удивительны каждая в отдельности. Федор Пронышко служил сначала приказчиком, затем мастером в маслодельной артели, а во время войны разжился и выстроил мельницу за городом — водяную, кирпичную. Начал он строить и дом подле мельницы, но помешала революция — так и остались торчать на полтора аршина от земли кирпичные стены. Сам он не жил на мельнице, а жил его сын Костя — и пришлось Косте жить пока в деревянном, наскоро сколоченном одноэтажном домишке.

Базар был еще пуст, но уже по нему бродил милиционер в шинели внакидку. Так же, как и милиционер, голуби возле весов готовились к завтрашнему съезду мужицких подвод.

Роща встретила мельника и весело и серьезно — обманчиво серьезно — словно она шутила, что вот, мол, какая она: делает вид, что сразу же за ней начнется густой непролазный лес, а на самом деле луга и осино-вые колки, обильные грибами. В роще раздавался стук топоров. Но и стук топоров, и то, что он знал о необычном деле, ради которого они стучали, не мешали мельнику заниматься своими мыслями.

Он был глубоко убежден — и повторял это сейчас про себя, — что только он, мельник Федор Панфилович Проньшко, понимает по-настоящему жизнь и как ее надо устраивать. Отчего бывают революции и междоусобные брани? Оттого, что народишко вместо войны с природой воюет между собой, ссорится и ворует. А глазное-то и забывает! А главное в том, что надо хватать и сдерживать природу.

Вот пока он, Федор Панфилович, занимался службой, разными спекуляциями и оборотами, пока обманывал хозяина или своих заказчиков, так никакого спокойствия и не было, а как только запрудил реку, поставил плотину — двинулись жернова, так сразу и стало спокойно, и веселая уверенность в самом себе поселилась в нем. Что же получится, если он вдоль всей реки водрузит пять или шесть мельниц, а водрузить их вполне возможно: и воды хватит, и зерна хватит. Тогда прямо хоть проповедуй!

А проповедовать людишкам следует. Людишки за войну совсем измочалились и опаскудились. Вот, к примеру, стучат они в роще топорами, пугая церемонных воронов. Ветер согнал легкую тучку, и солнце осветило синие ситцевые спины плотников, потные и широкие. Ходит среди плотников хмурый подпрапорщик. И чего ради стараются плотники и подпрапорщик, вместо того чтобы пить чай или обучать солдат, расхлябанных и вялых, зачем понукает плотников? Виселицу строят, извольте видеть, виселицу! Тьфу! Стыдно за людей!

Федор Панфилович знал и никогда не сомневался в том, что бандитов и грабителей надо уничтожать и наказывать. Конечно, и бандита можно заставить работать, его возможно и уговорить на разумное, но не в такое время, не сейчас. Сейчас, пожалуй, самое лучшее уничтожать их поскорей. Но зачем, — когда городок наполнен слухами, что с той стороны гор, того и гляди, спус-

тятся красные, да и бандиты-то, пожалуй, оттого и увеличили свои безобразия, что надеялись на безнаказанность,— зачем нанимать плотников, сооружать виселицу, приглашать попа, устраивать публичный суд для того только, чтобы уничтожить одного бандита? Вздерни его на первый попавшийся сук — и не мешай людям заниматься делами!

Федор Панфилович отвернулся от виселицы и понукал коня. Конь мотнул головой, как бы одобряя деловые мысли своего хозяина.

Мельник думал: если воевать, так воевать лучше всего с природой, а люди, даже ближайšie родственники, непременно надуют! Он не любил сам служить, не любил и нанимать к себе. Он желал работать семьей. А вот не повезло. Разбогател, построил мельницу, а сын родился только один. Вскоре после постройки мельницы жена умерла. Он мог бы жениться и на второй, но, разбогатев, а главное, почувствовав уважение к своим мыслям и затеям, он уже не доверял людям, а значит, не доверял бы и женщине, на которой женился бы. Женщина кинется на его богатство, даже притворится работящей и хорошей, пожелает иметь от него детей, а непременно всюду и везде будет обманывать. Да и баба после войны пошла какая-то неработящая, говорливая, суетливая!

Жениться следует только тогда, когда построишь пять или шесть мельниц, когда окончательно разбогатеешь, когда богатство будет запугивать людей, когда его деньги запугают жену, заставят ее смириться, как бы она ни была суетлива. И мельник, если им пестерпимо овладевала тягота, спал с бабой, которая работала в городском его домике стряпухой. Спать этому он не придавал никакого значения, да и баба тоже не придавала ему значения. Она была придурковата, кривобока, с постоянно открытым ртом, и везде, где она раньше ни работала, с ней поступали так же, как поступал Федор Панфилович, то есть ночью ложились рядом с нею на некоторое время, а затем, толкнув ее легонько кулаком в бок, говорили: «Ну, ладно, а я пошел», — и уходили. «Что ж поделаешь, весь человеческий род глуп вроде этой стряпухи!» — думал Федор Проньшко.

Непременно надо построить шесть мельниц, заарендовать луга, купить скотины, построить конюшни, при-

гоны. Приятно водрузить плотину, где река по колено. Плотина встанет вокруг тебя, как воротник барашковой шубы,— наполнится она водой, подует легкий ветер, поплывет птица, возле шлепающих колес начнет шмыгать плотва, рыбаки придут с удочками, а ты, побрякивая,— хотя, казалось бы, тебе кричать совершенно ни к чему, но ты — все-таки побрякивая,— будешь стоять на плотине, возле спуска, и ветерок будет относить легкий дым твоей трубки. Тебя уже выбрали городским головой и тебя спрашивают — не открыть ли здесь банк?

Уже виднелась мельница, доносился стук ее колес, и на пригорке, возле мельницы, желтели подсолнухи. Еще год назад здесь возвышался лес. Мельник его выжег и засеял подсолнухами!

Иначе, чем мельник, думал о повешении бандита Алешки Урнева командир расквартированного в городке белогвардейского полка Савкин. Командир жил за четыре дома от Федора Панфиловича. Человек он был уже не молодой, но с нежным и каким-то клейким голосом. Жизнь его текла однообразно, и хотя без особых волнений, но и без особых удач. Он полагал, что вряд ли выслужится выше чина капитана, но война помогла ему и по службе и в устройстве семейства.

Прежде всего, его не убили, хотя многие из его товарищей, тоже не отличавшиеся особой смелостью и тоже не очень ловко разбирающиеся в окружающих обстоятельствах, погибли. Его назначали на их места. Затем он, приехав в отпуск, женился на девушке, на которой при обыкновенных обстоятельствах он никак бы жениться не мог: ее жених, сделавшись офицером, отказался от нее и женился на другой, более богатой, и она с досады стала целоваться с Савкиным, а затем, прислушавшись к его нежному голосу, сказала самой себе: «Э, пускай!» Он уехал с женой в провинцию, как уезжали многие офицеры, когда произошел Октябрьский переворот. Здесь его мобилизовали в белую армию. И опять кого-то убили, и опять его повысили. И тогда Савкин начал думать: «А быть мне генералом! Непременно быть. К тому идет». Да и дальний родственник его жены имел отношение к штабу командования армией.

И вот из-за этих ли родственных отношений, или же просто послать было некого, но часть, которой командовал Савкин, послали в очень опасное и смутное место

фронта, каким являлся городок, где жил мельник Проньшко.

Собственно, никакого фронта не было. Стояли села, собирались базары, работали мельницы, пилили лес, снимали хлеба, и по тем же дорогам ходили солдаты с винтовками, провозили орудия, пулеметы, стреляли, жгли, топили людей и скот. И вот это-то отсутствие фронта смущало Савкина больше всего. Воевать так воевать в окопах, так, как учили его. Зачем здесь путаются мужики, рабочие? Как с ними обращаться и чего от них требовать? Ему стыдно было, но приходилось сознаваться, что он знает очень немного, но и это небольшое он знает очень плохо, и поэтому он цепче ухватился за то, что, по его мнению, он знал хорошо. А знал он хорошо судебную процедуру да игру на балалайке. К судебным делам он имел склонность с детства, к тому же отец его был судебным следователем и даже умер на посту, во время следствия, от разрыва сердца; что же касается игры на балалайке, то она ему помогала, пока он командовал ротой, но когда он стал повышаться, то только вредила ему. Он знал, что за его спиной офицеры говорят: «А, это тот, который на балалайке!» — и невеста, когда давала ему согласие на брак, сказала: «Но чтоб без балалайки».

Получив командование полком, он устроил оркестр балалаечников, но разве это могло ему помочь разобраться в том, что сейчас происходило в городке, вокруг городка, и в нем самом, и в его солдатах? Он с радостью исполнял бы все приказания командования, но связь была отвратительна, и к тому же приказы часто противоречивы. Сегодня: «Ловите бандитов!», а завтра: «Ловите дезертиров, которые бегут к красным!», а еще через день: «Прекратите ловить дезертиров, отражайте красных!» Но не было, если сказать по совести, ни бандитов, ни дезертиров, ни красных. И сводки, получаемые из уезда, тоже были совершенно противоречивы.

Вот хотя бы взять случай с Урневым: бандит он или просто дурак. Поймали в поле шестерых мужиков. Трое с винтовками, трое с косами. Говорят, что отчасти пошли на охоту — уточек захотелось, а отчасти боялись нападения, так как луг, который они хотели скосить —

отава, — лежит далеко от села, а «народ балуется». Странно, что у трех ружья, хотя и дробовые, но ведь известно, как мужик способен стрелять и из дробового ружья, когда ему надобно стрелять. И что это за покосы в конце осени, и почему с ними Урнев, когда по всему округу известно, что Илья Урнев «идейный бандист», то есть грабит с тем, чтобы имущество богатых отдавать бедным, короче говоря, пробирается к власти!

Бесспорно, Савкин умел допрашивать. Уже на другой день мужики начали говорить разное, и если они раньше говорили, что этот Алешка Урнев никак не Илья Урнев, а только однофамилец, то теперь выяснилось, что он брат бандиту. Савкин уже собирался в порядке полевого суда расстрелять всех шестерых, но тут пришло приказание из штаба дивизии «направить все внимание на поимку дезертиров», а с населением, хотя бы и заподозренным в бандитизме, поступать осмотрительнее и снисходительнее, но в то же время строго, «особенно строго наблюдая за перебежчиками».

Прочитав это, Савкин достал балалайку из кожаного футляра, пахнувшего рыбой, сыграл попури — и снова перечел приказание. В комнате находился полковой врач Галанин, высокий и лысый, постоянно страдающий кашлем и постоянно поддакивающий Савкину, в котором он видел необычайно преуспевающего и необычайно умного человека с высоким будущим.

— Суд устроить! — сказал Савкин, укладывая балалайку обратно. — Публичный суд. Оно, знаете, и снисходительно и полезно. Посудим, разберемся. И повесим.

— Что ж, полезно иногда и повесить, — подтвердил Галанин, кашлянув. Он подумал и спросил: — Как же, и вешать публично?

— Если с красными связь имел, то непременно публично. Я бы даже под барабанный бой повесил. И снисходительно! И полезно! И дезертирам наука!

— Полезно и дезертирам наука, — повторил за ним Галанин, хотя и не понимал, какая же наука дезертирам, если повесят публично бандита, хотя бы и под барабанный бой? Но он смолчал, попросив Савкина сыграть на балалайке.

Савкин сыграл опять попури, еще раз перечел приказ и предложил Галанину взять на себя организацию публичного суда. Галанин кашлянул — и согласился.

Пока шестерых мужиков собирались судить, они сидели в бане. Городская тюрьма при последнем налете красных сгорела. Под тюрьму дума велела переделать городскую баню, низенькое, одноэтажное здание. Мужиков, как наиболее важных преступников, посадили в самый большой номер. В предбаннике, на куче хвороста, караулил их солдат, а другой солдат, построже, ходил перед их номером с винтовкой на плече.

Алешка Урнев, длинноногий и худой мужик со вздутым животом и с лохматой цыганской бородой, черной и в завитках, приходился братом тому Илье Урневу, который считался в округе «идейным бандистом». Илья действительно отнимал у богатых мужиков деньги и скот и раздавал их бедным. Говорили про него также, что он с красными спознался и что мнит о себе, будто он справедливейший человек на земле, способный исправить неправду и ложь. С собой он был ловок, весел, говорлив и из всех людей, кроме богатеев, презирал только брата своего Алешку.

Правда, и разлились они сильно. Илья много страдал, был восемь раз ранен, хромал на одну ногу, сидел в дисциплинарном батальоне, тогда как Алешка даже и от военной службы был освобожден по скудоумию и полному непониманию того, что вокруг него происходит. Жизнь он видел словно бы через постоянную липкую и вялую дремоту, и лишь неутолимая потребность в еде вносила в эту дремоту некоторую перемену и оживление. Но едва лишь ему удавалось поесть, как дремота — медовая и легкая — совсем заливала его, и он засыпал. Даже здесь, в бане, перед судом и даже перед смертью, он ел по-прежнему, без разбора и быстро, и спал по-прежнему много. Остальные мужики трусились и плохо ели, — Алешка с радостью съедал их порции, и хотя не насыщался, но был доволен. Растянувшись на полке, он, похлопывая себя по животу, говорил, засыпая: «А хорошо я, ребята, пожрал-то».

Мужики с отвращением и злостью смотрели на него, особенно ненавидя его бороду. Бороду он отпустил по совету брата, который пошутил, что бородатого считают за разбойника, боятся и лучше кормят. Алешка поверил.

Именно эта борода показалась разъезду, арестовавшему мужиков, подозрительной.

Злило мужиков и то, что они, побоявшись идти на покос, возле которого часто проходили отряды Илюшки Урнева, взяли с собой для безопасности Алешку, обещав накормить его там досыта и даже мясом, для чего и захватили с собой дробовики. Мужики были из состоятельных, недавно обзавелись по дешевке скотом и опасались, что им не хватит сена, и потому хотели скосить отаву. Чем чаще их допрашивал Савкин, голос которого нежнел с каждой встречей с ними, тем сильнее валили они всю вину на Алешку Урнева, который на всех допросах молчал или отвечал пустыми фразами, отзываясь полным незнанием, да он и действительно ничего не знал, а в конце допроса, когда Савкин спрашивал о претензиях, Алешка неизменно повторял, что кормят плохо, а чаю совсем не дают.

Вот эти-то претензии больше всего и убеждали Савкина, что Алешка Урнев и есть тот самый бандит, который раздает награбленное имущество бедным. Правда, смущало несколько то, что, по всем показаниям, Илья Урнев хром, но кто его знает, не притворяется ли он хромым с тем, чтобы когда попадетя, то главным доказательством своего неучастия в бандитизме выставить свою исправную ногу?

Судили мужиков во дворе городских бань. Зрителей собралось много. Председательствовал на суде Савкин. Ему впервые пришлось председательствовать на таком большом суде, и он остался доволен собой.

Процесс вел он быстро, умело, задавал наводящие и лихие вопросы, публика часто смеялась, и к подсудимым не было никакой жалости, хотя видом они были тощи и серы, особенно теперь, при ярком солнечном свете. Врач Галанин, член суда, тоже проявил отменные склонности к судебным делам. В общем, как у судей, так и у публики было полное впечатление необходимости, важности суда и справедливого наказания бандитов. Через день должен был в городке состояться обычный недельный базар. Мужики разнесут весть о наказании бандитов по уезду и — кто знает — не вызовет ли казнь бандитов возвращение дезертиров.

В конце суда для всех стало ясно, что главным зачинщиком и бандитом был Алешка Урнев. Пять мужи-

ков в голос показали, что Алешка уговорил их пойти в шайку к своему брату, а тот небось с красными связан, недаром ведь Алешка обещал мужикам полную сохранность их имущества и скота. Запуганные и темные, они согласились на его уговоры. Правда, они не совсем еще решились перейти в бандиты и поэтому-то взяли с собой косы. Они даже предполагали отговорить шайку Ильи от бандитизма, уговорить порвать с красными и вернуться к мирной жизни, потому что в городе теперь такой справедливый начальник, командующий справедливым полком... Савкин прерывал мужиков. Савкин не любил лести, так как сам не умел льстить, хотя ему и казалось, что он многое потерял в своей жизни от этого неумения.

В конце двора, под дощатым навесом, кони из холщовых торб ели овес. Воробьи шмыгали у них под ногами. Кони ели солидно, не торопясь, а торопливый шелест воробьиных крыльев донесся через затихшую толпу к столу председателя, когда Алешка Урнев начал свои показания. Его черная кольцеватая борода раздражала не только судей и публику, но и остальных подсудимых. Вспученный живот колыхался, а серенькие глазки смотрели в сторону.

— Чего они болтают...— начал он, хватаясь руками то за живот, то за бороду.— Ружья у меня нету. И никогда-то у меня ружья не бывало.

Ему подумалось: судят за то, что он шел с ружьем, потому что когда мужики слышали топот за колком, то один из них, самый трусливый, передал свое ружье Алешке. Алешке лестно было идти с ружьем. Он и взял.

— Сроду у меня ружья... — повторял он.— Кабы мне ружье... я бы непременно разрешение выхлопотал... будь бы у меня ружье, разве я бы такой тощий был? Я бы каждый день уток бил и щербу варил бы... Ей-богу. Я бы женился, кабы у меня ружье!

Затем ему подумалось, будто его судят за то, что он не женится. Как-то брат сказал ему, тоже шутя, как и в случае с бородой, что теперь скоро неженатых судить будут, потому что народу за войну перебили много и всем тайно приказано: рожать каждый год по ребенку. Из-за этого и междоусобица идет: одни хотят рожать, а другие говорят, что кормить нечем и раньше накормить всех надо, а затем уж и рожать.

— Ты мне невесту найди,— сказал Алешка, торопливо разглаживая бороду на две стороны.— Ты вот начальник. Вот и прикажи, чтоб за меня вышла. А то девки без приказанья если и пойдут, то кормить меня не будут. Скажут: «Это ты врешь, какой ты больной?» А у меня все болит. Мне жениться самое время, ей-богу.

И публика, и председательствующий, и даже судимые мужики ухмыльнулись, понимая, что бандит притворяется неумело, а главное — зря. Но понимали они также, что добиться правды от бандита нелегко.

— Самое время? — переспросил Савкин с тем, чтобы последней шуткой закончить опрос.— Мало остается тебе времени для женитьбы.

— А вот и мало,— обрадовался Алешка тому, что его наконец-то поняли и что вся эта неразбериха сейчас кончится и его отпустят, предварительно досыта накормив и дав выспаться.

— Садись,— сказал резко Савкин.— Суд удаляется на совещание.

Вернувшись, он громко прочел постановление суда, кивая головой во время чтения и этими кивками как бы выражая полное свое соболезнование подсудимым, но и в то же время полное преклонение перед законом, неумолимым и справедливым.

Суд приговаривал бандита Алешку Урнева, он же Илья Урнев, к смертной казни через повешение, а пятерых его помощников, полностью раскаявшихся, к пяти годам тюремного заключения и к церковному покаянию. Пункт о покаянии внес врач Галапин, который хотя и не был религиозным человеком, но всегда считал религию очень полезной для общества и особенно для мужиков.

3

Федор Панфилович осмотрел мельницу, плотину, пригоны для скота, даже фундамент каменного дома, заросший сплошь крапивой и лопухом. У колеса плавали рыбки! Он закурил трубку. Сын Костя с почтительной самостоятельностью всюду ходил за отцом. Невестка ловкими и крепкими руками развешивала по веревкам подсиненное белье. Когда Федор Панфилович мельком взгля-

нул на ее розовые, тоже слегка подсиненные руки, он щемяще подумал: вот ему бы такую бабу. Без зависти подумал, считая себя несравненно ловчее и опытнее сына, значит, более достойным награды. А что Костя? На что он способен? То отцу поддакивает, то жене... Но в общем все шло хорошо, исправно. Сам Федор Панфилович еще молод, сын помогает и слушается — и будет у них богатство и шесть мельниц на реке, а затем они еще такое придумают — весь округ охнет... На склоне слегка колыхались подсолнухи. Казалось, бородатые их лица тоже радовались удачным начинаниям Федора Панфиловича.

Подошла Маша, невестка, стряхивая с рук синие капли воды.

— В городе-то бандиста вешают, — сказала она жалостливым голосом, но лицо ее и все ее движения указывали, что она не столько жалеет от сердца, сколько из желания показать мужу, который, так же как и отец, считал повешение бандита необходимым и важным делом, что она думает по-своему.

— Из одной деревни с ним разве? — полузвительно-полушутя спросил невестку Федор Панфилович и тотчас же добавил: — Бандита непременно вешать надо. Только виселищу ни к чему строить. Поленом по голове — и весь разговор.

Они шли по меже вдоль подсолнухов. Невестка пригнула подсолнух, громадный, мощный, лицом в человеческий обхват, и сразу, забыв не только о повешении, но и о машине, посредством которой будут вешать бандита, — похвалила умную затею сеять подсолнухи. Федор Панфилович обрадовался этой похвале, хозяйственным мыслям невестки и тут же рассказал сыну о том деле, ради которого он сюда приехал. Он запродавал подсолнухи и получил задаток. Деньги — известно — бумажки, а серебро есть серебро. Вот он и купил по случаю у приехавшего из голодных мест кое-что из серебра. Спрятать его, пока на мельнице посторонних людей нету.

Невестка и сын молчали, потупившись в землю. Они всегда молчали, когда Федор Панфилович говорил о хозяйстве, потому что при малейшем сопротивлении он багровел, резко и грубо ругался — да и к тому же он поступал всегда правильно. Вот и теперь. О чем тут спорить? Деньги действительно бумажки, а серебро действи-

тельно серебро. Кроме того, им было даже приятно молчать сейчас и соглашаться с ним. Сыну — потому, что отец признал хозяйственность за невесткой, найдя необходимым поделиться с ней своими замыслами и предположениями. Невестке — по тем же причинам, по которым приятно было Косте, и еще потому, что она правильно поступила, когда похвалила посев подсолнуха, хотя про себя она всегда думала, что лучше всего сеять пшеницу, а для баловства мак. Она любила цветы, и в горнице ее рос в кадке фикус. Правда, она похвалила подсолнухи искренне: очень уж они велики и крупны уродились. Она уважала всякую крупную зелень и всякий крупный ум. Уважала она и Федора Панфиловича и мужа своего Костю уважала за то, что тот умом пошел в отца. «А на следующий год уговорю посеять маки», — подумала она с уважением о самой себе, и ей стало весело и легко.

Перед ними лежала равнина, пепельно-синяя, далекая. Снизу, из мелкого сосняка, качаясь, выходила на равнину дорога. Она разрезала равнину, как стальной нож разрезает булку хлеба. По обеим сторонам дороги, как везде в Расее, колыхались колосья и звенели птички. А совсем далеко, словно облако, стояли горы, и пена фиолетово-золотистого дыма клубилась там. Они сразу поняли, что значит этот дым, и Федор Панфилович повернул обратно.

— Дома строить надо, а они — жгут. Али виселицы строят, — сказал он, широко шагая.

И таким же широким и тяжелым шагом шли за ним его сын Костя и невестка его Маша.

Они плотно и не спеша пообедали, выпили чаю — чашек по десять, — и Федор Панфилович велел сыну принести лопату. Когда они закопали серебро и возвращаясь обратно, невестка опять какими-то невысказанными словами пожалела бандита и, главное, пожалела тех баб, которые живут в городе и должны видеть повешение.

— А ты не ходи, — сказал Федор Панфилович.

— Как же не пойдешь, если все идут! Это вы, Федор Панфилович, умеете заняться хозяйством и не смотреть. Всякий другой непременно пойдет.

Федор Панфилович не понимал, смеется она над ним или говорит с уважением. «Ой, завладеет Костюшкой баба, — подумал он, — непременно завладеет». Он опять подумал не без удовольствия: в общем, хорошо, что стару-

ха умерла и он вновь не женился. Обман вся эта бабья плотность! С виду как будто держишь в руках, а взглядишься — пустота. Вот чего ради баба охаяла город: в городе, дескать, как не пойдешь, если все идут. В городе ей жить не хочется, что ли? Хочется. Охаяла потому, что вы, дураки, живете в городе и получаете бумажки, а мы на мельнице, а получаем серебро.

«Ой и жадна ж ты, баба!» — продолжал думать Федор Панфилович, смотря, как невестка быстро и ловко запрягала ему коня, лихо открыла ворота, ловко саданула ногой прыгающих у морды коня собак. Федор Панфилович оглянулся. Она шла к дому. Ее крепкая и розовая шея была покрыта крупными каплями пота. Федор Панфилович вспомнил ее голос, когда пересыпали опилками серебро и она взяла в руки чернильницу. «Тяжела», — сказала она, и ему показалось, что голос ее дрогнул, как никогда не дрожал.

Затем он подумал, что ему надо много и неустанно работать, наживать добро для того, чтобы крепко держаться в необходимом для него спокойствии тех людей, которые стоят вокруг него и будут стоять. «Построим шесть мельниц, — подумал он, — построим. А там держитесь!»

4

Была глубокая ночь и в небе высоко стояла луна, когда мельник, Федор Панфилович Пронышко, подъезжал к лесочку, за которым начинался городской базар. Мельник крепко сидел в таратайке, спустив одну ногу к земле. Серебристая пыль, как мерлушковый мех, стлалась возле колес. Конь, каурый, тощий, но сильный, так же как его хозяин, знал свою дорогу и знал, как по ней идти. Спина коня, острая, костлявая, чем-то напоминала рыбу. А рыбы в воде прозрачны, словно алебастр. И про алебастр вспомнил Федор Панфилович. Давно, когда он облюбовывал место для мельницы, нашел он в овраге, возле которого теперь растут его подсолнухи, несколько глыб алебастра. Придет время, и алебастрик-то поможет ему выстроить шесть мельниц. И камни раскрывают свою душу для умного человека.

Мельник взмахнул кнутом. Конь недовольно вильнул задом: почему он должен скакать галопом через лесок?

Чем этот лесок опаснее поля и шоссе? И мельник подумал, что конь прав. Федору ли Панфиловичу трусить перед мертвецами, да и к тому же бандита, наверное, давно закопали, а если не закопали, то у виселицы стоит часовой, и не один небось, а несколько. Военные люди, а как хозяйничают! Плохо хозяйничают, как будто война не самое тяжелое дело на свете. Виселицу, видите ли, построили! Ломом его по шее — и весь разговор.

Мельник раскурил трубку и, чтобы самому себе показать, что он не боится мертвецов, остановил коня, не спеша уложил в пиджак табак и спички. Мысли о бандите мешали его мыслям об алебастре и мельницах. Алебастр привозят в губернский город за восемьсот верст, а он будет его привозить за шестьдесят. Вот как только кончится война, начнут строиться, — десять мельниц он построит, а не шесть. А тут какой-то бандит...

Колеса крутились тихо, беспыльно, и конь ступал тихо, беспыльно. Вокруг сосен столпился теплый воздух, и теплота его явно видна была под луной. В шагах трех от сосны стояли другие, но уже холодные воздушные столбы, голубовато-молочные, а среди них мелькали еле уловимые глазами влажные вихри. Если сверху падала иголка хвои, то она падала по спирали, как бы с одной световой ступеньки на другую. Лунный свет бился вокруг исчерна-малахитовых сосновых теней, а тени тревожно метались по дороге, и весь лесок от этого был наполнен тревогой.

Тележка отлично смазана. Удары копыт сухо отдавались в лесочке. Мельник был доволен. Уже видны крыши базарных балаганов. Лесок кончался. И тут-то он и услышал стон. Вернее, он не услышал, а вначале конь повел ухом в сторону полянки, на которой стояла виселица. Конь повел ухом и отвернулся, не придавая стону значения. И опять-таки, дабы не упрекать самого себя в трусости, Федор Панфилович остановил коня. Стон, сопровождаемый хрипом, повторился. Мельник, свесив обе ноги и выколачивая трубку о передок, смотрел на полянку.

На полянке стояла виселица, очень основательно сколоченная из пятивершковых бревен. На перекладине, совсем как в песне, висел разбойник. Ни часовых, ни людей, ни даже бродячей собачонки. Какое дело мельнику, кто там стонет: разбойник ли, часовой ли, уведя вдову

в кусты! Мельник идет твердо к своим мельницам. Все знают, что он недобр, и ему самому лучше всех известно, что он недобр, а кроме того, бандитов, конечно, надо вешать.

— А вешать надо умеючи,— сказал мельник вслух и вдруг очень рассердился на командира полка Савкина.

Мельнику хотелось спать, а выспавшись, он пожелает действовать, он готов сопротивляться любому напору, но ему тяжело томиться в неизвестности. Он если делает свое дело, так делает хорошо, а тут...

Мельник повернул коня и вплотную подъехал к виселице, так что край его тележки находился против бо- сых ног повешенного бандита. Под колесами шуршали щепки, и мельник подумал: «Вот, даже щепок не могли отместить. Хозяева!» От щеп несло смолой, и луна стояла как раз напротив перекладки.

Теперь было ясно, что хрипел повешенный. Свежая веревка была натянута, как струна. От лунного света его дрянные подштанники и холщовая короткая рубаха сияли необычайно бело. Ступни его ног чуть-чуть шевелились, а оба больших пальца судорожно вздрагивали. Мельник вскочил в тележку и, упершись руками в бока, смотрел на повешенного. Голова Федора Панфиловича доставала теперь до пояса Алешки Урнева.

«Вот ведь тоже работнички,— думал мельник с озлоблением,— выстроили! Будто тысячу человек собираются вешать, а одного по-настоящему повесить не сумели. За ноги дергать нужно, за ноги, если уж вешаешь».

И он смотрел на эти чуть вздрагивающие ноги. Вережка, по всей видимости закинутая неумелыми и торопливыми руками, попала на загривок, а кроме того, под веревку попала и борода, так что Алешка Урнев упирался теперь подбородком в веревку, и было такое впечатление от лунного света, что у бандита две бороды. Рот у Алешки был крепко закрыт, и хрип шел через нос.

«Убивать бандитов надо,— продолжал свои мысли Федор Панфилович,— так ты убивай умеючи, а если не умеешь, так и не берись. Шило и то дурак не наточит, а непременно себе палец поранит. Или велико дело засыпать пшеницу, а сколько раз я Костю мордой тыкал, пока не научил».

И сейчас он понял, что надо ему поучить немного людишек, даже в таком стороннем ему деле, как пове-

шенье бандита. Особенно его возмутило то, что с поляны исчезла стража. Во время войны, думал он, самое важное уметь охранять. По всему было видно, что народ только что разошелся — и глупые караульные побежали за народом. Юбочку какую-нибудь приподнятую учуяли. Вот и Костя, когда за Машкой бегал, так зерно забывал засыпать. Подвести и ткнуть мордой в такое безобразие! Какая народу наука от подобного повешения? Один соблазн. Всякий скажет, и полное его право сказать: «Если вы бандита не способны повесить, то как же вы предполагаете управлять нами? А еще офицеры. А еще гласные городской думы!»

Строгий был человек этот мельник, строгий и упрямый. Лучше его не сердить! А если рассердится, так сам на свою сердитость любитесь, не остановишь его.

Федор Панфилович достал было трубку, но сунул ее обратно и, сказав коню: «Ну, ты, стой!» — хотя конь и без того стоял смирно, — уперся грудью в Алешкин живот, руками подхватил под мышки и, приподняв, вынул Алешку из петли. Приподнять легко, но едва он освободил его из петли, как Алешка огрузнел и раскис, так что мельник едва не упал с ним. Все-таки он смог его положить на плечо и, держась рукой за тележку, скрипящую и шатающуюся, перетащил на землю.

Вначале Алешка лежал, неподвижно вытянувшись, даже ноги его перестали шевелиться, а затем он застонал, его вытошнило, и он стал сильно дрожать и биться коленками. Живот его вздуло еще сильнее. Мельнику противно было смотреть. Он перешел на другую сторону тележки и, достав трубку, закурил.

Он досадовал на свою горячность и постоянное стремление к отпору. Ясно, что большого вреда поступок его ему не принесет, но все-таки получается некоторая чепуха.

Если теперь мельник направится жаловаться на плохих работников, не сумевших повесить бандита, то в это время бандит, очухавшись, просто-напросто удерет. А кто поручится, что в кустах не сидит с девкой часовой или просто спит или не спит, а все видит, но не желает почему-то выходить? И кому же не известен в городе конь мельника Пронышко и сам мельник Пронышко? Кроме того, снятие с петли — само по себе незаконное дело, и бандит есть бандит, и его надо доставить к Савкину.

Алешка Урнев исходил в испарине, был скользок и мокр. Мельник с большим трудом положил его в таратайку, а сам сел на облучок. Ему было противно сидеть рядом с бандитом. Но когда мельник проезжал через базар, он все-таки пересел в таратайку, и сделал это он вот почему. Ему подумалось: нелепо сейчас появиться перед Савкиным, будить его и, главное, не нарочно ли повешен бандит с таким расчетом, чтобы подольше мучился?

И чем дальше обдумывал свой поступок Федор Панфилович, тем ему становилось ясней, что люди не поймут его, а, скорей всего, подумают, что мельник заодно с бандитами, вынул Алешку по их наущению, но почему-то не мог зашуровать свое предприятие, а привез бандита обратно. Он посмотрел на Алешку со злобой.

Алешка лежал навзничь на сене, упершись пятками в облучок. Глаза его, очень равнодушные и спокойные, были раскрыты. Даже тогда, когда ему накидывали на шею петлю и поп давал целовать крест, Алешка не верил, что его повесят, а полагал, что это опять баловство его брата Ильи, а главное, что его, Алешку, после этого необыкновенно плотно накормят.

Мельник махнул на него рукой:

— Лежи, если лег.

И Алешка закрыл глаза. «Накормят,— подумал он,— теперь-то непременно накормят».

Городок лежал в том тусклом и в то же время необычайно тревожном лунном свете, в каком пробегал перед мельником сосновый лесок. Палисадники обвевала тускло-золотистая пыль.

Баба-стряпуха открыла ворота. Она зевала и ничего не видела. Развевая длинную белую рубаху и мелко шагая жилистыми ногами, она равнодушно вернулась досыпать, едва хозяин сказал ей, что сам распряжет коня, едва ли не так же равнодушно, как она способна была сама распрячь или же лечь спать с хозяином. Алешка, тоже зевая, слез с тележки. Мельник резко сказал ему:

— Чего уставился? Отведи коня.

— Шея болит,— хрипло сказал Алешка.

Мельник достал из колодца ведро, велел Алешке наклониться и вылил ему на голову воду. Алешка, как

стоял, согнувшись и держась руками за живот, так и остался, пока мельник не распряг коня. Вода стекала у Алешки по бороде сверкающими синими каплями.

— Прошло, что ли?

— Вроде прошло.

— Ну, чего гнешься? Прямись.

Алешка выпрямился.

— Вот сапоги сняли, дьяволы. Я говорю: зачем снимаете? А они: на том свете и без сапог весело. С братом, говорят, встретишься, потому ты сам себе Илья, значит, пророк и сапоги добудешь.

Алешка сказал это вяло, не со зла, а просто ему было лень думать, что откуда-то теперь надо доставать сапоги, поэтому-то он и жаловался на то, что отняли сапоги. Ну, сапоги пропали, туда-сюда, и босиком не беда, а вот как без штанов, если подштанники рваные. Он вспомнил, с каким трудом он достал те штаны, которые отняли у него солдаты. Пришлось проработать попу весь покос, да и то поп не желал давать штаны и, только услышав, что брат его Илья орудует где-то неподалеку, отдал Алешке штаны. Штаны были хорошие, суконные, без единой заплатки и с двумя глубокими карманами, в каждый из которых входило по два голубя. Алешка любил гонять голубей.

Мельник повел Алешку за собой. Они прошли мимо кухни. Оттуда доносился уже храп стряпухи. Вдоль стен стояли лавки, а посредине — высокая кровать с никелированными шишками по углам и громадными подушками. Один ставень полуоткрыт, мельник всегда оставлял его так, чтобы не проспать. Мельник взял подушку, решив лечь на лавке, ему противно было ложиться в кровать при бандите. Федор Панфилович лег на лавку, которая была поближе к дверям, возле печки, указал Алешке противоположную лавку. Алешка зевал и чесался.

Алешке нестерпимо хотелось спать, но еще более нестерпимо хотелось есть. А богатая обстановка, окружавшая его, и особенно металлическая кровать с круглыми, пожалуй, серебряными шишками ослепила его. В углу он увидел божницу и богов в серебряных ризах. В другом углу — граммофон с невероятно широкой трубой. А на полу лежала дорожка. Как тут попросишь каши? Про-

стой гречневой каши и кусок хлеба, фунта в два, а лучше в три. И каши горшок такой, чтоб не поднять. Лицо у мельника было злое, и Алешка лег на спину, подложив под голову кулаки.

— Слушай... ты... бандит...— сказал вдруг, садясь на лавку, мельник.

«Накормят,— поспешно подумал Алешка,— непременно накормят».

— Жалко... мне... тебя... стало... Вот и вынул! А вот, через час-другой, луна... скроется... так ты... того... убирайся! Я б тебя и сейчас выпустил, да светло. Скажут, от мельника бандиты выходят! А ты из города подальше подайся, тогда здесь, глядишь, и подумают, что бандиты тебя унесли хоронить, вроде Иисуса Христа сняли тебя с виселицы, как его с креста снимали. Дам я тебе штаны, верхнюю рубаху, ну и сапоги, черт с тобой. Пожалел я тебя, пойми. Дам я тебе даже три рубля денег. На дорогу хватит... Ты только обо мне молчи. Понял, что ли?

— Понял, дяденька,— тонюсеньким и растерянным голоском отозвался Алешка, поверив в мельникову жалость и особенно испугавшись сравнения с Христом. Он даже подумал: не поп ли мельник? И он посмотрел на его волосы. Он вспомнил, что поп, который не отдавал ему штаны, часто ходил без рясы, в длинных сапогах и в пиджаке. Впрочем, мысли эти быстро исчезли. Ему очень хотелось есть. Особенно каши.

Он принял штаны, натянул сапоги, которые только три дня назад подбил мельнику сапожник. Сапожник, конопатый франт, по праздникам даже надевавший котелок, обманул мельника на рубль. В результате разговоров с сапожником вышла крупная ссора, и мельник обозвал его шпаной. А вот теперь приходится отдавать сапоги, иначе как этого черта спровадишь: он так зевает, что суток на пять завалится спать.

— Пожалел я тебя, понял? Через два часа уйдешь. А пока подремли. Я разбужу.

Алешке очень хотелось сказать: «А ты пожрать бы дал»,— но голос у мельника был такой злой, и он с такой силой кинул ему сапоги, что Алешка опять пропищал не своим голосом:

— Да я и то сосну, дяденька.

Однако ни мельник, ни Алешка не смогли заснуть. Мельник считал свой поступок справедливым и верным, но все люди, окружавшие его, творили такое количество глупостей, что даже самый прекрасный, справедливый поступок превращался тоже в глупость. Обидно было ему и то, что он сказал бандиту, будто жалеет его, в то время как он чувствовал к нему не жалость, а все увеличивающуюся злобу. Бандит притворяется дураком, ворочается, не спит, а кто его знает, что он замышляет?

Алешка Урнев продолжал думать о пище. Громадный сизый горшок с кашей, покрытый черной коркой, с плавающими поверх кусочками масла. Эх!..

Алешка начал обижаться. Обиделся он вдруг и на мужиков, которые сидели вместе с ним в бане. Мужики, узнав, что его ведут вешать, начали горевать о нем; один рыжеусый даже прослезился и, утирая слезы, попросил у Алешки «на память» серебряный крестик. «А то ведь все равно отымут», — сказал он жалостливо. А на самом деле, думал теперь Алешка, мужики радовались его гибели, поняв, что их-то вешать не будут.

Рыжеусый, получив крест, дал Алешке краюху хлеба, и Алешка вышел к конвою, жуя краюху, и старший конвоир сказал с уважением: «Вот это бандист так бандист».

Обижали Алешку и тесные сапоги, подаренные ему мельником. Те сапоги, которые отняли у него солдаты, были куда свободнее и легче. А больше всего было обидно, что никак он не мог заснуть и, главное, выкинуть из головы мысль о каше.

Все, о чем ни пытался подумать, как-то очень убедительно мешалось с кашей. Вот дал ему мельник деньги. Ловкий мельник, складный. Ловко наклонившись, с широкими плечами, узким задом и с русыми, слегка вьющимися на шее волосами, рылся он в сундуке, доставая Алешке деньги. Ночь светлая, и затылок у мельника светлый-пресветлый, и словно ветерок бежит по русым волосам. А сколько каши можно купить на эти данные мельником деньги? «Мало, — думал Алешка, — мало я куплю каши. И чего ему жалеть? Раз тебе поручили, ты не жалея». Алешка не знал и не хотел знать, кто и зачем поручил мельнику вынуть Алешку из петли, но что

поручили его вынуть и даже дать денег, в этом для него теперь не было сомнения. И чем Алешка больше чувствовал себя проголодавшимся, тем ему несправедливее казался мельник. Алешка претерпел все, что ему было приказано, исправно, а теперь за претерпленные страдания он желал получить настоящее и стоящее вознаграждение: сон досыта, еду досыта.

Ему хочется есть! А для того чтоб вволю поесть, ему надо много и много денег. А мельник скрыл те деньги, которые он обязан был выдать целиком Алешке. А в сундуке небось денег-то уйма! Свет луны густел, становясь молочно-оловянным. От крышки сундука он вползал на потолок, а щепы, которой мельник подпирал крышку сундука, чтобы она не стукнула его по шее, щепы из тех, что много лежало возле печки, рядом с несколькими безрезовыми поленьями, щепы, лежащая на сундуке, отражалась на белом потолке очертаниями черного петуха. Петух этот толстел, густел, луна, видимо, склонялась, пора бы и уходить. И тут в комнате явственно запахло кашей. Алешка знал, что никакой каши нет, что запах каши чудится ему, а все-таки привстал на локте.

Раньше он никогда не интересовался деньгами, да и сейчас думал о них вяло и неумело, но ему казалось, что как только он возьмет в руки деньги, так немедленно же и будет сыт, немедленно же получит свою кашу. Он с опаской посмотрел на сундук, который казался ему еще шире и богаче, чем раньше. И ключ торчит в сундуке словно нарочно. И мельник спит.

Лучше и легче, казалось ему, подойти к печке, отодвинуть заслонку и вдоволь наесться каши. Не может же быть, чтобы запах мерещился ему? А вдруг загремишь заслонкой? Ведь печка-то чужая, кабы дома. А что она загремит, так это наверняка. Сколько он раз пытался потихоньку достать дома из печки горшок с кашей, и постоянно гремела заслонка, и постоянно просыпалась мать, постоянно его била, даже взрослого. Хотя Алешка всегда считал себя ловким и оборотистым, но вот с кашей всегда получался грохот.

Он сед, почесал спину, зевнул. Сапоги сильно жали ноги, особенно левую и особенно левый большой палец. «Али уйти с этими деньгами, которые получил?» — нерешительно подумал Алешка.

— Дядь, а дядь, — сказал он пискливым шепотом.

Мельник лежал неподвижно. «Наелся и спит. Небось каши-то три горшка съел. Да штей еще...»

Но мельник не спал. Раньше, до Алешкиного возгласа, он так же, как и спасенный им бандит, смотрел на лунное сияние, на тень щелы, ползущей по потолку, а когда Алешка приподнялся на локте, он решил притвориться спящим, посмотреть, что задумал бандит. Он почти закрыл глаза, и Алешка виден был ему теперь сквозь серую прыгающую сетку. И вспомнилось ему, что, когда он полез в сундук за деньгами, Алешка, натягивавший за его спиной тесные сапоги, пыхтя и сопя, вдруг, когда мельник взял в руки деньги,— затих. Тишина эта и тогда мельнику показалась подозрительной, он поспешно захлопнул сундук и даже от растерянности забыл вынуть ключ, но так как все свои поступки он считал правильными, то этот поступок с ключом он постарался забыть, а вот теперь, кто знает, не ключ ли тому виной, что Алешка приподнялся на локте и сказал: «Дядь, а дядь...»?

Прикрикнуть бы сейчас на этого бандита, чтобы не мешал думать, но то ли от презрения,— от человека всегда жди пакости! — то ли он поопасался, что, совершив одну оплошность с ключом, он, крикнув сейчас на Алешку, совершит вторую,— как бы то ни было, мельник продолжал лежать с полузакрытыми глазами. И в серой сетке, танцующей и теплой, плыл перед ним Алешка.

«Если встать и сказать, что пора идти,— продолжал думать мельник,— так рано». Надо еще обождать не меньше часу, когда заснет весь город, вплоть до собак и кошек. Он хорошо знал этот час непробудного сна, час, чем-то напоминавший ему детство. Он обычно в этот час отправлялся к стряпухе, толкал ее кулаком в бок, она вставала грудью вперед, вытирала рукавом рот и непременно спрашивала: «А день-то сегодня не постыный?»

Алешка по-прежнему сидел, почесываясь и сплевывая. Затем он еще раз окликнул мельника, и мельник не отозвался. Тогда Алешка встал и перешитительно шагнул к дверям. «Ну и сыпь»,— подумал мельник. Он решил не останавливать бандита и не провожать. «Заарестуют, так пусть».

Но Алешка остановился в дверях. Пошевелил скобой. Вернулся. Сел. Вяло вздохнул. Живот почесал. Затем

несколько минут рассматривал живот свой, вздувшийся и острый, справа и слева.

И вдруг Алешка уверенно и быстро шагнул к сундуку.

Скрипнула половица.

Алешка остановился.

И в сердце у мельника тоже что-то скрипнуло и засосало. И это скрипение и тягота перекинулись в голову и бесчисленное количество раз зажужжали в голове: «Вот тебе и на!.. Вот тебе и на!»

Алешка повернул голову. Но не к мельнику, а к печке. Его черная и громадная, вся в завитках борода была какой-то особенно черной, какой-то пустой. И мельнику стало жалко: зачем он вместе с сапогами дал Алешке еще и сатинетовую рубаху. На этом выцветшем голубом сатине особенно громадной кажется бандитская борода. И случаются же такие бороды! Но где-то, позади этих мыслей о бороде и сатинетовой рубахе, стучало: «Вот тебе и на!.. Вот тебе и на!..»

Алешка присел у сундука. Щелкнул ключом. Крышка поднялась. Алешка подпер ее щепой. Он уже совсем не обращал внимания на хозяина: шумно открыл крышку, шумно сопел, стучал каблуками, словно сознавал свою силу и страх, внушаемый им.

А на самом-то деле Алешке казалось, что он действует чрезвычайно неслышно, осторожно, так, как не действует ни один вор в мире. Да он себя и воров не считал. Он просто желал взять то, что ему недоплатил хозяин. И взять он тоже хотел немного, рублей десять, пятнадцать. Но ему попадали под руку только какие-то длинные и узкие тряпки. «Все небось шелка», — подумал он. Ему даже показалось обидным, что вот первый раз в жизни встречается с шелками, а не может их разглядеть — да что разглядеть, пощупать по-настоящему не удается. Он быстрее и быстрее двигал руками, но бумажника с деньгами так и не попалось. Ему стало скучно.

Попался поминальник, его Алешка узнал по металлическим углам переплета и бархатной обложке; затем попался большой металлический крест. А денег так и не было. Э, плюнуть, захлопнуть сундук и лучше поискать в печке каши. К тому же и ноги затекли, и пачало пока-

лывать в икрах, и еще подумалось: «Где же и кто же ночью продаст ему каши?» — «Нет, — ответил он сам себе, — за большие деньги непременно продадут».

И как только он опять подумал об этой каше, ему захотелось лечь прямо в сундук, в эти шелка, и заснуть там надолго-надолго. Он даже испугался и поспешно захлопнул сундук, вырвав щепу, поддерживающую крышку. Он махнул этой щепой, чтобы отбросить ее в сторону, и вдруг щепка раскололась у него в руках на бесчисленные искры, впереди сверкнул ослепительный и страшно знакомый свет, и Алешка почувствовал себя необычайно сыто и покойно.

Мельник положил полено к остальным березовым поленьям и наклонился над упавшим Алешкой. Федор Панфилович метил в то место, где голова соединяется с шеей, он опасался, что если ударить в голову, то брызнет кровь, надо мыть, скоблить, стряпуха хотя и не болтлива, но кто ее знает до конца? — и верно попал в то место, куда метил. Парень не дышал. Мельник пощупал его сердце. Оно остановилось. Мельник был очень спокоен. Это спокойствие пришло к нему, как только он ударил поленом Алешку. «Ну, вот тебе и на! — последний раз повторил он и больше не повторял этой фразы, добавил: — Жалеют вас, а вы воруете».

Как ни посмотрит, а он поступил правильно. Спас жизнь человеку, отпустил, а вместо благодарности человек лезет к нему в сундук. А попробуй окрихни его, — ножом бы хватил, а если не ножом, то руками бы задушил. Экие вон они, ручищи-то, раскинулись, неблагодарные. Экий острый животище, неблагодарный. Хорошо хоть полено под руки попало.

Мельник подошел к окну. Наступал тот час, когда Алешке следовало бы уходить. В горле у Алешки что-то клекнуло и стихло. Федор Панфилович еще раз пощупал его сердце и голову. Сердце не билось, а кровь из головы не шла. Все в порядке. «Вот и шел бы ты теперь, дурак, полем... — подумал мельник, не без сожаления поглядывая на труп. — А теперь вот лежишь, и никакого от тебя толку».

Он степенно и не торопясь надел брезентовое пальто и синюю праздничную фуражку, посмотрелся в зеркало, но ничего не разглядел, так как луна почти совсем скры-

лась. Закапывать труп негде, да и когда теперь успеть вырыть яму?

Он быстро вывел коня. Конь фыркал, задира л голову и с неохотой, боком входил в оглобли: стряпуху Федор Панфилович решил не будить. Сам открыл ворота. Подвел тележку к крыльцу, с трудом впахнул труп в тележку. Все время почему-то под руки попадала громадная, черная борода. Он с силой хлестнул коня. Конь удивился, даже попятился от удивления: его никогда так не били, к его труду всегда относились с уважением. Федор Панфилович хлестнул второй раз. Конь рванул.

Было совсем темно, свежо. Пала роса. Полянка, где стояла виселица, была вся покрыта как бы сивой мерлушкой. Федор Панфилович быстро и ловко подпятил таратайку под виселицу. Конь фыркал, даже пытался тронуться, но Федор Панфилович так прикрикнул на него, что конь замер в совершенной неподвижности и так стоял все время, пока мельник поднимал труп и накидывал петлю на шею.

Влажная от росы веревка выскользнула из рук, голова Алешкина моталась из стороны в сторону — куда ловчей было снимать. Но все-таки Федор Панфилович изловчился, откинул несколько в сторону петлю, и когда она летела обратно, он и вставил Алешкину голову бородой поверх веревки. Труп солидно вытянул руки по швам, качнулся и поплыл от дрожек, а с перекладины виселицы посыпалась роса, и несколько капель упало на лоб Федора Панфиловича. «Это верно, — подумал он, — надо умыться». Он не то что полюбовался на труп, качавшийся возле дрожек, но все-таки был доволен, и когда трогал коня, то напоследок дернул труп за ноги, вниз. «Вот тебе и на! — сказал он себе, поплотнее усаживаясь в таратайку. — Неблагодарный ты дурак. Жалеть тебя не стоить».

Городок спал по-прежнему. Федор Панфилович не спеша закрыл ворота, не спеша распряг коня, подсыпал ему овса, вымыл у колодца холодной голубой водой руки, голову и грудь. Он был доволен собой и бодр. Он, ухмыляясь своей отличной выдумке, улегся в постель с никелевыми шишечками, потянулся и, не успев договорить про себя: «Вот так надо вам вешать...» — мгновенно, твердо и настойчиво, как он все делал в жизни, заснул. Снов ему не снилось.

День праздничный, базарный, и слухов оттого в городке — как и следовало ожидать — появилась тьма. Подвод съехалось много, приехали и перекупщики из губернского города, а перекупщики самые что ни на есть сплетники из всех сплетников, но даже и они не поверили тому, что принесли мальчишки. А принесли они совсем страшный рассказ: повешен был вчера бандист Алешка, он же Илюшка Урнев, и повешен был в одном нижнем белье, без сапог,— это все ясно помнили, и из-за этого конфуза многие порядочные женщины, как им ни желалось, не смогли присутствовать при повешении,— а сейчас этот бандист висит в сапогах, в штанах и голубой сатинетовой рубахе.

Крайнее любопытство овладело городком. Многие устремились на полянку.

Савкин всегда вставал рано, всегда окатывался холодной водой, хотя и страдал от этих окатываний часто насморком, но придерживался он этого решения, надеясь согласно книгам получить от этого бодрость и жизнерадостность. Пришел врач Галанин, смущенный происшествием, однако надеющийся, что оборотистый Савкин найдет в этом нечто полезное для командования полка и для солдат. Но растерянные глаза и побледневшее лицо Савкина вдруг указали ему, что Савкин не способен рассуждать и разбираться в происходящем. Савкин способен исполнить приказание, да и то не всякое. Галанину хотелось сказать Савкину, что настроение солдат тревожное, что солдаты болтают о мужиках, будто бы те потому приехали на многих подводах, что собираются устроить внезапное нападение на город. А к городку еще идут воза. Савкин тер спину мокрым полотенцем, мычал, глаза его делались все тревожней и тревожней, и Галанин все больше и больше понимал, что напутал он в своем определении Савкина, что погибнуть ему...

— Что же намерены предпринять, Григорий Осипович,— спросил он, кашлянув, все еще не решаясь высказывать вслух свои мысли,— в смысле бандита Урнева?

— Предпримем,— сказал Савкин, свертывая полотенце.— Вы считаете, мужики одели бандита?

— Что же вы думаете предпринять?

— Предпримем,— ответил Савкин, уходя в дом.

Галанин шел за ним, переспрашивал, и это не раздражало Савкина. Он полагал, что у Галанина есть свой замысел, но он его почему-то желает сказать последним. Иначе чем же объяснить его резкий разговор: резкий не словами, а голосом и каким-то неуловимым покашливанием, каким-то нарастающим оупением.

— Зачем же вешали в белье?

— Я не отдавал приказания.

— Кто же отдал?

— Кто знает,— ответил растерянно Савкин.— Бог один.

Приказание это отдал командир той роты, которой поручено было повесить бандита, подпрапорщик Герасимов. Герасимов был мечтательный и юный парень, влюбленный в дочь хозяйки дома, где поселили его. Ему было стыдно сознавать, что он исполняет обязанности палача, но не мог же он отказаться: служба, к тому же он доброволец, он и приказал повесить бандита в нижнем белье, правильно рассчитывая, что стыдливые девушки не придут, а значит, не придет и его любовь. Она и не пришла.

— Обследовать! — воскликнул Савкин. Всегда раньше, когда он восклицал эти слова, сложная обстановка становилась понятной, но сейчас такого ощущения не было. Он совсем расстроился, не стал пить чаю и велел оседлать коня.

Подпрапорщик Герасимов, кляня себя за ошибку, растерянно стоял перед виселицей. Его любовь была в первых рядах толпы и явно гордилась тем, что жених ее герой.

Дело в том, что этой ночью Герасимов сделал ей предложение стать его женой. Она согласилась и уважала его за то, что он не пытался уговорить ее сделать одолжение в том, в чем просят женщин сделать одолжение все военные, жениющиеся в походном порядке. За это хорошее отношение к ее нетронутости она и палачество его рассматривала как геройство.

Два солдата с саблями наголо стояли по обеим сторонам трупа. Настороженно и молчаливо смотрела толпа.

Савкин остановил коня позади толпы. Он растерянно смотрел на вытянутое лицо покойника, и как ему всегда думалось при виде черной окладистой бороды, так и те-

перь он подумал, что вот хорошо бы иметь такую бороду раньше, когда на бороды еще была мода. Затем он подумал, что для устрашения покойник повисел достаточно, что пора и закопать. Вот соберется побольше мужиков, и тогда нужно произнести речь, а по ходу речи выплывет что-нибудь такое, объясняющее причины, по которым бандит оказался одетым... Но он никогда не произносил речей, а из всех людей, которых он уважал и которым он подражал, тоже никто не произносил речей. Он смущенно похлопал коня по шее. Толпа, думая, что он хочет подъехать поближе, расступилась. Он не знал, подъезжать ли ему к виселице или говорить отсюда.

Выручил его сапожник, тот конопатый щеголь с мясистым носом, который по праздникам надевал котелок. Он и теперь был в котелке. Сапожник, только и дожидавшийся начальства, поднял котелок над гладко приглаженной, с прямым пробором, головой и крикнул:

— Ваше превосходительство! Братцы! Так это же сапоги мельника. Я ему их третьего дня подбивал.

И точно. Все сразу узнали тогда сапоги мельника, и штаны мельника, и голубую рубаху мельника.

А солнце поднялось уже высоко.

Деревья пылялись от многих проходивших мимо воев.

Вели мельника к виселице. У него было решительное и настойчивое лицо. И все-таки, когда он рассказывал, по каким причинам он снял бандита, он соврал, сказав, что снял не потому, что плохо повесили, а оттого, что пожалел его.

— Все мы христиане,— добавил он не без удовольствия,— и всем нам сказано господом: не убий.

Врач Галанин попросил разрешения снять труп. Савкин растерянно кивнул головой. Галанин ощупал труп и сказал:

— Все данные, господин мельник, указывают на то, что преступник умер не от удара поленом, а от последовавшего затем удушья.

— Невозможно этому быть,— сказал Пронышко.— Я же у него сердце щупал после полена.

— Почему же невозможно? В обмороке он был от

вашего полена. Сюда вы его привезли в обмороке. Понятно?

— Невозможно этому быть, — опять сказал Пронышко. Галанин обернулся к Савкину. Тот развел руками: — Зачем же тебе было его одевать?

Федор Панфилович повторил свой рассказ. И понял он, что ни толпа, ни офицеры, ни врач, ни даже враг его, сапожник, не верят ему и не понимают его. Не могут они понять и никогда не поймут: как так, если ты убежден, что бандитов надо вешать, как же способен ты вынуть бандита из петли? Костя, сын, поверил бы разве? Да нет, и сын не поверит. Невестка, крепкорукая Маша? Нет, и она не поверит. Никто никогда не поверит Пронышко! И все-таки он повторил свой рассказ от начала до конца. И опять Савкин спросил:

— Но зачем же тебе его было одевать?

Беспомощно и нелепо, выпятив живот и черную бороду в кольцах, стараясь оправдать видом своим бандитское звание, качался на веревке Алешка Урнев.

Базар был плотно забит возами. Съехались туда разные мужики, и не столько торговать, сколько узнать, что же такое происходит в городке, почему дым за горами.

Безостановочно прибытие крестьян беспокоило солдат. Беспокойство это скоро превратилось в шум. Несколько солдат, наиболее сознательных, из тех, что держали связь с красными, не дожидаясь конца шума, прошли к тюрьме, где были заперты бандиты, приговоренные к пятилетнему заключению, и, прогнав караул, выпустили всех заключенных.

Тюрьма хлынула на базар, на базаре решили, что ворвались красные. Мужики, которых судили вместе с Алешкой Урневым, чувствовали себя героями, они требовали водки, им поднесли по стакану.

Тем временем подле весов сочувствующие красным сооружали помост из бочек. Уже кто-то тащил багровое знамя. Возле пулемета с телеги уже распорядился большевик, подпольно работавший в городке. Толпа мужиков и солдат, рабочие с лесопилки и из типографии побежали ловить офицеров.

Савкин по-прежнему стоял возле мельника, держа в руке повод узды, и по-прежнему спрашивал:

— Зачем же ты его одел?

Мельник повторял рассказ.

Толпа хлынула от виселицы. С головы сапожника упал котелок, его немедленно растоптали. Толпа, подняв вверх руки, бежала навстречу солдатам, крича:

— Здесь они. Здесь!

— Кто?

— Офицера! Всех ловите. Вон они, которые вешают.

Врач Галанин вырвал у Савкина повод, вскочил на коня и поскакал в лес. Рыжеусый мужик ударил прикладом в затылок Савкина, а затем, когда тот упал, приткнул его штыком к земле. Вытер о голенище штык, качнул Алешку и сказал:

— Зря ты погиб, Алешка! — И повернулся к мельнику: — Здравствуй, Федор Панфилович.

Рыжеусый желал сам слышать от мельника истину. И рыжеусый сказал, поглаживая кончиком штыка усы:

— Ну, рассказывай-ка, дядя.

Но и рыжеусый и другие слушавшие так и не поняли, в чем тут дело, и не поверили мельнику. Мельника в числе других представителей и заложников буржуазии посадили на подводу и повезли навстречу далеким дымам.

Опять дорога шла через лесок. Виселицу уже убрали. Алешку похоронили. Опять мельник увидел шоссе, колки, дуга. Все это было такое же, как и раньше, но Федор Панфилович был совсем другой, рыхлый, вялый.

Он сидел в телеге, свесив ноги, и вымазанные в дегте травы касались его подметок. Полк обгонял подводы, возвращавшиеся с базара. Кое-кто с подвод кричал «ура», кое-кто провожал испуганными глазами.

Подводы встретили мельницу. Горы подымались вдали. Горы синие, а дым желтый. А раньше как будто было наоборот: желтые горы, а синий дым. Солдатик в рваной гимнастерке, перетянутой зеленой опояской, шел рядом с телегой, опираясь на оглоблю. За опояской у него рукавицы. Нос у него похож на венский стул. Отличные имел стулья Федор Панфилович, отличную стряпуху, отличную таратайку и пиджак. А теперь едет в рваной и уже загрязнившейся нижней рубахе.

Мельница. Пустынно. Вода течет с прежним шумом, и по-прежнему играет плотва. Где же Костя? А и хорошо, что не увидел Костю. Кто его знает, как бы он поду-

мал об отце? Но и это не беда, а беда в том, что мельник Федор Панфилович Пронышко не знает: как же ему самому о себе думать? Если горечь, и слякоть, и пустота внутри тебя? И нет еще осени, а уже мерзнешь.

Миновали мельницу. Федор Панфилович достал трубку. Набил. Закурил. Опирающийся на оглоблю солдатик с носом, показавшимся мельнику похожим на венский стул, поправил рукавицы за опояской, легкой рукой вынул изо рта мельника трубку и вставил ее в свой рот.

— Мог бы ты и получше табаку завладеть. А не махорку,— сказал он, догоняя оглоблю.

Смолчал мельник.

И легкий ветерок легонько уносил легкий дымок.

ВУЛКАН

Роман



«...и за всего мира безумное молчание, еже о истине к царю не смеюще глаголати, о неповинных погибели, омрачи Господь небо облаки, и толико дождь пролился, яко вси человецы в ужась впадоша».

«Сказания Авраамия Палицына». 1620

«Господи, господи,— думал я,— есть же такие вулканические темпераменты! Господи! — продолжал я,— не дай этой Этне изныть в тоске одиночества; но пошли ей, чего она жаждет с такой неслыханной энергией!» Надеюсь, что моя бескорыстная мольба будет услышана».

«Письма И. С. Тургенева». 1851 г.

Глава первая

Незнакомец, — чем-то, впрочем, и знакомый, — вошедший в купе при пересадке из Джанкоя на Феодосию, был не по росту широк в плечах, с мощно развитыми руками, особенно — пальцами. Решительно, это руки творца! Жадные, с прозрачными и в то же время огнистыми ногтями, пальцы двигались вольно и страстно. Например, он брал щепоточку табака, чтоб набить трубку, — и щепоточка в его пальцах немедленно превращалась в какую-то фигурку, скажем, в голову матроса, сидящего рядом с ней на скамейке. Да, все неясное, попав в эти пальцы, превращалось в очевидное! И все-таки Евдоша не могла вспомнить — где она его видела?

Легкая и гибкая усмешка мелькала на его губах, умных и узких. И, несмотря на ясно осязаемое господство силы и разума, в движениях его чувствовалась какая-то усталость. «Да и не мудрено. Лет ему — под пятьдесят, пережито поди не мало, а сделано? Таких людей, несмотря на их видимую подвижность, часто называют «сиднями». А сынок, — лет десяти, не больше, — обворо-

жительный. Папаша, наверное, изъездил полмира, сынок же — впервые в Крым, а где мамаша? Фиолетовый костюмчик мил, но давно не чищен и с прорехами.

Евдоша, тцетно переводя глаза с отца на сына, досадовала. Тонкий прибор ее памяти работал всегда отлично. Стоило пожелать, и воспоминание во всем блеске своем освещало ее мозг, как молния. А тут будто кто ил поднял со дна в прозрачном ручье! Память отказала. Гром предшествовал молнии.

Незнакомец, не спеша набив трубку и вынув спички, остановился в дверях и спросил вполоборота:

— Вы, кажется, Евдоша?

Она вспыхнула, почти обомлев от негодования. Глаза ее заблестели, и она, как говорится, отчеканила:

— Евдошей, к вашему сведению, меня зовут самые мне близкие. Я давно вышла из школьного возраста, чтобы отзываться на кличку!

— А если б незнакомые пожелали приблизиться?

Она хотела опять оборвать его.

Он, однако, слегка покраснев, пробормотал, не притворяясь, а действительно испытывая смущение:

— Приблизиться — не в пошлом смысле. Вас считают, — я от многих слышал, — за талаптливого, умного и, что, может быть, важнее всего, проицательного архитектора. Впрочем, проицательность среди женщин встречается чаще, чем думают. И особенно среди тех, кто занимается искусством.

«Великое дело лезть». Негодование схлынуло. И она тотчас вспомнила. «Ну, да! Это же — Захарий Гармаш». И то, что она его сразу не узнала, на мгновение сделало его жалким. «Весь в прошлом, остались только одни манеры премьера». Еще недавно, споря с мужем, как обычно, о новейшей архитектуре, — и в особенности о том, нужно ли форсировать ее развитие, — и решив про себя составить и послать в ЦК ВКП(б) докладную записку, — очень гордясь этим своим решением, — она вспомнила и Гармаша, и его талантливую ученицу, на которой он женился лет семь-восемь тому назад. Нельзя предаваться безумному молчанию, — эти слова часто употребляла ее мать, не зная, откуда они у нее взялись, да и сама Евдоша не знала, — нельзя молчать, надо писать наверж то, что думаем и говорим об искусстве, о всех своих болях, писать одному, двум, десятерым! И в данном случае писать

докладную записку не только архитекторам, но и живописцам. Тогда она говорила мужу: «Гармаш поди объяснил жене, что такое новейшее советское искусство. Он сам был его премьером». Был! Не совсем приятно звучало это слово. Но ведь Евдоша и не считала Гармаша одним из бессмертных. Приятно то, что он хоть в прошлом-то искал, а не подражал — ни своим современникам, ни классикам.

Да, когда-то Захарий (именно — Захарий, а не Захар) Гармаш слыл премьером живописи, одним из тех, кто, беседуя в обществе о современном искусстве, брапил его неслыханно, площадно, хваля только своих соратников, причем хваля «купно и согласно», что не мешало, впрочем, и самим этим соратникам ругать друг друга бездарностями, жеманниками, кокетами и франтами. При звуке дерзостного и хвастливого голоса Гармаша московские гостиные преображались. Все, казалось, жаждали чести, чтоб их честило новое искусство. И оно, будьте покойны, умело честить! Гармаша в купеческих особняках Москвы по старинке называли абреком и башибузуком, но там таких уважали: известно, что и сама русская коммерция строилась не без абректава и башибузуктава.

Поговаривали, что у него произошло два-три пыльных романа в этих салонах с мебелью «модерн» и часами в два человеческих роста, чей степенный и суровый ход Гармаш называл «сорго». Он пояснял, что звук этих часов вроде зерен сорго, крупнейшего злака, похожего на просо, — и в две сажени высотой! «Зерна сорго суть зерна всемирной мутации, ибо и рожь в результате эволюции будет величиной с сорго, чем все голодающие и насытятся». Ему внимали с трепетом. Пример, как известно, поясняет утверждение. Однако Венера — богиня любви и романов — часто отворачивалась от него. Купеческие молодцы на Ордынке как-то избили его до полусмерти, и он едва не потерял левый глаз. После избиения он иронически говорил: «16 августа 1916 года буржуазия хотела вставить мне вместо глаза иллюминатор. Она потеряла вождя армии — меня из-за этого не взяли на фронт. А уж кто-кто, а я, приложив свою теорию искусства к законам войны, разбил бы в пух и прах немцев!»

Он не окривел, но был близок к тому: слегка косил, что, впрочем, придавало ему значительность.

Хозяин молодцов, избивших Гармаша, чтоб показать, что он не имеет никакого отношения к их выходке в духе

Островского, пожелал купить — и за солидные деньги — картину «Город в проскомидию»: нечто из кубов, плоскостей, алое, резкое и по-своему красноречивое. Гармаш, несомненно, был талантлив. Купца особенно прельщала сорока, написанная совершенно в реалистической манере — на раме картины. «При чем тут — сорока?» Гармаш отвечал, что это напоминание о сорока мучениках новейшего искусства, в ряду которых он — первый. Память их народы будут справлять 9 марта, ежегодно. Поэтому-то он и просит за картину дорого.

В конце концов они бы, вероятно, сторговались, но именно тогда приспело время бежать и купцу, покровителю новейшей живописи, и всей крупной российской буржуазии в Лондон и Париж, а Гармашу — расписывать «Чайную поэтов», что он и сделал, кстати сказать, превосходно. Затем он преподавал во Вхутемасе, откуда попал в рабочий клуб возле Симонова монастыря, — вести кружок живописи. Дни Гармаша, — то есть дни его живописных дерзаний, — отцветали. Ему казалось, что он и его друзья прорвали натурализму голову, а натурализм только опустил ее. Теперь на алтаре своем он возжигал дикий, двусвечник, символ двойного единства служения мамоне и пафосу.

Иные — Евдоша в том числе — называли переход Гармаша от «кубо-сорванизма», от эпохи «сорока сорок», к неонатурализму дорогой, освещенной светом «дикириев». На рыночных весах нельзя взвешивать лекарства. Я лично не объяснил бы так грубо и низко то, что произошло с Гармашом. Но я не живописец и поэтому, быть может, сужу слишком снисходительно. Я верю Гармашу, который говорил: «Поработав в кружке, я понял — какой там им кубо-сорванизм или сорок сорок! Им и передвижников-то надо разъяснять. И так как жертвенность у меня в крови, я отрекаюсь от своего прошлого и взваливаю на себя валун реализма, чтоб очистить поле искусства для рабочего класса и беднейшего крестьянства. Портреты ударников? Да, портреты. Натюрморты сытой жизни, которая существует пока лишь на картинах, — пожалуйста! Парады? Я буду писать и парады». Но декларации декларациями, а «свои» своими — в «свои» он не попал. «Хотел быть Перовым — летело из меня только перо, хотел быть Репиным — питался решкой, да и то не всегда».

А жаль! Ведь человек этот был некогда тигром. Да, Захарий Гармаш принадлежал к числу тех замоскворец-

ких тигров искусства, отдаленные потомки которых, давно превратившись в ласковых кошек, мирно доживают дни свои в Лаврушинском переулке,— гидами, перепродавцами, консультантами, рецензентами и изредка ораторами на юбилеях, где к важничанью их молодежь относится с ухмылкой. Что поделаешь? Ирригация, чтоб сделать поля тучными, корчует не только старые пни, но и сильные деревья.

«Неправда! Надо держаться,— продолжала думать Евдоша.— Не только пальмовыми ветвями будут тебя опаживать и кричать: «осанна!» Раз художник ты, и мѹку прими. И не беги ее. И не трусь! И не вали на обстоятельства!» Эти мысли Евдоши требуют внимания: мы еще вернемся к ним.

Семейная жизнь Гармаша, кажется, сложилась хорошо, хотя он был старше жены своей лет на двадцать, не меньше. Картины Виталии Кудрявцевой пользовались большим успехом: написанные в манере русских лубков и Кустодиева,— пожалуй, чуть левее,— они охотно покупались музеями и Домами культуры. Впрочем, после борьбы с формализмом в ее пленительных русских пейзажах и певучих радужных крестьянах тоже обнаружили «формалистические тенденции», тоже отнесли к безродному,— позднее его назвали «космополитическим»,— искусству. «Почему жена не с ним? Работа?»

Глава вторая

— Как твое имя, мальчик?

— Обыкновенный Федор,— ответил ребенок и, ища глазами море, спросил: — Папа, а море мокрее реки? Есть по чему шлепать? Луж там много?

«Нет, ему десяти еще нет!» — думала Евдоша, не замечая, что мысли ее все время возвращаются к Гармашу, хотя ей этого и не хотелось. Теперь ей казалось, что и заговорил-то он с нею для того, чтоб отвлечься от лютых и черных дум, мучающих его. Каковы же эти думы? Тоска по «левизне»? Не приняли и разбрали картину? Отказали в выставке? Мало ли что... Она и сама не меньше его нуждается в забвении, а вот не пристаёт же к людям. К чему! Болтовня — не вагранка для переплавки терзаний!..

Гармашу нравилось светлое и беспечное выражение лица Евдоши. «Эта живет безмятежно и радостно», — по-

думал он, совсем не подозревая, что ошибается. Чувствовал он себя «не важнец», и было приятно поболтать с молодой красивой женщиной. Измотали поезд, тряска, частые остановки, бесконечная сухая украинская равнина, мрачные запыленные хаты, над которыми, казалось, никогда не встает рассвет, однообразные станции, бедность, выдающая себя за богатство и, быть может, искренне этому верящая. «Кому, скажите на милость, нужна живопись, споры об искусстве, направления и даже гении? А, черт подери,— старость! Несомненно, подошла старость!» — думал он и говорил, говорил... Говорил со спокойной усмешкой, кивая одобрительно головой при удачных ответах Евдоши.

— Вы, кажется, дружите с архитектором Ферязевым? — спросил он.

Она ответила задумчиво:

— Мы вместе учились в институте. И еще — Фома, только тот не такой способный, а Ферязев — очень, очень, хотя ему никак не удастся себя выявить, — в материале. Понимаете? Сделал несколько высокоталантливых проектов. Отвергли. Левак, говорят. — Она пожала плечами, и чудесное сострадание мелькнуло на ее лице. — Ему, знаете, пришлось поступить на службу не по специальности: снабженцем. Впрочем, Павел занимается и кинотехникой, способнейший, повторяю, человек. А что?

Гармаш перевел разговор на крымские пейзажи.

Когда он брал путевку, на столе мелькнул список отдыхающих. Ему показалось, что в списке стояла фамилия и архитектора Павла Ферязева, человека, с которым ему меньше всего хотелось бы встретиться, — и еще меньше в доме отдыха. Смешно в его возрасте, при его криках о новом человеке двадцатого века, о борьбе с предрассудками, — ревновать и ненавидеть, но у него есть много оснований думать, что именно он, Павел Ферязев, виновник его отвратительных подозрений, из-за которых он стыдился самого себя. Хотелось поработать в Коктебеле, — как он говаривал: «ароматно, беспечно», — а то приходи в столовую и косись: нет ли тут этой сволочи?

— Впервые в Коктебель? — торопливо спросил Гармаш. — Кто впервые, редко тому нравится. Иной сразу и уедет. Судите сами. Крымские горы кончаются здесь парадоксально: вулканом...

— Вулканом? — сказала она удивленно. — Никогда не слышала о вулканах в Крыму! Наверное, очень торжественно?

И она даже раскрыла рот: так потрясала ее возможность увидеть вулкан во всей его торжественности. Она притворялась. Ей, по правде сказать, не было никакого дела до вулкана. А что касается торжественности, то ей хотелось возможно скорее забыть жгучие споры о торжественности римской архитектуры. Ну ее!

Словно сквозь дремоту она слышала:

— И не совсем, собственно, вулкан. Остаток вулкана. Так сказать, каблук от вулкана: несколько базальтовых скал, две-три пропасти и прочая ерунда. Все остальное давно, миллионы лет назад, свалилось в Черное море. За обрывом гор — долина, довольно печальная и убогая, орошаемая пересыхающей речкой, а затем, вплоть до Феодосии, глинистые холмы, горки, бугры, виноградники, пашни, поселки. Сюда приезжал Поленов, он писал здесь пустыню.

Поленов казался Евдоше третьестепенным художником, — неужели же Гармаш принимает его всерьез?! — и она перебила:

— А вы-то, Захарий Саввич, вы что здесь написали?

— Пробовал писать на классический сюжет.

— И что же?

— Пока этюды. Венеру встречает Вулкан, бог мастеров и огня. Он утомлен: целый день ковал в кузнице, а затем долго ждал ее на берегу. Весь он в копоти, как и подобает кузнецу, — я писал его с колхозного кузнеца Степана, — на нем кожаный фартук, волосы схвачены ремешком, стрижен он в скобку. Венера — розовая, высокая, вся певучая, на полголовы выше Вулкана. Она ежится: с берега дует сухой ветер, щекочет ее, поднял ее золотые волосы, как корону. Море серое, как гуттаперча, и только пена, та самая пена, из которой она родилась, лежит вдоль берега, точно галун. Песок прибит прибором и посеребрен. Холмы и горы выжжены солнцем, выжжены и мазанки, и дом поэта Волошина, каменный его забор. Все серо, и все как-то томно усмехается. Вулкан явился с поясом, который сковал Венере в подарок. Пояс золотой, не широк, но такой изумительной работы, такой живой и радостный, что богине кажется — надев этот пояс, она будет вполне одетой. Боги дышат напряженно.

У Венеры медлительный голос. Они оглядываются. Какие светло-серые безжизненные холмы вокруг, и только на одном из холмов — черное пятно, бык, крупный рогатый бык. Он стоит, опустив голову, и своими глазами кровавого красного цвета смотрит на богов: «Зачем они здесь? Кому они нужны? Людям давно надоели боги. Чистосердечно говоря, они сами давно считают себя богами, а то даже и несколько выше». Бык вполне согласен с ними. Быть может, он и проглотит богов в море?..

Старый говорун ожил в Гармаше, он снова достал трубку, но опять не закурил, а, помахивая ею, продолжал:

— Впрочем, если вы любите море, его здесь много.

— Никогда не была у моря.

— Позвольте, а Ленинград?

— В Ленинград ездила только зимой.

— Вот как! Сколько ж вам лет? Двадцать пять?

В двадцать пять лет впервые увидеть море, это, знаете, — сорить жизнью. Я вот вырос у моря, и у самого сказочного — Белого моря. Потом я пришел в Москву, именно — пришел, а не приехал. Подобно Ломоносову. Только я шел раз в десять дольше. Шел я с артелью плотников, зарабатывая на хлеб топором и пилой: где хату срубишь, где баньку. Явился в Художественную школу, не поверите, обóра, и та в нескольких местах была рваная...

— А что такое обóра?

— Обóра — бечевка для обматывания ноги от лаптя до колена.

— Крепкая?

Он засмеялся:

— Я ее удивить хочу, что пришел в Москву в лаптях, а она — крепка ли в лаптях веревочка! Отец у меня был рыбак... Когда я говорю — «старики в деревне», подразумеваю деда, ему около ста, да маму с тремя сестрами и шестью, мал мала меньше, племянниками. Отец был общительный мужик, откровенный, а смелее его по всему Поморью не было. Рыбаком, впрочем, он числился отчасти. Его призвание — северного письма иконы. Ах, какая это была вещь и вольная рука! Писал он иконы вдохновенно, широко, в точности по «подлиннику», — и совсем не похоже. Казалось, он переговаривается с богом, и бог через его иконы сообщает людям некоторые свои качества. Так мне чудилось в детстве, да и поныне

я думаю так же. Приготовлялся он к труду тщательнейше: доски брались тесаные, годами сушившиеся в чулане, о красках и говорить нечего. Затем он постился, исповедовался и во время труда молился в день трижды. Покупали же его боговдохновенные иконы плохо: великий талант его никто не понимал. Правда, приглашали на труд старообрядцы, но он их не жаловал. И семейные его не понимали, предпочитая «рыбный ход», в знании которого он тоже был велик. Он же шел в море, лишь когда уж очень нуждался. Икон его сохранилось мало, и у многих цепителей теперь покалывает в боку, когда они их видят. Умер он в гигантский шторм: его баркас потопило, ударив о подводную скалу. Тела не нашли. Предполагаю, боги его взяли к себе, раз уж настолько оказался ненужным людям.

— Вы верите в богов?

— Верю.

Молодой матрос с круглым и румяным, как апорт, лицом, почтительно слушавший художника, услышав его «верю», поднял голову, посмотрел с неудовольствием и, закусив губы, чтобы не плюнуть, вышел в коридор и стал там яростно курить. И чем только люди гордятся — читалось на его лице.

— Да, верю. Я не называю их имен, — из гордости, чтоб не чувствовать себя поработленным ими. Но я верю, что должно существовать что-то огромное и великое, стоящее над природой, с которой я должен, — как гражданин своей страны, — бороться. С природой я борюсь, а высшему подчиняюсь.

Глава третья

Евдопа сказала:

— Не нравится мне ваша философия. И тема картины вашей мне не нравится.

— Тогда, быть может, поговорим о музыке?

— Боюсь, мнение ваше о музыке мне тоже не понравится.

— Еще тему найдем. Чем, например, кончилось собрание в Клубе архитекторов?

— Там много собраний.

— О вопросах новейшей архитектуры?

— А, это! — сказала она равнодушно. — Я в тот день уезжала. Муж, наверное, был. Напишет.

Евдоша посмотрела на Гармаша внимательно: не потому, что он спросил о собрании, — мало ли их действительно бывает? — а потому, что упомянула о своем муже, как бы мысленно подчеркивая: зачем-де рассматривать меня, я вся наружу? Что же касается мужа, то я с ним действительно не поладила по творческим вопросам. Но расходиться не расходилась. И вообще, что за манера — чуть поссорились, и уже «самосожжение на костре»?

— «Анну Каренину» видели, Евдокия Ивановна?

И он бросил на нее пронзительный взгляд, но взгляд этот, при всей пронзительности своей, скользил как-то сбоку и обращен был не столько на нее, сколько на самого себя.

— Да, да, — не слыша вопроса, поспешно и с волнением ответила она.

Занятые не друг другом, а самими собою, они перебрасывались почти банальными словами. Но каждое из этих слов было как бы с апострофом, с внутренней паузой, полной смысла. Иногда Евдоша взглядывала в окно, от которого по-прежнему не отрывался пухлый и румяный Федор. Увидав наконец море и Феодосию, мальчик взвизгнул, яростно потерял себе шею и стал развязывать вещевой мешок, где у него хранилась зеленая лопатка, — шанцевый инструмент времен гражданской войны, — на внутренней стороне лопаты он алой краской изобразил нечто извергающее пламень: надо полагать — вулкан.

Со стороны могло показаться, что ни Евдоша, ни Гармаш, ни его сынишка и не слышали, что в Европе уже год идет война, артиллерией и авиацией уничтожается цивилизация и величайшие древности человечества; бомбят Лондон; Париж занят немцами; итальянские войска идут через африканские пески, а в северных портах Африки недавно потоплен французский флот; многие города Европы обезлюдели — лежат в развалинах; люди голодают; и, наконец, что война может хлынуть, затопив его, и в Советский Союз.

Удивительно, что о войне молчали не только Евдоша или художник Гармаш, молчал о ней весь вагон, хотя

набит он был плотно. Что это? Равнодушие, вялость души, отсутствие пыла?

Думали о войне, разумеется, все, но молчали.

Евдоша, например, про себя думала, что война не будет для нас так быстро победной, как можно вывести из толков, направляемых, по-видимому, устной официальной пропагандой. Немцы, думала Евдоша, упрутся в русские пространства и запутаются в них. Начнется длительная окопная война. Пойдут годы холода, голода, эпидемий. Мы — терпеливее и неистощимее немцев. А главное, как мы ни искажаем порой наши идеи, эти идеи выше, справедливее, благороднее фашистских идей, а вдохновленные великими идеями, даже плохо вооруженные, люди в конце концов побеждают. Эти свои мысли Евдоша считала «нецензурными», поэтому она и предпочитала молчать о войне.

Гармаш, наоборот, считал, что мы, советские, молниеносно разгромим немцев. Когда-то, выступая в замоскворецких купеческих салонах, он туманно намекал на крушение старого мира. Позже он уверовал, что предсказал Октябрь, и потому был высокого мнения о своей политической дальновидности. Он думал, что с финнами мы «возились» долго намеренно, показывая себя слабыми, заманивая немцев в войну с собой, а также и оттого, что основное тайное вооружение наше берегли против немцев и японцев. Разгромив немцев, расстреляв Гитлера и всю его сволочь, мы возьмем в свои руки остальную Европу и начнем налаживать хорошие отношения с Америкой, пока не создадим мощнейший в мире флот (если он не создан: все ж кругом тайна!), а тогда пощупаем и Америку: чем она пахнет? — Эти свои мысли Гармаш тоже считал «нецензурными», хотя и совершенно справедливыми, справедливыми по той простой причине, что если уж советским людям воевать, то надо побеждать!.. Но политика есть политика, дипломатия есть дипломатия, и профанам в этой области лучше всего молчать. Гармаш и молчал. Ему было жутко от этого своего молчания, он чувствовал, что молчание перерастает в какую-то политическую двусмысленность, что оно даже преступно, что разговор на эту тему облегчил бы его, но все вокруг него молчали, молчал и он.

— Встречал вас в клубишке архитекторов и даже осматривал созданный вами дом, что возле завода

«Шарикоподшипник». Приятно, и все же — не в современном духе. Я хочу сказать — ничего от принятой сейчас на вооружение классики в нем нет. Диковина. В некотором роде — ископаемое. Дом, простите, и раздражает кое-кого.

— Раздражает?

— Ну, дразнит. Тех, простите, кто хочет Рим в архитектуре воссоздать, — проговорил он чуть слышно.

— Кого именно раздражает? — спросила она тоже шепотом.

— Папа, вокзал! — завопил мальчик, прерывая их разговор.

Городской агент дома отдыха, тощий грек с длинными волосами, склонив голову, сосчитал прибывших. «Все!» — промычал он важно и стал делать круги возле вокзала, ища попутчиков — автобус на две трети пуст, государство терпит убытки! Отдыхающие терпеливо ждали агента, наблюдая за длинной голубой тенью, что, подпрыгивая, гналась за ним.

Евдоша, прислонясь к стене вокзала, теплой и широкой, радостно смотрела на бульвар с незнакомыми деревьями; на улицу, статную, каменную, ясную, бездарную архитектурно, но житейски приятную; на благословенное море, огибающее бульвар. Курчавый Федор, с шумом бросив у ее ног чемодан, сорвал с себя толстое драповое пальто, в которое почему-то нарядил его отец, и подбежал к черной раковине радио.

— Папа! Немцы опять бомбят Лондон.

— Да, вкатывают, — пробормотал Гармаш, не пояснив: кто и кого вкатывает, вталкивает, кто и куда въезжает.

Автобус миновал предместья. Показались поля кукурузы, — словно множество громоотводов. Мелькнуло село с новыми черепичными крышами, полуразрушенная церковь. На перекрестке, там, где шоссе поворачивает на Симферополь, а коктебельцам пора и на проселок, — дорожное управление, уверенное, что путешественникам жалко расставаться с первоклассной магистралью, с черным и вонючим асфальтом, поставило среди степи зеленую беседку и несколько скамеек: «Любуйтесь напоследки!» Автобус, бездумно миповав эту наивную выдумку провинциального честолюбия, мчался к поселку Коктебель.

Встретил ветер, мерный, крепкий, как бы говорящий стихами. Он утверждал, что постоянно бушует здесь у подножия скал, сдувая мысли, не относящиеся к морю, горячему песку, волнам и нежным камешкам. И отлично! И пусть будет так!

Глава четвертая

— И пусть будет так!

Евдоша проснулась. За стеклами шумел и посвистывал сияющий ветер.

Против окон крылато трепетали невысокие вершины сада, а над ними висела ликующая синева, которую она никогда не видывала и даже не мечтала увидеть! Евдоша босиком, в одной рубашке, подбежала и распахнула окно.

Усатое и пенистое море пело:

Я вижу собаку,
Собаку,
Собаку:
— Га-ув!..
Я вижу собаку...

— Га-ув! — повторила со смехом Евдоша.

— Евдокия Ивановна! — крикнул, пробегая по дорожке, Федя. — Сколько здесь щенков, ух!..

От третьеводняшной бесплодной московской сырости и раздражения не осталось и следа. Никакого и никогда не найдете следа!

Частые волны, казавшиеся сросшимися, безумно огромны. И Евдоша на мгновение почувствовала себя бесильной перед этим видением гулкой и раскатистой красоты, неиссякаемым и ласкающим солнцем, стремительным ветром. А главное, — она жила как бы посередине всего этого!

Внизу что-то оглушительно и резко звякало, перебивая добродушные раскаты волн, и звяканье приятное. У ее отца, любителя птиц, жила как-то трясогузка с синим хвостом. И теперь вот подпрыгивает эта синехвостка, звякая своим металлическим хвостом.

Евдоша выглянула. Федя свивал тонкий лист железа и, отскочив, опускал. Лист прыгал и гремел по гальке. Мальчик поднял на нее несколько встревоженные глаза: «Нельзя? Громко?»

— Нет. Продолжай. Очень красиво и звучно, — сказала Евдоша, улыбаясь. И она повторила, словно в детстве, подняв руки на уровень груди: — Красиво и звучно — клянусь!

— Бомбы на фашистов бросаю, — хмурясь, проговорил мальчик. Когда она повернулась к кровати, она увидела газету, сунутую под дверь. «Крайне обязательно, — подумала она, — изумительное обслуживание». Напевая и натягивая чулки, платье, причесываясь, она одним глазом глядела в «Советское искусство». Отчет «В Клубе архитекторов». Превосходно! И отчеты быстро пишут и печатают. И газету быстро сюда доставляют.

Расстегивая и застегивая пуговицы кофточки, она развернула газету во всю ширь на кровати и, не замечая, что фраза подчеркнута красным карандашом, прочитала ее несколько раз. Фраза была коротка и непонятна. Никаких объяснений, никакого изложения того, что сказал виновник происшествия. А происшествие, видимо, было. «С пошлой и путаной речью выступил архитектор В. Л. Орехов». Все. Именно — «С пошлой и путаной речью выступил архитектор В. Л. Орехов». Да, ее муж, Виктор Лукич Орехов, сказал пошлую и путаную речь, никогда не будучи ни путаником, ни тем более пошляком.

Она мало была склонна к задумчивому созерцанию. С ранних лет мальчишески сильная, ловкая, редко хворающая, она в школе считалась первоклассной спортсменкой; предполагали, что, окончив школу, она пойдет в институт физической культуры. А она — возьми да и пожелай стать архитектором! Толкнул ее к тому — мост. Да, длинный и пологий, похожий на взгорье, мост, который возводили тогда через Москву-реку, недалеко от Кремля. Отца ее выдвинули туда прорабом: до этого он работал на бывшем АМО слесарем. Она ходила в школу мимо стройки. И однажды, проходя, внезапно решила, что нет ничего увлекательней, как приводить в движение груды камней, металла, бетона, чтоб из всего этого выросло то, над чем думали люди, дни и ночи сидя возле чертежных столов проектировочного бюро.

А теперь, раскачиваясь на шатком плетеном стуле в такт ударам волн, она сидела против газеты «Советское искусство», созерцая статью, смысл которой был и понятен ей — и непонятен.

— Евдокий Ивановна, слышите, гонг? Завтракать! — кричал под окном курчавый мальчик.

— Да, да, иду, Феденька! — отвечала она, не двигаясь.

Неподалеку, на пляже, остановился Гармаш с какой-то дамой, видимо обладавшей мощной грудью: слышно было, как она глубоко вдыхала и выдыхала воздух. Гармаш послал сына за палкой: после завтрака он собирался на прогулку, потом, шурша ботинками по гальке, спросил у дамы:

— Простите, Афросинья Никодимовна?

— Я говорю: вы часто ездите в Коктебель? — послышался низкий и томный голос. — Можете меня звать Аффо: больше подходит к здешнему пейзажу.

«А ведь это он подсунул мне газету, — подумала Евдоша. — Зачем? Для чего мне с такой поспешностью узнавать об этой нелепой, бессмысленной, пустой выдумке?..»

— Впервые, Афросинья Никодимовна, простите — Аффо, приехал я сюда совсем юношей. Учился на первом курсе академии, денег нет, я и поступи чернорабочим к археологу, искавшему в Коктебеле сокровища Александра Македонского.

— Подумайте, Александра Македонского!

— Вам, Аффо, удивительно, а мне тогда было все равно: сокровища так сокровища, лишь бы — к Черному морю, увидеть юг, кипарисы, платаны, фонтаны. Приезжаем. Ни пальм, ни фонтанов, голая степь, голое море, утешал только один археолог: удивительнейшая личность! Был он из купцов и хотел подражать Шлиману, тому самому, который откопал Трою.

— Слышала, слышала.

— Капиталов у моего купца, думаю, имелось больше, чем у Шлимана, но ни соображения, ни знаний: отродясь я не видывал подобного остолопа! За неслыханные деньги купил он, будучи в Италии, пергамент и кусок старинного письма. В пергаменте значилось, что в древности, пряча статуи богов от христианских зверств, греки привезли в Коктебель, где была колония греков-язычников, статуи богов, сделанных некогда лучшими скульпторами для Александра Македонского. И — план. И — крестик, где пещера. И даже имена скульпторов, — в том числе Пракситель.

— Ах! Даже Пракситель!

«Боже мой, что за чушь он мелет! — подумала Евдоша, вся дрожа. — И зачем я-то слушаю?..»

— В письме же, написанном на листе толстой синеватой бумаги, несомненно восемнадцатого столетия, говорилось, что три русских скульптора, учившихся в Италии, отправились под Феодосию — тоже искать сокровища Александра. Сокровищ они не нашли, но им было видение богов — Вулкана и Венеры, Гефеста и Афродиты. Им было сообщено, что сокровища откроются лишь тогда, когда возродятся Древняя Эллада и Рим, а вы-де, скульпторы, помогайте ей возрождаться. Мрамор купите у такого-то судопромышленника. Мастерская для ваших работ — пещера на Карадаге.

— Взгляну на Карадаг теперь совсем по-другому!

— Подождите. Корабли из Италии, плывшие в русские южные порты за пшеницей, набивали трюмы недорогим итальянским мрамором: и для балласта, и в надежде продать. Все старинные лестницы в Одессе из итальянского мрамора. Приходили корабли и в Феодосию. Мы нашли домик судовладельца, который упоминался в письме и у которого боги советовали купить мрамор. Ограда домика была из итальянского мрамора. Нашли мы и двух старожил, которые видели на Карадаге обломки статуй, обломки эти татары-де пожгли на известь. В Коктебеле, во дворе одного болгарина, наткнулись мы на прелестно изваянную головку гречанки, — не Афродиты ли? Мой купец купил ее и подарил в Феодосийский музей. Как все правдоподобно, не правда ли?..

— Крайне! И что же обнаружила экспедиция?

— Ничего ровным счетом. Пергамент оказался поддельным. Письмо — тоже. Боюсь, с купчиком подшутил поэт Волошин — он был мастер на розыгрыши. У него в Италии, кажется, жили друзья.

— А крупный поэт Волошин? Никогда не читывала.

Голоса, удаляясь, смолкли. Еще раз простонал гонг, и взвыло море. «Чушь! Пошлая, путаная болтовня!» — думала Евдоша о разглагольствованиях Гармаша.

Почему, однако, ее так раздражает и одновременно притягивает этот Гармаш? Почему она напряженно вслушивается в его болтовню, пытаюсь найти в ней какой-то

глубокий смысл? Почему каждое слово его отзывается в ней волнением? И вдруг горячая струя разгадки залила ее сердце. Она оглянулась. Ей показалось, что она вскрикнула, сказала что-то вслух.

Ей удалось без труда побороть себя. Она вошла в столовую с чудным и чистым настроением. Широко расставив колени и скрестив руки на скатерти, упершись подбородком в грудь, она сказала Гармашу, резавшему чеснок на тонкие кусочки:

— А вы все шутите, Захарий Саввич!

— Простите...

— Да, газету подсунули, еще и подчеркнув. Для меня тут нет неожиданности: я знала, о чем будет говорить муж.

Весь день и всю ночь ее наполняло сладкое восхищение морем, людьми, горами, светом на пляже, выжженной степью, солнцем, лежащим на коврике между стульями столовой, коврике, который, казалось, каждый раз стелили, — вместе с солнцем, — перед каждым завтраком и обедом. Она жила эти часы тем чувством, которое мы бы назвали «светлой и святой минутой», — когда нет ни прошлого, ни будущего, а одно настоящее, да и то как-то вскользь. Такое чувство редко у взрослых и часто у детей, но дети не замечают его, а взрослые, пожалуй, и стыдятся, взрослые заставляют себя быть деловитыми.

Вся фигура Евдоши, — волнистая и легкая, маленькая ее головка с массой черных, иссиня-черных взбитых волос, ползущих по шее и по вискам, поразительно красивые руки, ее глаза, наполненные каким-то душистым сиянием, — все, казалось, говорило всем, кто хотел понимать: «Да, я иногда рассказываю вам о своем прошлом, как училась, как работала, но вовсе не для того, чтобы привязывать себя к прошлому, а чтобы вы малость узнали меня».

И приезд ее друзей, Павла и Фомы, — совершенно неожиданный, кстати сказать, — не сразу оторвал ее от этих приятных, проворно бегущих ощущений радости. Она приняла этот приезд не как вторжение частицы прошлого, а как возможность, благодаря появлению близких людей, жить настоящим еще полнее, еще бездумнее.

А между тем большеротое прошлое стояло совсем близко, почти касаясь ее спины.

Глава пятая

Я чувствую пришествие поры,— позвольте в столь важном случае употребить старинное и золотокованое обращение: дорогие читатели! — когда надлежит описать речи Евдоши своим спутникам, шагающим по берегу моря от дома поэта Волошина, мимо столовой, до кустов тамариска, за которыми овражек и узкая дорога вдоль холмов синей глины, к электростанции, подвесной дороге с качающимися люльками, полными голубого траса, к домикам у подножия Святой горы, где сворот дороги к таинственному Карадагу, зубастому вулкану.

Вольности романиста известны. Они не отменены. Опираясь на них, я опишу не только то, что говорила Евдоша, но и то, что она при этом только думала. И даже то, что она и не говорила и не думала, вернее сказать, думала, но так скрытно, так затаенно,— видя это как бы издалека, краешком глаза,— что, пожалуй, и сама не в состоянии была осознать. «Позвольте!— возразит мне читатель.— Ведь еще недавно вы утверждали, что Евдоша откровенна и вспыльчива?» Да, она откровенна, по иногда самый наоткровеннейший не понимает, насколько он скрытен.

Здесь, опять-таки по-старинному, я позволю себе небольшое моральное поучение. Иной в гневе и ярости так лжет,— и перед собой, не говоря уже о других,— что диву даешься. А почему? Да потому, что правдивым быть трудно. Поэтому-то правдивость и редка. А что ложь частенько прикрывается правдивостью, то иначе и быть не может. Какая же ложь без правды? Так себе — лжишка, мелкая-мелкая, словно пыль. А приправленная правдой, она — лжищица, вознесенная превыше небес и патентованная самыми крепчайшими патентами. В заключение добавлю, что для человека наблюдательного нет, по-моему, лучшего наслаждения, чем следить за изворотами лжи. А кто, кроме дара наблюдательности, обладает и решительным характером, у того наслаждение удваивается — он имеет возможность и сражаться с ложью. У этой страсти бесконечные возможности, так как победа правдивости над ложью и притворством — дело, по-видимому, весьма отдаленнейшее. Ложь — цепка, правдивость — сильна, но пробить или прорезать ложь насквозь правдивость еще не в состоянии. Все пробы да пробы.

А что поделаешь? Ведь и золото без примеси лигатуры чересчур мягко. Возможно, лигатурой правдивости, залогом победы ее, является время?

Хватит, однако, отвлеченной морали. Будем отправлять свою поэтическую службу. Приступим к новому отступлению. Оно длинно, но, глядишь, наверстаем конечными темпами: зерно дольше созревает, чем созревает.

Итак — биография героини. Родилась и выросла Евдоша Наледина на Малой Ордынке, во дворе «дома протопопа», неподалеку от огромной и одутловатой церкви папы Климента. Все детство, юношество, институтское учение Евдоша ходила мимо этой церкви, облупленной, какой-то злобно багровой, с проржавевшими куполами и остатками узорных украшений. Когда Евдоша впервые прочитала «Вия», она решила, что опрометчивый и мстительный Хома погиб именно в церкви папы Климента. Украина — это ведь окраина, Малая Ордынка когда-то и была окраиной Москвы, где и жила малая орда со своими привидениями и ведьмами. Если приглядеться, то и сейчас в окнах церкви можно увидеть худощавые и скуластые морды чертей.

Мать Евдоши, громоздкая, грубая, религиозная, — в эти дни религиозность, как и антирелигиозность, были-таки грубоваты, — с какой-то даже язвительностью верила и в чертей, и в ангелов, в первых, пожалуй, даже и больше. Перепало слегка религиозности и маленькой Евдоше. Пробежать мимо папы Климента на Малую Ордынку зимой, в метель, было очень приятно. Она бежала, легко дыша, размахивая клеенчатым портфелем, особенно высоко вскидывая левую ногу, туфель на которой, возле мизинца, постоянно протирались, а чулки рвались.

Церковь папы Климента надолго запомнилась ей по первой ее — еще школьной — любви к Паше Ферязеву, с которым она училась в одном классе, а затем вместе перешла в Архитектурный институт. Паша был сыном председателя колхоза подмосковной деревни возле Кунцева. Отец его, мужчина титанического сложения, непомерной силы, вел колхоз сносно, однако в семейной жизни он был часто несносен, попросту — самодур. Например, будучи невысокого мнения о сельских школах, он настоял, чтоб его старший сын, Паша, учился непременно в Москве и непременно чтоб изучил «все иностранные языки» или, по крайней мере, «главные», объясняя

это тем, что «я остался безгласен, так надо, чтоб мой сын говорил на весь мир и чтобы он весь мир слышал: кто и что относительно нас». Павел поселился в дворницкой, у отдаленных родственников, на Пятницкой, жил как в содеварне: горько, душно, едко; учился он, впрочем, хорошо, но языки ему не давались. Отец сокрушался из-за этих проклятых языков и однажды, будучи основательно пьян, выгнал сына из дома, когда тот приехал к нему на каникулы. Огорчение для Павла это было не малое. Евдоша утешала его: «Вернешься,— и весь колхоз на малый город перестроишь». — «Только на этом и помирись», — отвечал Павел без шутки: он любил мечтания, архитектурные в особенности. И любил он красивые имена, слова, названия предметов.

Влюбился он в Евдошу в шестом классе и любил до первого курса института, а затем охладел и, попав к отцу в деревню (архитектурную перестройку деревни он разрабатывал, как говорится, «в самых широких масштабах»), полюбил певунью из сельского хора, он увез эту певунью в Москву, устраивал в консерваторию и устроил бы, но певунья умерла во время родов, и ребенок после кесарева сечения тоже оказался мертвым. Тяжело и мутно жилось ему в те дни. Но к Евдоше он не приходил, а пришел позже, когда она вышла замуж, и то, как ей казалось, не из-за нее, а из-за талантливого и многообещающего ее мужа.

А Евдоша на всю жизнь запомнила эти встречи возле церкви папы Климента, почтительные и крепкие пожатия его руки, гулянье по улицам, — все вокруг да вокруг папы Климента, стоянье у ворот, полуобъяснения, намеки на любовь, вздохи, свою суровую и непреклонную уступчивость и пугливое изнеможение, с которым она входила в квартиру родителей. Она испытывала и к нему, и сама к себе сострадание, — и какое это было веселое и многозвучное сострадание! И какая это была детски страстная, золотая любовь! И как ее было приятно потом вспоминать!

Жили Наледины несчастно. Мать Евдоши из-за плохого характера и религиозности, которую назойливо выставляла напоказ, часто увольнялась с работы, а затем долго судилась, пока не подыскивала новую службу. Жизнь отца не была столь пестрой, и зарабатывал он лучше жены и характером был приветливее, мягче, но

он пил свирепо, пил запоем, пропивая во время запоя и таща из двух комнатешек все, что можно утащить, вплоть до оконных отдушин.

В доме было много жильцов, а в коммунальной квартире, где родилась Евдоша, жило, казалось, больше, чем в какой-либо другой квартире. Жили пухлые и тощие, сердитые и добродушные, стройные и круглые, свежие и тухлые,— все они по-разному ссорились, жаловались, ныли все, тоже по-разному, были несчастны, и всех их, по-разному, было жалко Евдоше. Ссорились из-за сараев, где хранились дрова и всевозможная рухлядь, у колонки из-за воды (водопровод появился, только когда открыли метро). По утрам в коридор вылезали влажные и лохматые старухи, лошадино фыркали и стучали в дверь уборной мускулистыми пальцами. Страшно было стоять в очереди с полотенцем в руках. Коридор пах кошками, соленой капустой, подгоревшим маслом, сырыми дровами. Евдоша незаметно крестилась и шептала, прикрывая рот полотенцем, чтоб папа Климент дал ей безгрешную кончину, чтоб никогда-то ей не быть старухой, не плевать, не шаркать ногами и, проходя, не оставлять за собой едкого и отвратительного запаха старого белья и плохо переваренной пищи. А затем она и вовсе перестала молиться. Долго шла, увязая в глине быта и предрассудков, но вдруг вступила на слой чернозема, который хоть и лежит на толще глины, но плодоносно-ликующе на нем колышутся веселые злаки, лохматые пестрые цветы, по нему мерно шагают задумчивые пахари!

Она жадно вслушивалась в разговоры людей: пятилетка, будет много заводов, приток пролетариата из деревни — всем понадобится больше хлеба, новых домов, железных дорог, книг. Отец Евдоши разводил певчих птиц. Евдоша помогала ему, хотя на поиски выкормышей отец ее не брал. «Не женское дело, отвлекает от воспитания детей», — говаривал он десятилетней девочке. В клетках прыгали черные дрозды и щеглы, эти необыкновенно драчливые птицы с красивым пеньем. «Вот пятилетку построим, — говорил ей отец, — разбогатеем, распоемся и тоже станем драчливыми. Менять жизнь без драчливости, вижу, нельзя, особенно коли живешь в «доме протопопа».

Евдоша жизнь свою в «доме протопопа» считала естественной; она ее хотя и раздражала, но и в голову не

приходило менять ее. «Как это, пана, менять?» — спросила она. «Скажем так: пускаю я самого драчливого щегла в новый, большой вольер,— драчлив щегол, а и он простор и свет понимает: иной недели две никого не бьет. Вот переедут люди в новые дома, они ведь не щеглы, небось не две недели, а два года ссориться не будут». Позже, несколько лет спустя, шла она мимо строительства моста, где, как я уже писал, работал ее отец. «Отец строит мост. Почему бы мне не построить дом? — пришла ей в голову дерзновенная мысль. — Пусть не я в него перееду, так хоть другие».

Начались бесконечные и тревожные дни ученья в Архитектурном институте, зачеты, испытания, сидение в аудитории, поездки в колхоз «на картошку», появились жадные взгляды молодых людей, прятные разговоры подруг, чертежи, книги, имена новых современных архитекторов, которые постепенно исчезали, заменяемые именами архитекторов Возрождения, а затем и Рима.

Римские архитекторы торжественно заняли институт именно тогда, когда Евдоша выходила из него, переходя в «Мастерскую № 13» старика Веселовского. «13» было данью бунту двадцатых годов, каковую бунтарскую цифру в день шестидесятилетнего юбилея Веселовского отменили, присвоив мастерской почетное название «имени Веселовского».

Жила Евдоша по-прежнему в двух комнатках «дома протопопа» и по-прежнему никакой злобы к этому дому не чувствовала; надоест он ей надоел, но, скажем, ломать дом ей было б жалко,— а может, даже и переезжать. Евдоша в этих комнатках говорила родителям, гостям, всем, кто хотел ее слушать:

— Самое большее, через десять лет будет новая Москва. Я хочу с гордостью ответить потомкам, если они спросят: «Что ты сделала хорошего в этом городе?» — «Выстроила новый дом».

— Потомки не спросят,— улыбаясь дряблыми, отвисшими щеками, говорил отец,— им будет не до вопросов к нам. Они собой будут любоваться.

— Светлый, большой, просторный, с широкими пролетами, со стеклянными плоскостями, современный дом,— продолжала Евдоша,— каких еще не было в Москве. Хочу, чтобы в этом доме жили самые обыкновенные, самые простые люди, и чтоб если б им, например, понадо-

билась горячая вода — они б ее получили немедленно, чтоб не было печей, чтоб плиты были электрические, чтоб школа, кино, магазин... чтоб все под рукой и все — просторно!

— Аль в просторных комнатах меньше ругаются? — спрашивал отец.

— Но ты же сам, помнишь, говорил о щегле. Даже если только захотят меньше пить и ругаться, то и то хорошо.

— Нагнись, не ушиби башку о притолоку! Горда очень.

— А кто нас учил гордости?

Отец, заложив руки за спину, смотрел на нее. Она была выше его, да, пожалуй, и стройней, чем он в молодости, хотя отец и думал весьма почтительно о своей молодости. Плечи у нее шире, голова круглей, светлей, глаза пронзительней, а брови — куда ему! — почти для полозьев годятся. И слова она подбирает такие, что они, как северный ветер, способны гнуть деревья. «Эх, да кабы ко всему этому да бросить мне пить!» — думал отец. Ему, — да и всем остальным, кто ее знал и видел, — весело верилось, что Евдоша выстроит прекрасный дом и что в этом доме люди будут жить так хорошо и кругло, как она того желает.

И она дом выстроила.

Дом этот, шестиэтажный, длинный, голубой, красивый, стоит на одной из широких улиц Москвы в том месте, где прежде ветер гулял по пустырям, мусорным ямам, кладбищу, а теперь работает громадный завод.

Несколько трамваев, метро, троллейбусы, автобусы выливают утром к заводу тысяч десять людей. Прибывшие поднимаются по высокой и широкой лестнице. Вход разгорожен железными перилами на несколько отделений. Огромные, как ворота, часы над головами входящих гулко отбивают время. Табельщик с высокого табурета глядит на рабочих очень доброжелательно. И они, несмотря на раннее утро, смеющиеся, веселые. И если только взглянуть мельком на эти молодые и уверенные лица, то этого вполне достаточно, чтобы понять, что в нашей стране в дни Октября действительно произошло нечто неслыханное, небывалое, нечто крайне высокое и безбрежное.

Глава шестая

Еще Евдоша не закончила постройку нового дома, как у нее появился муж.

Инженер Виктор Орехов вел постройку гаража для завода. Знакомство началось с того, что каким-то непонятным путем материал, необходимый для Евдошина дома, оказался у него на стройке. Все действия инженера были так неопровержимы и законны, что у Евдоши после разговора с ним показались на глазах, вообще-то редко выступавшие, слезы. И вдруг час-два спустя все спорные материалы так же неопровержимо и законно улеглись у ее постройки, а сам инженер Орехов пришел извиняться.

— В суматохе и не то перепутаешь, — сказал он, доставая из-за пояса шерстяную варежку и вытирая ею лоб.

И тотчас же, мотнув рыжей головой, несмотря на то что в конторе толпились люди, смело признался:

— Впрочем, более опытному, но менее талантливому коллеге я бы материалы не вернул.

— Вы что же, товарищ Орехов, суда не боитесь? — спросила Евдоша.

— Конечно, неприятно. Да уж как-то получается всегда, что, если дурак строит, мне противно.

Что-то очень широкое и приятное было в его улыбке, когда он говорил эти слова. К тому же оказалось, что оба они учились в одном и том же институте, только Орехов кончил курс раньше на три года.

— Значит, Рима в вас еще меньше, чем во мне?

Он улыбнулся еще приятней.

Евдоша сразу почувствовала к нему доверие, и когда, три дня спустя, он явился к ней с билетами в театр, она не только поехала с ним, но после театра согласилась отправиться к нему на квартиру ужинать.

Квартира была не его, а старшего брата, инженера какого-то высокого главка. Брат и его жена уехали в санаторий. «Поэтому будем как дома», — сказал, смеясь, Орехов.

Орехова уже ожидали гости. Видно было, что он умел собирать и приятных, и молодых, и в то же время положительных людей. Все здесь было так же, как и на прочих вечеринках, которых Евдоша помнила много и которыми всегда оставалась недовольна, но здесь это было

овейно какой-то неуловимой дымкой большого размышления и большой внутренней смелости. Евдоше это было приятно, и приятно была некоторая робость, которую она испытывала.

На столе она заметила раскрашенную фотографию в траурной рамке. Женщина с пушистыми пепельными волосами заботливо прижимала к груди ребенка. «Моя жена, — объяснил Виктор Лукич. — Развелись зимой прошлого года». — «А ребенок?» — спросила Евдоша. «У нее». Орехов показал фотографию ребенка.

«Как же быть? — подумала Евдоша, вглядываясь в фотографию мальчика. — Как же, если я полюблю Виктора Лукича? Ребенок? Разведен? Нехорошо».

Она полюбила его. Сыграли свадьбу три месяца спустя, в той же квартире, куда Евдоша приезжала ужинать из театра, только хозяйничали теперь старший брат и его жена, степенные и полные люди с тихими движениями и тревожными глазами. Старший брат мужа, Егор Лукич, пристально смотрел на Евдошу из-под длинных черных бровей и, казалось, говорил: «Эх, ихватишь ты, девушка, горького до слез!» — «Что ж, и хвачу, — отвечала ему тоже глазами Евдоша, — мы к бедам привыкли».

Родителей, подвыпивших, плачущих, увезли на Малую Ордынку, куда через день должны были переехать и молодые. Стали собираться домой и родственники, одни лишь друзья не торопились: среди них разгорелся спор — какому материалу преобладать в пролетной части здания, дереву или металлу? Вопрос был специальный, все друзья были или архитекторы, или инженеры. Прежде Евдоша спорила б горячо и весело, а теперь в ушах ее звенели слова, но смысла их она не понимала. Она смотрела, не отрываясь, на оживленное лицо мужа, который при поддержке Павла доказывал, что важнейший строительный материал жилых домов — дерево, а железо нужно теперь на более важные стройки: на заводы, Фома, как всегда, не спорил, он вслушивался, наслаждаясь чужим азартом, аргументы у него, видимо, были приготовлены, но он их берет. Он обожал споры и дискуссии, считая самым лучшим оппонентом того, кто, не моргнув глазом, «любую брехню или ругань выдержит».

Фома и Павел — однокурсники Евдоши. Раньше Фома никогда не ухаживал за ней, а перед самой свадьбой, в шутливой манере, ему свойственной, предлагал ей «сердце и руку, на днях получающую диплом». На Малу Ордынку к ней они теперь ходили почти каждый день. «Они — хорошие, — думала Евдоша не без удовольствия, наблюдая, как друзья глушили рюмку за рюмкой, — они рады».

Они поднялись, прощаясь, и долго целовали ее мужа в губы, а ее почему-то — в плечо. Павел, мнительный, с серым, точно из дерматина, лоснящимся лицом, косился на форточку: не прохватило бы. Преображенная Евдоша, — в фате, с цветами на голове, — потрясла его. «Прозевал, прозевал», — бормотал ей он. Евдоша, широко раскрывая глаза, делала вид, что не понимает. Фома, благодаря новой черной паре, не шутя казался раздавленным, особенно в груди. Он стал на голову выше Павла, голос его гулко гудел. Уходя, в прихожей он споткнулся о чью-то забытую шапку и грохнулся враспяжку. «Лечь под палящим солнцем приятно», — затаил он, дрыгая ногами. Поднявшись и отряхнувшись, он поцеловал руку Евдоши и сказал: «Претерпеваю изменения своего образа. Снабженец, преобразовывающий промышленность, должен и сам преобразовываться. Теперь впереди всего — ораторство за искусство, а не любовь».

Фома, быть может, и ораторствовал на улице, но Евдоше было не до него, ее потрясала умиленная и необъятная любовь к мужу. В квартире наступила странная тишина. Отвернувшись, избегая взглядов мужа, Евдоша смотрела на ночник с прорванным розовым абажуром. Голова у нее кружилась, хотя она ничего не пила за столом, даже когда кричали «горько». Ей часто приходилось слышать, что вино отшибает память, она же желала все хорошенько запомнить, хотя ей и стыдно было думать об этом.

Виктор Лукич выпил основательно, — и, кроме радости, что-то едкое было на сердце Евдоши.

Муж подошел к кровати, сел на стул, широко расставил колени, скрестил руки на груди, и, слегка икая, упершись подбородком в грудь, сказал:

— Ну, что ж, начнем?

Евдоше стало жутко. Она едва смогла выговорить:

— Так рано?

Муж молча раздел Евдошу, похвалил ее телосложение: «вместительная» — и твердым голосом добавил, что она стройна, как пальма. Евдоша устала на него, обливаясь сухие губы и вся дрожала. Он подумал немного, а затем внезапно накинулся на нее, но тут же отскочил и со стоном погасил ночник. Потом она почувствовала уверенные движения рук мужа, которым послушно подчинилась, наполненная радостно-тревожным ожиданием. Потом она завопила сквозь зубы, и даже в темноте видна была ее бледная голова со сверкающими глазами. Евдоша старалась забыть боль, чтобы почувствовать то, о чем часто и смутно думала и что замужние подруги находили «своеобразным и заманчивым». Но ничего не почувствовала ни в эту ночь, ни в последующие, — и никогда вообще. Два или три раза, ночью, резко произнесенные мужем слова, обращенные к ней, вызывали ее настороженное внимание; она отвечала неопределенно: — Что за вопрос?

Он перестал спрашивать.

Она удивлялась и печалилась и этой взаимной любовной неприветливостью объясняла унылый холодок, постепенно овладевавший ими. Муж был молчалив, пасмурен; Евдоша бормотала ему ответы с непонятной боязнью. Лишь много позже, вдали от мужа — в Крыму, перебирая события своей замужней жизни и вновь и вновь восторгаясь цельностью творческой природы мужа, Евдоша начисто отбросила мысли о возможной черствости или цинизме Виктора Лукича, объясняя себе многие странности его характера уязвленной чувствительностью и своей, как ей казалось теперь, недостаточной любовью к нему.

Жили они на Малой Ордынке, все в том же «доме протопопа»: родители уступили им из двух комнаток ту, что побольше. В комнатку поставили письменный стол для ночной работы Виктора Лукича, и ходить пришлось боком, то и дело задевая либо кровать, либо письменный стол, либо большую шкатулку, облепленную окрашенными раковинами с надписью «Ялта», подаренную Евдоше матерью на свадьбу. Шкатулка нелепая, безвкусная, оранжевые раковины блестят неприятно и фальшиво, но — куда ее денешь? — родительский подарок. И, главное, мать больна, часто говорит: «Скоро освобожу вам жилплощадь». Видные люди из главка, сам

руководитель мастерской обещали Евдоше квартиру в новом доме, но, как говорил муж, «время эпохальное, но получить квартиру в новом доме еще более эпохальное событие». Евдоша ходила на работу по-прежнему мимо облупленной церкви папы Климента, вздыхая, что не верит уже в привидения и что на церковь ей смотреть теперь не страшно.

Евдоша ждала, что после замужества придет к ней больше радости и гордости, чем когда-либо, придет какое-то большое событие, которое перевернет все ее настоящее, будущее и даже прошлое: начнется новая, — пусть еще не героическая, но лежащая где-то близко от героического подвига, — жизнь, та таинственно-глубокая жизнь искусства и вещей порывов, о которых она с некоторых пор начала мечтать. Муж так талаштлив, да и она ведь не бездарна. Муж чертил проекты, она помогала ему, чертила свои, от товарищей они слышали одобрение, но в мастерских появились какие-то новые люди, которые хоть и соглашались, что новейшая архитектура имеет право на существование, но осуществлять ее не то чтоб не соглашались, а все откладывали. А там и откладывать перестали, просто говорили «не поступило разрешения», и голос их при этих словах становился все жестче, все железней, а глаза все холоднее. Так они оба — муж и она — почти незаметно попали в «леваки», попозже и в «крайние леваки». Виктор Лукич конфузился этого «левачества», его мучили тяжелые сомнения, а кроме того, он страстно любил свою работу, так страстно, что, когда в деревне родители его пожелали иметь новый домик, он сам сложил им красивый кирпичный дом, такой красивый и просторный, что родители отказались в нем жить и передали его детскому дому. Кроме того, у него была склонность — жить, вовсе не прибегая или, во всяком случае, пореже к крутым ломкам. Он утверждал, что всем людям свойствен «здоровый консерватизм», и ему, например, крайне неприятно и непонятно, как он попал в «леваки», — «эпоха, что ли, воздействовала или, быть может, то мое понимание искусства, которое трактуют «левачеством», тоже с какой-то стороны не что иное, как консерватизм?». Такие разговоры мужа Евдоше было горько слушать.

Виктор Лукич говорил невесело:

— Как отрешиться от самого себя, кто знает, быть может, стремление к пышности, мрамору, золоту и есть эманация величия нашей эпохи, которой мы не ощущаем, как не видим в воздухе паров испаряющейся воды.

Евдоша вскакивала, чувствуя в словах мужа то, чего другие не чувствовали:

— Тебя, Виктор, как ребенка, совращают дурные товарищи.

Он молча указывал на Фому и Павла: «Они?»

— Нет. Ты знаешь, кого я имею в виду. Ты знаешь, кто тебе подсовывает ионические, коринфские и дорические ордена, кто увлекает тебя в эту игру колоннами, украшениями архитравов...

— Кто, кто?

— Приспособленцы! Прислужники буржуазии и аристократизма, которые хотят воскресить Грецию и Рим, вернее, подделаться под Рим и Грецию, оконфузить нас перед лицом пролетариата всего мира! Да, скажут пролетарии, очень они хороши, эти русские, живут в реставрированных римских развалинах.

Она понимала, что говорит сумбурно и схематично, но нет времени выбирать слова. Важны — мысли, мысли...

— Но что же нам, по-твоему, остается делать?

— Отрицать. Сопротивляться! Указывать еще и еще, что неправильно, ошибочно хотят расходовать народные средства. Строить нужно просто, так сказать, — коротко и ясно, выразительно. В этом и состоит выражение современного вкуса.

— А если не дают? — спросил Фома. — Если требуют римской выразительности, что нам тогда делать? Мы с Павлом пока что поступили на кинокурсы, изучаем аппаратуру кино: есть к тому стремление, да, может быть, и понадобится. Я-то, признаться, думаю, что этот «римский вопрос» изживет себя в два-три года; заметят ошибку, заметят, что переборщили, и — замнут. Ну тогда мы опять — к новейшей архитектуре.

— Но в эти два-три года вырастут «классические кадры», тогда еще труднее будет согласовать противоположные мнения, — тихо заметил Павел. — Я опасаюсь, Фома, как бы нам с тобой не застрять навечно в киноаппаратуре.

— Никогда! — крикнула Евдоша.

— Да, я тоже уверен, что увлечение Римом пройдет:

что это за возрожденный амфир, в самом деле? — сказал Виктор Лукич спокойно, но за этим спокойствием Евдоша почувствовала, что он говорит так только из одной доброты, вернее, из-за любви к ней, он был не очень-то добр, а любить, — по-своему, как-то тускловато и жестко, — несомненно любил ее.

Евдошу начали мучить мрачные настроения. Отчасти тому виной было и то, что жили они в тесной и душной комнатухе, где все их движения были на виду, где и слова громкого сказать нельзя, — немедленно услышат и начнут обсуждать и толковать, что любовные речи, — впрочем, потребность в этом ощущалась все реже и реже, — нужно было заменять жестами или письмами, и что оттого любовь походила на решетины, те узкие планки, по которым штукатурят, тогда как она должна быть самой штукатуркой, цветной, расписной и украшающей и утепляющей. Ну, да все это еще туда-сюда, но вот то, что кто-то бесстрастный скрытно и мутно оттеснял от работы, вот это ложилось тоскующим грузом на сердце.

— Ведь мы же рождены тут, в этой стране, людьми, создавшими эту страну, и кому, как не нам, обстроить ее, украсить, а нас?! Кто-нибудь думает над этой несправедливостью? — отчаянно спрашивала Евдоша.

Работу и ей и мужу стали давать мелкую, «плохо вдохновляющую», почти подсобную. Это тоже раздражало, особенно мужа. Виктор Лукич все чаще и чаще заводил разговор о возможной правомочности Рима. Павел и Фома держали сторону Евдоши. Увлечение Римом — преходящее, а двадцатый век имеет свое лицо, и в особенности в Советском Союзе, римское или древнегреческое искусство тут совершенно ни при чем.

— Рим я понимаю не во вращательном движении, — кричал Виктор Лукич, — а как продолжение движения, начатого древними. А ты, Евдоша?

Евдоша боялась, что муж, чувствуя себя обиженным и обойденным, согласится и на Рим. Дело в том, что кто-то из высших, чуть ли не «сам», еще когда она училась в институте, отвечая на вопрос о новой архитектуре, сказал: «Что еще за новая архитектура? Старая не исчерпана. Возьмите — Рим. Чем мы хуже Рима?»

Куда-то «наверх» пригласили крупнейших архитекторов. Вышел кто-то в синем, выслушал пожелания пригла-

шенных, а затем, «подводя итоги разговора», сказал, что строить нужно на века, солидно, красиво, без буржуазных кривляний и в то же время пышно: «Рим, знаете, умел строить, а мы усваиваем все лучшее в прошлом,— почему бы и оттуда не почерпнуть, если понадобится? А то мы редко обращаемся к классическому наследию. И что же в результате? В результате строим какие-то нелепые кубы, параллелограммы, призмы,— глазу негде получить удовольствие! Посмотрите-ка!»

И он показал большие фотографии.

Среди прочих фотографий была фотография дома, построенного Евдошей.

— Нет, нам такая архитектура не только не нужна, но и вредна,— заключил «некто в синем» и распрощался.

Архитекторы разошлись.

Сразу, точно выпустили необыкновенно едкий раствор, распались все замыслы новейшей архитектуры, и в стеклянные ровные пространства, полные воздуха и света, врезались древние колонны, арки, купола, статуи.

— Но это — блажь! — побледнев и с трудом выговаривая слова, говорила Евдоша.— Почему в двадцатом веке воскрешать в архитектуре блестящую эпоху Августа и Флавиев? Мы живем свою, а не чужую жизнь, и она — не постановка исторического фильма!

Виктор Лукич уклончиво бормотал:

— Хозяин знает,— подчеркивая слово «хозяин».

Все умолкали, переводили разговор, только подвыпивший отец Евдоши вставлял:

— Лично я в Риме не был, но я тебя поддерживаю, дочка. Ране-то ходили в кандалах по улицам, видели: купцы пышно строят. Сбросили кандалы, думаем: аль мы плоше купца?

Евдошу охватил восторг:

— Здорово, старина!

— И как это вы, отец, живя в «доме протопоба», научились так далеко видеть? — спросил Виктор Лукич, подняв глаза к потолку. Слова старика он принял как напоминание, что, живя в чужом доме, нечего туда свой закон вгонять. Последние недели Виктор Лукич жадно впитывал обиды — подлинные и кажущиеся. Он мед-

ленно поднялся и без кровинки в лице, словно слова, которые он собирался произнести, невероятно испугали его самого, и, не замечая, что для убедительности положил даже руку на сердце, вдруг крикнул в бешенстве:

— Хватит! Прекратить левачество! Забыть эти огрызки двадцатых годов! Я запрещаю при мне поносить Рим.

— Скажите пожалуйста, какой патриций. Боюсь, тебе из-за этого окрика будет еще стыдно, Виктор,— сказала, улыбаясь, Евдоша.

— Никогда!

Уходя, Павел шепнул ей у дверей:

— Держитесь, Евдоша. Проказа всачивается по мелочам.

Позже, ночью, Виктор Лукич сконфуженно просил прощения у Евдоши. Подумав над своими словами, он пришел к выводу — плохой он, несдержанный и распустившийся человек, ему надо подтянуться и решиться наконец более стойко бороться за свои творческие убеждения. Этак ведь черт знает к чему можно скатиться!

Евдоша простила и все же, вспоминая слова мужа, думала: «Прекратить левачество». — Как это часто слышишь. Все кругом кричат, что левачество — вздорная возня «за форму», и всего лишь только за форму. А ведь это и нравственная проблема! Общество борется за нового человека — более нравственного, чем когда-либо прежде; более чистого, умного. Борется новыми средствами: коммунистическим трудом, дружбой, единством, коммунистическим, общечеловеческим отношением к миру, всеми возможными формами нового... Отсюда и архитектура должна стать новой и все искусство вообще! Никто не отрицает воспитательного значения прежнего искусства, это так же нелепо, как нелепо отрицать исторические исследования. Задачи, стоящие перед нашим советским обществом, — высоконравственны? Несомненно. Значит, и задача советского искусства, как части нашего общества, тоже высоконравственна: искусство должно вдохновлять на добро, совесть, поиски истины. Но ведь существуют люди, которые отрицают добро, считая его идеализмом, надпартийностью? Есть такие. Правы они? Нет.

По-ихнему выходит, что наш советский человек не должен иметь самостоятельного мышления в решении проблем добра и совести? Значит, это привилегия буржуев? Церковников? Если к самостоятельно мыслящему сразу же применяется тоскливый террор, как к потенциальному изменнику, до добра ли тут?! Добро никем целиком не отрицается, а всего лишь как бы укорачивается. Отсюда столько муки. Раз «добро» взято под сомнение, то нужно ли быть добрым? Если человек перестает быть сам себе судьей (а ведь других-то обмануть легче, чем самого себя) — чего ему испытывать жалость к тем, кто вне разрешенных ему кругов доброжелательности?» Вот какие мысли терзали Евдошу — вот о чем думала она, ни с кем не делясь своими мыслями, но и не пытаясь остановить их ход, а распаяясь все больше и больше.

«Да, если так легко всякого заподозрить в скрытой измене — какое уж тут добро! Утверждают, что, из-за трудности доказательств, измена — понятие растяжимое... А я в это не верю, не верю, — сама себе твердила Евдоша. — По-моему, люди совершенно зря сотни лет жалеют глупого неистового Отелло — очевидно, допуская, что сами могут стать не менее, чем он, глупыми, — так не то же ли самое и в политике: одни государственную измену измышляют наподобие Яго, а другие верят в эти домыслы так же легко, как Отелло поверил в измену Дездемоны».

Но заглушим, однако, то, что на языке беллетристов называется «философией героини», и вернемся к самому обыкновенному толкованию понятия добра, как стремления помочь ближним, быть милосердным, быть живым и сердечным. Когда-нибудь мы будем иметь больше возможностей воспитывать в себе доброту. «Да, да! Знаю и настаиваю, — так же думала и Евдоша. — Знаю, все знаю, — твердила она мысленно. — Знаю и то, что война приближается и что война — грязное, жестокое бремя, которое несут народы еще долго после окончания войны. Да, знаю. И, однако, верю в добро, в новое искусство, в торжество новой архитектуры!»

Тем временем обсуждение «римского вопроса и классического наследства вообще» расширялось. Объявили о дискуссии в Доме архитекторов. Получив повестку, Евдоша спросила у мужа:

— Ты намерен выступить, Виктор?

— Да надо бы.

— Мне не совсем понятно твое отношение к нашей, как ее называют, левацкой архитектуре.

— Нельзя же отрицать классического наследства,— ответил Виктор Лукич уклончиво.

— Наследство наследством, еще не известно, кто его получит, а вот наша архитектура. Отрекаешься ты от нее или нет?

— А ты?

Она не ответила, а только развела руками. «Все-таки и сам должен бы кое-что понять»,— говорил ее жест. Лицо его было бледно и взволнованно, руки вздрагивали, губы были сухи и обметаны. Евдоша чувствовала к мужу сострадание, но ничего не ответила. «Пусть сам решит, чтобы потом на меня не пенять». Тут вспомнила Евдоша, что на днях сердобольная секретарша Союза архитекторов, глядя в ее осунувшееся лицо, сказала: «Много путевок горит — все ждут собрания. Дадут с большой скидкой. Коктебель, дом отдыха, море, купанье. И что за интерес признавать свои ошибки?» Евдоша бросила ей в ответ: «Интереса нет, тем более что у меня и ошибок нет».

Евдоша собиралась выступить на собрании, но раздумала. Во-первых, вряд ли сумеет сказать публично что-либо путное: отсутствует опыт; во-вторых, она совсем онемела б при мысли, что на трибуне архитектор Е. Орехова говорит одно, а через полчаса выходит архитектор В. Орехов и утверждает противоположное: жена — против Рима, муж — за Рим. В таких вопросах сплетне и смеху не место. Успею. Будет еще не одно собрание на эту тему. Поеду к морю, покупаюсь.

Павла и Фому она не встречала в последние дни. Месяца три-четыре тому назад они поступили на крупный комбинат, имеющий отношение к строительству заводских зданий. Служба была не очень высокооплачиваемая, но все-таки хлеб; занятия же с киноаппаратурой хлеба не давали, впрочем, занятий этих они не бросили, а умели соединять их как-то со своей деятельностью снабженцев. «До споров ли им о новейшей архитектуре!» — думала Евдоша и, как мы увидим позже, ошибалась.

Глава седьмая

Хорошо у моря в первый раз! Да и в тысячный — тоже.

Счастливая, растрепанная, вдохновенно опаленная солнцем и ветром, шла Евдоша с пляжа в свою комнату. «Засахаренное варенье, наверно, так себя чувствует: оно стало совсем другое, пошло кристаллами, сладости больше, а никто не ест, разве когда соберутся переваривать», — весело думала она, осторожно шагая босыми ногами по теплым галькам аллеи.

А о варенье думала потому, что познакомилась с Афросиньей Никодимовной, и пахло от той земляничными духами, точно от банки с вареньем, которое так любила — не очень-то умея варить — Евдошина мама.

— Зовите меня по-морскому, — сказала Афросинья Никодимовна, — Афро. Совсем, знаете, в духе символистов, здесь когда-то бывавших. Хороший поэт Волошин?!

— По любви к жизни, в некотором смысле, близок Пушкину, — ответил ее друг, муж или любовник. Звали его сложновато: Изяслав Глебович.

Изяслав Глебович Иловлев, по его словам, «пушкинист», толстоватый румяный мужчина в чесучовом просторном костюме, ласково улыбающийся и ласково со всеми раскланивающийся, ходил медленно и с огромным достоинством, и, наверное, вряд ли кто подозревал, что он ежеминутно бежит, как ретивый пойнтер, высунув язык и вытаращив глаза, по следу. Служил он в важном Координационном комитете, что тоже не давало ни малейших оснований думать, будто даже мелкие служащие, не говоря уже о больших шишках, к которым принадлежал Изяслав Глебович, способны бежать по следу, высунув на полметра язык. Разумеется, ни Евдоша, ни Фома, ни Павел, ни даже сама Афросинья Никодимовна и думать не думали, что почтенный человек в чесучовом костюме все время так странно бежит, и — что того странней — по воображаемому следу.

Я бы не осмелился утверждать это, кабы не мой привилегии романиста, а пользуясь привилегиями, утверждаю, что Изяслав Глебович бежал, к сожалению, по следу воображаемому. Кто ему указал этот след — бог весть! Здесь не место об этом рассуждать. Как говорится, возможно, что судьба, тем более, — это тоже часто говорит-

ся, — что она любит пошутить. Разумеется, читатель вправе спросить: «А по какому же следу он бежал? Кого выслеживал? Заговор, что ли? Но ведь роман ваш преимущественно об архитекторах и художниках. И разве может существовать заговор в архитектуре и живописи?»

Да простит мне читатель, если на такой деликатный вопрос я решусь ответить несколько путано: от вопроса этого рябит в глазах. Хотя, собственно, почему зарябило, почему нельзя ответить? Почему и не быть заговору архитекторов, тем более всображаемому, — и почему центру этого заговора не поместиться именно в Коктебеле? Архитекторы способны отгрохать здание в самом наиримском стиле, а потом, во время какого-нибудь торжественнейшего заседания, потолки возьмут да и обрушатся на главы Главнейших! Способен обрушиться потолок? Способен. Кто кладет потолки? Люди. Проектируют их архитекторы? Архитекторы. Могут быть архитекторы подлецами и заговорщиками? Во время обострения классовых противоречий — еще бы! Удобно им в Коктебеле съехаться? Милые мои! А где же еще удобнее-то? Вы возрадите: «Воображение, и притом довольно плоское». Не спорю. А скажите мне, пожалуйста, уважаемый читатель, насколько больше погибло людей — от воображаемых бед и злодеяний, чем от невоображаемых, от настоящих? Не нужно отвечать, не нужно! Не будем оскорблять воображение, — даже плоское.

— Ах ты, господи! — воскликнула Евдоша, не веря своим широко открытым глазам. — Да ведь там Фома и Павел!

— Кто они? — спросила Афросинья Никодимовна.

Афросинья Никодимовна, собирательница гербариев, ботаник, работавшая при Московском университете, девица лет двадцати пяти, повторяю, ничего не знала из того воображаемого, чем полон был Изыслав Глебович, похитивший девицу у ее родителей, — будучи женатым, — не из-за страсти к прелюбодеянию, а из-за другой страсти, которая так свойственна пойнтерам, сеттерам и прочим охотничьим псам.

Желтый тряский автобус, покинув деревья аллеи, полной переливающейся зеленой тьмы, брызжущей откуда-то из-под низу, вынырнул на площадку, к конторе. Дверца плаксиво отползла. Евдоша увидела Павла и Фому. Умиленно, широко открытыми глазами глядела она на своих

друзей. «Ах, как вовремя!» Показались тяжелые чемоданы, два широких ящика, черные, с надписью: «Не кантовать». О, они приехали не столько отдохнуть, сколько продолжать работу над любительским съемочным киноаппаратом, проект которого уже осуществляла лаборатория комбината, где они служили. Фома называл аппарат «Жемчужиной советской техники», или сокращенно «ЖСТ».

— И «ЖСТ» здесь? — крикнула Евдоша. — Превосходно. Чувствую: вас ждет удача. Много снимать будете?

— Надоели мне твои железки, — проворчал Павел, вообще-то неворчливый, и, неловко положив треногу на чемодан, он направился к Евдоше.

И Фому и Павла, казалось, обожгла эта встреча. Павел незаметно вытер выступивший на висках пот. Фома несколько раз быстро провел языком по губам. И рука, которую он неуверенно протянул Евдоше, показалась ему самому заскорузлой, жесткой. Необходимо добавить, впрочем, что Фома не сплошь зарос смущением.

Восторг Евдоши был непритворен. Приезд друзей отвечал ее мечтам! Именно их-то и не хватало ей. Она любовалась ими, легкостью, с которой они переносят ящики. В них, в Павле и Фоме, — красота, которой она прежде не замечала, — впрочем, как и в Гармаше, который подошел очень кстати.

Гармаш стоял, настороженно насупись.

— Знакомьтесь: художник Гармаш. А это мои друзья — Фома Задонский и Павел Ферязев, архитекторы, хотя и работают по снабжению.

— Снабжение, — пробасил Фома, — в годы пятилеток, как заряд в оружии, весьма важно.

— Давно желал с вами, Захарий Саввич, познакомиться, — как-то даже слишком непринужденно сказал Павел. — Знаком с вашей супругой Виталией Осиповой.

— Да, да, да! — приветливо и тоже чересчур уж, пожалуй, приветливо воскликнул художник. — Виталия мне говорила.

— Виктор дал вам письмо? — спросила Евдоша.

— Нет. Мы его перед отъездом не встречали. А что? — несколько напряженно ответил Павел. — Какая-то про него тревожная статья в «Советском искусстве»?

— Ну, статья! Упоминание. Пустяки.

Гармаш, взглянув на Евдошу, решил, что она не лицемерит. Слишком уж блаженное и бодрое у нее настро-

ение. А подробности, — «послеречье», — о которых сообщала ему спешно, авиапочтой, Виталия, грустные: на нескольких производственных собраниях, на которых обсуждались вопросы строительства и архитектуры, имя архитектора Орехова упоминалось, — и упоминалось дурно. «Но почему Виталия ни слова о том, что Павел Ферязев уехал в Коктебель? Или она уверена, что они его, Гармаша, обвели вчистую и для него только и заря, что она — Виталия? И, по-видимому, Ферязева в том же убедила? А любопытненько узнать, выступали ли по поводу речи Орехова вот эти субчики — Павел и Фома, как их нежно и протяжно называет Евдоша? Или она, подобно другим вертлявкам, и думать забыла о муже? Ну да — жмых, выжимки. А так как известно, что трубы выжигают соломой, Евдоша уже и замену нашла: Павла и Фому?» И, сам понимая, что мысли его дурны и необоснованны, Гармаш изумился этим своим пасмурным мыслям.

За обедом сговаривались о прогулках, смеялись беспричинно, словно в юности, советовались с Гармашом и отворачивались, когда он начинал рассказывать: чересчур уж длинно у него получалось.

Евдоша объявила, что ее план — дальние прогулки, чтоб устать смертельно, чтоб, вернувшись, ни о чем не думать: головой в подушку и — спать. Она уже расспросила старожилов, изучила карту.

Обратился лицом к морю. Направо, повыше, на склоне Святой горы поворот к Южному перевалу и вулкану. Налево, за холмами и оврагами, Мертвая бухта. За Южным перевалом — венчаные горы. В Мертвой бухте — развешенные. Глина, песчаные валы, неподалеку высовываются из воды обломки скалы, похожие на шхуну. Пустынно, одиноко, ветрено. Пески словно раздумывают о том, улетать им отсюда или нет. «Мертвая бухта — не бухта наших мыслей! — воскликнула Евдоша. — Но идем к ней. А все остальные мысли, в том числе и те, что для докладной записки, пока — побоку!»

Глава восьмая

— Отличный мир, очень красивый, прелестный! — пристукивая в такт какому-то своему, не слышному никому напеву, говорила Евдоша, спускаясь по тропинке,

пересекавшей овраг.— Превосходный, добрейший мир. И еще он прекраснее оттого, Гармаш, что нельзя выразить его ни словом, ни краской. Сколько слов писалось о том ощущении, которое испытываешь, когдаходишь в море! А помню ли я хоть одну строчку или картину, равную тем чувствам, которые испытала, когда впервые дотронулась до теплого, милого моря?

— Поэтому-то новейшее искусство и отрицает списывание с природы как словом, так и красками. Куб, ромб, эллипсис не наполнены конкретным материалом, художник набросал контуры, а ты принимай их за море, за скалу, за письменный стол, за все, к чему толкнет тебя воображение. Даже экономно: в одной картине — десять! — Гармаш рассмеялся.

— Вы-то сами, Гармаш, согласны или нет с этим новейшим?

— Отказался, Евдоша, если вы следите за моими работами,— задумчиво ответил Гармаш.— Отказался и до сих пор изумляюсь: зачем? Излишество это с моей стороны. Сразу же, точно повинувшись моему отказу, вылезла эта натуралистическая дрянь... И я — за нею... эх меня!

— Жертвы вознаграждаются, Гармаш.

— Радуюсь вашей вере. Но тут была не жертва,— глупость. Впрочем, глупость награждается еще чаще.

Афросинья Никодимовна громко рассмеялась грудным своим смехом. Она шла, держа Изяслава Глебовича за руку. Лицо у Изяслава Глебовича было блаженное, улыбался он с такой добротой и кротостью, что казалось, мягче его и человека не бывало. Афросинья Никодимовна посматривала на него задумчиво-нежно и иногда, наклонившись к его уху, шептала еле слышно: «Твоя Афро тебя безумно любит».

Тем временем Изяслав Глебович думал: «Два молодых архитектора — леваки, притворяющиеся правяками и неизвестно почему не желающие работать по своей специальности,— приехали к третьей, составляющей, судя по ее намекам, какую-то докладную записку. Интересно бы ознакомиться с этой запиской. И художник Гармаш тоже из бывших леваков. Как циничны его рассуждения о новейшем искусстве! И почему все они тащатся к Мертвой бухте? Что это — символ? Что тут подразумевается? Кто — мертв? Каким образом?! — И наряду с этими кислыми

мыслями он, косясь на Афросинью Никодимовну, думал: — А у Афро фигура, пожалуй, лучше, чем у этой архитекторши: уж слишком та сухопара, да и голова мелковата, а потом, что это за волосы — словно рукавица!.. И вот еще что — непонятно, почему Пушкину, будучи в Крыму, не хотелось побывать в Феодосии, древней Каффе? Такие древности! Сообщение морское было плохое? И вообще, плавал он по морю и сколько? Надо подсчитать и записать. Стихов ведь о море много, но плавать... да и я ведь не очень-то жалую море. А художник Гармаш — есть такой персонаж у Пушкина: раздраженный, желчный, подозрительный...»

В разъяснение мыслей Изяслава Глебовича о Пушкине нужно добавить, что Изяслав Глебович давно уже составлял словарь дат, мест, отзывов критики и друзей поэта о каждом его стихотворении. Не потому ли Изяслава Глебовича и «направили» сюда, в Коктебель, к поэтам, драматургам, архитекторам, живописцам?.. Да простит меня читатель, что тревожу тень поэта, упоминая имя его, когда описываю негодяя, но ведь и за Александром Сергеевичем их ходило немало! Что же касается любви Афросиньи Никодимовны, то мало ли кто кого любит? А кстати сказать, эта молодая женщина в коротком пурпурово-фиолетовом платье с белым цветком у плеча была в тот день очень хороша, не так хороша, как Евдоша, но все же хороша. Однако ни Павел, ни Фома не ухаживали за ней, а шли возле Евдоши, глядя ей в глаза и прислушиваясь к ее голосу.

Видно было, что им нравится высокий голос Евдоши, твердая ее походка, вся ее высокая, сильная фигура, — не столь все ж высокая, как у Афро. Да и слова Евдоши, должно быть, им нравились: Евдоша заметила, как они одобрительно переглянулись. И курчавому Феде нравились ее слова, он подбежал к ней и ткнулся головой в ее руку. Она погладила его.

— Позвольте, друзья! Еще ведь при вас вышла газета с упоминанием о речи Виктора? — спросила безмятежно Евдоша.

— Разумеется, — ответил Павел.

— Разумеется?! Что ж мешало вам забежать к нему? Ну, на Фому уже нахлынуло море, понятно, а вы — Павел? Вы же по друзьям ходун?

Ответил ей Фома; Павел ответом медлил.

— Сборы, Евдоша. Пробы. Сборы, киноаппарат этот пробовали, разрешение на съемку у пограничников, пленка...

Он легко повернулся на одной ноге:

— Вы, Евдоша, восхитительны! И платье, и туфли, и ножка в них...

Вначале он зашнулся было, но вскоре речь его зажурчала ручьем. Он сам с восторгом наблюдал, как она льется, а когда заметил восторг и в глазах Евдоши — понял, что влюбился, влюбился так, как никогда не влюблялся, как не предчувствовал, что способен влюбиться! Правда, мелькнуло в голове, что «неловко этак-то после поступка с Виктором», но он сам изумился легкости, с которой отбросил раскаяние. Ну разве же и это не еще одно доказательство любви!

Изумление охватило не его одного. Удивился и Гармаш. «Конечно, язык дан, чтоб оправдывать преступления, но — вчера предать друга, а сегодня ухаживать за женой, ничего не подозревающей?!» У Гармаша в кармане лежало письмо, полученное сегодня утром. Виталия упоминала теперь имена Павла и Фомы. «Едва лишь замолк голос Виктора Орехова, выступившего против римской архитектуры, — и за повейшую! — как его «верные друзья» накинулись на него, — писала Виталия. — Отличились и Павел и Фома. Фома — тот, известно, не многословен, хотя и воображает себя оратором, он только пробурчал, что «всецело поддерживает выступление Павла Ферязева», а Павел-то, Павел, — без запиночки, по бумажке, готовенькой формулой! Тьфу, противно писать! А затем, сразу без передышки, отправились смывать грехи в Черном море, под видом, что новый киноаппарат изобрели. Их, конечно, «поощрили». Надо думать, что подруга Виктора Лукича — тоже подлюга солидная: науськала мужа и убежала! Теперь «поощрит» их и она, особенно Павла — он сам как-то хвастался кому-то, что в юности обожал ее и она его обожала».

«Кому он мог хвастаться?.. И откуда ты-то это знаешь, Виталия?.. Не тебе ли? — подумал Гармаш, и ему опять стало стыдно, нехорошо. — Как все-таки старость унижает нас! — продолжал он думать. — Никогда не нужно влюбляться на старости лет».

Так-то оно так, но все-таки он сознавал, что тут, помимо старости, было кое-что и другое, в чем он боялся

себе сознаться. Виталия обгоняла его в том, что не имеет отношения к возрасту, — в искусстве. Он отступил, отступил постыдно, холодно, если хотите — по-стариковски. А она шагнула вперед! Разумеется, он заметил, что она говорила в Клубе архитекторов с Павлом Ферязевым слишком уж оживленно, глаза ее смотрели так испуганно и атласно, как она смотрит, если чем-либо глубоко заинтересуется. И принципиально ли ее возмущает поступок Павла или?.. «И если так, — восстанавливал он в памяти строчки ее письма... — если там, в Коктебеле, среди вас не найдется порядочного человека, — впрочем, тебя, Захарий, я считаю порядочным, — то я приеду сама и набью морду Павлу Ферязеву за жену Виктора Лукича. Принципиальных людей искусства мы обязаны поддерживать всеми средствами». И она подчеркнула дважды — «всеми».

Да... А если это всего лишь ревность влюбленной и обманутой женщины...

Он услышал голос Афросиньи Никодимовны, что-то уже очень игривый:

— Они просят у вас сценарий, Гармаш, слышите? Изобразите мою драму. Выспросите меня. Я вам все расскажу! Я буду играть грустную роль, а Евдоша, конечно, веселую. Евдоша, это у вас уменье или природное?

— Природное, природное! — воскликнула Евдоша.

И что ж диковинного? Ей действительно несколько не грустно. От всего окружающего: от благовоного и серебронного моря, от приятных, неожиданно встретившихся друзей; от этой твердой лиловой тропинки, отороченной нежно пахнущей полынью, — Евдоше хотелось бесконечно говорить, петь, веселиться и даже влюбиться, черт возьми!

— Завидую. Изобразите меня, Гармаш, — играя глазами, сказала Афросинья Никодимовна.

— Я же изображу вас Афродитой.

— Не хочу Афродитой, хочу — Евдошей. Слышите?

Афродита прижала руку Гармаша к своей щеке. Щека и пальцы ее были горячие, а по глазам видно, что ее действительно терзает непреодолимое стремление что-то рассказать. «Выспросите меня». — «Но до выпрашиваний ли мне, голубка», — хотелось сказать Гармашу, но, не подобрав слов, он покивал головой и повернулся к Евдоше.

Он наблюдал за Павлом. Павел, задетый плавными и красивыми фразами Фомы, тоже пытался шутить.

«Сейчас очень уместно умыть его,— подумал Гармаш.— Вряд ли такой подходящий случай подвернется. И все же не умою... на Фому мне плевать!.. Хочу видеть подлость Павла до конца, до одурения, чтоб уж была боль на всю жизнь.— И еще приходило в голову: — Хорошо любоваться мукóй самого мелкого умола, а человечишкой? Узнав его до конца, тем самым узнаю и ее. И тогда уж, Виталия, не умилосердишь меня ничем!»

А Фома все рассуждал, сравнивал, заключал, с увлечением, с восторгом.

— Что с вами, Фома? — спросила Евдоша.— Вы сегодня необыкновенны.

— Он — волшебник! — воскликнула Афросинья Никодимовна.— Он мне нравится. Он напоминает мне какого-то вождя...

— Трoцкого! — отрезал Фома.

Афросинья Никодимовна заткнула уши пальцами:

— Гильотиной не шутят, Фома.

И в голосе ее было что-то такое необычное, что все на время замолчали, а Изяслав Глебович, поджав пухлые губы, потупился.

Они пересекли глубокий глинистый овраг и поднялись на пригорок. Влево от оврага тянулись безлесые каменистые холмы светло-серовато-голубые, направо лежало потемневшее, словно издалека чувявшее тучу, море. Позади, за спиной, за Коктебельским заливом, с каждым шагом, точно догоняя их, вырастала гряда гор и чуть ли не у самого моря — высокая скала, вся в металлических отблесках: Чертов Палец.

Воздух был жаркий, неподвижный, справляться с ним было не легко,— особенно Фоме.

— Толкнемся к морю? — спросила Евдоша.

Спустились оврагом и пошли, медленно шагая, по водорослям и камышу, мягкой полосой лежавшим у линии прибоя. Прелые водоросли пахлипряно и тяжело. Курчавый Федор выбирал из водорослей кусочки вара, клешни крабов, пемзу и плоские стертые ракушки. За мысом Хамелеон, к которому они подходили, что-то тяжело и равномерно било. У моря не так припекало и обжигало, как в оврагах, и они без труда обогнули мыс.

С моря дул грубый ветер и бил крутой прибой, он-то

и вызвал гул, который они слышали еще за мысом. Пепельно-бурые холмы, крутые, украшенные по скатам светлым песком, окружали Мертвую бухту. Длинный пляж безлюден, никаких следов, даже птичьих. Тонкие плоские гальки кое-где расцвечивали его.

— И это все? — спросила Афросинья Никодимовна, закрывая платком лицо: ветер с такой силой бросал песок, что, казалось, мог выбить глаза. — Нашли куда привести! То-то я целое утро к своему сердцу не могла приноровиться: все ноет и ноет. И ничего отсюда не видать!

— Как — ничего? — спросил художник. — А это? Палец Дьявола, черта, видите? А что такое — палец дьявола? Зов греха. Приглядитесь. Вас к нему тянет? Ну, еще бы! Это ж порождение вулкана, первобытного огня.

— Символятина, — проговорил Изыслав Глебович.

— И борьба против христианства в духе анатоле-франсизма, — добавил Фома, беспощадный и к поэзии и к религии. — А на жрецов — христианских или языческих, все равно, — нам плевать! Обманщики.

— Увы, мы часто обманываем себя и других хуже любого жреца, — сказал художник, вставая с дюны.

Федор скатывался по песку, скопившемуся вдоль скал. Художник вскарабкался к нему, и они покатались рядом. Федор, визжа, обогнал отца.

— Экая мерзкая рожа! — проворчал с досадой Павел. — И неужели в него влюблялись? Вы способны, скажем, влюбиться, Евдоша?

— Способна.

Павел пристально посмотрел на нее. Она покраснела. Он ухмыльнулся и, словно поняв то, что он и сам боялся понять, поднялся:

— Нет, не способны.

— Пойдемте-ка домой, — сказала Евдоша. — Туча.

Что-то огромное, в полнеба, невиданной синевы и плотности, бежало над морем, — и прямо к ним. Фиолетовые быстротечные молнии беспощадно резали тучу, а она при каждой молнии словно удваивалась в размере.

Не успели они сделать и полсотни шагов, как туча из синей превратилась в черную с белой оторочкой. Оторочка эта ползла по всей туче, словно прикрывая ее снежно-белым покрывалом. Гром был могуч и близок, — у самого локтя.

— Влево, влево! — кричал художник, махая рукой.

Они еле успели вбежать в рыбацью избушку, прилепившуюся к стене оврага.

Тотчас же овраг наполнился струями воды, бежавшими с ярым потрескиванием, точно кто-то бешено бросал костяшки на больших счетах. Вдруг со счетов скинули. Тишина. Ожидание. И над крышей избушки начали креплять гигантские железные перекрытия. Иногда креплявшему надоедала его работа, и он принимался дробить скалы. Как он усердствовал! Обломки с металлическим треском и шипением падали в воду. Вода рычала, билась о берега. В воздухе запахло горелым маслом, точно на гигантский костер опрокинули огромный чан. Стремилось, тащило, влекло. «Лихо, лихо тянут», — казалось, бормотал кто-то.

А наверху, над этой льющей и сверкающей нестерпимым блеском водой, опять стали сбрасывать, сметать, сошвыривать, словно кому-то хотелось поскорее сделать свое дело и уехать отсюда порожняком.

— А я, пожалуй, верю вам, — поборов свою оцепенелость, сказала Евдоша художнику. — Чертов Палец умеет грозить. И умеет тешить себя.

— Природа теще, чем человек, впадает в тоску. А мы себя тешим по-другому.

— Что это?

Художник присел на корточки, взял с пола камышинку и стал весьма умело наигрывать фокстрот. Фома присел рядом, сложил руки на животе и, подняв вверх голову, необыкновенно искусно завыл по-собачьи — на луну. Какая тоска! Что там в небе? Каравай хлеба, круг сыра или что-либо другое вкусное? Ничего достать невозможно! Тоска.

Захотали.

А на двери, белой краской, рыбак объяснялся какой-то Люсе в любви, сообщая, что в 1938 году рыбная ловля была удачной и он намерен жениться. Женился ли? Счастлив ли?

С той же быстротой, с какой она появилась, туча голодным и жадным прыжком скрылась за буграми. Глина в овраге заблестела глазурью. Море, цвета рога, дышало медленно. Со стороны степи пахнуло теплым запахом полыни. Где-то далеко заскрипела телега. И слышно было, как пастух щелкнул бичом и неведомое стадо вышло на

поссе, обгоняя телегу. А тяжелые волы, впряженные в телегу, медленно поводя круглыми бесстрастными глазами, сонно оглядывали стадо.

Хорошо! И какой хороший план прогулок разработан Евдошей!

Глава девятая

Вечером сидели на скамейке у дома Волошина, глядя на луну, прислушиваясь к малиновому рокоту моря и вдыхая беспокойный запах водорослей. Павел сидел рядом и изредка, шепотом, повторял Евдоше, что она женщина редкого очарования. Она делала вид, что не слышит, но этот шепот тревожил ее и — привлекал. Фома и Гармаш стояли поодаль, глядя, как за оградой тонкий и большоголовый философ — он же и астроном — Сумас рассматривает луну в большую телескопическую трубу. Время от времени он разрешал смотреть Федору, и мальчик, тяжело дыша от волнения, мокрыми пальцами хватался за трубу, и его невозможно было оторвать.

— Добрый вечер! — Вечер действительно добр, как руки матери.

— Вечер добрый, да, — ответила Евдоша.

Это прошла сестра-хозяйка, лилейная красавица, в оранжево-красном платье, зеленоглазая, обладающая даром изысканных сравнений.

Заскрипела наружная деревянная лестница: кто-то спускался с верхнего этажа. Сонный и смеющийся голос крикнул из темноты: «Начерпай воды, Вера!» Подошел поэт Максименко, картавый, с длинной талией, приехавший из Львова. Прапрадед его, казак, сгнил в подzemельях Мангута, а дед-чумак умер от лихорадки в степи под Симферополем. Сам он здесь впервые, и скорбные эти холмы и надменное это море ему нравятся.

Сняв шляпу и качая рукой ветку акации, поэт повторил сведения, услышанные только что татарским поэтом Алимовым по турецкому радио: немцы безжалостно бомбят Ковентри. Город и предместья охвачены сатанинским неуправляемым пожаром. Тысячи беженцев переполнили вокзалы. И туда — бомбы! Проклятие! Вся Европа в подавленном состоянии духа, — и как иначе? У Максименко большая семья, шестеро малюток, и ему гнетуще про-

тивны эти бессмысленные зверства, которые, в первую очередь, калечат детей. Представьте: темные вокзалы, отблески зарев, хрустят под ногами осколки стекла, дрожат крыши, готовые вот-вот обрушиться на головы несчастных... и это в двадцатом веке!

— Папа, я видел на луне кратеры! — подбежав к отцу, закричал Федя.

— Да, да, сынок!

— Они тоже от бомбежки?

Художник, сутулясь и больше, чем всегда, прихрамывая, повел сына спать. Все тот же смеющийся, сонный голос крикнул опять из темноты: «Убавь свет, Вера! Останься!»

Блаженное сознание, что вокруг нее ласковая и сияющая тишина, хорошие люди, хорошее море, наполняло Евдошу до краев, изумляло ее.

Со стороны Святой горы, один за другим, послышались взрывы. Евдоша вздрогнула. Напряженный поток пальцев пробежал по ее руке. Она узнала пальцы Павла и вздрогнула еще сильнее. В темноте приятно и доверчиво поблескивали его глаза. Почти вплотную приблизился Фома, наклонился, разглядывая их.

— Беспокойтесь, Евдоша? Почему? А! Взрывы услышали? Так это же не война, а трас — породу взрывают. Взорвут его, голубчика, погрузят в вагонетки, — подвесную дорогу видели? — перегрузят на корабль, отвезут на цементный завод, а затем — нам, снабженцам.

— Спокойной ночи, — пролепетала Евдоша, вставая. — Нет, нет, не провожайте, хочу одна.

Опустив голову, шла она мимо бильярдной. «А нет ли здесь Гармаша? — подумала она. — Впрочем, что он мне? Он у скамейки смотрел в мои глаза, и они, наверное, показались ему неестественно маслянистыми, темными и мало отвечающими тону того дружеского разговора, который я пыталась вести? А чему ж они отвечают? — Она остановилась. Гармаша в бильярдной нет. — Как бьется сердце. Почему?»

С мягким треском, сталкиваясь и расходясь, скользили по сукну шары. Качалась лампа. Желтый кий пронесся над зеленым полем. Лысина украинского поэта оказалась в окне. Он шепотом позвал кого-то. «Неужели и у этого — свидание?» Зашуршало. Собаки, рыжая и белая,

ласково виляя хвостами, выскочили из темноты. Поэт бросил им по корочке хлеба, вздохнув, повернулся к бильярду: «Мне бить? А кто взял мой кий?»

Евдоше бы спать: размеренный и тяжелый гул моря так помогает сну! А она легкими шагами шла по одной аллее, по другой, пересекла мостик,— и молчаливо замерла возле плотно завешенного окна. Ласковый и какой-то благоухающий огонь разгорался в ее сердце. Бездумно и нежно глядела она в освещенное окно. Надо бежать прочь! А она зашла сбоку, отыскивая щель в занавеске,— и, упрекая себя в подглядывании, в бесцеремонности,— посмотрела.

Гармаш стоял на коленях возле диванчика, на котором спал его сын. Синее с белым пикейное одеяло медленно поднималось и опускалось, но ни лица, ни груди мальчика не было видно; спал он, должно быть, крепко. Гармаш, охватив ноги мальчика руками, рыдал беззвучно, высоко поднимая плечи, в припадке какой-то жгучей неумейной тоски.

Евдоша, словно резко оттолкнувшись от окна, выпрямилась и, задевая рукой и ногой ветви дрока, быстро вернулась в аллею. Пройдя ее до мостика, она остановилась, вслушиваясь в гул моря, потом вновь направилась к завешенному окну.

Легонько стукнула.

На крыльцо, в купальном халате, нисколько не удивившись ее появлению, вышел Гармаш. Неподвижный фонарь освещал его внимательное и ласковое лицо. Боясь, что он скажет что-то другое, Евдоша торопливо прошептала:

— Я вся больна. Я как расплавленная. Подойдите ближе.

И, не дождавшись, подбежала сама, обняла:

— Поскорее, поскорее...

Поцеловала — быстро, простодушно, трогательно.

И, отбежав, тихо, про себя, добавила:

— И как было замечательно, если б кто-нибудь указал мне сейчас — что же мне делать? Нет, нет, не вы, Гармаш! Мне так тревожно и жутко!

— Вам что-нибудь наговорила Афро?

— Кто?

— Ну, Афро, которую сопровождает такой ласковый, прирученный Вулкан. Только боги ли они? Впрочем, боги здесь бывают разные, и их много...

— Нет, нет! Мне не до богов и не до шуток! Да и вам, по-моему, тоже, Гармаш! До свиданья!

Несколько раз она пересекла свою комнату, словно ей чудился тут кто-то, кого нужно ощупать руками, задеть ногой. Затем, распахнув окно, села поодаль, в плетеное кресло. Да на ней, оказывается, пальто? Когда это она успела надеть его? Пальто она не повесила, а, оставив его на ногах, задумалась.

— Значит, я уже не люблю того человека, которого в последние дни и мужем избегала называть, а все звала — Виктор Лукич? Но ведь я же высоко о нем думала, казалось мне, так любила его? — И, точно остановившись после разбега перед Виктором Лукичом, она оглядела его мысленно. Он был в светлом, ею много раз глаженном костюме, рыжеволосый, волосы вились на впалых висках, с веснушками возле носа и мускулистыми, коротковатыми руками. От дверей он проходил к ночному столику, который она называла «мой», и брал там зеркало с белой ручкой. Он рассеянно и беспокожно вперял в зеркало угрюмый взгляд, — последние месяцы он стал мнительным, — и говорил: «Жиров во мне маловато, беспокоит это меня».

Евдоша отчетливо представила столик возле кровати; второе зеркало побольше, туалетное; пудреницу, закрывающуюся неплотно; ниточки пуховки и на самом краю столика шкатулку, подарок матери на свадьбу. Шкатулка облеплена покрытыми оранжевым лаком раковинами и выведенною белой краской надписью «Ялта». Раковинки неприятно выпуклы, похожи на волдыри; шкатулка Евдоше никогда не нравилась, — «пошлота», как говорили в ее кругу, — но что поделаешь, мать! И как бы рано Евдоша ни просыпалась, раковинки поблескивали оранжевато, неприятно, а иногда, особенно после второго или шестнадцатого, отвратительно.

Ночью второго или шестнадцатого, дав заснуть родителям, муж непременно поднимал голову и молча слушал, напряженно багровея. Трепет ожидания и какой-то неясной злости охватывал Евдошу. Ей казалось, что муж смотрит на оранжевые раковинки и читает «Ялта, Ялта, Ялта», получалось: «тая — тая»... нехорошо!.. Во дворе с цепи рвалась собака и однажды, под этот лай, ветром сорвало белье и, как бы во весь его рост, пронесло мимо окон. «Что же, забыли снять или рано еще?» — спросила

Евдоша. Муж ее не понял и недовольно засопел, а когда он поднялся, лицо его было потное, раздраженно-довольное, а рыжие волосы на впалых висках развились.

«Неужели ж я все-таки люблю этого человека со скомканным и кое-где разорванным лицом, грязным, как лист бумаги, брошенный в корзину? Кто же он? Кто? Может быть, это лицо такое только ночью: мотаешься-мотаешься целый день, кажется, покою и не жди! Жалко Виктора. А разве жалость — любовь? Напротив, любовь безжалостна: и к нему, и к себе, и ко всем, кто мешает. Кого ж я, однако, люблю? А что люблю — несомненно!..»

И вдруг, несколько успокоившись при мысли, что она еще во многом не разобралась и что сейчас нет времени разбираться, Евдоша задремала.

Глава десятая

Когда все от скамейки ушли, Фома и Павел, найдя, что они несколько застоялись, решили прогуляться перед сном. Павел про себя считал необходимым кое о чем поговорить с Фомой. «Кого он хочет околпачить? — думал Павел. — Или это в нем бессознательно — заглянул внутрь, обнаружил красноречие, и этот момент есть водораздел жизни? А если попросту — болтовня?»

Внутренне, душевно, они оба чувствовали себя отвратительно, по-разному, конечно, и в разной степени. Павла отвращение к самому себе охватило цепко. Пальцы же, державшие Фому, были тонкими и некрепкими, но все же они были, и все же они сжимали сердце, так что порой Фоме и дышалось трудно, ему мерещилась смерть. Вдруг схватит, сожмет — и готов! То, что сравнительно молод, — это пустяки, и двадцатилетних хватает инфаркт, и они умирают от разрыва сердца. Втайне Фома очень боялся смерти и всячески старался не думать о ней. Но как не думать, когда рядом мозолит глаза своими переживаниями Павел? Нет чтоб размышлять о нашей кинокамере, о близких съемках, он, кажись, только и думает о своем предательстве. И слово-то какое гремучее! Вообще-то нехорошо. Явно началась травля Орехова — проработка. Но вот признает Орехов свои ошибки, покается, назовет себя формалистом, — многие так назвались, хоть и не нюхали формализма, — на всякий случай, что, дескать, сочувствует

уничтожению этого зла и даже в самом себе, — тогда провозгласят: «Исправился Орехов!» — и дело с концом. Конечно, если начнет горделиво рыпаться, тогда ему подожмут ноги... Нехорошо-то оно, нехорошо, ясно! В другое время Фома прикинулся бы униженным и разделил бы тоску с Павлом, но теперь, после вспышки ораторского дара, он чувствовал себя свежим, не склонным к покаяниям, а больше, пожалуй, склонным к самой широкой жизни и ее наслаждениям. А то что же, на самом деле, — там ошибки, тут ошибки — ной, скули, — где же наконец человек, венец творения, где сладость существования, где?

Говорят, в тот вечер они слегка выпили, но это едва ли правда. Впрочем, пусть и выпили: что ж с того?!

Они пересекли сад и вышли к шоссе на Феодосиюazole отделения связи. Две явно влюбленных девушки выскочили из домика, все еще дрожа почтово-телеграфным ожиданием, торопливо оторвав заклейки, они впились в телеграммы. Ресторанчик закрывали. Гремел болт, и огромный всячий замок безжалостно раскрывал свою заржавленную пасть. В пыль у крыльца уже вкопался сторож с дуловолкой за спиной, босой, усатый, в широкой и рваной соломенной шляпе. Какой тени ищет, однако, эта шляпа?

Тьма вокруг лежала незыблемая, равнодушная, жаркая. Внизу было тихо, а вверху, в небе, ветер, по-видимому, укрепился надолго. Тучи теребило, трясло, трепало. Беловатые края черных туч непрерывно менялись. В просвете между туч звезд не было: должно быть, еще выше над тучами стремилась какая-то невидимая мгла, закрывавшая звезды. Только над Хамелеоном ярко горела одна звезда, да и то это, может быть, фонарь пограничников или судно в море, кто знает!

— А не вернуться ли нам и не приготовить ли аппарат к съемке? — спросил Фома.

Отходя от ресторана, они подняли пыль, она ложилась медленно; фонарь у крыльца светился пепельно-бурым пятном. «Вот точно такое же пятно волос было над ее головой, когда она вечером собралась уходить», — думал Павел, не вслушиваясь в слова Фомы.

— Я спрашиваю: не вернуться ли, Павел?

— Время есть. Плохо. Побродим. Время есть.

— Как — есть время? Утром Гармаш принесет сценарий.

— Сценарий — пустяк.

— Пустяк нам и нужен. В пустяке-то и скрывается самое главное удовольствие. Весь Коктебель, в сущности, пустяк: пустяковые горы, камешки, удовольствия.

— Не уверен. От пустяков должно быть весело, а мне — нет. То есть весело, поскольку я люблю и она отвечает на любовь.

Последние слова Павел проговорил с усилием. «Но — нужно. Нужно, чтобы этот болван понял наконец!»

— Кто?

— Разумеется, Евдоша.

— Ну, это ты брось!

— Конечно, нехорошо по отношению к Виктору. И вдобавок мы против него выступали.

— Где? Когда? — с неподдельным изумлением спросил Фома.

Вопрос приятеля вызвал у Павла еще раз горькие размышления. Он жестко спросил:

— Да ты что, взаправду забыл?

Фома и Павел работали в комбинате, поставлявшем стройкам материалы: кирпичи, цемент, балки, дерево. В комбинат их устроил архитектор Орехов, когда выяснилось, что с проектами у них совсем не ладится и они без толку кочуют из одной архитектурной мастерской в другую, хотя талант в них чувствовался, по словам Виктора Лукича, «дорожно внятно». Затем, когда их, — по неопытности, — «пристегнули» к делу о хищениях в комбинате, Виктору Лукичу удалось их «изъять» из дела. Тогда-то они и занялись усиленно фотографией и любительским кино. Они проводили ночи в фотолаборатории комбината и скоро пришли к мысли о создании дешевого портативного любительского киноаппарата. Осуществление такой заявки не входило «в профиль» фотолаборатории, да и к тому же она была непрактична: наша оптическая промышленность только-только зарождалась. Приятели, однако, воодушевились, особенно Павел.

Вот в эти-то дни и произошло выступление Виктора Лукича в Клубе архитекторов против «раболепия» перед римской архитектурой, — и даже лакейства, как он бухнул под конец своей речи. Собственно, что руководству комбината до выступления какого-то там архитектора в каком-то там клубе? Комбинат не строит зданий, он лишь направляет материал для построек. Но кто-то прибежал, кто-то шепнул, кто-то даже и крикнул, — что архитектор

Орехов посещал комбинат, встречался с Павлом и Фомой, припомнили дело о хищениях и как «вынимали» из него Павла и Фому, — затрещали телефоны, посыпались сообщения, и спешно соорудили доклад «О наших задачах в связи с задачами новой архитектуры».

Перед докладом Павла и Фому вызвали к руководителю комбината. Они было решили — о киноаппарате. Оказалось же, что руководитель просил их сказать после доклада два-три слова: о чем им захочется.

— И о киноаппарате? — спросил Павел.

Руководитель кивнул головой. Руководитель, скусывая кончик папироски, небрежно сказал:

— Все, как видите, клеймят Орехова. По-видимому, придется и вам. Скупенько, но чтоб — скульптурно, чтоб враг наши скулы заметил.

И руководитель стиснул скулы.

— Простите, Иван Сергеевич, вы о ком это? — спросил Павел.

— А об вашем дружке — архитекторе Орехове. Тоже мне — горделивый орешек!

— Да ведь мы не архитекторы теперь, Иван Сергеевич!

Руководитель помахал папироской.

— Докладчик тоже не Баженов. Скрипит, но повезет, чтоб не подводить коллектив.

Ну и они «не подвели».

И хотя с того вечера прошло не более восьми дней, а теперь уже трудно понять, чего тогда было больше: испуга перед горлающими, трепета перед соответствующими «выводами», стадного чувства — «дави его!» — или просто чтоб была тишь, да гладь, да божья благодать, чтоб все вокруг были любезны, как были любезны с ними на другой день после их выступления в комбинате: стоило им заикнуться, что хотели бы получить отпуск без сохранения содержания для пробы киноаппарата, как появились путевки в Коктебель, билеты, добрые пожелания, — и с сохранением содержания вдобавок! «И неужто Фома забыл обо всем этом, обо всей этой, в сущности говоря, подлости?» — подумал Павел и воскликнул:

— Забыл ты о нашем выступлении, что ли?

— А и забыл, Паша, милый дружище! Виктор — Виктором, Евдоша — Евдошей! Пойми ж: ей плевать на него, поскольку она влюблена в меня,

— А с чего, собственно, ты взял?

— А ты?

Фома зажег спичку, но закуривать медлил. Спичка горела ярко. Фома обратил на Павла надменные, наполненные победой глаза. Губы его шевелились, словно он не переставал с удовольствием повторять: «Она влюблена в меня». «Экий напористый! И, главное, не лишен известного обаяния. Нет, нет, оттолкнуть его от нее во что бы то ни стало!»

— Ты меня видишь, Паша? Это же факт победы над ней: с головы до ног. А ты какой приведешь факт? Все двери за тобой затворены. Конечно, скажешь: жал ей руку. И отвечала. Но и мне отвечала. Факт.

Небо тем временем расчистилось, и обозначились буровато-серые контуры гор. По уступам, меняя очертания, точно по ступенькам, лезла туча. А тут, в долине, по-прежнему тьма, жара, запах сена и пыли. И откуда-то вдруг не то детский, не то женский голосок: «Ой, меня укусила собака!» И кто-то солидно, баритоном: «А может, сколопендра? Они сейчас не опасны!» — «Ой, жжет!» И слышались всхлипывания.

Павла всего корчило, но он сказал возможно самонадеянней:

— Уж раз говорить откровенно о любви, Фома! За мной — давность.

— То есть — ты хочешь сказать?..

— Именно то, что ты подразумеваешь.

— И до замужества?

Теперь ответить возможно скорее и убедительнее. К черту чванство и высокомерие! И уж если один раз, так сказать, в предчувствии любви, покривил душой, то теперь, когда любовь рядом, — сам бог велел! И хотя Фома в темноте не мог его видеть, он игриво покачал ногой и бойко ответил:

— Само собой, до замужества.

— До замужества? Где?

— Возле церкви папы Климента.

— Да ну! Не верю.

— А надо бы тебе поверить!

И что-то тоскливое шевельнулось в груди Павла. Впрочем, ответил он уверенным, звенящим голосом и даже повторил:

— Именно, возле церкви папы Климента.

Незадолго до замужества Павел еще раз объяснился Евдоше в любви,— не прямо, иносказательно. Он уже знал, что она обожает Виктора; ему казалось, что он вряд ли будет теперь встречаться с ней, и он решил сказать ей на прощание «всю разгорающуюся правду». Получились намеки, напряженный смех, недоговоренности, даже от прощального поцелуя она увернулась. Он ушел, браня себя дурнем. Происходило это опять-таки возле церкви папы Климента.

— И что же, обладал? — спросил Фома почти вкрадчиво.

— Обладал,— резко ответил Павел. И подумал: «Не я лгу, нужда лжет».

Фома пошатнулся и присел на низкую каменную ограду, по-видимому, возле магазина, потому что вскоре подошел сторож, который просипел: «Лучше отсюда подальше, граждане, в интересах народа».

Грузовик, дудя и играя желтым светом фар, пытался вывезти из ограды пустые бочки. Бочки грохотали, перекачивались, грузовик, точно погруженный в глубокую думу, тыкался то в ворота, то в ограду. Над темной громадой горы Клементьева тревожно взлетела голубовато-красная ракета: там аэродром; наверное, ночные полеты. В море ей ответила другая.

Фома размышлял. Теперь многое ясно. Приезд сюда Павла, его уговоры: ехать непременно в Коктебель — людей здесь мало, фильм снимать легче. «Стало быть, и кинокамера для отвода глаз? Но почему раньше не сказать? Подозревал, что она мне нравится? Однако и она хороша!» Он дивился на себя, что слова Павла наполнили его всего тоской,— впрочем, удаля, веселившая его весь день, еще теплилась где-то. «И при всем том, эту дулю надо еще проверить. Друг другом, а в любовном деле и дреколья от друга жди. Да и в клубе. Павел выступал двусмысленно: бормотал что-то о древнем греко-римском влиянии на шедевры Владимиро-Суздальской Руси — Кидекшма, Покров-на-Нерли, Дмитриевский собор... Паша, дуся! Что же мне, по-твоему, отказаться от вспыхнувшего во мне ораторского дара? Сказать — все это вспышка, преувеличенно громкая, бессодержательная болтовня, а не итог сложнейшей внутренней работы. Дуся, невозможно! Попусту стараешься, дуся, тщетно!»

— И при всем том, Фома, пора сказать ей напрямик: да, Евдоша, мы отреклись от товарища и друга!

— Отреклись? Малыши для того и устроены, чтобы отрекаться? У дикой козы или зайца — ни когтей, ни зубов, то есть в смысле обороны. Все спасение в ногах. А у нас — в языке. Кроме того, он поди и сам отрекся.

— А если — нет?

— Отстань. Для меня Виктор Лукич и его «Рим» — происшествие со стороны. А я влюблен. И баста! На все, ради любви, способен. Ты из-за какой-то там мнимой «подлости» не осмеливаешься, а я — вполне.

— И в отношении Виктора Лукича?

— Пустое!

— Он нас много раз сильно выручал.

— Ей-богу, не помню. За один день угощения — месяц кланяться?

Фома сказал это искренне, просто, нисколько не приподнятым голосом. Будто он действительно забыл.

Вдруг он весь задрожал, восхищаясь новой своей мыслью:

— Ты расположен, чтоб я отступил? Изволь, дуся, дай мне только веское доказательство. На моих глазах — постучись к ней в окно и влезь. И будь уж окончательной свиньей — останься там.

— У Евдоши? — задыхаясь, спросил Павел.

— Именно.

— Не потому, что я влюблен и жажду встречи, а чтоб — доказать тебе? Фома, это же еще — подлость?

— Эка!

Они проходили мимо узкого дворика, оканчивающегося навесом. Под навесом на крошечном очаге, сложенном из камней, несмотря на позднюю ночь, варили варенье. Объяснение, впрочем, простое: днем все на службе.

Фома глубоко и жадно вдохнул запах:

— Не узнаю. Для кизила — рано. Разве — айва?

Медный таз с длинной деревянной ручкой лучезарно поблескивал. Варенье еще не кипело, и поверхность его была рогового цвета, словно лощеная. Пожилая женщина в светлом платье, перетянутом кожаным ремнем, отойдя в сторону, глухо и надрывно кашляла. На камнях, подкладывая щепочки в очаг, сидела девочка лет двенадцати. Неотрывно глядела она на таз, глотая слюну. Лото, лежавшее у нее на коленях, вздрагивало.

— Успокой меня, Паша! У меня воля громадная, но развивается с непрерывными усилиями: ее подталкивать надо, Паша! Кроме того, впереди ответственная работа: съемки, аппарат, сценарий. Полезешь в окно?

— Отстань!

— И не подумаю. Я волнуюсь, Паша. Колеблюсь.

Они постояли у дворика и молча повернули обратно. Лузга подсолнухов возле скамейки затрещала под их ногами.

— Мне почудилось, что ты будто сказал что-то, Паша?

— Ничего я не говорил, Фома. Да и что говорить?

— Как — что? Ты обязан рассеять мою подавленность! Ты продолжаешь утверждать, будто она была твоей любовницей?

— Ну, продолжаю, — глухо отозвался Павел.

— Вот я и требую: докажи. Раз ты меня потревожил — успокой! Я теперь так понимаю: время приезда у вас было согласовано? Согласуй же, Паша, и место соединения.

— Ты циник, Фома!

— А не циничней ли меня тот, кто утверждает, что — обладал?

— Надоело. Идем к окну.

Грузовик с бочками прогрохотал наконец мимо них по невидимому в темноте шоссе. До нижних веток лоха стлалась пыль от другой машины, пробежавшей мимо, быть может, час или два назад. Сейчас пыль закроет кустарник и, смешавшись с запахом дымка от варенья, пройдет по сердцу нежным-нежным трепетом. «Но почему нельзя наслаждаться только этим трепетом? — думал Павел. — Почему, подло солгав один раз, непременно и торопливо нужно лгать второй, третий, и так — без конца и края?..»

Глава одиннадцатая

Евдоша проснулась от нестерпимо сильного благоухания лесной земляники. Она лежала с закрытыми глазами. Аромат ягод напомнил ей блуждание по лесным опушкам, маленькую, крашенную отцом корзинку, торжественную варку варенья. Слышалось жирное клокотанье кипящей сладкой жидкости, потрескивание дров

под кастрюлей. «Неужели запах настолько способен распоряжаться мной? — подумала она. — Откуда в Коктебеле быть землянике и — лесной?»

Она привстала и, облокотившись, оглядела комнату. Запах земляники не исчезал, а усиливался. Необыкновенно приятно вдыхать его!

Рядом с серовато-голубым квадратом окна она увидела на стене гравюру. «Убей меня бог, но гравюра здесь прежде не висела! Впрочем, и это хорошо». Только она произнесла «бог», как поняла, что на гравюре изображен бог Вулкан, или, по-гречески, Гефест. Бог с молотом и щипцами в руках склонился, смеясь, над горном, не глядя на нагую женщину, стоявшую в дверях кузницы — без стыда и трепета. Винно-красный свет, неизвестно откуда, лился на плечи и грудь нагой женщины, превращая ее золотистые волосы в медные. Лицо ее знакомо Евдоше, и, однако, она не могла припомнить ее имени. И еще казалось, что для бога она уже утратила свою приятность, и, — поразительно, — это не раздражало ее, а только смешило. «Впрочем, и это — хорошо».

Гравюра окантована белой бумагой с узкой золотой полоской, желтовато-прозрачное стекло всегда придает гравюрам такую привлекательную многозначительность. Но уже не к гравюре тянуло Евдошу, а к окну. Она поднялась, сбросила одеяло и, осторожно шлепая босыми ногами по теплomu, недавно окрашенному деревянному полу, подошла и распахнула створки.

Прежде всего ее поразила пылающая винно-красная тишина моря.

Рассвет обозначался не воспаленным востоком или гордо сжатым западом, а ровным радостно-изумленным сиянием всего залива, — вплоть до горизонта, где далеко-далеко можно было разглядеть тающий дымок корабля, а то и просто облачко.

Море так неподвижно и нарядно светилось, словно ему, кроме свечения, и других занятий нет. А Евдоша, точно ожидая от моря решения своей участи, напряженно всматривалась в него. Оно явно вздуто у края залива, там, где гора Кок-Кая упирается в море крутыми своими боками, — возле электростанции и подвесной дороги с ее вагонетками, перевозящими трас, неподвижно застывшими сейчас в воздухе.

Тут волна взметнулась и окоченела, словно ее схватила судорога. На пенистой вершине этого морского кургана стояла и улыбалась золотоволосая красавица, та, что на гравюре, та самая, имени которой Евдоша никак не могла припомнить. И чем сильнее вглядывалась в нее Евдоша, тем больше она казалась ей знакомой, так что под конец Евдоша совсем рядом стояла с ней, — одновременно и на волне и подле волны, на берегу и в своей комнате у окна и гравюры. Мягкий и томный запах морской волны и запах лесной земляники, уже совершенно непонятно откуда струившийся, и улыбка нагой женщины, — все это радовало и привлекало Евдошу.

На черепичной крыше электростанции, почти касаясь головой вагонетки с трасом, сидел Вулкан, скуластый, слегка рябой, стриженный в скобку, как мужик в старину, с челочкой, в кожаном прожженном, рыжем и покоробившемся фартуке. Беззвучно хохоча и косясь на Евдошу, он поигрывал молотом и щипцами, и босые его ноги касались воды.

— Кто вы? — спросила Евдоша.

Нагая женщина ответила:

— Мы — боги, с вашего позволения, милая.

— Если вам действительно важно мое позволение, то его не будет. Я отрицаю богов.

Вулкан тусклым басом, не спеша, проговорил:

— Ясно, она — кантианка. Кант утверждал, что и без бога человек обладает высшей нравственной нормой.

— Кант? — спросила, смеясь, золотоволосая.

— Ну да, Кант.

— Ах, милостивый Зевс! Но кто же теперь, Вулкан, кроме тебя, читает Канта? И что значат философы вообще, когда последний из великих метафизиков, Бергсон, стоит сейчас в очереди за хлебом в Париже с желтым знаком еврейства на спине. Кант! Ха-ха! — И, обращаясь к Евдоше, золотоволосая сказала: — Его зовут Вулканом, а на нашей старинной родине его звали Геффестом, меня — Афродитой. Рим меня назвал Венерой, но мне не нравилось это имя. Но прошло время, Рим нашел себе другую богиню, и мы с супругом отправились бродить по свету. Вы спрашиваете себя, почему вы не смогли вспомнить моего имени? А между тем Вулкана вспомнили сразу. Да потому, милая, что вам не хотелось вмешивать в ваши любовные затруднения меня, су-

щество, так сказать, вам постороннее, хотя именно я завариваю, варю и развариваю любовь, а он, Вулкан, варит только металлы. Чем же, однако, я могу помочь тебе, дитя?

Улыбка Афродиты показалась Евдоше какой-то уж чересчур снисходительной, и она сухо сказала:

— Простите, но я не прошу никакой помощи.

— Слышишь, богиня любви? — и Вулкан весь заколыхался от беззвучного смеха. — Ты ничего не знаешь и не понимаешь в современной любви, Афродита. Я же понимаю. Я — мастер. Я — плавлю и кую металл. Люди делают то же самое. Ее любят четверо, и она не знает, кого выбрать. Первый — архитектор, строит здания. Двое — добывают ему камни, металл, лес. Четвертый — расписывает, венчает, некоторым образом, их творения. Четверо, ха-ха! Как быть? Ты растерялась, Афродита? Я — нет. Я — знаю. Эта женщина не признает богов? Очень хорошо. Значит, она сама себя считает богиней. Очень хорошо! И — раз она богиня — пусть любит всех четверых сразу. Ха-ха! Ее хватит. Она здоровая.

Евдоша в негодовании ошеломленно смотрела на Вулкана.

Золотоволосая, смеясь, сказала:

— Пожалуй, ты прав. Но тут опять этот проклятый Рим. Они, в Москве, вздумали его воплотить снова, — и не только в зданиях, но и в его первоначальной суровой нравственности. А ты хочешь, чтоб она любила четырех сразу?!

Вулкан ответил:

— А кто это узнает? Она должна каждому из четырех говорить, что любит только его одного. Женщина, я награждаю тебя величайшим из наслаждений, придуманных богами, — ложью. Без лжи жизнь убога и ядовита. Ложь делает ее широкой и горделивой. Ну, возьмем, к примеру, твое искусство — архитектуру. Ты украшаешь дом мрамором, бронзой, резным деревом, цветами, животными, статуями ласковых богов, а на самом деле ты украшаешь его ложью. Что внутри дома? Болезни, предательство, вероломство, бездушие и, как венец всего, — жестокая и длительная смерть. А дальше? Вонь, грязь, слякоть, могила, над которой ты же воздвигаешь памятник. Говорят, я кую металлы. Не верь, дитя. И моей супруге не верь. Я кую лучший металл земли,

в котором с легкостью плавятся все ее металлы, — ложки! И я научу тебя, дитя, этому величайшему из наслаждений.

— Простите, вы так говорите о лжи? — спросила, вся дрожая от негодования, Евдоша.

— Да, о лжи.

— И вы еще смеете себя называть богом? Так что же в сравнении с вами люди? Сверхбоги, что ли? Они бегут от лжи!

Матово-ржаво-бурое лицо Вулкана изобразило недоумение. Афродита, качнувшись на волне, сказала примирительно:

— На лжи, и только на лжи расширился и укрепился Рим. Кому, как не богам, знать это?

— Отвергаю Рим! — воскликнула Евдоша.

Вулкан опять захохотал:

— Ого! Отвергает Рим?! Ого-го-о! Милая, скитаться тебе по свету, как ныне скитаемся мы.

— И буду скитаться!

— Ого-го-гоо! — грузно хохотал Вулкан, и вагонетки с трасом возле него качались.

Афродита сказала еще значительней:

— Напоминаю, лгать легко. Мужчины крайне самолюбивы. Каждому говори, что любишь его одного, — и победа! Разве они угадают?

— Еще и как угадают, — возразил, смеясь, Вулкан.

— Ни за что не угадать!

— Испробуем?

— Испробуем.

— Я разделюсь на четырех. Уверь каждого, что любишь. Посмотрим, сможешь ли ты с убедительной нежностью передать свою любовь тому, в кого я спрячу свое подлинное сердце.

— Мотивация твоя сложная, но — попробую!

Вулкан спустился с электростанции, распался на четырех совершенно одинаковых мужичков с молотами и щипцами, с фартуками и ремешками на голове. Мужички проворно прыгнули в вагонетки, и те, поскрипывая и роняя куски траса, устремились в горы. Светло-голубая, поперечная волна с Афродитой на вершине, переливаясь и погрохатывая галькой, которую, очевидно, несла с собой, покатила за Вулканами.

Боги, забыв об Евдоше, скрылись где-то за перева-

лом. Укатилась волна, и море из винно-красного стало красновато-серым. На дороге, у моря, поднялась прогорклая пыль, и в комнате опять сильно запахло лесной земляникой! «Ба-а! А ведь Афродита-то — Афросинья Никодимовна!»

Евдоша проснулась.

Гравюры у окна уже не было. Хлопала форточка, и через нее-то и несло духами Афросиньи Никодимовны. Золотистые кудри ее колыхались, лицо было возбуждено:

— Евдоша, я вас разбудила?

Глава двенадцатая

— Какая вы высокая, — прошептала Евдоша. — Будто на волне.

Ее разморило. И хотя она отлично понимала, что сон кончился, ей казалось, что он продолжается. Покачивался фонарь возле столовой, и тусклый свет почти доходил до ее окна. И от этого света глаза у Афросиньи Никодимовны тоже были тусклые, с лудяным блеском. Странно тоже, что видно, как на ее лице лупится кожа от солнечных ожогов. И покачивается она сонно, томно.

— Будто на волне, — повторила Евдоша.

— Я камушки подставила: вот и качаюсь. Вожусь с камушками возле вашего окна, ночь, поздно, неприятно; когда бежала сюда, меня остановили: «Куда, кто такая?» — посмотрели в лицо, немедленно пропустили: «А, вы от Изяслава Глебыча?» А что им Изяслав Глебыч!

— Действительно, — вяло прошептала Евдоша. — Я вот, например, абсолютно не знаю, кто он — этот ваш Изяслав Глебыч?

— Моя усмешка. Всюду, где я с ним ни появлюсь, — усмешечки. Кричим о цивилизации, а в общем-то — дикость и варварство. Ну, жена у него есть! Ну, я — любовница! Так над чем же ухмыляться? Восхищаться бы, если у вас хватает цивилизованности и вы презираете предрассудки!

— Собственно, тут восхищаться нечем, но не для этих же сообщений вы прибежали сюда в два часа ночи.

— И для этого! И! Понимаете? Тут «и» вовсе нельзя отбросить! Я говорила с Москвой по телефону, было

брошено с той стороны два-три слова, Изяславу Глебычу показалось, что маловато, совсем маловато. Он обращается со мной иногда как с метровкой — что хочет, то мной и измеряет. Но поскольку я — усмешка, а не законная, я терплю, хотя он мне порой и непонятен. Но в данном случае я вернулась на телефон из-за вас.

— Ночью? Из-за меня?

— Ну при чем тут ночь, когда бессонница и вообще черт знает что!

Пожалуй, она права. С непонятно презрительной силой светит фонарь. Тучи рассеялись, но звезд еще мало, впрочем, те, что блестят, отражаются на кудряшках Афросиньи Никодимовны: по-видимому, она смазала их чем-то целебным на ночь, а тут — вставай, беги на телефон! За чем? Спать бы всем. Евдоша зевнула.

— Вы еще и зеваете! — воскликнула в возмущении Афросинья Никодимовна.

— Почему бы и не зевать?

— Да вы что, на самом деле ничего не знаете?

— Война?

— Ну, войны пока нет, и в то же время, в некотором смысле, и война.

До восхода еще совсем далеко, но многоцветное небо уже начало обнажаться. Видны руки Афросиньи Никодимовны, выпачканные известкой. «Виктор, по-видимому, заболел? Или родители? Хорошие все-таки люди — два раза бегают ночью к междугороднему...» Сердце Евдоши наполнилось нежностью:

— И почему вы у окна?

— Ночь. Все равно. И ждет Изяслав Глебыч. Ночь, — прошептала Афросинья Никодимовна вроде бы в смущении. — Вы знаете, что такое «вапа»?

— В старину — все краски так называли, а нынче — лишь красную, меловую. А что?

— Значит, глупость. Я Гармаша спрашиваю: «Как вы себе представляете Евдошу?» Он отвечает: «Вапа». Ну, я так и уразумела, что — глупость, школьное прозвище.

У Евдоши не было такого школьного прозвища. Да и о школьных ли прозвищах толковать в три часа ночи? Впрочем, пусть ее! Она мила со своей болтовней.

— Я Изяслава Глебыча похлебкой из гусиных потрохов накормила — пусть спит, — и на телефон. Мое положение сложнейшее из сложнейших. Папа — в Москве,

жена Изяслава — в Ленинграде, а я... Мой папа — крупный человек, вдруг выяснит, что я здесь с Изяславом Глебычем? Ведь всюду уже докатилось приказание, чтоб верность женам блюли.

— Чье приказание?

— Рима.

— Какого Рима?

— А вашего,— прошептала вдруг Афросинья Никодимовна, положив руки на подоконник. Глаза ее говорили: «Ужасно жаль и неприятно, жду ваших упреков, а что я могу поделать?» — Вашего! «Вапу» я это ради видимости, чтоб подойти ближе к теме, имея в виду Рим. Как это мне Изяслав Глебыч сказал строжайше: «Повтори разговор, узнай точно», меня как будто обожгло. Думаю: «Распласталась, миленькая, на пляже, а причина-то, вот она!..»

— Простите, Афросинья Никодимовна, я бы хотела объяснений!

— Да я только тем и занята, что объясняю. Вольно вам не понимать меня! Словом, прихожу первый раз на телефон. То, се, пятое, двенадцатое, чувствую, папа ни о чем не догадывается, осталось мне в Коктебеле две недели, авось, думаю, вывернусь. Лишь бы на месте не поймали, а дома как-нибудь отбрешусь. Домашние, между прочим, спрашивают: «Следишь? Архитектора Виктора Орехова в «Советском искусстве» — под орех». — «Мне, говорю, эти ваши газетные кроссворды решать некогда, у меня, чистосердечно говоря, все обнаженное сожжено солнцем». И пошла себе спать. Прихожу. Мы с Изяславом Глебычем в соседних комнатах — на всякий случай. Он выходит ко мне в трусах и говорит: «Этого так оставить нельзя, раз — жена». — «В каком, спрашиваю, смысле?» — «Пожалуйста, без рассуждений. Дело серьезное. Поди и узнай подробности». В наших отношениях остается одно: быть мягкой. Иду. Еще звоню. И трепещу, потому что в час ночи все разговоры с Москвой прекращаются до утра. И дома, к тому же, спят. Тррр. Пожалуйста в кабину. Кричу: «Чем, говорю, Орехов-то отличился? Заинтересовали вы меня». — «Да выступил, отвечают, против Рима». — «Ну, и очень хорошо, говорю, на кой лях нам Муссолини, хватит и этой подлюги Гитлера», то есть в смысле договора. «Да не современного Рима, а Древнего». — «Тем более, кричу, на кой он нам прах». — «А на тот прах,— отвечают мне вполне серьезно,— что в архитектуре Древний

Рим приказано догнать и перегнать». — «Шутите!» — «Хороши шутки, когда Орехова вся архитектурная Москва, до последнего штукатура, прорабатывает. Резко и круто выступил против Рима и всего классического наследства. «Мы сами-де, в некотором роде, классики и оставим немало наследства, и печего нам перед мертвыми тенями пресмыкаться!» Ну я — к Изяславу Глебычу. Он уже спит. Я к вам. Думаю, надо успокоить... Кажись, плохо я сделала?»

Помертвевшими губами и боясь пошевелиться, чтоб не закричать, Евдоша отчетливо сказала:

— Напротив! Очень хорошо, что пришли. Я вам признательна.

— В самом деле?

— И спасибо милейшему Изяславу Глебовичу за внимание.

«А в общем-то — зачем он тебя два раза посылал на телефон? И ко мне поди тоже он послал? Любовь? Боязнь скандала? Или боязнь, что познакомился здесь с подозрительными личностями? А то и не провокация ли? Нет, нет! Афросинья Никодимовна не из тех. А Изяслав Глебыч?.. Впрочем, что я знаю? Но, боже мой, есть же какое-то чутье и надо же кому-то верить? И чего этому Изяславу Глебычу меня бояться, если он не побоялся поехать со своей возлюбленной в Коктебель?»

— Карадаг не отменяется? — донеслось откуда-то из темноты.

— Какой Карадаг?

— Прогулка. У вас ведь план прогулок, Евдоша?

— Ах, нет, нет! Впрочем, это ведь на послезавтра?

— А я-то все путаю...

Откуда-то послышались жалкие всхлипывания. «Кому плакать в такой час ночи? Ведь теперь поди уже три?» — подумала Афросинья Никодимовна, остановившись. Берег был безмолвен. Взмахнула крылом птица над белесой оградой и начала виться почти неслышно и почти невидимо. Голубь. Какой-то зверь его потревожил? Проснулся от шороха сторож, стукнул в стену кулаком и, опять прислонившись к ее теплу, задремал. Всхлипывания утихли. Афросинье Никодимовне стало совсем не по себе, просто хоть тоже разревись. И вдруг ей вспомнилось лицо Изяслава Глебовича, в последние дни ставшее каким-то невинно-вдохновенным. И вовсе не к лицу ему это выраже-

ние! Его должно бы наполнять что-то совсем другое. Да, согласна, люди здесь встретились увлекательные, но раз у тебя любовь и раз ты решился любить, то и люби.

С этими мыслями Афросинья Никодимовна нырнула на боковую дорожку. Ей почудились шаги. «Опять разговоры, да ну их!» И она, скинув туфли, босиком, стараясь не шуршать все еще теплой галькой, побежала через сад домой.

Фома и Павел шли молча. Казалось, они внимательно прислушиваются к тому, что у каждого из них на душе. Губы Фомы неслышно шептали: «Тебя-то, брат, она отшвырнет судорожно, а вот относительно меня... дивлюсь на себя, что так долго зевал!» Павел думал: «И с чего это во мне вроде вина какая-то перед ней? Мне фортунит, а я твержу: «Что вы, что вы!» Допустим, выгонит? Но выгонит-то ведь потихоньку. Кричать ей, что ли? Фоме все равно совру...»

Из кустов внезапно выскочил кто-то широкий, мягко шагающий и тяжело дышащий, держа на уровне груди фонарь «летучая мышь». Фонарь светил и неуместно и неприятно: здесь запрещают ходить у моря с фонарями, а этот размахивает! Фонарь освещал рубашку с вышитой грудью и беспокойное бледное лицо. Приятели сразу узнали его. Это был Изяслав Глебович.

— Добрый вечер, — сказал поспешно толстяк. — Трех татар не встречали? С корзинками? Рыбаков? Рыбки хочу перехватить.

— Тьма же, кого разглядишь? — ответил, ухмыляясь, Фома.

— Да припекает, — сказал невпопад толстяк, вытирая полотенцем лицо и им же вытирая фонарь. — Жесточайшие часы, заметьте. И в небе звезды словно растаяли, а? Пушкина бы сюда, Пушкина!

И он повернул к морю.

— Похоже, спекулянт? — сказал тихо Фома.

— Чем только спекулирует-то? Не по-часу нам с ним беседа, Фома.

— Ну, уж раз обещал — делай. Мы почти у окна.

— Я не о том, а здесь — решено, Фома.

И Павла закрыли кусты.

Голова его показалась на уровне подоконника. Постучал в раму. Приблизил лицо к стеклу. Легонько провел

по нему пальцами. И отодвинулся: дом был наполнен твердой и даже жесткой тишиной.

— Какие твои впечатления, Паша? — прошептал Фома.

— Нет ее.

— В три часа ночи?

— Три, а ее — нет. Пойдем спать.

— Но это — свинство!

— Ну, вот еще. Она женщина эмансипированная.

— Но притом — моя. Я тебе, Паша, не верю. И если она тут, и я перелезу через подоконник. Ты не жди.

Фома, встав на камни, мельком подумав при этом — невесть когда успел их подставить Павел, — заглянул в комнату. Чуть белела кровать, явно пустая. Он зажег спичку, заслонив ее ладонью. Осветил цветы на подоконнике, пудреницу, нитки и грибок для штопанья.

— С Аффо поди где-нибудь, — сказал весело Павел вернувшемуся Фоме. — Недаром же толстяк рыскает: ревнует. Пойдем-ка спать.

А чувствовал, что не до спанья ему. Солгав Фоме, будто был любовником Евдоши, Павел оттого еще более поверил в ее целомудрие, еще больше полюбил ее, еще больше гордился своей любовью к ней, хотя о себе-то думал насмешливо, если не презрительно.

«Как же дальше? Пора открыть ей и свою ложь, и свою любовь? Одновременно — не иначе? А какое найдешь оправдание лжи, кроме подлости? Ну, а дальнейшее известно: ее любовь, если она есть, — есть, есть, несомненно! — так же несомненно ослабнет, когда она узнает о моей лжи...»

Он ложился в кровать, вскакивал, прохаживался по комнате, опять ложился. Фома спал сладко, умиление перед самим собою ясно обозначалось на его лице.

Евдоша после ухода Афросиньи Никодимовны поспешно оделась и пошла, несмотря на ночь, к отделению связи, благо оно неподалеку: сразу же за оградой дома отдыха. Да если бы и далеко? Открывается-то оно в восемь утра!

Кружа вокруг унылого бледно-серо-желтого здания, она трепетно думала: а работает ли утром линия на Москву? Разве заказать «молнию»? Хватит ли тогда денег на обратный билет? Э, хоть пешком, лишь бы поговорить немедленно с Виктором! И она вдруг поняла, почему ей вна-

чале был так неприятен Гармаш,— боялась, что и Виктор, отступившись, подобно Гармашу, от своих творческих принципов, так же, как тот, исхалтурится, опустится.

Глава тринадцатая

План прогулок — тоже план, и, как всякий другой, и его надо выполнять.

Они направились в горы, когда беспокойный и тоскливый день почти близился к концу. Но было еще совсем жарко, и струи воздуха, стремясь вверх, пронизывая друг друга и точно лоя, исправляли резкие очертания гор, как бы стараясь сделать их более простыми и доступными непривычному глазу, — особенно глазу Евдоши: она ведь впервые видела горы вблизи.

Острая тоска терзала ее, но она зорко, — может быть, больше, чем за горами, — следила за своей тоской, чтоб та не вырвалась наружу. Лицо у Евдоши было ясное, благоговейное, на слова спутников она старалась отвечать нежной, даже сладкой улыбкой, — «будто Изяслав Глебыч», который шел неподалеку и действительно сладко улыбался. Часто, вполголоса, простодушно, а порой и трогательно-простодушно, обращалась она с вопросами к Гармашу.

Художник отвечал ей учтиво, немножко холодно, видно занятый тоже своими и тоже не совсем веселыми думами; иногда он рассказывал о местах, через которые они проходили, короткие легенды и, — если Федя убегал вперед, — не всегда пристойные. По этим легендам выходило, что Карадаг занимал огромное место в греческой мифологии, — а ведь он не занимал решительно никакого! И это было б очень забавно, кабы сердце у всех билось ровно, а билось ровно оно, пожалуй, только у одного Фомы, несмотря на то что он часто забегал вперед, размахивая своим киноаппаратом и устанавливая его на tripod. Утром он получил сценарий Гармаша, и теперь, согласно, как он утверждал, сценарию, ему нужно было снять много и крупным планом Афросинью Никодимовну. Та верила ему и не верила, но на всякий случай делала большие, пытливые глаза и натянуто смеялась.

— Будьте, Афро, заразительно веселы! — кричал Фома. — Все должны видеть на вашем лице сытость. Сытости прошу!

— А, собственно, при чем тут сытость? — мягко спрашивал Изяслав Глебович.

Возле домиков рабочих трасового карьера, откуда, пересекая овраг, мимо Святой горы, начинается дорога к Чертову Пальцу и Карадагу, остановились. Мужчины пошли искать колодец. Федя кормил со своей лопатки корочками цепную собаку. Афросинья Никодимовна присела на камень.

— Замучил меня мой Изяслав Глебыч, — громко пожаловалась она. — Зачем он привез меня сюда? Любовь? Но ведь любовью, и с большим успехом, можно заниматься и в Москве. Родители мне верят, а в любовном деле врать труда не представляет. Я даже здесь и гербарий собирать не могу: так волнуюсь.

— Вы же говорили, что родителям никак не догадаться, — сказала участливо Евдоша.

— Ах, не в родителях дело! И хоть бы раз обратился ко мне: «Афро, я хочу с тобой посоветоваться!» То он ждет каких-то татар, то на окрестность смотрит, — и еще в бинокль. Я просто в отчаянии, Евдоша! Почему в бинокль? В такое-то отравленное время! Боже мой, а еще над Пушкиным работает!

— Пушкину нравились неожиданности.

— На бумаге другое дело. Что же вы мне посоветуете, Евдоша?

— Поговорите с ним напрямую.

— Легко вам! Вы сама такая прямая.

«Ну, положим, не совсем», — подумала Евдоша и повернулась лицом к Святой горе.

Зеленая, вся в дубах, закрывающих даже вершину, Святая гора из-за тонкой дымки, ее укутывающей, казалась очень далекой. Но вот откуда-то прохладно дохнул ветер, и мгновенно гора так приблизилась, что можно было почти дотронуться до ее деревьев. Евдоше пришлось протереть глаза, настолько это видение было сильным и действенным. И голоса наверху, у карьеров, слышны необыкновенно отчетливо, и даже слышно, как шуршит бумажка, когда там рабочие свертывают папироску.

Рассеянно слушая жалобы Афросиньи Никодимовны на «расплывчатые отношения», Евдоша перевела глаза со Святой горы на холмы внизу, которые они миновали полчаса назад. И холмы, — голубые, глиняные, съезженные,

точно изящные, — тоже приблизились к ней. По гребням их торжественно шли большие жирные гуси.

Рядом с домиками рабочих покачивается стальной трос, тот самый, что она видела во сне. Вверх лезут пустые вагончики; навстречу спускаются полные голубого камня... И не хочется покидать запах и плеск моря, хотя и знаешь, что за перевалом опять увидишь его светозарную и радостную гладь, его изнеженный плеск и блеск, опять оно покатится к тебе, лепеча ласково и дружески. Хороша дружба, хороша будет и ночь в ущелье на склонах вулкана, малодоступных и крутых, медленным и таинственным шагом спускающихся к морю... И хорош Федя со своим раскрашенным «шанцевым инструментом» времен гражданской войны.

— Афро!

— Да, да, жду, жду.

— А ведь там, куда идем, есть Разбойничья бухта.

— Говорят.

— И если Разбойничья, то там и клады? — Изяслав Глебович вдруг раскатисто засмеялся.

Он вернулся вместе с другими мужчинами, размахивавшими потными бутылками и бидонами. Федя стал подавать им свертки и рюкзаки. Как всего много! Сестра-хозяйка снабдила их рисом, маслом, хлебом, бараниной. Кроме того, Фома купил в сельском кооперативе горшок и пшена, уверяя, что сварит в горах чудеснейшую кашу, а Евдоша, любившая кофе, — «чтобы прогулка была правдоподобней», — взяла свой кофейник, и кофейник этот, длинный, медный и тяжелый, тоже нес Фома. И, вдобавок, на нем — киноаппарат, треножник, запасные пленки, не говоря уже об обязанностях кинооператора. И ему все нипочем! Он по-прежнему гордый и важный.

— Я люблю, дуся, материальные тяжести, — сказал он, — и кроме того, когда пот слепит глаза, не приходится решать душевные проблемы, дуся.

Дорога вилась среди высоких и тихих кустарников, закрывавших вид и на долину внизу, и на Святую гору вверх.

Гармаш спокойно обратился к Фоме:

— Шагов через двести — триста будет поляна, чудесная для съемок. Прибавьте шагу, а мы убавим и подойдем, как раз когда вы установите аппарат.

— Мне с ним? — спросила Афросинья Никодимовна.

— Крупный план всегда с ним. Ты, Федя, тоже с ними? Дело.

Подождав, когда говор, дыхание и шаги утихли, Гармаш, глядя на Евдошу, сказал равнодушно:

— Перед уходом зашел на почту. Натё-с, опять письмо от Виталии Осиповны! Просит подыскать комнату: ей, видите, срочно по неотложному делу,— слышите, по делу, а не потому, что у нее муж и сын здесь,— нужно в Коктебель. Путевку же достать невозможно — все розданы.

Он перевел глаза на Павла. Брови на мгновение сдвинулись.

— Вот у вас, Павел Ильич, в деревне знакомые есть, комнату не сдадут ли? — громко спросил он.

Павел небрежно покачал головой, а Евдоша воскликнула:

— Сейчас сезон, все вокруг забито!

— Я тоже телеграфировал, что забито, а впрочем, как хочет.— И он добавил: — Пожалуй, я их догоню: без меня не ту полянку облюбуют. Поляночка та с легендой: на ней ревнивый муж любовника своей жены зарезал. И тремя ножами: начал с самого тупого, а кончил самым острым, которым до того брился. Греки — народ изысканный. Фома-а-а!

— Здесь — я! — отозвался Фома.

— Охота к жизни у Виталии Осиповны огромнейшая. Меня она восхищает,— заметил, уходя, Гармаш.

Павел стоял неподвижно. Лицо его было мертвенно-бледно. Он то приподнимал, то опускал все еще потную бутылку.

— Устали? Он — подлец, бессердечный и беспощадный подлец! Он сам вызвал ее сюда.

— Кто?

— Гармаш, кто! И она тоже — бессердечная и беспощадная. Одной они породы! Принципиальные, ха-ха!

— Плосковато, Павел, плосковато, дорогой.

— Он ее сам зовет сюда, Виталию эту, а она ради него готова на все. Я ее знаю! А вы его не знаете. Он же — подлец. И она тоже. На вид такая тонкая, небесная. Приедет, увидите: она и вас будет стараться обвести! Тягостные люди! Преступники, в общем-то, уголовные.

Эта фантастическая и нелепая ложь, вырвавшаяся совершенно внезапно, была для него самого ужасающе неприятна. Сердце так билось, что он едва стоял на ногах.

А впрочем, ему наплевать сейчас на все! Он отвоевывает себе счастье этой прогулки, ночь, которая, несомненно, будет прекрасной и запомнится на всю жизнь. И если Евдоша полюбит, она все простит, любую ложь, любое преступление даже! И тут же он сам себе говорил, что он негодяй, опустившийся и жалкий, ядовитый и тягостный клеветник. Но что поделаешь, если она такая красавица, предельная, напряженная!

— Но черт с ними, черт с ними! Довольно. Я, кажется, стал уже говорить жалкие слова? Мне хотелось сказать другое. Я, в сущности, хотел сказать вам, что люблю вас, Евдоша.

Евдоша, казалось, ничего не видела, не слышала: внимание ее обозначалось лишь короткими шагами и медленным движением руки, словно она рукой отмеривала свои шаги, задерживала их. Она шла, задевая голым покатым плечом ветки кизила, мельчайшая пыль почти незаметно осыпалась с них. Губы ее складывались в задорную и, пожалуй, всепрощающую улыбку — ту самую, которой хотел добиться от нее Павел.

— Вы слышите? Люблю.

Она продолжала хранить молчание, глядя по-прежнему вперед.

— Что же это значит, Евдоша?

Она не отвечала.

— Я весь дрожу и все-таки чувствую надежду. Евдоша, слышите? Я вас люблю! Вы меня любите? Ненавидите? Безразличны?

Он опять ничего не услышал. Улыбка исчезла. Казалось, она напряженно и упорно думала, решалась, не могла решиться — решилась. Подняла на него глаза, что-то сверкнуло в них, лицо запылало, — но не промолвила ни слова, только шаги ее стали еще короче.

— Но это же невозможно! — воскликнул он. — Вы должны пожалеть и себя и меня, я терзаюсь. Я все время думаю о вас, полон вами, Евдоша! Приходил ночью, в два часа. Где вы были?

Она никак не отозвалась. Немота — и все. Голова его горела, губы ссохлись, говорить больно:

— Понимаете, что со мной? Меня истребляет огонь, а вы глухи, как тюрьма.

Подъем становился круче. Дорога крупнокаменистая, шиферно-серая, потемневшая: значит, недалеко до заката.

Грустные переливчатые звуки послышались вдали: на лужайке пела Афросинья Никодимовна, — и недурно пола.

Песня прервалась, и раздался голос Фомы: он торопился к съемке, пока не скрылось солнце. Павел заговорил еще торопливей и еще жгучей:

— Ну, хоть скажите: почему убежали из комнаты? Предчувствовали, что приду? Боялись, что впустите? Отвечайте же! Выругайте в конце концов, раз неприятно слушать!

Ничего не произнеся, она посмотрела на него прямо и твердо.

На тропинке показался Фома.

— Ты чего кричал, Павел?

— Разве я кричал?

Евдоша отвечала спокойно:

— Он объяснялся мне в любви.

Фома ухмыльнулся. Павел раздраженно пожал плечами.

— Ну, а вы? — спросил Фома.

— Безмолствовала.

— Почему? — протяжно и широко раскрывая рот, сказал Фома.

— Всегда ли и все ли объяснимо?

— Для меня, во всяком случае, объяснимо и без слов, — сказал Фома. — Идемте же!

Она стояла неподвижно. Скрылось море, скрылись домики рабочих, неподвижная дорога. И не хочется с этим расставаться, и не очень-то тянет на Карадаг. И она вспомнила, как она ждала воды возле домиков. Вправо — колодец. На краю сруба — пустое ведро с мокрой веревкой. Над колодцем со скрипом тащатся вагонетки, и тень их иногда проплывает возле, а оно, тонкое, заношенное, зазубренное, словно издает легкий звон, задетое этой тенью.

И потянуло обратно к морю.

Над обрывом, у моря, возле высокого сигнального шеста, группа рыбаков в желтых, белых и розовых рубашках, а кто и в одних трусах, была занята укладкой и переноской рыбы. Рыб сверху нельзя разглядеть, от них взлетает только рой блесков. К рыбакам на белой худой лошади подъехал всадник, должно быть, веселый парень. Он сидел, подбоченясь, и сразу же снизу донесся взрыв хохота. Слева, у причалов, шли под парусами три рыбацких судна. На горизонте, у дальнего берега, возле

Мертвой бухты, видно еще несколько таких же судов с изорванными и залатанными парусами.

Как все это прекрасно! С каким беззаботным наслаждением глядела Евдоша на песчано-желтый тон далеких холмов, на береговой песок, почти снежно-белый от зноя и струящегося воздуха, на приплюснутое, смиренное и нежно-голубое небо! А тут иди к Карадагу, к ночи, к темноте, сразу же начинающейся за костром, к неизбежным, грустным и в то же время приятным шепотам о любви и страсти... нужно идти, раз обещано! А кроме того, ее тревожит Павел, больно за него, жалко, — ведь не только от любви его страдание! И еще вспоминается церковь папы Климента... детство... юность...

Глава четырнадцатая

— Чертов Палец!

Евдоша с недоумением посмотрела на палец Гармаша. Она решила, что у него заноза, а нет ни бинта, ни йода. Он понял ее, засмеялся и, указывая рукой вперед, повторил:

— Чертов Палец там, глядите!

За сильно нагретым, издающим сухой, шерстяной запах желтым полем колючек взметнулась вершина шершавой скалы. Евдоша на мгновение закрыла глаза. И почудился всплеск, и под желтоватым вечерним солнцем мелькнул плавник какой-то гигантской рыбы... И опять потянуло к морю. Она открыла глаза.

Каменная игла росла. Краски ее были неярки, скорее сумрачны и тяжелы. Видно, этот гребень древней лавы многие тысячелетия дергали, рвали, драли и щипали, тербили, как тербят с птицы перо, как волки тербят падаль, — и гребень озлобился, ощерился, и теперь его не выровняешь и не ублагодумствуешь ничем.

Плоскогорье перед Чертовым Пальцем оканчивалось камнями, россыпью, — словно палец желал торчать одиноко. Взглянув на Евдошу и как будто догадавшись о ее сне, Гармаш сказал:

— Чертов Палец — это все, что осталось от бога Гефеста. Бог тут зарылся в базальты, когда за ним гнались христианские попы с кадилами и святой водой и с топорами. Рядом, — вот тут направо, возле дубового леса, —

расщелина, порой принимающая легкомысленный вид. Здесь, под камнями, спряталась навсегда Афродита. Иногда весной, когда мутный поток вод скрывает ее, превращая в камень, она робко выглядывает, любуясь Чертовым Пальцем, последним свидетелем былых наслаждений. Возле расщелины вы натолкнетесь на вкрапления агатов, лунного камня, розовато-белесой яшмы — это следы любви богов, их капли. Татары называют ущелье — Гяур-бах, Ущелье Неверных. Конечно, Гефест-Вулкан и Афродита-Венера неверные. — Он засмеялся: — Дело тут не только в богах, — они ушли в землю, и кончено, — именно здесь христианские попы, выпытывая тайну храмовых сокровищ, пронзали раскаленным железом сердца греческих жрецов и тела их бросали в расщелину! Афродита скорбно внимала мрачному хохоту попов. Но в общем-то богиня превосходно понимала их положение: пусть побалуют себя, пока их самих татарские муллы не признали за неверных и не пронзили им бока раскаленными железными прутьями: греческий храм ведь был заменен христианской базиликой.

— Где же стояла базилика? — доверчиво спросила Афросинья Никодимовна.

Гармаш лукаво ухмыльнулся и набил трубку:

— Следов базилики еще не найдено. Возможно, мы найдем ее в Львином ущелье, куда я вас и веду.

За Чертовым Пальцем и перевалом широкое желтое плоскогорье суживалось, наполнялось цепким ветром и, теряя запахи полыни и чабреца, на вершине Карадага превращалось в гладкий каменный балкон, черноватый, с ржавыми крапинами, с которого превосходно видно серо-черное нагромождение скал внизу, крошечные маково-голубые вулканические цирки, шиферно-серые пропасти, голубовато-зеленые поляны, тяжелые, хотя и низкорослые дубы, дико исковерканные ветрами можжевельники. Отсюда тропинка замысловато вьется по коньку хребта, упираясь возле Отуз в крутой обрыв.

Евдоша чувствовала головокружение, внутри ее все дрожало, она корчилась от страха и надеялась, что кто-нибудь первым признается в своей трусости, а за ним и она... Все улыбались зелеными лицами, — улыбалась и она. Она шла за Гармашом, глядя в его спину, — и никуда больше! Она не помнила — направо ли свернули, налево ли, но свернули.

И она увидела скалы, мертвое, безжизненное русло потока, круто, почти сухим водопадом ринувшееся вниз, — и себя, шагающую вместе с этим мертвецки онемевшим потоком. Руки и ноги ее оцепенели, онемели, и ей невозможно было понять, чем она шагала, чем цеплялась за камни, чем шутила, потому что язык ее совершенно замерз. Ей хотелось просить, умолять: «Остановитесь!», а она смеялась сама над собою и приходила от этого в бешенство, — и голова вдруг ясна, будто наполняясь высшими знаниями, которые здесь, увы, совершенно ненужны!

— Почему — Львиное? — слышала она сиплый, испуганный голос Афросиньи Никодимовны и ответ Гармаша:

— Говорят, древние прятали тут золотой пояс Афродиты, его львы охраняли, а искатели приключений, упражняясь в мужестве, спускались сюда. Когда немножко помрачнеет, вы наткнетесь на их кости.

— А вы убеждены, Захарий Саввич, что львы перемерли?

— Не все. Я, как видите, жив.

«Наверно, альпинисту спуск сюда кажется безобидным упражнением, да и само ущелье для него небось относится к типу «пять» или «шесть», но мне, впервые видящей столь взметнувшиеся скалы, как кони в поэмах грызущие удила и затем с какой-то щеголеватостью сближающиеся, эти обрывы ломающейся твердости, кинутые там, где их совершенно не ждешь, — мне каково пробираться среди этой выставки избытка сил и безмерной рьяности?» Повторяя свои мысли, успокаиваясь, Евдоша, как всегда, второй раз думая об одном и том же, представляла себе обдумываемое куда проще.

Теперь спуск уже казался домом без окон и лестниц, где полы все время мепяли свои очертания, с безумной поспешностью сбегаая вниз, сворачивая, срываясь или же внезапно поднимаясь кверху — без надписи, без предварительной статьи расхода, ха-ха! Мало того, вдруг часть этой подержанной каменной мебели с грохотом катилась вниз, а иногда, наоборот, высохший поток вежливейше выбивал в базальте ровные и твердые ступени. И все же спускались стремительно, точно товар в тот бумажный раструб, который свертывают продавцы, когда отвешивают вам пшено или соль. «Тары-бары-растбары, снега белы выпадали...» — послушно завертелось в голове. И тотчас, словно мстя себе за слабость, за уход в сторону, Евдоша

стала утискивать в себя мысль: «Как прекрасно, как удачно, что такой тяжелый утомительный спуск. А Гармаш знал, куда вести! Павел устанет тоже, — да и я, ссылаясь на усталость, лягу и немедленно засну, — и никаких объяснений. И о том тоже, о чем умолчал на мой вопрос Виктор и на что довольно ясно ответила мне Афросинья Никодимовна. Но все-таки мог же Виктор ответить прямо — выступали против него Павел и Фома? Или и в этом ответе — великая и опасная сложность? Ах, устать бы, успокоиться, окаменеть, как эти камни».

Камни бушевали наперегонки. Где тут окаменеть!

Скоро ущелье стало таким узким, что, растопырив руки, можно было цепляться за оба края с одинаковой надеждой уцелеть или, сорвавшись, покатиться вниз. И все же даже через эту тесную щель солнце сумело так накалить камни, что когда прислонялись к ним, кожа, казалось, прилипала. Глаза, усталые, ослепленные, подобострастно стараясь угодить солнцу, троили, четверили и пятерили и без того уродливые, бесчисленные скалы. Только море — серебристо-зеленым треугольником, широкой стороной вверх, — утешало взор, и хотелось без конца смотреть на эту нежную прохладу.

— Нет, нет, вы под ноги смотрите, под ноги! — кричал художник, приобретший здесь необычайную прыть и ловкость.

Евдоша с опаской ставила ногу в сандалию на горячий камень, каждый раз желая повторить тот шаг, который только что сделала. А каждый шаг надо было ступать по-другому! Сквозь толстую резиновую подошву сандалию ногу жгла все усиливающаяся жара, словно подземный огонь еще теплился в этих камнях. И казалось странным — откуда и почему здесь зелень? Когда Евдоша цеплялась за дерево, рука невольно замирала: думалось, что можжевеловый приполз вместе с тобой, чтобы, взглянув на небывалую суматоху камней, возвратиться. И деревья изгибались в разных направлениях, точно их преследовали галлюцинации. Изредка, как вопль галлюцинации, где-то внизу, в пропасти, резко разрывался упавший камень, — и ветки вздрагивали.

Мысли нестройные, горячие, казалось — думались многожды, и также многожды, казалось, видела она эти серые россыпи, повороты, странный дуб, преграждающий ущелье и похожий на затейливый росчерк, — росчерк, сде-

ланный с такой яростью, что позеленел с лица. Сердце ее трепетно устремилось к нему: «Устали вы? А я, если бы вы знали, гражданин дуб, как я устала! Я так отягощена усталостью, что даже счастлива. И молодчнице же! Весной на него катятся тяжелейшие глыбы мокрого снега, потоки вод, камни, глина; он возвышается над потоком на высоту письменного стола, не больше, и, однако, красуется здесь поди уже полсотни лет».

— И не засох!

Павел, держа бутылку, пристально рассматривал ее самозабвенное и взволнованное лицо:

— Ваш рот не высох, Евдоша?

— Поймите же: дуб, несмотря на все тяготы, не высох. А что касается меня, то я ужасно хочу пить,— добавила она виновато.

Быть может, во всю жизнь искренность не казалась ей более полезной и необходимой, чем в эти минуты, когда она подняла над своим лицом зеленое, тусклое стекло бутылки, и толчки глотков стали отдаваться в ушах.

Напившись, она увидала протянутую к бутылке руку Павла:

— Простите... но я пила из горлышка.

Он рассмеялся:

— И я из того же горлышка, Евдоша. Вместе, да?

Он пил, глядя на нее. Губы у него вспухли, аккуратно пробритые щеки горели, расширенные зрачки остро поблещивали.

— Устали?

— Нет! — воскликнула она звонко, с неожиданной бодростью.

— Теперь недалеко. И после ужина пойдем гулять среди скал, да? Вдвоем?

— Да-а! — ответила она с какой-то бешеной звонкостью в голосе и подумала: «Да разве такое мыслимо?.. А почему — немыслимо, дорогая?» Ощущения сменялись быстро, а нежно-зеленое и чуть рдяное море вдали помогало менять, перелистывать страницы ощущений: вот так же небрежно видишь колонцифры страниц, проглатывая увлекательную книгу.

— Приехали!

Гармаш, Федя, Фома, Изяслав Глебович и Афросинья Никодимовна звали их снизу, из ложа высохшего потока. Широкая, перегруженная камнями, россыпь сдерживалась

тремя толстыми древовидными можжевельниками; к ним бежали кустарники: в корнях можжевельников сочилась крошечная струйка воды.

Из россыпи торчала «заплава»: притащенные весенними водами высохшие стволы; куски белого шпата; плоские и гладкие, словно выбритые, плиты песчаника,— и всюду базальт, базальт, эти выбитые зубы древности. Солнце заметно опустилось. Направо, как раз против можжевельников, разделенные скалой, поднимались два пологих склона, укутанные вечерней дымной травой.

— На отлоге ночуем, коструем, и вообще, Федя, набирай воду и углуби водоем!

— Углубляю,— отозвался Федя, стуча своей лопаткой под корнями можжевельника.

Гармаш, глядя, как из-под заостренной лопаты брызгала мокрая глина, бежали насекомые, свертывались лишай, и все это уносили увеличивающиеся струйки воды, сказал, пыхтя и раскуривая трубку:

— По одну сторону от нас, там, за хребтом, бывшая крепчайшая крепость Судак, блистательное и укромное древнее царство; по другую — Феодосия, или Кафа, не менее блистательное и, вдобавок, зловеще-мрачное: многовековой рынок рабов. Там и тут возвышались и падали цари, воздвигались памятники, слагались гимны богам, венчали и резали людей, заточали, торговали невольниками, оборонялись, нападали; приходили и уходили греки, генуэзцы, татары, славяне,— запорожцы, кстати сказать, брали Кафу штурмом со своих «чаек»,— умирали и рождались, прославлялись и унижались всадники, пехотинцы, лучники и стенорухители; берегом моря, а затем через перевал, по которому мы недавно ковыляли, проходили караваны, купцы боязливо глядели в дубовые леса, а хвастливая стража утверждала, что ей не страшны ни разбойники, ни драконы. Да, да, здесь водились гигантские змеи с гривами, но они вымерли. Однако то, что я вам покажу сейчас, было вечно и существует поныне, храня в себе легенды и предания Голубых Скал!

Он поспешно свернул на отлогость и стал карабкаться вверх необычайно ловко.

— Сюда же, сюда!

Они увидели площадку, заросшую высокой мальвой, уже отцветшей,— десятка два кустов вдоль обрыва. Худож-

ник оглянулся и приложил руку к губам. Ступая на цыпочки, они пошли за ним, к скале.

Гармаш подвел их к небольшому, в человеческий охват, водоемчику из «каплевой воды», полузаросшему мхом и травкой. Глаза художника блестели. Он, склонившись к смятой траве, встал и торжественно поднес им на ладони круглые, темные катышки:

— Преклонитесь! Помет дикой козы. Дикая коза, вдумайтесь! Она приходит сюда пить, лежит здесь с детенышами и дремлет, глядя на море; так же дремали многие тысячелетия ее предки, переваривая пищу. А мимо, через перевал, сначала шли караваны, затем телеги, затем мотоциклы; к перелетным птицам присоединились гидропланы, вместо запорожских «чаек» поплыли миноносцы, коза же дремлет и дремлет...

— А змеи здесь не дремлют? — спросила Афросинья Никодимовна. — Место, конечно, мучительно прекрасное, но мне хочется есть, а затем заснуть.

— Места ранней пушкинской поры, — ласково улыбаясь, сказал Изяслав Глебович.

Подошел Фома с тремя рюкзаками, осторожно положил их на траву, склонил набок голову, вздохнул и проговорил, вздыхая:

— Жара нестерпима, больше всего уместно сейчас бы пиво. И мы забыли, Аффо? Вы-то! Самая телесная, заботливая...

— Моя вина, — ответила смущенно Афросинья Никодимовна. — Но мучай вас оно, как мучает меня, вы б не только пиво, тропы б сюда не нашли.

— А что вас мучает, Аффо? — нежно спросил Изяслав Глебович.

— Недоумение.

Павел, помогая Евдоше развязывать ее сумку, прошептал:

— А я нашел свою тропу. Я жгуче люблю вас, Евдоша! Сегодня все решится, да? Вы будете моей.

Глава пятнадцатая

Гармаш собрал валежнику столько, что хватило б и на неделю, костер раздул мгновенно, и взметнувшееся пламя обвел крупными плоскими камнями, вымыл мясо, нарезал

его мелкими кусочками для плова, нарвал травы, выровнял место для спанья, — сила, казалось, клокотала в нем. Евдоша исподтишка, украдкой наблюдала за его лицом. Если и сила, то злая сила читалась на его лице; он всячески старался скрыть эту силу, — силу довольно решительную. Представлялось, что он встретил что-то нестерпимо гадкое, отвратительное, что не обойти, не объехать, от чего не увернуться и что категорически нужно уничтожить, да только — как?

Понимали ли Гармаша другие так, как понимала его Евдоша? Вряд ли. Павел, поглощенный своими любовными думами, стоял, уставившись на костер и глубоко всунув руки в карманы. Когда его пригласили есть, он сказал: «Впоследствии», — и не дотронулся до еды. Фома отдышал, шумно дыша и глядя на небо и на загорающиеся звезды так, словно он сам зажег их и словно небо — огромное зеркало, отражающее с восхищением и его самого, и его самодовольное бурчание. Афросинья Никодимовна чувствовала себя одинокой, ей захотелось вниз — в Коктебель, здесь все вокруг угрюмо и уныло, и еще неотвязней думая, что Изяслав Глебович заманил ее в Коктебель для каких-то странных дел, и она боялась, сама не зная чего.

Над костром с треском лопнул горшок. Остатки риса кое-как собрали в ведро, вскипятили чай в кофейнике, и, выпив, переложили в него плов довариваться.

— Именно в кофейнике и следует варить плов, — сказал художник, пробуя рис. — Прекрасно!

Он выхватил из костра пылающий ствол можжевельника, шархнул в сторону, покружился и швырнул сук в тучную тьму. Раскидывая огненные семена, сетчатое пламя вскинулось вверх, скользнуло там, а затем исчезло за обрывом. Несколько мгновений спустя внизу что-то плеснуло. Гармаш фыркнул, достал головешку из костра, закурил.

— Федя, хочешь еще плова?

— Хочу.

— А вы, пушкинист?

— Перед сном плов полезен.

Федор, задремавший у костра, открыв широко глаза, засмеялся. Гармаш, погладив его по большой курчавой голове, тоже засмеялся, — и не понравился Евдоше этот глухой, почти безгласный смешок. Мальчик, не проглотив и ложки действительно превосходного плова, заснул. Гар-

маш отнес его на руках к углублению в скале, где была разостлана трава и откуда сильно пахло полынью. Художник, вернувшись к костру, подбросил в него еще сучьев и, чертая плов, медленно и веско проговорил:

— Тут всюду, куда ни взглянешь, притворы легенд. На той вон площадке, за скалой, местный бог Какча, влюбленный в Афродиту, бился с Гефестом. Днем следы борьбы не разглядеть: сливаются от резкого света, но при луне и даже при блеске звезд следы борьбы отчетливо выступают на скалах и камнях. Боги подпрыгивали, отталкиваясь от скал, кидались друг на друга, царапались, душились, и ноги их, иногда до щиколотки, уходили в камень. Сохранились отпечатки. Я как-то, при случае, примерял ботинки самого крупного размера — малы.

— Люблю туфли голубо-серые, ножка у меня маленькая, — вполголоса сонно пробормотала Афросинья Никодимовна, — а что толку?

— Даже горы, — продолжал художник, — интересовались борьбой: они, увидите, высунулись и застыли в самых разнообразных позах, А вот тут, ожидая победителя и гадая — кто победит, сидела сама Афродита.

— Будто бы она и не знала! — воскликнула Афросинья Никодимовна.

— Откуда ей знать?

— Богиня ж! С Гефестом какому богу сечься?

— Туземные боги тоже не шутка: они хитрые, местные условия знают.

— А на стороне Вулкана подземный огонь, серный, душащий.

Гармаш посмотрел на нее.

«Да ты, Афро, голубушка, гораздо сообразительней, чем я думал!» — говорил его взгляд.

— Странно, что вам, Захарий Саввич, нравятся высокопарные и, в сущности, унылые легенды, — проговорил Павел, встряхивая головой и отходя.

Гармаш, глядя ему вслед исподлобья, крикнул:

— Осторожней, вы! Там берег грубый. Свалитесь.

И вдруг захохотал.

«Ой, что-то тут неладно», — подумала Евдоша.

По-прежнему и Павел и Фома были приятны Евдоше, хотя телефонный разговор с мужем и его холодные паузы навели ее на грустные размышления. «Нет... да нет же, в случае беды они не оставят. Да и их любовные призна-

ния и намеки — разве не выражение дружеских чувств, пусть и чуть-чуть чувственных? Они мужчины и вдобавок — холостые. Даже если расшифровать намеки Виктора, что кому-то показалось, будто Виктор «насчет Рима» выступал слишком резко? Что ж тут такого? Многие, по-видимому, были против. И академики. — Она улыбнулась, безмолвно шикнув на себя: — Кто это вдруг всадил тебе академиков-то? Кому-кому, а ей-то известно — буянов академики лягать любят и уже лягнули, наверное».

— Евдоша! Здесь красота эпическая, — услышала она голос Павла.

— Иду, — ответила она, желая не столько любоваться природой, сколько избавиться от неприятных дум.

Она прошла мимо Фомы. Тот, подтягивая ноги, чтоб ее пропустить, сказал:

— А разговор о красоте, найденной мной, впереди, Евдоша!

— Хорошо, Фома.

Широко зевая, он приподнялся и бросил несколько охапок хвороста в костер — вовсе не для того, чтобы разглядывать: в какой позе стоят там Павел и Евдоша! Доступны ли ему теперь такие мелочи?

Евдоша шла невозмутимо медленно, каждый ее шаг Павел ощущал всем телом, словно она шла по нему — да еще и подпрыгивала, желая его оскорбить. Какую богиню изображает она из себя? Колени его тряслись; в руках, особенно в предплечье, он чувствовал холод, и одновременно по всему телу хлынуло желание немедленно бросить ее на землю, обладать ею. Исступление овладело им, сумрачное безумие жгло его мозг.

Евдоша остановилась возле него. Моря не было видно. Смутная сиреневая мгла лежала на скалах, сгущаясь внизу. Кое-где сквозь мглу пробегали черные извивающиеся жилы, — должно быть, очертания кустарников. Над скалами вверху слабо блестели звезды, вырисовывая в сиреновом небе веселый и бодрый узор. Упало что-то и со свистом покатилося по склону ручья. Катящееся раскололось со звуком, похожим на хихиканье.

Павел схватил Евдошу за руку. Его рука показалась ей вздувшейся, и сердце ее заколотилось. Она изнемогала от сладкого чувства слабости; рука ее слегка вздрагивала в его руке. Он почти сливался с тьмой, ступал беззвучно, — и это тоже увеличивало ее изнеможение.

Павел четко видел Евдошу. Отсветы костра чертили голубовато-красными линиями ее стан, ее свободно опущенные плечи, бедра, словно утекающие в тьму, и красивозыбкую, откинутую назад маленькую голову, ее густые волосы, казавшиеся искрометными. Он провел ее за скалу, через расщелину.

Надо полагать, скала образовывала наверху выступ: звезды скрылись, но мгла казалась реже и легче. Костер потрескивал совсем далеко. Она вдруг почувствовала терпкий, чуть солоноватый вкус его губ, его порывистое объятие и вкрадчивый голос:

— Вы отравили меня, Евдоша! И вдобавок пытаете.

Она прошептала:

— Говорят, в пытках рождается новая жизнь и любовь?

— Оба, оба плюнем на обобщения! Есть другое, более ценное.

Когда он на мгновение убрал свои губы от ее губ, она закрыла их своими пальцами и, почти не замечая, укусила один палец, другой, и едва ли не до крови. Павел, точно унюхав кровь, схватил ее пальцы и впился в них поцелуем. Весь он горел. Пламя охватило сперва затылок, перекинулось на плечи, охватило все тело, притупило мозг и в то же время прибавило Павлу сил, тех страшных, тоскливых сил, которые стремились в нем лишь к одному — уронить ее на землю, опрокинуть ее. В иные секунды она казалась ему широкой, мягкой, словно он выворачивал и крушил огромную глыбу земли, а в иные узкой, твердой, как «точок» — узкий конец кирпича. И одновременно он ощупывал землю сандалием, — и сквозь носок нога почувствовала бы колючки.

Тяжело дыша, он молчал, ломая ее, — заговори он, беспредметная печаль, наполнявшая его сердце, вылилась бы, возможно, слезами. Да и, кроме того, какая нужда в словах? Она тоже воспалена и прекрасно понимает, чего он добивается, обнимая ногами ее ноги и перегибая ее туловище.

Она не останавливала его, а только мешала, — насколько, по ее понятиям, в таких случаях должна мешать женщина. С отчаянием и радостью заметила она, что усталость ее исчезла совершенно, что от уныния и грусти следа не осталось. Вначале, когда он ее обнял, ей почудилось его объятие таким разящим, что о сопротивлении и мысли

быть не могло. Конечно, ей хотелось прошептать: «Да вы с ума сошли, услышат!» — но она подумала: «Услышат, и что же? Открытие для них? Не слыхивали они такого?» Ее беспокоило другое — легкость сопротивления, легкость, с которой она освобождалась от него. Бороться так — бороться взаправду, — и она входила в азарт, как входят в него при возне мальчишки, превращая борьбу в драку. И вот, почти лежа на земле, она увертывалась, выскользывала, вставала, — и когда он снова хватал ее, ей казалось, что еще немного — и он будет парить над нею. Павел не был ей противен. Его движения, руки, ноги, лицо — все, что пылало, наполнялось суровой грубостью, грозило ей болью и больным наслаждением, — все это нравилось ей, привлекало ее, и, однако, она не ощущала той свежей слабости, которая охватила ее вначале и которой до тех пор она еще никогда не познала, когда тело, томясь, не способно и не хочет уйти от объятий. И, измеряя себя «с точностью до $\frac{1}{10\ 000}$ », — если уж говорить откровенно, — не ради ли этой слабости она сюда и пришла в это изгрызенное львами и богами ущелье?!...

Борьба между Евдошей и Павлом продолжалась долго, — не час ли?

Ослабленный сильным припадком возбуждения, Павел поскользнулся на сухой траве и упал лицом вниз. Томление ее сразу пресеклось. Она поднялась и, изумляясь своему равнодушию, вернулась к костру.

— Действительно красиво? — сухо и зло спросил Гармаш, вороша палкой костер.

— Где?

— Куда ходили.

— Ах, да! Впрочем, пожалуй, и красиво: как относиться.

— Картошки печеной? — спросил Фома.

— Нет, спасибо.

— И без того отведали много горячего?

— Вот именно, Фома.

Сев, она почувствовала себя измученной до крайности. «Теперь спать, спать. — Голова кружилась, и чуть-чуть подташнивало. — Зачем это все? Уж лучше бы было уступить! А то получилось, что втягивала, чтоб выведать. Выведать? А что именно? И почему я ничего не говорила: будто берегла слова, чтоб ими сопротивляться Фоме? Он ведь тоже готов кинуться и своего не упустит. Но, голуб-

чик, перед тобой-то я и подавно не задохнусь, и тебе меня своим красноречием не пронять».

— Чем же, однако, кончилась битва? — спросил Фома.

— Какая битва?

— А мы, Евдоша, слегка тут отвлеклись в сторону и забыли о битве богов.

— Каких богов?

— Какча и Гефест все еще бьются, и Афродита все еще наблюдает, — ответил протяжно Гармаш.

— Меня это мало радует.

— Еще бы. Поэтому-то я и хотел закончить рассказ. Короче говоря, вон там Гефест оторвал внезапно от скалы глыбу и с невероятной злобой ударил Какчу в темя. Туземный бог, уже не сомневаясь в своей гибели, с забавными вздохами ушел под землю, воткнулся в пламя Гефестова горна, поплескался там малость и расплавился. Афродита, плача, скрылась в пещере. Гефест ее всегда обижает. Вы увидите завтра на стене пещеры след ее рыдающего тела, — и довольно отчетливый. Впрочем, возможно, это работа древних жрецов.

— А я хочу спать! — подняв голову, сонно пробормотала Афросинья Никодимовна и, поглядев в лицо Павла, проглотила слюну.

Глава шестнадцатая

Спал Гармаш, спал Федя, спала Афросинья Никодимовна, переливчато вздыхая. Ияслав Глебович не спал, но так упорно молчал, точно его и вовсе тут не было. Павел лег, накрылся с головой брезентовым плащом и, должно быть, тоже заснул. Евдоша, покачиваясь, сидела у костра и глядела слипающимися глазами на угли и думала, думала. «Гнусно все это! Похотливая я и поганая баба — больше ничего, да вдобавок и с расчетцем! Втайне небось хотела, чтоб Павел подробнее рассказал, как и почему он выступил против Виктора Лукича? Пусть из ревности, ненависти, — но пусть признался бы! И сопротивлялась небось потому, что вдруг заподозрила, что он решил: «Ах, эта тетеха ничего не знает, а соблазну, тогда и скажу, и уж деваться ей будет некуда: за мной победит». Ведь чувствую, чувствую в нем подлеца и все сама себя дружбой обманываю: воспоминания юности и прочее.

Ў, нечего и нечем мне оправдаться. Развинтилась вся — стержень потеряла. Поди и в скалы с Павлом пошла, чтобы Фому и Гармаша дразнить. Ну и зол же Гармаш. Злости в нем уйма! Не он ли своими легендами подстроил эту мою «борьбу», чтоб еще сильнее возненавидеть Павла? А я-то, как дура, пошла у него на поводу! Впрочем, если взглядеться в «заплеск» мутнейших моих чувств, в эту вершину волны, бьющей в неведомый мне берег, — я-то, голубушка, хуже всех, тьфу! «Огонь, который не разожгла в юности, разожгу теперь, — и сгорю как на вулкане, благо мы в вулканическом цирке». А что же получилось? Грязное топтанье!..»

Она думала, думала и, всячески бичуя себя, до бреда додумалась — уже из сферы «безумного молчания». «Не хотелось ли мне показать Изяславу Глебовичу, что ничего общего у меня нет с мужем, что роман с Павлом, а Виктор Лукич — один, одинокий?! Неужели я до такого постыдства дошла? Зачем? Встревожили намеки Афросиньи Никодимовны? Ужасно все это подло, в общем-то. Нет, никогда я не трусила. А этого гуся — Изяслава — на мякине не проведешь. А как теперь с Виктором? Сказать? Что именно? Суматоху мыслей? Топтанье? Измена без измены?.. Нет, давай, Евдоша, спать, все-то мысли твои сейчас глупым-глупы... спать, спать...»

Ей мерещилось, что она роняет один пахучий сон за другим... Кто-то подошел сзади и сверху, ласково и тепло погладил ее по щеке. «Впоследствии, может быть, и — да, но сейчас это — вчуже...» — смутно подумалось ей, и она открыла глаза. Кто-то стремящийся прослыть невероятным говоруном шептал ей красивые и страстные слова, которые не только не утешали ее, а, напротив, растревляли все неприятное, что произошло с ней этой ночью. Она наклонилась вперед и со всей силой, хоть и не совсем соскочила с нее дремота, ударила по чужой щеке.

Кто-то охнул сквозь зубы, и она услышала испуганный голос Фомы:

— Что это?

— А то, Фома, — ответила она, уже совсем проснувшись, — что могу дать сдачи. Это коров, когда доят, гладят, а я вам не какая-то доступная вашим прихотям корова и не...

Она добавила слово, редко употребляемое ораторами, но тем не менее весьма образное, меткое и убедительное

настолько, что Фома отошел, лег и накрылся плащом, как Павел.

— Пожалуй, и мне лечь, — сказала она вслух.

— По-моему, не стоит. — Гармаш, искоса поглядывая на нее, раскуривал трубку. — Лучше полюбуйтесь-ка: скалы показывают себя, как они смотрели на битву Гефеста и Какчи. И чтоб польстить богам, — боги в конце концов любят людское внимание, — скалы притворяются людьми, пастухами.

Сиреневая мгла на востоке заметно посветлела. Безмолвные вереницы скал сплетающимися гирляндами выбежали из тьмы и заняли полнеба. Да, это пастухи перегнулись через край плато и любуются битвой.

Один из них приподнял трубу, чтобы песней приветствовать богов, но какой-то гигантский скачок бога удивил его — и пастух замер, вглядываясь. Но другой пастух не растерялся, поднес трубу к губам, и чуть слышный звук, похожий на плеск синих вод после прибоя, упал низкой октавой. И точно отблески звука в небе — последний раз — вспыхнули и погасли четыре звезды. Во всю ширь открылось бледно-фиолетовое небо. Золотое шитье бежало по востоку: то прихотливые узоры, то цветы, то ветви. В скалах заблестело розовое окно, и можно было ждать, что кто-то выглянет сейчас из него, но ждать было некогда: манило море. В море — страшная суматоха, так случается в театре, когда антракт короткий, а декораций нужно сменить много. Вдруг, поверх всех декораций, в синем мелькнуло что-то пламенное, улыбнулись широкие, вывороченные темно-малиновые губы, затем из зыби отчетливо выступил розовый торс женщины... Восход?

Нет еще восхода. Море исчезло под мелкой зыбью цвета серебра с чернью. А видения в скалах продолжались. Возник гигантский скованный человек, точащий нож. На кого? На борющихся богов? Рядом с ним — два борца, увлеченные схваткой и, видимо, подражающие богам. Чувствуешь их вздох, запах плоти; вглядываешься, — они уже исчезли. Их сменило прелестное тело юноши, и рядом с ним — девушка в короне. Но вот уже алая кисть безжалостного гения восхода замазала все видения, и появились самые обыкновенные скалы, площадки, дубы, россыпи, потухший костер и слящие возле него усталые люди.

— Львы оставили здесь прелестные грезы,— прошептала Евдоша.

— Львы? Ах, да, Львиное ущелье! Кстати, я не уверен, что именно оно — Львиное. Евдоша! У нас в запасе еще около двух часов,— не соснете ли? А то ведь карабкаться вверх, спускаться вниз...

— Да, да, благодарю вас, Гармаш, очень благодарю, что не злитесь больше на меня.

Когда она проснулась, солнце стояло уже высоко и припекало. Многое вокруг утратило свою привлекательность, один лишь Федя скакал и восхищался по-прежнему. Афросинья Никодимовна пролепетала на ухо Евдоше, широко открывая опухшие глаза:

— Не знаю, к чему я и вернусь, Евдошенька. Страшно.

В суматохе сборов забыли поглядеть пещеры. Вспомнили о них на вершине. Упрекнули художника. Он сказал ухмыляясь:

— А я решил: раз молчат, значит — не любопытно. Впрочем, пещеры как пещеры. Кроме того, возможно, что все это — битва между Гефестом и Какчей — всего лишь моя выдумка. Я ведь слышу выдумщиком. И действительно, стоит мне увидеть скалы, как воображение мое тут же и начинает тесать образы!

От плоскогорья, за Чертовым Пальцем, дорога шла полого и вкось.

Против домиков рабочих, в кустах кизила и мелкого дуба, они увидели знакомый крутой спуск. Толстенская, короткая змея не спеша пересекала тропку. Они остановились, глядя на землю и поджидая отставших: Гармаша с сыном, Афросинью Никодимовну, Изяслава Глебовича.

С востока дул цепкий свежий ветер. Кусты болтались, открывая волнующееся море. Предгорья казались выжелтевшими, печальными.

Фома, размахивая палкой, самодовольно спросил:

— Что с вами, Евдоша? Вы грациозная, но и беззвучная.

На сердце ее лежала томительно-смутная тяжесть, кровь, приливая к вискам, бурлила. Глядя Фоме прямо в глаза, Евдоша резко спросила,— сама изумляясь своей резкости:

— Вы, Фома, и вы, Павел, против Виктора выступали? За — Рим?

Краска побежала по всему лицу Павла. Он, сжав челюсти, молчал.

Фома по-прежнему был беспечен и даже важен. Выставив вперед ногу и постукивая по ней палкой, он, снисходительно улыбаясь, ответил:

— Как же, выступали. В нашем учрежденческом клубе.

— Отрадно слышать.

— Это — наш долг, Евдоша, — проговорил громко Фома. — Мы — молодые архитекторы, и в нашем учреждении, кроме нас, никто не знаком с новейшими архитектурными течениями. Мы обязаны просвещать и направлять других по правильному пути. Нас попросили, и мы выступили, освежив чтением кое-что в памяти насчет Древнего Рима, вернее сказать, насчет его архитектуры. Что она представляет, в сущности? Римская архитектура — это усвоенная и переваренная римлянами архитектура Греции; римляне создали, в сущности, один орден, а три главных греческих: коринфский...

— Ах, это все написано даже в самых плохих учебниках!

Фома заюлил:

— Я оживил также...

Евдоша перебила торопливо и с досадой:

— А наши беседы на Малой Ордынке, насчет этой архитектуры, тоже оживили?

— В наших беседах мы спорили с Виктором Лукичом.

— Во-от как! — печально воскликнула Евдоша. — Вы, значит, и тогда были за Рим? Неужели?! Я что-то не припомню такого.

— Конечно, за Рим. И неоднократно вам возражали.

Ей показалось, что Павел смотрел на Фому с неудовольствием. Она выпрямилась и закинула руки назад:

— Ну! Мы, значит, не понимали Рима, а вы — понимали и одобряли? Рабовладельцев, кандалы, плети, голод? Да, конечно, величавая архитектура! Ну, а если рядом — рабы и плети? Вы и это одобряли? В нашей комнатухе? Да я бы немедленно сказала Виктору: «Настежь им двери!» — и, уверяю, он бы меня послушался.

— Как было не послушаться, когда, выступая в Клубе архитекторов, — пробормотал Фома, начиная волноваться, — он всю развивал ваши еретические мысли,

— Да! Да, согласился. И я горда, что он со мной согласился и что я всегда это утверждала.

— Что — это?

— А то, что бог с ней, с этой величавой архитектурой, не заботящейся об удобстве людей! И почему непременно у нас, в социалистическом обществе, должна быть такая громоздкая архитектура?

Фома опять приосанился и возразил:

— Сам хозяин сказал относительно нашей архитектуры: «А чем мы хуже Рима?» По-моему, метко и верно.

— Снесли — уничтожили Сухареву башню, Красные ворота, Триумфальную арку возле Белорусского вокзала. Спас-на-бору, Симонов монастырь, — да мало ли какие еще шедевры отечественной архитектуры, а потом восклицают: «Чем мы хуже Рима!»

— В Риме тоже сносили здания, — сказал Фома.

Павел, нахмурившись, поднял на нее смущенный взгляд и еле внятно проговорил:

— Вы говорите ужасные вещи, Евдоша.

— Ужаснее всего то, Павел, что они кажутся вам ужасными. Сносить русские архитектурные шедевры для того, чтоб воссоздать римские, — это ли не ужасно? Это — абсолютно непропорционально. Слышите?

— Не только мы, но и камни слышат, Евдоша, — передергивающимися губами прошептал Павел и, повернувшись к Фоме, прибавил с досадой: — Может, пойдем все-таки?

— Идите, — сказала Евдоша с расстановкою и сильно. — Идите, а я договорю тут камням, раз уж они слышат.

Вскинув рюкзаки на спину, Фома и Павел ушли.

Она вздохнула. Тосчно и смутно было ей. «Высота ума у Фомы не велика, и мне ли злوبيться на эту мелкоту? Впрочем, я и на Павла не в злобе: иногда он даже вызывает во мне радостное изумление. — Она вспомнила объятия в Львином ущелье и горько усмехнулась. — Может быть, я вспыхнула, глядя на потухший вулкан? Мне почудилось, что я принесла из Москвы кусочек еще не остывшей лавы. Нет, нет! Москва — сама по себе, а я — сама по себе. И ничем мне не оправдать, что я бросила мужа, товарища, в разгар самой яростной борьбы, попросту девертировала и малодушно возрадовалась этому коктебельскому оазису моря и тепла, веселья, мною самой придуманного и такого плоского, — вообразила, что этого веселья на всех и на все хватит. И не хватило! Перегорело!»

И она вернулась к мыслям о Риме и Москве. «Рим! Рим! Виктор согласился-таки со мной, что нельзя шагнуть дальше Рима, что Рим исчерпал себя. Это показал ампир с его подделками. Зачем нам повторять Рим? Зачем? Ведь есть Москва, ее волшебное вулканическое искусство, советское искусство, и кому, как не ему, быть самостоятельным, кому, как не ему, быть настоящим, а не поддельным вулканом? Нужно только верить в наши творческие силы, быть чуть-чуть доверчивее. Опасно доверять? Попровертятся шпионы? Ха-ха! Того опасней замкнуться в неверии. Почему стал возможным Октябрь? Предпосылки: война, голод, социальное неравенство, капитализм,— все это так, и справедливо. Но, кроме того, была еще вера и даже наивность. Милая, человеческая наивность, доверие, вера. Рабочие и мужики поверили партии большевиков, поверили друг другу, поверили, что спасут мир. И они его спасли и еще спасут. А ведь и они небось были не ангелы, далеко нет,— но какая в них, однако, была обольстительная и пещная вера в могущество человека!»

Приближались голоса отставших. Евдоше показалось, что, вспоминая о приятелях своих, Павле и Фоме, она думает об их слабости сквозь слезы. Она вытерла глаза. Они были сухи. Со стороны домиков послышался тонкий холодный женский голос:

— Васька-а! Неси еще охажку: те прогорели-и!

«Дрова в печи прогорели,— поняла Евдоша.— Хотят подкинуть. А у меня? Нет, нет, неправда. Огонь творчества не угас и не угаснет во мне».

Подбежал возбужденный и раздумявшийся Федя:

— Ждете? А мне палку вырезали кизиловую. И еще...

И он замер от смущения, показывая ей длинное сине-вато-белое перо сороки. Ему так хотелось, чтобы это было перо орла! «Хороший, добрый мальчик! Всем нам хочется носить орлиные перья».

— Выбил, тетя Евдоша! Камнем шибанул. Какой оно породы?

— Ну, конечно же, Федя, орлиной.

Глава семнадцатая

Утром, на берегу возле столовой, они ожидали завтрака. Низкое судно со светло-серым треугольным парусом пересекало бухту. Матрос в винно-красной фуфайке сиг-

нализировал с борта, ему отвечали возле электростанции. Евдоша, слабо улыбаясь, сказала Павлу:

— Придется, пожалуй, досрочно покинуть мне море.

И ей вспомнилось, как она плыла в прошлом году по Ладожскому озеру с мужем. Раскачивались свинцово-серые волны. Матрос натягивал веревку в косом положении, чтобы держаться за нее.

«Наверное, у этой веревки какое-нибудь мудреное название?» — спросила она. Матрос сурово ответил: «Чего мудреного: леер». Теперь она должна натянуть леер. Вулкан раскачивает почву, и ее мужу станет легче дышать и шагать, когда он схватится за леер. Вслух же она добавила:

— Вулканы стоят преимущественно по берегам морей. Вот Москва, она — вулкан, подле нее и появилось Московское море. А вы, Павел, не находите, значит, что Виктор выступил героически?

— Я еще в Москве сказал, что не нахожу, — с горечью и досадой сказал он. — А вот вы так-таки не хотите быть окончательно героичной?

— В каком отношении?

— В отношении меня.

Стараясь говорить просто и спокойно, она ответила:

— Но ведь не получилось же, Павел Ильич! И не стоит к этому никогда возвращаться.

Она повернулась к нему всем корпусом. Щеки у нее горели, волосы на лбу слиплись в мелкие завитки, губы ходили ходуном. Но, овладев собой, она собрала губы в улыбку, — пускай даже ненастную, — и проговорила:

— Давайте, если не бороться за него, то хоть думать об искусстве!

— Искусство у нас с вами тоже разное. Я говорю об искусстве любви.

Он свил руки и сжал их, а потом, хлопнув железной калиткой, пошел быстро мимо столовой.

Три пожилых татарина, в круглых мерлушковых шапочках и длинных рубахах, в рыжих туфлях на босых ногах, остановились около хлопающей калитки. По дороге на рынок медленно шагал болгарин, несущий в руке корзину с тусклыми сливами, а на палке за спиной — связанного рыжего петуха. Петух закрыл глаза и разинул клюв. Сопровождавшая болгарина тонконогая собачонка и крошечный щенок разглядывали этот клюв. Откуда-то

появился Федя и уставился на щенка с тем же интересом, с каким собачонка — на кораллово-красную голову петуха. У дороги, отвернувшись, вытряхивая песок из туфли, присела какая-то женщина. А за ней — ветвистое бледное дерево, и в скудной тени его две старухи, прислонившись к связкам сухих дубовых ветвей. Как же рано нужно уйти в горы за хворостом, чтоб сейчас уже возвратиться оттуда?

Татары что-то уж очень внимательно и долго рассматривали железную решетку, и Евдоша, ожидая, не вернется ли Павел, хоть немного успокоившись, спросила татар:

— Вы ее собираетесь красить?

— Нет, она хорошо окрашена, — ответил учтиво татарин постарше. — Приятно, что вы почитаете святого с той горы. — И, показывая рукой выше разработок траса, татарин продолжал: — Решетка в точности такая, как вокруг могилы. У меня в детстве болели глаза, я слеп. Мы тут жили неподалеку: мой отец торговал в Старом Крыму. Меня понесли на Гору. Я молился, целовал решетку у могилы, — и когда прозрел, первое, что увидел, — была эта решетка. Молодость! Вера молодых могуча. Я рад, что ваш народ тоже очень помолодел.

И, наклонившись, татарин поцеловал решетку.

За плечами у татар висели пыльные котомки, шли они, очевидно, издалека и, что тоже очевидно, пришли, чтоб поклониться могиле святого. Но разработки траса наверху пугали их: кто их разрабатывает, неизвестно, и можно ли пройти мимо — тоже не очень ясно. Кроме того, в поселке мелькают фуражки пограничников, и хотя татары были самыми обыкновенными бедными портными из Евпатории, форменная одежда наводила на них страх и трепет. Промелькнул толстоватый русский в чесуче, ласково улыбувшись Евдоше, бросил на татар рассеянный взор. Татары, сняв шапки, низко, по два раза поклонились ему.

«Какие странные, однако, татары!» — подумала Евдоша и хотела расспросить их подробно о Святой горе, но появился Фома, стал торопить ее — день необыкновенно ясный, съемки пойдут хорошо, а если она собирается уезжать, то тем более нужно торопиться. Едва ли стоило утверждать, что он был глубоко угнетен, но на сердце его легла какая-то неясная для него самого тяжесть, даже голос его изменился: в нем появились визгливые нотки;

раньше ему нравилось поспешно перебивать других, теперь его самого перебивали. На Евдошу и Павла он поглядывал испуганно.

Фильм не имел еще названия, и, по сюжету судя, трудно было и подобрать ему название. Так, пляжный пустычок: переодевания, неожиданные узнавания, погоня за похищенными с пляжа штанами. Евдоша играла главную роль,— если в таком вздоре могла быть главная роль,— она веселилась, кувыркалась, наклеивала усы, добыла мужской парик с чубом, невероятно чернила брови, и глаза у нее оттого синели и загадочно поблескивали.

Съемки происходили у дороги, возле холмов голубой глины, за которыми тарахтела электростанция и тянулась «канатка». Здесь, в заглохшем винограднике, у самого моря и «дикого пляжа», дирекция дома отдыха начала строить ванное заведение, но успела вывести лишь стены — кредиты окончились. «Кинематографисты» принесли в это укромное место столы, стулья, Гармаш повесил на стену картину, верх прикрыл фанерой, соорудил что-то вроде люстры. С утра до вечера из недостроенного дома доносился на пляж хохот. Операторами были Фома и Гармаш.

Когда снимал Фома и глаза его с изумлением останавливались на «артистах», те старались не хохотать. Гармаш отходил в сторону и беседовал с Афросиньей Никодимовной, явно желая задержать ее возле себя и подольше не отпускать на пляж, к Изяславу Глебовичу. Изяслав Глебович ходил по пляжу, заложив руки за голую спину. Стоило лишь Афросинье Никодимовне приблизиться к нему, как улыбка его становилась бесконечной, и он целовал ее в плечо, а иногда и пониже. Гармаш в эти мгновения, отстранив Фому, прилипал к объективу, а Фома недоуменно спрашивал:

— Да вы, художник, актеров снимаете или этого толстяка?

Гармаш делал вид, что, спохватившись, отводит объектив. А разве не прав был художник, когда, забывшись, снимал Изяслава Глебовича и Афросинью Никодимовну на пляже? Такие они оба беззаботные и бездумные, такой великолепный фон для шуточного фильма!

Изяслав Глебович — полноватый, румяный, жизнерадостный, казался совершенно безмятежным человеком. Рано проснувшись, он помогал хозяйке квартиры «вздувать самовар» или разводить плиту, колол дрова, приносил

воду, — и все это с улыбкой, блестя голубыми глазами. Затем он долго занимался гимнастикой, рысцой бежал к морю, нырял и плавал в любую погоду и до обеда лежал рядом с Афросиньей Никодимовной на «диком пляже», а после обеда шел с нею же в Лягушачью бухту или в степь, наилюбезнейше раскланиваясь со всеми встречными, словно с самыми близкими родными. Вечером он играл в доме отдыха в шахматы, играл искусно, но всегда проигрывал; проигрывал он и на бильярде, хотя чувствовалось, что рука у него очень опытная. Ни Афро, ни кто другой не знал — какой именно пост занимает он в Ленинграде. Павел и Фома на всякий случай относились к нему почтительно. Гармаш, наоборот, пренебрежительно, утверждая, что Изыслав Глебович — пустяк, наверное, что-нибудь вроде комиссионера или толкача.

Все ушли обедать. Гармаш задержался, убирал камеру в футляр.

— А, товарищ художник! — услышал он голос Изыслава Глебовича. Сам купальщик, перекинув через плечо мохнатое полотенце великолепного желтого цвета, весь беззлобно сияющий, ласково заглядывал в окно: — То было приятель вас снимал, а теперь — вы его?

— Какой приятель? Как это — снимал?

— Павел Ильич, говорю, вас снимал.

— В каком же смысле он меня снимал? Я ему по подчинен.

— А в самом буквальяньском смысле. Со стен музеев. Правда, в конце нэпа он был студентик первого курса, зарабатывал техническим секретарством в комиссии, которая «леваков» обескрыливила, и если он тогда в обсуждениях не участвовал еще, то ручками картпки со стен снимал и в подвал относил. Даже ваш «Город в проскомидию» именно он отнес.

Гармаш, к явной радости Изыслава Глебовича, смотрел на него с изумлением и огорчением.

— Вы правы, вы правы, Захарий Саввич! Зачем беречь старые раны? Я сам когда-то боготворил Хлебникова и даже Крученых, а теперь мой идеал — Пушкин. Я, — для себя, в качестве любителя, аматёра, — составляю картотеку стихов Александра Сергеевича: где написаны, при каких обстоятельствах, какая была критика? И посетил все пушкинские места — и в Крыму, конечно, сейчас, за тем же... Читаю Пушкина тоже неплохо, позвольте вам прочесть...

— Оставили бы вы Пушкина-то в покое...

— Нет, нет, позвольте! — И он начал читать «Пророка», и неплохо начал.

Но помешал скрип приближающейся телеги, он весь как-то передернулся, лицо его приобрело какой-то зеленоватый отлив: к электростанции медленно катилась телега с сетями и рыбаком, три татарина с котомками что-то выспрашивали у рыбака.

— Татары, — осклабился Изяслав Глебович.

Гармаш ответил спокойно:

— Да, кажись, татары.

— А вы знаете, что они решетку целовали?

— Какую решетку?

— У столовой.

— Поделом ей: решетка дрянная.

— Не смейтесь. Вам известно, что решетку эту дирекция дома отдыха свяла с могилы святого, — мнимого, конечно, — с верха вон той горы?

Изяслав Глебович махнул рукой в сторону разработок траса.

— Решетки сейчас, разумеется, редки, но все-таки это странная манера украшать дома отдыха работников искусств.

— Ничего нет странного. Естественно. А вот татары, по-моему, странные, вы не находите?

Гармаш подумал, потупился и медленно, отдельно сказал:

— Нет. Не нахожу. И вам бы не стоило находить.

Ничего странного нельзя было заметить ни в телеге, ни в лошади, ее везущей, ни в рыбаке, ни в трех самых обыкновенных татарах, тех самых татарах, которые недавно разговаривали с Евдошей у решетки столовой. В телеге, запряженной тощим саврасым мерином, ехал самый что ни на есть русский рыбак в заплатанной холщовой рубаше и широкой соломенной шляпе. У ног его стояли корзины, с которых капала вода, мокрый свернутый невод поблескивал рыбьей чешуей. Рыбак не правил, он читал «Правду». Лошадь, отлично зная дорогу, шагала уверенно, обходя рытвины. Татары, размахивая руками, шли рядом с телегой.

Весь вечер, до полночи, усиленно готовились к съемкам, проснулись рано, обрадовались, что солнца опять много, что ветра нет, что настроение у «киноактеров» хо-

рошее. Вокруг недостроенного домика пахло по-утреннему, свежо и четко, одна сторона домика была блестящая от росы, а другая уже горела на солнце. Море было душистое, жемчужно-изумрудное,— если можно так сказать, а, глядя на него, иного сказать было никак нельзя.

Пришли из деревни два рослых парня, из колхозной бригады каменщиков, хмуρο посмотрели на съемку, отозвали в сторону Павла,— «чтоб не мешать, а надо посоветоваться, как с архитектором, относительно кладки школы». Павел говорил с ними полчаса, вернулся к домику и тихо, на уху, сказал Фоме:

— Ничего не понимаю. Каменщики передали, что ночью забрали трех татар и рыбака, а колхозную телегу всю изрубили: искали в ней какие-то документы. Шпионы будто! Какие шпионы, откуда? Ничего не понимаю, Фома, ничего!

— К съемке, друзья, к съемке! — крикнул повелительно Гармаш.

За обедом признали, что снято много, пора проявлять, директор уступает библиотеку, ставни плотные, но, дополнительно, повесят занавеси. И работать усиленно, всю ночь. Павел, молчавший весь обед, воскликнул на полном серьезе:

— Да, да, всю ночь, проникновенно и последовательно!

Гармаш остался словно бы недоволен этим восклицанием. Сокрушенно вздохнув, он поднялся:

— Ну, а я, перед проникновенными трудами, прогуляюсь.

Глава восемнадцатая

Почти до заката Гармаш сидел на камнях перед Лягушачьей бухтой. Воды стали кроваво-красными, камни покрылись легким красноватым налетом, и когда поднялась волна — темно-пурпурно-индиговая,— Гармаш, точно спохватившись, поспешно зашагал к тусклому бурому зданию электростанции. Там гукал двигатель и темно-зеленые вагонетки будто смущенно поскрипывали: «Всем сон, отдохновение, а мы катись да катись?» Гармаш чувствовал себя скверно, и особенно стало ему не по себе, когда он увидел на берегу, возле каменной глыбы, где бродячий фотограф снимал отдыхающих, сгорбленную и какую-то угнетенную фигуру Павла.

Мысли Гармаша были далеко от Павла — и близко, потому что думал он о своей жене, которую ревновал к Павлу. Виталия сперва написала, что приедет, что она ужасно расстроена, «абсолютно несчастна» и не в состоянии работать, что в Коктебеле у нее — неотложное дело, а теперь раздумала: «Жду тебя скорее в Москву для окончательного разговора. Твою уклончивую политику тебе нужно прекратить». Гармашу хорошо знакома была эта вероломная нежность! Но вероломна ли Виталия? Вдруг она действительно рассталась с мыслью, со всеми помыслами о нем. О нем — подразумевалось о Павле. Навсегда? Ну да, навсегда! «Да, может, и не в Павле тут дело. Может, «окончательный разговор» — опять обо мне самом, о моем искусстве. Она, как дятел, долбит гнилое дерево. Дятел ведь по звуку узнает — гнилое ли? По звуку...»

Тускло усмехнувшись, Гармаш отрицательно покачал головой. «Совесть — вот что важнее всего! Ну не стану же я примешивать к краскам отраву. Да недаром мне нравился в юности Эдгар По! А ведь у этого Павла Ильича тоже свои расчеты. Он ведь поди, подлец, ждет от меня слов. Словом, дескать, я его подтолкнул. И пусть-де буду наказан жестоко. Ах, мразь! И еще, вдобавок, картины мои снимал. А тот, гладкий-то, Изяслав Глебыч, тот к чему мне это подсунул? У того, я уверен, тоже каждое мгновение рассчитано. Но ты-то, ты, Павел Ильич, голубчик, со своей ликующей мордой, ты у меня еще попляшешь».

Ноги у Гармаша дрожали, весь он так и кипел. «Обернется — быть тому, что задумано. Не обернется — плюну, пройду мимо».

Павел обернулся и пробормотал с легким смешком:

— А разве там, возле рыбацкой землянки, есть подъем?

— Куда?

— К Чертову Пальцу, куда больше? Вы туда ходили? Мне представляется кадр на фоне Чертова Пальца, и снятый не сверху, а снизу. Я звал Фому — выбрать место и помочь нарвать мне горной полыни.

— Полынь-то для чего? — спросил со злостью Гармаш.

— Водку настаивать. Отлична для аппетита.

— У вас и без полыни, Павел Ильич, аппетит хороший.

— Вы это — прямо или намеком?

— Мы, художники, редко говорим прямо; разве только уж очень рассердимся.

Гармаш помолчал. Набежала волна и замерла, чуть смочив им подошвы. Гармаш зачерпнул ладонью воды: мутна ли она от песка или ее замутил вечер? И, стряхивая песок с рук, он спросил:

— Помните, Павел Ильич, мою картину «Город в проскомидию»?

— Нет, не помню.

— Ну, как же, в свое время была известна! Неоднократно писалось, что нет в ней ни смысла, ни толку, ни города, ни проскомидии, — одни лишь глупые краски и еще более глупые линии. «Леваки» вели от нее начало нового искусства.

— Ну, решительно не помню!

— Так вот, этюды для нее я писал у Чертова Пальца.

— Где же там город и проскомидия? Скала, и все. Ха-а!

Вопрос Гармашу был по нутру: Павел Ильич показал свои истинные чувства в отношении искусства. Гармаш облегченно вздохнул.

— Помните, у Чертова Пальца я показывал Ущелье Неверных и в нем расщелину Афродиты? По ту сторону расщелины — скала, вокруг и вниз — дубовый лесок. Я писал все утро пониже скалы, а когда стало жарко, спустился в расщелину и напился там из лужицы: ночью шел дождь, и в выбоинах базальта скопилась прозрачная и поразительно вкусная вода. Напившись, я опять поднялся к своему мольберту. Огляделся. В дубовом леску обильно распустились дикие пионы и еще какие-то лиловые липкие цветы, похожие на колокольчики. Пионы здесь блистательного розового цвета, совсем как разрумянившееся тело. Я, нарвав большой букет, положил его рядом с собой. Чертов Палец надо мной как собор. Вокруг — благоухание чабреца, болтают птицы, напротив — черная вещунья — расщелина Афродиты с глянцевыми базальтовыми боками. Чувствуя себя отдохнувшим, я сел, взялся за кисть... И вдруг киноварно-красное пятно закрывает мои глаза! Я, знаете, когда вижу что-нибудь необыкновенное, сначала вижу общее пятно, а затем уже частности. По расщелине неслышно, — башмаки на резиновой подошве, а гравия и мелких камней там нет, —

шагают мужчина и женщина: розовая женщина, показавшаяся мне киноварно-красной.

— Описываете вы лихо, — равнодушно сказал Павел.

— Ну, мужчина как мужчина, лет под сорок, сложен топорновато и крепко, из тех, про которых говорят, что он пользуется «доверием окружающих». А за ним — и не совсем убежденно — шагает она, в трусиках и бюстгалтере, с непокрытой пленительнейшей головой. Глаза большие и влажные, вся сверху донизу розовая. Я на нее один раз взглянул и весь наполнился восторгом и огорчением. Что за красота! И почему она проходит мимо? И почему именно с этим барбосом? Я по профессии своей кое-что в людских фигурах понимаю, видел их много, встречал и редкие совершенства, а эта не только совершенна и обольстительна, а и необычайно поэтична. Именно поэтична! Что-то в каждом движении розовых длинных ног, повороте шеи, головы, что-то есть неразгаданное и несбыточное, а что именно — сам черт не поймет! Я был просто отуманен и, обалдев, глядел на нее неподвижно. Какой у нее мутный, ленивый и одновременно лучезарный взгляд! Какой крылатый, — другого и слова не подберешь, — именно крылатый взмах рук!

— Давно это было? — спросил Павел.

— Я же вам повторяю, что в дни написания «Города в проскомидию».

— А я вам говорю — не помню этой картины.

— Поворачивают они налево из расщелины в скалы. А за скалами, знаю, крутой обрыв, пропасть. «Куда вы, кричу, свалитесь!» Мужчина даже не обернулся. Он, полагаю, был, вроде меня, в дурмане. Она идет за ним как зачарованная. Однако повела в мою сторону взглядом и ответила застывшими губами: «Они утверждают: проход к Сердоликовой бухте есть». Они?! Меня так всего и передернуло. Какое почтение! И от кого? От нее, за которой полки должны бежать, дивизии! Тьфу. Кидаю ей букет алых пионов, — жест юношеский и мне мало свойственный. Она приняла. И букет в нее словно впился, по цвету то есть. И все. Еще раз мелькнули ее розовые ноги, и больше я их никогда не встречал. Спуск, значит, обнаружили, и, оплыв скалы, вернулись берегом моря. Остался я со своим дубовым леском, расщелиной и знойным бездумным молчанием вокруг: птицы и те замолкли. Кисть я отложил, усталости как не бывало и решения

вернуться в Коктебель — тоже. Вскочил, перебежал расщелину и пошел вдоль пропасти, по самому ее карнизу.

Павел вздрогнул, и лицо его побелело, как-то даже и насквозь.

— А зачем? — спросил он прерывистым голосом.

— Мальчишество, глупость. Впрочем, когда начался туман, я испытал редчайшее наслаждение.

— Гм. Сомневаюсь. В архитектуре у нас это называется «прогон».

— Прогон?

— Ну, пустое вертикальное пространство, в которое позже ставят печи, лифт, лестничную клетку. Вот и мы с вами сооружаем «прогон». Можно вставить и лифт, а можно и другое что, по вкусу. Пойдемте. Мы с вами, кажись, проболтали весь ужин.

Павел встал. За ним поднялся очень довольный Гармаш. Павел взглянул на него, чем-то огорчился и снова сел на камень.

— Я не боюсь вашего рассказа, — пробормотал он. — Продолжайте. О каком это вы тумане начали и о каком наслаждении?

— Наслаждение поисков. Может быть, я ожидал встретить розовеющую плоть за каждым поворотом скалы и в рискованнейшей позе?

— Не притворяйтесь пошляком. Гадко, гадко!

Гармаш исподлобья напряженно наблюдал за Павлом. Тот, по-видимому, был настолько возбужден, что не вполне отдавал себе отчет в своих словах. Гармашу это доставляло большое удовольствие. Павел беспокойно воскликнул:

— Ну, что же вы не продолжаете? И вот что я вам скажу — укротительные средства и способы их применения появились сейчас во множестве.

— Ого!

— Да, ого!

— И в случае моего молчания вы один из этих способов примените ко мне?

— И применю.

Гармаш засмеялся:

— Мутно, а догадываюсь. Раздражить меня хотите? А что касается «применения», то, кто знает, быть может, я этого и хочу от вас добиться? Впрочем, продолжаю про

туман. Я огибал скалы, обходил россыпи, тропинка была еле заметна. Кое-где попадались белые жилы кварца, обломки халцедонов, которые валяются с Чертова Пальца. Его громада все время сопровождала меня, и стоило мне остановиться, как она, казалось, говорила равнодушно и просто: «Утомился? Нагулялся?» Неподходящее место для прогулок, доложу вам.

— Вы уверены?

— Видите ли, я к наблюдению природы присвоен давно. Не годится этот Чертов Палец человеку! Да и черту тоже.

— Запугиваете? — чуть ли не с ненавистью пробормотал Павел.

— От наслаждения иногда ликуешь, и от жгучего страха иногда впадаешь и в жар и в озноб. Палец-то все время указывает на небо! И добро бы рай, а то просто какая-нибудь вечная виттова пляска с дрожанием и передергиванием всех членов вашего тела! Итак, иду. В голове некая водянистость, сердце четко тикает, словно весь я водяные часы, — но шагаю. Кое-где там овраги, поросшие дубом и ежевикой. Тропинку обнаружить трудно, да и не стоит: она совсем над пропастью.

— Вы, вижу, уверены, Захарий Саввич, что я туда пойду?

— Есть в этой тропинке горькая привлекательность, Павел Ильич, — или мне так казалось, потому что вожделение охватило при виде розовоногой... Не буду, не буду! Опять пошляком обругаете. А мне по человечности и благодушию хочется, напротив, отговорить вас идти туда.

— Полыни, повторяю! И высмотреть местечко для кадра, — с нарастающей злостью проговорил Павел. — Вам известна «кульбака»?

— Верховое седло? Как же! Живал я в степи, ездил в седле, пивал кумыс — и из турсука и из сабы. Да, да, живали и жевали.

— У меня однажды в горах пала лошадь. В горах Тувинской Народной Республики. Мы снимали там фильм; вернее, снимали другие, а я, для изучения искусства, служил обыкновенным экспедитором и был послан за костюмами в район. Итак, конь сдох. И я шел три дня, таща на себе кульбаку, — по краю пропасти круче вашего Чертова Пальца. Вам ли меня пугать!

— Я не так лют, как вы полагаете, Павел Ильич. Мне ли брать на себя воздаяние, которое в руках судьбы? Просто я сегодня бродил, думал о нашей прогулке на Карадаг, о мечтаниях, с ней связанных, ну и вспомнил, что пережил в молодости, при писании «Города в проскомидию», — лиловые тона, помните?

— Который раз вам твержу: не помню ничего!

— А жаль. Картина была педурна. Я возлагал на нее надежды. Да мало ли на что и кого их возлагаешь? И так, вспомнил, обрадовался: память уже стала тупеть — и меня легко забывают, и у меня недолго остается. Но это не относится к забвению обид, как вы совершенно правильно заметили, когда назвали меня гадким. Но не лют, нет, нет! Где бишь я остановился? Ах да! Златоглавое наслаждение от испуга? Слушайте же. Была, повторяю, весна. Оттуда, из пропасти, куда спустилась моя мимолетная розовоногая красавица, доносился лишь безмятежный шелест деревьев, и чуткое ухо могло уловить рокотание ручейка по камням. Вдруг оттуда же показалось золотистое, прозрачное почти облачко. Оно было невелико: с автомобиль или чуть побольше. Приятное такое, безмолвное, как все облака, и ярко-золотистое. И при всем том смотреть на него было тягостно. Думаю, что мое лицо тут стало очень серьезным и строгим. Оно шло прямохонько на меня. Я шагал торопливо. Дорожка, повторяю, была опасна. Но тропинка внезапно исчезла, и пока я ее искал, тревожный холодок обнял меня. Облако! «Э, думаю, промелькнет, обожду». Проходит минута, две, десять, — облако не исчезает, и все вокруг меня в таком, я бы сказал, растленном и беспутном тумане. Чертов Палец — что-то багровое и гнусное и вдобавок с позолотой. И слышу шепоточек: «Разбей, развяжи!» — противенький такой шепоточек, с преднамеренным равнодушием. И в то же время были в голосочке этом какие-то оттенки голоса розовоногой. А? «Разбей, развяжи». Что, когда, почему?! У меня захватило дух, ноги одеревенели, голова наполнилась чем-то невероятно гнетущим. «Пропал!» — думаю. И — тянет вперед, а стою. «Не-ет, думаю, тут только в стоянии и в безумном молчании — спасение». А там твердят: «Разбей, развяжи», — твердят, но с радостью слышу, все отдаленней, отдаленнейше... и какой щедрый радостный свет почувствовал я вокруг, когда шепот затих,

и облако покинуло меня,— и поползло вверх по Чертову Пальцу. Туда тебе и дорога!

— Кому это — туда и дорога? Мне, что ли? — воскликнул Павел, вскакивая. — Совершенно не нуждаюсь в этой дороге, Захарий Саввич!

— Совершенно,— подтвердил кротко Гармаш.— Тогда ужинать?

Глава девятнадцатая

Всю ночь Фома, Павел и Гармаш в наглухо закрытой библиотеке проявляли пленку. Евдоша помогала им: наполняла кислотами тазики, справлялась в русских, английских и немецких руководствах, которые привез Фома, распаковывала катушки. Гармаш, оказалось, превосходно знал технику проявления, а Фома и Павел напрактиковались еще в Москве. Но то ли они многое забыли, то ли волновались,— как бы то ни было, все ворчали друг на друга, а когда узнали, что половина пленки, из-за неумелого обращения со светом, испорчена, у всех опустились руки. Евдоша начала путаться в рецептах, откупоривала не те банки с кислотами, которые нужно; Фома поправлял ее внимательно, но не без язвительности. Лучше всего удалась съемки Гармаша, но они-то как раз были второстепенными.

Фома дрожащим голосом кричал:

— Вы ж, Гармаш, сами и составляли сюжет. Так зачем же такое множество толстяка этого, Изяслава Глебыча?

— Моих кадров чур не трогать,— пробовал отшучиваться Гармаш.— Местный колорит.

— Местный колорит — Евдоша! И вам приказано снимать Евдошу, и вы, как оператор, обязаны подчиняться. А вы — каких-то сомнительных любовников.

— Меня и без того много, Фома,— сказала Евдоша.

— Мало, мало! Сказал, введу в кино, и введу. Полно те, архитектура! Какая теперь может быть архитектура? Казарменная.

— Иногда и казармы строили красиво.

— Да, но не женщины.

Красный свет фонаря порошил глаза, кислоты пахли жестко и неприятно, лезли на фонарь и на руки мухи,—

и вместо весело задуманной шутки получалось что-то тупое и двусмысленное. Евдоша устала.

— Э, чу, кажись, удача! — восклицал радостно Фома, и затем слышался его скорбный голос: — Опять Изяслав Глебыч и она, Афро, — и вдобавок крупным планом. Я возмущен, слышите, Гармаш?

— Слышу и восхищаюсь.

— Восхищаетесь тем, что подвели нас? Пленки не осталось совсем, да.

Лучше всех работал Павел — легко, уверенно, быстро, все только ждали его приказаний — и он приказывал. Мыли, полоскали, перекладывали из раствора в раствор, пахло чем-то острым, и все жаловались, что нельзя курить.

Часа в два ночи с небольшим Гармаш, сказав, что он стар, разбит и хочет подремать на лежаке у моря, ушел.

Изредка поскрипывали ставни, ветер утихал. Возле плетеных стульев, сваленных в угол и похожих на ворох рогов, сушились тусклые круги пленки. Красновато поблескивали из тьмы двери книжных шкафов, переплеты книг, жестянки с катушками на столах, бутылочки и банки растворов. Павел поднял от стеклянного багрового таза красное лицо и сказал:

— Кажись, конец. Доделает Гармаш: у меня руки село. И надоело! Позовите, пожалуйста, Гармаша: полно ему дрыхнуть.

— Соснуть? — спросил, зевая, Фома.

— Нет, отправляюсь к Чертову Пальцу.

— Чего тебе там?

— Повторяю, кадр.

— А я повторяю — никаких кадров, пленка израсходована, осталось на крошечные досъемочки.

— Полыни хочу нарвать.

— Полынь и у подножья, и у Чертова Пальца одинакова.

Павел молчал. Евдоша, стоя у притолоки и позевывая вслед за Фомой, ласково проговорила:

— Павел Ильич, разумеется, вы — крепки, выносили вы, но все ж вы не спали и работали всю ночь.

— Захочется — сосну в горах.

— А пресмыкающиеся? — спросил Фома. — Я тебе отсюда не крикну: «Придави змею!» — Он захохотал, а по-

том объяснил: — У нас поговорка была такая давно, во времена юных пьянок. Нальем стакан коньяка, и под крик — «придави змею!» — чтоб залпом. Павел был здоров давить. Пашка, ты к обеду вернешься?

— К обеду? К завтраку, ей-же-ей!

Евдоша вышла. Павел мыл руки, слышалось плесканье воды. Фома болтовне Павла, видимо, не придавал никакого значения; скажет «уйду», — и завалится спать на чистенькой постели, вместо гор. А Евдоше чудилось в словах Павла какое-то горькое увлечение, — и не по нутру ей было оно. Она хотела поговорить с ним сейчас же, наедине, хотя, собственно, о чем? Все, кажись, сказано? Однако он жаждет повторения? И, повторю, — скрепя сердце. Куда как приятно ждать его, а подожду. В конце концов во всем виноват не он, а я. Мне и нести наказание.

Евдоша ждала Павла у пляжа. Вспомнилось, что в юности Павел любил малоизвестные имена и названия предметов. Вдруг объяснит, кто такая Деметра или что такое Висожары или Подунавье, а то начнет перечислять — пробойник, тун, овен, ихтиофтальм, жгун, гребло... Казалось, он был тогда в приятном полузабытьи. И вот сейчас, в библиотеке, он начал вспоминать разные таинственные слова, значение многих из них Евдоша не знала. Ей рисовался храм папы Климента, метель, сугробы, шумящие, раскачиваемые метелью фонари, скрип ботинок по снегу, юность... а его все нет и нет! Она медленно бродила между библиотекой и пляжем.

На сером мокроватом лежаке валялась зеленая шляпа Гармаша. Куда исчез художник? Купается? Проводывает сына? Проголодался? Вдали, у самого горизонта, покачивалось знакомое аспидно-темное рыбацье судно с треугольным парусом. Между судном и берегом — пепельно-неподвижное море. Гармаш уплыл к судну, проказник? Да нет, не таковский он пловец.

— А-а-аа!

Взглянув направо, она увидела, что вдоль холмов, к горе Кок-Кая быстро шагает Гармаш. Он шел так быстро и так высоко поднимал ноги, что казалось — звук его шагов доносится до Евдоши. Куда он спешит? Что ему надо в такую рань там, в горах? Он миновал рыбацью землянку и свернул в предгорье. «А, хоть гречиха на нем расти!» — вспомнила она юношескую поговорку.

— И к тому же та-ак хочется спа-а-ать...

Евдоша зевнула, присела на лежак, отодвинула шляпу Гармаша, — и точно покати­лась куда-то в искристую, пушистую, тихо журчащую песню.

Когда она вернулась в библиотеку, Фома дремал, покачиваясь в плетеном кресле возле груды высохших пленок.

— А, Евдоша! Мотайте скорее вашу славу. Пашка на самом деле подался в горы!

— Я спала, не видела, — ответила она, краснея.

— И мне, собственно, пора бы спать, да как взгляну на пленку, всего передергивает от радости. Фильмик-то, в общем, захлебнетесь, — сказал он, добродушно наслаждаясь своей работой. — Покажем в Москве, вас сразу, Евдоша, пригласят в кино.

— Неужели я способна, по-вашему, променять архитектуру на что-нибудь другое?

— Пока я в архитектуре — конечно, нет.

Он сказал это с таким безоблачным убеждением, что Евдоша весело и звонко засмеялась.

— Долго я спала, Фома?

— Полчаса, час, — почему я знаю? А что — не доспала?

— Наоборот, я чувствую себя поразительно свежей. Всё смотал?

— Всё. — И неожиданно перейдя на «ты», он сказал, склонив голову набок и ласково заглядывая ей в глаза: — Теперь на тебе, Евдоша, в подарок целый день, отдыхай! Завтра — монтировать, склеивать, надписи составлять.

День был действительно как подарок: звенящий, задорный, весь густо и плотно залитый светом. Пока она мотала пленку, взошло солнце, и море стало темно-синего цвета с узкой зеленой каймой у берега. Пахло свежим арбузом и чуть-чуть сыром.

На лежаке, возле отцовской шляпы, сидел Федя, вытирая голову и шею полотенцем. Кудри свисали у него на лоб и нос. Евдоша, взглянув на него, подумала: «Какое красивое название травы — «курчавая марь!»» Евдоша сказала, что если Федя ищет отца, то он ушел на прогулку к Лягушачьей. Впрочем, он уходит туда каждое утро. Ходит ли туда Гармаш каждое утро, она не знала, но художник любил прогулки, и почему бы ему не ходить в Лягушачью? Ей хотелось утешить мальчика. Лицо его постоянно менялось: он ловил какую-то мысль, быть может — подозрение, — и боялся поймать.

— Маму мою не бомбят, как вы думаете, Евдокия

Ивановна? — вдруг, покраснев до ушей, спросил быстро Федя. — Я слышал по радио: фашисты целые английские города разрушают. А мама моя в поезде, едет сюда, мне Афросинья Никодимовна сказала. Что им стоит бросить бомбу в поезд, когда на большие города...

— Но мы же, Федя, с фашистами не воюем, — возразила Евдоша.

— Почему тогда мама долго не едет? Здесь войны нет, а где-нибудь по дороге есть?

— На тебе! Откуда же это — на дороге война?

Молчание, молчание. Будет ли война, скоро ли начнется — спрашивают только дети. Но и тех мы учим молчанию, делая вид, что война на нас никогда не обрушится, что мы удивительно ловко обманываем гитлеровцев. Молчание. Безумное молчание!

Мальчик заговорил о щенке. Прекрасный белый щенок с рыжей отметиной на носу, охотничий несомненно. Он выпросил его в деревне у «столярного» мальчишки: за перочинный ножичек. Поднялся Федя сегодня рано, сбегал на базар, купил молока, вернулся — нет ни щенка, ни лопаты. Той самой лопаты с красным вулканом на внутренней стороне и с красным щенком на внешней, — щенка, впрочем, он не успел написать. Он, как сын художника, говорил не нарисовать, а «написать». Щенка он уже назвал Белыйш, — и вот пропал Белыйш, пропала лопата, пропала мама, а именно маму он хотел порадовать щенком! «Что тут происходит такое, что и объяснить невозможно?» — упрекал взволнованный вагляд, — и она принимала этот горький упрек.

— Я найду тебе лопату и щенка, — трепетным шепотом прошептала она на ухо мальчику. — Иди, Феденька, завтракать.

Вскоре Евдоша нашла щенка в бурьяне возле душевой. Лопатку ей пришлось искать долго, и она наткнулась на нее в винограднике. Кто-то рыл ею каменисто-глинистую землю, лопатка была вся в зазубринах. Лопату она поставила у дверей комнаты, откуда теперь слышалось тяжелое дыхание спящего Гармаша, намочила хлеб в блюдечке с молоком, ткнула в молоко щенка, тот фыркнул и начал быстро и жадно лакать. Прибежал Федя, всплеснув руками, схватился радостно за голову и крикнул:

— Ах, как хорошо! Значит, сегодня придет мама! Подарок готов.

За обедом Евдоша небрежно спросила Гармаша:

— А вы утром по дороге Павла не встретили?

— Нет, я ведь ходил в Лягушачью,— ответил он с усмешкой и повторил: — Да, да, в Лягушачью. А он, утверждают, ушел на Карадаг.

— К Чертову Пальцу,— сказал Фома, жадно хлебая борщ.— За польню и местом для кадра, хотя я ему сто раз говорил, что пленки у нас больше нет.

— Ну, может, он выписал из Москвы? — произнес Гармаш.

— Тютю, выпишешь! Лично выдалбливаешь, лично, да и то не всегда. Маклак нас заедает, Захарий Саввич, маклак и скупщик.

Павел не вернулся ни к обеду, ни к пятичасовому чаю. Это никого не волновало: уходя утром, он взял в столовой,— завтрак еще не был готов,— большую горбушку хлеба, кусок колбасы и бутылку сидра. Но то, что он не появился к ужину и ночью, всех обеспокоило, кроме разве Фомы.

— Дрыхнет в камнях, ясно.

— Спать целый день? — спросил Гармаш.

— А работать целую ночь?

Федя кружил возле отца,— замирая от страха и восхищения. Потеряться в горах — какое удовольствие! Гармаш не вытерпел и позвонил пограничникам: если обход встретит в горах архитектора Ферязева, просят передать ему — в доме отдыха беспокоятся.

Глава двадцатая

Беспокойство действительно было сильное. Прирастали и распадались слухи. Говорили, что Павел Ильич, купив в сельпо водки и закуски, отправился на Сюрюк-Кая, на гору, которая несколько отдалена от моря и стоит против селения. Его будто бы сопровождала какая-то гулящая девка из Феодосии. Водка и девица вскоре исчезли, приросло другое. Павел Ильич отправился, видать, на Святую гору с болгарами-контрабандистами, которые там ограбили его, связали и бросили. Тут же мелькнул слух о

каком-то важном лице, прилетавшем на гору Клементьева для каких-то переговоров с Павлом Ильичом, но слух этот был мгновенно пресечен чьей-то властной рукой.

Затем заговорили, что Павла Ильича встретили в Отузах кутящим во дворе грека-винодела с молодыми художниками, приехавшими на практику. Отузы в различных сочетаниях повторялись несколько раз. Чертов Палец отрицался решительно, между тем как Гармаш, Фома и Евдоша всем твердили, что Павел Ильич ушел именно к Чертову Пальцу за полынью.

Утром отправились на поиски.

От электростанции к Чертову Пальцу ведут два пути: один — колесный, мимо домиков рабочих, пологий и удобный, другой — за оврагами, вдоль скал Кок-Кая среди колючек, камней, зарослей ежевики и, дальше, плоскогорьем; этот путь, вдоль Кок-Кая, утомительный, но короткий.

Гармаш вел колесной дорогой белую костлявую лошадь, жадную к пище, злую к людям — брыкающуюся и даже кусающуюся. На лошади были навьючены носилки, матрас, дорожная аптечка, бидон с водой. За лошадью шел усатый врач, четыре каменщика, очень уважавшие Павла за какие-то полезные советы, которые он как-то дал, Федя и Фома, повторявший растерянно: «Все это порожные слухи».

Развилка была возле речки, извилистой, мутной и дурно пахнущей. Две сутулые женщины с корзинами за спиной перегоняли через речку стаю гусей. За ними старый пастух и мальчик, щелкая бичами, вели в горы большое стадо коров. Пахло скотом, полынью, пылью дороги, с которой стадо постоянно сбивалось, чтобы подобрать какие-то остатки высохших трав у кустов. На дороге, пропуская стадо, остановилась телега. Возле пустых ящиков из-под винограда, обнявшись, качались три девушки, белые платки покрывали их загорелые темные головы. Бондарь с обручами на плече, в грязном холщовом переднике, держась за телегу, рассказывал им что-то забавное. Девушки хохотали, показывая большие, беспощадные, белые зубы.

— Холостяка, сказывают, потеряли? — спросили они у Евдоши с хохотом. — Не-е, у нас не пропадают: поваляются в камнях дня два, да и вернутся.

За девушками, на дне оврага, видны продолговатые недостроенные дома, бросающие на кустарники длинные

ласковые тени. Из тени выходят пестрые куры, солнце высокопарно освещает их, и кажется, что вот-вот куры от радости запоют чуть ли не соловьем... Ах, как красиво все вокруг, как отлично слажено, склеено и для щегольства даже лаком покрыто, а тут такие постылые и мертвые слухи!

Евдоша, сестра-хозяйка — учтивая красавица с язвительными глазами, взволнованная и растерянная Афросинья Никодимовна пошли тропой. Внизу оврагом, с гулом раскачивая дубы, мчался ветер; вверху, в камнях, вдоль тропы, ветер порой просвистывал. И, несмотря на ветер, было жарко, уныло, мрачно, и хотелось отвечать запальчиво. Афросинья Никодимовна почему-то бормотала о татарах, которых считают турками, о гражданине в сером, прилетавшем из Москвы, и о том, что Иязслав Глебович не имеет к этой болтовне «никакого прямого отношения». Евдоша, сумрачно глядя на нее, проговорила передергивающимися губами:

— А мне-то до этого какое дело, Афросинья Никодимовна?

— Ну, может быть, слышали, что...

— Мало ли что слышишь! Нельзя же при каждом слове настораживаться. Скорее, скорее!

— Я задыхаюсь, Евдокия Ивановна...

— Скорее! Дорога короткая.

Сестра-хозяйка часто говорила красивыми, как и она сама, поговорками, пряно поводя при этом своими очами. И тут она красиво вымолвила:

— Короткая дорога, как короткая плеть: шуму меньше, а хлещет сильнее.

«Зачем эта-то пошла?» — трясаясь от злости, подумала Евдоша.

По ту сторону оврага она видела пологую дорогу, по которой недавно поднималась на Карадаг, шутя, смеясь и прыгая. Гармаш рассказывал какие-то нелепые, медовые легенды, Фома хвастался, Павел смотрел влюбленными глазами, а сейчас... как быстро шагает белая лошадь, и как быстро идут рядом с нею врач и Гармаш! Они давно миновали домики рабочих, вошли в дубы, появились на поляне, откуда прекрасный вид на залив и Коктебель, не остановились, а, казалось, прибавили шагу. Они явно спешат обогнать женщин, — чтобы в случае беды было меньше крика.

— Скорей!

Красавица хозяйка усмехнулась:

— Иной и пятака не стоит, а забот о нем на рубль.

Краска бросилась в лицо Евдоши, но она ничего не ответила: «А, до того ли!»

Афросинья Никодимовна, задыхаясь, еще слышно шептала:

— Говорят, в телескоп философа и астронома наблюдали — и притом вверх ногами, — как с парусника турки пересаживались на подводную лодку. И как не стыдно! А сами — по-французски... в телескоп разглядели, а?!

— Ах, до того ли! — И хотелось крикнуть: «Да будет ва-ам!»

А сестра-хозяйка опять певуче вымолвила:

— В канун наступающих больших событий некоторые лица — точно взведенные курки. У вас сегодня интересное лицо, Евдокия Ивановна.

«Интересное? Тем лучше и тем убедительней будет то, что она немедленно, не стесняясь никого, скажет Павлу. Она скажет, что прошлый раз он не повял ее и, что хуже, она сама себя мало понимала. Это не значит, что у нее распатались мысли или потеряны убеждения. Нет! Хлеб, — говоря красиво, как сестра-хозяйка, — хлеб пекут из одного зерна, а посмотрите, как разнообразны хлеба. И так же разнообразен хлеб дружбы, Павел! Вот-вот, именно дружбы-то нам и не хватало, хотя мы много о ней говорили, даже восклицали самым страстным и сверкающим образом. В сущности, я вам должна была сразу сказать, что люблю Виктора и никого, кроме него, не люблю, а его даже и не по-прежнему, а еще больше. Да, вот из-за этого самого. Из-за Рима, ха-ха, будь он проклят, сколько из-за него неприятностей, ну, хотя бы и у вас. Да, люблю и понимаю, так же как и он, Виктор, смог меня понять. За такое понимание жизнь отдать можно, да и то мало! И вас, Павел, я хочу точно так же понимать и уважать. Ничего, пускай она нас зовет, эта сестра-хозяйка, Серафима Даниловна наша... Дело в том, что величайшее в дружбе и любви — это... ну то, что следовало бы назвать чувствованием наших чувств. Честное слово, вы понимаете меня, Павел! Как я рада, ах, как я рада! А то что же получилось? Искусство, которое мы полюбили, соединило нас, а случай — случай с Римом, — размыл нас, как река размывает берега. Ха-ха! Нет, это все-таки

не так красиво, как у Серафимы Даниловны. Какое у вас интересное лицо, и как приятно, что вы теперь — мой настоящий друг. И — друг Виктора, да ведь? У, теперь мы многое скажем друг другу!..»

Евдоша вяло спускалась по острым, как жало, камням россыши.

Следы подков. Сначала — легкие, затем — глубокие; конь с большим грузом? Он расшибся? Ранен? Или просто вывихнул ногу, повредил связки? Следы шли к обрыву, затем возвращались. Мужчины не только обогнали женщин, но и не стали дожидаться и никого не оставили, чтоб рассказать — что же случилось? Или уж им было не до женщин, они забыли о них? Значит, что-то очень серьезное?

Следы вели к невысокому, так, в один этаж, травянисто-зеленому камню на краю обрыва. Камень, весь вытянувшись, стоял как раз против Чертова Пальца, который весь в ржаво-желтом налете. На верху камня Евдоша нашла солнечные очки. Поскользнувшись, должно быть, Павел уронил их, — и покатился.

Пониже — метрах в пяти — свежееобточенными колышками обозначено было место, куда, по-видимому, упал Павел, — быть может, это сделали для следователя. Тут же валялся забытый кем-то носовой платок. Евдоша подняла этот серый с синей каемкой платок и не успела выпрямиться, как слезы покатались у нее из глаз. Афросинью Никодимовну сдерживала стойкость Евдоши, но когда она увидела ее слезы, добрая женщина завопила в голос. Ласковое, красивое лицо сестры-хозяйки стало жалким и некрасивым, и она тоже заплакала, высоко поднимая и опуская свои покатые плечи.

И едва они выбежали на дорогу, чтоб догнать процессию с раненым, Евдошу, как алмазом по стеклу, что-то резнуло по сердцу. И не поскребло и не поцарапало, а именно резнуло, чтобы дальше надломиться и раздвинуться, как раздвигает стекольщик надрезанное стекло.

А на крутом спуске дороги, где выступали отполированные колесами и людскими подошвами камни, указывая назад через плечо, туда, где оставался Чертов Палец, она неустанно с подозрением твердила, что они, может быть, не все достаточно осмотрели и усвоили...

— То есть нет ли тут элементов преступления? — спросила хозяйка, совсем потерявшая красоту от вол-

нения, плача, поспешной ходьбы в неудобной и, как выяснилось, хоть она и молчала об этом, тесной обуви.— Голубушка моя, все многострадавшие строят павильон отдыха, и у всех получается яркая тюрьма.

Да, да, тюрьма. Любовь — тюрьма, дружба — освобождение. И Евдоше обрывками вспоминается ночь в Львином ущелье. Если очнуться, то понимаешь, какое претенциозное название. А нужно ли очнуться?.. Костер потух. Луна стояла долго. «Значит, в эту ночь была луна или она ей теперь мерещится? Но для чего — мерещится? Для претенциозности? Ах, как глупо!» Края луны начали бледнеть и скалы стали похожи на укрепленный замок. Справа от замка текла река и красовалась готическая, — нет, пожалуй, романская, — часовня. Луг, стадо овец, пасущееся у дороги, и тут же виселица и какое-то колесо на шесте. Пересекая луну, летела стая птиц. «Рановато для перелета, но вот так же рано, иногда, перелетает любовь», — шепчет кто-то подле. А остальные, не отрывая глаз, смотрят не на луну и не на летящих птиц, а на восток, который в торжественных розовых кружевах. Скалы охристы, желтовато-серы, и чуть заметная дымка утреннего тумана скользит между ними. Птицы исчезают на юго-западе, где встает темная дождевая туча. Она далеко. Грома не слышно, только сверкают зарницы и еле-еле можно разобрать кривую полосу дождя. Слышится шепот: «Я люблю тебя, Евдоша». Ах, какая горькая и грустная привлекательность в этом шепоте.

У домиков рабочих слышны добродушные и чуть ли не насмешливые голоса. По-видимому, процессия с раненым дошла туда, и рабочие, нередко получающие увечья, посмеиваются: он бы добрался и своими ногами, к чему столько беспокойства? И кто-то громко, очень громко, словно для них, спешащих вниз женщин, сказал: «Поставьте носилки, отдохните, ему — ничего».

— Ничего? — Евдоша обрадовалась. — Ну, понятно. Легкое ранение, ушиб. — Видите, ничего, — четко и беззвучно, точно во сне, сказала она сестре-хозяйке, стараясь снисходительно улыбнуться и легонько, пальцами, похлопывая по плечу эту слабую, раскисшую женщину.

Но тут опять закололо в сердце, и, полное темного, страшного огня, сердце дрябло упало. У домиков наступила та зыбкая и жестокая тишина, которую называют мертвой. Стараясь прийти в себя, Евдоша перевела взор

на горы. Над террасами породы вился курчавый дымом, похожий на кольца, которые пускают опытные курильщики. Был, видимо, взрыв, которого они не заметили. И вокруг террас лежал, точно застывшие кольца дыма, дубовый лес и вилась окуренная горной дымкой, кремнистая, твердая дорога. Пахло ладаном.

— Скорее, скорее! — закричала она, бросаясь к домикам.

Носилки стояли на земле. Каменщики, склонив головы набок, вытирали рукавами рубах потные лбы и шеи.

Он лежал, напряженно вытянувшись, совсем не своего роста, и голова его была прикрыта марлей от мух. Евдоша откинула марлю и увидала его лицо грязно-воскового желтого цвета и сгусток пепельно-алой крови в уголке его ухмылявшихся губ.

Глава двадцать первая

Покойника положили для прощания в сельском клубе, в длинном саманном доме с глубоким и просторным подвалом, где хранились зимой соленые огурцы и чеснок, которыми торговал колхоз. Администрация не возражала, чтоб тело Павла Ильича лежало в доме отдыха, но сельсовет сказал, что дом отдыха — это дом отдыха, а все почтенные покойники лежат в клубе, а Павел Ильич был все-таки сельсовету человек знакомый.

Из зала убрали стулья, экран кино, на середину поставили три длинных стола, покрытых кумачом, на стены повесили гирлянды из можжевельника и сосновых веток, пол застлали свежескошенной травой, — и все же сильно пахло чесноком и почему-то яблоками, хотя яблок в подвале не хранили.

Убирала Павла Ильича в последнюю дорогу Афросинья Никодимовна вместе с двумя колхозными старухами, которые все шептались между собой насчет попа, но ни к Афросинье Никодимовне, ни к Евдоше обратиться не решались. Время от времени Афросинья Никодимовна, явно стараясь угодить Евдоше, немо посматривала на нее. Евдоша безучастно сидела в углу на табурете, опустив руки и голову.

Когда покойник был вымыт, причесан, одет в вычищенный и выглаженный костюм и ноги его были обуты

в особые туфли, за которыми одна из старух ездила в Феодосию и которые, видимо, совершенно были необходимы для обряда,— Афросинья Никодимовна отошла несколько в сторону, нервно прижала руки к вискам, пристально вглядываясь в лицо Павла Ильича, и сказала со вздохом:

— Кажется, он?!

Затем деловито повернулась к Евдоше:

— А для могилы украшения приготовлены?

— Какие?

— Ну, в местном стиле. Камушки, дикие цветы, бессмертники. Камушков красивых много у склепа Юнга, шли бы вы туда.

Евдоша и пошла.

Там, где шоссе сворачивает на Феодосию, возле моста и устья речки, впадающей в море, как раз посредине той воображаемой трубы, по которой часто из степи дует могучий и жестокий ветер, много лет тому назад помещик Юнг, которому принадлежала тогда вся долина, создал на каменистом холме у моря родовой склеп. Несмотря на то что неподалеку уже возникли дома отдыха и санатории, склеп сохранился до сих пор, и жители, чтоб оправдать его существование, утверждают, что Юнг был известный путешественник, борец с алкоголизмом и написал сочинение по истории карт, — географических или игральных, нельзя сказать в точности. Утверждают, что к «склепу Юнга» прибой выносит особенно ценные коктебельские камешки.

С холодно-щемящим сердцем набрав полную суму камешков, Евдоша равнодушно поднялась на холм: так всегда после купания и собирания камней они поднимались и долго любовались заливом. Павел протяжно называл имена горок, мысов, заливчиков, имена, данные им поэтом Волошиным. Как поди приятно называть места, дотоле неизвестные! И она опять вспомнила, что в юности «Как это называется?» был, пожалуй, самый любимый вопрос Павла. Почему, спрашивал он, египетские, да и другие властелины меняли имена при воцарении? А монахи? Да, обычай псевдонимов исчезает, а жалко! «Подумать только, что пятьсот — тысячу лет назад все, теперь нас окружающее, за малыми исключениями, называлось по-другому: реки, деревья, вещи, горы, целые страны, моря. А в чем тайна наименования машин, орудий, металлов, тканей, обуви?» И он гордился, что несколько

раз по его «заявкам» давали названия новым духам и винам.

И теперь, когда Павел лежал в гробу, у него было такое лицо, точно он спрашивал: «А это как называется? Неужели — смерть?»

По-прежнему немолчно и хрустально накатывалось море, но на сердце уже не было той нетленной и широкой радости, что прежде!

— Евдоша!

Она взглянула в лицо беззвучно подошедшему Фоме. Лицо было измученное, осунувшееся и крайне растерянное, но совсем не той растерянностью, которая наступила после прихода с Карадага. Фома часто моргал глазами, точно туда попал сор, мотал головой — что-то очень беспокойное и бессонное тревожило его. В руках он держал сигару и сверток бумаги:

— Вы же не курите, Фома.

— Иногда.

И он протянул ей сверток.

— Некролог? Для чего?

— Нет, вы прочтите.

Евдоша беззвучно открыла рот.

— Ну, Евдоша... плохо мне, дружище...

Лицо его было в красных пятнах, особенно верх лба и скулы, кроме того, скулы роняли капли пота. И весь он казался как-то неумело и торопливо покрашенным в серое с красными пятнами. Евдоша взяла сверток.

Косясь на Фому, с раздражением вначале, с недоумением в середине и с радостью в конце, читала она рукопись Павла, которую тот назвал «Правда о Риме». Собственно, о Риме там ничего не было, это было адресованное редакции «Советского искусства» объяснение того, почему Павел выступил против архитектора Орехова и почему он, Павел Ильич Ферязев, тоже архитектор, но малодушно не работающий по специальности, выступил неправильно и в корне ошибочно. Современная архитектура есть архитектура современная, то есть архитектура, призванная служить пролетарским массам, построению нового общества. Архитектура, как и всякое искусство, должна быть преисполнена светом и правдой. Рим, как блестяще разъяснил архитектор Орехов, тут ни при чем, — да и Греция тоже. Та и другая архитектура, бес-

спорно, великие архитектуры, но мы понимаем их ложно и иначе вряд ли способны понять. Другое время, другие люди, другие строительные материалы, наконец. Ставить каменные комоды, прибавляя к ним колонны, фронтоны, архитравы, фризы и статуи,— это вовсе не значит воссоздавать Рим или Грецию. Все это лже-Рим, подделка, фальсификация... В конечном итоге реставрирующая даже и не Рим, а выверты российских аристократов да купцов... Наша задача гармонически сочетать максимальные удобства с изысканнейшими линиями...

Евдоша, опустив рукопись, глубоко вздохнула.

Вторая рукопись состояла из заметок о дальнейшем усовершенствовании портативного киноаппарата, над которыми работал Павел вместе с Фомой. Эти заметки Евдоша просмотрела бегло.

— Ну и как?

Фома глубоко затянулся, вынул сигару изо рта, провёл ею раза два перед своим лицом и проговорил:

— Потрясающе, верно?

— Что именно?

— Да заметки о кинокамере.

— А-а-а...— протянула она равнодушно. Видимо, статью «Правда о Риме» Фома не читал или не придавал ей никакого значения.

— И как может возникнуть мысль о его самоубийстве: при такой-то творческой напряженности?

— А у кого она возникла?

— У многих. Хотя бы у Гармаша.

— А-а-а...— протянула она.

Когда с букетом цветов и камушками Евдоша возвращалась к дому отдыха, ее догнал Изяслав Глебович. Он был задумчив, впрочем, улыбался по-прежнему ласково и по-прежнему заглядывал в глаза. Он нес большой красный венок из искусственных цветов.

— Вы на могилку? — спросил он.

— Да, да! Собственно, нет. На могилу позже, завтра, когда хоронить. А сейчас зачем же?

— Понятно: в смысле преждевременно? Хотя место выбрано живописное — неподалеку ключ, пирамидальные тополя за пригорком, виноградники, повыше развалины армянской церкви. Очень красиво! Я хочу, знаете, венок примерить, а? Город обещал к похоронам непременно напечатать ленту.

— Какую?

— Да к венку же! — ответил он не без изумления. —
Привет от Афросиньи Никодимовны. Говорят, вы уезжаете?

И добавил с таким многозначительным взглядом, будто видел ее насквозь:

— В глубине души мы довольны, что вы уезжаете вместе с нами. У меня к вам страшной важности разговор.

И с почти счастливым видом отправился дальше: примерять венок.

Невесело было Евдоше. Она стояла, вытирая мокрое лицо и глядя через ограду на свою террасу, с которой доносился стук молотка: Гармаш сколачивал клетку для Бельиша, которого Федя решил отвезти в Москву.

Евдоша спрашивала себя: «Что же значит эта его статья?» Две женщины с вязанками косматых дубовых сушьев за плечами, — зная, видимо, о ее горе, — остановились подле и всплакнули.

— Все, все собираемся на кладбище-то, — проговорили они в голос.

Мужчина, с мешком кизила за спиной, весь в красных пятнах от сока ягод, тоже остановился и стал тереть глаза.

Глава двадцать вторая

Голубое небо с плывущими по нему жемчужно-белыми облаками было очень обыденно. Но не прошло и пяти минут с того момента, как поставили гроб на землю у могилы, в небе словно распахнули ворота и выпустили жаркий праздник. Горизонт покрылся розовыми клубами. На юго-западе выстроились полчища всадников в синем. С востока ринулись наездники в ало-красном. В зените над ними выросли крепостные стены и башни. И все это кипело, волновалось, сшибалось с горячностью страстной и нерассудительной. И, словно желая вступить в спор с этими посланцами Карадага и той волшебной ночью, — с террас, один за другим, — неслись взрывы, и торопились к небесным облакам дымные облака земли.

Оркестр пограничников играл старательно и трогательно, видно было, что даже музыкантам, которые часто играли на похоронах, было жалко этого молодого и бессмысленно погибшего архитектора. Упасть со скалы... какая нелепость!

— Ах, какая нелепость! — повторила Евдоша, наверное, в сотый раз.— Фома, почему такая плоская и большая нелепость?

Фома не отвечал. Каменщик, рябой рослый мужчина в выцветшем комбинезоне, поставив ногу на холмик свежей земли, взглянув в лицо покойника, а затем переведя взор на лица большой и напряженно дышащей толпы, сказал:

— Товарищи! Покойный, товарищи! Прошу вас — внимание!

Шум возле могилы утих.

На холмик, глубоко уходя ногами в рыхлую серую землю, поднялся Фома. Он был в замешательстве: тер руки, моргал, морщил лоб и, кое-как справившись с приступом смущения, заговорил.

Говорил он медленно, странно и мрачно взволнованный; должно быть, он долго думал над своей речью,— и сказал он речь не будничную, а страстную, горькую и неожиданную. Он ни слова не промолвил о классическом Риме, классическом наследстве и новейшей архитектуре, хотя привел немало выдержек из найденной им статьи Павла Ильича. Для колхозников и отдыхающих здесь рабочих,— да и для большинства интеллигентов тоже,— споры о классической архитектуре и противопоставляемой ей современной были глубоко безразличны, если не скучны.

Фома говорил о том, что всем советским людям, людям, строящим социализм, надлежит жить в светлых, теплых, просторных зданиях, в которых все было бы в избытке: свет, тепло, вода, газ, электричество, телефон,— жить так, чтоб свободно можно было б разместиться самой большой семье, чтоб не мешать друг другу учиться, творить и развлекаться; чтоб близко были бы детские учреждения, магазин, кино, театр, библиотека, чтоб легко было попасть в любой конец города. Да чтоб и село так же отстроилось и там зажилося бы так же легко и весело, как и в городе.

— Вроде бы и неловко говорить о веселье возле свежей могилы, но именно он, мой друг Павел Ильич, и я, и вот здесь стоящая рядом наш друг архитектор Евдокия Ивановна, и ее муж, замечательный советский архитектор Орехов,— мы боролись за новейшую советскую архитектуру, желали и продолжаем желать строить — именно

веселую и радостную жизнь для советских людей. Другое дело, что случаются ошибки,— очень порой тяжкие и угрюмые,— случаются беды, несчастья, но мы же советские люди, то есть не безгласные, не безвольные, не люди отчаяния, не люди безмолвного молчания, а люди, способные к сопротивлению, к борьбе, наконец! Мы будем строить новую жизнь по-всякому, и архитектуру тоже, и мы выстроим ее! Мы выстроим много-много домов, улицы, кварталы, целые города, рабочие поселки, новые колхозные и совхозные города. Мой друг Павел Ильич,— пусть иногда смутно, неясно, даже путано, как бы пробираясь сквозь глухой и густой тростник,— мечтал о новой жизни. Он пробился бы сквозь этот тростник, его мечты сбылись бы, но нелепый случай, один неверный шаг, быть может, головокружение,— он не спал всю ночь, мы с ним работали,— и вот какой-то один шаг погубил его. А вокруг него было то самое безумное молчание смерти, которое подстерегает каждого из нас. Не нужно поддаваться этому молчанию, нужно помогать друг другу, вселять друг в друга веру, вселять веру в добро, в добрую и спасительную людскую совесть!..

Изяслав Глебович стоял спиной к Евдоше, сутуловатый, плотный и даже со спины как бы улыбающийся. Он был похож на соломенно-желтое жесткое крыло. И вдруг у этого жесткокрылого начали алеть уши, багроветь шея, налились темной краской руки, и даже сквозь чесучу заметно было, что и ноги-то его красным-красны. Он весь дрожал от негодования. Многие поняла тут Евдоша.

Все разошлись. Остались только Гармаш, Фома и Евдоша. Пахло полынью и землей, у могильного столбика со свежавыкрашенной дощечкой лежала телеграмма от родственников Павла Ильича: не то кто-то положил ее здесь, не то забыл.

Евдоша, отойдя несколько шагов, надела шляпу и повернула к Фоме лицо.

Из-под широких, отогнутых кверху полей на него глядели просторные и словно разгорюженные глаза с высоко поднятыми бровями. Сердце его будто переменили: что-то стонущее, удивленное, умиленное билось внутри него.

— А знаете что, Фома? — спросила она.

— Знаю.

Она сорвала шляпу и разгонисто взъерошила свои волосы, а затем сказала с благодарностью:

— Ну, раз знаете, то значит — все ясно. Теперь мы с вами действительно и навсегда друзья.

Глава двадцать третья

Наступил вечер. Ужинать Евдоша не пошла, а все сидела у окна и смотрела на море или ходила по комнате. Явилась растрепанная Афросинья Никодимовна в тоске и вздохах. Ее знобит. Дует. Наволокло туч. Она еще раз вздохнула и, обладая способностью засыпать, как только голова ее касалась подушки, положила голову на диванный валик и заснула. И во сне ее заплаканное лицо имело очень жалостливое и капризное выражение.

Евдоша, поглядев на это измученное лицо и подумав — «хороша поди и я», — снова подошла к окну. Дул ветер, стучали всюду деревянные ставни, отодвигая и роняя тяжелые предметы, которыми хотели их удерживать, несколько раз просвистел в саду сторож, а Евдоша все думала и думала. Проснулась Афросинья Никодимовна, потянувшись, сказала, что Изыслав Глебович, — из-за похорон, видно, — сегодня туча тучей... И что еще ждет ее в Москве? А вообще пора складываться. И она ушла.

И тотчас же снова открылась дверь. Показалась желтая и кислая фигура Гармаша с палкой и трубкой. По видимому, он не знал, как приступить к тому, что он предполагал сказать, потому что произнес с неудовольствием:

— Не помешал?

— Я вас ждала, Захарий Саввич, — ответила Евдоша.

— На предмет прощания?

— Нет, на предмет признаний.

— Вот оно что! Ну, какие же тут могут быть признания? Не время. — Он развел руками и перевел взгляд на море. — Вот оно ревет, полагает, наверное, что без шума нельзя продумать большую думу. И шумит, шумит многие тысячи лет.

— Говорят, Чехов бывал в Коктебеле.

— Это вы к чему?

— К тому, что размышляете вы в стиле героев Чехова: протяжно, многозначительно, а в сущности, плоско. У Чехова в описаниях ритм, музыка слова, вот что главное, а вы лишены слуха, Захарий Саввич.

— К чему, повторяю, вы все это ведете?

— Да все к тому же.

— То есть?

Евдоша не ответила.

— Да, Павел Ильич...— сказал протяжно Гармаш.— Пройдет много лет, мы уже забудем манеру, с которой он говорил, забудем и свои ответы, и в памяти останется только шумливый, красивый и бойкий человек, упавший со скалы и разбившийся. Евдокия Ивановна состарится, оставаясь по-прежнему красивой и обаятельной, и, мягко улыбаясь, будет вспоминать, как упал со скалы Павел Ильич и как все говорили, что он покончил с собой от любви к ней,— а это ведь выдумки. А какая это, однако, была красавица и какое было тогда красивое море, будем думать мы, глядя на вас, Евдоша...

— Море и останется морем, а пошлость — пошлостью.

— Вы это мне, Евдоша?

— Вам.

— Другими словами, вы настаиваете, чтоб я сказал вам то, ради чего пришел?

— Именно.

Гармаш сел на стул, между бровей у него образовалась складка, нижняя потрескавшаяся губа отвисла. Он зажег спичку и стал закуривать — табаку в трубке не было, — и он растерянно улыбнулся:

— Ну, что ж, вы правы, Евдоша.

— В чем? — сухо спросила она.

— Да в вашем подозрении. Мне доложила Афросинья Никодимовна, не то болтушка она, не то ее науськивает Изыслав Глебович.— И, помолчав, добавил: — Вы правы. Я его убил.

И тяжело засмеялся:

— Неотвязно он был при мне, неотвязно! И надоел. То — Виталию к нему ревновал, то — вас. Вот Фома говорил на могиле, что Павел-де способен был сеять семена искусства. Семена раздора он более склонен был сеять, — и с большим удовольствием и даже наслаждением. Он ведь в девушек неспособен был влюбляться, а

только в замужних женщин, и преимущественно в тех, которых крепко-накрепко мужа любили. Вот я и убил его.

— Каким же образом?

— А ведь вам, Евдокия Ивановна, придется отложить отъезд: показания дать следователю и прочее.

— Взор какой!

— Я теперь ничего не боюсь. Я ведь убил, вас спасая. В некотором роде, из-за любви к вам. И никак не ожидая вознаграждения.

— А мой поцелуй помните?

— Еще бы! Ведь ваш поцелуй и был задатком — подстрекали меня. Вам ненавистно было выступление Павла Ильича, и вы не прочь были его убрать.

— Я поцеловала вас тогда потому, что сама томилась не меньше вашего — обоим нам плохо было. А что Павел выступил против мужа, я не знала тогда.

— Ой, знали!

— Не знала.

— Ну, догадывались. Догадались же вы, что я приду к вам сейчас с признанием. Неприятно, тяжело вам было так думать, но догадывались. Сейчас объясню. Я рассчитал совершенно точно. Выветрившаяся лава очень опасна. Только ступи, — она, уже столетия готовясь к твоему шагу, всегда рада помочь тебе сорваться. Я и соблазнил Павла Ильича, науськал его пойти туда, он вступил на камушек, остановился, — место это я ему точно описал, — эстет непременно должен был остановиться и залюбоваться, а что он эстетом был, это несомненно. Камушек — под него! Споткнулся, вамахнул ручками, — ручками в таких опасных случаях никак нельзя, никак! И — кувырк. Да. Кувырк! Горе и годы лишили меня страдания. Я рад этой смерти.

— Мне вот только непонятно — зачем вам понадобилось признаваться?

— А я и не собирался.

— Почему же все-таки собрались, Захарий Саввич? У вас ведь обожаемый ребенок, жена, в которую вы страстно влюблены и которую... ну не будем говорить об этом... Искусство! Вы же чрезвычайно талантливы, и вы знаете, что талантливы. Почему же? Раскаianie? Такие люди, как вы, разве раскаиваются?

— Верно! — воскликнул Гармаш, всплескивая руками.

— Почему же, однако, собрались признаваться?

— Я думал, моя злоба, отчаяние, негодование исчезнут, когда его не станет. И вот я не могу позабыть его ни на минуту. И сейчас весь дрожу, когда вспоминаю о нем.

— Все это от того безумного молчания, в котором воображается столь многое.

— Знаете что, перестали бы вы твердить о «безумном молчании»,— сказал Гармаш вполголоса и с неудовольствием.— Не ко времени эта многозначительность, особенно теперь.

— Мама их твердит, да и я запомнила эти слова из какой-то старинной книги, какой — уж я не помню. Мне тогда было лет пятнадцать, и я влюблена была в учителя математики, и молчала, конечно. И мне мое молчание казалось «безумным». Теперь-то это кажется таким вздором. Дай бог, чтоб через десять лет теперешние мои мысли показались мне тоже вздором.

— Сомнительно.

— Я тоже думаю, что сомнительно.

Гармаш помолчал, подошел к подоконнику, взял лежавший на нем зеленовато-белый голыш, повертел в руках, приложил к виску. Евдоша, протягивая ему руку, сказала с жаром:

— Полноте, Захарий Саввич! Не убивали вы Павла Ильича. И не думайте, что этими вашими выдумками спасете нас, перенеся огонь на себя. Еще только хуже все осложните и запутаете.

— Задумал. Выполнил. Убил.

— Задумал,— возможно. И яростно думал. Но выполнять — не выполнял. Одно лишь ваше воображение, что именно вы подговорили его идти к пропасти у Чертова Пальца. Оказывается, и до разговора с вами он выспрашивал о дороге каменщиков; каменщики зимой в тех местах браконьерствуют, знают ее хорошо. В ту ночь, когда мы проявляли пленку, вы поднялись через Кок-Кая к Чертову Пальцу?

— Да, поднялся!

— Вот и неправда,— вы не поднялись, а сидели, покуривая, в камнях у Кок-Кая. Там вас видели женщины, собиравшие хворост. Это точно установлено.

— Кем?

— Ну, людьми. Мною, в том числе, Захарий Саввич! Успокойтесь. Не нужно усложнять и без того сложную жизнь; оставим это занятие Изяславу Глебовичу.

— При чем тут наш лжепушкинист?

Евдоша приблизилась к Гармашу и сказала печально:

— Ах, доля, доля! Заодно я разъясню вам ее в вагоне.

Глава двадцать четвертая

За Харьковом, от Слатино до Казачьей Лопани, перерогон порядочный, к тому же поезд шел медленно, давно потеряв расписание. Евдоша стояла в коридоре у окна, пассажиры сидели по своим купе, пили чай, играли в преферанс, домино или читали. Да и кому хочется смотреть в окно на морозящий неотвязный дождь, на мрачную и липкую слякоть, на эти темно-оливково-серые, невыносимо пустынные поля? У рогово-черных домиков стрелочников желтеют в узорчатой листве белобочие тыквы, упрямятся и тянутся еще вверх отрезанные круги подсолнухов, горло которых словно заткнуто ватой.

Все хмуро, тяжело, немо, и даже паровозный гудок звучит как-то неутешно.

В руке Евдоша держала миску с молоком. В Казачьей Лопани,— там поезд будет стоять долго,— она собиралась отнести миску в багажный вагон, где в деревянной клетке, сколоченной Гармашом, дремлет испуганный Белыйш. Ему поди снится Коктебель, море, горы и, кто знает, может быть, вулкан? Он очень мил, этот белый, толстобрюхий щенок с черными ушками и с одной густой забавной черной бровью; кажется, глядя на него, что кто-то так торопился, создавая его, что не успел дорисовать второй брови. Тем не менее взгляд у него был очень задушевный, как, впрочем, и у всех коктебельских собак. Весной в долине у собак колхозников во множестве нарождаются щенки. Кормить их, разумеется, нечем,— и сама-то сука неизвестно чем живет. К маю щенки расходятся по домам отдыха, а к осени вырастают в порядочных псов, которых милиционер, опасаясь бешенства, пристреливает. Наиболее догадливые псы вовремя покидают дома отдыха и перебегают в окрестные селения, чтобы перезимовать. Тогда у недогадливых делаются необычайно

ласковые, задушевные глаза, которые всем встречным говорят: «Ведь в октябре все дома закрываются до весны, гаснут кухни, гаснет электричество, уезжает обслуживающий персонал,— что же нам делать, не приютите ли вы нас?» Белыша приютили, везут в Москву,— что-то ждет его там в этом гигантском огнедышащем вулкане?

А нас что ждет? Накануне отъезда Евдоша долго убирала могилу Павла Ильича разноцветными камнями, ракушками, бессмертниками, а убрав, сидела на скамейке возле могилы и смотрела на горы. Ей не хотелось думать все о том же: бросился ли он со скалы сам или упал, поскользнувшись. Непонятный образ Павла Ильича, умирающего в скалах Чертова Пальца, почти уже стерся в ее памяти, замененный чем-то горячим, знакомым, хорошим, упойтельно задорным и близким. Его статью она помнила почти наизусть. Он жив,— и будет жить! Печально, что камни были так недружелюбны к нему, но что же в конце концов поделаешь? Она вытерла слезы и медленно спустилась с холма, на котором лежало это, наверное, очень древнее кладбище,— от древности, впрочем, сохранились только обломки плит, да и могильные ли это были плиты?

Вагон покачивало, алая дорожка коридора отражалась в стекле фотографии, изображавшей Ай-Петри. Из купе, в противоположном конце коридора, на цыпочках, ласково улыбаясь и согнувшись, точно в поклоне, вышел Ильяслав Глебович. На нем была радужная полосатая пижама, и, несмотря на дорожную пыль, лицо его было нежно-свеже, а по выражению почти лучезарно.

— Моя обольстительница спит,— прошептал он, широко открывая глаза.— Пусть выспится, не думаю, чтоб Москва встретила ее благоуханно.

— Ваша вина.

— Моя,— подтвердил он, скорбно кивая головой,— моя. Но — служба. Предполагал сочетать личное с общественным, а это редко получается, вернее сказать, никогда. Теперь еще побочные обстоятельства в нашем Координационном комитете в Москве и у родственников Афросиньи Никодимовны — из рода диких случайностей...

— Какие, не секрет?

— Какой секрет! Наоборот, сам жаждал рассказать вам. Молочко щенку?

— Щенку.

— Да ведь вы, кажись, недавно целую миску кондуктору багажного оставили?

— А вдруг он ее выпил сам?

— Неверие в людей, Евдокия Ивановна, происходит главным образом от беспокойства. Но вернемся к моему секрету. Мне, доложу вам, Евдокия Ивановна, понравилась речь Фомы Мироныча на могиле — относительно новейшей архитектуры.

Евдоша с изумлением взглянула на Изяслава Глебовича, а он, потирая свои полосатые бока, весь как-то встрепенулся, покраснел, охваченный чуть ли не вдохновением:

— Скажу откровенно — я сразу подумал: а не применить ли ее у нас.

— У нас в Москве или у вас в Ленинграде?

— У нас в южном Казахстане, в горах Каратау. Каратау что-то вроде Карадага, Черные Горы. Там открыты залежи свинца, и есть пять основательных рудников, то есть в смысле добычи и народонаселения.

— Позвольте, Изяслав Глебович, но вы только что намекали... — начала было с досадой Евдоша.

Изяслав Глебович не позволил ей продолжать и воскликнул вполголоса:

— По своей работе в Координационном комитете я имею отношение ко многим областям промышленности, а иногда и политики.

И он растопырил свои розовые, быть может, чересчур коротковатые пальцы.

— Пять пальцев. Видите? Или — пять рудников. От них, вот сюда, к центру ладони, сбегаются дороги, шоссе, тропинки. Центр получается в километре-двух, самое большее трех, от любого рудника. В каждом руднике мы проектировали рабочий поселок с общественными зданиями. И теперь у меня возник вопрос: а почему — в каждом? А нельзя ли выстроить один центр, но уже настоящий и внушительный, типа городского? Кино, театр, рабочий университет, гимнастические залы и бассейны, библиотеку, ну, и здание комбината? А? И почему нам не поручить это дело молодежи, молодым архитекторам, а? Деньги есть, материалы есть... а?

Евдоша, раздумывая, нерешительно и в то же время не без удивления проговорила:

— Мысль увлекательная.

— Упоительная, Евдокия Ивановна! Чарующая!

И он сказал нетерпеливо и вместе с тем почтительно:

— И почему бы нам не пригласить вас, то есть вас лично, вашего супруга, как я понимаю — выдающегося молодого архитектора, а также и Фому Мироныча? Ну, и вообще товарищей, которых вы рекомендуете. В общем — целую бригаду архитекторов. Имею все основания думать, что там, в отрогах гор Каратау, вы осуществите все ваши самые новейшие архитектурные замыслы.

— Но разве вы исключены из системы наблюдения, мягко говоря?

— Нет, что вы! Все — в системе, все. Но видите ли, местность наша отдаленная, для комиссий малопривлекательная, и наблюдение будет самое поверхностное. Конечно, вы отдадите дань классическим фронтонам, украшениям, но преломив, преломив! — И он добавил голосом, который допускал преломление самое широкое: — Словом, есть возможность! Поезжайте. Московская жилплощадь сохраняется за вами, а там, на месте, создадим удобства, — и в Европе таких не встретите. Я, признаться, уже и предложение написал.

Евдоша ухмыльнулась горьковато:

— Не дожидаясь нашего ответа?

— Боже, а какой вам интерес переживать проработку? Поверьте, ведь в «Советском искусстве» это только начало. А у нас, в Каратау, вместо признания ошибок — работа, дома, замыслы, стройки.

— Вы правы, Изяслав Глебыч.

Он устался на нее своими небесно-голубыми, ласкающими глазами, пожал ей руку и прислушался: не проснулась ли Афросинья Никодимовна. Она продолжала спать. Тогда он повел бровями и приложил руку к сердцу: дескать, вот она, добродетель-то! Вдруг он замер. «Позвала?» — подумала Евдоша и внимательно поглядела на него. Радостное изумление залило все его лицо:

— Еще бы! Так будет все прекрасно!

Евдоша грустно ухмыльнулась:

— Но перед нашим поступлением, Изяслав Глебыч, — пространная анкета, беседа, коллоквиум на темы

искусства и, разумеется, на политические,— с вами и отделом кадров,— или вы и есть отдел кадров?

Широко открыв глаза, он проговорил вкрадчиво:

— Я? Что вы, Евдокия Ивановна! Собеседование — само собой, но не больше, чем в прочих учреждениях.

— А если все-таки больше?

— Ну, разве чуть-чуть.

— И относительно того: откуда это началось и кем начато?

Он сказал торопливо:

— Что именно?

— Да толки о Риме, и о цезаре-папской архитектуре, так сказать.

— Говоря откровенно — толков этих не обойти,— ответил он погодя немного и поглядывая сбоку на страшную свою собеседницу.

— Где обойдешь!

— Не обойти,— пресекаясь голосом сказал Изяслав Глебович. Он, видимо, волновался. Ноздри его, розовые, тонкие, шелохнулись. Дичь была близко, в кустах, и какая, должно быть, крупная дичь!

— Да, собственно, к чему вы клоните, Евдокия Ивановна?

— Все к тому же, Изяслав Глебович. Шутник вы.

Он построжал и обратился к ней почти официально:

— Мне совсем не до шуток, Евдокия Ивановна. Это вы все шутите, если уж говорить откровенно.

— Я?

— Вернее, ваши соседи по купе.

— Фома и Гармаш с мальчиком?

— Они.

— Да они из купе-то выходят, только чтоб умыться!

Изяслав Глебович посмотрел прямо и серьезно в лицо Евдоши:

— Фильмик снимали. Меня, Афросинью Никодимовну в соблазнительных позах. Думаете, не знаю? А с какой целью крутили? Шантажировать? Разоблачить? В некотором роде сообщником сделать?

— Очень нам нужны такие сообщники!

— Значит, другие-то сообщники есть?

И, опять почувствовав, что перескочил, «маханул», что преждевременно,— одернул сам себя, опустил голову и рассмеялся:

— Извините, я ведь тоже шутник, в некотором роде.

— Именно, в некотором. А что касается снимков вашей физиономии и физиономии вашей спутницы, то я их вам подарю. Мы их из фильма вырезали как случайные.

— Я так и понимаю, что случайные. Мне ведь ваши снимки не страшны; я их всегда и изъять могу.

Евдоша посмотрела на него и умолкла. «Нагловат же ты, дядя,— подумала она,— нагловат и очень уж уверен, что способен запугать». Она засмеялась и спросила громко и отчетливо, так что, несмотря на грохот поезда, голос ее был слышен по всему коридору вагона:

— Это что же: вы нам угрожаете обыском?

— Вы-ы...— раздался совсем незнакомый, пискливый голосок.— Не говорите громко!

— А собственно, почему мне не говорить громко? Собственно, почему мне хранить любимое вами безумное молчание? Пора, давно пора перестать молчать о том, о чем кричать надо, и без конца говорить, переливая из пустого в порожнее, о том, что выеденного яйца не стоит. В чем наша вина? Только в том, что в вопросах нашего искусства, в архитектуре, мы проявляем, может быть, разномыслие с официальной точкой зрения? Что, мы этим сокрушим, что ли, Советскую власть и вас, в частности? Да полноте, Советская ли вы власть! Откуда вы, зачем чересчур уж ласковы, так ласковы, что честным людям и глядеть на вас противно!

Изяслав Глебович обвел ее взором,— с ужасом, негодованием и восхищением: «Остервенелая, а товарищ хорош!» — взмахнул ручками и зашагал прочь.

— То-то! — вздрогнув, услышал он позади себя властный ее возглас.

Глава двадцать пятая, и последняя

На другой день, рано утром, за Тулой, возле Лаптева, Евдоша вышла в коридор. Поезд по-прежнему шел медленно, но день был зыбко-светлый, солнечный и весь какой-то душистый, хотя в вагон, кроме запаха горелого угля, ничего не попадало. Евдоша посмотрела в окно.

Поезд проходил через какой-то рабочий поселок. Вот двухэтажный дом с угловой башенкой, а в окне приче-

сывает волосы полная женщина в синем. Вот обрыв речки, колодец с блоком и мужчина, длинноносый и длинноусый, поднимает тяжелое ведро, из которого плещется вода. Деревья, кусты, тележное колесо, прислоненное к стене сарая, морковь, капуста, огурцы, сваленные на крыльце, садовая лейка — все это золотисто-коричневатое, только листва берез резко-зеленая, да еще зеленым отливают волосы у мальчонки, что стоит среди садовой дорожки, уплетая ломоть арбуза и не обращая внимания на гроыхающие вагоны. Хорошо!

— Да, хорошо. Теперь навсегда — хорошо! Пусть вулкан впереди, огонь, лава, смрадный дым и, может быть, вся преисподняя, а сейчас хорошо, и верю — будет хорошо и после, будет!

Из купе, по ту сторону красной ковровой дорожки, вышел Ильяслав Глебович, причесанный, бритый, в добротном коричневом костюме, явно приготовившийся для Москвы. Он взглянул в сторону Евдоши и, хотя видел ее в это утро впервые, — не поклонился ей, не улыбнулся ласково и вообще рта не раскрыл. Он явно желал, чтобы безумное молчание легло между ними на этой грязноватой красной ковровой дорожке. «И пусть, — думала Евдоша, — пусть Вулкан, пусть безумное молчание, пусть. До нас люди переносили, проглатывали и не такое, перенесем и мы это».

*Весна 1940 г. —
лето 1962 г.
Москва*

КОММЕНТАРИИ



ПАРТИЗАНЫ

Впервые в журнале «Красная новь», 1921, № 1 (июнь), с посвящением поэту Александру Оленич-Гнененко.

В письме к Горькому от 19 марта 1921 г. Вс. Иванов писал: «Работаю над рассказом и переписываю другой — «Партизаны», написанный еще в Сибири» («Новый мир», 1965, № 11, стр. 235). Однако в Петрограде «Партизаны» перерабатывались заново. Об этом вспоминает сам автор: «Я писал, почти не отрываясь от стола. Добрая хозяйка одолжила мне керосиновую коптилку. На четвертые сутки хлебные запасы мои кончились, но и рассказ тоже был окончен» (Вс. Иванов, Избранные произведения в двух томах, т. 1, Гослитиздат, М. 1954, стр. 385). Рукопись была прочитана Горьким, он писал автору: «Рассказ — удался, хотя — местами — чуть-чуть длинноват. Беру его с собой в Москву, оттуда привезу Вам денег. Работайте, дружище! Вы можете сделать очень хорошие вещи» (М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 29, М. 1955, стр. 402).

Текст печатается по изданию: Вс. Иванов, Собр. соч. в восьми томах, т. 1.

БРОНЕПОЕЗД 14-69

Впервые в журнале «Красная новь», 1922, № 1(5). Ранее были напечатаны отрывки: Вс. Иванов, Чужой земли (глава из повести «Бронепоезд 14-69»). — «Жизнь искусства», 1922, 3 ян-

варя; Вс. Иванов, Рельсы (глава из повести).— «Красная газета», 1922, 19 февраля.

О возникновении замысла повести см. Вс. Иванов, История моих книг (Собр. соч. в восьми томах, т. 1, стр. 49—50).

«Бронепоезду 14-69» предшествовала повесть «Фарфоровая избушка», о работе над которой Вс. Иванов 16 января 1921 г. сообщал Горькому: «Окончил недавно и теперь отделяю большую повесть (величиной в 200—300 страниц) «из современной жизни», как говорят,— «Фарфоровая избушка». (Из переписки А. М. Горького и Вс. Иванова.— «Новый мир», 1965, № 11, стр. 234.) Повесть опубликована не была, в омском архиве сохранилось лишь несколько отрывков, которые позволяют судить, что некоторые образы и эпизоды из нее «перекочевали» в «Бронепоезд 14-69» (см. М. М и н о к и н, К предистории повести Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69».— «Русская литература», 1966, № 1).

Журнальный текст «Бронепоезда 14-69» несколько отличается от текста первого отдельного издания: иным было начало повести, не было названия глав. Начиная с первого отдельного издания (Вс. И в а н о в, Бронепоезд 14-69. Повесть, ГИЗ, М. 1922) главы повести получили названия.

Автограф всей повести не найден, но в частном собрании рукописей Ф. В. Groшикова (Ленинград) сохранился автограф главы «Чужой земли» (11 листов, переписанных рукой автора). По свидетельству Ф. В. Groшикова, эту главу Вс. Иванов предложил петроградскому журналу «Красный командир», который ее отверг (на рукописи резолюция: «Возвратить. 24.6.1921 г.»). Сопоставление указанного автографа с соответствующей главой повести позволяет заключить, что текст автографа значительно отличается от текста опубликованной главы; он не только включает эпизод «распропагандирования» пленного американского солдата, но и описание партизанского лагеря, которого нет в опубликованной повести. Из этого можно сделать вывод, что между «Фарфоровой избушкой» и журнальным текстом «Бронепоезда 14-69» существовал рукописный вариант повести.

Автор неоднократно совершенствовал язык повести. Так, под влиянием статей Горького о языке художественной литературы он в 1934 г. отредактировал текст «Бронепоезда 14-69». Изменения вносились в текст и позднее, однако многие из них, в частности колоссальная редакторская правка повести в издании «Избранные произведения», Гослитиздат, М. 1954, привела к тому, что стиль автора был нивелирован, искажен. Ввиду этого комиссия по литературному наследству Вс. Иванова, изучив представленные текстологом материалы сверки текстов повести, постановила счи-

тать каноническим текстом редакцию 1934 г., в которой повесть издавалась до 1948 г. включительно.

Таким образом, текст печатается по изданию: В с. И в а н о в, Избранное, Гослитиздат, М. 1948.

Наряду с этим вариантом повести существует другой, написанный в 1925—1932 гг. для юношества.

В 1957 г. В с. И в а н о в вернулся к этому варианту и переделал его (В с. И в а н о в, Бронепоезд 14-69. Повесть, Детгиз, М. 1957). Этот же вариант был опубликован в 8-томном собрании сочинений.

Только на русском языке «Бронепоезд 14-69» издавался более тридцати раз, переведен на двадцать два иностранных языка.

На сюжет повести в 1927 г. В с. И в а н о в написал драму «Бронепоезд 14-69», в этом же году поставленную МХАТом.

В начале 30-х годов режиссер Я. Протазанов пытался ставить по мотивам повести кинофильм «Томми», но картина не удалась.

В конце жизни В с. И в а н о в написал для «Мосфильма» кино-сценарий «Бронепоезд 14-69» (см. «Простор», Алма-Ата, 1963, № 11).

Композитор Д. Кабалевский по мотивам повести создал оперу «Никита Вершинин», которая была поставлена на сцене Большого театра в 1956 г.

ПОДКОВА

Впервые в газете «Петроградская правда», 1922, № 255, 12 ноября (приложение «Литературная неделя»).

Печатается по изданию: В с. И в а н о в, Собр. соч. в восьми томах; т. 3.

КАМЫШИ

Впервые в газете «Петроградская правда», 1922, № 163, 23 июля, под заголовком «День» (приложение «Литературная неделя»).

Под названием «Камыши» — во втором томе Собр. соч. в семи томах.

Печатается по изданию: В с. И в а н о в, Рассказы, «Советский писатель», М. 1963.

ЛОГА

Впервые в газете «Накануне», Берлин, 1922, № 88, 22 июля («Литературное приложение», № 10, под редакцией А. Н. Толстого).

Печатается по изданию: В с. И в а н о в, Собр. соч. в восьми томах; т. 3.

ДОЛГ

Впервые в журнале «Красная новь», 1923, № 5.

Печатается по изданию: Вс. Иванов, Собр. соч. в восьми томах, т. 3.

ПУСТЫНЯ ТУУБ-КОЯ

Впервые в альманахе «Круг», М. 1925, кн. 4.

В связи с неоправданной редакторской правкой в 8-томном Собрании сочинений (тот же текст опубликован и в последнем прижизненном издании «Рассказы», «Советский писатель», 1963) решением комиссии по литературному наследству Вс. Иванова печатается по изданию: Вс. Иванов, Избранное, т. 1, Гослитиздат, М. 1937.

СМЕРТЬ САПЕГИ

Впервые в журнале «Красная новь», 1926, № 14 (под названием «Жизнь Аники Сапег»). Впервые под названием «Смерть Сапег» в сборнике: Вс. Иванов, Бразильская любовь. Рассказы, «Огонек», М. 1926.

Печатается по изданию: Вс. Иванов, Собр. соч. в семи томах, т. 2.

БОГ МАТВЕЙ

Впервые в газете «Уральский рабочий», 1927, № 32, 9 февраля (под названием «Испытание»), под заголовком «Бог Матвей», в «Красной нови», 1927, № 3.

Печатается по изданию: Вс. Иванов, Собр. соч. в восьми томах, т. 3.

ХАБУ

Впервые в журнале «Красная новь», 1925, № 2. «Написал я забавную повесть,— сообщал автор Горькому 4 декабря 1924 г.— Сейчас ее перепечатавают, и на днях я ее смогу послать Вам прочесть» («Новый мир», 1965, № 11, стр. 237).

Печатается по изданию: Вс. Иванов, Собр. соч. в восьми томах, т. 2.

ПЛОДОРОДИЕ

Впервые в журнале «Красная новь», 1926, № 1.

В январе 1927 г. Вс. Иванов отправил Горькому сборник «Тайное тайных», который на страницах рапповской печати подвергся резкой несправедливой критике. В ответ А. М. Горький

писал: «...Вы большой русский писатель... Шаг, сделанный Вами от «Голубых песков»,— повторяю,— очень крупный шаг. Сергееву-Ценскому потребовалось почти двадцать лет для того, чтоб уйти от себя и написать «Валю» («Преображение»). Вы превосходно поспорили с самим собою через два-три года. Это замечательно» («Новый мир», 1965, № 11, стр. 245).

Решением комиссии по литературному наследству Вс. Иванова каноническим текстом для этого рассказа признан текст, опубликованный во втором томе Избранного, Гослитиздат, М. 1938.

Рассказ печатается по этому изданию.

ПОЛЕ

Впервые в журнале «Шквал», Одесса, 1925, № 19 (под названием «Посев»), под названием «Поле» в журнале «Красная нива», 1926, № 5.

Печатается по изданию: Вс. Иванов, Дикая люди. Рассказы, «Academia», 1934.

ПОЛЫНЯ

Впервые в журнале «Шквал», Одесса, 1926, № 19 (51), 19 мая.

Печатается по изданию: Вс. Иванов, Собр. соч. в восьми томах, т. 3.

НА ПОКОЙ

Впервые в журнале «Новый мир», 1926, № 12.

Этот рассказ, как и другие примыкающие к циклу «Тайное тайных», Горький высоко оценил в письме к Вс. Иванову от 13 декабря 1926 г.: «Сейчас прочитал в «Новом мире» рассказ «На покой». Разрешите поздравить: отлично стали Вы писать, сударь мой! Это не значит, что раньше Вы писали плохо, несомненно, что писали Вы хуже. Я не помню, чтоб кто-либо из литераторов моего поколения сделал такой шаг к настоящему мастерству, как это удалось сделать Вам от «Голубых песков» к Вашим последним рассказам. Сейчас вы и з о б р а ж а е т е так, как это делал Ив. Бунин в годы лучших достижений своих... Но мне кажется, что в п л а с т и к е письма Вы шагнула дальше Бунина, да и язык у Вас красочнее его, не говоря о том, что у Вас совершенно отсутствует бунинский холодок и нет намерения щегольнуть холодком этим» («Новый мир», 1965, № 11, стр. 243—244).

Печатается по изданию: Вс. Иванов, Избранные сочинения, Гослитиздат, М.—Л. 1931,

ЖИЗНЬ СМОКОТИНИНА

Впервые в журнале «Красная новь», 1926, № 3 (под названием «Жизнь Тимофея Смокотинина, сына подрядчика»), а также в харьковском журнале «Пламя», 1926, № 5 (под названием «Щепа»). Под названием «Жизнь Смокотинина» в сборнике: **Вс. Иванов**, Тайное тайных. Рассказы, Госиздат, М.—Л. 1927.

Печатается по изданию: **Вс. Иванов**, Рассказы, «Советский писатель», М. 1963.

НОЧЬ

Впервые в журнале «Красная новь», 1926, № 6.

Печатается по изданию: **Вс. Иванов**, Избранное, т. 2, Гослитиздат, М. 1938.

СТАРИК

Впервые в газете «Уральский рабочий», 1926, № 203, 7 сентября (под названием «Простая жизнь»), в журнале «30 дней», 1926, № 9 («Евсей»). Под названием «Старик» — в Собр. соч. в семи томах, т. 3.

Печатается по изданию: **Вс. Иванов**, Рассказы, «Советский писатель», М. 1963.

СЧАСТЬЕ ЕПИСКОПА ВАЛЕНТИНА

Впервые в «Ленинградской правде», 1927, № 42, 20 февраля (под названием «Архиерей»), в журнале «Красная новь», 1927, № 4.

В отделе рукописей ИМЛИ хранится машинописный авторизованный экземпляр рассказа «Архиерей».

Печатается по изданию: **Вс. Иванов**, Собр. соч. в семи томах, т. 3.

СЕРВИЗ

Впервые в журнале «Красная новь», 1927, № 5.

Печатается по изданию: **Вс. Иванов**, Рассказы, «Советский писатель», М. 1963.

ФОТОГРАФ

Впервые в журнале «Смехач», 1927, № 18. Печатается по изданию: **Вс. Иванов**, Избранное, т. 2, Гослитиздат, М. 1938.

П Е Й З А Ж

Впервые в журнале «Пржектор», 1927, № 13 (107) (под названием «Утро»).

Печатается по изданию: Вс. И в а н о в, Избранное, т. 2, Гослитиздат, 1938.

Л И С Т Ъ Я

Впервые в журнале «Новый мир», 1927, № 9. Печатается по изданию: Вс. И в а н о в, Избранное, т. 2, Гослитиздат, М. 1938.

О С О В Н Я К

Впервые в «Журнале для всех», 1928, № 1. Печатается по тексту журнала.

К Р Е С Т Б Л А Г О Ч Е С Т И Я

Впервые в журнале «Чудак», 1928, № 1. Печатается по изданию: Вс. И в а н о в, Собр. соч. в семи томах, т. 7.

К О Ж Е В Е Н Н Ы Й З А В О Д Ч И К М. Д. Л О Б А Н О В

Впервые в газете «Известия», 1929, № 279, 29 ноября.

Печатается по изданию: Вс. И в а н о в, Рассказы, «Советский писатель», М. 1963.

Б. М. М А Н И К О В И Е Г О Р А В О Т Н И К Г Р И Ш А

Впервые в журнале «Новый мир», 1930, № 10.

В отделе рукописей ИМЛИ хранится машинописный экземпляр рассказа, выправленный автором. В соответствии с решением комиссии по литературному наследству печатается по изданию: Вс. И в а н о в, Избранное, т. 2, Гослитиздат, 1938.

М Е Л Ь Н И К

Впервые в альманахе «Год XVI», кн. 1, 1933.

В архиве Горького хранится машинописная копия рукописи рассказа с правкой Горького. Как видно из нее, первоначально рассказ назывался «Не убий», но Горький предложил название

«Мельник». Другие стилистические правки Горького также весьма существенны.

Печатается по изданию: Вс. Иванов, Рассказы, «Советский писатель», М. 1963.

В У Л К А Н

Впервые в журнале «Сибирские огни», 1966, № 6, в сокращении.

Первый вариант произведения назывался то повестью, то рассказом. В начале 60-х годов автор переписал и расширил его. К новому варианту Вс. Иванов написал предисловие, в котором говорится: «Рассказ «Вулкан» был написан в 1940 году. Что-то похожее я слышал в Коктебеле в том же сороковом году...

Перечитывая теперь «Вулкан», я кое-что подправил, дописал, вырисовывая для себя те впечатления, которые в те времена мне виделись очень неясно: если старую избу промшить снова, пробить мхом, она от этого не станет холоднее» («Сибирские огни», 1966, № 6, стр. 9).

Печатается по автографу (машинопись с правкой автора), который хранится в архиве Вс. Иванова.

СОДЕРЖАНИЕ



Партизаны	5
Бронепоезд 14-69	63
Подкова	138
Камыши	143
Лога	147
Долг	155
Пустыня Тууб-Коя	172
Смерть Сапеги	193
Бог Матвей	202
Хабу	210
Плодородие	272
Поле	302
Полынья	308
На покой	318
Жизнь Смокотинина	334
Ночь	342
Старик	356
Счастье епископа Валентина	363
Сервиз	371
Фотограф	377

Пейзаж	382
Листья	389
Особняк	405
Крест благочестия , ,	420
Кожевенный заводчик М. Д. Лобанов	428
Б. М. Маников и его работник Гриша	436
Мельник . . ,	456
Вулкан (роман)	487
Комментарии	621

Всеволод Вячеславович Иванов

**Избранные произведения
в двух томах**

Том второй

Редактор Т. Аверьянова

Художественный редактор

Ю. Васильев

Технический редактор

М. Фридкина

Корректор Г. Асламянц

Сдано в набор 20/IX 1967 г. Подписа-
но к печати 5/XI 1968 г. А 05208. Бу-
мага типогр. № 1 84×108¹/₃₂. 19,75
печ. л., 33,2 усл. печ. л., 32,3 уч.-изд. л.
Тираж 50 000. Заказ 226.
Цена 1 р. 24 к.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Отпечатано с матриц ордена Трудо-
вого Красного Знамени Первой Образ-
цовой типографии имени А. А. Жда-
нова в Тульской типографии Глав-
полиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР, г. Тула,
проспект им. В. И. Ленина, 109

